

ТЕОФИЛЬ ГОТЪЕ

ДВА
АКТЕРА
НА
ОДНУ
РОЛЪ



Annotation

Теофиль Готье — крупнейший романтик Франции XIX века. Щедро используя исторические и литературные сюжеты, а также возможности жанра романтической новеллы, писатель создает загадочные, увлекательные фантастические произведения. В сборник вошли новеллы «Ночь, дарованная Клеопатрой», «Павильон на воде», «Двойственный рыцарь» и другие произведения.

- [Теофиль Готье](#)
 - [С. Зенкин](#)
 - [ДАНИЭЛЬ ЖОВАР, ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ КЛАССИКА](#)
 - [ЭТА И ТА, ИЛИ МОЛОДЫЕ ФРАНЦУЗЫ, ОБУРЕВАЕМЫЕ СТРАСТЯМИ](#)
 - [КОТОРАЯ ИЗ ДВУХ?](#)
 - [СОЛОВЬИНОЕ ГНЕЗДЫШКО](#)
 - [НОЧЬ, ДАРОВАННАЯ КЛЕОПАТРОЙ](#)
 - [ГЛАВА I](#)
 - [ГЛАВА II](#)
 - [ГЛАВА III](#)
 - [ГЛАВА IV](#)
 - [ГЛАВА V](#)
 - [ГЛАВА VI](#)
 - [ЗОЛОТОЕ РУНО](#)
 - [ГЛАВА I](#)
 - [ГЛАВА II](#)
 - [ГЛАВА III](#)
 - [ГЛАВА IV](#)
 - [ГЛАВА V](#)
 - [ГЛАВА VI](#)
 - [ДВОЙСТВЕННЫЙ РЫЦАРЬ](#)
 - [НОЖКА МУМИИ](#)
 - [ДВА АКТЕРА НА ОДНУ РОЛЬ](#)
 - [1. СВИДАНИЕ В КОРОЛЕВСКОМ САДУ](#)
 - [2. КАБАЧОК «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ»](#)

- [ТЫСЯЧА ВТОРАЯ НОЧЬ](#)
- [ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА ХУДОЖНИКА-НЕДОУЧКИ](#)
 - [I. ПРИЗВАНИЕ](#)
 - [II. СО СЛЕПКОВ](#)
 - [III. С НАТУРЫ](#)
 - [IV. КАК Я СТАЛ ХУДОЖНИКОМ АНГЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ](#)
 - [V. ГОЛОВЫ БУРЖУА!!!.](#)
 - [VI. ВСТРЕЧА](#)
 - [VII. ОБРАЩЕНИЕ](#)
 - [VIII. ВНЕЗАПНАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ](#)
- [КЛУБ ГАШИШИСТОВ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
- [БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТ](#)
- [ПАВИЛЬОН НА ВОДЕ](#)
- [МИЛИТОНА](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
- [АРРИЯ МАРЦЕЛЛА](#)
- [МАДЕМУАЗЕЛЬ ДАФНА ДЕ МОНБРИАН](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)

- [КОММЕНТАРИИ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)

- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)

Теофилъ Готье

Два актера на одну роль

С. Зенкин

Серьезность легкомыслия (О прозе Теофиля Готье)

Мир человеческой жизни и мир художественного творчества, будь он даже самым условным и причудливым, не составляют двух далеких друг от друга сфер. Подтверждение тому нередкие случаи, когда биографические, реально-житейские обстоятельства писателя или художника вдруг располагаются — иногда преднамеренно с его стороны, а иногда и самопроизвольно, что еще интереснее, — в том самом смысловом пространстве, в тех самых ценностных координатах, которые заданы в его произведениях. Объективные законы жизни смыкаются при этом с субъективными законами воображения.

В жизни Теофиля Готье (1811–1872) было два поворотных момента, связанных с *театром*. Первый из этих эпизодов — «выход на публику» еще никому не известного девятнадцатилетнего юноши в феврале 1830 года в зале «Комеди Франсез», на знаменитой премьере драмы Виктора Гюго «Эрнани». На этом спектакле решительно столкнулись два литературных направления, боровшихся во Франции на протяжении 1820-х годов, — классицизм и романтизм. Пьеса Гюго, демонстративно порывавшая с канонами классицистической драмы, была принята в штыки консервативной публикой, которая свистом и шиканьем встречала каждую поэтическую «вольность», звучащую со сцены. «Вольности» были, на наш нынешний взгляд, совершенно невинными и даже не сразу заметными: например, много страстей бушевало вокруг расстановки цезур или непривычных переносов, когда стихотворная строка обрывается не на паузе, а как бы на полуслове... Всегда трудно бывает предположить, из-за каких «пустяков» разгорится литературный сыр-бор, да еще и в атмосфере, наэлектризованной подступающим политическим кризисом (действительно, всего через полгода в Париже произошла революция, окончательно свергнувшая с престола королевскую династию Бурбонов). Как бы то ни было, ревнители классицистических традиций сделали все, чтобы провалить бунтарскую пьесу Гюго.

Однако этому воспрепятствовала другая часть публики — восторженная, упивавшаяся романтическими новинками молодежь, которая каждый вечер дружно поддерживала спектакль своими овациями; в зрительном зале то и дело вспыхивали настоящие схватки «классиков» и «романтиков». Благодаря такому накалу эмоций премьера «Эрнани» вошла в легенду, и одним из главных героев этой легенды как раз и оказался начинающий живописец Теофиль Готье, предводитель «группы поддержки» боготворимого им Гюго. Подобно тому как в самой драме «классиков» более всего скандализировали нарушения правил стихосложения, участие Готье в битве за «Эрнани» более всего запомнилось современникам внешней деталью — экзотическим одеянием юного воителя. Отправляясь на битву, Готье нарядился в красный (или розовый — теперь уже не установишь точно) жилет, сшитый по образцу средневековых камзолов, — то есть в маскарадный костюм, напоминавший об обожаемом романтиками средневековье. Причем в костюме этом он появился не на улице, не на бале-маскараде, а именно в театре во время спектакля; в его лице театральность как бы перешагнула рампу, со сцены переметнулась в зрительный зал.^[1] В историю французской культуры Теофиль Готье вступил, таким образом, как участник театрального действия, как исполнитель условной маскарадной роли.

Второе событие, связавшее его судьбу с театром, произошло в 1836 году, когда молодого, но уже составившего себе литературное имя романтика пригласил для постоянного сотрудничества издатель крупнейшей коммерческой газеты тех лет «Пресс» Эмиль де Жирарден. Готье, быть может, предпочел бы рецензировать в газете новинки литературы или живописи, к которой он — несостоявшийся художник, ставший писателем, — всегда питал особое пристрастие. Однако получилось иначе, и вести ему пришлось театральную рубрику. С тех пор долгие годы он исправно тянул свою лямку театрального обозревателя (сперва в «Пресс», позднее в газете «Монитор»), что обязывало его изо дня в день посещать любые новые представления — от трагедий до цирка, от оперы до собачьих боев — и детально излагать их содержание в своих «фельетонах». Готье много раз жаловался, как тяготит его эта неблагодарная работа, но отказаться от нее никогда не пытался, до тех пор, пока его силы не подорвала смертельная болезнь сердца. Думается, что эта странная

привязанность писателя к угнетавшей его газетной поденщине объяснялась не просто гарантиями постоянного и солидного заработка. Пристрастие Теофиля Готье к театру было более глубоким.^[2] В известном смысле он *только о театре и был способен писать*, так что в художественных его произведениях даже реальная жизнь превращалась в условное театральное зрелище. Готье-прозаик оставался в душе «театральным фельетонистом», добросовестно, но чуть иронично пересказывающим не совсем правдоподобные перипетии не совсем подлинных историй.

Эта его непринужденно-ироническая манера нравилась современникам, но впоследствии не раз вызывала нарекания. «Он не был способен к богохульству, так как не был способен к богопочитанию. Всегда и во всем его отличает легкомыслие», — с укором писал, например, Генри Джеймс.^[3] «Легкомыслие» — действительно весьма точная характеристика творчества Теофиля Готье; но американский писатель был не прав, вкладывая в нее однозначно отрицательный смысл. Легковесная поза фельетониста по большей части уберегала Готье от постоянно грозившей ему опасности впасть в добропорядочно-положительный буржуазный конформизм; на такой невесомой опоре он строил свое неутилитарное «искусство для искусства». По-своему он следовал принципу романтической иронии, свободы от каких-либо наперед заданных идеологических построений, когда человек с насмешливой отстраненностью принимает даже свои собственные, самые заветные убеждения, не давая им закоснеть в догматизме, вновь и вновь погружая их в живительную стихию творческой игры. «Легковесность» неотделима от «легкости», а это качество в высшей степени присуще творческой личности Готье. Этот грузный, внушительного вида бородач был удивительно легок на подъем (изъездил весь Старый Свет, от Испании до Египта, от Лондона до Нижнего Новгорода), и рука у него тоже «легкая», несмотря на тяжеловесность и громоздкость его излюбленных живописных «картин». Превосходный стилист, он совершенно не знал мучительной работы над словом, писал всегда сразу набело, без черновиков и поमारок — случалось, даже прямо в типографии, где каждый исписанный им листок тут же передавали наборщику. В разговоре с Гонкурами он как-то сказал: «Я швыряю фразы в воздух, словно кошек, и уверен, что они упадут на лапы».^[4]

«Легковесность» Готье совсем не бессодержательна. Иронически безответственная на первый взгляд манера органично выражала у него грезы романтика-энтузиаста, а вместе с тем и препятствия, мешавшие реализации этих эстетических утопий.

Итак, в жизни Теофиля Готье театр предстал в двух обликах: с одной стороны, как бесшабашный маскарад, перехлестывающий любые рамки и рампы «хэппенинг» под названием «битва за „Эрнани“», навсегда оставшийся праздничным воспоминанием в душе писателя; с другой стороны, как однообразная череда реальных — по большей части вульгарных или нелепых — спектаклей, посещаемых по долгу службы почтенным театральным критиком, но вместе с тем странно отвечающих каким-то скрытым потребностям его духа. Такой же двойственностью отмечен и художественный образ театра в прозе Готье. Оставим в стороне произведения (новеллы «Даниэль Жовар, или Обращение классика», «Аррия Марцелла», повесть «Без вины виноват»), в которых театр выполняет лишь второстепенную функцию в сюжете, служит местом светских собраний, где люди встречаются, знакомятся, назначают свидания. Есть иные произведения, где он располагается в самом центре художественного мира, действует как самостоятельная сила, формирующая судьбы героев. Так, в романе «Мадемуазель де Мопен» (1835) писатель высказывает и даже отчасти воплощает в реальность по ходу действия свой идеал «фантастического театра», всемирно-универсального, основанного на вольной импровизации и внутренне освобождающий своих «актеров» от постылых условностей общества и от косной предопределенности их собственных характеров. Однако такая утопическая мечта появилась в художественной прозе Готье всего однажды.

Гораздо чаще здесь встречается не «фантастический», а более реальный театр, который не отождествляется с жизнью, а взаимодействует с ней, будучи от нее отграничен.

Герой новеллы «Два актера на одну роль», немецкий студент Генрих, увлекшийся игрой на подмостках, в своей любви к театру сближается с самим автором. Оба они выше всего ценят в лицедействе возможность для человека умножить свою личность, вырваться за рамки своей жизненной однозначности. «...Мне хочется жить в творениях поэтов, мне кажется, у меня двадцать судеб, — признается Генрих. — Каждая новая роль дарит мне новую жизнь; я испытываю

все страсти, какие изображаю; я Гамлет, Отелло, Карл Моор...» Есть, впрочем, разница между вольной игрой условными масками, о которой мечтал Готье, говоря о «фантастическом театре», и самоотождествлением актера с ролью, свойственным его герою. Если актер-иронист возвышается над своей маской, то страстный актер Генрих скорее одержим, поработан исполняемой им ролью; и когда во время одного из спектаклей на сцене появляется дьявол собственной персоной, чтобы сыграть вместо Генриха роль Мефистофеля, то это всего лишь парадоксальный вывод из того самого принципа слияния актера с персонажем — наилучшим исполнителем закономерно окажется само лицо, которое следует представить. Хотя на сцене изображенного в новелле театра и случаются сверхъестественные события, он бесконечно далек от идеально прозрачного «фантастического театра». Он резко отделен от жизни: в жизни господствует устойчивый, положительный быт немецких бюргеров, на сцене же разыгрывается дьяблерия, бесовское действо, на которое «жизнь» со страхом взирает глазами невесты Генриха (противопоставление усилено еще и тем, что Генрих — студент-теолог, будущий пастор, служитель Бога, тогда как на сцене он играет черта). Такой театр — не просветляющее начало жизни, а сфера действия темных, враждебных человеку сил. Бросается в глаза и сакральная природа этих сил — актерская игра оборачивается магическим обрядом, изобразить на сцене злого духа значит призвать, накликать его.

Готье живо ощущал, а порой и прямо показывал в своем творчестве архаические корни театральных зрелищ. Особенно восхищало его одно специфическое зрелище, имеющее отчетливо ритуальную, тотемистическую основу, — бой быков. Впервые увидев корриду во время путешествия в Испанию в 1840 году, писатель навсегда остался поражен этим спектаклем, заставившим его испытать, как говорится в его путевых заметках, «самые сильные драматические переживания в жизни». В другом очерке он писал о сходстве между боем быков и театром: «Сюжет — жизнь и смерть; драматический интерес в том, чтобы узнать, кто будет убит — человек или свирепое животное; пьеса неизменно делится на три акта, которые можно озаглавить „пика“, „бандерилья“ и „шпага“...» Вместе с тем тауромахия (бой быков) непосредственно восходит к ритуалу

жертвоприношения, торжественного убийства животного-тотема, когда и бык, и поражающий его тореадор оба осенены магической силой, оба по-своему сакральны.

В прямых высказываниях писателя есть только глухие, невнятные намеки на сей счет, но, не учитывая подобных представлений, нельзя правильно понять, например, его повесть «Милитона», которая начинается и заканчивается сценами испанской корриды. В финальном эпизоде неистовый и буйный тореадор Хуанчо, потерпев поражение в борьбе за любовь красавицы Милитоны, во время очередного боя совершает самоубийство — на глазах у своей возлюбленной подставляет грудь под удар бычьего рога. Реакция молодой женщины, до того не раз уже выказывавшей к тореадору неприязненные чувства, неожиданна: «Милитона откинулась на спинку кресла бледная как смерть. В эту страшную минуту она почувствовала любовь к Хуанчо!»

Что произошло? Можно, конечно, заподозрить, что в глубине души Милитона давно уже любила пугавшего ее своей дикой страстью тореадора и осознала это лишь при виде его гибели; можно предположить, что она, став благодаря замужеству богатой сеньорой, втайне сожалеет о простонародной среде, из которой вышла, и это чувство вдруг выплеснулось во время такого традиционно народного зрелища, как бой быков. Ничто не противоречит этим объяснениям; и все же в них не принята в расчет зрелищность всей сцены. Как человек, как характер Хуанчо не изменился: Милитона и раньше была свидетелем его мужественного поведения и на арене, и в жизни, но это не вызывало в ней любви к нему. Если на сей раз она, уже решительно отдав предпочтение его сопернику, благородному и храброму дону Андресу, вдруг ощутила по отношению к тореадору нечто большее, чем обычные «зрительские» чувства ужаса и сострадания, то это связано с внезапно обнажившимся сакральным характером самого зрелища. Жрец и жертва поменялись ролями, Хуанчо публично принес себя в жертву — не только в моральном, но и в буквально-обрядовом смысле слова — своей неприступной возлюбленной, и тем самым на него снизошла магическая сила, искупая его человеческие недостатки и вызывая к нему любовь. В обычной жизненной обстановке его самоубийство было бы лишь актом отчаяния — на сцене ритуального зрелища оно придает человеку мрачное сверхъестественное обаяние. Подобно «фантастическому театру» иронической импровизации, театр

кровавых жертвоприношений тоже возвышает своего актера, правда, возвышает под знаком смерти.

Можно сказать, что такой жестокий театр, схожий с гладиаторскими боями (Хуанчо, кстати, в одном из эпизодов прямо назван «гладиатором»), который, по слову русского поэта, «не читки требует с актера, а полной гибели всерьез», — такой театр служит символом реального мира, препятствующего свободному самовыражению личности, подчиняющего ее жестко заданным «сюжетам» и «амплуа». А поскольку «фантастический театр» с его артистической свободой перевоплощений остается неосуществимой утопией, то человек в художественном мире Готье вынужден бежать с арены жертвоприношений, укрываясь от их кровавой развязки в уединенном, интимно-огражденном пространстве *Дома*.

В произведениях Готье множество раз встречается апология уютной домашней обители, где вольно чувствуют себя поэзия и искренность души. Вот как, например, рассуждают об этом в новелле «Эта и та»: «Погляди-ка, в этих стенах протекли лучшие годы твоей жизни; тут тебя посещали самые прекрасные мечты, самые яркие виденья. Ты уже издавна свыкся, сжился со всеми потаенными уголками, твои бока отменно приспособились ко всем их выступлениям, и ты, как улитка, уютно устроился в своей раковине. Эти стены знают, любят тебя и повторяют твой голос, твои шаги вернее, чем голос и шаги других; все вещи созданы для тебя, а ты создан для них... Дом — это тело, а ты его душа, и ты одухотворяешь его; ты средоточие этого микрокосмоса...» Ирония, которой окрашена эта риторика, не должна вводить в заблуждение — писатель устами одного из персонажей действительно «объясняется в любви» к Дому, противопоставляя его неистинному порядку жизни в мире-театре, где главный герой той же новеллы натужно разыгрывает нелепую комедию роковой страсти.

Дом и Театр находятся в конфликте, их соприкосновение чревато разрушительными коллизиями. Таков загородный дворец, где происходит действие последней новеллы Готье «Мадемуазель Дафна де Монбриан»: этот Театр, маскирующийся под Дом, «походил на театральную декорацию, только не нарисованную на холсте, но изваянную из камня, — декорацию, которой деревья служили кулисами. Все здесь преследовало одну цель — создать зрелище эффектное и хорошо вписывающееся в окружающее пространство...»

Этим беглым указанием на фальшивость обстановки предварены жуткие, в готическом духе приключения, которые переживает во дворце герой новеллы, сброшенный в тайный подземный колодец...

Еще сильнее ощущение *ненадежности* Дома, ставшего Театром, выражено в причудливом произведении, озаглавленном «Клуб гашишистов». Нелегко определить его жанр: с одной стороны, это очерковый, претендующий на достоверность отчет о переживаниях автора под действием наркотика (подобные эксперименты практиковались некоторыми французскими литераторами в 1830—1840-х годах); с другой стороны, в подробно излагаемых галлюцинациях имеется довольно, последовательный, художественно выстроенный сюжет. Первые эйфорические видения, когда перед рассказчиком как бы встает призрак «фантастического театра» (предметы вокруг волшебным образом переменчивы, человек ощущает необыкновенную легкость, хочется беспечно смеяться), сменяются переживаниями тревожными и даже кошмарными: фантастический злодей поработывает волю рассказчика, завладевает — в буквальном, физическом смысле — его головой и мозгом, наконец, останавливает время, дабы не пустить его на свидание с той, что «ждет тебя в одиннадцать часов»... «Клуб», описанный в новелле, напоминает кружки молодых романтиков, в которых Готье участвовал в начале 30-х годов; в таком кружке домашняя обстановка превращается в сцену для коллективной импровизации, где люди живут особенной, игровой жизнью. Однако в середине 40-х годов, когда написана эта новелла, романтический пыл юности уже ослабел, его приходится возбуждать искусственными средствами вроде гашиша, и оттого-то домашний театр артистического кружка обнаруживает пугающее сходство с театром лжи и интриг, образующим реальную жизнь за стенами Дома. «Театрализация» Дома в художественном мире Готье грозит человеку катастрофой — и физической, и духовной гибелью.

Прочность Дома измеряется его огражденностью от внешних вторжений, от губительного начала Театра. В новелле «Эта и та» такая огражденность прямо декларируется в процитированной выше тираде персонажа-резонера; в повторяющей ее сюжетно, а кое-где и текстуально^[5] новелле «Золотое руно» уже подробно живописуется скромный и уютный домик, где в целомудренном уединении, вдвоем со старой служанкой, живет юная героиня-фламандка. В «Двух актерах

на одну роль» инфернальным опасностям сцены, которым безрассудно подвергает себя Генрих, противостоит опять-таки уютный бюргерский домик, о котором мечтает (в финале мечта эта счастливо сбывается) его невеста Кати. Та же структура и в «Милитоне»: на одном полюсе художественного пространства располагается арена для боя быков, где совершает свои жестокие подвиги Хуанчо, на другом полюсе — бедная девическая комнатка Милитоны; обуреваемый страстями Хуанчо порой вторгается в нее, но, едва переступив порог, сразу как-то теряет силу духа, подчиняясь воле хрупкой девушки, которой служит поддержкой магическое могущество Дома.

Итак, Дом защищен от *страстей*. Своим «оборонительным» отношением к страсти Готье заметно выделяется на фоне европейского романтизма, многие крупнейшие мастера которого, например Байрон или тот же Виктор Гюго, всегда поэтизировали сильные чувства, толкающие человека на героические или преступные деяния, на отчаянную борьбу с другими людьми, с государством, с судьбой и Богом. Эти писатели принимали страсть безусловно и всерьез — Готье же, напротив того, заключает ее в рамки театральной сцены, демонстрируя либо ее условность и надуманность, либо ее бесплодность и бессилие.

Первый, комический вариант посрамления страсти осуществлен в новелле «Эта и та», герой которой, правоверный романтик Родольф, в один прекрасный день решил, что «ему необходимо пылко влюбиться, и страсть у него будет не меркантильная и буржуазная, а артистическая, вулканическая, бурная, и только она придаст завершенность всему его облику и позволит приобрести надлежащее положение в свете». В самом этом замысле уже запрограммирована его неудача: ведь страсть понадобилась герою исключительно напоказ, чтобы придать «завершенность всему его облику» и обеспечить ему «надлежащее положение в свете». Но даже такая пародийная, игрушечная страсть, низведенная до модной безделушки, не может реализоваться в прозаическом буржуазном Париже. Тщетно Родольф изощряется в романтическом чудачестве — планирует поджечь дом своей любовницы, доносит сам на себя ее мужу, ждет жестокой мести с его стороны и даже сам пытается утопиться в Сене, — несмотря на все его усилия, дело фатально сводится к банальному адюльтеру, с его непременными фарсовыми персонажами: скучающей распутной

бабенкой и ее глупо-самонадеянным супругом. Надев маску страстного любовника, Родольф невольно оказался действующим лицом традиционной комедии масок, в которой нет ничего «романтического».

Второй, трагический вариант критики страсти развернут в «Милитоне». Для тореадора Хуанчо страсть — не внешняя маска, а самая суть его личности; да и действие происходит не в скучно-благоустроенной Франции, где романтические чувства возможны только «понарошку», в качестве литературной игры, а в Испании, которая еще не до конца нивелирована буржуазной цивилизацией и сохраняет в сознании своего народа традиционные понятия о любви и чести. Любовь Хуанчо к Милитоне — не наигранная «артистическая, вулканическая, бурная» страсть парижского щеголя Родольфа, а действительно сильное и искреннее чувство, которому автор отнюдь не отказывает в уважении. Однако же это чувство последовательно описывается с помощью расхожих, подчеркнуто условных литературных приемов. Во внешности и поведении Хуанчо прослеживаются чуть ли не все байронические клише, служившие для показа страсти: смертельная бледность на смуглом лице, дикие жесты, вспышки безумной ярости и необоримой силы, перемежающиеся припадками слабости, и т. д. Подобно страсти Родольфа страсть Хуанчо на свой лад также «литературна» и оттого также обречена на поражение. Эта темная, неистовая одержимость, тупое стремление к обладанию вызывают ужас у Милитоны и в конечном итоге ведут к разрушению личности самого Хуанчо. Характерно, что его преследуют роковые неудачи, над ним словно смеется судьба: устранив, казалось бы, своего соперника дона Андреса, поразив его ножом на поединке, он фактически лишь способствовал его знакомству и сближению с Милитоной — раненый Андрес попадает в ее комнату, где она его выхаживает... Фатальные силы, сокрушающие любовь Хуанчо, осуществляют высший закон художественного мира Готье, в котором страсть в противоположность романтическим представлениям уже не составляет положительной ценности.

В поэме Пушкина, также на свой лад развенчивавшего романтический культ неистовой страсти, старый цыган говорит байроническому герою Алеко: «Ты любишь горестно и трудно, а сердце женское — шутя». Любящие «горестно и трудно» терпят моральное поражение и в художественном мире Готье; что же касается

умения любить «шутя», то у французского писателя оно связывается не с женской психологией, а с особым типом героя — легкомысленно-беспечного энтузиаста, который благодаря этому своему легкомыслию сближается с самим автором. В «Милитоне» таков дон Андрес дель Сальседо, богатый и образованный молодой испанец, владеющий всеми навыками британского джентльмена (англичанин в глазах Готье — постоянное олицетворение буржуазного прозаизма, «типичный представитель» безликой промышленной цивилизации XIX века), но внутренне тяготящийся этим и чувствующий себя более непринужденно в «романтической», ярко национальной обстановке, на корриде, в живописной традиционной одежде простого народа. Его любовь к Милитоне поначалу развивается как легкая галантная игра, последнее хождение холостяка перед близкой женитьбой; но ради этого приключения он готов, пусть хотя бы на время, отрешиться от своей привычной среды и приобщиться к среде народной, из мира прозы шагнуть в мир поэзии — и благодаря такой внутренней *подвижности* личности его легкомысленный любовный каприз превращается, в глазах Готье, в подлинное, полноценное чувство, которое сильнее всяких неистовых порывов очаровывает сердце красавицы. Точно так же герой самого популярного произведения Готье, романа «Капитан Фракасс» (1863), пожертвовавший ради любви условностями дворянского кодекса чести и присоединившийся к живописной труппе бродячих комедиантов, в финале обретает и руку своей любимой, и всевозможные богатства и почести в придачу: этими сказочными наградами ему воздается за подвижность души, за способность, словно актер «фантастического театра», стать хотя бы внешне другим человеком, пережить метаморфозу.

Еще дальше устремляются в поисках любви герои таких фантастических новелл Готье, как «Ножка мумии» или «Аррия Марцелла», — не просто в чужую социальную и культурную среду, но в давно ушедшую эпоху, в мир древней цивилизации.

В беседе с Гонкурами Готье говорил о двух видах экзотизма в искусстве: «Первый — это вкус к экзотике места: вас влечет Америка, Индия, желтые, зеленые женщины и так далее. Второй — самый утонченный, развращенность высшего порядка, — это вкус к экзотике времени. Вот, например, Флобер хотел бы обладать женщинами Карфагена, вы жаждете госпожу Парабер, а меня ничто так не

возбуждает, как мумия...»^[6] Этот эротический «экзотизм времени», или, как говорил Готье в другом месте, «ретроспективная любовь», встречается во многих его произведениях, а конкретный мотив любви к мумии — в «Романе о мумии» (1858) и в более ранней, как бы предваряющей его новелле «Ножка мумии».

Новелла содержит в себе очевидную перекличку с «Шагреновой кожей» Бальзака: герой, очутившись в лавке древностей (описание лавки и ее хозяина в ряде черт также совпадает с бальзаковским), приобретает там магический предмет, который играет решающую роль в его дальнейшей судьбе. Однако каждому свое: чудодейственный талисман, доставшийся бальзаковскому Рафаэлю де Валантену или же безымянному рассказчику новеллы Готье, соответствует характеру каждого из них, а также художественной ситуации. Рафаэль де Валантен, как и большинство других героев Бальзака, — человек страсти, на страницах книги он появляется в смятении духа, измученный несчастной любовью и готовый покончить жизнь самоубийством; герой «Ножки мумии» — праздно прогуливающийся литератор, его благополучию и душевному спокойствию ничто не угрожает. Оттого и участь их постигает различная: у Бальзака герой обретает магическое всемогущество, расплачиваясь за него скорой и неотвратимой гибелью, а у Готье — переживает любовное приключение с чудесно воскресшей древнеегипетской царевной, ради которой он, впрочем, готов покинуть привычную обстановку и пуститься в путь, в мир египетской цивилизации. Чары волшебства, рассеявшись в последний момент и обернувшись как будто простым сновидением, вызывают у него всего лишь легкое сожаление о насильственно прерванной метаморфозе.

Герой новеллы «Аррия Марцелла» Октавиан, с которым приключилась сходная история, переживает ее более серьезно. Воспоминание об античной красавице Аррии Марцелле, явившейся ему на развалинах Помпей, глубоко уязвило его душу, и чувство невозвратимой утраты терзает его даже после благополучной женитьбы «на прелестной юной англичанке, которая от него без ума». Дело в том, что Октавиан, в отличие от героя «Ножки мумии», приобщился не просто к древней культуре, но и к миру идеального, где любовное чувство способно отменить смерть, воскресить женщину, погибшую много веков назад со своим городом. «Действительно,

умираешь лишь тогда, когда тебя перестают любить, — говорит Октавиану ожившая Аррия Марцелла; — твое вождение вернуло мне жизнь, властные заклинания, рвавшиеся из твоего сердца, свели на нет разделявшую нас даль». Об этой магической силе любви, открывающей живому человеку доступ в загробный мир, не подозревает добродетельно-безлика супруга героя новеллы, а вместе с нею и вся англоязычная, чуждая всего идеального цивилизация. В художественном мире Готье «слабая», «легковесная» любовь энтузиаста, способного отречься от своей личности и броситься очертя голову в неведомые миры, в конечном счете сильнее, чем самая могучая, самая неукротимая земная страсть. Она сильна своим духовным, идеальным началом.

В новеллах «Ножка мумии» и «Аррия Марцелла» присутствует один повторяющийся сюжетный элемент — персонаж, воплощающий собой *отеческую власть*, который безжалостно кладет конец устремлениям главного героя, прерывая его «ретроспективный» роман; в первой новелле это египетский фараон, отец посетившей рассказчика царевны, во второй — также отец героини, Аррий Диомед. Такая повторяемость мотивов, уже отмечавшаяся в психоаналитических исследованиях творчества Готье, открывает еще одну важную черту его художественного мира; это мир не просто «легкомысленный», но и *инфантильный*, соответствующий переживаниям ребенка, чьи воображаемые метаморфозы оборачиваются иллюзиями, которые рассыпаются в прах (в «Аррии Марцелле» — буквально) при столкновении с реальностью, с властью «взрослых».

Эти метаморфозы, как правило, представляют собой попытки взросления, возмужания, перехода героя в совершеннолетнее состояние. Лишь очень редко такая попытка бывает успешной, — например, у барона Де Сигоньяка (роман «Капитан Фракасс»), сумевшего с честью пройти через все испытания и показать себя мужественным, рыцарственным человеком. Чаще на взрослом поприще героя подстерегает неудача. В «Ножке мумии» и «Аррии Марцелле» хрупкое любовное блаженство бессильно против суровых слов Отца; в «Двух актерах на одну роль» в качестве такого Отца выступает дьявол, и герой новеллы, осмелившийся было кощунственно ему подражать, сразу затем в страхе оставляет опасные театральные подмостки, на которых думал стяжать себе славу. Ничего

не вышло и из попытки взросления Родольфа («Эта и та»); начавшись с того, что герою исполняется двадцать один год (возраст совершеннолетия по французским законам), новелла завершается смиренным возвращением этого незадачливого бунтаря и обольстителя под домашний кров, под присмотр своего друга и служанки, воплощающих родительское здравомыслие и заботу.

Невозможность желанной метаморфозы иногда знаменуется в произведениях Готье прямым разрушением личностного единства героя — вместо перехода в другое состояние у него появляется двойник. Так, в «Двух актерах на одну роль» дьявол выходит на сцену в обличье псевдо-Генриха, а в «Двойственном рыцаре» невидимый двойник постоянно преследует героя и даже в конце концов схватывается с ним в поединке. В данном случае, правда, дело кончается счастливо, но писателю пришлось для этого резко повысить меру условности — и усиленно стилизовать новеллу в духе скандинавской легенды (кстати, «Два актера на одну роль», где конец также благополучный, тоже стилизованы — «под Гофмана»), и присовокупить к ней благочестивую «мораль», сообщающую всей истории поучительный аллегорический смысл. Подчеркнутая, стилизующая условность служит своего рода заклятием: автор говорит «чур» фатальным силам, порожденным законами его же собственного воображения, — силам, которые грозят неотвратимой опасностью герою и с которыми нелегко совладать даже авторской воле.

Чтобы лучше разобраться в содержании неудачных метаморфоз, претерпеваемых героями Готье, рассмотрим чуть подробнее самую первую из его новелл, посвященных этой теме, — «Даниэль Жовар, или Обращение классика».

Как видно из ее заглавия, метаморфоза осмыслиется здесь в качестве «обращения в романтическую веру», отсылая к памятным «битвам классиков и романтиков» во Франции начала 30-х годов. Отрекшись от завещанных традицией классицистических норм, герой из бесцветного, «никакого» делается ярко характерным. Будучи «классиком», Даниэль Жовар не имел никаких приметных черт, его описание строилось в основном по принципу «ни то, ни се»: «Он не отличался ни безобразием, ни красотой, имел пару глаз и пару бровей над ними, посреди лица — нос, а пониже — рот и подбородок, два уха — не больше и не меньше — и волосы самого обыкновенного цвета.

Скажи мы, что он хорошо, сложен, мы бы солгали; но и сказав, что он дурно сложен, мы бы погрешили против истины. Внешность у него была не своя собственная, а всеобщая: он олицетворял толпу, представлял собой типичное воплощение всего безличного, и принять его за кого-то другого было как нельзя легче». После «обращения» его внешность радикально меняется, теперь перед нами карикатурно броский облик «гения»: «...крохотное личико, несоразмерно большой лоб (видимо, в подражание молодому Виктору Гюго. — С. 3.), окладистая борода, развевающиеся волосы, насупленные брови, взор, устремленный ввысь, — так принято изображать байронических гениев... шляпа на нем самая остроконечная из всех ей подобных, борода его хватило бы на трех землекопов, известность его растет пропорционально бороде; если вы сегодня в красном жилете, то завтра он появится в пунцовом фраке. Посмотрите на него, пожалуйста!» Сделавшись «романтиком», герой как будто сблизился с автором (не случаен прямой намек на эпизод биографии самого Теофиля Готье: «если вы сегодня в красном жилете...»); да и вообще новелла эта входила в сборник своего рода дружеских шаржей, где Готье иронически изображал самого себя и своих друзей — энтузиастов-романтиков. В чем же смысл этой иронии и в чем изъясн преображения Даниэля Жовара, ведь никакой отеческой власти в его истории как будто нет?

Фабула новеллы восходит к распространенной во французском романе XVIII века схеме «антивоспитания», воспитания-развращения. По логике такого сюжета превращение Жовара из «классика» в «романтика» соответствует утрате невинности. Действительно, герой новеллы утрачивает свою наивно-«классическую» добродетель под влиянием «литературного» щеголя Фердинанда, который, сам предаваясь утехам плоти, между делом наставляет юного Даниэля в модном романтическом «пороке», каковым он объявляет... литературное творчество: «Нас и потаскух кормит публика, и ремесло наше имеет много общего. Наша общая цель — выкачивать из публики деньги, всячески ее улещивая и соблазняя; есть ведь и стыдливые распутники, которых нужно завлечь, они раз двадцать пройдут мимо двери в непотребное место, не решаясь войти; нужно дернуть их за рукав и сказать: войдите!..» Однако «совращение» Жовара состоялось только в «литературном», условно-эстетическом смысле; если в романе

«антивоспитания» за совращением героя следовали его любовные похождения, то в устремлениях Даниэля, рвущегося к славе и стремящегося завоевать внимание окружающих («посмотрите на него, пожалуйста!»), эротический момент совершенно отсутствует. Собственно, в этом одна из причин его комичности: Даниэль Жовар существо бесполое, и его яркая метаморфоза — всего лишь переодевание деревянной куклы. Но Жовар сам по себе не так здесь и важен: настоящее преображение переживает в новелле не он, а *весь мир*, его окружающий, обновляющийся с приходом новой, романтической культуры. Об этом обновлении мира в 30-х годах Готье ностальгически вспоминал в конце жизни: «Нынешнему поколению трудно себе представить, какое тогда происходило кипение умов. Движение, образовавшееся в те годы, можно уподобить лишь духовному взлету эпохи Возрождения. Везде неистово бурлили соки новой жизни. Все разом прорастало, распускалось и созревало. Цветы источали одуряющий аромат, воздух пьянил, вдохновение кружило голову, искусство сделалось истинным наслаждением. Казалось, что заново открыта какая-то великая утерянная тайна. Да так оно и было: люди вновь обрели поэзию». Именно с высоты этого обновления молодой Готье добродушно подтрунивает над восторженностью романтической молодежи, выставляя ее в комически-кукольном образе новообращенного Даниэля Жовара. Эпоха — так по крайней мере воспринимал ее писатель — позволяла быть инфантильным, позволяла радостно играть в культуру, делая из нее веселый маскарад, вроде того, что учинил Готье на премьере «Эрнани».

Но время шло, и период «бури и натиска» французского романтизма быстро отступал в прошлое. В 40-е годы, в новелле «Листки из дневника художника-недоучки» Готье вернулся к сюжету «Даниэля Жовара»: искушение искусством, яркими красками Рубенса уподобляется чувственному соблазну и восстанию против учительской (отеческой) власти, — но это восстание «художника-недоучки», застигнутого на месте преступления, быстро заканчивается его капитуляцией перед блюстителями классического благообразия. Тогда же, в повести «Без вины виноват», писатель вновь обратился и к сюжету об «антивоспитании», но уже не связывая его со становлением новой культуры. Как в средневековой мистерии, в повести за душу главного героя — Дальберга — борются добрые и злые, истинные и

ложные наставники. Интриган и авантюрист Рудольф Гюбнер совместно с модной куртизанкой Аминой^[7] пытаются втянуть юношу в разврат, чтобы, скомпрометировав его, отнять у него богатую невесту; их козням противостоит современная добрая фея — прекрасная и самоотверженная Флоранса, которая не только выручает Дальберга из всех ловушек, не только втайне налаживает его расстроенные денежные дела, но и внушает ему правильные понятия буржуазной морали и «перевоспитанным» возвращает невесте — своей подруге детства. Вместо суровой отеческой власти — благодетельная материнская... Откровенный буржуазный конформизм, утверждаемый в повести, резко контрастирует с романтическим бунтарством раннего Готье и показывает, сколь скудны результаты воспитания, если оно происходит даже при участии романтической героини (Флорансы), но в обществе, где больше не имеют хождения романтические ценности. Недостает чувства исторического обновления, недостает *поэтической среды*, и недаром Дальберг, узнав уже после своей свадьбы, что уехавшая в Америку Флоранса сама любила его, горестно вздыхает: «Как жаль, что Париж не Константинополь!» В Константинополе, на поэтически ярком Востоке, все действительно было бы легче, там герой мог бы, отбросив европейские условности, взять в жены сразу всех женщин, которые ему нравятся: и свою скучно-добродетельную невесту, и благородную, отверженную обществом Флорансу, и даже, может быть, порочно-обольстительную Амину...

Дальберг оказался в ситуации мифологического героя Париса, которому пришлось выбирать красивейшую из трех явившихся ему богинь. Такая чуть комичная, характерно инфантильная ситуация равной любви к нескольким женщинам сразу постоянно повторяется в прозе Готье: и в «Этой и той», и в аналогичной по заголовку новелле «Которая из двух?». Если в первом случае герой все же сумел в финале выбрать между блестящей и фальшивой г-жой де М*** и нежной служанкой Мариеттой, то во втором сделать такой выбор для героя решительно невозможно: две очаровательные сестрицы-англичанки, в которых он одновременно влюблен (Англия вновь символизирует усредненно-безличную, «никакую» культуру), ничем принципиально не отличаются друг от друга, и тут уж впору не выбирать, а платонически обожать абстрактную идею, «обольстительный призрак

— плод единения двух прекрасных девушек»... Подобное «единение» удалось осуществить наяву благодаря волшебным чарам герою другого произведения Готье, стилизованной арабской сказки «Тысяча вторая ночь»: любимые им принцесса и служанка в конце концов сливаются в фигуре прекрасной пери, попеременно принимающей два разных облика. В тех же случаях, где у писателя нет этой ситуации колебания между «этой» и «той», там бушуют темные и губительные страсти. Андрес дель Сальседо, отвергнув свою скучную буржуазную невесту, отдает предпочтение простой девушке Милитоне, встреченной на корриде; у его соперника Хуанчо такого любовного выбора нет, все его чувства устремлены в одну точку, но таков уж художественный мир писателя, что постоянство в любви равняется здесь духовной косности и кончается катастрофой. Герой новеллы «Ночь, дарованная Клеопатрой», в отличие от Хуанчо, не только страстный любовник, но и искатель идеала; однако и его любовь не знает альтернатив, поглощена одним-единственным предметом — равнодушной и безжалостной царицей смерти Клеопатрой. И даже когда подобный сюжет пародируется в «Мадемуазель Дафне де Монбриан» — вместо прекрасной и властительной древней царицы здесь просто модная кокетка, увлекающая в губительные сети молодого итальянского князя, — пародия лишь внешним образом снимает остроту ситуации, внутренне она не изжита. Положительно Теофиль Готье не лукавил, когда признавался не раз, что в вопросах любовной морали он «турок»: в его творчестве идеалом всегда является более или менее откровенно выраженный восточный гарем, тогда как «европейская», моногамическая любовь, как правило, до добра не доводит...

Проблема эта не так легковесна, как может показаться, — вернее, у Готье сама «легковесность» заключает в себе существенный исторический смысл. На заре французского романтизма Шатобриан писал о «смутности», неопределенности страстей как специфической черте современного человека. Сам он видел в этом род нравственного недуга; поздний романтик Готье, подхватив его наблюдение, дал «смутности страстей» противоположную, положительную оценку. В нерешительности его героев, колеблющихся между «этой» и «той», сказывается ощущение относительности культурных ценностей, ибо герой Готье всегда живет не столько любовью как таковой, сколько культурой.

В эпоху романтизма в европейской культуре впервые сложилось представление о многообразии и богатстве культуры, складывающейся из множества различных исторических и национальных форм и традиций. Ни одна из этих традиций не может рассчитывать на привилегированное положение, освященное авторитетом религии: все религии тоже признаются формами культуры и, следовательно, равны между собой. Поздний романтик готов поклоняться всем богам и именно поэтому не может по-настоящему верить ни в одного из них; вспомним мысль Генри Джеймса, что Готье не был способен ни к богохульству, ни к богопочитанию. Его «легкомысленный» энтузиазм, стремление объять все многообразие культуры, восхититься любимыми, самыми экзотическими ее творениями — позиция, конечно, уязвимая с точки зрения абстрактной морали. Стоящего на ней легко упрекнуть в эстетизме, в нежелании делать выбор, брать на себя ответственность за него, признавать что-либо священным и непреложным. Готье и его любимые герои хотят, оставаясь взрослыми, сохранить детскую широту восприятия, способность *играть* с различными вариантами человеческой судьбы; их завораживает мечта о полноте существования, манящий идеал которого чудится им то в кипучем энтузиазме романтиков 30-х годов, то в экзотических цивилизациях древних эпох и дальних стран. Это характерно утопическое мировосприятие мало пригодно для реальной практической жизни и даже порой чревато опасными искажениями духовной перспективы, но оно обладает неотразимой привлекательностью как романтическая греза об идеале, позволяющем человеку вобрать в себя все многообразие бытия. Лучшее в творчестве Теофиля Готье — именно эта мечта о свободном, неотчужденном уделе человека в мире.



НОВЕЛЛЫ



ДАНИЭЛЬ ЖОВАР, ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ КЛАССИКА

*Пылающую кровь волнует вдохновенье!
Сойдясь на струнный зов, божественные тени*

—

*Хор непорочных Муз и лирник Аполлон —
Перенесут меня на беотийский склон,
Где укрепят во мне порыв самозабвенный
И утолят мой жар струю Иппокрены
Под сенью миртовой, и я останусь там,
Чтоб эхо чуткое учить своим стихам.*

(Даниэль Жовар, до обращения)

*Ненасытного голода не поборю я —
Раздавить на зубах эту кожу гнилую,
Сунуть жадные губы в дырявую грудь,
Черной крови из мертвого сердца хлебнуть!*^[8]

(Тот же Даниэль Жовар, после обращения)

Я знавал, и знаю еще и поныне, одного достойного молодого человека, которого действительно зовут Даниэль Жовар, — именно так, а не иначе, — к его великой досаде; ибо если вы на гасконский лад вместо «в» произносите «б», то этого достаточно, чтобы из двух незадачливых слогов его фамилии получился эпитет, не слишком для него лестный.^[9]

Отец, наградивший его этой злосчастной фамилией, был торговец скобяным товаром и содержал лавку в одном из тех узких переулков, что выходят на улицу Сен-Дени. А так как он сколотил себе состояньице продажей медной проволоки к дверным звонкам и дверных звонков к медной проволоке, дослужился до чина сержанта национальной гвардии и вознамерился стать избирателем, то и полагал, что высокое звание гражданина с имущественным цензом,

сержанта в настоящем и избирателя в будущем обязывает дать «обррразцовое», по его выражению, воспитание юному Даниэлю Жовару, непременно наследнику стольких льгот, уже имеющихся или имеющих быть.

Правда, по словам его отца и матери, трудно было сыскать второе такое чудо света, как юный Даниэль Жовар.

Мы же, глядя на него сквозь призму родительского пристрастия, скажем, что это был упитанный, толстощекий детина, добрый малый в полном смысле слова, которого и врагам нелегко очернить, но и друзьям очень трудно восхвалять. Он не отличался ни безобразием, ни красотой, имел пару глаз и пару бровей над ними, посреди лица — нос, а пониже — рот и подбородок, два уха — не больше и не меньше — и волосы самого обыкновенного цвета. Скажи мы, что он хорошо сложен, мы бы солгали; но и сказав, что он дурно сложен, мы бы согрешили против истины. Внешность у него была не своя собственная, а всеобщая: он олицетворял толпу, представлял собою типичное воплощение всего безличного, и принять его за кого-то другого было как нельзя легче.

В его одежде не было ничего примечательного, ничего привлекающего взор, она служила только для прикрытия наготы. О щегольстве, изяществе и элегантности не стоит и говорить; слова эти покамест не расшифрованы в той, еще нецивилизованной, части света, что зовется улицей Сен-Дени.

Он носил белый муслиновый галстук, воротничок, который своими двумя треугольниками из туго накрахмаленного полотна величественно подпирали уши; полушерстяной жилет канареечного цвета с воротником шалью, шляпу с расширяющейся кверху тульей, васильковый фрак, темно-серые панталоны, не доходившие до лодыжек, ботинки на шнурках и замшевые перчатки. Что касается носков, то, признаться, они были синие, и, если вас удивит, почему он выбрал этот цвет, я скажу напрямик: потому что это были носки из его «приданого» для коллежа, которые он теперь донашивал.

Часы он носил на металлической цепочке, тогда как истый прожигатель жизни должен носить на элегантной шелковой тесьме только символ часов, отданных в залог, — ломбардную квитанцию.

Он исправно переходил из класса в класс, но по обычаю остался на второй год в классе риторики и столько же раз корпел над заданным

в наказание уроком, столько же раз бывал бит и сам бил, сколько всякий другой. Я могу охарактеризовать его вам одним словом: «зубрила». Латынь и греческий язык он знал не лучше нас с вами, и притом довольно плохо знал французский.

Как видите, юный Даниэль Жовар был личностью, подающей большие надежды.

Учение и труд сделали бы его восхитительным коммивояжером или изумительным младшим помощником стряпчего.

Он был отчаянный вольтерьянец, как и его папенька — человек с положением, сержант, избиратель и собственник. В коллеже Даниэль прочитал потихоньку «Девственницу» и «Войну богов», «Руины» Вольнея и другие подобные книги: вот почему он и был вольнодумец, как г-н де Жуи, и враг попов, как г-н Фонтан. «Конститюсьонель» меньше боялся иезуитов в рясе и без рясы, чем наш Даниэль; он видел их всюду. В литературе он придерживался столь же передовых воззрений, как в политике и религии. Он не говорил: «господин Никола́ Буало», но запросто: «Буало»; он совершенно всерьез стал бы уверять вас, что романтики после триумфа «Эрнани» плясали вокруг бюста Расина; если бы Даниэль потреблял табак, он бы непременно нюхал его из табакерки Тукé, он находил, что «боец» — отличная рифма к «венéц», его вполне устраивала «держава», за которой следовала или которой предшествовала «слава»; будучи французом, стало быть, зубоскалом от природы, он особенно любил водевиль и комическую оперу, этот национальный жанр, как утверждают фельетоны; но очень любил также баранье рагу с чесноком и пятиактную трагедию.

В воскресные вечера любо-дорого было слушать, как он громит в комнате за отцовской лавкой развратителей вкуса, реакционных новаторов (в 1828 году Даниэль был во цвете лет), этих вельшей, вандалов, готов, остготов, вестготов и т. п., которые хотят вернуть нас к варварству, к феодальному строю и заменить язык великих мастеров слова — непонятным жаргоном-ублюдком; но особенно хороши были в такие минуты остолбенелые от изумления родители Даниэля и сосед с соседкой.

Бесподобный Даниэль Жовар! Он скорее стал бы отрицать существование Монмартра, чем Парнаса; отрицал бы, что его молоденькая кузина, в которую согласно традиции он был очень

влюблен, — девственница, но не усомнился бы в невинности ни одной из девяти муз. Славный малый! Не знаю, право, во что только он не верил при всем своем свободомыслии. Правда, в Бога он не верил; зато верил в Юпитера, равно как и в г-на Арно и в г-на Баура; он верил четверостишиям маркиза де Сент-Олера, тому, что театральные инженерюшки на самом деле молоды, верил в обращения г-на Жея, он верил всему, даже обещаниям зубодеров и венценосцев.

Иметь более допотопные взгляды и более походить на ископаемое, чем он, было невозможно. Если бы он написал книгу и снабдил ее предисловием, он на коленях просил бы у публики прощения за свою великую дерзость, за эти — сказал бы он — слабые опыты, эти беглые наброски, эту робкую пробу пера; ибо, вдобавок ко всему вышеперечисленному, он верил еще и в читающую публику, и в грядущие поколения.

Чтобы закончить этот длинный психологический анализ и дать исчерпывающее представление о человеке, скажем, что он премило пел «Реку Тахо» и «Чувствительную женщину», декламировал рассказ Терамена не хуже, чем бородатый г-н Демуссо, весьма успешно рисовал нос Юпитера-Олимпийца и был очень приятным партнером в лото.

В этих восхитительных и патриархальных занятиях текли дни Даниэля Жовара, шитые шелком и золотом (старинный стиль!) и совершенно одинаковые; ни одна волна не вскипала на ровной глади его души, никакая мужская страсть не вздымала его мужскую грудь; он никогда еще не просил у женщины дозволения припасть своим гениальным челом к ее коленям. Он ел, пил, спал, переваривал пищу и классически отправлял свои жизненные функции: никто не разгадал бы под этой грубой оболочкой черты будущего великого человека.

Но одной искры достаточно, чтобы взорвать бочку с порохом: при виде меча в юном Ахилле пробудился дух воина — вот таким-то манером пробудился и гений знаменитого Даниэля Жовара.

Он пошел во Французский театр, чтобы образовать свой вкус и облагородить свой язык, а на какую пьесу — я, право, запомнил; то есть я очень хорошо помню, на какую, но не скажу: боюсь излишней точности в описании действующих лиц; а сидел он, тридцатый по счету, в одном из рядов партера, сосредоточенный и внимательный, как провинциал.

В антракте, тщательно протерев большой, обтянутый шагренью отцовский бинокль в роговой оправе, он стал разглядывать редких зрителей, рассеянных в ложах и на галерее.

В ложе у авансцены расположился, беззастенчиво выставя себя напоказ и пренебрегая направленными на него биноклями, какой-то молодой щеголь, беспечно игравший своим золотым с эмалью лорнетом.

Одет он был эксцентрично и весьма изысканно. Странного покроя фрак, подбитый бархатом и вызывающе распахнутый, открывал яркий жилет, сшитый наподобие камзола; черные узкие панталоны туго обтягивали бедра; на груди его поблескивала золотая цепь, будто знак рыцарского ордена: черный атласный галстук был завязан прямо на шее, — наперекор тогдашней моде лицо этого щеголя не обрамлял белый воротничок.

Он напоминал портреты Франца Порбуса. Прическа как у Генриха III, окладистая борода, брови вразлет, узкая белая рука, на пальце — большой, старинной работы перстень с печаткой, — чего ж вам больше? Иллюзия — полная.

После долгих колебаний — настолько неузнаваемым делал этот сногсшибательный наряд знакомое прежде лицо — Даниэль Жовар пришел к выводу, что изысканный молодой человек в ложе не кто иной, как Фердинанд де С***, с которым он учился в коллеже.

Читатель! Я вижу, вы готовы выступить вперед и уличить меня в неправдоподобии сюжета. Вы скажете: что за вздорная мысль поместить в ложе у авансцены Французского театра — притом в день представления классической пьесы — модного льва, принадлежащего к новой литературной школе! Вы скажете, что к такому искусственному приему вынудила меня необходимость столкнуть с этим персонажем моего героя Даниэля Жовара. Да мало ли что вы еще скажете: и то и се, и вообще — разные разности.

Но... слово дворянина! —

Я холоден, как рыба к апельсину.

Ибо моя логика держит за пазухой, готовясь бросить его вам в лицо, сильнейший аргумент из всех когда-либо изобретенных

человеком, сознающим свою неправоту.

Итак, вот вам неотразимый довод, объясняющий, почему Фердинанд де С*** очутился в тот вечер во Французском театре.

У Фердинанда была любовница, — донья Соль в своем роде, а ей оказывал покровительство «один вельможа пожилой, почтенный и ревнивый», и навещать ее Фердинанд мог только с великим трудом, к тому же постоянно опасаясь, что их застигнут врасплох.

А следовательно, он назначил ей свиданье во Французском театре, как в самом уединенном и малолюдном месте во всех частях света, включая Полинезию; ведь терраса Фельянов и каштановая роща у воды пользуются такой всевропейской известностью как места сугубо уединенные, что там и шагу нельзя ступить, не отдавив кому-нибудь ногу или не задев локтем сентиментальную парочку.

Уверяю вас, это единственный довод, который я могу вам предложить, и второго я для вас искать не стану; стало быть, вы крайне меня обяжете, если удовлетворитесь этим.

Итак, продолжаем эту правдивую и удивительную историю. В антракте модный лев вышел, вышел и весьма заурядный Даниэль Жовар; модные львы и заурядные людишки, великие мужи и узколобые педанты часто поступают одинаково. По воле случая они встретились в фойе. Даниэль Жовар поклонился первым и шагнул к Фердинанду; когда же Фердинанд заметил этого Дунайского мужика в новом обличье, он на секунду заколебался и чуть не дал тягу, уже повернулся спиной, чтобы избежать необходимости узнать Жовара; однако, оглядев фойе и убедившись, что оно совсем пусто, он покорился судьбе, и не сдвинувшись с места, дождался бывшего товарища; и это был один из прекраснейших поступков в жизни Фердинанда де С***.

Перебросившись несколькими незначащими замечаниями о том и о сем, они, естественно, заговорили о спектакле. Даниэль Жовар искренне восхищался пьесой и был крайне удивлен, что его друг Фердинанд де С***, к которому он всегда относился с большим доверием, придерживается совершенно противоположного мнения.

— Милый мой, — говорил Фердинанд, — это не просто ходульно, это ампирно, это помпадурно, это архаично, это рококо! Надо быть мумией или окаменелым ископаемым, академиком или помпейскими древностями, чтобы получать удовольствие от такой галиматьи. И

несет от всего этого таким холодом, что брызги фонтана замерзают на лету; эти голенастые, вихляющие гексаметры, которые ковыляют рука об руку, будто инвалиды, идущие из трактира, — один везет на себе другого, а мы везем на себе все, — это же, поистине, нечто дерьмоподобное, как сказал бы Рабле; эти неуклюжие существительные с неотъемлемыми прилагательными, которые следуют за ними, как тени, эти манерные перифразы с подчиненными им перифразами-шлейфоносицами; им, видите ли, плевать на страсти героев и драматические ситуации! А эти заговорщики, которым взбрело в голову ораторствовать полным голосом под портиком дворца тирана, — правда, он очень старается ничего не услышать; а эти принцы и принцессы с наперсниками и наперсницами по бокам, а удар кинжалом и заключительный рассказ в благозвучных стихах, прилизанных на академический манер, разве это не дикая гадость и скука, от которой даже стены сводит зевотой?

— А Аристотель, а Буало, а все эти бюсты? — робко возразил Даниэль Жовар.

— Ну и что ж! Они писали на потребу своего времени; явись они сегодня на свет, они, вероятно, писали бы прямо противоположное тому, что тогда; но они мертвы и погребены, как Мальбрук и многие им подобные, о ком уже и помину нет; ну и пусть спят, как спим мы, усыпленные их творениями; не спорю, это великие люди, они приманивали своих современников-простаков на сахар, а нынешние любят перченное, ну и подавай им перченное; вот и весь секрет литературных течений. Тринк!^[10] — вещает оракул Божественной бутылки, — и в этом вся суть бытия; пить, есть — вот цель, остальное — лишь средство, и безразлично, достигается ли цель средствами трагедии или драмы; правда, на трагедию нынче нет спросу. На это ты мне скажешь, что можно быть холодным сапожником или продавцом спичек, это дело более почтенное и верное; согласен, но ведь не всякий может быть сапожником или продавцом спичек, да и этому надо научиться. Единственная профессия, которая не требует обучения, это профессия писателя, — достаточно кое-как знать французский и чуть-чуть грамматику. Вы хотите написать книгу? Возьмите несколько книг, — совет мой существенно отличается от того, что говорит «Поваренная книга»: «Вы хотите рагу из дичи? Возьмите зайца, одну тушку...»

А вы сдираете листик здесь, листик там, составляете предисловие и послесловие, подписываетесь каким-нибудь псевдонимом, объявляете, что вы померли от чахотки или всадили себе пулю в лоб, подаете вашу стряпню с пылу, с жару, и в итоге вы сфабрикуете из всего этого такой смачный успех, какого не видел мир. Есть одна вещь, которая требует тщательной отделки: эпитафии. Ставьте эпитафии на английском, немецком, испанском, на арабском даже; если вам удастся раздобыть эпитафию на китайском языке, это возымеет чудесное действие, и, не будучи Панургом, вы незаметно приобретете упоительнейшую репутацию ученого и полиглота, — вам остается только умело ею пользоваться. Ты удивлен, таращишь на меня глаза? Наивный и простодушный, ты, как добропорядочный буржуа, верил, что вся штука в том, чтобы честно трудиться, ты не забыл ни «*popum prematur in annum*»^[11] ни «творения свои двадцать раз переделывайте»; сейчас не то: сочинитель за три недели кропает книжицу, которую прочитывают за час и забывают через несколько минут. Но ты, помнится, пописывал в коллеже стишки? Ты, наверное, и сейчас стихотвор, — от этой привычки так же трудно избавиться, как и от привычки к табаку, картам и девкам.

Тут на щеках г-на Даниэля Жовара заиграл девственный румянец. Фердинанд, который это заметил, продолжал:

— Я хорошо знаю, какое всегда испытываешь унижение, когда тебя уличают в причастности к поэзии или хотя бы к версификации, — нам ведь неприятно, когда срывают покров с наших постыдных дел. Но раз это есть, нужно извлечь пользу из своего срама, попытаться обратить его в монету, в блестящие, полновесные экю. Нас и потаскух кормит публика, ремесло наше приносит немалый доход. Наша общая цель — выкачивать из публики деньги, всячески ее улещивая и соблазняя; есть ведь и стыдливые распутники, которых нужно завлечь, они раз двадцать пройдут мимо двери в непотребное место, не решаясь войти; нужно дернуть их за рукав и сказать: войдите! Есть нерешительные, колеблющиеся читатели, их должны подстегивать наши сводни (это газеты), которые выхваляют достоинства книги, модный жанр и, взяв читателя за плечо, вталкивают его в публичный дом книгопродавцев; коротко говоря, нужно уметь за себя постоять и раздуть кадило...

Звонок оповестил, что занавес поднят, Фердинанд сунул Даниэлю Жовару свою визитную карточку, сказав, что просит к нему заходить, и скрылся. Через минуту в ложу у авансцены явилась его богиня, они задернули драпировки и... Но мы обещали рассказать читателю историю о Жоваре, а не о Фердинанде.

Даниэль вернулся после спектакля в отцовскую лавку уже не тем, каким оттуда вышел. Бедный юноша! Он ушел из дому с верой и принципами, а вернулся опустошенный, колеблющийся, подвергая сомнению самые основы своих убеждений.

Он не спал всю ночь, ворочался о бок на бок, словно карп, поджариваемый на рашпере. Все, чему он доныне поклонялся, было осмеяно, поругано; он был точь-в-точь как семинарист, очень глупый и очень набожный, который ненароком услышал рассуждения атеиста о религии.

Речи Фердинанда пробудили к жизни те еретические семена бунта и неверия, что дремлют на дне сознания каждого человека. Как дети, приученные верить, будто они рождаются в капусте, дают волю необузданному юному воображению, едва они поймут, что их обманывали, так и чопорный классик, каким был прежде — и даже еще вчера — Жовар, стал из протеста самым ярким поборником «Молодой Франции», самым неистовым романтиком, превзойдя всех, кто когда-либо подвизался в качестве клакера на премьере «Эрнани». Каждое слово в разговоре с Фердинандом открывало новые перспективы перед его умственным взором, и хоть он еще смутно понимал, что виднеется на горизонте, это не мешало ему верить, что там земля Ханаанская поэзии, куда ему доселе не дано было проникнуть. В невообразимом смятении чувств он нетерпеливо ждал, чтобы розоперстая Аврора отворила врата Востока; наконец любовница Кефала позволила бледному лучу света пробиться сквозь желтые, закопченные стекла в комнате нашего героя. Впервые в жизни он был рассеян. Его позвали завтракать. Он ел как попало и единым духом проглотил чашку шоколада вслед за плохо прожеванной отбивной котлетой. Старики были крайне изумлены, так как жеванье и пищеваренье превыше всего занимали их прославленное чадо. Папенька с лукавым и насмешливым видом улыбался — улыбкой человека с положением, сержанта и избирателя; он думал, что его малыш, бесспорно, влюблен.

О Даниэль! Посмотри, как ты преуспел в своем развитии с первого же шага; тебя уже не понимают, стало быть, ты в таком же положении, как и элегический поэт! Впервые о тебе что-то подумали, и притом подумали неверно. О великий муж! Тебя заподозрили в том, что ты влюблен в какую-нибудь басонщицу, самое большее, в модисточку, а ты влюблен в Славу! Ты уже воспарил на высоту своего гения над этими низменными буржуа, словно орел над птичником! Отныне ты можешь называть себя художником, теперь и для тебя существует *profanum vulgus*.^[12]

Как только Даниэль решил, что настал час визитов, он направил свои стопы к жилищу приятеля. Было уже одиннадцать, а Фердинанд еще не поднялся с постели, что невероятно удивило нашего наивного юнца. В ожидании хозяина он осмотрел комнату, куда его ввели; она была обставлена мебелью причудливой формы в стиле Людовика XIII, японскими вазами, увешана узорными коврами, заморским оружием, фантастическими акварелями, изображающими хоровод на шабаше ведьм и сцены из «Фауста», и наполнена уймой каких-то никчемных предметов, о существовании которых Даниэль Жовар не имел понятия и не догадывался, для чего они служат: кинжалами с трехгранным клинком, трубками, кальянами, кисетами и еще множеством подобной же бутафории; в то время Даниэль еще свято верил, что кинжалы запрещены полицией и что курить, не нарушая приличий, дозволено только морякам. Его пригласили войти в кабинет. Фердинанд кутался в халат из старинного штофа, на котором были вытканы драконы и китайские мандарины, попивающие чай; ноги свои в пантуфлях с затейливой вышивкой он задрал на белую мраморную доску камина, так что сидел как бы на голове. Он лениво покуривал маленькую испанскую сигарету. Пожав руку своему однокашнику, он взял из лаковой шкатулки щепотку золотисто-желтого табака, завернул в листочек бумаги, который вырвал из своей записной книжки, и преподнес этой чистой душе, Даниэлю; а тот не посмел отказаться. Бедняга Жовар — он ведь сроду не курил — исходил слезами, как дырявый кувшин водою, но благочестиво глотал дым. Он отплевывался и чихал ежеминутно, и делал такие забавные гримасы, что напоминал обезьяну, принимающую лекарство. Когда он докурил свою сигарку, Фердинанд попробовал было угостить его еще одной, но не уговорил; разговор, как и накануне, снова зашел о литературе. В ту

пору было так же принято говорить о литературе, как в наше время — о политике, а в старину о том — быть ли ненастью или вёдру; собеседникам всегда нужна какая-то тема, какая-то канва для вышиванья своих мыслей.

Тогдашнее общество было одержимо безудержным прозелитизмом: все жаждали проповедовать всем, хоть своему водоносу; случалось, молодые люди проводили часы свиданья в рассуждениях, когда могли бы употребить время на нечто совсем иное. Этим и объясняется, почему Фердинанд де С***, денди и светский человек, не пожалел трех или четырех часов своего драгоценного времени, чтобы просветить бывшего — и к тому же ничем не примечательного — школьного товарища. Двумя-тремя фразами он приобщил его ко всем тайнам ремесла, а заодно и к закулисным его сторонам; он научил Даниэля казаться «средневековым», объяснил, какими способами можно придать себе значительность и характерность; посвятил его в глубокий смысл арготизмов, вошедших в употребление на этой неделе; сказал ему, что такое «прием», «шик», «линия», «мастерство», «артист» и «артистичность»; растолковал, что значит «ходульный», «распатроненный», «заклейменный», открыл ему обширный лексикон одобрительных и порицательных формул: «светозарный», «трансцендентальный», «апофеозно», «сногшибательно», «потрясающе», «изничтожающе» и еще пропасть других выражений, которые скучно здесь перечислять; он описал Даниэлю путь человеческого духа в его последовательности — от подъема до упадка: так, в двадцать лет вы поборник «Молодой Франции», до двадцати пяти лет — прекрасный и скорбный юноша, а от двадцати пяти до двадцати восьми — Чайльд-Гарольд, если только вы житель Сен-Дени или Сен-Клу; затем вас со счетов сбрасывают, и вы катитесь вниз соответственно шкале нижеследующих эпитетов: «бывший человек», «ветошь», «пудренный пиита», «стародум», «этриск», «сапожник», «болван» — и в итоге оказываетесь на последней ступени падения, отмеченной самым оскорбительным эпитетом: «академик и член Французского Института», что неминуемо произойдет с вами годам к сорока; все это было преподано Жовару за один урок. О, Фердинанд де С*** был искусным наставником!

Даниэль, правда, пытался возражать, но Фердинанд отвечал с таким апломбом, с такой быстротой, что, если бы он захотел внушить

вам, дорогой читатель, будто вы круглый дурак, ему понадобилось бы на это четверть часа — меньше, чем мне, чтобы это написать. Отныне юным Даниэлем завладело честолюбие — самое ужасное честолюбие, когда-либо терзавшее человеческое сердце.

Вернувшись домой, он застал отца за чтением «Конститюсьонеля» и обозвал его национальным гвардейцем! После первого же урока употребить национального гвардейца как ругательство! И это сделал он, воспитанный в духе истинного патриотизма, в благоговении перед штыком «гражданина»! Какой огромный прогресс, какой гигантский шаг вперед! Он стукнул кулаком по своей печной трубе (своей шляпе), скинул фрак и поклялся, что никогда в жизни больше его не наденет; он поднялся к себе в комнату, открыл комод, вынул все свои рубашки и безжалостно гильотинировал их с помощью маменькиных ножниц, напроць отрезав воротнички. Он растопил камин, сжег своего Буало, своего Вольтера и своего Расина, все имевшиеся у него классические стихи, чужие и собственные, а те, что послужили нам эпиграфом, только чудом избежали этого сожжения чохом. Он замкнулся в своей комнате и прочитал все новые книги, взятые у Фердинанда, дожидаясь, чтобы отросла приличная эспаньолка, с которой он мог бы предстать перед миром. Эспаньолка заставила себя ждать полтора месяца; она была еще не очень густая, но, по крайней мере, свидетельствовала, что у Даниэля есть намерение отрастить бороду, и это его устраивало. Он заказал у портного Фердинанда все предметы мужского туалета согласно последней романтической моде и, получив их, с восторгом переоделся и поспешил к приятелю. На всем протяжении улицы Сен-Дени прохожие столбенели; здешние люди не привыкли к подобным новшествам. Даниэль величаво шествовал, а за ним по пятам с криком бежала толпа огольцов; но он даже не замечал их, настолько был он уже забронирован от нападков света и презирал общество: второй шаг вперед!

Когда он пришел к Фердинанду, тот поздравил его с происшедшей в нем переменой. Даниэль сам попросил сигару и доблестно ее выкурил. Желая завершить то, что было столь триумфально начато, Фердинанд перечислил ему приемы и «рецепты», характерные для различных стилей, как в прозе, так и в поэзии. Он научил его подделываться под возвышенный стиль мечтателя, под задушевно-

интимный тон, под художника, писать «под Данте», в роковом стиле — и все это за одно утро! Мечтательно сопутствуют: челн, озеро, ива, арфа, женщина, тающая от чахотки, и несколько стихов из Библии; задушевно-интимному сопутствуют другие аксессуары: горькая нужда, ночной горшок, глухая стена, разбитое окошко, пригоревший бифштекс или любое другое, столь же острое духовное разочарование; образ же художника создается так: вы открываете наудачу первый попавшийся каталог картинной галереи и выписываете оттуда фамилии живописцев, оканчивающиеся на «и» или на «о». Особенно рекомендуется называть Тициана — Тициано, а Веронезе — Паоло Кальяри; если же вы пишете «под Данте», то употребляйте почаще «итак», «ежели», «но, се!», «следственно», «посему», а для рокового стиля каждую строчку шпигуйте восклицаниями «ох», «ах», «анафема», «проклятие!», «геенна огненная!» и так далее, пока не выдохнетесь.

Затем он объяснил, как достигается богатая рифма; разобрал несколько стихотворений и научил Даниэля искусно забрасывать ногу одного александрийского стиха на шею другого, который следует за ним, — так балерина в оперном театре, заканчивая свой пируэт, чуть-чуть не попадает в нос танцовщицы, порхающей за ее спиной; Фердинанд развернул перед Даниэлем пламенеющую палитру красок: черный, красный, голубой, все цвета радуги, поистине — павлиний хвост; он заставил Жовара выучить наизусть кое-какие термины анатомии, чтобы сколько-нибудь грамотно описывать труп, и отпустил его домой в звании мастера веселой науки романтизма.

Страшно подумать! Несколько дней оказалось достаточно, чтобы уничтожить убеждения многолетней давности; но способны ли вы не отречься от веры, когда ее выставляют в смешном виде, особенно, если богохульник говорит быстро, громко, долго и остроумно, принимает вас в роскошных апартаментах и одет в умопомрачительно элегантный костюм?

Даниэль поступил, как все записные недотроги: стоит им разок оступиться, они сбрасывают маску и становятся такими бесстыдными распутницами, каких еще не видел мир; он почитал своим долгом быть романтиком в особенности потому, что прежде был классиком, и ему именно принадлежит навеки памятное изречение: «Что за негодяй этот Расин! Если бы я его встретил, я отстегал бы его хлыстом!» И другое,

не менее знаменитое: «Классиков на гильотину!» — которое он прокричал, стоя на кресле в партере, во время представления «Кастильской чести». Так или иначе, он и впрямь перешел от самого последовательного вольтерьянства к самому каннибальскому и яростному гюгопоклонству.

Доселе у Даниэля Жовара был лоб как лоб: но подобно господину Журдену, говорившему прозой, не подозревая об этом, Жовар не обращал ни малейшего внимания на свой лоб. Он был ни чрезмерно высоким, ни слишком низким, это был лоб-честняга, который ни над чем особенно не задумывался. Но Даниэль решил сделать себе необъятный лоб, чело гения, взяв за образец лбы великих людей прошлого. Для этого он выбрил волосы спереди на один-два дюйма, отчего лоб на столько же дюймов увеличился; кроме того, он совсем оголил виски; в итоге у него образовалась такая гигантская макушка, какая ему требовалась.

А так как он обзавелся огромным лбом, им овладела столь же огромная жажда славы, если не подлинно высокой, то хотя бы печальной славы.

Но как решиться бросить в гущу публики — беспечной и насмешливой — пять дурацких букв, образующих его фамилию? «Даниэль» — это куда ни шло, но «Жовар»! Что за мерзкая фамилия! Попробуйте подписать ею свою элегию: «Жовар»! Недурно бы это выглядело, эдак можно угробить даже самое блистательное стихотворение.

Полгода он подбирал себе псевдоним, искал так долго и столько ломал себе голову, что все-таки нашел: имя оканчивалось на «юс», а в фамилию он насовал столько «к», «дубльве» и других малоупотребительных романтических согласных, сколько можно было уместить в восьми слогах: даже почтальону понадобилось бы шесть дней и шесть ночей, чтобы произнести эту фамилию по слогам.

Завершив эту чудесную операцию, Даниэлю оставалось только сообщить о ней публике. Он пустил в ход все, но слава его распространялась далеко не так быстро, как ему хотелось; новому имени совсем не легко проникнуть в человеческий мозг, где уже теснится столько имен, — между именем любовницы и фамилией работодателя, между проектом биржевой сделки и спекуляции сахаром. Число великих людей грандиозно, и точно установить его очень

трудно, разве что у вас память, как у Дария и Цезаря или как у отца Менетрие. Если бы я стал рассказывать обо всех сумасбродных замыслах, возникавших в безумной голове бедняги Жовара, я бы никогда не кончил.

Много раз его охватывало желание написать свое имя на всех стенах между приапическими рисунками и носами Бужинье и прочими похабностями того времени, ныне вытесненными грушей Филипона.

Как страстно завидовал он Кредвилю, об имени и приметах которого оповещали всех парижан афиши, расклеенные на каждом углу! Он согласился бы, чтобы его звали Кредвилем, пусть даже с добавлением позорного эпитета «вор», который неотвратимо за ним следует.

Затем ему пришло на ум другое: пустить гулять по городу свое новое имя, изобретенное с таким трудом, на плечах и груди человека-рекламы либо вышить большими буквами на своем жилете, — все это он придумал задолго до сенсимонистов.

Две недели он носился с мыслью покончить жизнь самоубийством, чтобы его имя попало в газеты, а когда он услышал, как газетчики выкрикивали на улицах сообщение о смертном приговоре, вынесенном преступнику, у Даниэля явилось новое искушение: совершить убийство и взойти на гильотину, чтобы его имя наконец привлекло внимание публики. Но он добродетельно устоял перед соблазном, и его кинжал остался девственным — к счастью для Жовара и нас.

Истомленный внутренней борьбой, он обратился к более мирным и обыкновенным средствам: сочинил уйму стихов, которые появились в нескольких новых газетах, что очень способствовало его популярности.

Он завязал знакомство с несколькими художниками и скульпторами новой школы, которых то угощал завтраком, то ссужал двумя-тремя экю — без процентов, разумеется, за что они писали его портреты в красках, лепили и делали литографии с него анфас, в профиль, в три четверти, снизу, сверху, сзади — во всех ракурсах. Не может быть, чтобы вам не попадались на глаза его портреты в Салоне или в витрине магазина гравюр: крохотное личико, несоразмерно большой лоб, окладистая борода, развевающиеся волосы, насупленные брови, взор, устремленный ввысь, — так принято изображать

байронических гениев. Вам будет легко его узнать: по фамилии, написанной неровными, корявыми буквами, похожими на кабалистические знаки или на руны «Эдды».

Он не брезгает никакими средствами чтобы обратить на себя взоры публики: шляпа на нем самая остроконечная из всех ей подобных, бороды его хватило бы на трех землекопов, известность его растет пропорционально бороде; если вы сегодня в красном жилете, то завтра он появится в пунцовом фраке. Посмотрите на него, пожалуйста! Он так домогается вашего взгляда, он вымаливает у вас этот взгляд, как вымаливают должность или чье-то благоволение; не смешивайте его с толпой, иначе он на стену полезет. Он готов ходить на голове, скакать на лошади задом наперед, лишь бы привлечь ваше внимание.

Однако ж меня удивляет, что он до сих пор не надел перчатки на ноги и не обул башмаки на руки, а между тем это был бы поступок весьма примечательный. Жовара вы встретите всюду: на балу, на концерте, в мастерской художника, в кабинете модного поэта. За два года он не пропустил ни одной премьеры; его можно увидеть — причем к билету приплачивать не нужно — на балконе справа, где обычно сидят художники и литераторы; зрелище это подчас интереснее самого спектакля; Жовару открыт доступ за кулисы, суфлер говорит ему «дорогой мой» и здоровается с ним за руку; фигурантки с ним раскланиваются, а в будущем году с ним заговорит сама примадонна. Как видите, он делает быстрые успехи! У него «в работе» — роман, «в работе» — поэма; предстоит читка его драмы, которую он напишет, и всенепременно! Он будет постоянным фельетонистом в большой газете, и я недавно узнал, что один модный издатель явился к нему с кое-какими предложениями. Имя его есть уже во всех каталогах; так и написано: «М...юс Квпл... роман»; через полгода впишут и заглавие романа — первое пришедшее в голову автору существительное; затем в продажу поступит седьмое издание романа, — причем первое никогда в свет не выходило, — и благодаря урокам Фердинанда, своей бороде и костюму г-н Даниэль Жовар станет вскоре одной из самых ярких звезд новой плеяды, сияющей на нашем литературном горизонте.

Читатель! Сердечный друг! Рассказав историю Даниэля Жовара, я рассказал, как становятся знаменитостью, и открыл тебе секрет

таланта, вернее, способ преспокойно обойтись без таланта. Надеюсь, ты отплатишь мне признательностью, не меньшей, чем моя услуга. В твоей власти теперь стать великим человеком, ты знаешь, как это делается; право же, это не трудно, и ежели я сам, тебя наставляющий, не сделался великим человеком, то лишь потому, что не захотел: гордость не позволяет. Если же вся эта болтовня тебе не слишком наскучила, переверни страницу, — я буду говорить о страсти в том понимании, какое придается ей «Молодою Францией»; это тема очень интересная и открывающая многие и совсем новые пути развития фабулы, которые тебе непременно должны понравиться.

ЭТА И ТА, ИЛИ МОЛОДЫЕ ФРАНЦУЗЫ, ОБУРЕВАЕМЫЕ СТРАСТЯМИ

Розалинда. Что он — творенье Божье? Каков собою? Достойна ли голова его шляпы, а подбородок — бороды?

Селия. Да нет — бородка у него крохотная.

Розалинда. Ну что ж, если он благодарен небесам, Господь Бог ниспошлет ему бороду подлиннее.

«Как вам это понравится» [\[13\]](#).

Тридцать первого августа за пять минут до полудня Родольф раньше обычного соскочил с постели и сразу же бросился к зеркалу, стоявшему на камине, посмотреть, уж не переменилась ли у него физиономия, пока он спал, и удостовериться, что не произошло никаких превращений; он никогда не забывал об этой предварительной церемонии и без нее не мог надлежащим образом провести день. Убедившись, что он и действительно тот самый Родольф, каким был накануне, что у него всего два глаза, или около того, а нос, как полагается, на своем обычном месте, что за время сна рога не выросли, он почувствовал облегчение, будто тяжесть свалилась у него с плеч, и мысль его обрела ясность необыкновенную. С зеркала его взгляд соскользнул на календарь, висевший на позолоченном гвоздике, вбитом в деревянную панель, и Родольф, который пребывал всегда вне времени, к великому своему изумлению увидел, что именно сегодня день его рождения и ему исполнился двадцать один год. С календаря взгляд его перенесся на свиток бумаги, влажной от чернил, покрытой кляксами и разужоренной каракулями; то был последний лист его большой поэмы, которая уже пошла в печать и, безусловно, должна была прославить его имя, поставив в ряд с известнейшими именами. При таком тройном открытии Родольф глубоко задумался.

Из всего вышесказанного можно заключить, что у нашего героя длинные черные волосы, томные продолговатые глаза, бледный цвет лица, довольно большой лоб и усики, которые, безусловно, подрастут, — словом, внешность первого любовника в байроническом духе;

что он совершеннолетний, а это значит — имеет право выдавать векселя, попасть в тюрьму Сент-Пелажи и на гильотину, как великовозрастный, не говоря уж о блистательной привилегии стать национальным гвардейцем, героем, получающим пять су в день, если выпадет неудачный билет при жеребьевке;

что он поэт, поскольку около трех тысяч рифмованных строк вот-вот появятся в превосходном желтом переплете на атласистой бумаге с замысловатой виньеткой. Установив три эти факта, Родольф позвонил и велел принести завтрак: поел он плотно.

После завтрака он опустил штору, взял папироску, развалился на козетке, следя глазами за палевым дымком мэриленды. Он предавался размышлениям о том, что он хорош собою, совершеннолетен, что он поэт, и, сделав три эти умозаключения, пришел к главному, непреложному выводу — как бы итогу всех размышлений: ему необходимо пылко влюбиться, и страсть у него будет не меркантильная и буржуазная, а артистическая, вулканическая, бурная, и только она придаст завершенность всему его облику и позволит приобрести надлежащее положение в свете.

Воспылать страстью — это еще не все, важно, чтобы эта страсть была обоснованной. Родольф решил, что полюбит только испанку или итальянку; англичанки, француженки или немки чересчур уж холодны и не могут внушить поэтическое чувство. К тому же, памятуя, что Байрон неодобрительно говорил о бледности северных дев, он остерегался поклоняться тому, что мэтр непреклонно предавал анафеме.

Он решил, что цвет лица у его любовницы будет оливковый, брови круто изогнутые дугой, глаза восточные, нос еврейский, губы тонкие и горделивые, а волосы оттенят цвет ее кожи.

Итак, модель создана, оставалось только найти женщину — ее воплощение.

Родольф с полным основанием рассудил, что здесь, в спальне, ее не встретишь... Поэтому он выбрал самый экстравагантный жилет,

самый щегольской и броский фрак и отлично сидевшие панталоны; он облачился в этот наряд, вооружился лорнетом, тросточкой и, спустившись на улицу, отправился в Тюильри, уповая на счастливую встречу со своей избранницей.

Стояла чудесная погода; только стайка пушистых облаков, подгоняемых теплым, душистым ветерком, тихо плыла в голубом небе; мостовая белела, река поблескивала на солнце, на главных и боковых аллеях былолюдно; разряженные дамы и денди с трудом пробирались между двумя рядами стульев, занятых зеваками. Родольф, подхваченный людским потоком, вмешался в толпу.

Он двигался, энергично работая локтями, заглядывал под шляпки дам и сквозь стекла лорнета во все глаза рассматривал их лица. Следом за ним неслись возмущенные выкрики: «Поосторожней!» — там и тут раздавались возгласы: «Ах, какая прелесть», — о его жилете или галстук; но у Родольфа была одна цель, и он не обращал внимания ни на похвалы, ни на нарекания, а завидя розовое и свежее личико, обрамленное атласом и муаром, пятился, будто перед ним явился сам дьявол. Впрочем, попадались и лица бледные, без румянца, но то была восковая бледность, вызванная усталостью и излишествами, или перламутровая прозрачность, присущая коже блондинок и чахоточных, а не та матовость, не тот теплый смуглый тон, прелестный южный тон, который сейчас в такой моде. Пробежав безуспешно два-три раза по аллее, он собрался было уйти, как вдруг кто-то подхватил его под руку. Оказалось, это его приятель Альбер. Они вместе отправились обедать.

Пылкая страсть, бушевавшая в груди, обострила аппетит Родольфа, и он ел еще с большим удовольствием, чем за завтраком, и пил изрядно, не отставал и его достойный друг. Отобедав, повесы направили свои стопы в Оперу.

Хоть Родольф и был в подпитии, но о своем замысле помнил. Тайное предчувствие тихонько нашептывало ему, что здесь он найдет искомое. Когда он вошел в залу, играли увертюру. Поток созвучий, света и ароматов захлестнул его и чуть не сбил с ног. Зрительная зала два-три раза качнулась перед его глазами, берцовые кости у него непонятным образом дрогнули; от люстры струились длинные пучки переливчатых лучей, бивших в глаза, и он часто моргал; рампа огненной решеткой встала между ним и актерами, и ему мерещились какие-то странные образы; в голове стучало, будто незримый демон

бил молотком внутри черепа, и он смутно воспринимал звуки в виде ярких, пестрых скарабеев, которые метались, летая по зале вдоль сводов и карнизов, а когда они ударялись надкрыльями о стену, раздавался гул, — так майские жуки, влетев в комнату, с громким гуденьем бьются крыльями об оконные стекла и потолок.

Родольф не раз выдерживал единоборство с опьянением, и такие пустяки его не смущали; он бодро покорился своей участи, застегнул фрак на все пуговицы, поправил галстук, стиснул набалдашник зубами, засунул руки в карманы, вытаращил глаза, чтобы не заснуть, проявив неслыханную силу воли.

Винные пары мало-помалу рассеялись, и, взяв лорнет из рук приятеля, который храпел, как семинарист, раскачивая головой, подобно маятнику, наш доблестный Родольф принялся осматривать зрительную залу сверху донизу и снизу доверху и искать в трех ярусах среди женщин всех возрастов и сословий будущую владычицу своего сердца.

Горели газовые рожки и свечи, в неисчислимых бликах света глянцем отливали обнаженные плечи женщин, таинственно мерцали синие и черные глаза; Родольф продолжал смотреть, но, заметив лазурь в глазах у одной, сразу переходил к другой; полуобнаженные груди дерзко просвечивались сквозь блонды и бриллианты, ручки в белых лайковых перчатках вертели эмалевые флакончики с духами, кокетливо красовались на алом бархате лож. Атлас, шелк, серебристо-белая и белоснежная кожа обнаженных плеч и рук чудесно переливались; но все эти безмятежные или оживленные, красивые или хорошенькие лица, все эти неправильные или своеобразные черты не подходили к идеалу, о котором мечтал неудачливый и восторженный Родольф; то тут, то там у иных женщин он, правда, и находил отдельные штрихи — глаза у этой, у той — рот, там — волосы, тут — цвет лица, но целого не было, а ведь так ему пришлось бы влюбиться по частям в десяток женщин, чтобы получилась безупречно романтическая модель, которую он мысленно скроил. Да, в сущности, это ему и не претило, ибо в таких делах был он отчасти турок и сторонник полигамии. Уж, право, и не знаю отчего, но двоеженство он не считал столь ужасным преступлением, как считают это наши платонически настроенные француженки.

Эти дамы допускают, что женщина может иметь двух любовников, но если у мужчины две любовницы... фи, гадость... и они вопят, что это чудовищно, или усмеваются недоверчиво. Разве это для нас не унизительно?

Родольф уже начал подумывать, что предчувствие его обмануло, как вдруг дверь одной из лож отворилась и сначала появился благодушный, невзрачный человек, — конечно, супруг, а вслед за ним вошла дама в черном бархатном платье с большим вырезом, — конечно, его супруга, узаконенная мэром и кюре. Она села спиной к Родольфу, и ему не видно было, равна ли красота ее лица красоте ее плеч. Плечи эти были белые, но с легким оливковым оттенком, более густым к затылку; и хотя они были полные и округлые, чувствовалось, что под кожей — крепкие и гибкие мускулы, как у итальянок.

Родольфа охватило невообразимое волнение — он просто умирал от страха, опасаясь, что развеется прекрасная иллюзия, как только дама обернется, однако ж он дал бы много денег — больше, чем имел, лишь бы она обернулась к нему лицом.

И вот она сделала легкое движение: ее головка медленно поворачивалась, хотя торс оставался неподвижным; три восхитительные линии, что называются ожерельем Венеры и так бездарно преданы забвению нашими художниками, ярко вырисовывались на свежей и смуглой шее, мало-помалу появлялись висок, скула и подбородок античной формы, — обрисовывался так называемый неполный профиль, к которому питают большое пристрастие великие мастера, особенно Рафаэль; право, не знаю почему, но она не повернула головы, и, к немалой досаде Родольфа, все еще пребывавшего в тревожной неуверенности, так и застыла в этой позе.

Спору нет, то, что он увидел, было прекрасно, и именно таким, каким он рисовал в воображении, но он еще не видел носа, глаз, рта; а вдруг нос у нее красный, глаза голубые, губы бледные? Он свесился с балкона и чуть не свалился в партер, стараясь сделать какое-нибудь открытие. Все было тщетно! И, потеряв надежду, стал взывать к святым угодникам.

Молитва его была услышана, незнакомка вдруг обернулась. Родольф почувствовал, что возносится на седьмое небо, будто

машинист сцены поднял его на веревке. Он увидел свой идеал во плоти.

Она была хороша, как его мечта; арабские брови, тонкие и черные, как бы наведенные кистью, достойно увенчивали темные, увлажненные глаза, изящный точеный нос с раздувающимися ноздрями, рот безупречной формы и цвета, созданный и для остроумных речей, и для лобзаний.

Ну а цвет лица, теплый и сочный, желтовато-смуглый, но чистый и прозрачный, как у прекрасной римлянки кисти Энгра, — подобный тон, без сомнения, может быть только у итальянки или испанки; и если страсть не затаилась под оливковой кожей и в дивных черных глазах, значит, на этом свете ее уже не стало и искать ее придется в ином мире.

И только одно вызывало у Родольфа чувство досады — ее супруг: у него было такое незлобивое, такое добропорядочное выражение лица. Как жаль, что он имел такую внешность, — ведь не таким должен быть супруг из настоящей драмы. Тщательно подстриженные бакенбарды, глубокие залысины, щегольской белый галстук, ей-богу, недурно завязанный для мужа, хранящего верность жене, да и перчатки почти как влитые, и жилет довольно модного покроя. В нем нет ничего ни от Отелло, ни от Жоржа Дандена, внешность не смешная и не грозная, он явно не способен ни драться на дуэли с любовником жены, ни тащить ее в суд за измену, — в этих случаях он предпочтет благоразумно отмолчаться. Да и, по правде говоря, он просто не обращал бы на все это внимания, и синие очки служили ему не для того, чтобы яснее видеть проделки жены: муж был удобный и умел вести себя в свете. Желаю вам найти такого супруга для своей дочки, если господь бог обременит вас ею.

Родольф понял с первого взгляда, что при эдаком муже драмы не получится, но рассчитывал, что жена с избытком оправдает его надежды. Впрочем, посмотрим.

Меж тем приятель его Альбер спал, как певчий поутру.

Родольф навел лорнет на незнакомку, тщательно выкроил взглядом восхитительный силуэт и припрятал в одном из сокровенных уголков своего сердца, чтобы узнать ее всюду — хоть на краю света.

Покончив с этим, он стал размышлять, как бы выведать, кто она такая, обратить на себя внимание, завязать знакомство. В голове его

роилось бесконечное множество проектов, один другого фантастичнее; сначала он решил представиться владычице своего сердца как герой испанских романов, сражающий разъяренных быков; или, как Антони, остановить на скаку лошадей, впряженных в ее коляску. Или, как дон Клеофас, спасти ее от пожара; одно-единственное «но» делало замыслы несбыточными — а именно: сама невероятность подобных обстоятельств; правда, все можно было подстроить, — например, поджечь дом, как Ловлас в «Клариссе Гарлоу», но это преопасно, ведь пожарные сразу подадут в суд, а Уголовный кодекс не любит шутить с делами подобного рода, и судей не тронешь перипетиями любовной страсти.

Итак, он просто оказался в тупике: вот-вот закончится представление — пора решиться на что-то или навеки проститься со своим божеством.

Он с силой ткнул локтем Альбера в бок.

Альбер вздрогнул и пробудился от сладостного сна.

— Ты знаешь эту даму, сонная тетеря?

У Альбера, как у Александра Дюма, было сорок тысяч задушевных друзей, не считая женщин и малых деток, — уж это само собою разумеется.

Не глядя на него, Альбер ответил с чувством собственного достоинства:

— Конечно, знаю. — И он выпрямился во весь рост. — Пятая ложа от колонны, дама в черном, та, что сейчас смотрит в лорнет? Ну да, знаю, — И он поморгал своими осоловелыми глазками. — Черт побери, — готов побиться об заклад, это госпожа де М*** — последняя любовница Фердинанда. Муж ее — милейший человек.

— Та-ак, — протянул Родольф с глубокомысленным видом.

— Эта дама бывает в свете, имеет обширный круг знакомых, у нее собирается избранное общество; она принимает по субботам, — тараторил Альбер.

— Ты знаком с ней?

— Как с тобой. Я — друг дома.

— Значит, можешь меня представить?

— Ну, конечно. Чего проще! Завтра я с ней увижусь и расскажу о тебе; дело решенное.

Занавес упал. Зала мало-помалу опустела. Друзья вышли рука об руку. Родольф увидел между колонн госпожу де М***, Альбер ей поклонился, и она в ответ дружески кивнула. Она была так же хороша вблизи, как и издали, и когда она садилась в коляску, Родольфу удалось увидеть узенькую ступню, ножку, обтянутую испанским чулком, — право, такой ножкой могли бы похвастаться немногие.

«Вот ножка андалузки, — подумал он, — прелесть как изящна, и страсть моя кипит. Клянусь честью и премьерой Гюго, и двух дней не пройдет, как эта женщина сведет меня с ума».

Вернувшись домой, он впал в какое-то неистовство и, хотя уже был час ночи, прогорланил двести — триста стихов из «Эрнани», затем разделся, в знак радостного расположения духа швырнул жилет под стол, а ботинки — под потолок, засим лег и проспал без просыпу до следующего утра.

Он пробудился и сразу вспомнил о госпоже де М*** — предмете будущей своей страсти. Было бы в порядке вещей, если б он грезил о ней всю ночь напролет; так полагается и в душещипательных романах и элегиях, но я, как добросовестный бытописатель, обязан утверждать обратное. В ту ночь Родольфа преследовал лишь один мерзкий сон — снилось, будто он пересекает Булонский лес на какой-то кляче, что на нем фрак по моде 1828 года, жилет с шалевым воротником, панталоны по-казацки, а вместо шляпы у него — коринфская колонна; больше ему ничего не привиделось, уверяю вас; ах да, еще приснилось, будто на завтрак подали подошву в анчоусном масле с приправой из гвоздей и подков, и это привело его в такой ужас, что он проснулся, ругаясь, как целая толпа возчиков.

Мысленно возвращаясь к вчерашней внезапной встрече, он принялся рассуждать о том, что его страсть — страсть поэтическая — началась так же, как страстишка торговца стеариновыми свечами или депутата, и это его глубоко угнетало и приводило в неопишное уныние.

Он решил было отвергнуть ее и поискать другую; но потом одумался, справедливо рассудив, что «Илиада» началась совсем просто, и все же — это недурное поэтическое произведение, что «Ромео и Джульетта» началась тоже совсем просто — с разговора двух слуг, но это не помешало пьесе стать вполне сносной трагедией.

— Клянусь Богом! — воскликнул он, хлопая себя по лбу, — она хороша собою, а это главное, — значит, канва для драмы подходящая. Я был бы олухом и заслужил бы право попасть в Академию немедля, если б не смог вышить по этой канве хоть несколько — пусть небольших — приключений с байроническим оттенком. Вот если бы ее супруг, типичный национальный гвардеец, оказался ревнивцем — как было бы чудесно, и ничего не стоило бы сочинить комедию плаща и шпаги в испанском духе. Проклятие! Я роковой неудачник, — все идет наперекор.

— Эй, Мариетта, впустите кошек и несите завтрак!

Мариетта, занимавшая в доме положение служанки-любовницы, не очень-то спешила повиноваться; но вот она отворила дверь, и три-четыре кошки различной толщины и масти бесцеремонно разлеглись в постели, рядом с неистовым Родольфом, ибо после женщин он больше всего любил этих животных. Любил их, как старая дева, как ханжа, от которого даже отказывается исповедник, и я утверждаю, что кошку он ставил несравненно выше мужчины и чуть- чуть ниже женщины. Его приятель Альбер тщетно старался вытеснить из сердца Родольфа Тома — толстого кота тигровой масти, но ему удалось занять только второе место, и мне даже кажется, что Родольф поколебался, если б пришлось сделать выбор между его белой кошечкой и смуглой госпожой де М***.

— Мариетта!

— Что вам, сударь?

— Подойди же!

Мариетта подошла.

— Мариетта, да ты нынче прехорошенькая.

— Значит, вчера я была хуже, раз вы заметили это только сегодня?

— Ах, умница! Но я тебя прогоню, если ты будешь много рассуждать! Поцелуй меня.

— В кого вы, сударь, влюбились?

— В кого? Да в тебя, черт возьми, потому что ты — красotka, а что может быть лучше красивой девушки? А отчего ты задаешь такой вопрос?

— А оттого, что вы всегда так меня целуете, когда мечтаете о красавице, в которую влюбились; не меня вы целуете, а другую, и, признаюсь, я все думаю, что не во мне дело.

— Гордячка! Много прекрасных дам хотели бы оказаться на твоём месте; какое тебе дело до того, что не ты причина, — ведь ты пользуешься следствием.

И Родольф склонил на подушку голову Мариетты.

— Поверь, это тебя, а не другую, — сказал он, поцелуями заглушая её слабый взглас:

— Пустите же, сударь!

Мариетта воображала, что эти слова — необходимая дань приличию, но в глубине души она отнюдь не хотела, чтобы её «пустили».

Кошечка, грубо придавленная к стене, соскочила с постели, пронзительно мяукая.

— А ведь завтрак сам не делается, да и господин Альбер сейчас придет, — молвила Мариетта, проведя рукой по растрепанным волосам.

— Да, твоя правда, — согласился Родольф, размыкая объятия, — и, кстати, как говорит Дон-Жуан, надо все же стремиться стать лучше.

Мариетта вышла. Родольф вырвал листок из записной книжки и, чтобы убить время, занялся сочинением стихов. Мы униженно просим извинения у читателя за то, что украли у него дюжину прозаических строк и вписали вместо них стихи, но так надобно, чтобы эта занятая история стала понятнее. Разумеется, стихи посвящены госпоже де М***:

О итальянка, ты — кумир мой несравненный,
Смуглянки краше нет, клянусь, во всей вселенной,
Сказал бы, мрамор ты, изваянный резцом, —
Но солнце римское, пленясь твоим лицом,
Лобзаннями тебя позолотило дивно
И пожелтило грудь в цвет смугло-апельсинный;
Божественный огонь в очах твоих сияет,
И ангел, глядя в них, о небе забывает;
О, если бы упал на град всегда скорбящий
Свет черных глаз твоих, надежду всем сулящий.
Тогда б отверженных он к жизни возродил
И ад хотя б на миг в эдем он превратил!

Явился Альбер.

— Гм, черт возьми! Что ты там маракаешь, Родольф? Какие большие поля на странице... ясное дело — это стихи, или пусть меня заберет сатана. А ну, покажи!

Родольф протянул четвертушку веленовой бумаги, — так ребенок протягивает руку к феруле школьного учителя, ибо Альбер был критиком, не знавшим пощады, а так как сам он стихов не сочинял, то отплатить ему было невозможно.

— Да это кавалер Бернен под некоторым влиянием Данте, пожалуй, тут есть что-то от шекспировских кончетти, но это ничего не значит. Итак, мадригал в честь Джулии Гризи, или я здорово ошибаюсь?

— Да что ты! — испуганно воскликнул Родольф. — Стихи посвящены госпоже де М***, ведь я влюблен в нее до безумия — со вчерашнего вечера. Я всажу себе пулю в лоб, если через месяц она не воспылет ко мне страстью!

— Право, произошло небольшое недоразумение; дело в том, что госпожа де М*** отнюдь не итальянка — поскольку родом она из Шато-Тьерри, нет никаких оснований считать ее итальянкой!

— Ты меня словно кирпичом по голове хватил... Да утомись же, господин Том, спрячь лапы под простыню! Это неприлично... Как же так? Коварная госпожа де М***... позволившая себе родиться в Шато-Тьерри, больше походит на итальянку, чем любая итальянка, да это просто непозволительно. Ужасно! А как же моя страсть? Как же мои стихи, что мне с ними делать? В них чересчур много личного — они никому больше не послужат. Были бы стихи о душе, они бы ко всем подошли, даже к особам бездушным, но в этих злосчастных стихах обыгрывается одна ее примета по всем правилам стихосложения. Ни мэру, ни плуту так не словчиться! Черт! Двенадцатистишие в духе Данте посвящено погубленной моей страсти. Ведь я же не могу пылать страстью к той, что родилась в Шато-Тьерри; это бессмысленно и никак не подходит натуре артистической.

— Госпожа де М*** прекрасна, — наставительным тоном возразил Альбер, — да и разве у той, что родилась во Франции и обладает внешностью итальянки, не больше достоинств, чем у простой итальянки, что под стать всем в Италии?

— Мысль чрезвычайно глубокая, и ее стоит обмозговать, — заметил Родольф, нахлобучив колпак на голову.

Мариетта подала завтрак. Альбер пристроился к столу у постели, и все кошачьи головы, как флюгеры по направлению ветра, тотчас повернулись в ту же сторону. Альбер ел, как свора псов, Родольф — поменьше, настолько тревожился он о судьбе своих стихов, и поэтому все мясо роздал пушистым тунеядцам.

После завтрака оба приятеля, отбросив разговор о любви, обсуждали фасон жилета без пуговиц — до того точного подражания куртке, какую встарь носили под латами, что исконная мещанская тупость славной столицы, пожалуй, осудила бы его, а зеваки и простофили, приметив его, улюлюкали бы и хохотали.

Родольф, весь поглощенный этим важным занятием, думал о г-же де М*** не больше, чем в те дни, когда зародышем пребывал в достопочтенной утробе своей мамы.

Родольф чертил, Альбер мастерил выкройки из бумаги, чтобы легче было все растолковать портному.

Когда выкройки были собраны по кускам, Альбер с воодушевлением воскликнул, стуча кулаком по столу:

— Чтоб мне встретиться в тупике с самым несговорчивым кредитором, как сказал господин Аруэ Вольтер, придворный кавалер, если это не будет самый грандиозный жилет, созданный мыслью человека! И сказать, что общество вырождается! Наглая клевета! Никогда еще не одевались изящнее!

— А что, если у ворота пришить кусок той же ткани, выкроенный наподобие металлической пластинки, в виде полумесяца, как в старину носили офицеры, да застежку сделать сзади, — это будет самобытнейшей, совершенно неподобной деталью, абрисом кирасы и нагрудного панциря, — добавил Родольф, роняя слог за слогом, как золотые монеты, и всем видом показывая непреклонную убежденность в своем превосходстве.

— Наверняка вещица будет чудовищно мила, — добавил Альбер, с вдохновенного тона переходя на тон манерный. — Но я уже опаздываю: *adiusias*.^[14] Бегу к портному, а от него — к предмету твоей страсти. Ты непременно получишь пригласительное письмо не нынче-завтра.

С этими словами он повернулся на каблуках, спустился с лестницы и, топорща бородку и усы, стал мурлыкать себе под нос старинную немецкую мелодию — мелодию Себастьяна Баха.

Немного погодя Родольф вышел тоже. Стоило вам только увидеть его походку, руку, заложенную за борт сюртука, насупленные брови, уголки губ, опущенные подковой, невероятно растрепанные волосы, и вы бы сразу догадались, что у бледного молодого страдальца в груди бушует вулкан.

— Сударь, сударь, вы позабыли снять колпак, а уличные мальчишки вам вслед орут «держи вора», — кричала Мариетта. Она схватила Родольфа за полу сюртука, пытаясь остановить своего достойного повелителя, не обращавшего внимания на окружающих.

Изумленный Родольф поднес руку к голове и познал истину — ужасную истину.

И тут дама редкостной красоты и изящнейшей осанки, выступавшая под руку с каким-то господином, до того заурядным и смиренным на вид, что вы себе и представить не можете, вдруг появилась из-за угла и оказалась лицом к лицу с Родольфом.

То была госпожа де М***. Раздался взрыв безудержного смеха: сомнений не было, его узнали. Родольф готов был провалиться сквозь землю на глубину дилювиальского пласта, в известковый слой, где покоятся кости мамонта, готов был на время исчезнуть, — жаль, не было у него перстня Гигеса, он повернул бы его и стал невидимкой.

Он швырнул Мариетте ночной колпак, пирамидой возвышавшийся на голове, и надел шляпу, обретя сходство с Манфредом, стоящим у ледника, или Фаустом в миг, когда тот предается дьяволу.

О неудача, о злодейство, позор, смятенье! Злые козни преисподней! Стать посмешищем! О небо, о земля, рассудок, кровь моя! Застигнут в колпаке, и кем — своею Беатриче! О рок! Ты бы не мог замыслить более жестокого испытания для молодого человека, наделенного сильными — поистине дантовскими — страстями.

Даже сам лорд Байрон, обладавший тем исключительным преимуществом, что подписывался так же, как Бонапарт, был бы смешон в ночном колпаке, Родольф же тем более, — ведь он не мог подписываться, как Бонапарт, и не создал ни «Корсара», ни «Дон-

Жуана», разумеется, лишь оттого, что до нынешнего дня был чересчур занят, а не по какой-нибудь другой причине, уверяю вас.

«Ночной колпак — кумир обывателя, символ буржуа! Horror, horror, horror!^[15] Отныне мне на этом свете делать нечего. Остается только одно — умереть!» — подумал Родольф.

И он устремился к Королевскому мосту; вступив на него, облокотился о перила, взглянул на солнце, подождал, пока лодка, что спускалась вниз по реке, не минует арку и не отплывет подальше. Тогда он влез на парапет и во мгновение ока ринулся вниз — с тростью и в шляпе.

Пролетая от моста до поверхности реки, он успел подумать о том, что самоубийство — залог успеха его поэмы, что книгопродавец сможет сбыть, по крайней мере, дюжину экземпляров; от поверхности воды до самого глубокого места он старался угадать, какую придумают подоплеку его самоубийству газеты. Погода стояла дивная: солнечные лучи пробивались сквозь толщу воды, которая струилась над ним, отсвечивая топазом, и освещали дно, выстланное гвоздями, черепками, осколками. Пескари плыли рядом и повиливали хвостиками; гулкий голос Сены гудел ему прямо в ухо. И тут его осенила мысль, что, раз он так хорош собою, значит, будет очень недурен и став трупом и произведет величайшую сенсацию в морге. Ему чудились охи и вздохи сердобольных кумушек, восклицания; «Какая у него белоснежная кожа, а какой стан! А нога, как у офицера! Жалость-то какая!» О всем этом было так приятно грезить на дне реки. Однако Родольф задыхался без воздуха, легкие сдавливало, и было нестерпимо больно, он не выдержал и, забыв о том, как позорно возвращаться на землю, где его видели в ночном колпаке, оттолкнулся ногой от дна и стрелой взлетел вверх. Хрустальный свод все прояснялся и прояснялся, еще два-три рывка, и Родольф выплыл на поверхность реки и мог всласть надыхаться.

Несметная толпа покрывала набережные, со всех сторон неслись возгласы: «Вот он, вот он!» Родольф плавал, как форель, и мог бы выплыть из мельничного шлюза; заметив, что на него устремлены все взгляды, он из честолюбия поплыл саженками, показывая неслыханное мастерство. Шляпа его плыла рядом с тростью — он их выловил, надел шляпу на голову и, работая одной рукой, другой помахивал тросточкой, к великому изумлению всех зевак.

— Да это маркиз де Куртиврон, — говорил один.

— Да это полковник Аморос, — говорил другой, — тот, который занимается гимнастическими упражнениями.

— Это фигляр, — добавлял третий

— Это любитель биться об заклад! — кричал четвертый.

Но никто из этих грубых существ, разделяющих с жирафом преимущество лицезреть небо, не мог догадаться, о пылкий и загадочный Родольф, отчего ты бросился с Королевского моста, а если бы они узнали, что все случилось из-за ночного колпака, то не поняли бы тебя и сказали, что ты просто болван, и, разумеется, были бы не правы.

Родольф, нарядно одетый и улыбающийся, доплыл до берега за несколько минут, ну а так как промок он до нитки и в таком виде идти по городу было просто невыносимо, кто-то услужливо сбегал за извозчиком, он сел в фиакр и вернулся восвояси.

Мариетта разинула рот от изумления, увидя, что с ее хозяина, как с морского бога, струится вода. Родольф поведал ей обо всем, и Мариетте, любившей Родольфа, хотя он и был ее господином, причем платил ей весьма исправно и делал всевозможные подарки, — было не до смеха, когда она слушала о его злоключениях.

— Держите, вот ваши домашние туфли, — говорила она дружеским тоном, — вот вам и Том, ваш любимый котик, а вот и книга Рабле; не угодно ли что-нибудь еще? Да и к тому же, если хотите знать, колпак вас не портит, и было бы у вас на голове две, а то и три дюжины колпаков, я бы нашла, что они вам к лицу, — лично я.

Мариетта упирала на я и делала это с лучшими намерениями. Как я уже говорил, Мариетта была красивая, славная девушка, что же касается того, как истолковал Родольф это благородное односложное словечко, дражайшие читательницы, передавать я не стану из боязни оскорбить ваше целомудрие; сообразуйте перейти в соседнюю комнату, дабы вас не стесняли его комментарии. Согласитесь же, что мой герой — отъявленный негодяй, и объясните, отчего всякий раз, когда его охватывает поэтическая страсть, разрешается она прозаически, обращаясь на Мариетту?

О Мариетта, не ревнуй, пусть твой повелитель влюбляется сразу в двадцать женщин. Ты только выиграешь.

Два раза за один день ты изменил кумиру своего сердца. Безнравственный тип! Просто не хочется больше и рассказывать о тебе, ибо не стоишь ты того, чтобы люди знали о твоих деяниях и поведении, и если ты не исправишься, я от тебя отказываюсь.

— Фи, фи, со служанкой...

— Да, сударыня, со служанкой.

— И это человек, уважающий себя!

— Уверяю вас, Родольф уважает себя больше, чем король и даже два короля, вместе взятых, и не посторонился бы перед самым императором.

— Да если б она хоть была женщиной порядочной...

— А разве Мариетта не порядочная женщина? Я-то ее видел, и разрешите мне придерживаться иного мнения. Прежде всего ей недавно минуло всего лишь двадцать лет. Она крепка и свежа, прекрасней ее глаз нет на свете, и она, как грум, прислуживает Родольфу и порою даже балует его, наделяя лакомствами и дружески похлопывая по щеке; ногти у нее чистые, а кожа белая, как и у вас, да, пожалуй, почище и побелее, а ведь она не старается опорочить ваши совершенства. Право, всего этого достаточно, чтобы быть особой порядочной.

— Уж не дамой ли из нашего света, из нашего порядочного общества?

— А я и не подозревал, что она с другого света; что же касается порядочного общества, то, с вашего разрешения, замечу: если б Родольф жил не с Мариеттой, а с одной из ваших приятельниц или даже с вами (это всего лишь предположение, целомудренная читательница), вы уже не были бы порядочными женщинами, по крайней мере, в своем собственном представлении, не так ли? Я же не считаю, что подобные пустяки мешают быть порядочной, — напротив.

Да и из жизни великих людей можно набрать предостаточно примеров. Великие из великих любили гризеток; служанка колотила Руссо, знаменитые поэты боготворили продавщиц жареной картошки и так далее и тому подобное.

Впрочем, все вышесказанное служит лишь для оправдания моего героя — Родольфа, с которым прошу меня не смешивать, ибо я бы умер со стыда, если бы бесчестно поступил с женщиной, — да и ни за что в жизни себе этого и не позволил, ведь я бы прослыл

безнравственным субъектом и наверняка лишился бы почтенной репутации.

Я приводил ему самые убедительные доказательства на сей счет, но он, тонкая бестия, на все находил ответ, весьма нелепо звучащий для человека с сильными страстями. Правда, в ту пору ему еще не было двадцати лет, и он не думал об артистической изысканности.

— Друг мой, ты просто глупец (любезный читатель и милая читательница — если только чудовищная нескромность этой книги не отпугнет особ слабого пола, не верьте ни единому его слову, право, я неглуп, но Родольф обычно так выражался, заводя со мной беседу), есть у Мейнара двестишше, приблизительно такое:

Тот в дураках остался,
Кто шесть предолгих лет за юбкою таскался.

По сути, оно содержит больше смысла и философской глубины, чем платонический вздор и сентиментальная дребедень, которой ты прожужжал мне уши.

Мариетте я никогда не посвящал мадригалы, не объяснялся в любви, а она щедро, от всей души дарует мне то, чего женщина порядочная сначала заставит меня ждать полгода, а потом все же отдаст, но, отдавая, засыплет тирадами о нравственности, благопристойности и забвении долга. Ну а раз цель одна, то наикратчайшая дорога — наилучшая. Мариетта и есть наикратчайшая, и я предпочитаю Мариетту.

Терпеть не могу, когда приходится делать вид, что прибегаешь к насилию, домогаясь того, чего хочется самой даме, мерзкий прием, на который она вас толкает, позволяет ей увильнуть от ответственности. Порядочных женщин всегда принуждают сдать. У нас, мужчин, видите ли, нет чести! Да напротив, у нас ее избыток, — раз мы отнимаем честь у них, следовательно, вместе с нашей это будет равняться двум по всем правилам арифметики, если я умею считать. Их слабостью якобы постыдно злоупотребили; они и сами не понимают, как все это случилось (а я тем более, поскольку к повествованию я непричастен). Ну а раз уж так случилось, дальше они не видят никаких препятствий и готовы все начать сызнова и не прочь

пасть снова и снова, теперь зная наверняка, что выйдут из воды сухими. О вы, добродетельные души! Насколько мне известно, о вас еще никогда не сообщалось в «Справочном листке».

Кроме того, с вами частенько происходит то, что бывает в буддийских пагодах: после того как вы обойдете великолепнейшее сооружение ярус за ярусом, прошагаете часа два по разузоренным и раззолоченным галереям, после того как перед вами откроются и за вами закроются двадцать дверей и вы, наконец, попадете в святилище, в святая святых, вы обнаружите только старую паршивую обезьяну, — она сидит в деревянной клетке и ищет блох.

Так вот, сорвав платье благопристойности, нижнюю юбку стыдливости и рубашку добродетели, сбросив корсет и ватные валики, кольчугу из стеганой лощенки, вы будете вознаграждены за труды свои весьма мало привлекательными мощами...

Первая часть этой тирады принадлежит, пожалуй, Аддисону, вторая, безусловно, — мне; впрочем, не все ли равно!

Тут вы скорчите такую мину, что станете похожи на попугая, который только что разгрыз пустой орех, а прелестница готова выцарапать вам глаза, обзывая вас извергом, если не похуже! Что до меня, то я ленив даже в любви, мне нравится, когда мне оказывают внимание. Как бы обольстительны ни были любовные утехы, я не стану покупать их радости ценою, пусть даже пустячных, усилий, — я всегда презирал дрессированных собак, которые перепрыгивают через палку ради подачи — пирожка или сухарика.

Иногда любовники смахивают на грузчиков, которые тащат громоздкую мебель по узенькой лестнице, и на того, кто идет позади, наваливается вся тяжесть, тому же, кто идет впереди, легко, и он же еще распекает приятеля, — дескать, не торопишься и не так за дело берешься; хорошо, если передний не выпустит из рук шкаф и вся машина не рухнет на идущего сзади — и тот не пересчитает все ступени, не вылетит во двор и не покалечит голову и спинной хребет.

Нет на свете милее женщины, которая и приласкает вас, и снимет с вас ботинки, и поднимет ваш носовой платок, да и свой платок вас поднимать не заставит, и сама приведет в порядок постель, которую вы смяли вместе с ней. Нет нужды писать ей записки, нет нужды сочинять элегии, вам нечего бояться, как бы не пропустить свидание, нет нужды идти на свидание непременно, словом, нет нужды выполнять уйму

повинностей, которые превращают в каторжный труд то, что всего сладостней и проще на свете.

Мариетта знает, как я бездеятелен, и стойкая девушка не боится никакого труда, она усердна, самоотверженна и не позволяет мне ни о чем хлопотать. Я привык к ее заботам и, не выходя из дому, имею то, что любители походов ищут где-то далеко с опасностью для жизни и кошелька.

По сути, самое верное в любви — это обладание, мимолетный поцелуй говорит больше и выразительней, чем яростное сопротивление, и, поверь мне, за одно биение сердца я бы отдал великолепнейшую тираду о единении душ и прочей чепухе в эдаком роде, пригодной для школьников, импотентов да нытиков и ломак школы Ламартина и отпетых дураков вроде тебя или иных прочих.

Запомни и припрячь в один из тайников своего сознания, дабы воспользоваться при случае, следующую истину: всякая женщина стоит другой, лишь бы была столь же хорошенькой; герцогиня и портниха в иные мгновения схожи, а нынче аристократическое звание дает женщине только красота, а мужчине — дарование. Возобладай талантом и красивой женой, я назову тебя князем, а ее — княгиней.

Пойми еще вот что, господин светский угодник. Ведь неизъяснимое, наивысшее блаженство ты испытываешь, когда о тебе заботится женщина, с которой ты близок, и этого блаженства тебе не доводилось испытать, да испытать и не доведется. Твои изысканные дамы для этого любят не настолько сильно, а мы, французы, хоть и обладаем природной сметливостью, но испокон века, откровенно говоря, порядочные болваны и верховодить не умеем. Да здравствуют турки — эти молодцы знают толк в вещах и постигли суть женщины, не говоря о том, что жен у них множество и держат они их взаперти, а это мудро вдвойне. На мой взгляд, Восток единственный край на земле, где женщины на своем месте: дома и в постели!

Господи Иисусе! Как же, по-вашему, отвечать на эти срамные речи! Я краснею как вишня, даже когда переписываю их, а ведь обыкновенно я бледнее, чем Дебюро! Могу сказать одно: спору нет, Родольф будет проклят на том свете, а на этом не получит Монтионовской премии. Если же вы, сударыня, кое в чем не согласны со столь бесчеловечным приговором, я вам охотно дам адрес Родольфа и вы обсудите с ним все это по пунктам, — желаю вам блистательного

успеха, я же умываю руки и буду стойко продолжать великолепную эпопею, начало которой вы только что лицезрели.

Наутро Мариетта вручила своему повелителю письмо, предварительно любопытства ради исследовав конверт, на котором оттиснуты были инициалы г-жи де М***. Он поспешно распечатал его. То был пригласительный билет. Пробелы между напечатанными строками были заполнены рукою г-жи де М***; у нее был английский почерк — тоненькие высокие буквы, которые лениво клонились слева направо и бесцеремонно налегали на печатный текст. Почерк неприятно удивил Родольфа — почерк, как у самых заурядных женщин, — в наше время все женщины грамотейки, и даже кухарки выводят правильно *щавель*, а не *щивель*. Подобный английский почерк вырабатывается после двадцати пяти уроков и не позволяет по этим четко, без нажима, выписанным буквам судить о характере и привычках пишущего. Ричардсон, все подмечавший, заметил, что почерк своенравной подруги Клариссы Гарлоу был беспорядочен и сумбурен, как и ее ум, и хвостики букв «р» и «д» залихватски шли вкривь и вкось. Ныне он ничего бы не разгадал в почерке взбалмошной мисс, ибо женщины, присвоив себе условную душу, условные ум и выражение лица, приняли условный почерк, так что стало просто невозможно хоть на миг угадать истинный их нрав; они всегда во всеоружии, и в этом их макиавеллевская хитрость. Пусть себе теряется любовная записка, написанная таким почерком, — никто не распознает, чья она, даже муж, ведь такие посланьица никто не подписывает, тем более в наши дни, когда больше одной любовницы сразу не заводишь.

Между тем Родольф решил принять приглашение, полагая, что все остальное вознаградит его сторицею.

Приемный день г-жи де М***, как уже знает читатель, бывал по субботам, и до этого счастливого дня наш герой не давал ни отдыха ни срока портному, торопя его закончить баснословный жилет, которому надлежало потерять невинность в салоне г-жи де М***. Пришло время одеваться: он надел и сменил галстуков двадцать, если не больше, пока не остановился на одном; он перемерил все свои панталоны и все не мог решиться, какие же выбрать, он перепробовал десять разных причесок и в конце концов нарядился весьма своеобразно. От всех этих приготовлений отдавало мещанским духом за целое лье. Самый

захудалый писарь, званный на вечеринку к модистке, вел бы себя точно так же, и тут должно признаться, что наш поэтический герой погряз в гуще прозы. Дай-то Бог, чтобы ему удалось выбраться из этой трясины и наконец показать себя в истинном своем свете — драматичным и страстным, как и подобает мужчине и художнику.

Костюм Родольфа был так оригинален, что при его появлении в гостиной раздался легкий шепот, и все с любопытством на него уставились. Он поклонился г-же де М*** и пробормотал какую-то банальную фразу; во имя чести (честь Родольфа, а не г-жи де М***) я о ней умолчу; затем он присел на козетку рядом с приятелем своим Альбером, а затем, даю вам слово, лакомился пирожным, слушая романсы, выпил несколько стаканов пунша, в один присест поглотил чуть ли не все мороженое, похлопал в ладоши, выслушав чтение классических стихов, словом, вел себя, как человек заурядный, так что все, кто ожидал узреть оригинала, льва, как говорят англичане, пришли в восторг, видя, с какой бесподобной непринужденностью и учтивостью он держит себя в обществе.

Проза овладевала нашим героем самым непостижимым образом. Биржевой делец, завязавший с ним беседу, скаламбурил, и что же? Родольф не только не упал в обморок от этой невыносимой пошлости, но даже в ответ, в свою очередь, сочинил каламбур похлеще, от которого у Одри разлилась бы желчь, а у distinguished дельца глаза чуть не вылезли из орбит, что являлось признаком наивысшего удивления, если верить прописным истинам, которые внушаются детям в пансионах.

Мещанство, присущее нашему веку, в конце концов прорвало магический круг эксцентричности, которым Родольф оградил себя от пошлости, ставшей повальной болезнью, тяжелый приторный чад все сгущался вокруг него, и в конце концов ему самому все представилось в мещанском и пошлом свете, и если б ему на голову вдруг напялили фуражку солдата национальной гвардии, а сбоку прицепили патронную сумку и тесак, он бы не принял это за шутку дурного тона и даже попросил бы вас похлопотать о том, чтобы его сделали капралом, и заорал бы: «Да здравствует порядок и августейшее семейство!» — под стать достойному Жозефу Прюдому.

Каламбур Родольфа, разглашенный биржевым дельцом, облетел салон, вызвал трепет восторга и всеобщий смех.

Мужчины поглядывали на Родольфа с завистью, а женщины с явной благосклонностью: решительно Родольф стал почетным гостем.

Госпожа де М*** улыбалась ему весьма благосклонно. Г-н де М*** взял его за руку и пригласил приходить почаще.

Родольф пронзил сердце и мужа и жены одним-единственным каламбуром. О, altitudo!^[16]

Обаятельная манера, с которой он держался, внимал и аплодировал серенаде, исполненной любителями, снискала ему всеобщее благоволение и продвинула на целый шаг во мнении г-жи де М***. Но своим каламбуром он уже успел сделать целых два и даже три шага, и каждый из них куда больший, чем обычный первый шаг, ибо во мнении и в сердце женщины (одно ли это и то же или это два разных понятия?) первый шаг — это, безусловно, шаг вперед, и приводит он вас только к порогу ее души, второй — уже побольше и вводит вас в самую ее душу, но вот вы делаете третий, верный шаг в семимильных сапогах — и вы уже у цели, и вы завладели ее душой. Родольф и завладел душой г-жи де М*** при первой же встрече. Как не повезло этому молодому человеку!

Обожаем женой, обожаем мужем, двери открыты настежь, никаких преград, — попробуйте-ка в таких обстоятельствах действовать страстно, бурно.

Все танцевали, и Родольф танцевал, не сбиваясь с такта, будто он не был ни поэтом, ни представителем «Молодой Франции», ни человеком сильных страстей. Больше того, в нем было столько изящества, столько неопишуемой элегантности, — ни одной даме он не наступил на ногу, ни одного мужчину не ткнул локтем в грудь. Г-жа де М*** призналась, что не встречала кавалера, который танцевал бы галоп с такою безупречной благопристойностью.

Родольф ушел поздним вечером, всех очаровав; он был бы вполне счастлив, если б его блаженство не нарушала мысль о том, что стихотворение ему не пригодилось, — так гряда облаков омрачает ясный небосклон — и он тщетно старался что-нибудь придумать, но так и не придумал и, устав, решил держать двенадцатистишие в бумажнике, но чертовы стихи, бурлившие в кармане, изо всех сил старались высунуть нос наружу.

Как-то вечером, когда он сидел у г-жи де М***, приятельница назвала ее по имени — имя это было Киприана. Родольф подскочил в

кресле, про себя благословляя крестного и крестную, которые ненароком возымели великолепную мысль наречь крестницу трехсложным именем.

О Киприана, ты — кумир мой несравненный,
Смуглянки краше нет, клянусь, во всей вселенной.

Получилось гладко.

Родольф облегченно вздохнул, как человек, сбросивший с плеч тяжкое бремя, или как жена, которая, выпроводив мужа, может наконец выпустить любовника, задыхающегося в шкафу, или как муж, жена которого садится в дилижанс, отправляясь недели на две в деревню.

Подруга г-жи де М*** ушла, посудачив о том, о сем, как водится у женщин, и Родольф остался с ней вдвоем, но он не воспользовался этим неожиданным свиданием наедине, которое устроил ему случай — величайший из сводников в мире, где их немало, и часто таких добрых. Родольф повел себя как суций осел и простак-школьник и все подыскивал, каким бы словом заменить слишком локальный эпитет «римский», которым он украсил солнце в первом варианте стихотворения, — растратил время куда более драгоценное, чем то, которое потерял Ганнибал при Капуе.

Наконец ему удалось с грехом пополам все переделать и привести двенадцатистишие в довольно сносный вид. Надо полагать, что был он не очень разговорчив, и г-жа де М*** нашла, что он необыкновенно рассеян. Правда, эту рассеянность она приписала совсем иной причине.

— Вы нехороший, — в моем альбоме до сих пор нет ваших стихов, а ведь они уже написаны, об этом мне сказал ваш друг Альбер. К тому же ваши стихи я видела в альбоме у госпожи де С***; право, они прелестны. Ну, не заставляйте же себя просить, напишите хоть что-нибудь, раз вы у меня в гостях, — говорила г-жа де М***, положив перед ним открытый альбом и вкладывая ему в руку воронье перышко. Родольф не заставил себя просить, он боялся, что вдруг упустит случай и не огласит свое двенадцатистишие, и не мешкая написал его каллиграфическим почерком, который сам по себе является признаком

мещанства и школярства, ибо великий человек должен всегда писать неразборчиво — пример тому Наполеон.

Как только он окончил, г-жа де М*** с любопытством наклонилась, взяла альбом и стала вполголоса читать стихи, вспыхнув от удовольствия, ибо стихи, написанные для вас, по-вашему, всегда хороши, даже когда они написаны в духе романтизма, а вы приверженец классицизма и наоборот.

— Право же, я и не подозревала, что вы импровизируете стихи, не подготовившись заранее; в самом деле — вы человек необыкновенный и наверняка сотворите восьмое чудо света. Ведь стихи превосходны, вторая строчка особенно мила; мне очень нравится и концовка; пожалуй, тут есть преувеличение — мои глаза, хоть вы и находите их прекрасными, вовсе не обладают такой властью, но все равно, мысль очаровательна; только одно место вам следует изменить, то, где вы говорите, будто кожа у меня апельсинового цвета, — это было бы прегадко, но, к счастью, это не так, — лепетала г-жа де М***, слегка жеманясь.

— Позвольте, сударыня, это цвет венецианский, и его нельзя воспринимать буквально, — робко возразил Родольф, как человек, не вполне уверенный в своих словах и готовый отказаться от своего мнения.

— Я чуть смугловата, но белее, чем вам кажется, — заметила г-жа де М***, слегка откинув черное кружево, покрывающее ее грудь, — не правда ли? Кожа у меня белая не как снег, алебастр или слоновая кость, однако ж это и не цвет апельсиновой корки. По правде сказать, господа романтики, хоть у вас и бывают минуты просветления, но все же вы настоящие безумцы.

Родольф охотно согласился с ней, хотя взгляды у них были несходные, и еще два-три дня назад, услышав такие речи, он подпрыгнул бы до потолка, а теперь принялся осыпать ее беглым огнем мадригалов и комплиментов во вкусе Дора и Мариво, и они звучали невероятно комично, вылетая из уст, окаймленных усиками и эспаньолкой моды 1830 года.

Госпожа де М*** внимала с серьезным видом, до которого не снисходила, слушая о вещах серьезных. Вообще женщины почему-то внимают пустякам и безделицам с важным видом, — отчего, я, право, не знаю, ну а вы, читатель?

Родольф, видя, что его слушают благоговейно и не морщатся, даже при самых явных преувеличениях и пылких излияниях, подумал, что недурно бы подкрепить диалог небольшой пантомимой.

Рука г-жи де М*** со слегка сжатыми пальцами лежала ладонью кверху на ее левом колене.

Рука Родольфа лежала на его правом колене, а это весьма удобная позиция для человека, наделенного смекалкой и умеющего ею пользоваться, а у Родольфа смекалки было больше, чем у целого взвода жандармов.

Рука г-жи де М*** была восхитительна: точеные узкие пальцы, розовые ноготки, кисть пухлая, с ямочками. Рука Родольфа была на редкость изящна — белая, суховатая, поистине длань патриция. Право, эти две руки созданы для соединения: и наш герой понял это с первого взгляда.

Дело было за одним — как осуществить этот союз. И я думаю, что мой долг перед потомством рассказать о тактике и стратегии, которые применил Родольф, дабы достичь столь важной цели.

Пространство дюйма в четыре разделяло обе руки; Родольф легонько толкнул локтем локоть г-жи де М***. От толчка ее рука скользнула по платью, к счастью, сшитому из шелка. Осталось всего лишь два дюйма. Родольф сочинил страстную фразу, которую просто необходимо было подкрепить пламенным жестом. Он произнес ее с жаром и, подкрепив жестом, уронил руку не на свое колено, а на руку г-жи де М*** — руку, лежавшую ладонью кверху, как мы уже имели удовольствие отметить выше.

Вот она — тактика, или я в ней ровно ничего не смыслю; право, наш Родольф обладал способностями выдающегося полководца.

Он тихонько сжал пальцы г-жи де М***, переплетя их своими пальцами, как бы давая понять, что их руки соединила игра случая и он готов тут же отнять свою руку, если владелице другой руки вдруг заблагорассудится выказать неумеренную добродетель, что вполне могло случиться: ведь женщины иной раз бывают такими чудачками.

Госпожа де М***, сидевшая к нему в профиль, чуть вскинула голову, полуобернулась и широко открыла глаза, вперив в Родольфа взор, в дословном переводе означавший нижеследующее:

— Сударь, вы держите меня за руку?..

В ответ Родольф молча сжал ее пальцы и, склонив голову вправо, возвел очи к потолку, что означало:

— Совершенно верно, сударыня, но отчего же у вас такая прелестная ручка? Ручка эта создана для того, чтобы ее держали, тут нет ни малейшего сомнения, и я был бы наверху блаженства, если бы...

Почти неуловимая улыбка тронула губки г-жи де М***, затем она еще шире открыла глаза, и, негодуяюще раздув ноздри, напрягла руку, зажатую в руке Родольфа, однако не отняла ее; то и дело она украдкой поглядывала на дверь. Перевод: да, сударь, у меня очень красивая рука, но это отнюдь не означает, что ее нужно держать, хотя содеянное вами — доказательство вкуса; я добродетельна, да, сударь, очень добродетельна, и кисть моей руки добродетельна, вся рука тоже, и ноги тоже, а уста у меня еще добродетельней, так что вы ничего не добьетесь, — измените направление своих атак. К тому же все это принадлежит моему супругу, поскольку он получил от моего отца сто тысяч франков, чтобы спать со мною, правда, он не очень старается отработать эти деньги, но тут ничего не поделаешь, на то он и законный супруг, таким и останется до конца своей жизни; отодвиньтесь же от меня или хотя бы догадайтесь затворить дверь — ведь она открыта настежь; ну а там будет видно.

Родольф все это разгадал с удивительной прозорливостью, нисколько не извратив смысла.

— Из двери так дует, что у вас замерзнут ножки. Разрешите ее затворить.

Госпожа де М*** легонько кивнула, и Родольф, бережно положив руку дамы своего сердца на ее колено, встал и затворил дверь.

— Закрывается она не плотно — тянет, словно сквозь решетку, — вот если закрыть на задвижку, дверь прикроется плотнее.

И Родольф закрыл дверь на задвижку.

Госпожа де М*** приняла вид отсутствующий и безмятежный, а это шло к ней несказанно. Родольф сел на прежнее место — на козетку, и снова сжал руку г-жи де М***, но не правой рукою, как раньше, а левой, что крайне примечательно и могло произойти лишь благодаря вдохновенной работе мысли. Сейчас вы увидите, любезная читательница, какое невероятное коварство таилось под его

простодушным обликом, и, что бы там ни говорили невежды, поистине велико различие, берешь ли ты руку дамы правой или левой рукою.

Правое плечо Родольфа касалось плеча г-жи де М***, и в узенькое пространство между ее гибким станом и спинкой козетки тихонько проникла рука великого тактика и несколько мгновений спустя заменила спинку козетки, да так ловко, что г-жа де М*** могла этого и не приметить, до того осмотрительно и деликатно была проведена операция.

Быть может, вы думаете, что Родольф во время всех этих анакреонтических маневров простодушно говорил г-же де М*** о любви? Если вы и в самом деле так думаете, значит, вы — человек недалекий или весьма невысокого мнения о прозорливости моего героя.

Отгадайте же, о чем он говорил? Говорил о том, что нос одной из ее близких приятельниц с каждым днем становится все краснее и уже багровеет, как у пьяницы, об уморительном платье, в котором щеголяла г-жа такая-то на последнем балу, об импровизации г-на Эжена де Праделя и всякой всячине в эдаком же роде, что доставляло г-же де М*** необычайное удовольствие.

О страсти и любви — ни слова. Он не хотел ее предупреждать, не хотел, чтобы она приготовилась к обороне. Ведь это было бы чересчур наивно. До начала сражения говорить о любви женщине, которую хочешь завоевать, — значит вести себя как наемный убийца, который обратится к тебе со словами: «Сударь, будьте так добры, не мешайте мне действовать, пожалуйста, разрешите мне вас пристукнуть».

Начало враждебных действий.

— Во времена Регентства существовал восхитительный обычай, преданный забвению, и я всей душой сожалею о нем, — заметил Родольф без всякого перехода.

— Ну конечно, ужины вдвоем в уединении, — подхватила г-жа де М***, подмигнув, что в вольном переводе означало бы: чудовищный распутник!

— Я обожаю изящные ужины вдвоем, изящные домики для тайных свиданий, изящных маркиз, изящных собачек, изящные романы и прочие изящные аксессуары эпохи Регентства. Чудесные были времена! Тогда правил один лишь порок, лишь наслаждение было делом серьезным.

— Хороша мораль, нечего сказать, — промолвила г-жа де М***, но так она не подумала.

— Но не о том речь. Мне вспомнился обычай целовать руку женщинам, — сказал Родольф, поднося к губам ручку г-жи де М***, сжатую и укрытую его рукой, это было и галантно и почтительно... — А вы какого мнения? — продолжал он, запечатлевая искуснейший поцелуй на ее белой, нежной коже.

— Какого я мнения? Право, странный вопрос, Родольф! По вашей милости я попала в такое положение, что и ответить не могу: сказать, что такой обычай мне не нравится — значит показаться ханжой-недотрогой, а выразить одобрение — значит и одобрить вольность, которую вы себе позволили, и дать вам повод начать все сызнова, что, впрочем, заботит меня мало.

— Ничего ханжеского и не было бы, скажи вы, что это вам не нравится, и ничего опасного — скажи вы, что нравится: порукой мое уважение к вам... Да и все это просто-напросто исследование на историческую тему, археологическое изыскание в области поцелуя, — заметил Родольф с покаянным видом.

— Вот как! Что же, говоря откровенно, я предпочитаю, чтобы мужчины по современному обычаю осыпали поцелуями лицо женщины, — очень тихо и тем не менее очень внятно сказала г-жа де М***, чуть покраснев.

— И я тоже, — ответил Родольф с беззаботным и непринужденным видом, хотя и с тою же беспредельной почтительностью, и рукою, которая заменяла спинку козетки, он обвил стан г-жи де М*** и притянул к себе, да так, что она теперь сидела наполовину у него на коленях и головы их почти соприкасались.

Тут г-жа де М***, — до сих пор лицо ее было видно в три четверти, — обернулась и бросила испепеляющий взгляд на грешного и дерзкого Родольфа; но хитрец, заранее предугадав это движение, ничуть не растерялся и, поскольку ротик г-жи де М*** оказался на уровне его рта, решил, что ничего неловкого не будет, если их уста познакомятся поближе, и что это принесет немало удовольствия той и другой стороне.

Госпоже де М*** следовало бы откинуть голову и таким образом избежать поцелуя; правда, лицо Родольфа было совсем близко, и она

ничего бы не выиграла; к тому же ее обхватила в тесном объятии рука молодого повесы.

Местоположение его руки заслуживает быть описанным особо, и один из моих приятелей — инженер вычертит соответствующую топографическую схему, а я распоряжусь, чтобы ее выгравировали и приложили к девятнадцатому изданию сего изумительного произведения.

Вообще под женским станом подразумевают пространство, которое тянется от бедер до груди спереди и до плеч сзади; в это пространство входят поясница и участок ниже поясницы, накладные бока и отчасти настоящие.

До и после потопа под словом «стан» не подразумевалось ничего иного; и обычно на место, которое оно обозначало, надевали пояс.

Надо полагать, Родольф понимал это иначе — или был круглый невежда в анатомии, или же скорее всего был человеком опасным до крайности: суций Папавуан, суций Мандрен, суций Картуш, — пожалуйста, выбирайте любого.

Так или иначе, он держал руку на правой груди прелестницы. Средний, безымянный и мизинец чинно покоились на ткани, но большой и указательный приникли к тому месту, которое г-жа де М*** обнажила, желая показать, что кожа у нее не апельсинового цвета, а потом забыла прикрыть.

Рука, принявшая такую позицию, просто удивительно напоминала руку богоматери, кормящей младенца, хотя занятие Родольфа и не было столь благочестивым.

Впрочем, г-жа де М***, вся разволнованная чувственным и утонченным поцелуем Родольфа, вовсе и не думала ускользать из объятий, да, в сущности, она была влюблена в Родольфа. Одет он был преизящно, хоть и странновато, и, несмотря на усы и эспаньолку, был красивый малый и, вопреки своему донкихотству в любви, отличался поразительным умом; я говорю поразительным, давая понять, что он не был дураком, ибо с некоторых пор словцо это в таком ходу, что вконец потеряло свое первоначальное значение и смысл; в общем, физическая и духовная суть нашего друга Родольфа делала его весьма приятным любовником.

Намерение у меня было такое: привести Родольфа к полной победе, вынуждая его одолеть мелкие прозаические препятствия, из-за

которых так трудно победить женщину, даже когда она только одного и жаждет — быть побежденной.

Я бы старательно описал, как он взялся за дело, то отбрасывая, то приподнимая одно за другим все покрывала — препятствия между ним и его кумиром, как удалось ему добиться такого-то положения и удержаться в таком-то, и всякие другие детали, бесчисленные и необыкновенно назидательные, которые в наш век ханжество заменяет многоточием.

Но вот один из моих друзей, которому я вполне доверяю и даже не боюсь прочесть ему написанное, стал было утверждать, что целомудрие французского языка властно восстает против подобных деталей, хотя они, пожалуй, и поучительны для читающей публики.

Я-то мог бы ему ответить, что французская речь, несмотря на свою манерность, тем не менее способна на многое и, хотя разыгрывает из себя добродетель, всегда отыщет смешное словечко. Я бы сказал ему, что все великие писатели, которые ею пользовались, позволяли себе по отношению к ней невероятные вольности и извлекали из нее несметное множество, деликатно выражаясь, неприличий.

Я бы мог воззвать к вам, Мольер, Лафонтен, Рабле, Бéroальд де Вервиль, Ренье, и ко всей веселой братии — добрым старым галлам.

Но у меня вошло в привычку во всем прислушиваться к суждениям моего друга, только бы он не твердил: «Я же говорил тебе, ты никогда мне не веришь»; избавимся от попреков, которыми он бы мне досаждал, если б нападкам критики подвергалось все то, против чего он возражает.

Впрочем, читатели ничего бы не потеряли; я намерен восстановить все скабрезные и непотребные места в новом издании и собрать их воедино в конце тома, как это делается в изданиях *ad usum Delphini*,^[17] чтобы дамы не утруждали себя чтением всего остального, а сразу же находили то, что их интересует.

Однако ж, невзирая на нетерпимость моего друга, я не считаю, что должен так же скромничать в диалоге, как и в пантомиме, и я беру все на себя и передам разговор Родольфа и г-жи де М*** — пусть изощренный ум моих читательниц постарается угадать, какие обстоятельства породили вопросы и ответы.

Госпожа де М*.** Оставьте меня, сударь, этому нет названия!

Родольф. Вас оставить! Оставляют других женщин, но не вас. Вы просите невозможного, хоть и вправе требовать невозможного, но то, о чем вы просите, как раз и есть то единственное, чего нельзя для вас сделать; ведь вы не можете приказать, чтобы вас не находили прекрасной. Позвольте, сударыня, вам не повиноваться.

Госпожа де М*.** Послушайте, Родольф... друг мой, вы не благоразумны...

Родольф. Да, так оно и есть. Я люблю вас — в этом нет ничего удивительного; другой на моем месте поступил бы так же, если не смелее. Таков ваш печальный удел: пеняйте на свою красоту. Не так-то уж сладко быть хорошенькой женщиной.

Госпожа де М*.** Мое поведение не давало вам повода так со мной обращаться. Ах, Родольф, если б вы только знали, какое огорчение вы мне доставляете.

Родольф. Право, я не собирался вам его доставить, простите мне невольную вину. Ах, Киприана, как я люблю вас!

Госпожа де М*.** Я не желаю это знать; не могу и не должна знать.

Родольф. Но вы знаете.

Госпожа де М*.** Вот уже скоро час, как вы это твердите.

Родольф. Час — да, это слишком много, чтобы убедить в том, что и так ясно; вот уже три четверти часа я бы мог не твердить вам это, а доказывать на деле. Тут мы совершенно расходимся с вами. Если б вы мне сказали, что любите меня, я бы поверил тотчас же.

Госпожа де М*.** Ну и поверьте — вы ничем не рискуете.

Родольф. Как и вы, если скажете.

Госпожа де М*.** Разговаривать с вами невозможно.

Родольф. Вы прекрасно видите, что можно, раз говорите. Во всяком случае, если вы предпочитаете молчание, я умолкаю. *(Молчание.)*

Госпожа де М*.** Уже смеркается, почти ничего не видно; господин Родольф, будьте любезны позвонить — пусть принесут лампу. В комнате так уныло и темно.

Родольф. Неужто вы хотите читать или вышивать? В комнате совсем не уныло и не темно — здесь так уютно; и полумрак несказанно упоителен.

(Тут пантомима изрядно помогла бы пониманию текста, весьма туманного, но мой друг трижды перечеркнул это место чернилами.)

Госпожа де М*.** Родольф... сударь... я вас...

Родольф. Я люблю тебя и никогда никого не любил, кроме тебя...

Госпожа де М*.** Ах, мой друг, если бы это было правдой!

Родольф. Поверь!

Госпожа де М*.** Я безрассудна... Хорошо ли заперта дверь?

Родольф. На задвижку.

Госпожа де М*.** Нет, нет, не надо; оставьте меня, или мы навеки расстанемся.

Родольф. Не заставляйте же меня взять силой то, что мне так сладостно получить в дар.

Госпожа де М*.** Родольф, что вы делаете? ах! ох!

*(Вопрос поистине неуместный, и подобные вопросы задают только женщины. Разумеется, никто на свете не знал лучше г-жи де М***, что делает Родольф, и непостижимо, зачем она об этом спрашивала. Родольф не ответил и поступил правильно).*

Госпожа де М*.** Что вы теперь будете обо мне думать? О, я умру от стыда!

Родольф. Душечка, что я должен, по-вашему, думать? Да только то, что вы сама прелесть и нет в мире женщины обворожительнее.

Госпожа де М*.** Ты меня губишь, мой ангел, но я люблю тебя! Боже мой! Боже мой! Кто бы мог сказать, что так будет!

Тут г-жа де М*** склонила головку и припала лицом к плечу Родольфа. Такая поза обычна для женщин при подобных обстоятельствах; ее принимает и гризетка, и светская дама. Для чего? Чтобы поплакать или посмеяться? Я склонен думать — посмеяться. Кроме того, при такой позе вырисовываются шея и плечи, выделяются изящные округлые линии, — пожалуй, тут-то и кроется истинная причина того, что женщины принимают эту позу так часто.

Вся эта сцена дышит непринужденностью, но отнюдь не страстью, и легко заметить, что Родольф очень и очень далек от того, что искал; правда, он и не думал, что так по-дурацки, по-мещански поддастся минутному влечению, уступит капризу, вожделению, вот и все. Почти то же происходит и с г-жой де М***. Хладнокровие и душевное равновесие, которые чувствуются в каждой их фразе,

поистине удивительны и дают право предполагать, что и та и другая сторона наделены богатейшим опытом.

Голова г-жи де М*** все еще покоилась на плече Родольфа, и он, после нескольких минут, проведенных в рассеянье, подумал о том, что в сцене, разыгравшейся только что, не было решительно ничего артистичного и она не только не стала пятым актом драмы, а всего больше подходит для водевиля; тут он вознегодовал на самого себя — до чего же бездарно он обыграл такой прекрасный сюжет и упустил такой прекрасный случай выказать себя человеком сильных страстей.

Госпожа де М*** была прехорошенькой женщиной, посему имела все основания, чтоб ее вызвали на бис; Родольф внезапно решил действовать в иной манере и попытаться тут же вознестись на недоступнейшие вершины исступленной страсти.

И он обхватил ее поперек тела с такой силой, что чуть не сломал ей ребра,

— На шею мне накинь объятий ожерелье, прекрасней всех других.

(Смотри «Эрнани, или Кастильская честь», драма в пяти актах и в стихах.)

Госпожа же М*** покорно обвила руками шею Родольфа и сцепила пальчики на его затылке.

— Еще тесней, вот так навеки!

(«Антони», драма в пяти актах и в прозе.)

Госпожа де М*.** Друг мой, ты совсем растрепал мне прическу и так спутал пальцами волосы, что распутывать придется целый час.

Родольф. *Idolo dello mio cuoro.*^[18] *(Местный колорит.)* Дай руку погрузить в волну волос твоих!

(Это в романтическом вкусе, обратитесь к «Сказкам Испании и Италии»:

Кудри, что собираешь
Утром, ты распускаешь
К ночи вместе со мной, —

к песням, что так и просятся на музыку, к сцене прощания дона Паэзе и к множеству других, не менее страстных стихов, passim.^[19])

Тут Родольф выхватил гребень г-жи де М***, но он упал на пол и разбился вдребезги.

Госпожа де М*.** Вертопрах! О, мой дивный черепаховый гребень. Вы его сломали!

Родольф. Как вы можете обращать внимание на подобные пустяки в подобный миг!

Госпожа де М*.** Но это был дивный гребень, английский гребень, и мне очень трудно будет добыть такой же.

Родольф. Какой прекрасный оттенок у твоих волос! Словно река, черная как смоль, течет по твоим плечам.

И в самом деле волосы г-жи де М***, избавленные от тисков гребня, ниспадали на спину, почти до бедер, и в таком виде она напоминала рекламную картинку несравненного макассарского масла.

Родольф дергался, как эпилептик, на манер Фирмена, при этом г-жа де М*** висела у него на шее, а так как она была гораздо ниже его, то ее ноги едва касались пола; все это да еще ее растрепанные волосы и платье, спадавшее с плеч, являло группу в современном вкусе — законченный рисунок, выражавший беспредельную любовь: нельзя и представить себе большей пластичности линий.

(Смотри заставку к «Интимным» и вообще заставки к всевозможным романам; смотри также эпизоды из пьес, где женщины появляются с растрепанными волосами, — это намекает на то, что пристойно на театре изображено быть не может, так же, как расстегнутое пальто и платок в руке на языке сценическом означает, что девица в интересном положении.)

Родольф. О, ангел мой! Твое холодное спокойствие доводит меня до отчаяния. Кровь раскаленной лавой бурлит в моих жилах, а ты все так же молчалива, безучастна; вид у тебя такой, будто ты только терпишь мои ласки, а не отдаешься им!

Госпожа де М*.** Чего же ты хочешь — что мне говорить, что делать? Послушай, ведь я люблю тебя, я вся твоя.

Родольф. Видеть хочу бледные ланиты, затуманенный взор, побелевшие губы, стиснутые зубы, хочу, чтобы ты обезумела от страсти.

Госпожа де М*.** Так, значит, я уже разонравилась вам; право, рановато.

Родольф. Полно, коварная, ведь ты отлично знаешь — я от тебя без памяти, но ты должна извиваться, корчиться, царапать меня и биться в мелких судорогах, как подобает страстной женщине.

Госпожа де М*.** Нечего сказать, премило! Право, Родольф, вы лишены здравого смысла.

(Тут Родольф доказывает ей, что, хоть у него и нет здравого смысла, зато этот пустяковый недостаток искупается более блестящими достоинствами.)

Госпожа де М*** *(разнеженная, лепечущая).* Ах, Родольф, вы были бы обворожительны, если б захотели стать таким, как все.

Родольф *(по-прежнему преследуя свою цель).* Киприана, умоляю, укуси меня!

(Всем известно из барселонской баллады, поэмы «Альбертус» и прочих трансцендентальных поэтических творений, что любовники-романтики отчаянно кусаются, едят одни лишь бифштексы, вырезая их друг из друга в минуты страсти. Осмелюсь, однако, заметить господам поэтам и прозаикам — последователям новой школы, что все это уже существовало у классиков; всем известно «memorū dente notam»^[20] сьера Горация, и если бы мы не опасались показаться хвастливыми эрудитами, мы бы привели сотни две отрывков из творений латинских и греческих поэтов к вопросу об укусах, царапаньях.)

Госпожа де М*.** Хочешь, я тебя поцелую *(целует его)*, но кусать ни за что не стану; я слишком тебя люблю, чтобы причинить тебе боль.

Родольф. Боль? Кинжал в меня вонзи — все от тебя мне радость. Ну, укуси меня, что тебе стоит?

Госпожа де М*.** Если только это тебя потешит, то изволь, душа моя, — подставь щечку.

Родольф *(в приливе радости).* Готов поплатиться жизнью и на этом и на том свете, только бы исполнять малейший твой каприз.

Госпожа де М*.** Бедный мой дружок!

(Приближает губы к щеке Родольфа и чуть-чуть прикасается к ней острыми перламутровыми зубками, затем, откинув голову, хохочет, как безумная, и растирает рукой белое пятнышко — след от зубов.)

Родольф. Вот это славно, львица моя! Очередь за мною!

(Кусает ее в шею, и не шутки ради.)

Госпожа де М*.** Ай, ой! Родольф, сударь! Перестаньте, да вы просто бешеный, вы забыли всякое приличие! Как вы себя ведете! Синяк не сойдет за целую неделю, и мне нельзя будет выйти в открытом платье, а я звана на три вечера.

Родольф. Так пусть подумают, что вас укусил супруг.

Госпожа де М*.** Полноте! Ваши речи донельзя вздорны, донельзя нелепы; всем хорошо известно, что эдакими шутками мужа не занимаются и уж таких вот следов не оставят. Я ужас как на вас сердита и не нахожу слов для вашей выходки; право, это нечто неслыханное!

*(Родольф, сраженный отповедью, осыпает г-жу де М*** нежнейшими ласками и старается восполнить недостаток приличия сверхнеприличием.)*

Госпожа де М*** *(чуть оттаяв)*. Вот что! Я надену топазовое кольцо — камни в широкой оправе, нанизаны на цепочку плотно и так искрятся, что ничего не будет видно.

(Родольф прерывает ее слова поцелуем, сдобренным невообразимо нежными ласками, сохраняя тем не менее скорбный и смиренный вид, способный разжалобить даже камень, а тем более женщину, по самой природе своей довольно сердобольную.)

Госпожа де М*.** Я не сержусь на тебя, милый, не думай; быть с тобой в ссоре я не могу. *(Возвращает ему поцелуй — продуманный и достаточно весомый.)* Вот подписанное тебе помилование.

Дзинь-дзинь, дин-дон.

Родольф *(растерянно)*. Что это?

Госпожа де М*** *(преспокойным тоном)*. Как видно, вернулся муж.

Родольф. Муж? Проклятье, муки ада! Где же мне спрятаться? Нет ли здесь шкафа? А не выпрыгнуть ли из окна? При мне ли мой острый кинжал?! *(Роясь в карманах.)* Ага, вот он! Черт возьми, сейчас я убью вашего мужа.

Госпожа де М*** *(причесываясь перед зеркалом)*. Нет нужды его убивать... Помогите-ка мне подтянуть платье на плечо, корсет мешает мне поднять руку; так, хорошо. Подайте-ка вон тот бархатный бантик, он прикроет след от укуса; ну а теперь, — да вы просто младенец, — отодвиньте задвижку. Странное произвели бы мы впечатление, если б сидели взаперти.

Родольф (*повинуясь каждому ее слову.*) Сударыня, задвижка отодвинута.

Госпожа де М*.** Садитесь вон там, против меня в кресло, и возьмите себя в руки. Так вы говорите, новая пьеса дурна!

Родольф (*живо*). Ничего подобного я не говорил. Я нахожу, что она превосходна.

Госпожа де М*** (*тихо*). Честное слово, для поэта вы ничуть не умны! Или вы не слышите, что идет муж? Надо прикинуться, будто у нас шла речь о чем-то содержательном.

(*Входит муж с видом, подобающим мужу, — благодушный и забавный.*)

Муж. А, вот и вы, господин Родольф! Целую вечность вас не было видно; вы становитесь редким гостем и нами явно пренебрегаете; нехорошо пренебрегать друзьями. Отчего вы не пришли к нам отобедать в прошлый раз?

Родольф (*в сторону*). Ну и дурацкий же у него вид! (*Громко.*) Сударь, я сам просто в отчаянии, но важное дело... Поверьте, я больше вашего потерял. (*В сторону.*) Неужели и я буду таким, когда женюсь! О да, добродушие и учтивость — вот что такое муж!

Муж. Дело поправимое. Приходите завтра, если, конечно, вы еще никуда не приглашены. Я как раз заказал ложу на премьеру. Автор — один из моих весьма близких друзей... Отправимся все вместе.

Госпожа де М*.** Право, сударь, с вашей стороны будет так любезно, если вы пожертвуете нам вечер.

Родольф. Как, сударыня! Вы называете это жертвой? Где же я мог бы провести вечер еще приятнее?

Госпожа де М*** (*жесманно*). Так бы вы сказали любой другой; ведь это просто долг вежливости.

Родольф. Нет, это — истинная правда!

Муж. Итак, вы согласны?

Родольф. Можете рассчитывать на меня.

Муж. Вот и хорошо. Но я вас прервал. Видно, вы вели весьма интересную беседу.

Родольф (*про себя*). Да, весьма интересную. Ее благоверный не мужчина, а дурак набитый; со времен святого Иосифа еще не было рогоносца покладистей. Старается от всей души — просто прелесть что такое!

Госпожа де М*** (*также про себя*). Уж конечно, поинтереснее вашей, драгоценный муженек, до того односложной и лаконичной, что мне за вас стыдно.

Муж. Вы как будто толковали о последней пьесе?

Госпожа де М*.** Да, и господин Родольф разнес ее в пух и прах.

Муж. Очень рад, Родольф, что вы взялись за ум. Ведь я говорил вам, что вы исправитесь. Только прекрасное — прекрасно, что бы там ни толковали, а язык Расина — божественный язык. Ваш господин Гюго — юнец, хоть и не лишен достоинств, и в даровании ему никто не отказывает; сочинение, получившее премию Литературной академии в Тулузе, и в самом деле недурно, но с той поры он все портится и портится; отчего он не желает изъясняться по-французски? Отчего не пишет, как Казимир Делавинь? Да я бы рукоплескал его сочинениям, как сочинениям всякого другого! Лично я — человек без предубеждений.

Родольф (*вне себя от ярости, но улыбаясь с неописуемой учтивостью*). Разумеется, у господина Гюго есть недостатки. (*В сторону.*) Старый болван, сам не знаю, что мне мешает вышвырнуть тебя из окна, даже не отворив его. Ну и влип же я! (*Громко.*) Но у кого их нет? (*В сторону.*) Какая мерзавка эта Киприана!

Муж. Да, у каждого свои; совершенства не бывает.

Госпожа де М*** (*в сторону*). Хорош вид сейчас у бедняжки Родольфа — нет ничего забавнее на свете! Право, мужчины прескверные актеры — у них нет ни капельки самоуверенности, и любой пустяк мигом приводит их в смятение; женщины куда выше в этом отношении.

Родольф. И все же пьеса — плоха она или хороша — успех имела, это уж, по-моему, неоспоримо.

Госпожа де М*.** Все модное привлекает публику. Госпоже де Джерси хотелось посмотреть спектакль, но ей удалось раздобыть ложу только на третье представление.

Родольф. Пусть сто раз подряд ее освистают, пусть три месяца поносят, а театральную кассу будут осаждать.

Муж. Что же это доказывает? Вот ведь «Аталиа» не имела успеха. Впрочем, не трудно привлечь публику, если не брезгуешь никакими средствами, не соблюдаешь никаких правил; да я бы сам сочинил трагедию, если б только пожелал в нынешней манере кропать стихи,

похожие на прозу, как две капли воды. Тут любой может дать волю своей фантазии. Все это проще простого. Не влезает слово, скажем, в одну стихотворную строчку — переносу его в другую, и так далее; вам понятна суть моих умозаключений?

Родольф. Да, сударь, разумеется.

Госпожа де М*.** В них нет ничего мудреного...

Муж. И вот — я вам кажусь смелым и гениальным. Да, да, я хорошо знаю все эти ниспровергающие принципы ваших новаторов-ретроградов — привожу великолепное выражение господина Жуи. Ведь это великолепное выражение принадлежит господину Жуи, не так ли?

Родольф (*в невменяемом состоянии, прикусив язык*). Точно не знаю, впрочем, пожалуй, оно принадлежит господину Этьену, а может быть, господину Арно, во всяком случае, одному из трех, если только не господину де Баур-Лормиану, что тоже вполне вероятно.

Муж. Эге! Ха-ха, хи-хи, ну и злые же вы на этих господ, давненько точите на них зубы; но с годами вы поумнеете. Остепенитесь, когда прибавится восемь — десять лет. А кончится все тем, что вы станете академиком, как любой другой.

Родольф. Что ж, допустим.

Муж. Приносит это звание тысячу восемьсот франков. А тысячу восемьсот франков получить всегда приятно.

Родольф. Верно, как дважды два.

Муж. И жетоны для посещения собраний так удобны в карточной игре. Мой друг-академик набрал их полный мешок. Кстати, о картах. Не сыграть ли нам партию экарте? Как вы на это смотрите, Родольф?

Родольф (*лицо которого вытянулось, как счет от его портного*). К вашим услугам — всегда и во всем.

Госпожа де М*** (*сжалившись над Родольфом, к тому же не прочь пойти наперекор мужу, услужив любовнику*). Фи, господа, да вы просто несносны со своими картами. Неужели нельзя и минуты обойтись без игры. Так, значит, вы меня бросите, мне и слова не с кем сказать будет.

Муж (*слащавым тоном*). Душа моя, должен тебе заметить, что ты, ей-богу, становишься неуживчивой эгоисткой. Ведь ты будешь на нас смотреть, давать советы. Ты же видишь, господин Родольф умирает от желания сыграть партию, не правда ли, сударь?

Родольф (*глухим голосом, будто из-под земли — голосом тени отца Гамлета*). Верно, я умираю от желания сыграть с вами партию.

Муж расставляет ломберный стол и начисто обыгрывает Родольфа, который с трудом сдерживает себя и не дерзает дать волю гневу, а это доказывает, что господь бог отнюдь не пребывает в праздности на небесах, восседая на райском своем седалище, но бдительно надзирает за всеми деяниями смертных и рано или поздно карает человека не очень щепетильного, дерзнувшего пожелать осла, вола или жену своего ближнего.

Госпожа де М*** зевает без передышки, муж с трудом скрывает радость и потирает руки с предовольным видом; у Родольфа лицо жалкое, и он бы мог с успехом позировать для Ессе homo. ^[21]

Меж тем близится полночь, и стрелка вот-вот зацепит цифру X. Родольф встает, берет шляпу; муж его провожает, и г-же де М*** едва удастся улучшить минутку и украдкой пожать ему руку, шепнув на ухо коротко, но многозначительно: «До завтра, мой ангел. И приходи пораньше».

Счастливчик Родольф! Он может утешиться проигрышем нескольких экю по сто су с изображением Наполеона или Карла V, ибо в те времена короля-гражданина еще и в помине не было.

Читатель, без сомнения, заметил, что последние страницы ни к черту не годятся; увидеть это не трудно. Тут и безвкусица, и банальность — вас просто начинает мутить, как от комедии Казимира Бонжура. Стил ь отдает отменной пошлостью, а нескончаемый диалог не что иное, как череда самых явных общих мест. Нет ни единого остроумного словца, и, по совести говоря, сочинитель всей этой писанины всего лишь бездарный борзописец, и следовало бы дать ему под зад коленом, а книгу его швырнуть в огонь.

Но, взирая на вещи беспристрастно, вы, пожалуй, увидите, что виноват не только сочинитель, что он, желая воссоздать с точностью банальный случай, принужден был стать банальным. Прошу вас, друг-читатель, поверить, что автор не меньше вас презирает обыденность, и если поневоле погряз в ней, то лишь потому, что был обманут, как и вы, что он вовсе не замысливал столь заурядную историю, взявшись за жизнеописание такого эксцентричного молодого человека, как наш друг Родольф.

Он воображал, будто из-под его пера ринутся потоком сильные и страстные сцены и что у личности, наделенной бородой, усами, волосами в стиле Рафаэля, кинжалами, мужественным сердцем и кожей оливкового оттенка, конечно, совсем иной удел, нежели у лавочника — грубого, грузного, свежесбритого и каждодневно гильотинируемого воротничком рубашки.

О Родольф! О Родольф!! О Родольф!!! Ты увязнешь в прозе, как свинья в трясине.

Ты сочинил каламбур и кучу мадригалов, пошел на любовное свиданье и играл в карты, а в довершение всех гнусностей ты опорочил романтическую пьесу.

Восстанови же в памяти весь вечер и покрасней, если ты еще способен краснеть. Ты вошел в дверь как настоящий мужчина, ты сел на козетку, как мещанин, и ты одержал победу, как заурядный писец судебного пристава.

А ведь тебе подвернулся великолепный случай — ты бы мог воспользоваться своей шелковой лестницей и выломать окно рукой, обмотанной носовым платком. Но ты все прозевал, восторженный Родольф. Затем ты бы мог втолкнуть прелестницу в чулан и там силой овладеть ею с возможно большей для себя приятностью. Стоило бы тебе только захотеть, и ты бы поступил в духе чистейшего *антонизма*, но ты не захотел, и посему я презираю тебя и приговариваю навечно быть бакалейщиком.

Так или почти так размышлял молодой неудачник, возвращаясь домой.

— Как же случилось, что мне, Родольфу, совершеннолетнему, красивому, мне, поэту, оказавшемуся наедине с женщиной, которую даже итальянец принял бы за итальянку, женщиной, имеющей мужа и все прочее, что необходимо для того, чтобы получилась драматическая сцена, мне, обладателю толедского или почти толедского кинжала, мне, готовому пустить его в ход, так и не удалось разыграть совсем небольшой эпизод с драматическим исходом. Впору умереть со стыда и досады!

Что я ни делаю, все, все складывается самым заурядным образом. Я домогаюсь женщины — сопротивления не встречаю; хочу влезть к ней в окно — мне вручают ключ от двери. Муж и не думает ревновать, а поручает красавицу жене моим заботам; он появляется внезапно —

как гром среди ясного неба, и чуть не застигает меня на месте преступления, но упорно ничего не хочет замечать, хотя все и так очевидно: подушки разбросаны, жена то краснеет, то бледнеет, да и весь мой вид, мое смятение явно двусмысленно, а ему невдомек. И вместо того, чтобы пронзить меня кинжалом или вышвырнуть в окно, как требовало приличие, вместо того, чтобы волочить супругу за волосы по всей комнате, так, как надлежит мужу в драме, он предлагает мне сыграть в экарте и выигрывает столько денег, что на них я мог бы напиться до чертиков со всеми своими приятелями. Спора нет, мне суждено быть торговцем свечей, а отнюдь не вторым лордом Байроном. Прискорбно, но так.

О создатель! Что же делать с поэтическим вдохновением, которое бурлит в груди и снедает меня? Где сыскать душу, которая поняла бы мою душу? Сердце, которое отвечало бы моему сердцу?

Дома Родольф услышал, как жалобно-прежалобно мяукают кошки: Том монотонным баском, у беленькой кошечки контральто, а у ангорского кота такой тенор, что ему позавидовал бы сам Рубини.

Они бросились к нему с неописуемым ликованием — Том, сверкая огромными зелеными глазами, кошечка, выгибая спину, ангорский кот, подняв хвост трубой, — так все они, на свой лад, приветствовали его возвращение.

Мариетта пришла тоже, но вид у нее был унылый, и когда Родольф, довольно рассеянно поцеловав ее в лоб, направляясь в спальню, оперся было о плечо девушки, то она, и не подумав дружески поддержать усталого хозяина, резко отпрянула в сторону, и рука Родольфа соскользнула, повиснув вдоль тела.

Родольф, занятый совсем иными мыслями, ничего не заметил и улегся спать в прескверном расположении духа, странном для человека, вернувшегося с любовного свидания.

Мариетта все не уходила из комнаты и еще долго возилась — переставляла фарфоровую посуду, выдвигала и задвигала ящики, словом, всячески старалась привлечь внимание Родольфа, а быть может, ждала, что он попросит ее остаться; но Родольф и не думал этого делать, — причины на то у него были веские. Так, ничего не добившись, она взяла подсвечник и вышла, посмотрев на своего полусонного повелителя долгим взглядом, — и любящим и гневным.

Наутро, когда Мариетта принесла завтрак, Родольф заметил, что глаза у нее покраснели.

Родольф. Мариетта, у вас покраснели глаза!

Мариетта. У меня, сударь?

Родольф. Ну да, у вас.

Мариетта. Верно, оттого, что я дурно спала, да и сейчас их потеряла.

Родольф. По правде сказать, мне кажется, будто вы плакали.

Мариетта. А чего мне плакать? Насколько мне известно, никто из моей родни не умер.

Родольф. Ну плакать из-за этого и не стоило бы. А вот шоколад ваш пить невозможно, на весь дом пригорелым несет.

Мариетта. Я ведь старалась сделать как лучше.

Родольф. А получилось хуже. И сахар в воду не положила.

Мариетта. Ах ты господи! Я об этом-то и не подумала.

Родольф. О чем же вы думаете?

Мариетта вскинула свои миндалевидные глаза и посмотрела на него таким печальным и укоризненным взглядом, что Родольф невольно почувствовал душевное смятение; раскаиваясь, что держался с нею так сурово, он приласкал ее и произнес слова, которые в устах хозяина могли, пожалуй, сойти за извинение.

Мариетта ушла, а Родольф, оставшись один, принялся дергать за усы старого кота и сетовать на свою злополучную долю.

Так долго вынашивать замысел романа, полного драматических сцен и кровавых перипетий, и встретить на своем пути заурядную кокетку и совсем уж заурядного мужа!

Из такого удачного стечения обстоятельств не удалось извлечь ни крохотной искры страсти — в самом деле, как же тут не впасть в уныние!

Пробило три часа. Родольф вспомнил, что г-жа де М*** просила прийти пораньше. Он оделся и направил стопы к дому владычицы своего сердца; но шел он не легкой, стремительной походкой влюбленного, а полз, как улитка, и, право, скорее напоминал школьника, что нехотя плетется на занятия, нежели счастливого любовника.

Ему обрадовались, об этом и говорить нечего. В остальном же свидание ничем не отличалось от первого, если не считать того, что

прелюдия была до удивления короткой. Для мужчины, который великолепно держался накануне, Родольф снова вел себя великолепно; однако ж долг мой перед потомками сообщить, что диалогов было больше, а пантомим меньше, хоть такая замена, судя по всему, пришлось г-же де М*** не совсем по вкусу.

Здесь было бы к месту вставить глубокомысленное рассуждение, — отчего женщины любят сильнее после, а мужчины — до? Вряд ли оттого, что у женщин, как они утверждают, душа якобы возвышенней, а чувства утонченней. Бедный малый, которому, как говорится, везет в любви, на самом деле частенько оказывается невезучим, особенно, если, на беду, он вынужден, что ни день, встречаться с любовницей; есть такой вид учтивости, которую нелегко проявлять в назначенный час, чего женщины понять не желают, верно и то, что они могут быть учтивы всегда, по крайней мере, в определенном смысле, и это одна из бесчисленных причин моего вечного желания быть женщиной.

Одним словом, намного приятнее быть влюбленным и надеяться, чем уже быть любовником. Сказать: «я люблю» гораздо легче, чем доказывать это, причем доказывать свою любовь от раза до раза становится все труднее. Впрочем, г-жа де М*** снова нашла Родольфа неотразимым и призналась себе, что еще никогда ее так не любили.

Явился муж; отобедали, и все вместе добропорядочно, патриархально, как истые буржуа, отправились на премьеру.

Родольф дерзко ухаживал за г-жой де М***, выставляя напоказ их отношения, изо всех сил старался вызвать ревность мужа, тот же, радуясь, что не надо прислуживать жене, упорно ничего не замечал, и г-жа де М*** непринужденно отвечала на заигрывания Родольфа.

Положительно, муж был выпечен из пресного теста.

Родольф воротился домой взбешенный, ломая себе голову над тем, как же сделать, чтобы г-н де М*** хотя бы чуть-чуть походил на Отелло. И вдруг его словно осенило. Он хлопнул себя по лбу, пинком ноги опрокинул стол, как человек, которому пришла в голову блистательная идея.

— Черт возьми, вот здорово! Ну и дуралей же я, не додумался раньше! Эй, эй, Мариетта! Эй, быстро, перо, чернила и бумагу!

Мариетта подняла стол и положила на него письменные принадлежности.

Родольф раза три провел рукой по волосам, вращая глазами и раздувая ноздри, как сивилла на треножнике, и начал так:

«Сударь!

Есть на свете сорт людей, для которых я не нашел бы пристойного определения, — под их обаятельной внешностью скрывается глубочайшая безнравственность. Они ничего не уважают, издеваются над святой святых; невинность девиц, целомудрие женщины, честь мужей, все, что мы чтим, все, что для нас священо, — для них предмет насмешек и издевок; они проникают в семьи, а с ними — позор и нарушение супружеской верности. С прискорбием узнал я, сударь, что вы принимаете некоего Родольфа. Этот тип, — а мне довелось с ним познакомиться и досконально узнать, — чрезвычайно опасен: репутация у него позорная, но он еще хуже своей репутации. Он безнравствен до последней степени и становится все безнравственней день ото дня; он способен на любую подлость: он негодяй в полном смысле слова. Он известен и тем, что совратил и погубил множество женщин; ведь, невзирая на все свои недостатки, он умен и хорош собой, что делает его опасным вдвойне. Верьте же мне, сударь, и последите за ним повнимательнее, так же, как и за своей супругой. От всего сердца желаю, чтобы это не было слишком поздно.

Ваш искренний доброжелатель, пекущийся о вашей чести.

Адрес:

Г-ну де М***.

Улица Сен-Доминик-Сен-Жермен, N...

Местное»

Родольф запечатал свое необычайное послание, отослал на почту и потер руки с ликующим видом, как член «Погребка», сочинивший последний куплет.

— Клянусь святым Полишинелем, коварство свержмакиавеллевское, какого еще не замыслили ни один мужчина, ни одна женщина. Без сомнения — это новшество, к такому приему еще никогда не прибегали. O ter, quaterque!^[22] Придумать новое, хотя ничто не ново под луною, да еще воспользоваться таким затасканным приемом, известным каждому дураку, — анонимным письмом, — средством, к которому прибегают все мелкие пакостники и заурядные

интриганы! Честное слово, я преисполнен беспредельным самоуважением и, если б мог, то стал бы перед собою на колени. Изобличить самого себя перед мужем — да это нечто совершенно небывалое. Если при этом известии он не выкажет ревности, значит, он для нее не создан, и я готов объявить всему свету, что никто так безразлично не относился к делам супружеским, начиная с Адама, родоначальника всех супругов и единственного, кто был почти уверен, что он не рогоносец, — ведь тогда мужчин-то больше не было. Впрочем, это еще не доказательство, ибо история со змием и яблоком, по-моему, двусмысленна до крайности и наверняка таит аллегорический намек на рогоносца.

Может быть, глупый старикашка не покажет вида, будет выслеживать нас и захватит *flagrante delicto*,^[23] а может быть, он тут же разразится гневом, но и в том и другом случае он мне преподнесет две или три сцены, бурлящие страстями. Быть может, он вышвырнет г-жу де М*** в окно, а меня заколет кинжалом, — вот это было бы истинно в испанском или флорентинском вкусе и привело бы меня в восторг.

О пятый, столь вожделенный акт, которого я так упорно добивался, противоборствуя прозе жизни, акт, который я с таким старанием и трудом подготавливал, наконец-то вот он! Итак, я отрешусь от антонизма в духе Беркена и в реальной жизни уподоблюсь герою романа, явись еще один Байрон, я, право, стану прообразом еще одного Лары; муки совести и кровопролитие будут моим роковым уделом, и под нахмуренными бровями скроются тайны ужасных преступлений; отроковицы забудут положить сахар в чай, заглядевшись на меня, а тридцатилетние женщины вновь размечтаются, как при первой своей страсти.

На другой день Родольф явился к г-же де М***, возлагая величайшие надежды на свою военную хитрость; он воображал, что увидит сцену, исполненную отчаяния — г-жа де М***, вся в слезах и сообразно этому не причесана, муж, сжав кулаки, шагает по комнате с драматическим видом. Ничего подобного!

Госпожа де М*** в белом пеньюаре, тщательно причесанная, читала журнал мод; выпавшие оттуда картинки рассыпались по полу, и г-н де М*** собирал их самым учтивым образом.

Родольф был поражен так, будто увидел нечто сверхъестественное; он застыл на пороге с вытаращенными глазами, не зная, как быть, — войти или повернуть назад.

— А, это вы, Родольф! — сказал муж. — Рад вас видеть.

И ничего сатанинского не чувствовалось в его тоне.

— Здравствуйте, господин Родольф, — сказала г-жа де М***, — вы пришли кстати: мы умираем от скуки. Что нового?

В ее тоне не было ни принужденности, ни замешательства.

«Черт возьми, вот так чудеса! — подумал Родольф. — Может быть, он случайно не получил моего письма? У старого дуралея вид просто оскорбительно безмятежный».

Некоторое время разговор шел о таком вздоре, что передавать его читателю было бы убийственной жестокостью. Подхватим же его с места поинтересней.

Муж. Кстати, Родольф, вы ничего не знаете?

Родольф. Я знаю многое, но не знаю, о чем вы собираетесь говорить, во всяком случае, не догадываюсь.

Муж. Готов пари держать, что не угадаете!

Родольф. Фредерик пел, не фальшивя?

Муж. Не то.

Родольф. Онуфрий остепенился?

Муж. Не то.

Родольф. Теодор уплатил долги?

Муж. Еще забавнее.

Родольф. Извозчичья кляча закусил удила? Академик сочинил лирическую оду?

Муж. Как всегда — романтика! Вы в самом деле неисправимы. Но все это не то: ну, догадайтесь же!

Родольф. Я просто теряюсь.

Муж *(с торжеством)*. Друг мой, вы злодей.

Родольф *(вне себя от радости, в сторону)*. Наконец-то разыгрывается пятый акт. *(Громко.)* Я — злодей?

Муж *(расцветая от удовольствия)*. Да, вы — злодей! Дело известное: репутация у вас позорная, но вы еще хуже своей репутации.

Родольф *(в восторге, но делает вид, будто его достоинству нанесено оскорбление)*. Сударь, вы только что вели весьма странные речи. Право, я не понимаю...

Муж (разражаясь хохотом и сопя носом громче, чем семь труб у стен Иерихона). Хи-хи, хо-хо, ха-ха! Но до чего же невинный вид у этого юного злодея! Глядя на него, обманулись бы и продувные бестии. Хи-хи! Ну просто Ипполит перед Тезеем. А ну-ка, руку на живот, другую — вверх:

Не чище свет дневной глубин моей души

Эге, романтик, видите, я знаю своего Расина.
Родольф (вполголоса).

Старик, ее он любит!

Эге, классик, видишь, я знаю своего Гюго. (Громко, замогильным голосом). Сударь, ваши шутки по меньшей мере неуместны.

Госпожа де М***. Твой смех просто невыносим.

Родольф. Сделайте милость, объясните, над чем вы потешаетесь, и мы посмеемся вместе с вами.

Муж. С вашего позволения я расстегну жилет, бока разболелись. (Трагическим тоном.) Вы хотите знать, почему я смеюсь, молодой человек?

Родольф. Больше всего на свете!

Муж (тем же тоном). Трепещите! (Обычным голосом.) Подойдите, чудовище, и я вам скажу об этом на ухо.

Родольф (с достоинством). Итак, сударь?

Муж (тоном Ж. Прюдома). Вы — любовник моей жены.

Госпожа де М***. Если вы будете продолжать в том же духе, я уйду; извольте мне сообщить, когда все кончится.

Родольф (разыгрывая роль человека, поверженного в прах). Любовник вашей жены?

Муж (потирая руки). Да, а вы и не знали?

Родольф (в сторону). Наконец-то! (Наивно, громко.) Ей-богу, нет, а вы?

Муж. Я тоже. Так, значит, я был бы «последним господина Поль де Кока»,^[24] минотавром, как сказал господин де Бальзак — весьма остроумный малый. Законченная была бы комедия.

Родольф (*раздосадованный тем, что роковая сцена сорвалась*). Да, это и есть законченная комедия, как вы соизволили выразиться.

Муж. Я сказал: была бы, а не есть, между изъявительным и сослагательным наклонениями различие потрясающее, хе-хе!

Родольф. Ваша правда, сударь! Но как вам удалось сделать такое важное открытие?

Муж. Узнал из письма, присланного на мое имя, и к тому же письма анонимного. Больше всего на свете презираю анонимные письма. Грессе, прелестный автор поэмы «Вер-Вер», где-то сказал:

Подметное письмо вам честный не пришлет

Целиком разделяю его мнение.

Родольф (*с достоинством*). Надо быть просто подлецом, чтобы...

Муж (*вынимая из кармана письмо*). А ну-ка, прочтите. Что скажете? Конечно, ничего особенного. Стиль кухонный, — вероятно, прогнали какого-нибудь лакея, вот он и состряпал это послание, чтобы насолить вам и растревожить меня.

Родольф (*его авторское самолюбие несколько уязвлено*). По-моему, стиль не так уж плох, как вы говорите, — он прост, точен и не лишен изящества.

Муж. Да что вы! Такая безвкусица!

Госпожа де М*** (*раздраженно*). Господа, прекратите этот нелепый разговор, ведь можно умереть от скуки.

Муж (*не слушая ее*). Видите, на чем зиждется покой семьи? Висит на ниточке: это ужасно. Гм, гм, ну а если б я был ревнивым! К счастью, не ревнив! В жене я уверен, как в самом себе, и к тому же господин Родольф совершенно не способен...

Родольф (*с видом непризнанного гения*). Ах, сударь, совершенно не способен, говорю без фатовства...

Госпожа де М*** (*в сторону*). Ну и фат! Он горит желанием все рассказать моему мужу, только бы доказать, что способен.

Муж (*подмигивая с неописуемым лукавством*). Когда я говорю не способен, то имею в виду не физические качества, а нравственные, мой молодой друг.

Госпожа де М*** (*подчеркнуто сердитым тоном*). Довольно об этом. Бросьте письмо в огонь, и больше о нем ни слова.

Муж (*бросая письмо в огонь и напуская на себя невероятную важность*). Вот как надобно поступать с анонимными письмами.

Родольф (*назидательно*). Мудрейшее решение.

Бедняга Родольф, тебе, бесспорно, так и не удастся стать причиной пусть и незначительных, но захватывающих событий; драма явно тебя чуждается — только ты появишься, как она уже спасается бегством; боюсь, что ты так и будешь прозябать мещанином до самой смерти и после нее, вплоть до Страшного суда, ибо твоя вдохновенная страсть, надо признаться, сводится лишь к наставлению рогов — занятию донельзя тупому и донельзя пошлому; филистер, капрал национальной гвардии сотворяют рогоносцев точно так же.

Ей-богу, тебе должно быть стыдно за свое поведение. На твоём месте я бы двадцать раз повесился. Выходит, нет уже на свете ни веревки, ни ружья, ни мортиры, ни мушкетона, ни кинжала, ни бритвы, ни седьмого этажа, ни реки! Выходит, что из-за влюбленных швеек уголь непомерно вздорожал и тебе он не по карману, если после всего ты продолжаешь существовать и покуривать сигару своей жизни, как студент, проигравший пулю.

О боязливый! О малодушный! Да кинься ты в отхожее место, как некогда почивший император Гелиогабал, если ты находишь, что все другие способы самоубийства, которые я предлагал тебе, слишком шаблонны и академически традиционны.

Родольф, дорогой мой, умоляю тебя на коленях, будь другом, позволь прикончить тебя. Хоть самоубийство вещь обыденная и грозит прослыть дурным тоном, но в нем все же есть какой-то шик, и производит оно довольно сильное поэтическое впечатление; быть может, оно возвысит тебя в глазах моих читателей, которые, вероятно, находят, что ты неудачный герой.

К тому же твоя смерть принесла бы мне неописуемую выгоду: не пришлось бы корпеть над описанием последующих лет твоей жизни. И я бы мог поставить под этой затянувшейся повестушкой благословенное слово «*Конец*», которое читатели наверняка ждут так же нетерпеливо, как и я, твой прославленный биограф.

Да и погода стоит отменнейшая, поэтому уверяю тебя, Родольф, мне было бы приятнее в тысячу раз пройти по лесу, чем гонять свое

измотанное, запыхавшееся перо вдоль этих безнравственных страниц. Тут бы вставить стихотвореньице в прозе строк на двадцать, что обычно делают фельетонисты каждую весну, сетуя на то, как они несчастны — обязаны смотреть водевили да комические оперы и не могут отправиться на лоно природы, в Медон или Монморанси; но я буду тверд и стоек и умолчу о голубых небесах, соловьях и сирени, о персиковых и яблоневых деревьях и вообще о всякой зелени; вот почему я требую, чтобы человечество постановило принести мне благодарность и присудило мне гражданский венок.

А ведь какую огромную пользу я бы извлек: заполнил бы страницу, но, говоря по правде, не знаю, что еще вписать, а издатель тут как тут, в передней, требует рукопись и выпускает черные когти, как голодный ястреб.

Заметьте, любезные читатели и читательницы, я, не то что иные авторы — мои собратья по перу, не прибегаю ни к лунному сиянию, ни к закату солнца, нет ни намека на описания замка, леса или развалин. Я не прибегаю к привидениям, а тем более к разбойникам; я оставил у костюмера панталоны до колен и средневековое верхнее одеяние с гербами; ни сражений, ни пожаров, ни умыканий, ни насилий. Женщин в моей книжке насилуют не больше, чем вашу жену или жену вашего соседа; ни убийства, ни повешения, ни четвертования, ни единого никудышного трупика, чтобы оживить повествование и заполнить пустоты.

Видите, как я несчастен, — вынужден чуть не каждый день и так до конца жизни сдавать рукопись в восьмую долю листа, по двадцать шесть строчек на странице и тридцать пять букв в строчке.

И как я ни стараюсь писать короткими фразами и рассекать их частыми абзацами, мне все же не удастся обмануть моего почтенного издателя больше, чем строк на двадцать и какую-нибудь сотенку букв; не сообразил я также разбить повесть на главки, или, вернее, сообразил, но слишком поздно.

К тому же, а это еще больше осложняет задачу, я решил ввести в книгу только факты безусловно поражающие воображение.

Для таких знатоков, как вы, я не могу фаршировать индейку каштанами вместо трюфелей; вы чересчур тонкие ценители, тотчас же заметите и вознегодуете, а избежать этого мне хочется больше всего на свете.

Родольф вышел, доведенный до отчаяния пошлостью и обыденностью разыгранной сцены, на которую так уповал. Он шагнул вперед, засунув большие пальцы в карманы брюк, не замечая, что из бокового кармана торчит носовой платок, шляпа съехала на затылок, галстук развязался, физически и нравственно он пребывал в состоянии человека, поверженного во прах.

Вдруг Родольф наткнулся на какой-то предмет: для стены он был чересчур мягким, для кормилицы — слишком жестким, подняв глаза, он остолбенел от удивления — перед ним был друг его, Альбер.

Родольф. Тыфу ты, черт! Будь повнимательней к встречным.

Альбер. Вот уж неуместное назидание — ведь ты сам шел, опустив нос, как свинья, ищущая трюфели.

Родольф. Благодарю за лестное сравнение.

Альбер. Клянусь жизнью, свинья, находящая трюфели, стоит побольше, чем поэт, находящий одни только рифмы.

Родольф. Бесспорно, хорошие трюфели — вещь хорошая, спору нет, но и хорошими рифмами гнушаться не следует, особенно в наше время; хорошая рифма — половина стиха.

Альбер. А что такое весь стих? Что ты ни делай, а сыт рифмой не будешь, и если б ты фаршировал пулярку рифмами, а не трюфелями, новшества никто бы не одобрил.

Родольф. А что, если вместо рифмы я поставлю в конце каждой строки трюфель?

Альбер. Хотя я тебя и чту как поэта, но стихи в этом случае наверняка станут более ходким товаром, чем при любом ином литературном приеме.

Родольф. Поговорим о другом — довольно впустую острить. Ведь мы с тобой одни, и нечего изощряться, это стоит делать только перед буржуа, которых хочешь одурачить.

Альбер. Изволь, обратимся в простофиль, правда, это труднее, и чтобы было легче, я стану твоим эхом.

Родольф. Куда ты идешь?

Альбер. Куда ты идешь?

Родольф. К тебе.

Альбер. К тебе.

Родольф. Попросить тебя об одном одолжении.

Альбер (*живо и уже не как эхо*). Друг ты мой милый, неудачней время трудно и придумать — у меня нет ни су; в другой раз, пожалуйста, рассчитывай на меня, но сейчас я сижу на мели; нынче у нас пятнадцатое, а я уже проел все деньги за месяц вперед.

Родольф. Да не о деньгах речь. Я прошу об услуге, как мужчина мужчину.

Альбер. Ну это дело другое. Тебе нужен секундант? Я тебе покажу такой удар рапирой...

Родольф. Увы, нужен ты мне не для этого.

Альбер. Может быть, соорудить хвалебный отзыв на твои последние стихи? Я готов. Видишь, как я тебе предан.

Родольф. Нужна более важная услуга. Ты знаком с госпожой де М***?

Альбер. Хорош вопрос. Ведь я-то и познакомил тебя с нею.

Родольф. Ты знаком и с господином де М***?

Альбер. Он — та половина, с которой она составляет целое, или, говоря попросту, — супруг оной; знаю как свои пять пальцев.

Родольф. Ты также знаешь, что я пылаю страстью к госпоже де М***.

Альбер. Как же, знаю, черт побери! Я видел твою страсть еще малюткой; она появилась на свет на балконе оперного театра, и бутылка испанского вина заменила ей мать, а отца — бокал для пунша; я запеленал ее в пеленки дружбы, я ее укачивал, лелеял ее до той поры, пока она не превратилась в девчурку и не научилась ходить самостоятельно; я слышал ее первый лепет и читал первые стишки, которые она просюсюкала, — между прочим, прескверные; как видишь, я все знаю.

Родольф. Так слушай же и постарайся быть серьезным хоть раз в жизни, если можешь.

Альбер. Постараюсь на этот раз и еще разок в придачу — только будет это, когда я умру или женюсь.

Родольф. Я мечтал войти в образ натуры художественной, я мечтал окрасить поэзией прозу жизни и воображал, что для этого нет ничего лучше, чем изысканная и сильная страсть в достойной оправе. Я влюбился в госпожу де М***, уверовав в ее смуглую кожу и глаза итальянки; я и не думал, что при таких явных приметах пылкости и страстности можно быть холодной, как фламандка, кожа у которой под

цвет сыра, волосы рыжие, глаза голубые, величиною с. колесико, что на шпорах; я воображал, что увижу самые исступленные порывы страстей, вулканические взрывы, темперамент львицы или тигрицы. О, создатель! Женщина с черными глазами, с розовыми точеными ноздрями, невзирая на оливковый цвет лица, живые краски, влажные и чувственные губы, оказалась одной из овечек госпожи Дезульер, и все свершилось самым безмятежным образом: ни слезинки, ни вздоха, спокойный и веселый вид — хоть на стенку лезь! Я-то мечтал, что она вдохновит меня на создание, по крайней мере, двадцати — тридцати элегий; а я с трудом, и то прибегнув к заимствованиям из Петрарки, едва создал пять-шесть сонетов, которые, впрочем, мне пригодятся в будущем, ибо она так же понимает в поэзии, как я в греческом, и говорить с ней стихами — пустая затея; о бедная моя шелковая лестница, по которой я мечтал взобраться на ее балкон, теперь я вижу, что мне надо от тебя отказаться и продолжать тупо подниматься по каменным ступеням, под стать господину ее супругу. И вот, не зная, как быть, как оживить эту драму, сделать стремительнее ее действие, я решил анонимно написать мужу, что я в близких отношениях с его женой; я надеялся, что он взревнует и устроит сцену; а кончилось все цитатой из Грессе и приглашением на завтра.

Альбер. Все это весьма прискорбно, но я советую тебе написать на эту тему роман-исповедь в двух томах *in octavo*:^[25] я пользуюсь доверием одного книгопродавца, он сразу же его возьмет; вот единственно, чем я могу тебе помочь.

Родольф. погоди. Ты мой закадычный друг.

Альбер. Эту честь я разделяю с сотней-другой твоих приятелей.

Родольф. Итак, во имя любви ко мне, приволокнись за госпожой де М***.

Альбер. За твоей любовницей?

Родольф. Да.

Альбер. Тьфу ты пропасть! Что это за выдумки! Уж не хочешь ли ты посмеяться надо мной?

Родольф. Ни в коем случае. Да разве это шутка?

Альбер. И весьма плоская.

Родольф. Клянусь, мне не до смеха.

Альбер. Возможно, но от этого ты не менее забавен.

Родольф. Неужели тебе трудно?

Альбер. О, нисколько. Ну, что ж, допустим — я ухаживаю за твоей любовницей. А дальше что?

Родольф. Значит, согласен?

Альбер. Отнюдь нет. Говорю так просто, чтобы выяснить, куда ты клонишь.

Родольф. Но ведь я ревнив: словом, сам понимаешь.

Альбер. Ничего не понимаю, но продолжай, будто я понимаю.

Родольф. Я ревнив, но ревнив романтически и драматически — как Отелло, только вдвойне, втройне. Представь: я вас застаю вдвоем; но ведь ты мой друг, значит, свершилось неслыханное вероломство; какая великолепная коллизия: трудно найти нечто более донжуанское, мефистофельское, макиавеллевское и столь пленительно злодейское. И вот я выхватываю свой острый кинжал и закалываю вас обоих, а это уже донельзя по-испански и донельзя страстно. Ну, что скажешь?

Тут Альбер трижды обвел взглядом Родольфа с головы до ног и с ног до головы и убежал вприпрыжку, хохоча, словно вор, на глазах которого вешают судью.

Родольф, глубоко оскорбленный, умолк и постарался принять величественную позу.

Видя, что Альбер и не думает возвращаться, он пошел домой, разъяренный, как Жеронт, побитый Скапенем.

Прошло пять-шесть дней, а ему так и не представился случай посетить г-жу де М***, и он сидел дома наедине со своими кошками и Мариеттой.

Мариетта, которая с некоторых пор, казалось, пребывала во власти каких-то нравственных страданий, утратила яркий румянец и чарующую жизнерадостность; она больше не пела, больше не смеялась, не носилась по комнате, а целыми днями сидела за шитьем у окна, притаившись, как мышка. Родольф, крайне удивленный такой переменной, никак не мог догадаться, чему ее приписать. Не зная, куда деться от безделья, да и находя, что ей к лицу перламутровая бледность и синева вокруг прекрасных глаз, он вознамерился было вступить с ней в прежние отношения, ибо не лишне отметить, что его частые беседы с г-жой де М*** изрядно мешали его диалогам с Мариеттой. Но она и не подумала благосклонно принять ласки своего повелителя, как бывало раньше, а стойко отбивалась, ужом выскользнула из его рук, убежала к себе в комнату и заперлась.

Родольф попытался повести переговоры через замочную скважину; но напрасный труд — Мариетта молчала, как рыба. Родольф, видя, что все его посулы тщетны, признал игру проигранной и взялся за прерванное чтение.

Спустя час вошла Мариетта; она была принаряжена и держала под мышкой довольно объемистый сверток. Родольф поднял голову и увидел, что она молча стоит, прислонясь к стене.

Родольф. В чем дело, Мариетта, и что это за сверток?

Мариетта. А дело в том, что я ухожу, и вы уж дайте мне, пожалуйста, расчет.

Родольф. Расчет? Но отчего же? Разве вам тут так плохо, разве работа так изнурительна, что вы выбились из сил? Ну так возьмите кого-нибудь в помощь и оставайтесь.

Мариетта. Сударь, жаловаться мне не на что, и не в этом причина моего ухода.

Родольф. Уж не забыл ли я случайно уплатить тебе жалованье за последний квартал?

Мариетта. Из-за этого я бы не ушла, сударь.

Родольф. А, так, значит, ты нашла место получше!

Мариетта. Нет. Ведь я возвращаюсь домой, к матушке.

Родольф. Ты к ней не вернешься, потому что я не хочу с тобой расставаться. Что это за каприз?

Мариетта. О нет, не каприз, сударь, а незыблемое решение.

Родольф. Незыблемое решение? Странно звучит это выражение в устах женщины — существа самого непостоянного на свете. Ты останешься, Мариетта...

Мариетта. У меня недостает ума, чтобы спорить с вами; но знаю одно: я и ночи здесь не проведу.

Родольф. Ошибаешься, моя прелесть: проведешь, и, вдобавок, со мною.

Мариетта. Ну уж нет, или я не буду зваться Мариеттой.

Родольф. Что ж, называйся хоть Жанной, и хватит об этом толковать. Право, Мариетта, ты становишься несносно добродетельной. Если так будет продолжаться, пожалуй, угодишь в святцы — как дева и великомученица. А ведь добродетель — прегнусная, старомодная штука, и я не понимаю, ради чего ты ею обзаводишься: ведь ты хороша собою, и тебе всего двадцать лет.

Оставь ее старухам и дурнушкам, пусть они ею и владеют, мы им только благодарны за это; но с такими очаровательными глазками и с такой шейкой ты не имеешь права на добродетель и тебе не подобает взывать к ней. Ну, глупышка, брось свой узелок и не прикидывайся недотрогой; давай поцелуемся и будем добрыми друзьями, как бывало.

Мариетта. Целоваться я не буду, оставьте меня, сударь; ступайте к своей госпоже де М***, с ней и целуйтесь.

Родольф. С нею покончено, и у меня нет ни малейшего желания возвращаться.

Мариетта. О, мужчины! Вот они какие! Эта и та — любая для них хороша, но та, кто ближе к их губам, всегда желанней.

Родольф. Ты философствуешь с удивительным глубокомыслием, и высокие эти рассуждения были бы уместны в комической опере. Однако сейчас у самых моих губ ты, значит, ты и самая желанная.

Мариетта (*роняет сверток и слабо защищается*). Господин Родольф, умоляю, больше не ходите к госпоже де М***, она нехорошая женщина.

Родольф. Ты же с ней не знакома, откуда же тебе это знать.

Мариетта. Все равно, я в этом уверена. Терпеть ее не могу. О, не ходите больше к ней, и я буду крепко вас любить.

Родольф. Если такой пустяк, крошка, тебя порадует, охотно повинуюсь. Ну-ка растолкуй, как это ты вздумала приревновать меня? Ведь ты уже довольно давно у меня в услужении и ни разу ничего подобного не приходило тебе в голову.

Мариетта. Вам-то легко говорить, сударь. Вы шутите, а у меня вся душа истерзалась; вы воображаете, что, став вашей служанкой, я перестала быть женщиной? Если вы на это рассчитывали, то, значит, жестоко ошибались. Да, знаю, какая это дерзость, какая смелость — полюбить вас, моего господина; но я вас люблю; да и разве это моя вина? Вас я не домогалась, напротив, сколько я пролила слез, как мне не хотелось ехать сюда с вами. Я была совсем девчонкой, когда вы взяли меня у моей старенькой матушки и привезли сюда: найдя меня хорошенькой, вы мною не погнушались и совратили меня. Сделать это вам было нетрудно. Я была так одинока и так беззащитна; вы злоупотребили своей господской властью и моим рабским повиновением; и потом — зачем скрывать? Я еще не любила вас, но я никого не любила; вы первый пробудили мои чувства, и в упоении

любви я терпела многое, чего больше терпеть не стану, так и знайте; я больше не хочу быть для вас безделицей, игрушкой, которую возьмут и тут же бросят, вещь, приятной на ощупь, вроде ткани или меха, и надоело мне, что я — нечто среднее между вашими кошками и собакой. Я-то не умею, подобно вам, рассекать свою любовь надвое: любовь духовная — для этой, а плотская — для той. Я люблю вас и душой и телом, я хочу, чтобы и меня любили так же. Я так хочу! Не правда ли, странно звучат эти слова, когда я, служанка, обращаюсь к вам — хозяину? Ведь вы взяли меня в дом как служанку, а не как любовницу, вы-то, может быть, и забыли об этом, да мне не забыть.

Родольф (*в сторону*). Клянусь непорочностью своей бабушки, вот оно, проявление страсти. (*Громко, ласковым тоном.*) Бедненькая моя Мариетта! (*В сторону.*) Решено, ту я бросаю.

Мариетта (*плача*). Ах, Родольф, знали бы вы, какие муки терзают меня, вы бы тоже заплакали, хоть вы и человек бесчувственный.

Родольф (*осушая губами слезы на ее глазах*). Довольно плакать, малютка; из-за тебя я впервые наглотался слез с тех пор, как вышел из младенчества,

Мариетта (*несмело обвивая руками его шею*). Любить и не сметь признаться, изнывать от печали, чувствовать, что вот-вот разрываешься, и знать, что нельзя припасть головой к груди любимого, дать волю слезам и приласкаться; уподобляться собаке, которая зорко следит за хозяином и ждет, когда ему заблагорассудится ее погладить; вот такая у нас доля. О, я так несчастна!

Родольф (*растроганный*). Ты глупа, как индюшка! Кто мешает тебе сказать, что ты меня любишь, и приласкаться ко мне, когда вздумается. Надеюсь, не я?

Мариетта. А чем другие женщины лучше меня? Я тоже хороша собою, как многие из тех, что слынут раскрасавицами. Вы сами это как-то сказали, Родольф, не знаю, есть ли у меня основание вам верить, но я вам верю. К чему брать на себя труд и льстить служанке! Ведь стоит лишь сказать «я хочу» — это куда проще. Взгляните на мои волосы — черные и густые, а я ведь часто слышала, как вы восхваляете черные волосы; и глаза у меня черные, как волосы; вы не раз говорили, что терпеть не можете голубых глаз; кожа у меня смуглая, а бледна я, о Родольф, оттого, что люблю вас и страдаю. Вы и стали волочиться за той женщиной лишь оттого, что у нее смуглая

кожа и черные глаза. Все это есть у меня, Родольф; я моложе ее и люблю вас так сильно, как ей не полюбить; ведь ее любовь родилась в веселии, а моя — в слезах, и все же вы не обращаете на меня внимания. Отчего? Оттого, что я ваша служанка, оттого, что пекусь о вас день и ночь, оттого, что предвосхищаю все ваши желания, принимаюсь хлопотать двадцать раз на день, потакая всем вашим, даже самым пустячным, прихотям. Правда, к концу года вы швыряете мне несколько монет, но уж не думаете ли вы, что деньгами можно воздать тому, кто самозабвенно посвящает вам свою жизнь во имя вашего блага, и что бедная служанка не жаждет, пусть даже небольшого, ответного чувства, которое было бы ей утешением в этой жизни, полной самопожертвования и скорби. Были б у меня модные шляпки да щегольские наряды, была бы я женой нотариуса или биржевого маклера, вы бы стояли на часах под моим балконом и вас бы осчастливил мой взгляд, брошенный из-за шторы.

Родольф. Ну для этого я недостаточно платоничен. Я люблю тебя такой, какая ты есть, больше самой знатной дамы на свете. Так решено, ты остаешься?

Мариетта. А госпожа де М***? Ведь вы меня понимаете...

Родольф. А ну ее к черту. С ней я порываю. *(В сторону.)* В этой бедной девушке истинной страсти больше, чем в двадцати светских кривляках, да и, кроме того, она красивее.

Мариетта. Так вы мне обещаете?

Родольф. Клянусь твоими глазами и губками.

Мариетта *(пылко)*. Тогда я остаюсь.

Родольф. Вот так-то! А теперь вы — наша горничная, произведенная в чин нашей узаконенной любовницы, — найдите кого-нибудь, кто бы вас заменил и за вас работал.

Мариетта. Нет, Родольф, я хочу быть здесь вдвоем с вами, и к тому же я вас слишком люблю и никому не доверю заботу о вас.

Родольф. Хорошая ты девушка! И до чего же глупо было так далеко забираться в поисках сокровища, когда оно тут рядом. Я люблю тебя и душой и телом, расположение духа у меня просто пасторальное, и мы с тобою вкусим утехы Дафниса и Хлои. *(Он сажает ее к себе на колени и укачивает, как ребенка.)*

Появляется Альбер — человек положительный.

— Вот композиция, составленная совсем недурно; но вряд ли госпожа де М*** пришла бы в восторг, если б ее увидела.

Родольф. Хотел бы я, чтобы увидела.

Альбер. Значит, разлюбил?

Родольф. А разве я ее любил?

Альбер. Правду говоря, сомневаюсь. А твоя страсть — страсть художника?

Родольф. К черту страсть! Я гнался за нею, а она сама явилась ко мне.

Альбер. Так всегда и бывает. Рад, что ты снова рассуждаешь здраво. Воздаю благодарность Мариетте за успешное исцеление.

Мариетта. Далось оно мне не без труда, господин Альбер.

Альбер. Еще бы, недуг был тяжелый, берегись повторных вспышек.

Мариетта. О, тут уж я позабочусь, не допущу их, будьте покойны.

Родольф. Не бойся, душенька, ты так хороша и так добра, что опасаться тебе нечего.

Альбер. О дружище! Нужно быть просто безумцем, чтобы бежать из дома в надежде встретить поэзию. Поэзии нет ни здесь, ни там, она — в нас самих. Иные рыщут по всему свету, взывая к вдохновению, взирают на всевозможные красоты природы, а сами и не замечают, что в десяти лье от Парижа есть то, чего они ищут за тридевять земель. Сколько великолепных поэтических сюжетов найдешь ты вокруг, начиная с мансарды и кончая каморкой привратника, но не будет у них ни Гомера, ни Байрона; сколько смиренных сердец, изнывая, угасают в молчании, ибо огню, снедающему их, не суждено вырваться наружу и озарить все светом; сколько пролито слез, которые никому не дано осушить! Сколько страстей, сколько драм, о которых вовек никто не узнает, сколько погибших дарований, сколько побегов, увядших без воздуха! Комната, в которой мы сейчас сидим, такая уютная, такая мирная, такая обыденная, быть может, видела столько внезапных перемен в судьбах, столько домашних трагедий и семейных драм, сколько в театре Порт-Сен-Мартен разыгрывается за целый год. Супруги, любовники обменивались здесь первыми поцелуями, молодые женщины вкушали мучительные радости материнства, дети теряли старую мать. И смеялись люди, и плакали, и любили люди, и ревновали, и страдали люди, и наслаждались и стонали люди, и

умирали среди четырех этих стен: вся человеческая жизнь на небольшой площадке. И хоть у актеров — участников всех этих драм, нет ни медно-смуглого цвета лица, нет кинжала и имя их не кончается на «и» или «о», но от этого в их душах не меньше страсти и любви, жажды мести и ненависти, и хоть сердце их бьется не под камзолом и не под панцирем, но бьется оно не менее быстро и сильно. И хотя развязка этих житейских реальных трагедий — не удар кинжала, не стакан с ядом, но в них не меньше жути и слез. Поверь мне, дружище, хоть поэзия и дитя небес, но она не пренебрегает самой обыденной жизнью; она охотно покидает синее небо Востока и складывает за спиною свои золоченые крылья, чтобы присесть у изголовья убогого ложа, под кровлей захудалой мансарды; она, подобно Христу, любит бедных и простых и призывает их к себе. Поэзия — всюду и везде: эта комната так же поэтична, как залив Байи, как Иския либо Лаго-Маджоре, — любое место, прославившее поэтическим. В твоих силах найти здесь рудоносную жилу и разработать ее. А не удастся — ходатайствуй о сверхштатном месте где-нибудь в канцелярии или строчи критические статьи для какой-нибудь газетенки, ибо ты не поэт, и муза отворачивается от тебя. Погляди-ка, в этих стенах протекли лучшие годы твоей жизни; тут тебя посещали самые прекрасные мечты, самые яркие виденья. Ты уже издавна свыкся, сжился со всеми потаенными уголками, твои бока отменно приспособились ко всем их выступам, и ты, как улитка, уютно устроился в своей раковине. Эти стены знают, любят тебя и повторяют твой голос, твои шаги вернее, чем голос и шаги других; все вещи созданы для тебя, а ты создан для них. Когда тыходишь, качалка влюбленно тянется к тебе и умирает от желания заключить тебя в объятия; цветы на камине распускаются и склоняют головки, приветствуя тебя; стенные часы трезвонят, а стрелка летит радостно, во весь опор, спеша скорее добраться до того вожделенного часа, о котором оповещает звон, для тебя более сладостный, чем божественная музыка, — до часа обеда или завтрака; постель скромно улыбается тебе из глубины алькова и, зардевшись от смущения, выглядывает из-за пунцовых занавесок, будто говоря, что тебе двадцать лет, что твоя возлюбленная обворожительна; пламя танцует в камине, котелки стрекочут, как сороки, птицы поют, кошки мурлычут; все предметы обретают голос, все хотят выразить свое удовольствие; липа из сада протягивает ветви сквозь жалюзи, словно

подает тебе руку и желает всякого благополучия; солнце встает тебе навстречу, ярко светит в окно, и пылинки еще веселее вальсируют в его лучах. Дом — это тело, а ты его душа, и ты одухотворяешь его: ты средоточие этого микрокосмоса. Зачем же тебе бежать отсюда — ведь в ином месте ты станешь второстепенным персонажем, а можешь быть главным! О, Родольф! Послушай меня, предай огню выпренье свои творенья в испанском и итальянском духе. Растение, перенесенное в другую среду, теряет свои свойства; южный арбуз на севере становится тыквой, северная редиска на юге — кольником. Не переселяйся же и ты, только на родной почве можно пустить могучие и глубокие корни: ты честный и славный малый, зачем же тебе превращаться в никчемного бродягу, которого первый же встречный козопас в Абруццских горах прогонит пинком в зад и сочтет олухом с полным на то основанием. Люби Мариетту, которая любит тебя, не задумываясь о том, артистичная или нет у тебя внешность, пиши стихи, как пишется; это и есть самое мудрое решение, и благодаря ему ты заживешь как подобает мужчине, и хоть жизнь твоя и не будет очень уж драматична, но от этого она не станет менее сладостной и поведет тебя по гладкой дороге, посыпанной песком, к той неведомой конечной цели, к которой идем все мы. Если кто-нибудь тебя оскорбляет, дерись на поединке, но не убивай противника на итальянский манер, ибо тебя всенепременно отправят на гильотину, а это меня раздосадовало бы немало, ибо ты человек хороший, хотя и изрядный сумасброд.

Из уважения к дружбе, которую я питаю к тебе, извини, что заставил тебя проглотить всю эту размазню, которую я уже битый час сдабриваю своим сладкоречием; кстати, передай-ка мне спичку — разжечь табак в трубке, и я клятвенно обещаю воздать тебе благодарностью, равной твоей услуге.

Родольф исполнил его просьбу, и вскоре комнату наполнило облако дыма. Вечер прошел превесело, и Альбер ушел очень поздно.

Наутро Мариетта застелила только одну постель, и на ее кругленьких пухлых щечках снова расцвел яркий румянец.

А что подельывает г-жа де М***? Не успел Родольф ее бросить, как она поспешила снова завести себе любовника — из боязни остаться ни при чем.

А г-н де М***? Он все такой же, каким и был, — иными словами, самым «последним Поль де Кока», каким только можно быть, — впрочем, вряд ли иносказания играют большую роль.

С тех пор Родольф и г-жа де М*** не раз встречались в свете; они выказывали друг другу холодную вежливость, как люди, едва знакомые. Цивилизация — превосходная штука!

Итак, мы подошли к концу этой изумительной эпопеи, причем я умышленно подчеркиваю слово «эпопея», ибо вы, пожалуй, примете все это за историю безнравственную, написанную в назидание юным девам.

Ничего подобного, почтенный читатель. Под легкомысленным покровом скрыт весьма глубокий иносказательный смысл: сейчас я все поясню обстоятельно на тот случай, если вы этого не заметили.

Родольф — непостоянный, ветреный, полный неясных побуждений, ищущий красоты и страсти, являет собою человеческую душу в молодости, душу, не умудренную опытом; г-жа де М*** являет собою классическую поэзию, прекрасную и хладную, блестящую и неискреннюю, во всем схожую с античными статуями, с богиней, лишенной сердца человеческого, — ничто не дрогнет под ее мраморной плотью; в остальном она доступна, податлива, трогать ее не возбраняется, вопреки ее претензиям и непомерной важности; Мариетта — вот она истинная поэзия, поэзия без корсета и прикрас, муза в образе славной девушки, которая так мила художнику, — она и плачет и смеется, поет и болтает, хлопочет и волнуется, живет земной жизнью, нашей с вами жизнью, примиряется со всеми нашими прихотями и причудами и без всякого жеманства выслушает любое слово, если суть его возвышенна.

Господин де М*** — это грубый, всеобщий здравый смысл, глупая проза, жалкий кругозор тупого обывателя; он сочетался браком с поэзией ложной, с поэзией классической: так оно и должно быть. Он стоит ниже своей супруги, и в этом есть сокровенный смысл, означающий, что Казимир Делавинь ниже Расина, который является воплощением классической поэзии. Г-н М*** — рогоносец, а это делает его типом обобщенным; кроме того, поэзия ложная доступна всем, а наставление рогов носит аллегорический характер.

Альбер, выводящий Родольфа на прямую дорогу, — это подлинный разум, закадычный друг истинной поэзии, это утонченная

и остроумная проза, что удерживает за кончики пальцев поэзию, которая вот-вот улетит с незыблемой почвы реального в заоблачные дали мечты и химер; это Дон-Жуан, который протягивает руку Чайльд-Гарольду.

Полагаю, что объяснение превосходное, и, конечно, его никак не ожидали вы, читатель, — эдакий национальный гвардеец.

При всем том, не знаю, придется ли вам по вкусу рассказ о Родольфе, но я неплохого мнения о вас и верю, что при подобных обстоятельствах вы бы не колеблясь сделали выбор между *«этой»* и *«той»*.

КОТОРАЯ ИЗ ДВУХ?

Прошлой зимой я частенько встречал в свете двух сестер-англичанок; видя одну из них, можно было поручиться, что другая где-то поблизости; поэтому их прозвали «неразлучные красавицы».

Одна была брюнетка, другая блондинка; все сходство между этими двойняшками заключалось в том, что обеих невозможно было не любить, ибо это и впрямь были два самых очаровательных и притом самых разных создания, какие судьба когда-либо сводила вместе. Однако они, судя по всему, прекрасно ладили меж собой.

Не знаю, безошибочное ли чутье подсказало им все выгоды, какие они могут извлечь из контраста их облика, или же их связывала истинная дружба; как бы там ни было, они превосходно оттеняли друг друга, и в этом, я думаю, крылась подлинная причина их неразлучности; вообще говоря, сестрам-ровесницам, одинаково красивым, хотя и совершенно несхожим, трудно не питать друг к другу глубокой ненависти. С этими же прелестными юными особами все обстояло иначе: они всегда сидели в гостиной рядом, с непринужденной грацией прижавшись друг к другу, или полулежали на подушках одной и той же козетки; они были тенью друг друга и не расставались ни на минуту.

Это казалось мне весьма странным и приводило в отчаяние всех местных модников: ибо невозможно было сказать Музидоре ни одного слова без того, чтобы его не услышала Клери; невозможно было вложить в маленькую ручку Клери записку, без того чтобы ее не заметила Музидора: это было поистине невыносимо. Двух малюток безумно забавляли все эти бесплодные попытки, они с веселым лукавством вызывали их, чтобы затем какой-нибудь ребяческой выходкой или остроумной шуткой все разрушить. Клянусь, приятно было наблюдать жалкую, растерянную мину бедных денди, принужденных оставаться при своем мадригале или послании. Мой друг Фердинанд был так ошеломлен неудачей, что на целую неделю разучился завязывать галстук и ходил неприбранным.

Я не отставал от других, я кружил вокруг сестер, увлеченный то Клери, то Музидорой, и все без толку.

Я был так раздосадован, что однажды почувствовал нешуточное желание пустить себе пулю в лоб. Остановила меня мысль, что в этом случае у нового жилета, который пошил себе Фердинанд, не будет соперников, а также справедливое соображение касательно нового фрака, который портной обещал доставить мне только завтра и который я, следовательно, не смогу примерить. Я отложил самоубийство до другого раза, но, право, и поныне не знаю, правильно ли я поступил.

Заглянув в свое сердце, я с ужасом понял, что влюблен в обеих сестер разом. Да, сударыня, это правда, как это ни отвратительно, а может быть, именно потому, что это так отвратительно: в обеих! Я так и слышу, как вы с очаровательной гримаской произносите: «Чудовище!» Уверяю вас, несмотря на мои прегрешения, я самый безобидный юноша на свете; однако сердце мужчины, пусть оно и гораздо менее прихотливо, чем женское сердце, все же отнюдь не лишено причуд, и никто не может за него поручиться, даже вы, сударыня. Вероятно, узнай я вас раньше, я любил бы вас одну: но в ту пору я вас не знал.

Клери была высока и стройна, как богиня Диана: у нее были прекраснейшие в целом свете глаза, брови, словно нарисованные первоклассным живописцем, изящный точеный носик, бело-розовые щечки, длинные тонкие пальцы безупречной формы, прелестные, хотя и чуть-чуть худые руки и идеальные для такой юной девушки плечи (ведь красивые плечи появляются только к тридцати годам): короче, это была настоящая пери!

Разве я был не прав?

У Музидоры была матовая кожа, белокурая головка и глаза ангельской чистоты: ее мягкие шелковистые кудри раздувались от малейшего ветерка, так что казалось, будто их стало вдвое больше, при этом у нее была крошечная ножка и осиная талия: не женщина, а фея.

Разве меня нельзя понять?

Снова заглянув в свое сердце, я сделал открытие еще более ужасное, чем первое: я понял, что не люблю ни Клери, ни Музидору: Клери в одиночку нравилась мне вполтину меньше, Музидора без сестры теряла почти все свое очарование; стоило мне, однако, увидеть их вместе, как любовь моя вспыхивала с новой силой, и я находил их обеих одинаково обворожительными. Я был влюблен не в брюнетку и

не в блондинку, а в совокупность двух типов красоты, которые сестры столь идеально воплощали; я любил своего рода вымышленное существо, не являвшееся ни Клери, ни Музидорой, но состоявшее из них обеих; любил обольстительный призрак — плод единения двух прекрасных девушек; воображение мое порхало от одной к другой, беря у одной нежную улыбку, у другой — пламенный взгляд; приправляя меланхолию блондинки живостью брюнетки, заимствуя у каждой то, что было в ней самого изысканного, и дополняя одну другой; предметом моей страсти было нечто упоительное и неизъяснимое, исходившее от обеих и улетучивавшееся, как только они разлучались. Я растворил девушек в своей любви и превратил в единое и неделимое существо.

Как только сестры поняли, что я люблю их не порознь, но лишь вместе — а это случилось очень скоро, — они стали ко мне благосклоннее и не раз отдавали мне явное предпочтение перед моими соперниками.

После того как мне представился случай оказать важные услуги матери девушек, я был принят в их доме, а вскоре вошел в число близких друзей. Ко мне благоволили, я уходил и приходил, когда хотел; меня стали звать просто по имени; я поправлял крошкам рисунки, они без стеснения допускали меня на уроки музыки. Я испытывал чувство жуткое и сладостное; я был на седьмом небе и жестоко страдал. Покуда я рисовал, сестры склонялись над моим плечом; я чувствовал, как бьется их сердце; дыхание их ерошило мне волосы: право, творения мои были из рук вон плохи, но их все равно осыпали похвалами. В гостиной мы все втроем усаживались на подоконник, и занавеси, ниспадавшие длинными складками, отгораживали нас от мира, образуя как бы комнату в комнате, где мы чувствовали себя привольно, словно в отдельном кабинете; Музидора сидела слева от меня, Клери справа, и в каждой руке я держал по маленькой ручке; мы трещали, как сороки, заглушая друг друга: крошки стрекотали наперебой, и мне случалось отвечать Клери вместо Музидоры, и наоборот; порой это порождало ослышки столь забавные, недоразумения столь комические, что мы умирали от смеха. Тем временем мать девушек занималась рукоделем, читала старую газету или дремала в кресле.

Конечно, участь моя была завидной, о лучшем я не мог и мечтать, однако я был счастлив лишь наполовину: если мне случалось поцеловать Клери, я чувствовал, что мне чего-то недостает и блаженство, мое неполно; тогда я бросался целовать Музидору, и все повторялось: в обществе одной я жалел о другой и преисполнился бы счастья, лишь если бы смог поцеловать их обеих разом, а это не очень-то сподручно.

Странная вещь: очаровательные мисс не ревновали друг к другу; правда, я старался делить мои ласки и знаки внимания строго поровну, однако положение мое было не из легких, и я пребывал в постоянной тревоге. Не знаю, производили ли они друг на друга такое же впечатление, как на меня; чем, однако, еще можно объяснить доброе согласие, царившее между нами? Порознь они ощущали свое несовершенство и в глубине души понимали, что одна — не более чем половинка другой и что им надо быть вместе, дабы образовать целое. Верно, в счастливую ночь, когда они были зачаты, ангел, не рассчитывавший на близнецов, принес на землю только одну душу и, не успев слетать за второй, разделил ее между двумя крошечными созданиями. Эта сумасбродная идея так крепко засела в моей голове, что я переименовал девушек и присвоил им одно общее имя.

Музидора и Клери мучились не меньше моего. Однажды, то ли сговорившись, то ли просто поддавшись обуревавшим их чувствам, они выбежали мне навстречу и, запыхавшись, бросились мне на грудь. Я нагнул, чтобы по обыкновению поцеловать их, но они опередили меня и одновременно поцеловали в обе щеки; их прекрасные глаза блестели необыкновенным блеском, сердечки колотились сильно-сильно: быть может, причина была в том, что они запыхались от бега, но в то мгновение я об этом не подумал; у них был ликующе-взволнованный вид: когда я целовал их по очереди, они так не радовались. Дело в том, что ощущения их были одновременными, а два поцелуя являлись одним-единственным поцелуем, который подарила мне не Музидора и не Клери, но некая новая женщина, которую они образовывали вдвоем, которая взяла что-то от каждой из них, но не являлась ни той ни другой, — поцелуем идеальной сильфиды, которой я дал имя Адората — обожаемая. Поцелуй этот был сладостен и принес мне счастье ровно на три секунды. Но затем меня поразила мысль, что, вместо того чтобы проявлять активность, я

остаюсь пассивен и тем унижаю свое мужское достоинство. Я взял в руку тонкие пальчики Музидоры и Клери и поднес их к губам; таким образом я ответил на их ласку: губы мои коснулись руки Клери в тот же самый миг, что и руки ее сестры. Девушки сразу постигли мою мысль, несмотря на всю ее изощренность, и наградили меня самым колдовским взглядом, какой две женщины когда-либо бросали друг при друге на одного и того же мужчину.

Вы станете смеяться, вы скажете, что я безумец и не так уж плохо быть любимым двумя прелестными созданиями зараз, но, право, никогда в жизни я так не мучился; ни обладание Клери, ни обладание Музидорой не принесло бы мне счастья: я желал невозможного, я мечтал обладать обеими в одно и то же время, в одном и том же месте. Как видите, я совершенно потерял голову.

В ту пору в руки мне попал некий китайский роман покойного китайца господина Абея Ремюза; он назывался «Ю-Кьяо-Ли, или Две кухни». Первые тома, заполненные описаниями чайных чашек и рассуждениями о цветах персика и ветках ивы, оставили меня равнодушным, но когда я дошел до того, как студент Се-Юпе, влюбленный в одну кухню, влюбляется еще и во вторую, прекрасную Ё-Му-Ли, книга захватила меня благодаря этой двойной любви, напоминавшей мое собственное положение; это лишний раз доказывает, что все мы большие эгоисты и ценим лишь те книги, где говорится о нас самих. Я с тревогой ждал развязки и когда прочел, что студент Се-Юпе женился на двух кухнях разом, то поймал себя на мысли, что ради того, чтобы сделаться двоеженцем, не рискуя быть за это повешенным, согласился бы сделаться китайцем. Правда, я не стал бы, как благовоспитанный китаец, делить свою любовь между восточным и западным павильонами, но это мелочь; как бы там ни было, отныне я проникся особой симпатией к «Ю-Кьяо-Ли» и всюду превозносил этот роман как самый лучший в целом свете.

Измученный своим ложным положением, я решился за неимением лучшего просить руки одной из сестер, Клери или Музидоры, Музидоры или Клери. Я произнес несколько фраз о необходимости остепениться, о счастье семейной жизни, после чего мать отослала обеих дочерей и мы объяснились.

— Сударыня, — сказал я, — слова мои покажутся вам странными. У меня самые серьезные намерения: я хотел бы с вашего позволения

взять в жены одну из ваших дочерей, но обе они так любезны моему сердцу, что я не знаю, какую выбрать.

Мать улыбнулась и отвечала:

— Я, как и вы, сама не знаю, которую из них люблю больше; но со временем вы определитесь; мои дочери еще юны, они могут подождать.

На том и порешили.

Прошло три, четыре месяца; чувства мои оставались столь же неопределенны, что и в первый день — это было ужасно. Я не мог дольше бывать в доме, не приняв решения, а принять его было выше моих сил; я стал подумывать о путешествии. Обе крошки горько плакали; матушка их простила со мной, выказав благожелательное и нежное сочувствие, которого я никогда не забуду; она поняла, как сильно я страдаю. Обе сестры проводили меня вниз по лестнице и там, предчувствуя, что нам не суждено более увидеться, каждая подарила мне прядь своих волос. Кроме того дня, я плакал лишь раз в жизни, но этой истории я вам не расскажу. Я сплел обе пряди вместе и сентиментально носил их на сердце все полгода, что отсутствовал.

По возвращении я узнал, что обе сестры вышли замуж, одна за толстого майора, который беспробудно пил и бил ее, другая за судью или что-то в этом роде, с красными глазами и красным носом; обе были в тягости. Будьте уверены, я осыпал проклятиями двух мужланов, которые не побоялись расчленить изумительное существо, состоящее из двух тел и одной души, и обрушил гневные речи на прозаичность нашего века и безнравственность наших браков.

Косичка, сплетенная из волос двух сестер, перекочевала с моего сердца в ящик стола. Месяц спустя я завел любовницу.

На днях Мариэтта, приводя в порядок мои бумаги, наткнулась на этот залог нежных чувств; увидев две пряди, одну светлую, другую темную, она сочла меня дважды изменником и чуть не выцарапала мне глаза, что было бы очень некстати, ибо глаза — едва ли не единственное украшение моей наружности, а взгляд мой, как утверждают дамы, пленителен. Мне стоило огромных трудов убедить Мариэтту в своей невинности, и боюсь, она до сих пор меня не простила.

Вот история моих прошлогодних любовных походов и причина моего восхищения китайскими романами.

СОЛОВЬИНОЕ ГНЕЗДЫШКО

Вокруг замка был прекрасный парк. В парке были всевозможные птицы — соловьи, дрозды, малиновки; тут назначали друг другу свидания пташки со всех концов земли.

Весной здесь стоял такой гам, что человеческого голоса нельзя было расслышать; под каждым листом пристроилось гнездо, каждое дерево представляло собой целый оркестр. Пернатые музыкантики изощрялись, стараясь перещеголять друг друга. Одни чирикали, другие ворковали, эти отпускали трели и переливчатые коленца, те выделявали фиоритуры или басили, как орган: настоящим музыкантам и то не превзойти бы их.

Но в замке жили две прекрасные кузины, и они вдвоем пели лучше, чем все обитатели парка, вместе взятые; одну звали Флеретта, другую — Изабо. Обе были прелестны, обворожительны и находились в цветущей поре; по воскресеньям, когда они наряжались в праздничные платья, лишь белоснежные их плечи убеждали в том, что они настоящие девушки, а не ангелы, — им недоставало только крыльев. Когда они пели, их старый дядя, сир Молеврие, иной раз держал их за руки, боясь, как бы им не вздумалось упорхнуть.

Предоставляю вам вообразить, как в честь Флеретты и Изабо на турнирах и состязаниях скрещивались копыя. Молва об их красоте и талантах прокатилась по всей Европе, но они не гордились своею славой; они жили уединенно и виделись, пожалуй, лишь с маленьким пажом Валантеном, прелестным белокурым отроком, да с сиром Молеврие, старцем седым, иссохшим и дряхлым, — ведь он целых шестьдесят лет носил ратные доспехи.

Они проводили время в том, что кормили пташек зерном, молились, а главное — разучивали произведения знаменитых музыкантов и вместе играли какой-нибудь мотет, мадригал, вилланеллу или что-нибудь другое; были у них также и цветы, которые они сами поливали и холили. Жизнь их протекала в этих приятных, поэтических девичьих занятиях; они держались вдали от света, и все же внимание света было приковано к ним. Ведь ни соловью, ни розе

никак не спрятаться; пение и благоухание непременно выдадут их. А наши кузины были как два соловья и две розы.

Приезжали в замок и герцоги, и принцы с намерением посвататься к ним; император Трапезунда и египетский султан послали к сиру Молеврие послов, чтобы просить руки его племянниц; но кузинам нравилась девичья жизнь, и о замужестве они и слышать не хотели. Быть может, какой-то тайный голос говорил им, что обязанность их здесь, на земле, оставаться в девушках и петь, а иначе они нарушат свой долг.

Девочек привезли в замок совсем маленькими. Окно их комнаты выходило в парк, и убаюкивало их пение птиц. Едва они научились держаться на ногах, как старый Блондио, дядин музыкант, стал им показывать, как перебирать пальчиками клавиши верджинела; других погремушек у них не было, а петь они научились еще прежде, чем говорить; они пели, как другие дышат, — для них это было вполне естественно.

Такое воспитание своеобразно сказалось на характере девушек. Поэзия, которою было заполнено их детство, оградила их от проказ и пустой болтовни. Им никогда не случалось резко вскрикнуть или какой-нибудь прихотью нарушить гармонию; они плакали размеренно и вздыхали созвучно. Музыкальность, развитая у них за счет других чувств, делала их безразличными ко всему, что не музыка. Они витали в какой-то мелодичной дымке и воспринимали действительность только посредством звуков. Они отлично понимали шелест листвы, журчание ключа, бой часов, вздохи ветра в очаге, жужжание прялки, шум дождевых капель, сбегających по дребезжащему окну, понимали все внешние и внутренние гармоничные созвучия; зато, должен сказать, они не испытывали особого восторга при виде заходящего солнца и были до того равнодушны к красотам живописи, словно перед их прекрасными синими и черными глазами опустилась непроницаемая пелена. Музыка была их недугом; они мечтали о ней, из-за нее они забывали пить и есть; ничто иное не было им дорого. Впрочем, дороги им были еще Валантен и цветы: Валантен потому, что походил на розу, а розы потому, что были похожи на Валантена. Но эта любовь занимала в жизни кузин второстепенное место, — да что говорить, ведь Валантену исполнилось всего лишь тринадцать лет. И

не было для них большей отрады, как вечером у окна петь песни, сочиненные ими в течение дня.

Отовсюду приезжали в замок знаменитейшие мастера, чтобы их послушать и соревноваться с ними. Но стоило только девушкам спеть несколько тактов, как гости разбивали свои инструменты и рвали в клочья ноты, признавая себя побежденными. И действительно, голоса кузин звучали так упоительно и сладкозвучно, что вместе с другими музыкантами являлись и херувимы; они подлетали к окну и заучивали их песни наизусть, чтобы спеть их Господу Богу.

Как-то майским вечером кузины пели двухголосный мотет, никогда еще не слышно было столь совершенно и столь безупречно разученного и исполненного напева. Местный соловей, притаившийся на розовом кусте, внимательно слушал их. Когда они кончили, он подлетел к окну и сказал им на своем соловьином наречии:

— Я хотел бы помериться с вами в пении.

Девушки ответили, что согласны, — пусть начинает.

Соловей запел. То был мастер своего дела. Грудка его вздымалась, крылышки помахивали, все его тело трепетало; руладам, переливам, прищелкам, хроматическим гаммам не было конца; он забирался в верха и спускался вниз, нанизывал звуки, рассыпался в каденциях, и чистота его пения покоряла слушателей; можно было подумать, что душа у него крылата, как и его тельце. Он умолк, вполне уверенный в своей победе.

Настал черед девушек; они превзошли самих себя. Сравнительно с ними пение соловья показалось воробьиным чириканьем.

Крылатый виртуоз сделал еще одну, последнюю попытку; он спел любовную песнь, потом исполнил блестящую фанфару, увенчав ее каскадом высоких, звонких и пронзительных звуков, недоступных человеческому голосу.

Кузины не растерялись перед таким мастерством, они перевернули страничку нот и так ответили соловью, что святая Цецилия, внимавшая им на небе, побледнела от зависти и выронила свой контрабас на землю.

Соловей попробовал было еще спеть, но уже совсем изнемог в борьбе: ему не хватало дыхания, перышки его взъерошились, глаза смыкались; он умирал.

— Вы поете лучше меня, — сказал он кузинам, — и за гордыню, побудившую меня превзойти вас, я расплачиваюсь жизнью. Прошу вас лишь об одном: у меня есть гнездышко, в гнездышке три птенца; оно на третьем шиповнике в главной аллее, со стороны пруда; пошлите за птенцами, взрастите их и, раз уж я умираю, научите их петь, как поете сами.

С этими словами соловей умер. Кузины горько оплакивали его, — ведь он так хорошо пел! Они позвали Валантена, белокурого пажа, и объяснили ему, где находится гнездо. Валантен был мальчик смысленный и легко отыскал куст; он положил гнездо за пазуху и благополучно принес его в замок. Флеретта и Изабо с нетерпением ждали его на балконе. Паж вскоре появился с гнездом в руках. Три птенчика высовывали головки и во всю ширь разевали клювы. Девушки пожалели сироток и перецеловали всех троих. Когда они подросли, кузины приступили к их музыкальному образованию, как и было обещано побежденному соловью.

Истинное удовольствие доставляло наблюдать, как они приручены, как хорошо поют. Они порхали по комнате и опускались то на голову Изабо, то на плечо Флеретты. Они садились перед нотной тетрадью, и, право же, можно было подумать, что их научили разбирать ноты, с таким понимающим видом разглядывали они их. Они переняли все мелодии Флеретты и Изабо и вскоре сами стали сочинять очень красивые.

Кузины жили все уединеннее и уединеннее, а по вечерам из их комнаты доносились звуки каких-то неземных напевов. Превосходно обученные соловьи неизменно принимали участие в концерте и пели почти что не хуже хозяек, которые тоже немало преуспели в своем искусстве.

Голоса день ото дня звучали все упоительнее, приобретая необыкновенный звонкий и хрустальный тембр, выходивший за пределы человеческих возможностей. Но девушки на глазах чахли; румянец их тускнел; они стали бледными, как халцедон, и почти столь же прозрачными. Сир де Молеврие хотел было запретить им петь, но это ему не удалось.

Стоило им только пропеть несколько фраз, как на щеках у них появлялось красное пятнышко, и оно все увеличивалось до тех пор,

пока они не кончали петь; тогда пятно исчезало, зато с лица сбегали капли холодного пота, а губы дрожали, как в лихорадке.

Между тем пение их было прекрасно, как никогда; в нем слышалось что-то не от мира сего, и достаточно было послушать, какие сильные, звучные голоса исторгаются из груди этих двух хрупких созданий, чтобы предвидеть неотвратимое: музыка разобьет инструмент.

Они и сами это понимали и поэтому опять принялись играть на верджинале, который оставили было ради пения. Но вот однажды ночью окно их комнаты было распахнуто, в парке щебетали птички, нежно вздыхал ветерок; воздух был полон музыки, и девушки не совладали с искушением исполнить дуэт, сочиненный ими накануне.

То была лебединая песнь, дивная песнь, полная слез, поднимавшаяся до крайних, недостижимых верхов регистра и нисходящая до самой низшей ступени, нечто сверкающее и неслыханное, целый водомет трелей, огненный дождь хроматических звуков, неопиcуемый музыкальный фейерверк; между тем алые пятнышки быстро росли и уже почти совсем покрывали щеки девушек. Трое соловьев смотрели на них и внимали им в крайней тревоге; крылышки их трепетали, они улетали прочь и вновь возвращались и никак не могли усидеть на месте. Наконец кузины дошли до последних слов песни; их голоса зазвучали так удивительно, что нетрудно было понять: поют уже не живые существа. Соловьи упорхнули. Девушки были мертвы, их души улетели вместе с последним звуком. Соловьи устремились прямо на небо, торопясь отнести эту дивную песнь Господу Богу, и он оставил их у себя в раю, чтобы они пели ему сочиненные кузинами песни.

Со временем Господь Бог превратил этих трех соловьев в души Палестрины, Чимарозы и кавалера Глюка.

НОЧЬ, ДАРОВАННАЯ КЛЕОПАТРОЙ

ГЛАВА I

Теперь, когда я пишу эти строки, прошло уже около тысячи девятисот лет с тех пор, как по Нилу плыла богато позолоченная и расписанная ладья — она стремительно неслась, гонимая пятьюдесятью длинными плоскими веслами, которые царапали воду, словно лапки гигантского скарабея.

Ладья была узкая, продолговатых очертаний, быстроходная и стройная по пропорциям; нос и корма ее были приподняты, образуя как бы рога молодого месяца, а на носу выступала баранья голова, увенчанная золотым диском, что указывало на принадлежность судна особе царской фамилии.

Посреди ладьи высилась каюта под плоской крышей, своего рода *наос* или парадная палатка, расписанная и позолоченная, с лепным орнаментом в виде пальметок и с четырьмя квадратными окошками.

На носу и на корме были устроены отсеки, также сплошь покрытые иероглифами; в одном из них, более просторном, имелся второй этаж, пониже, подобно тем шканцам причудливых галер XVI века, которые можно видеть на гравюрах делла Белла; меньший из отсеков, служивший жильем лоцману, заканчивался треугольным фронтоном.

Руль состоял из двух огромных весел, они были прикреплены к пестрым столбам и тянулись в воде вслед за ладьей, как лапки лебедя; рукоятки весел представляли собой головы в пшенте с аллегорическим рогом у подбородка; ими управлял лоцман, стоявший на крыше каюты.

Кожа у него была обветренная, красноватая, как свежее-отлитая бронза, блестящая и отливавшая синевой; разрез глаз у него был косой, черные-пречерные волосы свисали завитыми прядями, рот был полуоткрыт, скулы выступающие, уши оттопыренные, — в целом он представлял собою чистейший тип египтянина. Весь наряд его состоял из набедренной повязки да нескольких нитей стекляшек и амулетов.

Его легко было принять за единственное живое существо в ладье, ибо о присутствии гребцов, склонившихся над веслами и скрытых за планширом, можно было догадаться только по мерным взмахам весел,

которые раскрывались подобно вееру по обе стороны судна и, на мгновение задержавшись, вновь опускались в воду.

В воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения, а большой треугольный парус, привязанный шелковым шнуром к опущенной мачте, свидетельствовал о том, что люди отказались от всякой надежды на ветер.

Полуденное солнце метало свои свинцовые стрелы; белесый ил, окаймлявший берега реки, сверкал огненными отсветами, резкий свет, яркий и плотный, лился раскаленными потоками; от пекла небесная лазурь побелела, как металл в горниле; на пылающем горизонте дымилось багровое марево. В небе, однообразном и унылом, как вечность, не видно было ни облачка.

Матовые, тусклые воды Нила текли, как бы засыпая, и разливались бескрайней свинцовой пеленой. Ни малейшее дуновение не касалось гладкой поверхности реки и не склоняло стеблей лотоса, чашечки которого высились на твердых, словно изваянных стеблях; лишь изредка выпрыгивал из воды бишир да фахака, выпучив живот, сверкала серебристой чешуей; весла ладьи, казалось, с трудом врезались в темную пленку застывшей воды. На берегу — ни души; безмерная, торжественная скорбь тяготела над этой землей, которая всегда являлась лишь большой могилой и где у живых, казалось, не было иных занятий, как только бальзамировать мертвецов. Скорбь бесплодная, сухая, как пемза, далекая от меланхолии, далекая от грез, лишенная даже жемчужно-серого облачка на горизонте, за которым можно было бы следить, лишенная даже заветного источника, где можно было бы обмыть запыленные ноги; скорбь сфинкса, который, как ни наскучило ему вечно взирать на пустыни, все же не в силах оторваться от гранитного цоколя, где он точит свои могучие когти уже целых двадцать веков.

Стояла такая глубокая тишина, что рождалось сомнение: мир ли онемел или воздух утратил способность передавать звуки? Единственное, что удавалось порою расслышать, это вздохи и приглушенный хохот крокодилов, которые валялись, размякнув от зноя, в прибрежных тростниках, да время от времени какой-нибудь ибис, долго простоявший на одной ноге, поджав другую к животу и втянув шею в туловище, вдруг оживал и, порывисто рассекая воздух белыми крыльями, перебирался на ближайший обелиск или пальму.

Ладья стрелой неслась по реке, ненадолго оставляя за собою серебристую борозду, и только немного пены да пузырьки, бурлившие на поверхности воды, свидетельствовали о ее появлении, ибо сама она уже давно скрылась из виду.

Розовато-желтые и красные берега реки, словно свитки папируса, стремительно разворачивались между лазурью неба и воды, до того схожих по оттенку, что узкая полоска земли, разделявшая их, казалась дорогой, перекинутой через огромное озеро, и трудно было решить — река ли отражается в небе или небо — в реке.

Зрелище это поминутно видоизменялось: то высились гигантские пропилен, отражавшие в реке свои стены с причудливыми барельефами, пилоны с расширяющимися кверху капителями, балюстрады с огромными сфинксами в рифленых колпаках, скрестившими черные базальтовые лапы под остроконечными грудями; то непомерно большие дворцы вырисовывали на горизонте строгие горизонтальные линии своих антаблементов, где глобус-эмблема раскрывал таинственные крылья, как сказочно могучий орел; то появлялись храмы с огромными колоннами, толстыми, как башни, где на ослепительно-белом фоне виднелись вереницы иероглифических фигур, — словом, все чудеса этого титанического зодчества; то открывалась удручающе бесплодная местность: холмики из обломков камней, оставшихся после раскопок, или постройки, крохи гранитных богатств, расточавшихся в течение свыше тридцати столетий; горы, растрескавшиеся от пекла, изрезанные и исполосованные черными трещинами и как бы запекшиеся во время пожара; бесформенные, горбатые бугорки, прикорнувшие, как надгробные киноцефалы, уродливые очертания которых вырисовывались на кромке неба; зеленоватый мергель, рыжая охра, белый, как мука, туф, а порою — мощный пласт мрамора цвета увядшей розы, в котором зияли черные отверстия карьеров.

Ничто не разнообразило этой бесплодной пустыни: ни единый оазис не радовал взор; здесь зеленый цвет был как бы неведом природе; лишь кое-где на горизонте высилась тощая пальма, похожая на краба; суровый кактус размахивал колючими листьями, словно бронзовыми мечами; все это однообразие нарушалось лишь красным пятнышком картама, нашедшим немного тени и влаги у подножья полуразрушенной колонны.

После этого беглого взгляда на ландшафт вернемся к ладье с пятьюдесятью гребцами и без предупреждения войдем прямо в парадный наос.

Внутри он был белый, с зелеными арабесками, красными полосками и причудливыми золотыми цветами; пол покрывала тончайшая тростниковая циновка; в глубине возвышалось небольшое ложе с ножками грифона, со спинкой, украшенной, как нынешние диваны или кушетки; возле ложа — скамеечка в четыре ступеньки, чтобы подняться на него; кроме того — странная изощренность, по нашим понятиям об удобствах, — ложе было снабжено подголовником из кедрового дерева на подставке.

На этой необычной подушке покоилась прелестнейшая головка женщины, один взгляд которой погубил полмира, женщины обожаемой и чудесной, самой совершенной из всех существовавших когда-либо, самой женственной женщины и самой царственной царицы, существа восхитительного, к очарованию которого даже поэты не в силах оказались ничего прибавить, существа, которое неизменно венчало грезы всех мечтателей; нет надобности пояснять, что речь идет о Клеопатре.

Хармиона, любимая рабыня царицы, помахивала над ней большим опахалом из перьев ибиса; другая девушка кропила душистой водой плетеные ставенки на окнах наоса, чтобы струящийся сквозь них воздух был благоухающим и свежим.

Возле ложа в полосатой алебастровой вазе с узким горлышком, стройной удлиненной формы, смутно напоминавшей профиль цапли, стояло несколько цветков лотоса — небесно-голубых и нежно-розовых, как пальчики великой богини Исиды.

В тот день Клеопатра — по прихоти ли, с умыслом ли — была одета не по-гречески; она присутствовала на празднестве и вернулась на ладье в свой летний дворец в том же египетском наряде, в каком была на торжествах.

Нашим читательницам, пожалуй, будет любопытно узнать, как была одета царица Клеопатра, вернувшись из храма в Гермонтисе с торжеств в честь триады бога Манду, богини Рито и их сына Харфе; мы готовы удовлетворить их желание.

На царице Клеопатре была своеобразная шапочка, золотая, очень легкая, изображавшая священного ястреба; крылья его веером

спускались по сторонам, покрывали виски, доходили почти до шеи, но благодаря маленькой выемке оставляли свободными уши — такие розовые и в таких нежных завитках, что с ними не сравниться было даже раковине, из которой вышла Венера, именуемая у египтян Хатор; хвост птицы занимал то место, где наши женщины носят шиньон; тело ее, покрытое перьями, как чешуей, и раскрашенное в разные цвета, охватывало верхнюю часть головы, а шея птицы, изящно изогнутая надо лбом, составляла вместе с ее головкой некий рог, сверкавший драгоценными камнями; символический гребень в виде башни довершал этот изящный, хоть и вычурный убор. Из-под шапочки вырывались черные, как беззвездная ночь, волосы и спадали длинными прядями на белоснежные плечи; плечи были прикрыты воротником, украшенным несколькими рядами драгоценных камней и, к сожалению, оставлявшими на виду лишь самую верхнюю их часть; льняное платье в рубчик, — как туман, как тканый воздух, *ventus textilis*^[26] по выражению Петрония, — белым паром струилось вокруг прекрасного тела, нежно обволакивая его очертания. Рукава платья сбегали с плеч и доходили до локтей, расширяясь книзу, так что прекрасные руки, перехваченные шестью золотыми обручами, были видны сверху донизу; на одном из пальцев она носила кольцо в виде скарабея. Талия свободной, зыбкой туники намечалась поясом, связанные концы которого ниспадали спереди; наряд завершался накидкой с бахромой и, если несколько варварских слов не оскорбят слух парижанок, добавим, что такое платье именовалось *сшенти*, а накидка *каласирус*.

Для полноты картины отметим, что царица Клеопатра носила легкие, тончайшие сандалии, загнутые носки которых привязывались к подъему ноги, как башмаки обитательниц средневековых замков.

Однако царица Клеопатра казалась не вполне удовлетворенной и не уверенной в том, что она прекрасно одета и прекрасна сама по себе; она беспокойно вертелась на своем маленьком ложе, и ее резковатые движения поминутно нарушали складки тюлевого конопея, которые Хармиона восстанавливала с неисчерпаемым терпением, не переставая помахивать опахалом.

— Здесь можно задохнуться, — простонала Клеопатра, — перенеси сюда Птах, бог огня, свою кузницу, и то не стало бы жарче; воздух тут, как в горниле.

И она язычком облизала губы, потом, как больной, протянула руку, ища кубок.

Внимательно следившая за ней Хармиона хлопнула в ладоши; в комнате мгновенно, словно призрак, появился черный раб; на нем была плоеная юбочка вроде тех, что носят албанцы, и перекинутая через плечо шкура пантеры; левой рукой он поддерживал поднос, уставленный чашками и ломтиками дыни, а в правой нес высокий сосуд с носиком, похожий на чайник.

Раб наполнил один из сосудов, наливая питье сверху с удивительной ловкостью, и поставил его перед царицей. Клеопатра слегка коснулась питья губами, поставила его около себя и, обратив на Хармиону свои прекрасные черные глаза, сверкнувшие живой искоркой, сказала:

— Мне скучно, Хармиона.

ГЛАВА II

Предчувствуя признание, Хармиона придала лицу скорбно-сочувственное выражение и подошла к повелительнице.

— Я смертельно скучаю, — продолжала Клеопатра, опустив руки как бы в тоске и бессилии, — Египет гнетет и убивает меня; здесь неумолимо лазурное небо печальнее, чем глубокая тьма Эреба; никогда ни облачка! Никогда не видишь ни малейшей тени, а всё только это красное, кровавое солнце, которое взирает на тебя, как глаз циклопа! Знаешь, Хармиона, я охотно отдала бы жемчужину за каплю дождя! Из огненного глаза этого бронзового неба на страждущую землю не упало еще ни единой слезинки; оно словно огромная крышка склепа, словно купол некрополя, оно мертвое и иссохшее, как мумии, которые оно охраняет; оно давит мне на плечи, как непомерно тяжелая мантия; оно докучает мне и тревожит; мне кажется, что если я встану во весь рост, так ударюсь об него головой; да и вообще это страшная страна; все здесь мрачно, непонятно, таинственно. Воображение создает тут лишь жуткие химеры и чудовищно огромные сооружения; здешнее искусство и архитектура пугают меня; здесь колоссы с ногами, заключенными в камень, осуждены вечно сидеть на одном месте, положив руки на колени; они утомляют меня своей бессмысленной неподвижностью; они неотступно приковывают к себе мой взор и заслоняют собою горизонт. Когда же явится великан, который должен взять их за руку и отпустить на волю, положив конец их двадцативековому пребыванию на посту? Ведь даже гранит в конце концов устает! Какого владыки дожидаются они, чтобы сойти с горы, служащей им пьедесталом, и приветствовать его? Какое незримое стадо стерегут эти огромные сфинксы, — ведь они сидят, как насторожившиеся псы, никогда не смыкая глаз и постоянно держа наготове когти? Зачем они так упорно воззрились своими каменными глазами на вечность и на бесконечный мир? Что за странную тайну, скрытую у них в груди, охраняют их крепко сомкнутые губы? Справа, слева, куда ни обратиться, всюду лишь отвратительные чудища, собаки с человеческими головами, люди с собачьими мордами, химеры, рожденные от мерзких совокуплений в темных глубинах царских

склепов, Анубисы, Тифоны, Осирисы, желтоглазые ястребы, словно пронзающие тебя испытующим взглядом и видящие в тебе нечто столь сокровенное, что его не выразить словами; целое сонмище отвратительных тварей и богов с чешуйчатыми крыльями, крючковатыми клювами, острыми когтями, готовых вот-вот схватить тебя и растерзать, если вздумаешь переступить порог святилища и приподнять краешек покрывала!

На стенах, на колоннах, на потолках, на полу, на дворцах и на храмах, в проходах и колодцах глубочайших некрополей, вплоть до самых недр земли, куда никогда не доходит свет, где факелы гаснут из-за отсутствия воздуха, — всюду, всегда бесконечные высеченные или нарисованные иероглифы повествуют на непонятном языке о вещах, уже никому не ведомых и относящихся, несомненно, к существам давным-давно исчезнувшим; тут погребены баснословные труды, выполненные целым народом только ради того, чтобы сочинить эпитафию царю! Тайна и гранит — вот Египет; разве подходит такая страна для молодой женщины и молодой царицы?

Повсюду видишь только погребальные или устрашающие символы, таинственные знаки, аллегорические шары, посохи, весы для взвешивания душ, видишь свернувшихся в клубок змей — всюду неизвестность, смерть, небытие! Вместо растительности — пестро, причудливо раскрашенные стелы, вместо аллей, обсаженных деревьями, — улицы, обрамленные гранитными, обелисками, вместо земли — огромные гранитные мостовые из плит, высеченных в окрестных горах; вместо неба — гранитный потолок; это осязаемая вечность, это беспрестанная горькая насмешка над краткостью и зыбкостью жизни: тут ступени, предназначенные для шагов Титана; ногам человека по ним не пройти, подняться на них можно только при помощи лестницы; всюду колонны, которые не обхватить и сотне рук, лабиринты, где можно пробродить целый год и так и не найти выхода; это головокружение от величия, это опьянение от грандиозности, это необузданная гордыня, желающая любой ценой начертать свое имя на просторах вселенной!

Кроме того, Хармиона, — признаюсь тебе, — меня страшит одна мысль: в других странах умерших сжигают, и вскоре пепел их смешивается с землей. Здесь же у живых словно одна только забота — как бы сохранить покойников; могучие бальзамы вырывают их из-под

власти тления, и они сохраняют свою форму и внешность; душа отлетает, но прах остается; под нынешним народом погребено двадцать других народов; под любым городом лежит по меньшей мере двадцать наслоений некрополей; каждое уходящее поколение оставляет после себя множество мумий, образующих новое мрачное селение; под отцом всегда найдешь деда и прадеда, заключенных в расписные и позолоченные ящики, и найдешь их такими, какими они были при жизни, а станешь копать глубже — так и конца им не будет!

Когда я думаю о толпах запеленатых мертвецов, о мириадах иссохших призраков, которыми заполнены погребальные колодцы и которые лежат там уже две тысячи лет, меня охватывает ужас и по телу пробегает дрожь. Они лежат там лицом к лицу, в безмолвии, которое ничем не нарушается, даже шорохом червя, пробирающегося в могилу, причем этих покойников еще и через две тысячи лет найдут ничуть не изменившимися, с их котами, крокодилами, ибисами, со всем, что жило в одно с ними время! О чем же они говорят друг с другом, раз у них есть еще губы и раз их души, если им вздумается вернуться, найдут свои тела в том же состоянии, в каком они оставили их?

Египет поистине мрачное царство и создан отнюдь не для меня, проказницы и хохотушки; куда ни глянь — всюду мумии; они — средоточие и суть всего. Сколько ни броди — в конце концов непременно придешь к мумии; пирамиды скрывают в себе саркофаги. Все это бред и тщета. Сколько ни устремляй в небо этих гигантских каменных треугольников — труп твой останется трупом. Как жить и веселиться в такой стране, где вместо благоуханий слышишь только запах нефти и битума, кипящего в котлах бальзамировщиков, где под полом своей комнаты чувствуешь пустоту, ибо подземелья и погребальные колодцы простираются до самого твоего алькова? Быть царицей мумий, иметь собеседниками статуи, застывшие в скованных позах, — как все это весело! Будь у меня хоть какое-нибудь сердечное увлечение, чтобы умерить эту грусть, будь у меня хоть что-нибудь привлекательное к жизни, полюби я кого-нибудь или что-нибудь, будь я любима! Но никто не любит меня.

Вот поэтому-то я так и скучаю, Хармиона; любовь преобразила бы в моих глазах Египет, и бесплодная, хмурая страна показалась бы мне привлекательнее самой Эллады с ее богами из слоновой кости, белыми мраморными храмами, олеандровыми рощами и

живительными ручьями. Тогда я не думала бы неотступно о чудовищной голове Анубиса и об ужасах подземных селений.

Хармиона недоверчиво улыбнулась.

— По этому поводу вам не стоит особенно печалиться, ведь любой ваш взгляд пронзает сердце так же метко, как золотые стрелы Эрота.

— Как знать царице, любят ли ее самое или только диадему на ее челе? — возразила Клеопатра. — Сверканье звездной короны зачаровывает и взоры и сердца; если я сойду с высот трона, буду ли я пользоваться известностью и успехом Бакиды, или Архенассы, или любой другой куртизанки, прибывшей из Афин или Милета? Царица — это нечто столь далекое от людей, столь возвышенное, столь обособленное, столь несбыточное! Каким надо обладать самомнением, чтобы надеяться на успех в подобной затее! Тут уже не женщина, тут величественное, священное существо без определенного пола; перед ним преклоняются как перед статуей богини, его боготворят, но не любят его. Разве кто-нибудь влюблялся в белокурую Юнону, в Палладу с глазами цвета морской волны? Разве кто-нибудь пытался поцеловать поцелуями серебряные ноги Фетиды и розовые пальчики Авроры? Разве удалось какому-нибудь поклоннику божественных красавиц раздобыть крылья, чтобы полететь к небесным золотым чертогам? В нашем присутствии души леденеют от благоговения и страха, а стать любимой равным нам человеком мы можем не иначе, как спустившись в один из некрополей, о которых я только что говорила.

Хармиона не решилась что-либо возразить на рассуждения своей госпожи, однако по еле заметной улыбке, блуждавшей на губах рабыни, можно было заключить, что она не особенно верит в неприступность ее царской особы.

— Ах, как мне хочется, чтобы со мною что-нибудь случилось, какое-нибудь странное, неожиданное приключение! — продолжала Клеопатра. — Песни поэтов, пляски сирийских рабынь, пиршества до рассвета с сотрапезниками, увенчанными розами, ночные выезды, лаконийские псы, прирученные львы, карлики-горбуны, чудачки из братства неподражаемых, поединки в цирке, новые драгоценности, виссоновые наряды, грушевидный жемчуг, азиатские благовония, самые изысканные редкости, самая безумная роскошь — ничто не радует меня, все мне безразлично, все опостылело!

— Сразу видно, — прошептала Хармиона, — что у царицы уже целый месяц не было любовника и целый месяц она не приказывала никого убить.

Утомившись от столь длинной речи, Клеопатра еще раз взялась за кубок, стоявший около нее, пригубила его, изящным жестом прикрыла голову рукой и устроилась поудобнее, чтобы уснуть. Хармиона развязала ее сандалии и принялась тихонько щекотать ей пятки павлиньим пером; сон не замедлил засыпать прекрасные глаза сестры Птолемея золотой пылью.

Пока Клеопатра спит, поднимемся на палубу ладьи и насладимся восхитительным зрелищем заходящего солнца. Чуть выше горизонта тянется широкая лиловая пелена, сильно подсвеченная на западе рыжеватыми оттенками; соприкасаясь с лазурной полосой, лиловый цвет превращается в сиреневый и, пройдя через розовый, растворяется в голубом; в том месте, где солнце, багровое, как щит, скатившийся из кузницы Вулкана, излучает огненные языки, небо принимает бледно-лимонную окраску и порождает оттенки, напоминающие бирюзу. Вода, тронутая косым лучом, блестит приглушенно, как зеркало со стороны амальгамы или как стальной клинок с насечкой; все подробности берегов, затоны, тростники вырисовываются четкими черными контурами, которыми резко подчеркивается зыбкое беловатое освещение. Благодаря этому сумеречному свету замечаешь вдали небольшую коричневую точку, мелькающую в лучезарных отсветах, как клочок пыли, упавший на разлитую ртуть. Что это? Утка ныряет? Черепаху уносит течение? Крокодил высунул из воды чешуйчатую голову, чтобы подышать посвежевшим вечерним воздухом? Брюхо гиппопотама, еле прикрытое водной гладью? Или это всего лишь камень, обнажившийся благодаря убыли воды, — ведь старику Хапи, отцу всех вод, надо пополнить бочку, все содержимое которой он израсходовал в горах Луны, не скупясь на дождь в дни солнцестояния.

Нет, все это не то. Клянусь удачно составленными кусками тела Осириса! Это человек, он словно скользит и шагает по воде... вот уже можно разглядеть челнок, на котором он стоит... это поистине ореховая скорлупа, полая рыбка, три пригнанных друг к другу полосы коры — из одной вышло дно, из двух других — планширы, и все это крепко связано на концах просмоленной бечевой. На челноке — мужчина, он уперся ногами в края хрупкого сооружения и гребет

одним-единственным веслом, которое одновременно служит ему и рулем. И хотя царская ладья с пятьюдесятью гребцами стремительно несется вперед, челнок явно превосходит ее в скорости.

Клеопатре хотелось какого-нибудь необычного приключения, чего-нибудь неожиданного, а этот маленький, таинственный с виду челнок возвещает, по-видимому, если не приключение, так по меньшей мере искателя приключений. Быть может, в нем плывет герой нашего рассказа? Вполне возможно.

Во всяком случае, то был прекрасный юноша лет двадцати, с такой черной шевелюрой, что она отливала синевой, со сверкающей, как золото, кожей и столь совершенного сложения, что его можно было принять за бронзовую статую работы Лисиппа; хоть он и греб уже очень давно, в нем не было заметно ни малейшей усталости и на челе его не выступило ни капли испарины.

Солнце погружалось за горизонт; на его полудиске вырисовывались коричневые очертания далекого города, который был бы неуловим для глаза, не будь этого своеобразного освещения; вскоре солнце совсем угасло, и звезды, ночные красавицы, раскрыли в небесной лазури свои золотые чашечки. Царская ладья, за которой на небольшом расстоянии следовал утлый челнок, остановилась у черной мраморной лестницы, где на каждой ступени сидел ненавистный Клеопатре сфинкс. То был причал летнего дворца.

Опираясь на Хармиону, Клеопатра стремительно, как лучезарное видение, промелькнула между двумя рядами рабов с факелами в руках.

Юноша поднял со дна лодки большую львиную шкуру, набросил ее себе на плечи, проворно спрыгнул на землю, вытащил на берег челнок и направился ко дворцу.

ГЛАВА III

Кто же тот юноша, что, стоя во весь рост на обрубке дерева, осмеливается гнаться вслед за царской ладьей и позволяет себе соперничать в скорости с пятьюдесятью гребцами из страны Куш, обнаженными до поясницы и натертыми пальмовым маслом? Что за корысть побуждает и вдохновляет его? Положение поэта, наделенного даром интуиции, обязывает нас это знать, — ведь поэт должен находить не только у мужчин, но, что гораздо сложнее, даже у женщин то окошечко, через которое, как говорил Мом, можно заглянуть в сердце человека.

Конечно, не так-то легко установить, что думал почти две тысячи лет тому назад молодой человек из страны Кемт, следовавший за ладьей Клеопатры, царицы и богини Эвергета, когда она возвращалась из Гермонтиса. Попробуем, однако.

Мериамун, сын Мантухопеша, был юноша причудливого нрава: все то, что волнует простых смертных, ничуть не трогало его; казалось, он происходит из какой-то высшей расы и, быть может, является плодом прелюбодеяния богов. Взгляд его сверкал и был пристален, как взгляд ястреба, и на челе, словно на мраморном изваянии, пребывало невозмутимое величие; изгиб его верхней губы говорил о благородном презрении, а ноздри у него раздувались, как у норовистого коня; хотя он и был изящен, словно девушка, и грудь его была выпуклой и гладкой, как у Диониса, женственного бога, за его нежной внешностью скрывались стальные мускулы и Геркулесова мощь. Сочетать в себе женскую красоту с мужскою силою — особая привилегия некоторых античных созданий.

Что же до цвета кожи, то мы вынуждены признать, что он был оранжевый, как апельсин, — того оттенка, который далек от белого и розового, связанных с нашим представлением о красоте; но это ничуть не мешало ему быть очаровательным юношей, и перед ним заискивали женщины самых различных народностей — желтые, красные, смуглые, коричневатые, золотистые и даже немало белых гречанок.

Не думайте, судя по этому, что Мериамун был склонен к любовным приключениям: он был неуязвим и холоден, как прах

старика Приама и целомудрие самого Ипполита; он вел себя скромно, подобно юному неофиту в белой тунике, готовящемуся приобщиться к таинствам Исида; такой пугливой чистотой иной раз не отличается даже девушка, прозябающая под ледяным материнским оком.

Этот неприступный юноша предавался необычным развлечениям: по утрам он безмятежно уходил из дому, захватив с собою небольшой щит из гиппопотамовой кожи, харпé, то есть кинжал с изогнутым клинком, треугольный лук и колчан из змеиной кожи, набитый зазубренными стрелами; он углублялся в пустыню и скакал там на своей кобылице — сухоногой, узкоголовой, с развевающейся гривой, — пока не нападал на след львицы: его забавляло извлекать львят из-под материнской утробы. О чем бы ни шла речь, его увлекало только опасное и невозможное; ему нравилось пробираться по непроходимым тропам, плавать в бурлящей воде, и для купанья он выбрал бы в Ниле именно водопады: бездна влекла его.

Таков был Мериамун, сын Мантухопеша.

С некоторых пор нрав его еще подичал: он месяцами пропадал в безбрежности песков и лишь изредка появлялся дома. Мать его беспокоилась, беспрестанно, но тщетно всматривалась в дорогу с плоской кровли своего дома. После долгих ожиданий она наконец замечала на горизонте крошечное облачко пыли; вскоре облачко редело, и появлялся Мериамун; он скакал верхом на лошади, худой, как волчица; глаза у нее были налиты кровью, ноздри трепетали, на боках виднелись шрамы, — шрамы, оставшиеся отнюдь не от шпор.

Развесив в комнате шкуру гиены или льва, он снова исчезал.

А между тем Мериамун мог бы быть счастливейшим человеком на свете; в него была влюблена Неферти, дочь жреца Памута, прекраснейшая девушка из нома Арсиноита. Один только Мериамун мог не замечать, что у Неферти чарующие глаза, чуть приподнятые в уголках, с непередаваемым выражением неги, губы, на которых искрится пунцовая улыбка, безупречные белые зубки, руки прелестных очертаний и ноги прекраснее яшмовых ног статуи Исида; во всем Египте, несомненно, не найти бы таких изящных пальчиков и таких длинных волос. Одна только Клеопатра могла бы затмить чары Неферти. Но кому вздумается влюбиться в Клеопатру? Иксион, восплававший любовью к Юноне, заключил в свои объятия лишь облако и все же в преисподней вечно вертит колесо.

А именно в Клеопатру и был влюблен Мериамун!

Сначала он попытался было укротить эту безрассудную страсть и самоотверженно боролся с нею; но любовь не лев, ее не задушишь, и тут бессильны даже самые мощные атлеты. Стрела глубоко засела в ране, и он повсюду волочил ее за собою; наяву и во сне витал перед ним образ Клеопатры, прекрасной, сияющей, в великолепной короне с золотым верхом, — вот она стоит, облаченная в императорский пурпур, среди коленопреклоненной толпы; подобно тому как смельчак, неосторожно взглянувший на солнце, потом всю жизнь видит витающее перед ним неуловимое пятно — так Мериамун постоянно видел перед собою Клеопатру. Орлам дано взирать на солнце и не слепнуть от этого, но найдется ли алмазный зрачок, который мог бы безнаказанно лицезреть прекрасную женщину, прекрасную царицу?

Отныне он жил только тем, что бродил вокруг царских дворцов, чтобы дышать тем же воздухом, каким дышит Клеопатра, чтобы целовать — увы, редко выпадало ему это счастье! — полустертые следы ее ног; он бывал на всех священных празднествах и панегириках, стараясь поймать сияние ее очей, невзначай похитить одну из бесчисленных черточек ее красоты. Иной раз он сам стыдился столь безрассудного существования; тогда он предавался охоте с еще большим пылом и силился усталостью укротить кипение крови и неистовство желаний.

Он отправился на панегирик Гермонтиса и, в смутной надежде хоть на миг увидеть царицу, когда она прибудет в летний дворец, погнался на утлом челне вслед за ладьей, не обращая внимания на жгучее солнце, в такую жару, что, казалось, вот-вот расплавятся даже сфинксы, страдающие на своих раскаленных пьедесталах.

Ведь он понимал, что настает решающий миг, что судьба его должна определиться и что он не может умереть, затаив свою тайну в груди.

Влюбленный в царицу оказывается в странном положении; это все равно что влюбиться в звезду, да и то звезда каждую ночь появляется, чтобы загореться на отведенном ей месте; она приходит на своего рода мистическое свидание: вы вновь обретае ее, вы ее видите, ваш взгляд не оскорбляет ее! О, горе! Быть нищим, безвестным, незаметным, пребывать на самой нижней ступеньке лестницы и чувствовать, что сердце твое полнится любовью к чему-то,

возвышенному, великолепному, сверкающему, любовью к женщине, последняя служанка которой не польстилась бы на тебя! Неотступно обращать взор к кому-то, кто даже не замечает и никогда не заметит тебя, для кого ты всего лишь гребешок одной из бесчисленных людских волн, подобный множеству других, боготворить кого-то, кто не узнает тебя, даже если встретит сто раз. А если тебе и представится случай сказать слово своему божеству, то все равно не будет оправдания этой дерзкой смелости, ибо ты не одарен ни поэтическим даром, ни выдающимся умом, ни какой-либо сверхчеловеческой способностью — ничем, кроме любви; в обмен на красоту, благородство, могущество, в обмен на все великолепие, о котором ты мечтаешь, ты можешь предложить только свою страсть или юность, то есть нечто отнюдь не редкостное!

Мысли эти угнетали Мериамуна; он лежал на песке, упершись подбородком в руки, и предавался нахлынувшим, неиссякаемым мечтам; он обдумывал бесчисленные планы один безрассуднее другого. Он понимал, что стремится к недостижимой цели, но ему недоставало мужества решительно отказаться от нее, и коварная надежда нашептывала ему на ухо немало обманных обещаний.

— Хатор, всемогущая богиня, за что ты так преследуешь меня? — шептал он. — Мстишь ли ты мне за то, что я пренебрег Неферти, дочерью жреца Памута? Гневаешься ли за то, что я отвергнул Ламию, афинскую гетеру, и римскую куртизанку Флору? Разве я виноват, что душа моя трепещет только перед красотой Клеопатры, твоей соперницы? Зачем вонзила ты мне в сердце отравленную стрелу несбыточной любви? Какой жертвы, каких приношений надобно тебе от меня? Воздвигнуть ли тебе жертвенник из сиенского розового мрамора с колоннами, увенчанными золотыми капителями, с потолком из цельной плиты, с иероглифами, высеченными лучшими мемфисскими или фиванскими мастерами? Ответь мне!

Как и все боги и богини, Хатор ничего не ответила на его призыв. Мериамун принял отчаянное решение.

Между тем Клеопатра тоже обратилась к богине Хатор; она испрашивала у нее новых утех, какого-нибудь неизведанного чувства; томно раскинувшись на ложе, она думала о том, как ограничено число наших ощущений, о том, что даже самые изысканные из них быстро

сменяются отвращением и что царице в самом деле трудно бывает чем-то заполнить день. Испробовать на рабах новые яды, устроить поединки людей с тиграми или гладиаторов с гладиаторами, выпить несколько растворенных в уксусе жемчужин, истратить на пиршество целую провинцию — все это старо и пресно!

Хармиона не знала, что и придумать и как быть с госпожой.

Вдруг послышался свист, и трепещущая стрела вонзилась в кедровую обшивку стены.

Клеопатра от испуга чуть не лишилась чувств. Хармиона высунулась из окна, но увидела на поверхности реки лишь клочок пены. Стрела была обвита листом папируса, на котором иероглифами были начертаны слова: «Люблю тебя!»

ГЛАВА IV

— «Люблю тебя», — повторила Клеопатра, держа в тонких белых ручках листок папируса, свернутый подобно свитку, — вот слово, которого я жаждала! Что за мудрая душа, что за незримый гений так верно угадал мое желание?

И, вдруг очнувшись от томного оцепенения, она проворно, — как кошка, почуявшая мышь, спрыгнула с ложа, обула точеные ножки в вышитые сандалии, накинула на плечи виссоновую тунику и подбежала к окну, у которого все еще стояла Хармиона.

Была светлая, ясная ночь; в лучах взошедшей луны на синем прозрачном небе вырисовывалось величественное здание дворца, а вокруг него лежали глубокие тени; река подернулась серебряной зыбью, и отсвет луны уходил вдаль сверкающей дорожкой; тростник и лазоревые цветы лотоса колыхались от легких дуновений ветерка, которые можно было принять за дыхание дремлющих сфинксов; канаты судов, привязанных к причалу, слегка поскрипывали, а волны Нила набегали на берег и жалобно стонали, словно голубь, лишившийся своей голубки. До царских покоев доносился запах цветов, легкий и нежный, как благоухание душистых смол, тлеющих в курильницах жрецов Анубиса. Стояла одна из тех волшебных восточных ночей, которые превосходят лучезарностью наши самые ясные дни, ибо нашему солнцу не сравниться с той луной.

— Видишь там, в отдалении, посреди реки, голову человека? Он плывет; вот он пересекает лунную дорожку и сейчас скроется в тени; теперь его уже и не видно.

Опершись на плечо Хармионы, Клеопатра склонилась из окошка, стараясь уловить след таинственного пловца. Но роща нильских акаций, дум-пальм и сикоморов бросала в этом месте на реку тень, покровительствуя бегству смельчака. Если бы Мериамун догадался обернуться, он увидел бы, как Клеопатра, звездная царица, устремляет в ночную тьму пристальный взор, ища его, бедного египтянина, жалкого охотника на львов.

— Хармиона! Позови ко мне начальника гребцов, и пусть немедленно снарядят две ладьи в погоню за этим человеком, —

сказала Клеопатра, любопытство которой достигло крайней степени.

Появился Паренпачау; то был человек из племени нехси, с широкими руками, мускулистый, в красной шапочке, похожей на фригийский колпак, и в узких штанах с косыми белыми и синими полосами. На торсе его, совершенно голом, черном и гладком, как полированный агат, отражалось пламя светильника. Он выслушал приказание царицы и вышел, чтобы тотчас исполнить его.

Две ладьи — длинные, узкие и такие легкие, что могли перевернуться при малейшем нарушении равновесия, вскоре понеслись, рассекая воды Нила и свистя под напором двадцати мощных гребцов; но поиски оказались тщетными. Избороздив реку вдоль и поперек, осмотрев малейшую заросль тростника, Паренпачау возвратился во дворец ни с чем, если не считать того, что он вспугнул несколько цапель, дремавших, стоя на одной лапке, да помешал пищеварению двух-трех крокодилов.

Клеопатра была до того огорчена неудачей, что чуть было не повелела бросить Паренпачау в мельничные жернова или на растерзание зверям. К счастью, Хармиона заступилась за раба, но он так испугался, что черная кожа его посветлела и он дрожал с головы до ног. То был единственный случай в жизни царицы, когда желание ее не исполнилось тотчас же, и она была и встревожена и удивлена, словно впервые усомнилась в своем всемогуществе.

Она, Клеопатра, жена и сестра Птолемеев, провозглашенная богинею Эвергета, живая царица горних и нижних сфер, лучезарное око, любимица Солнца, как то видно на барельефах храмов, — и вдруг встречает препятствие, желание ее не осуществляется, распоряжение ее не выполнено! Как будто она жена какого-то нищего парасхита, занятого обработкой трупов, который целыми днями стоит над котлом, плавя натриевую соль. Это чудовищно, это неслыханно, и, право же, надо быть очень кроткой, очень добросердой царицей, чтобы не распять презренного Паренпачау на кресте.

Вы желали приключения, вы желали чего-то нечаянного и из ряда вон выходящего: к вашим услугам! Значит, ваше царство не так мертво, как вам казалось. Не каменной же рукою статуи пущена стрела, не из сердца мумии вырвались те два слова, что так взволновали вас, вас, которая с улыбкой взирает, как бьются у отравленных вами рабов голова и ноги, как они корчатся в

предсмертных муках на прекрасных мозаичных и порфирных полах, вас, которая весело рукоплещет тигру, когда он с яростью вгрызается в бок сраженного гладиатора!

Вы получите все, чего только ни пожелаете: серебряные колесницы, усыпанные изумрудами, квадриги, запряженные грифонами, трижды окрашенные пурпурные туники, зеркала из плавленной стали, обрамленные драгоценными камнями, — такие светлые, что вы увидите себя в них столь же прекрасной, какая вы и есть: наряды из Сирии — столь легкие, столь тонкие, что они пройдут в кольцо, снятое с вашего мизинца; безупречный жемчуг, кубки работы Лисиппа или Мирона, индийских попугаев, разговаривающих, как поэты; все получите вы — будь то хоть пояс Венеры или корона Исиды, а все-таки не будет у вас сегодня вечером того юноши, что вонзил в кедровое дерево вашего ложа все еще трепещущую стрелу!

Трудно придется рабыням, которые завтра утром будут одевать вас, сколь легки ни были бы их руки! Как бы золотые булавки не оказались в груди неловкой рабыни, пекущейся о вашей прическе, а та, что выщипывает лишние волосы, вполне может оказаться подвешенной к потолку головою вниз!

— Кто осмелился послать мне на стреле объяснение в любви? Не жрец ли бога Амон-Ра, воображающий, будто он прекраснее Аполлона, которого чтут греки? Как ты думаешь, Хармиона? Или Хаписер, военачальник Хермотибии, столь гордый своими победами в стране Куш? Пожалуй, скорее это юный римлянин, развратник Секст, который румянится, картавит и носит рукава на персидский лад?

— Нет, царица, это не они; хоть вы и первая красавица на всем свете, люди эти только льстят вам, но вас не любят. Жрец бога Амон-Ра выбрал себе идола, которому будет верен всю жизнь, а идол этот — его собственная особа; воин Хаписер занят только тем, что рассказывает о битвах, а Секст до того погружен в изготовление нового притирания, что не помышляет ни о чем другом. К тому же ему прислали из Лаконии наряды, желтые, затканые золотом, туники, и азиатских ребятишек, которым он посвящает целые дни. Ни один из этих вельмож не стал бы рисковать головой, пускаясь в столь дерзкое и опасное приключение. Они недостаточно влюблены в вас для этого.

Вчера в ладье вы говорили, что никто не осмеливается поднять на вас изумленного взора, что все только бледнеют и бросаются вам в

ноги, моля о пощаде, и что у вас единственный выход — разбудить какого-нибудь фараона, который покоится в золотом гробу и весь пропах битумом. А теперь нашлось молодое, пылкое сердце, обожающее вас: как же вы с ним поступите?

В ту ночь Клеопатра долго не могла уснуть; она ворочалась на своем ложе, тщетно призывая Морфея, родного брата Смерти: она без конца шептала, что она самая несчастная царица, что все только и думают, как бы огорчить ее, и что жизнь ее невыносима; эти горестные сетования мало трогали Хармиону, хотя она и притворялась, будто глубоко сочувствует царице.

Предоставим Клеопатре предаваться предположениям насчет придворных и дожидаться сна, который бежит от нее, а сами вернемся к Мериамуну: мы ловчее Паренпачау, начальника гребцов, и так или иначе разыщем юношу!

Испугавшись собственной дерзости, Мериамун бросился в Нил и вплавь добрался до пальмовой рощи еще прежде, чем Паренпачау пустился за ним в погоню.

Он перевел дыхание, откинул за уши длинные черные волосы, намокшие во время переправы, и почувствовал себя спокойнее и легче. Возле Клеопатры теперь есть нечто, исходящее от него. Между ними возникла какая-то связь; Клеопатра думает о нем, Мериамуне. Быть может, дума эта вызвана гневом, но, как бы то ни было, ему удалось пробудить в ней какое-то чувство — пусть то будет испуг, негодование или жалость; он дал ей знать о своем существовании. Правда, он забыл обозначить свое имя на листке папируса, но что сказали бы царице слова: *Мериамун, сын Мантухонеша*? Монарх и раб равны перед нею. Богиня не может унизиться, возьмет ли она в любовники простолудина, патриция или царя; с такой высоты в человеке видна только любовь.

Слово, тяготившее ему грудь, как колено бронзового колосса, наконец улетело; оно пронеслось по воздуху, дошло до царицы — до вершины треугольника, до недостигаемого совершенства. В это пресыщенное сердце ему удалось заронить искорку любопытства, — какой сказочный успех!

Мериамун не знал, что стрела так метко попала в цель, но теперь он все же немного успокоился, ибо поклялся самому себе, поклялся таинственным Бари, провожающим души в Аменти, священными

птицами Бенну и Гебом, Тифоном и Осирисом, всем самым грозным, что есть в египетской мифологии, — он поклялся, что станет возлюбленным Клеопатры, пусть хоть на один день, пусть хоть на одну ночь, на один час, пусть расплатится он за это телом и душой.

Объяснить, каким образом запылала в нем страсть к женщине, которую он видел только издали и на которую едва решался поднять взор, — он, бесстрашно смотревший в желтые зрачки львов, — и каким образом зернышко, случайно запавшее ему в душу, так скоро проросло в ней и пустило такие глубокие корни, — объяснить эту тайну мы не беремся; выше мы уже сказали: его влекла к себе бездна.

Когда он вполне убедился, что Паренпачау с гребцами высадился на берег, он опять бросился в Нил и снова направился ко дворцу Клеопатры, светильник которой виднелся сквозь пурпурный занавес и казался нарумяненной звездой. Сам Леандр не плыл к сестской богине так отважно и решительно, а ведь Мериамуна не ждала Геро, готовая оросить его голову благоуханиями, чтобы развеять запах моря и язвительные лобзания бури.

Лучшее, чего он мог ждать, — это ловкий удар копьем или кинжалом; но, по правде говоря, этого он не опасался.

Некоторое время он крался вдоль дворцовой стены, мраморное основание которой омывала река, и остановился у затопленного свода, в который устремлялась бурлящая вода. Два-три раза он бросался в этот водоворот безуспешно; наконец ему удалось отыскать лазейку, и он исчез в ней.

Тут начинался сводчатый канал, по которому нильская вода поступала в купальни Клеопатры.

ГЛАВА V

Клеопатра заснула только под утро, в тот час, когда возвращаются в свою обитель сны, вылетевшие из волшебных чертогов. В полудреме ей представлялось множество поклонников — стремясь пробраться к ней, они бросались вплавь, карабкались на стены; и — как память о минувшем дне — грезы ее были полны стрелами, вестницами любовных излияний. Ее ноги нервно подергивались и ударяли в грудь Хармионы, которая лежала поперек ее ложа.

Когда она проснулась, в занавесе на окне играл веселый луч, — он прорывался сквозь ткань бесчисленными сверкающими точками, золотой бабочкой непринужденно порхал вокруг ее прекрасных плеч и мимоходом касался их лучезарным поцелуем. Счастливец луч! Ему позавидовали бы сами боги!

Клеопатра умирающим голосом, как больной ребенок, пролепетала, что хочет встать; две прислужницы взяли ее на руки и осторожно опустили на пол, на шкуру огромного тигра, — когти у него были золотые, а в глазах сверкали карбункулы. Хармиона окутала ее льняным каласирисом белее молока, на голову надела сетку из серебряных нитей, а на ноги — пробковые сандалии, на подошве которых, в знак презрения, были нарисованы два смешных человечка, два представителя племен нехси и аому, со связанными руками и ногами, так что Клеопатра вполне оправдывала эпитет *Покорительницы народов*, который значился в ее царских картушах.

Настало время купанья; Клеопатра в сопровождении прислужниц отправилась к водоемам.

Купальни Клеопатры были расположены в обширных садах с лимонными и рожковыми деревьями, мимозами, алоэ и персидскими яблонями, роскошная свежесть которых составляла упоительный контраст с бесплодными окрестностями; огромные террасы были полны зелени, а по гигантским лестницам из розового гранита цветы взбирались до самого неба; на ступенях справа и слева высились вазы из пентелийского мрамора, похожие на лилии, и содержащиеся в них растения казались всего лишь их пестиками; на газоне, усеянном цветами, томно раскинулись химеры, любовно выточенные

искуснейшими греческими ваятелями — лица их были не столь суровы, как у печальных, хмурых египетских сфинксов, а позы скорее напоминали стройных левреток, расположившихся на ковре в изящной гостиной; у этих прелестных женских фигурок были лица с прямым носом, гладким лбом, изящным ротиком, пухленькие ручки, округлая девственная грудь, изящные причудливые ожерелья и застёжки, которые то раздваивались в виде рыбьего хвоста, как та женщина, о которой говорит Гораций, то разворачивались в виде птичьих крыльев, то закруглялись, как круп львицы, то вились, словно растение, — в зависимости от прихоти ювелира или в соответствии с архитектурным замыслом; эти очаровательные чудовища стояли по обе стороны аллеи, тянувшейся от дворца до купален.

В конце аллеи находился обширный водоем с четырьмя порфирными лесенками; сквозь прозрачную сверкающую воду виднелись ступени, — они спускались до самого дна, покрытого золотистым песком; вокруг на постаментах, какие бывают у кариатид, стояли статуи женщин, и из груди у них струилась душистая вода, которая стекала в бассейн серебристой росой и рябила ясное зеркало воды бесчисленными градинками. Помимо того, эти статуи поддерживали головой антаблемент, украшенный барельефом с nereидами и тритонами и снабженный бронзовыми кольцами, чтобы привязывать к ним шелковые шнуры навеса. За портиком виднелись синеватая влажная зелень, прохладные тени, как бы уголок темпейской долины, перенесенный в Египет. Прославленные сады Семирамиды в сравнении со всем этим показались бы просто ничтожеством.

Умолчим о других семи-восьми залах, где поддерживалась разная температура, где шел горячий или охлажденный пар, где имелись ларцы с благовониями, с притираниями, маслами, пемзой, рукавицами из конского волоса, и обо всех прочих изысканностях античного купального искусства, доведенного до самой высокой степени утонченности и неги.

Клеопатра вошла, опираясь на плечо Хармионы; она утомилась, ведь ей пришлось самостоятельно пройти не менее тридцати шагов! Какое невероятное усилие! Какое изнеможение! Легкое розовое облачко, разлившееся под прозрачной кожей ее щек, оживляло их страстную бледность; на янтарных висках проступала сеть голубых жилок, лоб, гладкий, невысокий, как было свойственно людям

античного мира, зато совершенный по очертаниям и округлости, соединялся безупречной линией с прямым, строгим, как на камее, носом; розовые ноздри трепетали при малейшем волнении, как ноздри влюбленной тигрицы; у нее был округлый рот, близко подходивший к носу, с презрительно выгнутой губой; зато во влажном блеске и в пунцовом сверкании нижней губы сказывалась неистовая чувственность и редкостная жажда жизни. Глаза ее прикрывались узкими веками, а брови были тонкие и почти прямые. Откажемся от попытки описать эти глаза; в них был огонь, нега, сверкающая ясность, от которых могла бы зашевелиться песья шея самого Анубиса; каждый взгляд ее был поэмой, прекраснее всего, что сочинил Гомер или Мимнерм; этот чарующий профиль завершался царственным подбородком, полным силы и властности.

Она стояла на верхней ступени водоема в позе, преисполненной величия и изящества, слегка откинувшись назад и приподняв ногу, как богиня, которая сходит со своего пьедестала, но все еще взирает на небеса; от кончиков ее груди спускались до самой земли две отчетливые складки. Будь Клеомен ее современником, он, увидав ее, в порыве отчаяния разбил бы свою Венеру на мелкие куски.

Перед тем как спуститься в воду, она позволила себе новую прихоть — велела Хармионе сменить серебряную сетку, обвивавшую ее голову, на другой убор: она предпочла веночек из тростника и цветов лотоса, как у морской богини. Хармиона выполнила желание царицы; волосы ее, вырвавшиеся из плена, черными потоками растеклись по плечам и повисли вдоль прекрасных щек, как спелые гроздья винограда.

Затем льняная туника, державшаяся на одной только золотой застежке, отцепилась, скользнула по мраморному телу и белым облаком распласталась у ее ног, как лебедь у ног Леды.

А Мериамун? Где был он в этот миг?

О, жестокая судьба! Какое множество бесчувственных соглядатаев наслаждается преимуществом, от которого пришел бы в восторг влюбленный! Ветер играет прядями благоухающих волос и целует прекрасные уста, которые он не в силах оценить; вода, совершенно безразличная к таким соблазнам, лишь скупой лаской окутывает это желанное тело; зеркалу доступно столько очаровательных лиц; котурн

или сандалия без трепета охватывает божественную ножку: ах, сколько утраченных радостей!

Клеопатра ступила в воду розовой ножкой и спустилась на несколько ступеней; дрогнувшая вода оплела ее серебряным поясом и запястьями и, словно разорвавшееся ожерелье, жемчужинами побежала по груди и плечам; длинные волосы, поддерживаемые водою, раскинулись по спине, как царская мантия; она оставалась царицей даже в купальне. Она ходила по воде, брала пригоршни золотой россыпи и, смеясь, бросала ее в своих прислужниц, подвешивалась на ограде водоема, то обнажая свои сокровища, то скрывая их, то оборачиваясь гладкой, блестящей спиной, то показываясь во всем своем великолепии, как Венера Анадиомена, — и так без конца разнообразила облики своей красоты.

Вдруг она вскрикнула, — вскрикнула отчаянно, как Диана, застигнутая Актеоном; она заметила сквозь листву горящие глаза, желтые и искрящиеся, как у льва или крокодила.

То был Мериамун; прильнув к земле и трепеща, словно олень, забравшийся на ниву, он упивался гибельным счастьем — он лицезрел царицу во время купанья! Хоть юноша и был храбр до безрассудства, возглас Клеопатры вонзился ему в сердце холодным клинком; все тело его покрылось смертельной испариной; в висках нестерпимо kloкотала кровь, железная рука ужаса вцепилась ему в горло и душила его.

Сбежались евнухи с копьями в руках; Клеопатра указала на купу деревьев, и они нашли там притаившегося, съездившегося Мериамуна. О сопротивлении и думать было нечего, поэтому он не пытался защищаться, а сразу же отдался в их руки. Они уже собрались убить его и исполнили бы свой долг с тупым, жестоким безразличием, свойственным евнухам, но Клеопатра, успевшая накинуть на себя каласирус, жестом остановила их и велела подвести к себе пленника.

Мериамуну не оставалось ничего другого, как пасть на колени и молитвенно протянуть к ней руки, словно перед алтарем богов.

— Ты наемный убийца, подсланный Римом? Зачем проник ты в эту священную местность, куда не допускаются мужчины? — спросила Клеопатра, властным жестом подняв руку.

— Да окажется моя душа легкой на весах Аменти и да покарает меня Маат, дочь Солнца и богиня истины, если я злоумышлял против

тебя, — ответил Мериамун, не вставая с колен.

Лицо Мериамуна так красноречиво говорило об его искренности и честности, что Клеопатра сразу же отбросила подозрения и стала всматриваться в юного египтянина не так гневно и строго. Он нравился ей.

— В таком случае, какая же причина побудила тебя отправиться туда, где тебя может ждать только смерть?

— Я люблю тебя, — сказал Мериамун тихо, но внятно, ибо к нему вновь вернулась смелость, как всегда бывает в крайних обстоятельствах, когда уже ничто не может повредить.

— Ах, так это ты пустил стрелу с листком папируса? — воскликнула Клеопатра и, склонившись к нему, схватила его за руку внезапным резким движением. — Клянусь Амтом, адским псом, ты негодяй, не лишенный дерзости!.. Теперь узнаю тебя. Я уже давно заметила, что ты, как скорбная тень, бродишь в местах, где я живу... Ты присутствовал на шествии в честь Исиды, на торжествах в Гермонтисе; ты плыл вслед за царской ладьей. Вот как? Тебе нужна царица!.. Скромные желания не по тебе; ты, конечно, рассчитываешь на ответное чувство... Разумеется, я полюблю тебя... И почему бы не полюбить?

— Не смейся надо мной, царица, — печально ответил Мериамун. — Я безумец, это верно; я заслуживаю смерти, это тоже верно; будь же милостива, прикажи казнить меня.

— Нет, сегодня мне хочется быть великодушной; я дарую тебе жизнь.

— На что мне жизнь? Я люблю тебя.

— Ну что ж, пусть будет по-твоему. Ты умрешь, — отвечала Клеопатра, — тобою овладела странная, нелепая мечта; воображение твое и желания преступили границы допустимого. Ты вообразил себя Цезарем или Марком Антонием, ты полюбил царицу! В приступах бреда тебе почудилось, что при некотором стечении обстоятельств, — а это случается раз в тысячу лет, — Клеопатра полюбит тебя. Так вот, то, что ты считал несбыточным, осуществится; твою мечту я превращу в явь; мне приятно один-единственный раз оправдать безрассудную надежду. Я хочу окружить тебя великолепием, сиянием и блеском; я хочу, чтобы в судьбе твоей появилось лучезарное мгновение. Ты находился в самом низу колеса Фортуны, а я вознесу тебя наверх —

внезапно, стремительно, сразу. Я извлеку тебя из небытия, сделаю тебя равным божеству, потом вновь ввергну в небытие, — вот и все. Но не называй меня потом жестокой, не моли о жалости и не падай духом, когда пробьет час. Я добрая, я снисхожу к твоему бреду; я имею право повелеть, чтобы тебя тотчас же лишили жизни, но ты говоришь, что любишь меня, — так я прикажу убить тебя завтра. За одну ночь ты заплатишь жизнью. Я великодушна; я твою жизнь покупаю, а могла бы просто взять ее. Но зачем ты предо мной на коленях? Встань, подай мне руку, и пойдем во дворец.

ГЛАВА VI

Наш мир совсем мал по сравнению с миром античным, наши празднества убоги рядом с подавляющей роскошью римских патрициев и азиатских владык; обычные их трапезы показались бы теперь разнузданными оргиями, и современный город прожил бы целую неделю остатками от ужина, предложенного Лукуллом нескольким близким друзьям. Нам, с нашими жалкими привычками, трудно представить себе образ жизни этих гигантов, когда осуществлялось все, что только в силах создать воображение, все самое смелое, самое невероятное и чудовищно превосходящее рамки возможного. Наши дворцы — конюшни, в которые Калигула не поставил бы своего коня; самый богатый из нынешних конституционных монархов не может сравниться по роскоши с римским проконсулом или мелким сатрапом. Лучезарное солнце, некогда сиявшее над землею, навеки угасло в мертвящем единообразии; оно уже не встает над черным людским муравейником, где встречались колоссы, подобные Титану, пробегавшие весь мир в три шага, как кони, о которых говорит Гомер; нет больше башни Лилака, нет гигантской Вавилонской башни, вонзавшейся в небо бесконечной спиралью, нет больше храмов, сооруженных из каменных глыб, царских террас, на кладку которых ушли силы целой эпохи и всего народа, — террас, откуда задумавшийся властитель мог, опершись на балюстраду, взирать на мир, как на развернутую перед ним карту; нет больше беспорядочных городов, возникших из хаотичного нагромождения циклопических сооружений, с их глубокими рвами, с цирками, из которых днем и ночью раздается рычанье хищников, с бассейнами, наполненными морской водой и населенными левиафанами и китами, с высокими оградами, с рядами террас, с башнями, вершины коих тонут в облаках, с гигантскими дворцами, с акведуками, с пригородами и мрачными некрополями! Увы! Не осталось ничего, кроме жалких развалин на каменных плитах.

Удивительно, что люди не возмущались, видя, что все богатства и блага отняты у них и отданы нескольким избранныкам, удивительно, что из ряда вон выходящие прихоти не встречали препятствий на

своим кровавым путем. Дело в том, что такие баснословные судьбы являлись осуществлением наяву мечтаний, которым каждый предавался в глубине души, являлись олицетворением мыслей, свойственных всем; народы считали, что под тем или иным именем, неугасимо сверкающим во тьме веков, символически живут они сами. Теперь же, когда мы лишены ослепительного зрелища всемогущей воли, лишены созерцания человеческой души, малейшее желание которой выливается в баснословные дела, в чудеса гранита и бронзы, — теперь мир глубоко и безнадежно скучает; царственная фантазия человека нигде не видит своего воплощения.

История, которую мы рассказываем, и великое имя Клеопатры, упоминаемое здесь, навели нас на эти мысли, неприятные для цивилизованного человека. Но для людей, считающих, что они наделены безудержным воображением и что они достигли крайних пределов феерической роскоши, есть в зрелище античного мира нечто столь подавляющее и столь обескураживающее, что мы не могли не выразить им своих сожалений и сочувствия по поводу того, что им не пришлось быть современниками Сарданапала, Тиглатпаласара, Клеопатры, царицы Египта, или хотя бы Гелиогабала, римского императора и жреца Солнца.

Нам предстоит описать баснословную оргию, пиршество, которое затмит пиры Валтасара, описать одну из ночей Клеопатры. Как средством французского языка, столь целомудренного, столь леденяще-стыдливого, передадим мы исступленные порывы, безбрежный, неумный разгул, готовый бесстрашно смешать два пурпурных начала — кровь и вино; как передадим неистовые вспышки неутолимого сладострастия, стремящегося к невозможному со всей пылкостью чувств, тогда еще не укрощенных долгим христианским постом?

Обещанной ночи предстояло стать великолепной; все радости, какие только возможны в жизни человека, должны были сосредоточиться и осуществиться на протяжении нескольких часов; жизнь Мериамуна надлежало превратить в колдовской эликсир, чашу которого он мог бы выпить сразу до дна. Клеопатра хотела ослепить свою добровольную жертву невиданным блеском, погрузить ее в водоворот головокружительной страсти, ошеломить вином и

пиршеством, чтобы смерть — хотя на нее и было дано согласие — явилась для жертвы неосознанной и незаметной.

Перенесем наших читателей в пиршественную залу.

В нашем современном зодчестве не найти образцов для сравнения с огромными сооружениями, развалины коих больше похожи на горные обвалы, чем на остатки зданий. Только бескрайнему размаху античной жизни было под силу одухотворить и заполнить эти баснословные чертоги, где залы были столь обширны, что у них не могло быть иного потолка, кроме неба, — потолка великолепного и вполне достойного такой архитектуры.

Пиршественная зала была грандиозных, необъятных размеров; взор не мог проникнуть до самой ее глубины; чудовищные колонны, короткие, приземистые и такие прочные, что могли бы нести на себе земной шар, тяжело опирались расширяющимися основаниями на испещренный иероглифами цоколь, а пузатыми капителями поддерживали гигантские гранитные арки, которые поднимались уступами наподобие опрокинутых лестниц. Между столбами помещались колоссальные базальтовые сфинксы с пшентом на голове; они обращали в залу лица с раскосыми глазами и острым подбородком и устремляли сюда пристальный загадочный взгляд. На втором этаже, несколько отступавшем от первого, капители на более стройных колоннах были заменены четырьмя женскими головами в египетских прическах с завитками; вместо сфинксов здесь сидели в каменных креслах идолы с бычьими мордами — равнодушные свидетели ночных неистовств и оргиастической исступленности; их можно было принять за гостей, терпеливо ожидающих начала пиршества.

Здание венчалось третьим этажом, отличным от остальных; здесь стояли бронзовые слоны, из хоботов которых струилась благовонная вода, а еще выше — синей бездной раскинулось небо, и звезды, любопытствуя, склонялись над фризом.

Великолепные порфиновые лестницы, до того отполированные, что тела отражались в них, как в зеркале, поднимались и спускались со всех сторон, объединяя отдельные части огромного здания.

Мы набрасываем лишь краткий очерк, чтобы дать представление об этом колоссальном сооружении, пропорции которого превышают все человеческие представления. Здесь нужна была бы кисть Мартина, великого художника исчезнувших грандиозных зданий, а у нас всего

лишь тоненькое перо вместо апокалиптической глубины акватинты; но нам поможет воображение; у нас нет возможностей, какими располагают живописец и музыкант, и мы можем изображать предметы лишь последовательно, один за другим. Мы говорили только о пиршественной зале, оставив в стороне сотрапезников; да и залу-то мы обрисовали лишь вкратце. Нас ждут Клеопатра и Мериамун; вот они приближаются к нам.

На Мериамуне была льняная туника, усеянная звездами, и пурпурный плащ, а волосы его были перехвачены лентами, как у восточного владыки. Клеопатра оделась в платье цвета морской воды с разрезами по бокам и застежками в виде золотых пчелок; на руках ее, обнаженных до плеч, светились два ряда крупных жемчужин, на голове сияла золотая корона. Она улыбалась, но все же чело ее было омрачено облачком озабоченности, и порою она лихорадочно хмурила брови. Что же может тревожить великую царицу? А лицо Мериамуна светилось и горело, как у человека, который сподобился видения или пребывает в экстазе; сияние, исходившее от его лица, образовало вокруг него золотой нимб, как у одного из двенадцати великих богов Олимпа.

Во всем облике его светилась сосредоточенная и глубокая радость; он поймал свою буйнокрылую химеру, она не вырвалась из его рук, — он достиг цели всей своей жизни. Пусть он проживет долго, как Нестор и Приам, пусть стариковские виски его поседеют, как у великого жреца Аммона, — он уже не испытает ничего нового, знания его не обогатятся. Полученный им дар настолько превзошел все его безрассудные мечты, что мир уже не может ничем порадовать его.

Клеопатра посадила его рядом с собою на трон, обрамленный золотыми грифонами, и хлопнула в ладоши. Вдруг огненные полосы, мерцающие нити пробежали по всем выступам здания; глаза сфинкса стали метать фосфорические молнии, жгучее дыхание вырвалось из ртов идолов; из слоновых хоботов вместо душистой воды стала бить красноватая жидкость; из стен выступили бронзовые руки с факелами в кулаке; в точеных чашечках лотосов распустились яркие султанчики.

В бронзовых треножниках вздымались огромные языки голубого пламени, гигантские подсвечники бросали трепетные блики на клубы жгучих испарений; все искрилось и сверкало. В воздухе скрещивались и разламывались призматические радуги; всюду — на чеканке кубков,

на выступах мрамора и яшмы, на гранях сосудов — мелькали искры, блески и огоньки. Свет лился потоками и, словно водопад, низвергался по порфировым ступеням лестницы; его можно было принять за пожар, отраженный в реке; если бы царице Савской вздумалось подняться по этим ступеням, она подобрала бы подол своего платья, как на ледяном полу Соломонова дворца, когда ей почудилось, будто она ступает по воде. В этой сверкающей мгле чудовищные фигуры колоссов, животные и иероглифы, казалось, одухотворялись и жили какой-то искусственной жизнью; черные гранитные бараны иронически усмехались и кидались друг на друга, пуская в ход позолоченные рога, а идола тяжело дышали и пыхтели трепещущими ноздрями.

Оргия достигла высшего накала; на трех углах триклиния громоздились блюда из языков фламинго, печени скара, мурены, вскормленной человеческим мясом и приготовленной в виде ухи, из павлиньих мозгов, вебрей, начиненных птицами, и прочие диковинки античных пиршеств, сменявшиеся без конца. В золотых кубках, увитых розами, пенились критские, массийские и фалернские вина; их разливали мальчики-азиаты, прекрасными волосами которых гости вытирали себе руки. Музыканты, помещавшиеся на верхних галереях, играли на тимпанах, систрах, самбуках и арфах в двадцать одну струну; их сладкозвучные мелодии терялись в шуме праздника; он был столь оглушителен, что если бы грянул гром, так и его бы не услышали,

Мериамун склонил голову на плечо Клеопатры и чувствовал, что разум его мутится; пиршественная зала вертелась вокруг него, как грандиозный архитектурный кошмар; в проблесках сознания ему виделись уходящие вдаль перспективы и бесконечные колоннады; над реальными арками возвышались призрачные и уходили в небеса на такую высоту, какой не достигла и Вавилонская башня. Не держи он в руке нежную, прохладную ручку Клеопатры, он решил бы, что его перенес в сказочный мир какой-нибудь фессалийский волшебник или персидский маг.

К концу трапезы марионы и горбатые карлики развлекали присутствующих забавными плясками и потешным сражением; затем юные египтянки и гречанки, изображавшие день и ночь, с

неподражаемым мастерством исполнили ионийский сладострастный танец.

Клеопатра поднялась с трона, сбросила с себя царскую мантию, заменила звездную диадему венком из цветов, надела на алебастровые руки золотые погремушки и сама стала плясать перед Мериамуном, уже не помнящим себя от восторга. Руки ее, округлые, как ручки мраморной вазы, рассыпали над головой гроздь искрящихся звуков, и погремушки щебетали все живее и живее. Поднявшись на цыпочки, она стремительно приближалась к Мериамуну и легким поцелуем касалась его лица, потом вновь начинала танцевать и порхала вокруг него, то откинувшись назад и запрокинув голову, причем глаза ее были полузакрыты, разомлевшие руки изнемогали, волосы разметались, — она была словно вакханка с Менальской горы, вдохновленная своим богом; то она становилась порывистой, живой, веселой, порхающей, неутомимой и своевольной, как пчелка, собирающая мед. Она передавала все — и любовь, и чувственность, и пылкую страсть, и свежую, неисчерпаемую юность, и обещания безбрежного счастья.

Стыдливые звезды уже не смотрели на нее, — их целомудренным золотым очам не вынести бы такого зрелища; само небо заволочлось — над залой поднялась, как купол, раскаленная мгла.

Клеопатра опять села возле Мериамуна. Ночь истекала, скоро тьме предстояло рассеяться; в неистовство красных огней робко просачивался голубоватый свет, словно лунный луч, упавший на раскаленные уголья; верхние аркады окрасились легкой синевой — светало...

Мериамун взял кубок, который подал ему зловещего вида раб-эфиоп; кубок был сделан из рога и содержал яд столь сильный, что всякий другой сосуд разорвался бы от него. Бросив на возлюбленную последний взгляд, заключавший в себе всю жизнь, он поднес к губам гибельный сосуд, в котором бурлила и кипела ядовитая жидкость.

Клеопатра побледнела и взяла Мериамуна за руку, чтобы удержать его. Мужество юноши тронуло ее; она собиралась сказать ему: «Поживи еще, чтобы любить меня; таково мое желание...» — как вдруг раздался звук рожка. В пиршественной зале появились четыре вестника на конях; то были военачальники Марка Антония, опередившие его лишь на несколько шагов. Клеопатра молча оставила

руку Мериамуна. На челе ее весело заиграл солнечный луч, как бы заменяя собою снятую диадему.

— Час настал, согласись; рассвело, а с зарею прекрасные сны улетают, — сказал Мериамун. Потом он залпом осушил роковой кубок и упал, как сраженный громом. Клеопатра поникла головой, и жгучая слеза — единственная оброненная ею в жизни — скатилась в ее кубок, на дне которого лежала растворившаяся жемчужина.

— Клянусь Гераклом! Как ни спешил я, прекрасная повелительница, я все же опоздал, — воскликнул Марк Антоний, входя в пиршественную залу. — Ужин кончился! Но что это за труп валяется на полу?

— Ах, пустяки, — ответила Клеопатра, улыбаясь, — я испробовала новый яд, чтобы воспользоваться им, если стану пленницей Августа. Не угодно ли, любезный властелин, занять место возле меня и полюбоваться пляской греческих скоморохов?..

ЗОЛОТОЕ РУНО

ГЛАВА I

Тибурций был поистине весьма удивительный молодой человек, а главное, своеобычность его отличалась одним преимуществом: она была неподдельной, он не сбрасывал ее с себя дома, как шляпу и перчатки, но и в четырех стенах, без людей, перед самим собой, был подлинно оригинален.

Не считите его, пожалуйста, смешным чудаком, который докучает ближним своими странностями, — он не ел пауков, не играл ни на каких музыкальных инструментах, не декламировал стихи; он был ровен, тих, говорил мало, еще меньше слушал, и взгляд его из-под опущенных век, казалось, устремлен был куда-то вовнутрь.

Он проводил дни, сидя в углу своего дивана, поджав под себя ноги, обложившись подушками, и к событиям века относился с таким же безразличием, как если бы они происходили на Луне. Лишь очень немногие имена существительные имели власть над ним, и мир не видел человека менее чувствительного к звонким словам, чем он. Он нимало не дорожил своими политическими правами и полагал, что в кабаке как-никак народ пользуется полной свободой.

Образ его мыслей отличался крайней простотой: ему больше нравилось ничего не делать, чем работать; доброе вино он предпочитал суслу и хорошенькую женщину — дурнушке, а в естественной истории руководствовался одной наикратчайшей классификацией видов, по принципу: «это едят, а это не едят». Впрочем, он был совершенно чужд всего житейского и до того рассудителен, что это смахивало на юродство.

У него не было ни малейшего самолюбия; он не мнил себя главным двигателем мироздания, отлично понимая, что Земля может вращаться и без его помощи; в собственных глазах он значил не больше, чем сырнй акар или уксусные угрицы; перед лицом вечности и беспредельной вселенной он не дерзал быть тщеславным; ему доводилось смотреть и в микроскоп и в телескоп, почему он и не переоценивал значение человека; он был ростом в пять футов и четыре дюйма, но допускал, что обитатели Солнца вполне могут быть ростом в восемьсот лье.

Таков был наш друг Тибурций.

Отсюда все же не следует, что он был чужд страстей. Под пеплом внешнего спокойствия тлел пламень. Однако никто не мог бы назвать имя его постоянной любовницы, и он не баловал своим вниманием дам. Как почти вся нынешняя молодежь, Тибурций, не будучи ни поэтом, ни живописцем, прочел много романов и видел много картин; лентяй по натуре, он предпочитал жить чужим опытом; он любил любовью поэта, смотрел глазами художника и лучше разбирался в портретах, чем в лицах человеческих; действительность ему претила, а жизнь среди книг и картин отучила считать мерилom истинности живую природу.

После мадонн Рафаэля и куртизанок Тициана дурнушками стали в его глазах признанные красавицы; по сравнению с Лаурой Петрарки, дантовской Беатриче, байроновской Гайде, Камиллой Андре Шенье ему казалась вульгарной женщина в шляпке, современном платье и накидке, любовником которой он мог бы стать; правда, он не требовал идеала с белыми крыльшками и нимбом; но изучение античной скульптуры и различных школ итальянской живописи, соприкосновение с высочайшими произведениями искусства, чтение поэзии — все это выработало в нем изощренный вкус и чувствительность к форме, и он не в состоянии был бы полюбить женщину прекраснейшей души, если ей не даны плечи Венеры Милосской. Вот почему Тибурций и не влюблялся.

Эту одержимость красотой выдавало великое множество статуэток, гипсовых слепков, рисунков и гравюр, висевших на стенах и загромождавших комнату Тибурция, о которой буржуа сказал бы, что это просто немыслимое жилье, так как, кроме упомянутого дивана и нескольких разноцветных подушек, разбросанных по ковру, мебели не имелось. У Тибурция не было секретов, поэтому он обходился без секретера, однако и без комода, ибо давно убедился в том, что эта удобная мебель создает неудобства.

Тибурций редко появлялся в свете, и не потому, что был нелюдим, а по халатности; он радушно принимал гостей, но никогда не отдавал визитов. Был ли Тибурций счастлив? Нет, но и не был несчастлив; и только одного ему очень хотелось: ходить в красном, будь это дозволено. Верхогляды обвиняли его в бесчувственности, содержанки — в бездушии, а в сущности, это был человек с золотым сердцем, и

его поиски совершенной формы открыли бы внимательному взгляду горькие разочарования в красоте нравственной. Если амфора для благовоний пустовала, Тибурций стремился возместить ее пустоту изяществом амфоры; он не жаловался, не впадал в элегическую грусть, не носил кружевные манжеты-плерезы, но было очевидно, что он когда-то страдал, что он однажды обманулся и хочет любить без риска ошибиться. А так как женщине труднее скрыть изъян телесный, чем душевный, то он удовлетворился бы совершенством формы; но увы! прекрасное тело такая же редкость, как и прекрасная душа. К тому же Тибурция совратили бредни романистов, он жил в идеальном, пленительном мире, творимом поэтами, перед взором его неотступно стояли совершенные образы, созданные ваятелями и живописцами, вкус его стал привередлив, изыскан, и то, что он принимал за любовь, было только восторгом художника. Он замечал погрешности рисунка в силуэте любовницы, не подозревая, что женщина для него только модель.

Однажды, выкурив свой кальян, наглядевшись на корреджиевское тройное воплощение Леды в его узорной оправе, осмотрев со всех сторон последнюю статуэтку Прадье, посидев сперва по-турецки, затем положив ноги на край каминной доски и исчерпав все доступные для него виды развлечений, Тибурций вынужден был признаться наедине с собой, что не знает, куда себя девать, и что со стен этой, пропитанной пылью, погруженной в спячку комнаты ползут пауки скуки. Он спросил: «Который час?» Ему ответили: «Без четверти час», — что он счел непреложным и решительным знаком судьбы. Одевшись с помощью слуги, он отправился бродить по городу и, шагая по улицам, пришел к выводу, что сердце его пусто и надо бы, как выражаются парижане, «завести пессию».

Приняв сие похвальное решение, он задал себе нижеследующие вопросы:

— Поллюбить ли мне смуглую испанку, с янтарным отливом кожи, с густыми бровями вразлет и смоляными волосами? Или итальянку, у которой тело античной статуи и огненные глаза под тяжелыми веками, тронутыми легкой коричневой тенью? Или хрупкую француженку с носом Рокселаны и кукольной ножкой? Рыжую, зеленоглазую еврейку с голубоватой кожей? Негритянку, черную, как ночь, и сияющую, как

отполированная бронза? Будет у меня темноволосая или белокурая пассия? Я положительно теряюсь!

Погруженный в размышления, он шел, опустив голову, когда вдруг наткнулся на какой-то твердый предмет, который отскочил от него, крепко выругавшись. Предмет этот оказался приятелем Тибурация, художником, и они тут же вдвоем отправились в музей. Художник был страстным почитателем Рубенса, поэтому останавливался преимущественно перед полотнами этого нидерландского Микеланджело и превозносил его так пылко и красноречиво, что воистину заражал своим восторгом. Да и Тибурацию наскучили греческие носы, римские пропорции и красновато-коричневый колорит итальянских мастеров; неудивительно, что его пленила пышность рубенсовских форм, эти отливающие атласом тела, разнообразные оттенки этой цветущей наготы, будто собранные в огромный букет, все это могучее здоровье, которое по воле антверпенского художника струится под кожей его созданий по сети лазоревых и алых жилок. Тибурация испытывал почти чувственное наслаждение, любуясь прекрасными, поблескивающими перламутром плечами и бедрами сирен в золотистом разливе распущенных волос, в жемчужной россыпи. Наделенный редкостной впечатлительностью и глубоко понимавший самые различные типы людей, Тибурация сейчас ощущал себя фламандцем, словно родился среди польдеров и всю жизнь только и видел, что форт Лилло и антверпенскую колокольню.

— Решено, — сказал он себе, выходя из картинной галереи, — я люблю фламандку.

А так как Тибурация был самый логичный человек в мире, то отсюда следовал неопровержимый вывод, а именно: фламандки должны чаще всего встречаться во Фландрии, и, стало быть, ему надлежит немедленно отправиться в Бельгию на поиски Светлокудрой.

Сей новый Ясон, пускаясь в погоню за своим золотым руном, в тот же вечер уехал дилижансом в Брюссель с поспешностью банкрота, порывающего все связи с обществом и вынужденного покинуть Францию, эту классическую страну изящных искусств, хороших манер и судебных исполнителей.

Через несколько часов Тибурация не без удовольствия увидел на вывесках бельгийских кабаков бельгийского льва, похожего больше на пуделя в нанковых панталончиках и в сопровождении неизбежной

надписи: «Verkoopt men dranken».^[27] Назавтра к вечеру Тибурций гулял уже в Брюсселе по Магдаленштрассе, взбирался на Огородный холм, любовался витражами церкви св. Гудулы и каланчой ратуши, озирая не без тревоги всех проходящих женщин.

Он встретил несметное множество негритянок, мулаток, квартеронков, метисок, полуиндианок-полунегритянок, женщин с желтой, медной, зеленой и палевой кожей, но ни одной блондинки; будь в Брюсселе пожарче, Тибурций подумал бы, что попал в Севилью; сходство было полное, вплоть до черных мантилий.

Однако, вернувшись в свою гостиницу на Золотой улице, он заметил девушку с темно-каштановыми волосами, правда, не красивую, зато на другой день у королевского дворца увидел огненно-рыжую англичанку в светло-зеленых ботинках на шнурках; но она была худа, как лягушка, просидевшая полгода в банке, исполняя обязанности барометра, так что никак не соответствовала рубенсовскому идеалу женщины.

Увидев, что в Брюсселе водятся только «смуглогрудые андалузки», — впрочем, это явление вполне объяснимо испанским владычеством, долго тяготевшим над Нидерландами, — Тибурций решил направиться в Антверпен; он рассудил, и в этом был свой резон, что присущие кисти Рубенса и воссоздаваемые им с таким постоянством женские типы должны часто встречаться в его родном и любимом городе.

Стало быть, он отправился на станцию железной дороги, соединяющей Брюссель с Антверпеном. Паровому коню уже задали его черного овса, он нетерпеливо фыркал и с пронзительным свистом выбрасывал из огненных ноздрей густые клубы белого пара вперемешку с фонтаном искр. Тибурций занял положенное ему место в купе, оказавшись в обществе пяти валлонцев, застывших в своих креслах, словно монахи на капитуле, и поезд тронулся. Сначала он шел с умеренной скоростью, пожалуй, не быстрее почтовой кареты — по десяти франков за прогон; но немного погодя конь разгорячился и помчался с бешеной быстротой. Придорожные тополя, справа и слева от рельс, убегали назад, точно стремительно отступающая армия, очертания местности еле виднелись сквозь заволакивающую их серую дымку; проносились мимо черные полосы земли с будто вкрапленными в них золотыми и синими звездочками сурепки и

полевых маков; время от времени в разрыве клубящихся туч возникал тонкий силуэт колокольни и сразу же пропадал, будто корабельная мачта в бурном море; в глубине палисадников мелькали нежно-розовые или желтовато-зеленые ресторанчики, увитые гирляндами дикого винограда или плюща; то тут, то там вспыхивали слепящим блеском, словно зеркала в ловушках для жаворонков, небольшие болотца, окаймленные коричневой тиной. А чугунное чудовище, клокоча кипящей водой, дышало все громче, хрипело, словно кашалот, страдающий одышкой, его литые бока покрылись горячей испариной. Казалось, оно жалуется, что его заставляют мчаться с такой безумной быстротой, и просит пощады у своих закопченных ямщиков, которые непрестанно подгоняют его, подсыпая лопатами торф. Но вот послышался стук буферов и лязг цепей: приехали!

Тибурций выскочил и пустился бегом куда глаза глядят, метнулся налево, потом направо, точно кролик, которого вдруг выпустили из клетки, и зашагал по первой же открывшейся перед ним улице; затем свернул в другую, третью и отважно углубился в самое сердце старого города, ища Светлокудрую с пылом, достойным странствующего рыцаря былых времен.

Он увидел множество разноцветных домов — мышино-серых, канареечно-желтых, светло-зеленых, сиреневых, со ступенчатыми черепичными крышами «лесенкой», с витыми коньками, с волнистым орнаментом на рустике входа, с кряжистыми колоннами в четырехугольных браслетах, подобно колоннам Люксембургского дворца, с окнами в стиле Ренессанс, забранными сетчатой свинцовой решеткой, с маскаронами, с резными балками и несчетным количеством примечательных архитектурных деталей, которыми он при других обстоятельствах несомненно бы восхищался; он окидывал рассеянным взглядом раскрашенных мадонн, статуи Христа, несущие фонари на перекрестках, деревянные или восковые фигуры святых с их мишурной сусальной благостью — все эти эмблемы католицизма, кажущиеся такими странными обитателям наших вольтерьянских городов. Он был поглощен одним: глаза его искали за бурыми, закопченными стеклами окон хотя б ненароком мелькнувший светлый женский образ, доброе, спокойное лицо брабантки, розовеющее, как свежий персик, и улыбающееся в ореоле золотых волос. Но на глаза ему попадались только старухи, вязавшие кружева, читавшие

молитвенник либо притаившиеся в углах комнаты, чтобы следить исподтишка за редким прохожим, отражающимся в их «шпионе» или в полированном стальном шарике, подвешенном под потолком.

Улицы были пустынные и безмолвны, безмолвнее даже, чем улицы Венеции; единственным звуком, нарушавшим тишину, был бой курантов, звонивших на все лады в различных церквах не менее двадцати минут подряд; мостовая, с проросшей сквозь камни травой, как бывает в опустелых домах, говорила о том, что прохожие здесь встречаются редко и немногочисленны. Порой какие-то скромницы, закутанные в темные фландрские шелка, ниспадающие тяжелыми складками, крадучись проходили мимо, стараясь держаться поближе к домам, будто боязливые ласточки, летающие над самой землей; иногда за такой женщиной шел мальчик, неся на руках собачку. Тибурций ускорял шаг, чтобы разглядеть их лица, затененные капюшонами, и тогда его взору открывались худые, бледные физиономии с поджатыми губами, с темными подглазьями, с ханжеским подбородком, с тонким, подозрительно приплюснутым носом, — поистине физиономии римских богомолок или испанских дуэний; пыл Тибурция сразу сникал, когда он встречался глазами с их мертвым взглядом, с глазами вареной рыбы.

Так, идя от перекрестка до перекрестка, от одной улицы до другой, Тибурций в конце концов вышел на набережную Эско через ворота порта. У него вырвался крик изумления перед великолепным зрелищем: огромное скопление мачт на реке, рей и корабельных снастей казалось лесом, потерявшим листву и превратившимся в нагой древесный скелет. Бушприты и рей привычно прилегли верхушками на парпет, будто лошади, кладущие голову на холку своей соседки по упряжке; здесь были голландские косатки, крутобокие, с красными парусами; американские бриги, остроносые и черные, с тонкими, как шелковые нити, снастями; норвежские коффы цвета семги, от которых пахнет душистой, свежестроганной сосной; шаланды, быстроходные рыбацьи лодки, бретонские «солеторговцы», английские «угольщики», — суда из всех частей света. То была неопиcуемая смесь запахов — копченой сельди, табака, прогорклого сала, дегтя, — сдобренная пряными ароматами судов, прибывших из Батавии с грузом перца, корицы, имбиря, кошенили; от всего этого в воздухе

носились густые испарения, напоминающие дым громадной курильницы, в которой курят фимиам во славу торговли.

В надежде найти истинно фламандский и национальный тип среди простонародья, Тибурций заходил в таверны и кофейни; там он пил брюссельское и белое лувенское пиво, крепкий ламбик, эль, портер, виски, чтобы заодно познакомиться и с северным Бахусом. Испробовал он и сигары, различных сортов, ел семгу, Sauerkraut,^[28] тушеный картофель, кровавый ростбиф и вкусил всех местных удовольствий.

За обедом к его столику подошли какие-то немки с пышными формами, черномазые, как цыганки, в коротеньких юбочках и эльзасских чепцах, и жалобно пропищали заунывную Lied,^[29] аккомпанируя себе на скрипке и других режущих слух инструментах. Белокурая Германия, словно в издевку над Тибурцием, была покрыта особенно густым загаром; взбешенный, он швырнул им горсть сентов, за что и поплатился: его отблагодарили новой Lied, притом еще более пронзительной и душераздирающей, чем первая.

Вечером он ходил по всевозможным «музико» смотреть, как танцуют матросы со своими возлюбленными; у всех этих женщин были восхитительные волосы, иссиня-черные и блестящие, как вороново крыло; одна из них, прехорошенькая креолка, под села даже к Тибурцию, без стеснения пригубила его бокал, по местному обычаю, и попыталась завести с ним разговор, изъясняясь на чистейшем испанском языке, ибо родилась в Гаване; у нее были такие бархатные черные глаза на бледном лице такого теплого, золотистого тона, такая маленькая ножка, такая тонкая талия, что Тибурций, разозлившись, послал ее ко всем чертям, чем очень удивил бедное создание, не привыкшее к подобному обращению.

Обнаружив полную бесчувственность к смуглым прелестям танцовщиц «музико», Тибурций вернулся в свою гостиницу «Герб Брабанта». Чрезвычайно недовольный, он разделся и, запеленавшись в меру своих сил в камчатные скатерти, которые во Фландрии служат простынями, сразу заснул сном праведника.

И приснились ему самые золотокудрые сны на свете.

К нему с полуночным визитом явились нимфы и аллегорические фигуры из галереи Медичи, изысканнейшим образом полураздетые; они нежно смотрели на него большими лазоревыми глазами; яркие

губы, рдевшие, будто алые цветы на молочно-белых, круглых и пухлых личиках, улыбались ему необычайно ласково. Одна из гостей, nereida с картины «Путешествие королевы», позволила себе даже вольность, — провела своими узкими, окрашенными в карминный цвет пальцами по волосам изнемогшего от страсти сновидца.

Обвивавшая стан nereidy узорчатая парча искусно скрывала уродство бедер, которые были покрыты чешуей и переходили в раздвоенный хвост; белокурые волосы nereidy украшал венец из водорослей и кораллов, как и подобает дочери моря; она была прелестна в этом наряде. В воздухе, пронизанном светом, стайками парили толстощекие и румяные, как розаны, младенцы, поддерживая ручонками гирлянды нестерпимо ярких цветов, струивших с неба на землю дождь благовоний. По знаку nereidy нимфы встали в два ряда, друг против друга, и сплели из своих длинных волос золотую сетку, похожую на гамак, для счастливца Тибуция и его возлюбленной с рыбьими плавниками; они легли в этот гамак, и нимфы качали их, склоняя головы то в одну, то в другую сторону, в неизъяснимо сладостном ритме.

Вдруг раздался резкий, отрывистый стук, золотые нити распались, и Тибуций рухнул наземь. Он открыл глаза и увидел над собой какую-то страшную бронзовую маску, глядевшую на него в упор эмалевыми глазами, в которых видны были только белки.

— Mein Herr, ^[30] вот ваш завтрак, — сказала старуха негритянка, прислуживавшая в гостинице, и поставила на столик-одноножку подле Тибуция поднос с тарелками и серебряными блюдами.

— Видали? Стало быть, за блондинками надо было ехать в Африку, — пробормотал Тибуций, уныло принимаясь за свой бифштекс.

ГЛАВА II

Откушав не без приятности, Тибурций вышел из гостиницы «Герб Брабанта» с добросовестным и похвальным намерением продолжать поиски идеала. Но, как и накануне, ему не посчастливилось; навстречу, как нарочно, со всех улиц стекались смуглые маски иронии, бросая ему притворные и насмешливые улыбки; перед ним продефилировали Индия, Африка, Америка, представленные более или менее меднолицыми экземплярами; впору было подумать, что почтенный город, проведав о замысле Тибурция, решил над ним подшутить и запрятал в глубине самых непроходимых задних дворов и за самыми непроницаемо-мутными оконцами тех своих дочерей, которые могли бы вблизи или издали напомнить образы Иорданса и Рубенса; скупясь на золото, он расточал черное дерево.

Взбешенный этим безмолвным издевательством, Тибурций бежал от него в музеи и картинные галереи. Фламандский Олимп вновь засиял перед его глазами. Каскады волос снова струили рыжеватые мелкие волны с трепещущими в них крупинками золота и света; плечи аллегорических фигур вновь ожили перед ним, блистая своей серебристой белизной ярче прежнего; лазурь глаз стала еще прозрачней, щеки цвели румянцем, походя на пучки гвоздик; розовая дымка сделала теплее голубоватый тон колен, локтей и пальцев всех этих белокурых богинь; глянцевого, будто муарового, блики, алые отблески света скользили, играя, по породным, округлым телам; под дыханьем невидимого ветра вздувались синевато-серые мантии, взлетали ввысь, в лазоревую мглу; свежая и плотская поэзия Нидерландов открылась во всей своей сути нашему восторженному страннику.

Но он не мог довольствоваться лицезрением красавиц на полотнах. Он приехал за живым, реальным типом женщины. Уже довольно давно духовной пищей ему служила поэзия слова и красок, и он мог бы заметить, что общение с абстракциями не слишком питательно. Разумеется, куда проще было бы остаться в Париже и влюбиться, как все, в хорошенькую, или даже некрасивую, женщину; но Тибурций не понимал Человека в подлиннике, поэтому читал его

только в переводах. Он очень тонко разбирался во всех разновидностях людей, воссоздаваемых в творениях великих мастеров, но, встретив прототипы этих людей на улице или в обществе, он бы их не заметил; словом, будь он художником, он рисовал бы заставки к стихам поэтов; будь он поэтом, он писал бы стихи о картинах художников. Искусство покорило его, когда он был еще совсем молод, оно его испортило и исковеркало; при наших чрезмерно утонченных нравах, когда мы чаще соприкасаемся с произведениями рук человеческих, чем с созданиями природы, такие характеры распространены гораздо больше, чем принято думать.

У Тибурция мелькнула мысль — не войти ли в сделку с совестью, и он высказал такое подловатое и вероотступническое соображение:

— А ведь каштановый цвет волос тоже недурен...

Он посмел даже признаться, — предатель он эдакий, негодяй, бессовестный человек! — что черные глаза, живые и искрящиеся, бывают очень хороши. Правда, нужно сказать в его оправдание, что он обрыскал — и притом без малейшего результата — целый город, население которого он имел все основания считать почти поголовно белокурый. Ему позволительно было немного и приуныть.

Но в ту минуту, когда он мысленно произносил эти кощунственные слова, навстречу ему, из-под мантильи, блеснул пленительный синий взор и исчез, точно блуждающий огонек, за углом, у площади Меир.

Тибурций ускорил шаг, но ничего не увидел; перед ним простиралась во всю свою длину пустынная улица. Мимолетное видение скользнуло, вероятно, в один из соседних домов или скрылось в каком-нибудь неведомом проулке; разочарованный своей неудачей, Тибурций обозрел колодезь, украшенный железными волютами, которые ковал художник-кузнец Квентин Метсю, затем с горя решил осмотреть собор; собор оказался сверху донизу выкрашен клеевой краской омерзительного канареечного цвета. К счастью, деревянная резная кафедра работы Вербрюггена с орнаментом в виде ветвей, густо усыпанных птицами, белками, распутившими хвост веером индюками, со всем этим чрезмерным зоологическим великолепием, окружавшим Адама и Еву в земном раю, искупала изяществом своей конструкции и совершенством деталей все остальное, измаранное клеевой краской; к счастью, гербы знатных фамилий, картины Отто

Вениуса, Рубенса и Ван-Дейка несколько скрадывали эту омерзительную окраску, столь милую буржуазии и духовенству.

На плитах каменного пола, поодаль друг от друга, стояли на коленях молящиеся бегинки; но в пылу благочестия они так низко склонялись над своими молитвенниками с красным обрезом, что было трудно различить их черты. Впрочем, святость места и ветхозаветный облик богомолков отняли у Тибурация охоту продолжать свои изыскания.

Пять-шесть англичан разглядывали картины, еще не отдышавшись после подъема и спуска по четыремстам семидесяти ступенькам лестницы на колокольню, во все времена года заснеженную стаями белых голубей, отчего она напоминает альпийскую горную вершину; лишь вполуха внимая ученым разглагольствованиям чичероне, англичане искали в своих путеводителях имя названного художника, дабы по ошибке не восхититься не тем, чем следует, и перед каждым холстом повторяли с неколебимым хладнокровием:

— It is a very fine exhibition. ^[31]

У них были квадратные лица, а внушительное расстояние между носом и подбородком свидетельствовало о чистоте расы этих британцев. Их спутница оказалась той самой англичанкой, которую Тибурация видел подле королевского дворца; она была в тех же зеленых ботинках на шнурках и все в тех же рыжих буклях. Разуверившись в светлокудрости Фландрии, Тибурация чуть-чуть не послал англичанке испепеляюще-пламенный взгляд; но тут ему, очень кстати, пришли на память водевильные куплеты о коварном Альбионе.

В честь этих посетителей, столь явно британских, что каждое их движение сопровождалось звоном гиней, причетник распахнул створки, за которыми три четверти года скрываются два чудесных творения Рубенса: «Воздвижение креста» и «Снятие с креста».

«Воздвижение креста» — произведение совсем особое; когда Рубенс его писал, он бредил Микеланджело. Рисунок здесь резкий, размашистый, яростно-выразительный, в духе римской школы; напряжены все мускулы, вырисовывается каждая кость, каждый хрящ, сквозь гранитное тело проступают стальные жилы. Это уже не тот радостный багрянец, которым антверпенский художник беспечно кропит свои бесчисленные творения, это итальянский бистр,

рыжевато-бурый, предельно густой; палачи Христа — великаны со слоновыми телами, тигриными мордами, по-звериному жестокие; даже на самого Христа распространяется эта гиперболизация; он скорее напоминает Милона Кротонского, которого вздернули на дыбу его соперники-атлеты, чем бога, добровольно пожертвовавшего собою во искупление человечества. Фламандского тут ничего нет, разве что лающий в углу картины большой снейдеровский пес.

Когда же отворились створки, прикрывающие «Снятие с креста», у ослепленного Тибурция закружилась голова, будто он заглянул в зияющую бездну света: прекрасный лик Магдалины победоносно сверкал в океане золота, и казалось, глаза ее пронизывают лучами свинцовый и мглистый воздух, сочившийся сквозь узкие готические окна. Все вокруг куда-то пропало, воцарилась полная пустота; квадратные англичане, красноволосая англичанка, фиолетовый причетник — ничего этого он уже не замечал.

Этот увиденный им лик был для Тибурция откровением свыше; с глаз его словно пелена спала, он стоял лицом к лицу со своей затаенной мечтою, со своей невысказанной надеждой; неуловимый образ, за которым он гонялся со всей страстью влюбленного воображенья и частицу которого ему удавалось заметить лишь мельком — то профиль, то краешек платья, тотчас исчезающие, — своевольная и жестокая химера, чьи беспокойные крылья всегда наготове, — была здесь, не убегала больше, недвижная в сиянии своей красоты. Великий мастер скопировал образ предчувствуемой и желанной возлюбленной, таимый в сердце Тибурция; Тибурцию казалось, что он сам написал эту картину; рука гения уверенно и четко нарисовала то, что у него было только неясным наброском, и облекла в лучезарные краски смутную мечту о неведомом. Тибурций узнавал это лицо, хотя никогда его не видел.

Он стоял, безмолвный, ушедший в себя, бесчувственный, как в столбняке, не мигая, погрузив взгляд в бездонный взор великой и раскаявшейся грешницы.

Ступня Христа бескровно-белая, чистая и матовая, как церковная облатка, безжизненно и вяло, со всей реальностью смерти, лежала на золотистом плече святой, точно на скамеечке из слоновой кости, которую великий мастер подставил трупку бога, снимаемому с древа искупления. Тибурций позавидовал Христу: чтобы испытать такое

счастье, он бы принял любую муку. Утишить его зависть не могла и синеватая белизна мертвого тела. И он был глубоко уязвлен тем, что Магдалина не обратила на него свой лучистый и ясный взор, в котором переливались алмазы света и жемчуга скорби; исступленное и скорбное упорство этого взгляда, окутывавшего тело возлюбленного саваном нежности, казалось Тибурцию оскорбительным, высочайшей несправедливостью. Он так хотел бы, чтоб она чуть заметным движением дала ему понять, что тронута его любовью. Он уже забыл, что стоит перед картиной — столь быстро страсть готова поверить, что пыл ее разделяют даже предметы, неспособные его ощутить. Когда статуя, изваянная Пигмалионом, не ответила ему лаской на ласку, он, наверное, изумился и нашел, что это очень странно; не меньше был сражен холодностью своей нарисованной красавицы и Тибурций.

Коленопреклоненная, в атласном зеленом платье, ниспадавшем широкими, пышными складками, она не отрывала глаз от Христа с каким-то скорбным сладострастьем, точно любовница, жаждущая вдосталь наглядеться на обожаемое лицо, которое ей нельзя будет больше увидеть; пряди рассыпавшихся волос окаймляли блестящей бахромой ее плечи; случайно заблудший солнечный луч озарил теплую белизну шейной косынки и бледно-палевый мрамор рук; в его мерцающем свете чудилось, что грудь ее вздымается и трепещет, как живая; из глаз Магдалины капали слезы и скатывались по щекам, будто настоящие.

Тибурцию померещилось вдруг, что она встает и сходит с холста.

Но внезапно настала тьма: видение померкло.

Англичане ушли, сказав: «Very well, a pretty picture»,^[32] — и причетник, которому надоело ждать, пока Тибурций оторвется от картины, затворил створки и потребовал положенной платы. Тибурций отдал ему все, что было у него в кармане; влюбленные щедры с дуэньями, а антверпенский причетник был дуэньей Магдалины, и Тибурций, помышляя уже о следующем свидании, очень хотел заручиться его благосклонностью.

Ни исполинский святой Христофор, ни отшельник с фонарем, написанные на внешней стороне створок, хоть это и значительные произведения искусства, никак не могли утешить Тибурция, когда перед ним заперли ослепительное святилище, где гений Рубенса сверкает, как дароносица, усыпанная драгоценными камнями.

Он вышел из церкви, ужаленный в самое сердце зазубренной стрелой неутолимой любви; он обрел наконец страсть, которую искал, но совершаемый им грех нес в себе и возмездие; он слишком страстно любил живопись, он был осужден любить картину. Природа, покинутая им ради искусства, жестоко отомстила; даже самый робкий влюбленный, находясь рядом с самой добродетельной женщиной, всегда сохраняет в уголке сердца тайную надежду; Тибурций же был уверен в неодолимости своей возлюбленной и твердо знал, что никогда не будет счастлив; поэтому его страсть была истинной, была страстью необычайной, нелепой и способной на все; а главное, она блистала полнейшим бескорыстием.

Но не будем потешаться над любовью Тибурция, — разве мы мало встречали людей, страстно влюбленных в женщину, которую они видели только в раме театральной ложи и которой они никогда не сказали ни слова, чей голос, даже тембр его, они никогда не узнали бы? Разве эти люди разумнее нашего героя, и может ли их неосязаемый идол сравниться с Магдалиной Антверпенской?

Тибурций ходил с загадочным и гордым видом, словно любовник после первого свидания. Его приятно удивляла острота этого ощущения, — он, воспринимавший все в жизни только мозгом, сейчас почувствовал, что у него есть сердце; это было ново: вот почему он целиком отдался обаянию этого, еще не испытанного впечатления; живая женщина его бы так не волновала. Неестественного человека может взволновать только явление неестественное; они гармонируют друг с другом, истинно жизненное было бы ему несозвучно. Тибурций, как мы уже говорили, много читал, много видел, много думал и мало чувствовал; его увлечения были чисто головными, и ниже галстука страсть его почти никогда не опускалась; но на этот раз он был влюблен по-настоящему, как школяр; ослепительный образ Магдалины реял перед ним, расплываясь радужными пятнами, как будто Тибурций смотрел на солнце; мельчайшая складочка, самая незаметная деталь запечатлелись в его памяти, картина неотступно стояла перед его глазами. Он всерьез обдумывал способы оживить эту бесчувственную красавицу и заставить ее выйти из рамы; он вспомнил Прометея, который похитил небесный огонь, чтобы одухотворить свои безжизненные творенья; Пигмалиона, нашедшего способ придать нежность и теплоту мрамору; он додумался до того, что решил

погрузиться в бездонный океан оккультных наук и открыть такое чудотворное средство, которое оживило бы и одело плотью этот призрак жизни. Он бредил наяву, он просто спятил: вам, разумеется, ясно, что он был влюблен.

А разве вас самих, если даже вы не доходили до такого исступления, разве вас не охватывало чувство невыразимой грусти в галерее старинных мастеров при мысли, что красавиц, изображенных на их картинах, уже более нет? Разве вам не хотелось вернуть к жизни все эти бледные и безмолвные образы, которые как будто о чем-то печально мечтают на позеленевшем ультрамарине или на угольно-черном фоне? Эти искристые глаза, переливающиеся живым блеском под флером ветхости, были написаны с натуры, с какой-нибудь юной принцессы или прекрасной куртизанки, от которых не осталось уже ничего, ни крупинки праха; эти губы, приоткрывшиеся в нарисованной улыбке, напоминают о живых улыбках, навсегда отлетевших. А ведь правда же, какая жалость, что рафаэлевские, корреджиевские, тициановские женщины — всего лишь бесплотные тени! И почему модели этих мастеров не получили право на бессмертие, как их творения? Сераль самого сладострастного султана померк бы перед тем, который можно было бы составить из портретов одалисок, и, право, жаль, что столько красавиц потеряно навсегда.

Каждый день Тибурций ходил в собор и самозабвенно созерцал свою возлюбленную Магдалину и каждый вечер уходил оттуда печальный, влюбленный и безумный — пуще прежнего.

Не раз бывало, что, и не питая любви к картинам, человек с благородным сердцем испытывал такие же страдания, как и наш друг, потому что хотел вдохнуть свою душу в свою угрюмую богиню, которая была только призрачным подобием жизни и понимала внушенную ею страсть не больше, чем написанная маслом фигура.

Вооружившись сильным биноклем, наш влюбленный изучил свою красавицу вплоть до самых неуловимых особенностей письма ее творца. Он любовался тонкостью грунтовки, прочностью и мягкостью красок, мощностью мазка и силой рисунка, как иной любит бархатистой кожей и цветущим телом любовницы; якобы оттого, что ему хочется поближе рассмотреть работу Рубенса, он выпросил у своего приятеля-причетника лестницу и, трепеща от любви, коснулся дерзкой рукой плеча Магдалины. Он изумился, ощутив под пальцами не мягкое,

нежное тело женщины, а жесткую, шершавую, как терка, поверхность, которую вдоль и поперек исходила, оставив рубцы и вмятины, буйная кисть неистового мастера. Тибурций был очень огорчен этим открытием, но, едва спустился на пол, снова оказался во власти иллюзии.

Две недели с лишком провел Тибурций в таком состоянии высокой одержимости, простирая истомленные руки к своей химере, моля небо о чуде. В минуты просветления он смирялся и ходил по городу, ища ту, которая своим обликом хоть сколько-нибудь приближалась к его идеалу, но поиски ни к чему не приводили, потому что нелегко, блуждая по улицам и городским паркам, найти такую жемчужину.

И все же однажды вечером на углу площади Меир он снова встретил пленительно синий взор, о котором мы уже рассказывали: на этот раз видение скрылось не так быстро, и Тибурций успел увидеть прелестное лицо, обрамленное густыми светлыми волосами, и ясную улыбку на несравненно свежих устах. Она ускорила шаг, когда почувствовала, что кто-то идет за ней следом, однако Тибурцию удалось, держась на некотором расстоянии, заметить, что она остановилась перед очень милым стареньким фламандским домиком, бедным, но добропорядочным с виду. Отворили ей не сразу, и она, движимая, конечно же, бессознательным женским кокетством, на секунду оглянулась, чтобы посмотреть, не отпугнула ли она незнакомца, заставив его проделать столь длинный путь. И Тибурций, в каком-то мгновенном провидении совершенства, вдруг понял, что она поразительно похожа на Магдалину.

ГЛАВА III

Дом, в который вошла стройная женская фигурка, носил на себе отпечаток чисто патриархального, фламандского простодушия; он был коричневато-розовый, с белыми полосками вдоль швов каменной кладки; конек на крыше с уступами по краям, образующими лестницы, слуховые окошки с волютами; импост над входной дверью, на котором с поистине допотопной безыскусственностью изображены были похождения Ноя, ставшего посмешищем для своих сыновей; гнездо аиста; голуби, чистившие перышки на солнце, — все это довершало характерную наружность домика, как две капли воды похожего на одно из тех строений, что так часто встречаются на картинах Ван-дер-Гейдена или Тенирса.

Шаловливо выющиеся зеленые плети хмеля скрашивали общий вид этого жилища, которое могло бы показаться слишком чинным и слишком опрятным. Нижние окна огораживала полукруглая решетка, а на двух первых оконных рамах висели квадратные тюлевые занавески, густо расшитые, на брюссельский манер, пышными букетами цветов; в промежутке между дугою решетки и окном красовались два горшка из китайского фаянса с чахлыми, явно больными гвоздиками, как ни заботилась о них хозяйка, ибо это, верно, она, чтобы поддержать никнущие головки, придумала подпорки для них из игральных карт и довольно сложное устройство, похожее на крохотные строительные леса, из ивовых прутьев. Тибурций приметил эту деталь, которая говорила о безгрешной и скромной жизни — настоящей поэме юности и чистоты.

Он прождал два часа, однако прекрасная Магдалина с синим взором больше не появилась, из чего он и заключил вполне резонно, что она здесь живет; так оно и было; оставалось всего лишь знать ее имя, завязать знакомство и заслужить ее любовь — сущие пустяки. Записному ловласу понадобилось бы на это минут пять; но наш славный Тибурций был не ловлас, напротив: дерзал в мечтах, робел, когда требовалось приступить к делу. Способность переходить от общего к частному у него совершенно отсутствовала, и в любовных делах он до крайности нуждался в честном Пандаре, который

выхвалял бы его достоинства и устраивал бы ему свидания. Но уж если Тибурций разойдется, он мог быть и красноречив; декламировал довольно смело томные тирады и играл роль влюбленного не хуже, чем провинциальный первый любовник; вот только, в отличие от Пти-Жана, выступавшего обвинителем пса Ситрона, самое трудное для него было — начать.

А посему мы вынуждены признаться, что бедняга Тибурций плавал в пучине неизвестности и, чтобы приблизиться к своей богине, сочинял один за другим разные стратегические планы, хитроумнее стратагем Полибия. И не придумал ничего лучшего, чем поджечь дом, подобно Клеофасу из «Хромого беса», дабы таким путем получить возможность вынести свою инфанту из пламени и засвидетельствовать перед ней свою отвагу и преданность; потом все же он сообразил, что любой пожарный, более привычный бегать по горящим стропилам, его опередит, да к тому же такой способ знакомиться с хорошенькой женщиной предусмотрен Уголовным кодексом.

А пока, в чаянье лучшего, он постарался запечатлеть в своей памяти расположение дома, посмотрел название улицы и вернулся в гостиницу довольный, так как ему показалось, что за окном, затянутым вышитым тюлем, смутно виднеется прелестный силуэт незнакомки и маленькая ручка приподняла край прозрачной ткани; наверное, девушка хотела проверить, стоит ли он все еще с бескорыстным упорством, как часовой, на углу пустынной антверпенской улицы, без надежды на смену караула. Но, может быть, Тибурций возомнил о себе, и это был просто приятный мираж, какой случается видеть близоруким, когда они принимают тряпки, висящие на оконной раме, за покрывало Джульетты, наклонившейся к Ромео, а горшки с левкоями — за принцесс в платьях из золотой парчи? Так или иначе, он ушел оттуда ликующий, считая себя неотразимым соблазнителем. Хозяйка «Герба Брабанта» и ее чернокожая служанка были изумлены его величием, поистине гамилькаровским, и лихостью тамбурмажора. Необычайно решительно закулив сигару, он сел и, заложив ногу на ногу, стал помахивать ночкой туфлей с великолепным пренебрежением к окружающему, как и полагается человеку, который глубоко презирает всю вселенную и познал радости, недоступные черни: он нашел наконец Светлокудрую. Таким счастливым не

чувствовал себя и Ясон, снимая с заколдованного дерева чудесное руно.

Герой наш находится в положении, которое можно назвать наилучшим из возможных: в зубах у него настоящая гаванская сигара, на ногах — ночные туфли, на столе — бутылка рейнвейна, газета за прошлую неделю и прелестное пиратское издание стихов Альфреда де Мюссе.

Он может выпить стакан, а то и два токайского, почитать «Намуну» или рецензию на последний балет; оставив его ненадолго в одиночестве, мы не погрешим против вежливости: мы сделали все, чтобы он не соскучился, если только влюбленный способен скучать. Вернемся же без него, — потому что это не тот человек, перед которым там распахнут двери, — к маленькому домику на улице Кипдорп, и мы берем на себя обязанность ввести вас в этот круг. Мы покажем вам ту часть дома, которая находится за расшитой занавеской нижнего окна, так как прежде всего должны вам поведать, что героиня этой повести живет в нижнем этаже и носит имя Гретхен — имя, хоть и не столь благозвучное, как Этельвина или Азелия, но приятное для немецкого или нидерландского уха.

Войдите, тщательно вытерев ноги, ибо здесь деспотически властвует фламандская опрятность. Во Фландрии моют лицо только раз в неделю, зато полы моют горячей водой и скоблят добела дважды в день. Паркет в коридоре, как и в остальном доме, сделан из некрашенных сосновых досочек, сохранивших присущий им оттенок, и никакая мастика не мешает видеть их длинные бледные жилки и сучки, похожие на маленькие звезды; он слегка посыпан морским, тщательно просеянным песком, отчего нога чувствует себя устойчиво и оступиться здесь не так легко, как в наших гостиных, где подчас не ходишь, а скользишь, будто по льду. Комната Гретхен — направо, вот дверь скромного серого цвета, ее медная, начищенная трепелем ручка горит, как золотая, вытрите еще раз подошвы об этот соломенный половик, — сам император не вошел бы сюда в грязных сапогах.

Присмотритесь к убранству этого милого, тихого жилища; ничто здесь не режет глаз; все здесь спокойно, строго, неброско. Даже в комнате самой Маргариты на вас не пахнёт такой целомудренной печалью; от каждой мелочи, пленительно чистой, веет безмятежной невинностью.

Стены коричневого тона, до половины обшитые дубовыми панелями, голы, их единственное украшение — мадонна из раскрашенного гипса, одетая, как кукла, в настоящее платье, в атласных башмачках, в венке из камышинок, в ожерелье из стекляшек; перед нею стоят две вазочки с искусственными цветами. В глубине комнаты, в том углу, где царит сумрак, возвышается старинная кровать со столбиками, поддерживающими зеленый саржевый балдахин с крупными фестонами, обшитыми желтой тесьмой; у изголовья — Христос, нижняя часть распятия переходит в чашу для свяченой воды, а сам он раскинул руки из слоновой кости, будто оберегая сон чистого создания. Старинный шкаф стоит против света и сияет, как зеркало, так тщательно он отполирован; стол с гнутыми ножками, заваленный клубками ниток, катушками и всеми принадлежностями кружевного промысла; большое кресло, крытое штофом, несколько стульев со спинками в стиле Людовика XIII, какие мы видим на старинных гравюрах Абрахама Босса, — таково убранство этой комнаты, обставленной с почти пуританской простотой.

И все же мы должны добавить, что Гретхен, хоть она и разумница, позволила себе такую роскошь, как венецианское граненое зеркало в оправе из черного дерева с медными инкрустациями. Правда, чтобы очистить от скверны этот предмет соблазна, за раму зеркала заткнули веточку самшита, окропленную святой водой.

Вообразите сейчас Гретхен: вот она сидит в большом штофном кресле, поставив ноги на расшитую ею самую скамеечку, и плетет своими пальцами феи, петля за петлей, тончайшую вязь начатого кружева; на склоненной над работой хорошенькой головке играют бесчисленные мимолетные отблески и серебрят своим воздушным легким мерцаньем прозрачную тень, в которую она погружена; нежное цветение юности одело бархатистым пушком ее щеки, чуточку слишком по-голландски пышущие здоровьем, — погасить их румянец не может даже светотень; свет, скупно пропускаемый верхними створками окон, падает только на верхнюю часть ее лба, отливающую шелком, и заставляет сверкать волнистые прядки, выбившиеся из-под гребня, похожие на золотых змеек. Озарите тонким лучом света карниз и шкаф, положите по солнечной блеске на каждый оловянный кувшин, пожелтите слегка Христа, примните чересчур прямые, топорщащиеся складки полога, подмешайте коричневой краски к

мертвенной — по-современному — белизне тюлевых занавесок, поместите в глубине комнаты старуху Барбару, вооруженную метлой, сосредоточьте свет на головке, на руках девушки и вы получите фламандскую живопись времен ее расцвета, полотно, на котором не отказался бы поставить свою подпись Тербург или Гаспар Нетчер.

Как непохоже это жилище, такое ясное, чистое, такое понятное, на комнату молодой француженки, где вперемешку валяются тряпки, нотная бумага, начатые акварели, где каждая вещь не на месте, где прямо на спинках стульев висят смятые платья и кошка когтями доискивается да сути романа, забытого на полу!

А здесь как прозрачна хрустальная вода, в которой стоит полурасцветшая роза! Какое белоснежное белье, как светится это стекло! Ни пылинки в воздухе, ни соринки на полу.

Метсю, который писал в беседке, выстроенной посреди пруда, чтобы ничто не могло загрязнить краски, работал бы без опасения в комнате Гретхен. Здесь даже чугунная доска внутри камина блестит, как серебряный барельеф.

Но теперь нам становится страшно: а та ли это героиня, которая предназначена нашему герою? Взаправду ли Гретхен — идеал Тибурция? Не слишком ли все это мелкотравчато, буржуазно, прозаично? Может, это скорее голландский, нежели фламандский тип женщины, и скажите, положи руку на сердце, разве вы думаете, что модели Рубенса были такие? А не были ли они, в сущности, веселые бабы, краснощекие, пышнотелые, могучего здоровья, разухабистые и простонародные, и гений художника преобразил их пошлую натуру? Великие мастера частенько устраивают нам такие фортели. Ничем не примечательный вид они превращают в прелестный пейзаж; отвратительную служанку в Венеру; они воспроизводят не то, что видят, а то, что желают увидеть.

Однако Гретхен, хоть она и милей и нежней, действительно очень похожа на Магдалину из собора Антверпенской богородицы, и фантазия Тибурция может остановить на ней свой выбор, не рискуя его разочаровать. Едва ли найдет он нечто более великолепное, чтобы одеть плотью призрак своей музейной возлюбленной.

А теперь, когда вы так же хорошо, как мы сами, узнали Гретхен и ее комнату — птичку и ее гнездо, — вы, конечно, хотите услышать подробности о ее жизни и положении. Нет ничего на свете проще ее

истории: Гретхен — дочь небогатого купца, который разорился, она осиротела несколько лет назад; живет она с Барбарой, старой верной служанкой, на маленькую ренту — остатки отцовского наследства — и на доход от своего труда; а так как Гретхен носит платья и кружева своей работы и слывет, даже среди фламандцев, чудом домовитости и опрятности, то и может, хоть она всего лишь простая работница, одеваться довольно изящно и внешне почти не отличается от дочерей буржуа: на ней тонкое белье, чепчики ее всегда поражают своей безукоризненной белизной, а ее шнурованные башмачки шил лучший в городе сапожник, потому что, — мы вынуждены в этом сознаться, даже если эта подробность и не понравится Тибурцию, — у Гретхен ножка андалузской графини, а стало быть, Гретхен и обувь носит графскую. Кроме того, она хорошо воспитанная девушка, умеет читать, премило пишет, может по-всякому вышивать, не знает соперниц в рукоделии и не играет на фортепиано. Зато, добавим мы, у нее удивительный талант печь грушевые торты и сдобные пироги, готовить карпа в вине, потому что она считает за честь, как все хорошие хозяйки, понимать толк в стряпне, и мастерица готовить по особым рецептам всевозможные изысканные лакомства.

Эти подробности, наверное, покажутся не слишком аристократическими, но наша героиня не титулованная дама из дипломатического круга, не обворожительная тридцатилетняя женщина, не модная певица. Она всего-навсего простая работница с улицы Кипдорп, что у крепостного вала, в Антверпене; но так как, на наш взгляд, истинным мерилom благородного происхождения женщин служит их красота, то Гретхен равна по рангу герцогине, пользующейся «правом табурета», а ее шестнадцать лет мы зчтем ей за шестнадцать колен родословной.

В каком состоянии ее сердце? Да в самом подходящем: она никого еще не любила, кроме палевых голубок, золотых рыбок и других совершенно невинных зверюшек, которые не вызвали бы тревогу даже в самом свирепом ревнивце. Каждое воскресенье вместе с Барбарой, несущей за нею молитвенник, она ходит в своем строгом платье из фландрского шелка к большой обедне в церковь ордена иезуитов, потом возвращается домой и перелистывает Библию, «где показан Бог-отец в императорском облачении», и в тысячный раз восхищается украшающими ее гравюрами по дереву. Если погода хорошая, Гретхен

гуляет у форта Лилло или у Тет-де-Фландр со своей сверстницей, тоже кружевницей; в будни она почти не выходит из дому, разве что отнесет свою работу; да и то чаще всего это делает Барбара. В более теплом климате шестнадцатилетняя девушка, никогда и не помышлявшая о любви, была бы чем-то невероятным, но воздух Фландрии, перегруженный пресными испарениями каналов, плохая среда для бацилл сладострастия: цветы здесь расцветают поздно и вырастают крупные, пышные, мясистые; их густой, влажный аромат похож на запах ароматических настоек; фрукты — водянистые; земля и небо, насыщенные влагой, посылают друг другу клубы пара, поглотить который сами они не могут, а солнце тщетно пытается выпить своими бледными губами; женщинам, погруженным, точно в ванну, в этот туман, не трудно быть добродетельными, потому что, как сказал Байрон, солнце — шельма, оно великий соблазнитель и одержало больше побед, чем Дон-Жуан.

Итак, не удивительно, что ей в столь высоконравственном климате была чужда всякая мысль о любви — даже в форме брака, в законной и дозволенной форме. Она никогда не читала плохих романов, да и хороших тоже; у нее нет никаких родственников мужского пола, ни кузенов, ни свойственников. Счастливец Тибурций! Впрочем, матросы с короткими прокуренными трубками, капитаны дальнего плавания, не знающие, чем занять свой досуг, почтенные негоцианты, которые являются на биржу, чтобы мановением бровей изменить соотношение цифр, — все они, чьи силуэты мельком отражаются в «шпионе» Гретхен, когда они проходят мимо ее дома, — все они не способны воспламенить воображение.

Признаемся все же, что, несмотря на свою девичью неопытность, кружевница обратила внимание на Тибурция, как на благовоспитанного юношу с приятной внешностью; она несколько раз видела его в соборе, когда он стоял, замерев, перед «Снятием с креста», и объясняла его экстаз благочестием, высоко поучительным в молодом человеке. Не переставая мотать нитки, она думала о незнакомце, встреченном на площади Меир, и предавалась невинным мечтам. Однажды под впечатлением этой встречи она встала и как-то вдруг, незаметно для себя, очутилась перед зеркалом и долго в него гляделась; она рассматривала себя анфас, в три четверти, со всех сторон, открыла, что кожа у нее — и это истинная правда —

шелковистой папиросной бумаги, нежней лепестков камелии; что глаза у нее синие и удивительно прозрачные, что зубы у нее чудесные и рот, как персик, а белокурые волосы на редкость удачного оттенка. Она впервые заметила, что молода и хороша. Она вынула из изящного хрустального бокала белую розу, и воткнула себе в волосы, и улыбнулась, увидев, как красит ее этот простой цветок: так родилось кокетство, вскоре за ним придет и любовь.

Но мы уже очень давно расстались с Тибурцием; что-то он там подделывает в гостинице «Герб Брабанта», пока мы сообщаем вам эти сведения о кружевнице?

Он написал что-то на очень красивой бумаге, — должно быть, объяснение в любви, если только это не вызов на дуэль, измаранные и исчерканные вдоль и поперек листки, валяющиеся на полу, свидетельствуют, что это материал, потребовавший очень большой правки и крайне важный. Покончив с ним, Тибурций накинул плащ и отправился снова на улицу Кипдорп.

Лампа Гретхен, звезда мира и труда, мягко светила за окном, и на прозрачный тюль падала тень склоненной девушки, терпеливо трудившейся над своим нескончаемым рукоделием. Тибурций, волнуясь, точно вор, который вот-вот отомкнет сундук с сокровищами, подкрался к решетке у окна, просунул руку между прутьями и воткнул уголок вниз в рыхлую землю в горшке с гвоздиками свое письмо, сложенное втрое; он надеялся, что Гретхен заметит его утром, когда отворит окно, чтобы полить цветы.

Сделав свое дело, он скрылся так тихо, словно башмаки у него были подбиты войлоком.

ГЛАВА IV

Голубой и юный свет утра заставил померкнуть болезненно-желтые огни догорающих фонарей; от Эско шел пар, как от загнанной лошади, и сквозь разрывы в тумане уже сочилась заря, когда распахнулось окно Гретхен. Глаза у нее были заспанные, и узор, оттиснутый на нежной щеке — след от смятой подушки — свидетельствовал, что она всю ночь спала в своей девичьей кровати на одном и том же боку, сном без просыпа, секрет которого известен только молодости. Торопясь посмотреть, как провели ночь ее милые гвоздики, она накинула на себя что попало под руку; этот грациозный и целомудренный беспорядок был ей удивительно к лицу, и если образу богини не противоречит маленький чепчик, отделанный мехельнскими кружевами, и белый бумазеевый пеньюар, то мы скажем вам, что Гретхен походила на Аврору, «приоткрывшую врата Востока»; может быть это сравнение слишком высокое для простой кружевницы, которая поливает свой сад, помещающийся в двух фаянсовых горшках; но право же, Аврора была не так свежа и румяна, как Гретхен, особенно Аврора Фландрская, — у нее всегда под глазами легкая синева.

Вооруженная большим графином, Гретхен собралась было полить свои гвоздики, и на горячее объяснение Тибурция чуть-чуть не хлынул карающий потоп из графина с холодной водой; но Гретхен заметила что-то белое, выдернула из земли письмо и, узнав его содержание, изумилась. Оно содержало только два предложения, одно на французском, другое на немецком языке; французское предложение состояло из двух слов: «Люблю тебя», а немецкое из трех: «Ich liebe dich», — что на обоих языках означает совершенно одно и то же. Тибурций сделал это на случай, если Гретхен знает только свой родной язык; как видите, он был на редкость предусмотрительный человек!

А ведь правда же, стоило, пожалуй, измарать больше бумаги, чем уходило у Малерба на одну строфу, и выпить для вдохновения бутылку превосходного токайского, чтобы в итоге прийти к этой остроумной и новой мысли. Что ж! Несмотря на свою кажущуюся простоту, письмо Тибурция, может статься, было шедевром коварного расчета, если

только оно не было глупостью, что пока еще возможно. И все-таки, разве это не изумительно ловкий прием, уронить вот так, будто каплю расплавленного свинца, в ее безмятежную душу, одно-единственное слово «люблю»? И разве, когда оно туда упадет, в ее душе не возникнут, как на озерной глади, сотни отблесков и кругов, расходящихся вдаль?

Да и, в сущности, что главное во всех самых пламенных любовных посланиях? Что остается от всех этих пузырей страсти, когда вскрыешь их ланцетом разума? Все красноречие Сен-Прё сводится к одному слову, и Тибурций действительно достиг наибольшей глубины, сконцентрировав в этом коротком предложении цветистую риторику черновиков своего письма.

Он не подписался; впрочем, что сказало бы ей его имя? Он был чужой в ее городе, да и сам не знал имени Гретхен, и, правду сказать, это мало его заботило, — так было романтичней, загадочней. При самой скудной фантазии на этом можно было построить двадцать томов *in octavo* более или менее правдоподобных решений задачи. Кто он? Сильф, чистый дух, влюбленный ангел, красивый капитан, сын банкира, юный лорд, пэр Англии и обладатель миллионной ренты? Русский боярин с фамилией, кончающейся на «ов», с изрядным количеством рублей и уймой мехов? Вот какие важные вопросы неизбежно должна была вызвать эта столь лаконично-красноречивая записка. Обращение на «ты», дозволенное только с Богом, было признаком сильной страсти, — ее-то Тибурций и не испытывал, — но оно могло как нельзя лучше воздействовать на душу девушки, ведь гипербола всегда кажется женщинам правдоподобнее правды.

Гретхен, ни секунды не колеблясь, решила, что автор записки — юноша, встретившийся ей на площади Меир; в таких вещах женщины никогда не ошибаются, у них есть инстинкт, изумительное чутье, заменяющее им знание света и страстей. Самая большая скромница знает в этом толк лучше Дон-Жуана с его списком побед.

Мы изобразили нашу героиню как очень наивную, очень неопытную и очень порядочную девушку, и все же мы вынуждены признаться, что она не ощутила того добродетельного негодования, какое должна чувствовать женщина, получив записку на двух языках, являющуюся прямым нарушением правил приличия. Пожалуй, она ощутила удовольствие, и по ее лицу прошло легкое розовое облачко.

Письмо это было для нее своего рода аттестатом красоты; оно внушало уверенность в себе, поднимало на новую, высшую ступень; это был первый взгляд, проникший в ее скромное, неизвестное существование; никто доньше не искал руки Гретхен, — мешало ее небогатое приданое. Прежде ее считали ребенком, теперь Тибурций возвел ее в сан юной и прекрасной девушки, за это она была ему благодарна, как должна быть благодарна жемчужина водолазу, нашедшему ее в створках грубой раковины под темным плащом океана.

Когда же это первое ощущение прошло, у Гретхен возникло чувство, хорошо знакомое каждому, кто в детстве воспитывался в строгости и никогда не имел никаких тайн; письмо тяготило ее, давило, как каменная плита, она не знала, что с ним делать. Ей казалось, что у себя в комнате она не найдет такого укромного уголка, таких надежных тайников, где можно укрыть его от людских глаз; она сунула его в шкаф под горку белья, но через несколько минут вынула оттуда; письмо излучало свет сквозь стенки шкафа, как гомункул доктора Фауста на офорте Рембрандта. Гретхен решила найти другое, более безопасное место: Барбаре может понадобится в шкафу полотенце или простыня, и она обнаружит письмо. Гретхен стала на стул и положила письмо на выступ балдахина; листок бумаги жег ей руку, как раскаленное железо.

Вошла Барбара, чтобы прибрать в комнате. Гретхен как ни в чем не бывало села на свое обычное место и принялась за начатую накануне работу; но едва Барбара делала шаг к кровати, с Гретхен творилось что-то ужасное — кровь стучала в виски, на лбу от страха выступала испарина, пальцы путались в нитках, и будто невидимая рука сжимала ей сердце. Ей казалось, что у Барбары встревоженный и подозрительный взгляд, какой ей совсем не свойствен. Наконец старуха взяла корзинку и отправилась за покупками. Бедная Гретхен вздохнула с облегчением и переложила письмо к себе в карман, но и там оно ее мучило; ее пугало шуршанье бумаги, и она спрятала записку на груди, — ведь именно там помещают женщины все, что нельзя показать. Корсаж — это шкаф без замка, хранилище для цветов, подаренных на память локонов, медальонов и чувствительных посланий; это своего рода ящик для писем, в который опускают всю корреспонденцию сердца.

Почему же Гретхен не сожгла этот ничтожный клочок бумаги, внушавший ей такой безмерный ужас? Да прежде всего потому, что Гретхен никогда еще в жизни не испытывала такого жгуче захватывающего чувства, — испуг и радость одновременно; а кроме того, скажите, пожалуйста, почему любовники так упорно не хотят уничтожить письма, которые позднее могут их выдать и погубить? Потому что письмо есть зримая душа; потому что страсть пронизала своим электрическим током этот жалкий листок бумаги и сообщила ему жизнь. Сжечь письмо — значит убить чей-то внутренний мир; в пепле уничтоженной переписки всегда есть какие-то частицы двух душ.

Гретхен, стало быть, спрятала это письмо за корсаж, рядом с золотым крестиком, который очень удивился столь близкому соседству с любовной запиской.

Как хорошо воспитанный молодой человек, Тибурций ждал, пока его признание окажет свое действие. Он не подавал признаков жизни и не показывался на улице Кипдорп. Гретхен стала уже беспокоиться, когда вдруг в одно прекрасное утро заметила между решеткой и окном роскошный букет заморских цветов. Это Тибурций мимоходом забросил свою визитную карточку.

Букет доставил большую радость юной кружевнице, она уже свыклась с мыслью о Тибурции и втайне была уязвлена, что после такого бурного начала он не торопится продолжать: она унесла к себе этот сноп цветов, налила водою прелестную вазу саксонского фарфора с синим узором, развязала стебли цветов и поставила букет в воду, чтобы подольше сохранялся. И тут-то впервые в жизни она солгала, сказала Барбаре, что букет подарила ей дама, которая постоянно заказывает Гретхен кружева и знает, как она любит цветы.

Днем Тибурций занял свой пост перед домом, прикинувшись, что срисовывает какие-то любопытные архитектурные детали; в этой позиции он пробыл очень долго, усердно царапая тупым рисовальным карандашом по злосчастному листку пергамента.

Теперь уже Гретхен, в свой черед, не подавала признаков жизни; ни одна складка на шторах не шевельнулась, не приоткрылось ни одно окошко, — дом будто заснул. Притаившись в углу, она могла вволю разглядывать Тибурция в своем «шпионе». Она увидела, что он высок и строен, что все в нем отмечено печатью особого благородства, что

черты у него правильные, глаза грустные и добрые, и меланхолический вид, а это особенно тронуло Гретхен, которая очень уж привыкла к пышущему здоровьем румянцу брабантских лиц. Впрочем, Тибурций, хоть и не числился ни светским львом, ни модным щеголем, не лишен был природного изящества и такой неискушенной девушке, как Гретхен, не мог не показаться образцом элегантности; на Гентском бульваре в Париже он выглядел бы разве что сносно, на улице Кипдорп он был неотразим.

Поздно ночью Гретхен не утерпела и совсем по-детски вскочила и босиком побежала смотреть на свой букет; она зарылась лицом в самую гущу цветов и поцеловала Тибурция в алые губы роскошного георгина; в самозабвении она окунулась с головой в пестрые волны этого цветочного душа, смакуя каждый глоток его пьянящих ароматов, вдыхая их полной грудью, так что замирало сердце и сами собой закрывались глаза. Когда она выпрямилась, брызги на ее щеках блестели, как мелкий жемчуг, а хорошенький носик, перепачканный золотистой цветочной пылью, был мил до невозможности и очень красивого желтого цвета. Она, смеясь, отерла лицо, легла в постель и заснула; вы, конечно, догадываетесь, что во всех сновиденьях той ночи неизменно присутствовал Тибурций.

А что меж тем поделявает Магдалина рубенсовского «Снятия с креста»? Она по-прежнему царит, не зная соперниц, в сердце нашего юного энтузиаста; у нее есть одно преимущество перед живыми женщинами, самыми красивыми: любовь к ней неутолима, в ней нельзя обмануться, ею нельзя пресытиться! Она не разочарует пошлым или нелепым словом; она здесь, недвижимая, свято сохраняющая совершенство линий, в которые замкнул ее великий мастер, уверенная, что будет прекрасной вечно, и повествующая миру на своем безгласном языке о мечте высокого гения.

Молоденькая работница с улицы Кипдорп, бесспорно, прелестное создание; но линиям ее рук далеко до совершенства рук Магдалины, до этих округлых и мягких контуров, до этой покоряющей силы в сочетании с грацией! Как хрупки еще ее девичьи плечи! Как бледно золото ее кудрей по сравнению с причудливым богатством тонов, которыми Рубенс утеплит сверкающий каскад волос святой грешницы!

Такие речи держал перед самым собою Тибурций, гуляя по набережной Эско.

Однако, раз уж его любовные похождения в живописи не увенчались успехом, он отчитал себя как самый здравомыслящий человек на свете, за такое неслыханное безумие. И вернулся к мысли о Гретхен, правда, с глубоким вздохом сожаления; он не любил ее, но она, по крайней мере, напоминала ему его мечту, как иногда черты дочери напоминают черты ее покойной матери, которую вы когда-то боготворили.

Не будем входить в подробности этой любовной истории, их легко вообразит каждый.

Случай, этот великий сводник, предоставил нашим влюбленным естественную возможность заговорить друг с другом. Гретхен гуляла, как обычно, с подружкой в Тет-де-Фландр, на другом берегу реки. Они ловили бабочек, сплетали венки из васильков, скатывались кубарем со стогов сена, да так усердно, что не заметили, как настал вечер и паромщик пустился в последний обратный рейс. Вот они и стояли, порядком испуганные, у самой кромки воды и изо всех сил кричали, зовя перевозчика. Но шалый ветер относил в сторону их серебристые голоса, и отвечал им только жалобный лепет волны, набегающей на песок. К счастью, у берега на парусной лодке лавировал Тибурций; он услышал их зов и предложил себя в качестве перевозчика. Подружка Гретхен ухватила за это предложение, не обратив внимания на ее смущенный вид и вспыхнувшие щеки. Тибурций проводил Гретхен домой и догадался устроить прогулку на лодке в следующее воскресенье с согласия Барбары, которую очень расположили к Тибурцию его хождения по церквам и благоговейное чувство к «Снятию с креста».

Тибурцию почти не пришлось преодолевать сопротивление Гретхен. Она была настолько чиста, что не защищалась, ибо не ведала, что против нее готовится наступление; к тому же она ведь полюбила Тибурция; хоть разговаривать с ним было очень весело и он обо всем отзывался с иронической беззаботностью, она чутьем распознала в нем несчастного человека, а врожденное призвание женщины — быть утешительницей; страдание манит их, как жаворонков — зеркало.

И все же, как ни предупредительно, как ни нежно относился к ней молодой француз, она чувствовала, что владеет им не безраздельно, что в его душе есть тайники, куда ей нет доступа. Казалось, он одержим одною высокой и сокровенной мыслью, и видно было, что он

часто уносится в какой-то неведомый мир. Но едва его фантазия невольно расправляла крылья и взмывала ввысь, она ударялась о потолок, точно пленная птица, рвущаяся в небесную синь. Бывало, он часами рассматривал Гретхен со странной пристальностью, и лицо его то выражало удовольствие, то омрачалось. Он смотрел на нее не взглядом любовника. Его поведение было необъяснимо для Гретхен, но она верила в честность Тибурция и потому не тревожилась.

Оттого что Тибурцию якобы трудно произносить имя Гретхен, он перекрестил ее в Магдалину, а она охотно это позволила, — была тайная сладость в том, что любовник называет ее этим загадочным и особенным именем, будто она для него какая-то иная женщина. При этом он частенько наведывался в собор, распаляя свою призрачную страсть бесплодным созерцанием; в такие дни за жестокосердие Магдалины наказывалась Гретхен: реальность расплачивалась за идеал. Тибурций смотрел тучей, скучал и наводил скуку, а Гретхен, добрая душа, объясняла это его больными нервами или тем, что он утомлен — слишком много читает.

Но ведь Гретхен очаровательная девушка и достойна любви такая, как есть! Во всей Фландрии, Брабанте и Генегау вы не сыщете никого белей и румяней Гретхен, не увидите ни у кого таких изумительных золотых волос; рука у нее узкая и округлая, с ногтями, как розовый агат, — настоящая ручка принцессы, и — достоинство, редко встречающееся на родине Рубенса, — маленькая ножка.

Ах, Тибурций, Тибурций! Вы хотите замкнуть в кольцо объятий идеал во плоти, целовать химеру в губы, — берегитесь! У химер, несмотря на высокую грудь, лебединые крылья и светозарную улыбку, — острые зубы и хорошо отточенные когти. Злодейки высосут чистую кровь вашего сердца и бросят вас, опустошенного и выжатого как губка. Откажитесь от ваших необузданных желаний, не пытайтесь заставить мраморные статуи сойти с пьедестала и не взывайте с мольбой к немым полотнам: все ваши художники и поэты страдали тем же недугом, что и вы; они хотели создать свой особый мир внутри мира божьего. С помощью мрамора, цвета и ритма они выразили и запечатлели свою мечту о красоте: их произведения — не портреты женщин, которыми они обладали, а тех, которыми они желали бы обладать; не ищите же напрасно их модели на земле. Преподнесите еще один букет Гретхен, такой прекрасной и доброй; предоставьте

мертвецов и призраков их участи и постарайтесь жить жизнью этого мира.

ГЛАВА V

Да, Тибурций, как ни удивительно это вам покажется, Гретхен гораздо выше вас. Она не читала поэтов, и даже имя Гомера или Вергилия ей неизвестно; вся ее литература — это жалостные истории о Вечном Жиде, Генриетте и Дамоне, с грубо раскрашенными лубочными картинками да латинские тексты молитвенника, которые она добросовестно читает по складам каждое воскресенье; Виргиния в своем раю с магнолиями и миртом знала едва ли больше.

Спору нет, вы великий знаток в литературе. Вы постигли всю суть эстетики, философической мистики, пластики, архитектоники и поэтики; столь блистательный список познаний, оканчивающихся на «ика», не в состоянии предъявить даже Марфуриус и Панкрас. Вы проглотили все, — от Орфея и Ликофрона до последнего тома Ламартина, — что когда-либо слагалось в чеканные метры, замыкалось рифмами и выливалось в строфы всех существующих форм; ни один роман не ускользнул от вашего внимания. Вы исходили из конца в конец весь огромный мир воображения; вы знаете всех художников от Андреа Рико Критского и Бидзамано до Энгра и Делакруа; вы изучали красоту по чистейшим ее первоисточникам: барельефы Эгины, фризы Парфенона, этрусские вазы, священные изваяния Египта, греческое и римское искусство, готику и Возрождение; вы все анализировали, досконально все исследовали; вы стали чем-то вроде барышника в вопросах красоты, с которым художники советуются о выборе натурщицы, как покупатель лошади советуется с берейтором. Конечно, никто лучше вас не разбирается в женских статях; в этом вы поспорите с афинским ваятелем; но, всецело отдавшись поэзии, вы отлучили себя от природы, мира и жизни. Любовницы были для вас картинками, более или менее удачными; ваша любовь к ним дозировалась по шкале — Тициан, Буше или Ванлоо, но вас никогда не волновала мысль: а может, под этой внешней оболочкой трепещет и бьется что-то живое? Горе и радость, хоть у вас и доброе сердце, вам кажутся гримасами, нарушающими гармоническое спокойствие линии, женщина для вас только теплая статуя.

Ах, бедный мальчик, бросьте ваши книги в огонь, порвите ваши гравюры, разбейте ваши гипсовые копии, забудьте Рафаэля, забудьте Гомера, забудьте Фидия, если у вас не хватает мужества взять в руки кисть, перо или резец; что толку в этом бесплодном любовании? К чему приведут эти безумные стремления? Не требуйте от жизни больше, чем она может дать. Только великие гении имеют право быть недовольными мирозданием. Они могут выдержать взгляд сфинкса, потому что разгадывают его загадки. Но вы не великий гений; будьте же чисты сердцем, любите ту, что вас любит, и, как говорит Жан-Поль, не требуйте ни луны с неба, ни гондолы на Лаго-Маджоре, ни свидания в Изола-Белла.

Сделайтесь адвокатом-филантропом или привратником, стремитесь стать избирателем в своем квартале и капралом в своей роте; добейтесь того, что люди называют положением в обществе, будьте порядочным буржуа. Но, конечно же, при одном этом слове ваши длинные волосы становятся дыбом от омерзения, ведь вы гнушаетесь буржуа, как немецкий бурш — филистеров, военный — «шпаков», а брамин — париев. Вы относитесь с невыразимым убийственным презрением к каждому добропорядочному купцу, который предпочитает водевильный куплет терциям Данте и гладкопись модных портретистов микеланджеловскому этюду тела с обнаженными мускулами. По-вашему такой субъект ниже животного, тогда как он принадлежит к тем буржуа, чья душа (а у них есть душа) исполнена поэзии, кто способен самоотверженно любить, кто испытывает чувства, на которые не способны вы, у кого мозг убил сердце.

Взгляните на Гретхен, которая всю свою жизнь только и делала, что холила свои гвоздики и плела кружева; она в тысячу раз поэтичней, чем вы, господин «артист», выражаясь по-современному; она верит, надеется, ей даны улыбка и слезы; одно ваше слово может вызвать и солнце и дождь на ее милом лице; вот она сидит в большом штофном кресле у окна, освещенная печальным сумеречным светом, выполняя свой поденный урок; но как напряженно работает ее юная головка! Как кипит воображение! Что за воздушные замки оно строит и рушит! Вот она то краснеет, то бледнеет, ее бросает то в жар, то в холод, словно влюбленную из старинной оды; кружева выпадают из ее рук, она услышала шаги на плитах тротуара, она отличит их от тысячи

других благодаря той остроте восприятия, которую дает нашим чувствам страсть; хоть вы и явились в условленный час, вас ждут уже давно. Целый день ее мысль была занята только вами, она спрашивала себя: «Где он сейчас? Что делает? Думает ли обо мне, как я о нем? Может, он болен, вчера мне показалось, что он бледен, не такой, как всегда; он уходил печальный, озабоченный; не случилось ли что? Может, он получил из Парижа дурные вести?» О многом еще спрашивала она себя, обо всем, о чем в минуту бескорыстной тревоги спрашивают себя любящие.

Эта бедная девочка, такая щедрая сердцем, сделала вас центром своего бытия, она живет только вами и ради вас. Ее душа, послушная чудесному таинству воплощения любви, обитает в вашем теле, ее дух нисходит на вас, ваш частый гость; если бы над вашей грудью занесли клинок, она заслонила бы вас собою, удар шпаги, поразивший вас, был бы смертелен для нее. А вы пользуетесь ею как игрушкой, превратили в марионетку, покорную вашему воображению. И эту великую любовь вы заслужили двумя-тремя нежными взглядами, несколькими букетами и пылко продекламированными банальными тирадами из романа. Истинно любящему это, быть может, не удалось бы; увы! для того, чтобы нас полюбили, мы должны не любить. Хладнокровнейшим образом вы навсегда замутили ясную гладь этой скромной жизни. Да, маэстро Тибурций, поклонник Светлокудрой и хулитель всяческой буржуазности, вы поистине содеяли зло; к сожалению, мы вынуждены вам это сказать.

Гретхен не была счастлива; она догадывалась, что между нею и возлюбленным стоит невидимая соперница, она ревновала. Она начала следить за Тибурцием и убедилась, что он бывает только у себя в гостинице «Герб Брабанта» и в соборе на площади Меир. Она успокоилась.

Как-то раз она спросила:

— Чем это вам приглянулась святая Магдалина, та, что поддерживает тело Спасителя на картине «Снятие с креста»? Отчего вы всегда ходите на нее смотреть?

— Оттого, что она на тебя похожа, — ответил Тибурций.

Гретхен покраснела от радости и подбежала к зеркалу проверить, верно ли это; и увидела, что у нее такие же исполненные внутреннего

сияния глаза с поволокой, белокурые волосы, выпуклый лоб и весь склад лица, как у святой Магдалины.

— Так вы потому и зовете меня Магдалиной, а не Гретхен или Маргаритой, как меня взаправду зовут?

— Именно потому, — смутившись, ответил Тибурций.

— Никогда бы не подумала, что я такая красивая, — сказала Гретхен, — и я ужасно рада, ведь тогда я буду нравиться вам еще больше.

На некоторое время к ней вернулось душевное спокойствие, и мы должны признать, что Тибурций честно старался побороть свою сумасбродную страсть. Он испугался при мысли, что может стать мономаном, и, чтобы разделаться с этим наваждением, решил уехать в Париж.

Перед отъездом он в последний раз пошел в собор и велел своему приятелю-причетнику отворить створки, скрывающие «Снятие с креста».

Ему показалось, что Магдалина сегодня особенно грустна, что лицо у нее заплакано больше обычного; крупные слезы текли по ее побледневшим щекам, губы судорожно кривились в сдерживаемом рыдании, под страдальческими глазами легла синева, светлые волосы не золотил больше солнечный луч, и вся ее поза выражала отчаяние, бессилие, будто она потеряла веру в воскресение возлюбленного. И правда, сегодня в фигуре Христа преобладали такие мертвенно-бледные, зеленоватые тона, что невероятной казалась мысль, будто в эту разложившуюся плоть может когда-нибудь возвратиться жизнь. Это опасение разделяли все остальные участники «Снятия с креста»; взор их померк, лица были угрюмы, венцы над их головами светились свинцовым, тусклым блеском; картину, еще недавно пленявшую своими теплыми красками и жизненной мощью, окутала все обесцвечивающая пелена смерти.

Тибурция поразило новое, безысходно скорбное выражение лица Магдалины, и его решимость уехать поколебалась. Он предпочел объяснить перемену в ней таинственной симпатией душ, но только не игрой света. А день выдался ненастный, дождь тонкой сеткой заштриховал небо, и сквозь окна, которые заливал водой и хлестал крылом налетевший ветер, еле проникала тонкая полоска света,

влажная от дождя и тумана; но это объяснение было чересчур правдоподобно, Тибурций не мог его принять.

— Ах, как бы я тебя любил, будь ты сейчас жива! — вполголоса произнес он так кстати пришедший ему на память стих одного из наших молодых поэтов. — Почему ты только неосязаемая тень, навсегда прикованная к ткани этого холста, заключенная под тонким слоем лака? Почему ты только безжизненное подобие жизни? Что проку в твоей красоте, благородстве, величии, зачем горит в твоих очах огонь любви земной и небесной, к чему этот сияющий нимб раскаяния, когда ты всего лишь некая толика масла и красок, особым образом наложенная на холст? Обожаемая, прекрасная, обрати на меня хоть на миг свой так мягко сияющий и все же пронзительный взор! Ты, познавшая грех, сжалась над страстью безумца, разве не любовь открыла тебе врата в царство небесное? Выйди из рамы, встань во весь рост, шелестя шелком своей длинной зеленой юбки, — ведь ты так давно стоишь на коленях перед этой высочайшей из виселиц; святые жены и без тебя уберегут его тело, хватит и их, чтобы бдеть над покойником.

Приди, приди, Магдалина, ты еще не расточила всех благовоний у ног владыки небесного, на дне ониксовой вазы еще есть достаточно нарда и коричневого масла, чтоб вернуть прежний блеск твоим волосам, посеревшим от пепла в дни покаяния. И, как некогда, у тебя будут вновь ожерелья из разноцветного жемчуга, пажии-арапчата, покрывала из сидонского пурпура. Приди, Магдалина, и пускай ты мертва уже два тысячелетия, мне достанет и юного жара, и страсти, чтобы оживить твой прах! О призрак красоты, дай обнять тебя хоть на миг, а там пускай умру!

Сдавленный стон, слабый и нежный, как жалоба раненной насмерть голубки, печально отозвался под сводами. Тибурций подумал, что это ответила ему Магдалина.

Но то была Гретхен; спрятавшись за колонной, она все видела, все слышала, все поняла. Что-то в сердце ее оборвалось, — он не любил ее.

Вечером Тибурций пришел к ней бледный, изнеможенный. Гретхен была бела как воск. Утреннее потрясение смело с ее щек румянец, словно пыльцу с крыльев бабочки.

— Завтра я еду в Париж. Поедешь со мною?

— И в Париж и куда угодно, куда пожелаете, — ответила Гретхен. Казалось, в ней вовсе угасла сила воли. — Разве я не буду несчастна везде?

Тибурций вскинул на нее глаза, взгляд их был ясен и пронизателен.

— Приходите завтра утром, я буду готова; я отдала вам сердце и жизнь, располагайте же вашей служанкой.

Она пошла с Тибурцием в «Герб Брабанта» помочь ему собраться в путь. Сложив его книги, белье и гравюры, она вернулась домой в свою комнатку на улице Кипдорп и, не раздеваясь, бросилась на кровать.

Ее охватила неодолимая тоска, и все вокруг печалилось вместе с нею; увяли цветы в синих стеклянных вазочках, напоминающих рог изобилия, потрескивала и мигала лампа, бросая бледные, неверные отсветы; Христос из слоновой кости скорбно понурил голову, а священный самшит походил на кипарисовую ветвь, вынутую из кропильницы.

Маленькая богородица, обитавшая в этой маленькой комнате, как-то странно посматривала на Гретхен своими эмалевыми глазами, а буря, упершись коленом в стекло, ломилась в окна так, что стонали и хрустели свинцовые переплеты рам.

Вся мебель, даже самая тяжеловесная, вся домашняя утварь, даже самая мелкая, выражали ей сочувствие и согласие с ней, жалобно скрипели и уныло позвякивали.

Кресло протягивало ей свои мягкие праздные ручки; вьющийся хмель дружески помахивал зеленой лапкой сквозь разбитое стекло; в золе погасшего очага всхлипывал, заливаясь слезами, котелок; смялись и обвисли складки полога над кроватью; вся комната будто понимала, что теряет свою молодую хозяйку.

Гретхен позвала плачущую Барбару, вручила своей старой служанке ключи и бумаги, дававшие ей право на небольшую ренту, затем отворила клетку и выпустила на волю своих палевых горлиц.

На другой день она уехала с Тибурцием в Париж.

ГЛАВА VI

Жилище Тибурция изумило юную фламандку, привыкшую к нерушимому укладу жизни и фламандской аккуратности; здесь это сочетание роскоши с полным небрежением противоречило всем ее понятиям. Так, на дрянной колченогий стол было наброшено ярко-розовое бархатное покрывало; на великолепных подсвечниках, отвечавших самому изысканному вкусу, которые не испортили бы ансамбль в будуаре любовницы короля, были жалкие розетки из простого стекла, полопавшиеся от огня, потому что свечи сгорали дотла; китайский кувшин изумительного фарфора и необыкновенно дорогой пнули однажды в бок, а потом, чтобы соединить его звездообразные черепки, наложили на них швы из железной проволоки; очень редкие гравюры, иногда из первых оттисков, еще без подписи мастера, были приколоты к стене булавками; голову античной Венеры украшал фригийский колпак, а на стульях и полках навалом лежала всякая всячина: турецкие трубки, кальяны, кинжалы, ятаганы, китайские башмачки, остроносые индийские туфли без задников.

Как добрая хозяйка, Гретхен не успокоилась до тех пор, пока все это не было вычищено, развешано, надписано; подобно Творцу, извлекающему мир из хаоса, она извлекла из всей этой мешанины прелестную квартиру. Тибурцию сперва было нелегко с этим освоиться, он привык к заведенному им беспорядку и безошибочно находил вещи там, где им не положено находиться, но в конце концов он смирился. Вещи, которые он перекладывал, возвращались на свои места, как по волшебству. Впервые в жизни он понял, что такое уют. Как все люди, живущие воображением, он пренебрегал мелочами. Дверь в его комнату, раззолоченная и расписанная арабесками, не была утеплена; как настоящего дикаря, — а он таким и был, — его привлекала роскошь, а не комфорт; живи он на Востоке, он носил бы парчовый кафтан на подкладке из дерюги.

И все же хоть ему нравилось так жить — по-людски и разумно, — на него частенько находила хандра; тогда он целыми днями не вставал с дивана, обложившись с обеих боков подушками, упорно храня молчанье, закрыв глаза, свесив руки; Гретхен не смела ни о чем

спрашивать — так боялась она услышать его ответ. Сцена в соборе врезалась в память, оставив болезненные, неизгладимые рубцы.

Он все еще помнил Магдалину Антверпенскую, — разлука сделала ее еще прекрасней: она стояла перед его глазами, как светозарное видение. Незримое солнце пронизывало ее волосы золотыми лучами, изумрудно-прозрачным стало платье, белизною паросского мрамора сияли плечи. Слезы ее высохли, цветущей юностью веяло от ее бархатистых, алых щек. Казалось, она больше не скорбит о смерти Христа и будто нехотя поддерживает его посинелую ногу, повернув голову к своему земному возлюбленному.

Образ святой утратил строгость очертаний, линии стали более округлыми и зыбкими; сквозь обличье кающейся проглянула грешница; косынка ее небрежней лежала на плечах, и в том, как падали складки ее юбки, было что-то соблазнительное и суетное; руки Магдалины влюбленно тянулись ему навстречу, словно вот-вот сомкнут объятья вокруг своей вождевающей жертвы. Великая святая превращалась в куртизанку, становилась искусительницей. Если бы Тибурций жил в другом, более легковерном веке, он усмотрел бы в этом темные козни того, кто бродит вокруг *quaerens quem devoret*; ^[33] он вообразил бы, что попал в лапы к дьяволу, что он заклят и заколдован по всем правилам ведовства.

Отчего же Тибурций, которого любит прелестная девушка с умом простодушным, но с умным сердцем, прекрасная, чистая, юная, обладающая всеми дарами истинными, ибо дарует их только Бог и приобрести их никому не дано, — отчего же Тибурций упрямо гоняется за пустой химерой, за несбыточной мечтой, почему его разум, столь ясный и сильный, мог поддаться этому мороку? А ведь такое случается всякий день; разве каждого из нас когда-нибудь не любило втайне чье-то смиренное сердце, а мы домогались другой любви, более блистательной? Разве нам не случалось растоптать мимоходом бледную, робко благоухающую фиалку, засмотревшись на сверкающую холодным блеском звезду, бросавшую нам насмешливый взгляд из глубины бесконечности? Разве бездна не манит и нас не чарует невозможное?

Однажды Тибурций вошел к Гретхен со свертком. В нем оказались зеленая атласная юбка и корсаж, какие носили в незапамятные времена, блузка старинного покроя и нитка крупного жемчуга. Он

попросил Гретхен надеть этот наряд — который, конечно же, будет ей необыкновенно к лицу — и принять его в подарок. Все это он объяснил тем, что очень любит костюмы XVI века, и если она согласится выполнить его каприз, она доставит ему несказанное удовольствие. Вы легко можете себе представить, что молодая девушка не заставит дважды просить себя примерить новое платье; Гретхен тотчас же переоделась, и, когда она вышла в гостиную, у Тибурция вырвался крик изумления и восторга.

Он только нашел нужным несколько изменить ее прическу, вынул гребень из волос Гретхен и распустил их так, что они крупными локонами падали на ее плечи, как у рубенсовской Магдалины. Затем он иначе расположил складки юбки, ослабил шнуровку на корсаже, немного примял слишком туго накрахмаленный ворот блузки и, отступив на несколько шагов назад, оглядел свое творение.

Вам, без сомнения, случалось видеть на каком-нибудь спектакле с дивертисментом так называемые *живые картины*. Для этого отбирают самых красивых актрис театра, одевают в особые костюмы и располагают на сцене таким образом, чтобы весь ансамбль воссоздавал какое-либо известное произведение живописи; так вот Тибурций создал шедевр в этом жанре, — вы бы сказали, что это фрагмент картины Рубенса.

Гретхен вздрогнула.

— Не шевелись, ты все испортишь, ты так хороша в этой позе! — взмолился Тибурций.

Бедная девочка повиновалась и несколько минут стояла неподвижно. Когда же она повернула голову, Тибурций увидел ее залитое слезами лицо.

Он понял, что она все знает.

Гретхен плакала неслышно, слезы текли по ее щекам, не искажая лица, сами собой падали, как жемчуга из глаз, будто росинки из переполненных чашечек цветов, прозрачных, как небесная лазурь; горе не нарушало гармонии ее черт, слезы Гретхен были милее иной улыбки.

Гретхен кулачком отерла щеки и, опершись на ручку кресла, слабым голосом, в котором звучало волнение, сказала:

— Ах, Тибурций, на какую же муку вы меня обрекли! Мое сердце терзала небывалая ревность; казалось, соперницы у меня нет, а между

тем вы мне изменяли; вы любили нарисованную женщину, ей принадлежали ваши думы, ваши мечты, ее одну вы считали прекрасной, кроме нее, никого на свете не видели; вы так ушли в это безумное созерцание, что не заметили даже, что я плачу. А я было поверила, что вы меня любите! Но я была для вас только дублершей, играющей роль той, только приблизительной копией вашей страсти. Знаю, в ваших глазах я всего лишь невежественная девочка, которая говорит по-французски с немецким акцентом, и вам это ужасно смешно; вам нравится мое лицо, потому что оно напоминает вашу идеальную возлюбленную: я для вас только хорошенькая куколка, которую вы наряжаете по своей прихоти; но, поверьте, ваша кукла страдает и любит вас...

Тибурций попытался привлечь ее к себе, но она увернулась и продолжала:

— Вы говорили мне столько чудесных любовных слов, вы открыли мне, что я хороша собой, что на меня приятно смотреть, вы любовались моими руками, уверяли, будто прелестней их не бывало даже у фей; про мои волосы вы говорили, что они краше златотканой мантии принцессы, а про глаза придумали, будто ангелы слетали с неба, чтобы смотреться в них, как в зеркало, да так загляделись, что опоздали в рай, и господь на них разгневался, и все это вы говорили так нежно, так искренне, звучало это так правдиво, что даже самая опытная женщина могла бы обмануться. Увы! Сходство между мною и Магдалиной с той картины разжигало ваше воображение, ему обязаны вы вашим фальшивым красноречием; и вот она ответила вам моими устами; у меня она заимствовала жизнь, которой ей не доставало, я одела плотью вашу иллюзию. Если я дала вам хоть малость счастья, я прощаю вам навязанную мне роль. Что ж, не ваша вина, ежели вы не умеете любить, ежели вас манит только невозможное и вы желаете лишь того, чего достичь не можете. Вы вообразили, будто способны любить, — ошибаетесь, вы никогда не полюбите. Вам ведь требуется совершенство, идеальное, поэзия — все, чего нет на свете. Вам надобно бы любить в женщине ее любовь к вам, дорожить ее чувством, отданной вам душою, а вы ищете в ней сходство с Венерой, с той, гипсовой, что стоит у вас в кабинете. Горе любовнице, ежели линия лба у нее не такая, какой вам хочется! Самое важное для вас, какая у нее кожа, оттенок ее волос, тонкие ли у нее запястья и

лодыжки, а о сердце ее вы никогда и не вспомните! Милый вы мой Тибуций, вы не влюбленный, вы только художник! То, что вы принимали за страсть, было лишь поклонением форме и красоте; вы влюбились в талант Рубенса, а не в Магдалину; в вас томилось, ища себе выход, призвание художника, оно-то и вызывало эти безудержные порывы, над которыми вы не властны. Отсюда и болезненные причуды вашего воображения. Я поняла это потому, что полюбила вас. Любовь — это женское дарование, ум женщины не бывает поглощен себялюбивым созерцанием! За то время, что я здесь, я пересмотрела все ваши книги, прочитала ваших поэтов, я стала почти что ученой. Глаза мои открылись. Я разгадала многое, чего так никогда бы и не подозревала. Вот почему мне легко читать в вашем сердце. Вы ведь когда-то занимались живописью, возьмитесь снова за кисть. Вы запечатлеете ваши мечты на холсте, и все эти тревожные уймутся сами собой. Если я не могу быть вашей любовницей, я буду хотя бы вашей натурщицей.

Она позвонила слуге и велела ему принести мольберт, холст, краски и кисти.

Когда слуга, все приготовив, ушел, она с царственным бесстыдством сбросила с себя одежды, распустила волосы, словно Афродита, выходящая из моря, и предстала перед Тибуцием в своей целомудренной наготе, озаренная лучом солнца.

— Разве я не так же прекрасна, как ваша Венера Милосская? — сказала она с прелестной усмешкой.

Через два часа на холсте ожила и будто выглядывала из него ее головка. Через неделю картина была закончена. Правда, она не стала совершенным произведением, но ощущение чудесного изящества и чистоты, которое она вызывала, мягкость ее колорита и благородная простота композиции делали ее примечательной, особенно в глазах знатоков. Эта стройная женская фигура, белая и светлокудрая, так естественно возникающая на двойной лазури неба и моря и предстающая перед миром улыбающейся и нагою, была как бы отголоском позиции древних и будила воспоминание о цветущей поре греческой скульптуры.

Тибуций больше не думал о Магдалине Антверпенской.

— Ну что, довольны вы вашей натурщицей? — спросила Гретхен.

— Когда мы объявим о нашей помолвке? — ответил Тибуций.

— Я буду женой великого художника! — И она бросилась ему на шею. — Но, сударь, не забывайте, талант ваш, этот бесценный алмаз, открыла я, маленькая Гретхен с улицы Кипдорп!

ДВОЙСТВЕННЫЙ РЫЦАРЬ

Что так опечалило светлокудрую Едвигу? Отчего она, склонив голову на руку и поставив локоть на колено, сидит в стороне от всех, грустная, как отчаяние, бледная, как алебастровая статуя, которая плачет над могилою?

Крупная слеза катится по ее нежной щеке, — одна слеза, но никогда не иссякающая; как та капля воды, которая, беспрестанно падая с пещерных сводов, точит гранит, так и эта слеза, падая и падая из ее глаз на ее сердце, пронзает его насквозь.

Едвига, светлокудрая Едвига, или уже не веришь ты в Иисуса Христа, кроткого Спасителя? Или сомневаешься ты в милосердии Пресвятой Девы Марии? Почему ты держишь под сердцем свои маленькие руки, тонкие, исхудалые, нежные, как руки эльфов и вилис? Ты скоро будешь матерью; это твой драгоценный дар; а твой благородный супруг, граф Лодброк, принесет, по своему обету, алтарь литого серебра и чашу чистого золота в дар храму святого Этберта, если ты родишь ему сына.

Увы! увy! семь мечей скорби пронзили сердце бедной Едвиги; ужасная тайна тяготит ее душу. Несколько месяцев назад в замок пришел чужестранец; в ту ночь была ужасная погода: башни дрожали, флюгера скрипели, задувало огонь в камине, и ветер колотил в стекла окон, как докучливый, незванный гость.

Чужестранец был прекрасен, как ангел, но как падший ангел; он улыбался кротко и кротко смотрел, и, однако, этот взгляд и эта улыбка леденили ужасом и внушали страх, какой испытывают, наклоняясь над бездной. Как у тигра, подстерегающего добычу, какая-то гнусная нежность и коварная томность сопровождали все его движения; он прельщал, как змея чарует птицу.

Этот чужестранец был искусный певец; его смуглое лицо показывало, что он видал иные небеса; он говорил, что пришел из далекой Богемии, и просил гостеприимства только на ночь.

Он остался на эту ночь и еще на другие дни и другие ночи, потому что буря не утихала, и старый замок сотрясался до самого основания,

словно ураган хотел разрушить его и повалить его зубчатую вершину в пенящиеся воды потока.

Чтобы скрасить это время, пришелец пел странные стихи, которые волновали сердце и возбуждали жестокие мысли; все время, пока он пел, ворон, черный и блестящий, словно агат, сидел у него на плече, отбивал такт своим клювом и словно рукоплескал, потрясая крыльями. Едвиг бледнела, бледнела, как лилия при луне; Едвиг краснела, краснела, как роза на заре, и опускалась в свое большое кресло, усталая, полуживая, опьяненная, как будто бы она надышалась роковыми запахами смертоносных цветов.

Наконец чужестранец может уйти, — голубая улыбка озарила лицо неба. И с этого дня Едвиг, светлокудрая Едвиг плачет, все плачет, сидя в углу под окном.

Едвиг — мать; у нее прекрасный ребенок, белый да румяный. Старый граф Лодброг заказал литейщику алтарь литого серебра, а золотых дел мастеру заплатил тысячу золотых монет, чтобы тот сделал чашу; будет она тяжела и объемиста и вместит добрую меру вина; если до дна осушит ее настоятель, так значит умеет он пить.

И бел, и румян ребенок, но темен взор его, как взор захожего певца: мать хорошо это видит. Ах, бедная Едвиг! Зачем ты так засматривалась на чужестранца с его арфой и его вороном?

Капеллан окрестил ребенка; ему дали имя Олуф, прекрасное имя! — Кудесник взошел на самую высокую башню, чтобы составить для него гороскоп.

Погода была ясная и холодная; как волчья челюсть с острыми и белыми зубами, островерхий гребень снежных гор изрезывал край небесной ризы; крупные и бледные звезды блистали в ночном голубом сумраке — каждая, как далекое серебряное солнце.

Кудесник определил долготу места, отметил год, день и минуту; он сделал длинное вычисление красным карандашом на длинном пергаменте, испещренном кабалистическими знаками, вернулся в свой кабинет и опять поднялся на площадку башни. Хотя верны его итоги и правилен его звездный расчет, как точная смета ювелира, взвешивающего драгоценные камни, однако он начинает снова: нельзя допустить ошибки.

У маленького графа Олуфа — двойная звезда, зеленая и красная, зеленая, как надежда, красная, как ад; одна благоприятная, другая

зловещая. Было ли когда-нибудь видно, чтобы ребенок имел двойную звезду?

С важным и значительным видом кудесник вошел в комнату к роженице и сказал, проводя костлявой рукой по волнам своей длинной, как у мага, бороды:

— Графиня Едвига, и вы, граф Лодброг, два влияния управляли рождением Олуфа, вашего дражайшего сына — одно доброе, другое злое; поэтому у него зеленая звезда и красная звезда. Две над ним власти; он будет весьма счастлив или весьма несчастлив, а может быть, то и другое вместе сбудется над ним.

Граф Лодброг ответил кудеснику:

— Зеленая звезда одолеет.

Но Едвига боялась своим материнским сердцем, как бы не одолела красная. Она опять оперлась головой на руку, локтем на колено и опять стала плакать в уголке под окном. После того как она вскормила своего ребенка, она только и делала, что смотрела сквозь стекло на снег, быстро падающий густыми хлопьями, словно там, наверху, ощипывала белые крылья всем ангелам и всем херувимам.

Время от времени ворон пролетал перед окном, каркая и сотрясая эту серебристую пыль. Это напоминало Едвиге о странном вороне, который всегда сидел на плече у чужестранца с нежным взором тигра, с чарующей улыбкой ехидны.

И слезы быстрее падали из глаз на ее сердце, на ее измученное сердце...

Олуф — такой странный ребенок: под его белой и румяной кожей словно два ребенка, различные нравом; то он, как ангел, кроткий, а то, назавтра, злой, как дьявол, кусает у матери грудь и ногтями царапает няньке лицо,

Старый граф Лодброг, усмехаясь под своими седыми усами, говорит, что Олуф будет славным солдатом, и что у него воинственный нрав. Пока же Олуф — несносный шалун; то он плачет, то смеется; капризен, как луна, взбалмошен, как женщина; он ходит, бегает, останавливается вдруг без видимой причины, забывает свои затеи — и самое буйное беспокойство заменяется совершенною неподвижностью; он один, но словно разговаривает с невидимым собеседником! Когда его спрашивают о причине всех этих волнений, он говорит, что красная звезда его мучит...

Вот уже Олуфу пятнадцать лет. Его характер становится более и более неизъяснимым, в его лице, хотя и прекрасном, тревожное выражение; он светлокудрый, как его мать, все его черты обличают северную расу; но под его лбом, белым, как снег, еще не исчерченным ни охотничьими лыжами, ни отпечатками медвежьих лап, — под этим лбом, который, конечно, принадлежит древнему роду Лодброгов, блестя между темно-желтыми веками с длинными, черными ресницами агатовые глаза, одаренные пылом итальянских страстей, глаза жестокие и нежные, как у захожего певца.

Как мчатся месяцы и еще быстрее годы! Едвиг почивает под мрачными сводами в склепе Лодброгов, рядом со старым графом, который улыбается в своей могиле тому, что имя его не погибнет. Она была уже так бледна, что смерть немного изменила ее. На ее могиле прекрасное лежит изваяние со скрещенными руками, с мраморной собачкой у ног — верным другом покойницы. Что сказала Едвиг в последний свой час, никто того не знает, но, слушая исповедь ее, духовник ее стал бледнее, чем сама умирающая.

Олуфу, черноокому и светлокудрому сыну печальной Едвиги, теперь двадцать лет. Он весьма ловок во всех упражнениях, никто лучше его не владеет луком: он стрелой рассекает стрелу, которая только что вонзилась, трепеща, в середину цели; он укрощает, без узды и без шпор, самых диких коней.

Ни одна женщина, ни одна молодая девица никогда не взирали на него безнаказанно; но ни одна из любивших его не была счастлива. Роковая неровность его нрава препятствовала всякой возможности счастья между ним и женщиной. Одна из его половин страстно любила, другая ненавидела; то зеленая звезда побеждала, то красная. То он говорил: «О светлые северные девы, блистающие и чистые, как полярные льдины, с очами светлыми, как лунное сияние, с ланитами, обвеянными свежестью северной зари!» — И на другой день он восклицал: «О дочери Италии, позлащенные солнцем! Пламенные сердца в бронзовых грудях!» Печальнее всего то, что он был искренним в обоих случаях.

Увы! омраченные скорбью печальные тени, вы даже не обвиняете его, потому что вы знаете, что он несчастнее вас; его сердце — поле, непрестанно попираемое ногами двух неведомых борцов, из которых

каждый, как в битве Иакова с ангелом, стремится сокрушить бедро своему противнику.

Там, на кладбище, под широкими листьями кленов, под зелеными ветвями болезненных златоцветов, в диком овсе и крапиве, не один забытый покоится камень, на который только утренняя роса расточает свои слезы. Мина, Дора, Текла! не слишком ли тяжела земля под вашими нежными грудями и над вашими прелестными телами?

Однажды Олуф призывает Дитриха, своего верного конюшего, и велит ему седлать коня.

— Господин, взгляните, как падает снег, как ветер дует и нагибает до земли вершины елей; разве не слышите вы, что вдали воют отощавшие волки, и стонут, как осужденные души, издыхающие олени?

— Дитрих, мой верный конюший, я снег отряхну, как пух, что пристает к плащу; я пройду под согнувшимися в дугу елями, наклонив немного перо моей шляпы. Что мне волки! их когти притупятся на этих добрых латах, — а бедному оленю, который стонет и плачет горячими слезами, я концом моего меча откопаю из-под льда свежий и цветущий мох, которого ему самому не достать.

Граф Олуф де Лодброг (так его зовут с тех пор, как старый граф скончался) едет на своем добром коне, сопровождаемый своими двумя громадными псами, Мургом и Фанрисом, потому что у молодого господина с веками оранжевого цвета назначено свидание, и уже, может быть, на маленькой островерхой башенке стоит, склонившись на резную решетку балкона несмотря на холод и ветер, молодая девица и старается рассмотреть беспокойными глазами среди белой долины перья рыцарской шляпы.

Олуф на своем громадном коне, вонзая в его бока шпоры, подвигается в поле; он проезжает через озеро, из которого холод сделал одну ледяную глыбу, где вкраплены рыбы, распростерты пловцы, словно окаменелые; четыре подковы, вооруженные шипами, прочно ступают по твердой поверхности; туман, образованный конским дыханием и потом, окружает его и следует за ним, словно он скачет в облаке; два пса, Мург и Фанрис, с каждой стороны своего господина, словно сказочные животные, выдыхают своими красными ноздрами длинные столбы пара.

Вот еловый лес; подобные призракам ели простирают свои руки, отягощенные белыми покровами; самые молодые и гибкие елки согнуты тяжестью снега и кажутся рядом серебряных арок. Черный ужас обитает в этом лесу, среди этих чудовищных утесов, среди этих деревьев, из которых каждое словно прикрывает своими корнями гнездо оцепенелых драконов. Но Олуф не знает страха.

Путь становится все уже, пониклые ветви елей скрещиваются и спутываются; едва сквозь редкие просветы можно видеть цепь покрытых снегом холмов, которые вырезаются белыми волнами на черном и тусклом небе.

К счастью, Мопс — добрый бегун, который носил бы не сгибаясь громадного Одина; никакое препятствие не останавливает его; он скачет через утесы, прыгает через рытвины и время от времени исторгает из камней, о которые бьет под снегом его копыто, сноп искр, тотчас же погасающих.

— Вперед, Мопс, смелее! Еще только миновать нам небольшую равнину да береговую рощу; прекрасная рука приласкает твою атласную шею, и в теплой конюшне тебе дадут вволю отборного ячменя и овса.

Какое прекрасное зрелище — березовая роща! Все ветви, словно ватой, покрыты мохнатым слоем инея; мельчайшие веточки выделяются, белые, из тьмы: словно это громадная корзина сквозного тонкого чекана, или коралловый лес из серебра, или грот со всеми своими сталактитами; те ветви и причудливые цветы, которые мороз наводит на стекла, не представляют рисунков более запутанных и разнообразных.

— Господин Олуф, как вы запоздали! Я боялась, что горный медведь загородил вам дорогу или что эльфы увлекли вас танцевать, — сказала молодая владетельница замка, посадивши Олуфа в дубовое кресло перед камином. — Но почему вы пришли на любовное свидание с товарищем? Или вам одному страшно в лесу!

— О каком товарище хотите вы сказать, цвет моей души? — спросил молодую хозяйку весьма удивленный Олуф.

— О рыцаре красной звезды, которого вы всегда водите с собой. Он родился от взгляда богемского певца; это губительный дух, которым вы одержимы, отделайтесь от рыцаря с красной звездой, или

я никогда не захочу слышать о вашей любви; не могу же я быть сразу женой двух мужей.

Что ни делал Олуф, что он ни говорил, а не мог добиться, чтоб позволила ему Бренда поцеловать ее розовые пальчики; он ушел весьма недовольный и решил вызвать на бой рыцаря красной звезды, как только его встретит.

Хотя и сурово приняла его Бренда, а на другой день Олуф снова отправился в путь к замку с островерхими башенками: влюбленные не унывают.

Всю дорогу он думал: какая глупая Бренда! И что она хотела сказать своим рыцарем с красной звездой?

Буря свирепствовала; снег крутился и едва давал различить небо от земли. Вереница зловещих воронов, несмотря на лай Фанриса и Мурга, которые прыгали за ними в воздух, кружились над головой Олуфа. Во главе их был блистающий, словно агат, ворон, который некогда отбивал такт на плече у захожего певца.

Фанрис и Мург внезапно остановились; их подвижные ноздри беспокойно обнюхивали воздух: они почуяли врага. Это не волк, не лисица; и волк и лисица были бы на один зуб этим славным псам.

Послышался топот, и вскоре показался на повороте дороги рыцарь верхом на громадном коне, с двумя огромными псами позади.

Вы приняли бы его за Олуфа. Он был точно так же вооружен и носил те же знаки: только перо на его шляпе было красное, а не зеленое. Так тесна была дорога, что одному из рыцарей надо было бы отступить.

— Господин Олуф, подвиньтесь назад, чтобы мне проехать, — сказал рыцарь, не подымая забрала. — Путь мой долог, меня ждут, мне надо явиться вовремя.

— Бородой моего отца клянусь, что вы отодвинетесь. Я еду на любовное свидание, а влюбленные торопятся, — ответил Олуф и положил руку на рукоять своего меча.

Неизвестный обнажил свой меч, и битва началась. Под ударами мечей от стальных колец в кольчугах брызгали снопы сверкающих искр; скоро зазубрились мечи, как пилы, хотя и были высокого закала. Сражающиеся сквозь дым от их коней и туман от их быстрых дыханий были похожи на двух черных кузнецов, остервенившихся над раскаленным докрасна железом. Кони, одушевленные такой же

яростью, как их господа, кусали прекрасными зубами друг другу жилистые шеи, и кожа висела лохмотьями на их груди; они делали внезапные яростные прыжки, подымались на дыбы и своими копытами, как сжатыми кулаками, наносили друг другу ужасные удары, между тем как над их головами яростно рубились всадники; псы грызлись и выли.

Капли крови, просачиваясь сквозь настельную чешую лат и падая на снег еще теплые, делали в нем розовые скважинки. Через несколько минут снег стал похож на решето, так часто и быстро падали капли. Оба рыцаря были ранены.

Странное дело: Олуф чувствовал удары, которые он наносил неизвестному рыцарю; он страдал и от тех ран, которые получал, и от тех, которые делал; он испытывал сильный холод в груди, как от железа, которое вошло бы в грудь, отыскивая сердце, и, однако, его панцирь против сердца не был поврежден: его единственная рана была на правой руке. Станный поединок, где победитель страдает так же, как и побежденный.

Собрав свои силы, Олуф сбил страшный шлем со своего противника. О ужас! Что видит сын Едвиги и Лодброга? Он видит себя самого перед собой; зеркало было бы не так точно. Он сражался со своим собственным призраком, с рыцарем красной звезды. Призрак испустил громкий крик и исчез.

Вереница воронов поднялась к небу, и храбрый Олуф продолжал свой путь; возвращаясь вечером в свой замок, он вез на своем седле юную Бренду, которая на этот раз захотела его слушать. Не видя рыцаря с красной звездой, она решила уронить из своих алых губ на сердце Олуфа этот обет, который так дорого стоил ее стыдливости. Ночь была светлая и голубая; Олуф поднял голову, чтобы найти свою двойную звезду и показать ее невесте, но осталась только зеленая, красная исчезла.

Вошедши в замок, Бренда, счастливая этим чудом, которое она объясняла действием любви, сказала молодому Олуфу, что агат его глаз переменялся на лазурь — знак небесного прощения.

Старый Лодброг радостно улыбнулся в глубине своей могилы, потому что, по правде сказать, глаза Олуфа заставляли его иногда втайне призадумываться. Душа Едвиги возрадовалась тому, что сын благородного господина Лодброга наконец победил злое влияние

темного глаза, черного ворона и красной звезды: человек низложил дьявольское порождение.

Эта история показывает, какое влияние может иметь одна минута забвения, один взгляд, даже невинный.

Молодые жены, не бросайте никогда взоров на искусных певцов из Богемии, которые сказывают упоительные и сатанинские стихи. Вы, молодые девы, доверяйтесь только зеленой звезде; а вы, которые имеете несчастье быть двойственными, мужественно сражайтесь, хотя бы приходилось вам наносить себе же раны своим собственным мечом, сражайтесь с внутренним противником, злым рыцарем красной звезды.

Вы спросите, кто нам принес из Норвегии эту легенду? Принес ее лебедь, прекрасная птица с желтым клювом, которая полпути через фиорды плывет и полпути летит.

НОЖКА МУМИИ

От нечего делать я зашел к одному из тех промышляющих всевозможными редкостями торговцев, которых на парижском аргю, для остальных жителей Франции совершенно непонятном, называют торговцами «брикабраком».

Вам, конечно, случалось мимоходом, через стекло, видеть такую лавку — их великое множество, особенно теперь, когда стало модно покупать старинную мебель, и каждый биржевой маклер почитает своим долгом иметь комнату «в средневековом стиле».

В этих лавках, таинственных логовах, где ставни благоразумно пропускают лишь слабый свет, есть нечто общее со складом железного лома, мебельным магазином, лабораторией алхимика и мастерскою художника; но что там заведомо самая большая древность — это слой пыли; паутина там всегда настоящая, в отличие от иного гипюра, а «старинное» грушевое дерево моложе только вчера полученного из Америки красного дерева.

В магазине моего торговца брикабраком было сущее столпотворение; все века и все страны словно сговорились здесь встретиться; этрусская лампа из красной глины стояла на шкафу «буль» черного дерева, с рельефными панно в строгой оправе из тонких медных пластинок, а кушетка эпохи Людовика XV беззаботно подсовывала свои кривые ножки под громоздкий стол в стиле Людовика XIII, украшенный массивными спиралями из дуба и лиственным орнаментом, из которого выглядывали химеры.

В углу сверкала бликами литая грудь миланских доспехов дамаской стали; амуры и нимфы из бисквита, китайские болванчики, вазочки в виде рога изобилия из селадона и кракле, чашки саксонского фарфора и старого Севра заполнили все горки и угловые шкафы.

На зубчатых полках поставцов блеснули огромные японские блюда с синим и красным узором и золотым ободком, а бок о бок с ними стояли эмали Бернара Палисси с рельефными изображениями ужей, лягушек и ящериц.

Из развороченных шкафов каскадами ниспадали куски штофа, шитого серебром, потоки полупарчи, усеянной искорками, которые

зажег косой луч солнца; портреты людей всех былых времен улыбались под слоем пожелтевшего лака из своих более или менее обветшалых рам.

Владелец лавки осторожно шел за мною по извилистому проходу, проложенному между грудками мебели, придерживая рукой распахнутые полы моего сюртука, угрожавшие его вещам, бдительно и тревожно следя за моими локтями взглядом антиквара и ростовщика.

Странная внешность была у этого торговца: огромная, плешивая голова, гладкая, как колено, в жидковатом венчике из седых волос, подчеркивавшим ярко-розовый тон кожи, придавала ему обличье благодушного патриарха, с той, впрочем, поправкой, что у его маленьких желтых глазок был особый мигающий блеск, они светились в глазницах каким-то дрожащим светом, словно два золотых луидора на живом серебре. У него был круто изогнутый, точно клюв орла, нос с горбинкой, — характерный для восточного или еврейского склада лица. Его худые, немощные руки в прожилках, с выступающими узелками вен, натянутых, словно струны на грифе скрипки, когтистые, как лапки летучей мыши, соединенные с ее перепончатыми крыльями, время от времени начинали по-старчески дрожать, и на них тяжело было смотреть; но у этих судорожно подергивающихся рук оказывалась вдруг крепкая хватка; они становились крепче стальных клещей или клешней омара, когда поднимали какую-нибудь ценную вещь — ониксовую чашу, бокал венецианского стекла или блюдо из богемского хрусталя; этот старый чудака был до того похож на ученого раввина и чернокнижника, что лет триста назад его бы судили по наружности и сожгли.

— Неужто вы ничего сегодня у меня не купите, сударь? Вот малайский кинжал, клинок его изогнут, точно язык пламени; посмотрите, какие на нем бороздки, чтобы с них стекала кровь; поглядите на эти загнутые зубья, — они сделаны для того, чтобы выворачивать человеку внутренности, когда вытаскиваешь из раны кинжал; это оружие свирепое, добротное, оно будет как нельзя кстати в вашей коллекции оружия; вот двуручный меч Джакопо де ла Гера, до чего ж он хорош! А эта рапира со сквозной чашкой эфеса, посмотрите, что за дивная работа!

— Нет, у меня достаточно оружия и всего, что требуется для кровопускания; мне бы хотелось иметь статуэтку или что-нибудь

такое, что могло бы служить как пресс-папье, я терпеть не могу всю эту бронзовую дребедень, которую продают в писчебумажных магазинах, — ее можно увидеть на любой конторке.

Старый гном, порывшись в своих древностях, выставил передо мной античные, или якобы античные, статуэтки, куски малахита, индийских или китайских божков — качающихся уродцев из нефрита, своеобразные воплощения Браммы или Вишну, которые изумительно подходили для уготованной им цели, не слишком божественной: придавливать газеты и письма, чтобы они не разлетались.

Я колебался, не зная, чему отдать предпочтение: фарфоровому ли дракону, усыпанному бородавками, с клыкастой, ощеренной пастью или маленькому мексиканскому фетишу, весьма отвратительному, изображавшему в натуральном виде самого бога Вицли-Пуцли, когда вдруг заметил прелестную ножку, которую сначала принял за фрагмент античной Венеры.

Она была того чудесного красновато-коричневого тона, который флорентинской бронзе придает теплоту и живость и несравненно привлекательней зеленоватого тона заурядных бронзовых статуй, словно покрытых ярью, так что, право же, подчас думаешь: уж не разлагаются ли они? Отблески света дрожали, переливаясь, на округлостях этой ножки, зацелованной до лоска двадцатью столетиями, потому что медь эта, бесспорно, была родом из Коринфа, была произведением искусства времен его расцвета, быть может, литьем Лисиппа!

— Вот эта нога мне подойдет, — сказал я торговцу, и он взглянул на меня с затаенной насмешкой, протягивая выбранную мною вещь, чтобы я мог лучше ее рассмотреть.

Меня изумила ее легкость; это была не металлическая нога, а настоящая человеческая ступня, набальзамированная нога мумии: на близком расстоянии можно было разглядеть клеточки кожи и почти неосязаемый отпечаток ткани, в которую запеленали мумию. Пальцы были тонкие, изящные, ногти — безукоризненной формы, чистые и прозрачные, как розовые агаты; большой палец был немного отставлен в сторону, как на античных статуях, грациозно отделяясь от остальных сомкнутых пальцев ступни, что придавало ей какую-то особую подвижность, гибкость птичьей лапки; подошва ноги с еле заметными тонкими линиями-штрихами, свидетельствовала о том, что она никогда

не прикасалась к голой земле, ступала лишь по тончайшим циновкам из нильского тростника и мягчайшим коврам из шкуры пантеры.

— Ха-ха! Вы хотите ножку принцессы Гермонтис, — сказал торговец, как-то странно похохатывая и вперив в меня свой совиный взор, — ха, ха, ха! Употребить вместо пресс-папье! Оригинальная мысль, мысль, достойная артиста! Сказал бы кто старому фараону, что ножка его любимой дочери будет служить в качестве пресс-папье, он бы очень удивился! А особенно, ежели бы услышал это тогда, когда по его приказанию в гранитной скале вырубали грот, чтобы поставить туда тройной гроб, весь расписанный и раззолоченный, сплошь покрытый иероглифами и красивыми картинками, изображающими суд над душами усопших, — проговорил вполголоса, словно обращаясь к самому себе, чудной антиквар.

— Сколько вы возьмете за этот кусок мумии?

— Да уж возьму подороже, ведь это великолепная вещь! Будь у меня к ней пара, дешевле, чем за пятьсот франков, вы бы этого не получили: дочь фараона! Есть ли где большая редкость?

— Разумеется, вещь не совсем обычная, и все-таки сколько вы за нее хотите? Но я предупреждаю вас: я располагаю только пятью луидорами, это все мое богатство; я куплю все, что стоит пять луидоров, но ни на сантим больше. Можете обыскать карманы моих жилетов, все потайные ящики моего стола, вы не найдете и жалкого пятифранковика.

— Пять луидоров за ступню принцессы Гермонтис — это очень уж мало, право же, слишком мало, ступня-то подлинная, — сказал, качая головой и поглядывая на меня бегающими глазками, торговец. — Что ж, берите, я дам в придачу к ней и обертку, — добавил он и стал завертывать ножку мумии в лоскут ветхого дамаста. — Прекрасный дамаст, настоящий дамаст, индийский дамаст, ни разу не крашеный, материя прочная и мягкая, — бормотал он, поглаживая посекающую ткань и привычно выхваляя свой товар, хотя вещь была вовсе нестоящая, почему он и отдавал ее даром.

Он сунул золотые монеты в висевший у него на поясе кошелек, напоминавший средневековую суму для подаяний, приговаривая:

— Превратить ножку принцессы Гермонтис в пресс-папье!

Затем уставил на меня мерцающие фосфорическим блеском глаза и сказал голосом, скрипучим, как мяуканье кошки, подавившейся

костью:

— Старый фараон будет недоволен, этот добрый человек любил свою дочь!

— Вы говорите о нем так, словно вы его современник! Но как бы ни стары, вы едва ли ровесник египетских пирамид! — смеясь, ответил ему я уже с порога.

Я вернулся домой, очень довольный своей покупкой.

И, чтобы сразу же применить ее по назначению, я положил ножку божественной принцессы Гермонтис на пачку бумаг; чего только там не было: черновики стихов — неудобочитаемая мозаика помарок и вставок, начатые статьи, письма, забытые и отправленные «прямою почтой» в ящик собственного стола, — эту ошибку частенько случается делать людям рассеянным; на этом ворохе бумаг мое пресс-папье выглядело восхитительно, своеобразно и романтично.

Совершенно удовлетворенный этим украшением моего стола, я пошел погулять в горделивом сознании своего превосходства, как и надлежит человеку, имеющему то неопишное преимущество перед всеми прохожими, которых он толкает локтями, что он владеет кусочком принцессы Гермонтис, дочери фараона.

Я высокомерно считал смешными всех, кто, в отличие от меня, не обладает таким доподлинно египетским пресс-папье, и полагал, что главная забота каждого здравомыслящего человека — обзавестись ножкой мумии для своего письменного стола.

К счастью, встреча с друзьями меня отвлекла, положив предел моим восторгам новоиспеченного собственника; я пошел с ними обедать, так как наедине с собою мне было бы трудно обедать.

Когда я вечером вернулся домой и в голове у меня еще бродил хмель, орган моего обоняния приятно пощекотало повеявшим откуда-то восточным благовонием; от жары в комнате согрелись натр, горная смола и мирра, которыми промывали тело принцессы *парасхиты*, анатомировавшие трупы; это был приятный, хоть и пряный аромат, аромат, не выдохшийся за четыре тысячелетия.

Мечтою Египта была вечность; его благовония крепки, как гранит, и такие же долговечные.

Вскоре я пил, не отрываясь, из черной чаши сна; час или два все было погружено в туман, меня затопили темные волны забвенья и небытия.

Однако во тьме моего сознания забрезжил свет, время от времени меня слегка касались крылом безмолвно реюющие сновиденья.

Глаза моей души раскрылись, и я увидел свою комнату, какой она была в действительности; я мог бы подумать, что я проснулся, но какое-то внутреннее чутье говорило мне, что я сплю и что сейчас произойдет нечто удивительное.

Запах мирры усилился, я почувствовал легкую головную боль и приписал ее — вполне резонно — нескольким бокалам шампанского, которое мы выпили за здоровье неведомых богов и за наши будущие успехи.

Я всматривался в свою комнату, чего-то ожидая, но это чувство ничем не было оправдано; мебель чинно стояла на своих местах, на консоли горела лампа, затененная молочно-белым колпаком из матового хрусталя; под богемским стеклом поблескивали акварели; застыли в дремоте занавеси; с виду все было спокойно и как будто уснуло.

Однако через несколько мгновений эту столь мирную обитель охватило смятение: тихонько начали поскрипывать панели; головешка, зарывшаяся в пепел, вдруг выбросила фонтан синих искр, а диски розеток для подхватов у занавесей стали похожи на металлические глаза, настороженно, как и я, высматривающие: что-то будет?

Машинально я оглянулся на свой стол, куда я положил ножку принцессы Гермонтис.

А она вместо того, чтобы лежать смирно, как и следует ноге, набальзамированной четыре тысячи лет назад, шевелилась, дергалась и скакала по бумагам, точно испуганная лягушка, сквозь которую пропустили гальванический ток; я отчетливо слышал drobный стук маленькой пятки, твердой, как копытце газели.

Я рассердился на свою покупку, потому что мне нужны оседлые пресс-папье, я не привык, чтобы ступни разгуливали сами по себе, без голеней, у меня на глазах, и мало-помалу я почувствовал что-то очень похожее на страх.

Вдруг я увидел, как шевелится складка одной из занавесей, и услышал притопывание, словно кто-то прыгает на одной ноге. Должен признаться, меня бросило сперва в жар, потом в холод; я ощутил за своюю спиною дуновение какого-то нездешнего ветра, волосы мои

встали дыбом и сбросили с головы на два-три шага от меня мой ночной колпак.

Занавеси приоткрылись, и предо мной предстала невообразимо странная женская фигура.

Это была девушка с темно-кофейной кожей, как у баядерки Амани, девушка совершенной красоты и чистейшего египетского типа; у нее были продолговатые, миндалевидные глаза с чуть приподнятыми к вискам уголками и такие черные брови, что они казались синими, тонко очерченный, почти греческий по изяществу лепки нос, и ее можно было бы принять за коринфскую бронзовую статую, если бы не выступающие скулы и немного по-африкански пухлые губы, — черты, по которым мы безошибочно узнаем загадочное племя, населявшее берега Нила.

Ее тонкие, худенькие, как у очень юных девушек, руки были унизаны металлическими браслетами, увиты стеклянными бусами; волосы были заплетены мелкими косичками, а на груди висел амулет — фигурка из зеленой глины, державшая семихвостый бич, непременный атрибут богини Исиды, водительницы душ; на лбу у девушки блестела золотая пластинка, а на отливающих медью щеках виднелись остатки румян.

Что касается одежды, то и она была преудивительная.

Представьте себе набедренную повязку, свитую из клейких полосок, смазанных горной смолой и размалеванных черными и красными иероглифами, — так, вероятно, выглядела бы только что распеленатая мумия.

Тут мысль моя сделала скачок, — это ведь часто бывает в сновиденьях — и я услышал фальшивый, скрипучий голос торговца брикабраком, который монотонно повторял, как припев, фразу, произнесенную им со столь загадочной интонацией:

— Старый фараон будет недоволен, этот добрый человек очень любил свою дочь.

У прищелицы с того света была странная особенность, от которой мне ничуть не стало легче на душе: у нее не хватало одной ступни, одна нога была обрублена по лодыжку.

Она заковыляла к столу, на котором ножка мумии задержалась и завертелась пуще прежнего. Добравшись до нее, девушка оперлась на край стола, и я увидел дрожавшую в ее взоре блестящую слезинку.

Хоть она ничего не сказала, я читал ее мысли: она смотрела на ножку потому, что это, бесспорно, была ее собственная ножка, смотрела на нее с грустным и кокетливым, необыкновенно милым выражением; а нога скакала и бегала взад и вперед, как заведенная.

Раза два-три моя гостя протягивала руку, пытаясь поймать скакунью, но безуспешно.

Тогда между принцессой Гермонтис и ее ножкой, которая, по-видимому, жила своей особой, независимой жизнью, произошел весьма примечательный диалог на очень древнем коптском языке, на каком, должно быть, говорили тридцать столетий тому назад в подземных усыпальницах страны Сера; к счастью, я в эту ночь в совершенстве знал коптский.

Голосом нежным, как звон хрустального колокольчика, принцесса Гермонтис говорила:

— Что же вы, дорогая моя ножка, от меня убегаете! Я ли не заботилась о вас! Я ли не обмывала вас благовонной водою в алебастровой чаше, не скребла вашу пятку пемзой, смазанной пальмовым маслом, не обрезала ваши ногти золотыми щипчиками, не полировала их зубом гиппопотама? Я ли не старалась обувать вас в остроносые туфельки, расшитые пестрым узором, и вам завидовали все девушки в Египте? На большом пальце вы носили перстень со священным скарабеем, и вы служили опорой легчайшему телу, какого только может пожелать себе ленивая ножка!

А ножка обиженно и печально ей отвечала:

— Вы же знаете, что я не вольна над собой, я ведь куплена и оплачена! Старый торговец знал, что делал, он до сих пор зол на вас за то, что вы отказались выйти за него замуж, это он все и подстроил. Он-то и подослал араба, который взломал вашу царскую гробницу в Фивском некрополе, он хотел помешать вам занять ваше место в сонме теней в подземном царстве. Есть у вас пять луидоров, чтобы меня выкупить?

— Увы, нет! Все мои камни, кольца, кошельки с золотом и серебром украдены, — со вздохом ответила принцесса Гермонтис.

И тогда я воскликнул:

— Принцесса, я никогда не удерживал у себя ничьей ноги, ежели это было противно справедливости! И пусть у вас нет тех пяти луидоров, что она мне стоила, я верну вам вашу ножку с превеликою

радостью: я был бы в отчаянии, ежели бы столь любезная моему сердцу особа, как принцесса Гермонтис, осталась хромой по моей вине.

Я выпалил эту тираду, в которой фривольность в духе нравов Регентства сочеталась с учтивостью трубадура, что, должно быть, изумило прекрасную египтянку.

Она обратила на меня благодарный взгляд, и в глазах ее загорелись синеватые огоньки.

Она взяла свою ступню, на сей раз не оказавшую сопротивления, и весьма ловко, будто натягивая башмачок, приладила ее к обрубленной ноге.

Закончив эту операцию, она прошлась по комнате, словно проверяя, что действительно больше не хромает.

— Ах, как рад будет отец! Он так горевал, что я стала калекой, ведь он, лишь только я появилась на свет, повелел в тот самый день всему народу вырыть мне могилу, такую глубокую, чтобы я сохранилась в целости до Судного дня, когда на весах Аменти будут взвешивать души усопших. Пойдемте к отцу, он радушно вас встретит, ведь вы вернули мне ногу!

Я нашел это предложение вполне естественным, накинул на себя халат в крупных разводах, в котором выглядел совершеннейшим фараоном, впопыхах сунул ноги в турецкие пан-туфли и сказал принцессе Гермонтис, что готов за нею следовать,

Перед уходом Гермонтис сняла с шеи свой амулет — фигурку из зеленой глины и положила ее на ворох бумаг, покрывавших мой стол.

— Справедливость требует, — сказала она, улыбаясь, — чтобы я возместила утраченное вами пресс-папье.

Затем протянула мне руку, — рука у нее была нежная и холодная, как тельце ужа, — и мы отправились в путь.

Некоторое время мы неслись со скоростью стрелы сквозь толщу какой-то жидкой, сероватой массы; слева и справа от нас убегали вдаль чьи-то смутно обозначенные силуэты.

Одно мгновение мы видели только воду и небо.

Через несколько минут на горизонте стали вырисовываться иглы обелисков, пилоны храмов, очертания примыкающих к ним сфинксов.

Полет кончился.

Принцесса подвела меня к горе из розового гранита, в которой имелось узкое и низкое отверстие; его было бы трудно отличить от горной расщелины, если бы не воздвигнутые у этого входа в пещеру две стелы с цветным рельефом.

Гермонтис зажгла факел и пошла вперед.

Мы шли коридорами, вырубленными в скале; стены были покрыты панно, расписанными иероглифами и символическими изображениями шествия душ; для работы над этим, наверное, потребовались тысячи рук и тысячи лет; нескончаемо длинные коридоры чередовались с квадратными комнатами, посередине которых были устроены колодцы, куда мы спускались по железным скобам, вбитым в их стены, или по винтовым лестницам; колодцы выводили нас в другие комнаты, где опять начинались коридоры, испещренные яркими рисунками: все те же ястребы, змеи, свернувшиеся кольцом, знак «Тау», посохи, мистические ладьи, все та же поразительная работа, узреть которую не должен был взор живого человека, нескончаемые легенды, дочитать которые дано только мертвым, ибо в их распоряжении вечность.

Наконец мы вышли в залу, такую громадную и обширную, что она казалась беспредельной; вдаль, насколько хватало глаз, тянулись вереницы исполинских колонн, а между ними тускло светились мерцающие желтые звезды; эти светящиеся точки словно отмечали пунктиром неисчислимые бездны.

Принцесса Гермонтис, не выпуская моей руки, учтиво раскланивалась на ходу со знакомыми мумиями.

Постепенно глаза мои привыкли к сумеречному освещению и стали различать окружающее.

Я увидел сидящих на тронах владык подземного народа: это были рослые, сухопарые старики, морщинистые, с пергаментной кожей, почерневшие от горного масла и минеральной смолы, в золотых тиарах, в расшитых камнями нагрудниках и воротниках, сверкающие драгоценностями, с застывшим взглядом сфинксов и длинными бородами, убеленными снегом столетий; за ними стояли их набальзамированные народы в напряженной и неестественной позе, которая характерна для египетского искусства, неизменно соблюдающего каноны, предписанные иератическим кодексом; за спинами фараоновых подданных щерились кошки, хлопали крыльями

ибисы, скалили зубы крокодилы — современники этих мумий, запеленатые в свои погребальные свивальники, отчего они казались совсем чудищами.

Здесь были все фараоны: Хеопс, Хефренес, Псамметих, Сезострис, Аменхотеп, все черные владыки пирамид и подземных усыпальниц; поодаль на более высоком помосте восседали цари Хронос и Ксиксуфрос, царствовавший при потопах, и Тувалкаин, его предшественник.

Борода царя Ксиксуфроса отросла до таких размеров, что семижды обвилась вокруг гранитного стола, на который он облокотился, погруженный в глубокую думу или в сон.

Вдали сквозь пыльную мглу, сквозь туман вечности, мне смутно виделись семьдесят два царя, правивших еще до Адама, с их семьюдесятью двумя навсегда исчезнувшими народами.

Принцесса Гермонтис позволила мне несколько минут любоваться этим умопомрачительным зрелищем, а затем представила меня своему отцу, который весьма величественно кивнул мне головой.

— Я нашла свою ногу! Я нашла свою ногу! — кричала принцесса, вне себя от радости хлопая в ладошки. — Мне ее вернул вот этот господин!

Племена кме, племена нахазы, все народы с черной, бронзовой и медной кожей хором ей вторили:

— Принцесса Гермонтис нашла свою ногу!

Растрогался даже сам Ксиксуфрос. Он поднял свои отяжелевшие веки, провел рукой по усам и опустил на меня взор, истомленный бременем столетий.

— Клянусь Омсом, сторожевым псом ада, и Тмеи, дочь Солнца и Правды, это честный и достойный юноша, — сказал фараон, указывая на меня жезлом с венчиком в виде лотоса. — Чего ты просишь себе в награду?

Набравшись дерзости, — а дерзость нам даруют сны, когда чудится, что нет ничего невозможного, — я просил у фараона руки Гермонтис: руку взамен ноги! Мне казалось, что я облек свою просьбу о вознаграждении в довольно изящную форму, форму антитезы.

Фараон, изумленный моей шуткой, равно как и моей просьбой, широко раскрыл свои стеклянные глаза.

— Из какой ты страны и сколько тебе лет?

— Я француз, высокочтимый фараон, и мне двадцать семь лет.

— Двадцать семь лет! И он хочет жениться на принцессе Гермонтис, которой тридцать веков! — разом вскричали все повелители душ и нации всех разновидностей.

И только Гермонтис, по-видимому, не сочла мою просьбу неуместной.

— Если бы тебе было, по крайней мере, две тысячи лет, — сказал старый фараон, — я бы охотно отдал замуж за тебя свою дочь, но разница в возрасте слишком велика. Нашим дочерям нужны долговечные мужья, а вы разучились сохранять свою плоть; последним из тех, кого сюда принесли, нет и пятнадцати веков, однако ж от них осталась лишь горсть праха. Смотри, тело мое твердо, как базальт, кости мои точно из стали. В день светопреставленья я восстану такой же — телом и ликом, — каким был при жизни; и моя дочь Гермонтис сохранится дольше всех бронзовых статуй. Тем временем ветер развеет последнюю частицу твоего праха, и даже сама Исида, сумевшая собрать воедино тело растерзанного на куски Осириса, даже она не сможет воссоздать твою земную оболочку. Посмотри, я еще мощен телом, и у меня крепкая хватка, — сказал он, сильно встряхнув мою руку на английский манер с такой силой, что у него в ладони чуть не остались мои пальцы вместе с впившимися в них перстнями.

Он так крепко сжал мою руку, что я проснулся и увидел своего друга Альфреда, который тряс и дергал меня за плечо, пытаясь меня разбудить.

— Здоров же ты спать! Неужели придется вынести тебя на улицу и пустить над самым ухом ракету? Уже первый час, помнишь ли ты еще, что обещал зайти за мною, чтобы повести меня на выставку испанских картин у господина Агуадо?

— Господи, я и забыл, — ответил я, одеваясь. — Сейчас пойдем, пригласительный билет здесь, у меня на столе.

Я действительно подошел к столу, чтобы взять билет. Вообразите же мое удивление, когда на том самом месте, где была купленная накануне ножка мумии, я увидел зеленую фигурку-амулет, которую оставила мне принцесса Гермонтис!

ДВА АКТЕРА НА ОДНУ РОЛЬ

1. СВИДАНИЕ В КОРОЛЕВСКОМ САДУ

Стоял конец ноября: Королевский парк в Вене был пуст, резкий северный ветер кружил шафранные, побитые первыми морозами листья; ветки розовых кустов на клумбах, растерзанные и поломанные, валялись в грязи. Однако центральная аллея, посыпанная песком, оставалась сухой и по ней можно было ходить. Разоренный нашествием зимы, Королевский парк был все же не лишен некоего меланхолического очарования. Желтые аркады аллеи уводили далеко вперед, вдали на горизонте смутно рисовались холмы, тонущие в голубоватой дымке и вечернем тумане. С другого конца аллеи открывался вид на Пратер и Дунай; лучшего места для прогулок поэта нельзя и придумать.

По аллее, проявляя все признаки нетерпения, расхаживал молодой человек; наряд его, щеголеватостью напоминавший театральный, состоял из черного бархатного редингота, петлицы которого были обшиты золотым шнуром, а полы оторочены мехом, серых облегающих панталон и мягких сапог до колен с кисточками. На вид ему было лет двадцать семь — двадцать восемь; бледные правильные черты его были исполнены лукавства, ирония пряталась в прищуренных глазах и уголках рта; в университете, который он, судя по всему, недавно закончил, ибо еще продолжал носить студенческий картуз с дубовыми листьями, он, верно, доставлял немало хлопот «филистерам» и был заводилой среди «буршей» и «лисов».

По тому, что он не отходил от избранного им участка аллеи, можно было догадаться, что он кого-то ждет и что этот кто-то скорее всего дама, ибо венский Королевский сад в ноябре мало подходит для деловых свиданий.

И правда, вскоре в конце аллеи показалась девушка: из-под ее черной шелковой шляпки выбивались густые светлые волосы, слегка развившиеся от вечерней сырости; лицо ее, обыкновенно белое как воск, от легкого морозца приобрело оттенок чайной розы. Сжавшаяся и съежившаяся в своей длинной накидке с куньей оторочкой, она удивительно походила на статуэтку «Озябшая»; ее сопровождал

черный пудель, удобный спутник, на чью снисходительность и скромность всегда можно положиться.

— Вообразите, Генрих, — сказала прекрасная венка, опершись на руку молодого человека, — я оделась и собралась больше часа назад, но моя тетушка все никак не отпускала меня, она все говорила и говорила: об опасностях вальса, о рецептах новогодних пирожных, о карпах в вине. Я ускользнула, сказав, что иду покупать серые ботинки, хотя они мне вовсе не нужны. Это из-за вас, Генрих, мне приходится прибегать к мелкой лжи, в которой я раскаиваюсь, чтобы потом начать все сначала; а все оттого, что вы вдруг решили посвятить себя театру! Стоило ради этого так долго изучать теологию в Гейдельберге! Мои родители любили вас, и сегодня мы уже были бы мужем и женой. Вместо того чтобы встречаться украдкой под облетевшими деревьями Королевского сада, мы сидели бы рядышком у красивой саксонской печки, плотно затворив двери гостиной, и беседовали о будущем наших детей; как это было бы славно, не правда ли, Генрих?

— Да, Кати, славно, — отвечал молодой человек, сжимая через атлас и меха пухленькую ручку прекрасной венки, — но что делать! Это неодолимая сила; театр влечет меня к себе; я мечтаю о нем днем, грежу по ночам; мне хочется жить в творениях поэтов, мне кажется, у меня двадцать судеб. Каждая новая роль дарит мне новую жизнь; я испытываю все страсти, какие изображаю: я Гамлет, Отелло, Карл Моор; когда эти роли входят тебе в плоть и кровь, очень трудно смириться с участью деревенского пастора.

— Все это замечательно, но вы прекрасно знаете, что мои родители ни за что не согласятся выдать меня за актера.

— Конечно, они не согласятся, чтобы их зятем стал безвестный актер, бедный бродячий артист, всецело зависящий от директоров и публики, но великого артиста, оваянного славой, всюду встречаемого рукоплесканиями, гораздо более богатого, чем пастор, они при всей своей разборчивости согласятся назвать своим зятем. Когда я приеду просить вашей руки в красивой желтой карете, такой блестящей, что удивленные соседи смогут смотреться в нее, как в зеркало, и рослый ливрейный лакей откинет подножку, разве они откажут мне, Кати?

— Вряд ли... Но кто сказал, Генрих, что это когда-нибудь произойдет?.. У вас есть талант, но таланта мало, нужна еще удача. Когда ваши надежды сбудутся и вы станете великим артистом, золотая

пора нашей юности уйдет, захотите ли вы тогда взять в жены старушку Кати — ведь вашей любви будут добиваться все эти театральные дивы, такие веселые и нарядные.

— Счастливое будущее, — отвечал Генрих, — не за горами; у меня выгодный ангажемент в театре у Каринтийской заставы, и директор так доволен моей игрой, что выдал мне в награду две тысячи талеров.

— Ваша последняя роль, — возразила девушка с серьезным видом, — роль черта в новой пьесе; признаюсь вам, Генрих, что мне неприятно видеть христианина в маске врага рода человеческого и слышать из его уст богохульства. На днях я была в театре и видела вас в этой роли: скажу честно, я все время боялась, что из люка, в который вы проваливаетесь, вдруг вырвется настоящее адское пламя. Я вернулась домой в полном смятении, и мне снились страшные сны.

— Пустое, милая Кати; впрочем, завтра последнее представление, и больше ты меня никогда не увидишь в черно-красном костюме, который тебе так не нравится.

— Тем лучше! Мне отчего-то тревожно, и я не на шутку боюсь, что роль эта принесет вам славу, но лишит вас вечного спасения. А еще я боюсь, как бы вы не переняли дурные нравы этих проклятых артистов. Я уверена, что вы перестали молиться, и могу поручиться, что вы потеряли крестик, который я вам подарила.

В оправдание Генрих распахнул свой редингот; крестик по-прежнему сиял у него на груди.

Продолжая беседовать, двое влюбленных дошли до улицы Табора в Леопольдштадте и остановились перед лавочкой сапожника, славящегося умением изготавливать серые ботинки; после недолгого разговора на пороге Кати в сопровождении черного пуделя вошла в лавку, не преминув протянуть Генриху для пожатия свои прелестные тонкие пальчики.

Генрих попытался напоследок разглядеть свою возлюбленную через изящные туфельки и красивые башмаки, симметрично расставленные на медных рейках в витрине, однако стекла запотели от влажного дыхания тумана, и он смог различить лишь неясный силуэт; тогда, приняв героическое решение, он повернулся на каблуках и твердым шагом направился в кабачок «Двуглавый орел».

2. КАБАЧОК «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ»

В этот вечер в кабачке «Двуглавый орел» собралась большая компания; общество было самое пестрое: даже прихотливое воображение Калло и Гойи вместе взятых не могло бы породить более причудливого смешения различных характерных типов. «Двуглавый орел» был одним из тех благословенных погребков, прославленных Гофманом, чьи ступеньки так стерлись, так залоснились и стали такими скользкими, что, ступив на первую, вы тотчас обнаруживали себя внизу, в зале, положившим локти на стол, покуривающим трубку и потягивающим пиво и молодое вино.

Сквозь густые клубы дыма, который поначалу сжимал вам горло и щипал глаза, через несколько минут становились видны самые разнообразные и причудливые лица.

Здесь были валахи в кафтанах и каракулевых шапках; сербы; усатые венгры в доломанах с позументом; горбоносые богемцы с медными лицами и низким лбом; добропорядочные немцы в рединготах с обшитыми шнуром петлицами, татары с раскосыми, как у китайцев, глазами — одним словом, посланцы всех народов мира! Восток был представлен толстым турком, который, сидя на корточках в углу, мирно курил трубку с черешневым чубуком, красной глиняной головкой и янтарным мундштуком.

Все это общество, облокотившись на столы, ело и пило: пило хмельное пиво и молодое красное вино вперемешку с белым выдержанным, ело ломтики холодной телятины или окорока да сладкое.

Между столами без устали кружились пары: то был один из нескончаемых немецких вальсов, производивших на воображение северных людей такое же действие, как гашиш и опиум на воображение людей восточных; в вихре танца под мелодию Ланнера пара быстро проносилась за парой; женщины, изнемогая от наслаждения в объятиях партнера, взметали юбками облака трубочного дыма и обмахивали лица пьющих. У стойки морлакские сказители, аккомпанируя себе на гуслях, декламировали некую

печальную балладу в лицах, которая, судя по всему, изрядно занимала дюжину странных лиц в красных фесках и в бурках.

Генрих прошел в глубь погребка и подсел к трем или четырем друзьям, которые уже сидели за столом с радостными лицами и в приятном расположении духа.

— Смотри-ка, Генрих! — воскликнул старший из компании. — Берегитесь, друзья мои: *foenum habet in cornu*.^[34] Известно ли тебе, что на сцене ты и вправду был вылитый черт — я чуть не испугался. Никак не могу уразуметь, как это Генрих, который пьет пиво вместе с нами и никогда не отказывается от холодной телятины, принимает вдруг такой язвительный, злой и сардонический вид и как это от одного его движения у всего зала по спине пробегает холодок?

— Эх! черт побери! Потому-то Генрих и великий артист, это и есть высокое искусство. Так ли трудно играть человека, который на вас похож? Самое трудное для кокетки — играть роли простушек.

Генрих скромно сел и заказал большой стакан смешанного вина; друзья его продолжали обсуждать тот же предмет, не скупясь на восторги и комплименты.

— Ах! если бы тебя видел великий Вольфганг Гете!

— Покажи-ка ноги! — говорил другой, — ручаюсь, у тебя раздвоенное копыто.

Другие посетители, привлеченные этими восклицаниями, пристально рассматривали Генриха, радуясь возможности увидеть вблизи столь замечательного человека. Молодые люди, которые помнили Генриха по университету и которых он едва знал по имени, подходили к нему и сердечно пожимали руку, словно близкие друзья. Самые красивые из вальсирующих дам мимоходом дарили ему нежнейшие взгляды своих голубых бархатных глаз.

Только один человек, сидящий за соседним столиком, казалось, не разделял общего воодушевления: запрокинув голову, он рассеянно барабанил пальцами по дну своей шляпы военный марш и время от времени с большим сомнением произносил «гм-гм».

Человек этот имел престранный вид, хотя и был одет как добропорядочный венский буржуа, владеющий значительным состоянием; его серые с зеленым отливом глаза светились фосфорическим блеском, как у кошки. Когда он разжимал свои тонкие бледные губы, за ними виднелись два ряда очень белых, очень острых

и очень редких зубов самого людоедского и хищного вида; длинные ногти, блестящие и загнутые, несколько походили на когти; но такой облик проглядывал лишь изредка; стоило кому-нибудь остановить взгляд на незнакомце, и он тотчас вновь превращался в благодушного венского купца, удалившегося от дел, — и наблюдатель удивлялся, как это он мог предположить в человеке столь заурядной наружности коварство и чертовщину.

В глубине души Генрих был уязвлен небрежением незнакомца; его презрительное молчание снижало цену похвал, которыми осыпали его шумные сотрапезники. Это молчание было молчанием старого знатока, которого не проведешь и который и не такое видел в своей долгой жизни.

Атмайер, самый молодой из компании и самый пылкий поклонник Генриха, не в силах выносить такое равнодушие, сказал, обращаясь к странному человеку и как бы ища его согласия:

— Не правда ли, сударь, нет актера, который лучше сыграл бы роль Мефистофеля, чем мой друг? — и он указал на Генриха.

— Гм, — отвечал незнакомец, сверкнув своими зеленоватыми глазами и скрипнув острыми зубами, — господин Генрих парень талантливый, и я его весьма уважаю, но для роли черта ему еще многого не хватает.

И, резко вставая, спросил:

— Вы когда-нибудь видели черта, господин Генрих?

Он задал свой вопрос столь странным и насмешливым тоном, что у всех присутствующих по спине пробежал холодок.

— Меж тем без этого вам решительно невозможно добиться правдивости в игре. На днях я побывал в театре у Каринтийской заставы и слышал, как вы смеетесь; ваш смех оставляет желать лучшего, это смех проказника, не более того. Вот как следует смеяться, почтеннейший господин Генрих.

При этих словах он, словно желая показать пример, разразился таким резким, пронзительным, сардоническим смехом, что музыка и танцы разом прекратились, стекла кабачка задрожали. Незнакомец несколько минут продолжал беспощадно и судорожно смеяться, причем Генрих и его друзья, несмотря на свой испуг, невольно стали вторить ему.

Когда Генрих перевел дух, под сводами кабачка еще звучало слабое эхо последних раскатов этого жуткого пронзительного хохота, но незнакомец уже исчез.

Через несколько дней после этого странного случая, о котором Генрих почти забыл, а если и вспоминал, то не иначе как о шутке ироничного буржуа, юноша снова вышел на сцену в роли черта в новой пьесе.

В первом ряду партера сидел незнакомец из кабачка и при каждом слове Генриха качал головой, подмигивал, цокал языком и проявлял признаки живейшего нетерпения. «Скверно! Скверно!» — вполголоса бормотал он.

Его соседи, удивленные и шокированные его манерами, хлопали и говорили:

— Вот придира!

После первого действия незнакомец, словно приняв внезапное решение, встал, перешагнул через цимбалы, большой барабан и тамтам и скрылся за маленькой дверцей, которая ведет из оркестровой ямы на сцену.

В ожидании, пока поднимется занавес, Генрих прохаживался взад-вперед за кулисами; каков же был его ужас, когда, дойдя до конца кулисы, он обернулся и увидел, что посреди узкого коридора стоит таинственный персонаж, одетый точь-в-точь как он, и смотрит на него прозрачными зеленоватыми глазами, которые в темноте казались бездонными; острые, белые, редкие зубы придавали его сардонической улыбке нечто хищное.

Генрих не мог не узнать незнакомца из кабачка «Двуглавый орел», вернее, черта собственной персоной, ибо это был он.

— Ну и ну, сударь мой! Вы желаете играть роль черта! В первом действии вы были весьма посредственны и, право, из-за вас у славных жителей Вены сложилось бы обо мне слишком плохое мнение. Позвольте мне заменить вас сегодня вечером, а поскольку вы стали бы меня стеснять, я отправлю вас вниз.

Генрих узнал ангела тьмы и понял, что пропал; машинально поднеся руку к подаренному Кати маленькому крестику, с которым он никогда не расставался, он попытался позвать на помощь и прошептать заклятие против злых духов, но ужас сдавил ему горло: он издал лишь слабый хрип. Черт оперся своими когтистыми лапами на

плечи Генриха и силой столкнул его в подпол; затем, когда подошел его черед, вышел на сцену, как многоопытный актер.

Эта резкая, едкая, ядовитая и поистине дьявольская игра сразу поразила слушателей.

— Генрих сегодня в ударе! — слышалось со всех сторон.

Самое большое впечатление произвел пронзительный смех, похожий на скрип пилы, этот смех проклятого, поносящего райские наслаждения. Никогда еще актер не достигал такой силы сарказма, таких глубин коварства: зрители смеялись и трепетали. Весь зал затаил дыхание от волнения, из-под пальцев грозного актера сыпались искры, огненные стрелы сверкали у его ног, свет люстры померк, рампа метала красноватые и зеленоватые молнии, по залу разнесся некий запах, очень напоминающий запах серы, зрители были словно в бреду, и громкие рукоплескания отмечали каждую фразу изумительного Мефистофеля, который часто заменял стихи поэта стихами собственного сочинения, причем всякий раз так удачно, что приводил публику в полный восторг.

Кати, которой Генрих послал пригласительный билет в ложу, была в чрезвычайной тревоге: она не узнавала своего дорогого Генриха, она смутно предчувствовала какое-то несчастье, ибо любовь, это второе зрение души, обладает провидческим даром.

Представление завершилось с невообразимым успехом. Когда занавес опустился, публика громкими криками вызывала Мефистофеля. Его искали, но тщетно; некоторое время спустя театральный курьер доложил директору, что внизу, в подвале, нашли господина Генриха, который, верно, провалился в люк. Генрих был без чувств. Его отнесли домой; когда его раздевали, то заметили у него на плечах глубокие царапины, словно его душил тигр. Маленький серебряный крестик — подарок Кати — уберег юношу от смерти, и черт, смирившись перед этой святыней, ограничился тем, что низверг его в театральные подземелья.

Генрих поправлялся медленно; как только ему стало лучше, к нему пришел директор театра и предложил очень выгодный ангажемент, но Генрих отказался, ибо он ни в коем случае не хотел вторично рисковать своим спасением; впрочем, он понимал, что никогда не сможет сравняться со своим страшным двойником.

Через два или три года, получив небольшое наследство, он женился на красавице Кати, и, плотно затворив двери гостиной, они сидят рядышком у саксонской печки и беседуют о будущем своих детей.

Театральные завсегдатаи и поныне с восхищением вспоминают этот чудесный вечер и удивляются капризу Генриха, который ушел с подмостков после такого шумного успеха.

ТЫСЯЧА ВТОРАЯ НОЧЬ

В тот день я никого не принимал; еще с утра твердо решив ничего не делать, я хотел без помех предаться этому важному занятию. Зная, что докучный посетитель (они бывают не только в комедиях Мольера) не потревожит меня, я все устроил так, чтобы не спеша, вволю насладиться своим излюбленным удовольствием.

Яркое пламя пылало в камине; сквозь сомкнутые занавески пробивался мягкий рассеянный свет, подушки — а их было с полдюжины — устлали ковер, и я уютно разлегся у огня, поодаль от вертела с жарким, и, покачивая ногой, смотрел, как приплясывает, свисая с носка, широкая марокканская туфля — желтая, расшитая блестками, затейливого фасона; кот, подобно коту пророка Магомета, прикорнул у меня на рукаве, и я бы не пошевелился ни за какие блага.

Глаза мои, уже затуманенные восхитительной дремой, которая охватывает тебя, когда не хочется думать, рассеянно блуждали, глядя и не глядя, по прекрасному эскизу Камилля Рокплана «Кающаяся Магдалина в пустыне», строгому рисунку пером д'Алиньи, большому полотну четырех неразлучных — Фешера, Сешана, Диетерля и Деплешена, — всему этому богатству и славе моего жилья, обители поэта; ощущение действительности мало-помалу покидало меня, и я все глубже погружался в волны бездонного моря небытия, где столько восточных мечтателей потопили разум, уже подточенный гашишем и опиумом.

В комнате царила нерушимая тишина; я заранее остановил часы — не хотелось слышать, как тикает маятник, как бьется этот пульс вечности, ибо, упиваясь бездельем, я не переносу бессмысленную и лихорадочную суетню желтого медного диска, который снует из угла в угол по клетке, беспрерывно двигается, не продвигаясь ни на шаг.

И вдруг — пронзительный звонок: «дзинь, дзинь» — резкий звук, невыносимо звонкий, ворвался в безмятежный покой, — так капля расплавленного олова с треском упала бы в сонное озеро; я вздрогнул, выпрямился и, забыв про кота, что свернулся клубком на моем рукаве, вскочил, словно подброшенный пружиной, посылая ко всем чертям безмозглого привратника, который пропустил кого-то вопреки приказу;

затем снова сел. Но едва я пришел в себя от нервного потрясения и поправил подушки, на которые облокачивался, меня снова потревожили: за дверью слышались чьи-то уверенные шаги.

Дверь приоткрыли, и в щель просунулась лохматая голова Адольфо Франческо Пержиаллы, — разбойника-абиссинца, в услужение к которому я попал из-за тщеславного желания иметь слугу-негра. Белки его глаз сверкали, приплюснутый нос распластался до невероятия, толстые губы растянулись в широкой улыбке, которая должна была изображать лукавство, зубы оскалились, как у ньюфаундленда. Он готов был выскочить из своей черной кожи, лишь бы поскорее заговорить, и строил невообразимые гримасы, стараясь привлечь мое внимание.

— В чем дело, Франческо? Хоть целый час вращайте своими эмалевыми глазами, как бронзовый негр, в животе у которого запрятаны часы, все равно я так ничего и не пойму. Довольно пантомимы. Постарайтесь рассказать на любом наречии, что происходит и кто вторгся в самые недра моего ничегонеделания?

Надобно вам сказать, что Адольфо Франческо Пержиалла-Абдула-Бен-Мухамед, абиссинец по рождению, некогда магометанин, а ныне христианин, знал все языки на свете, но вразумительно не говорил ни на одном. Начинал он по-французски, продолжал по-итальянски, а кончал по-турецки или арабски, особенно когда по ходу разговора оказывался в затруднительном положении, если, скажем, речь заходила о бутылке бордо, ямайского ликера или лакомства, безвременно исчезнувших. По счастью, у меня есть друзья-полиглоты, и в таких случаях мы сначала гоняем его по Европе, пока он не вычерпает все, что может, из итальянского, испанского и немецкого, и не удерет от нас в Константинополь, перейдя на турецкий, но тут за него берется Альфред, и Франческо, видя, что его припирают к стенке, перепрыгивает в Алжир, а здесь его перехватывает Эжен, заставляет перебрать все диалекты арабского — от выпренного книжного языка до просторечья; тогда он очертя голову бросается в бамбара, в галла и прочие диалекты внутренних областей Африки, и только Абади, Конб и Гамузье могут с ним справиться. Но на этот раз он бойко ответил на испанском — весьма посредственном, но вполне вразумительном.

— Uno mujer muy bonita con su hermana quien quiere hablar á usted.

— Проси их войти, если они молоды и красивы, а если нет, скажи, что я занят.

Плут, который прекрасно все понимал, исчез и мигом вернулся в сопровождении двух женщин, облаченных в широкие белые бурнусы с опущенными капюшонами.

Я самым учтивым образом придвинул дамам два кресла, но, заметив ворох подушек, они движением руки дали понять, что благодарят меня, и, сбросив бурнусы, уселись на ковер, скрестив ноги по восточному обычаю.

Той, что сидела против меня в солнечных лучах, проникавших в щелку между занавесками, — было, пожалуй, лет двадцать; другая, не такая красивая, казалась постарше; займемся же той, что красивее.

Она была одета на турецкий лад, и наряд был роскошный: зеленая бархатная курточка, вся изукрашенная вышивкой, обхватывала ее тонкий стан, газовая полосатая блузка с полукруглым вырезом, застегнутая на две алмазные пуговицы, не скрывала грудь, белоснежную и превосходно выточенную; белый атласный платок в звездной россыпи блесток служил поясом, широкие пышные шаровары доходили до колен, бархатные гетры, расшитые на албанский манер, обтягивали ее стройные изящные ножки, а прелестные обнаженные ступни прятались в крохотных туфельках из стеганого марокена, расшитых золотым тканьем; оранжевый кафтан, затканый серебряными цветами, пунцовая феска, украшенная длинной шелковой кистью, дополняли наряд, весьма неподходящий для визитов в Париже в тот злополучный 1842 год.

Лицо же ее отличалось той непогрешимой красотой, которую встречаешь на востоке. На матово-белом фоне, подобном неотшлифованному мрамору, как два черных цветка таинственно цвели прекрасные глаза, ясные и бездонные, они смотрели из-под удлинненных век, подкрашенных хною. Казалось, гостя была чем-то озабочена; одной рукой она держалась за ногу, как это принято на Востоке, а другой поглаживала косу, отягченную просверленными посредине цехинами, лентами и султанами из жемчуга.

Ее спутница, одетая не так роскошно, сидела молча и неподвижно. Вспомнив, что в Париже сейчас находятся баядерки, я принял ее за танцовщицу из Каира, — знакомую моего друга Доза, египтянку, которая, прослышав, какой прием я оказал прекрасной

Амани и ее спутницам-смуглянкам Сандируне и Рангуне, явилась ко мне, журналисту, заручиться покровительством.

— Сударыни, чем могу быть полезен? — обратился я к ним, поднося руки к ушам и пытаюсь изобразить почтительный салям.

Красавица турчанка возвела очи к потолку, потом, озадаченно взглянув на сестру, уставилась в ковер. Она не понимала ни слова по-французски.

— Эй, Франческо, плут, прощелыга, бездельник, сюда, обезьянье отродье, хоть раз в жизни окажи услугу!

Франческо не спеша приблизился, напустив на себя важность.

— Раз ты так скверно говоришь по-французски, значит, должен хорошо говорить по-арабски и сейчас будешь играть роль толмача для этих вот дам и меня. Возвожу тебя в сан переводчика; прежде всего спроси у прекрасных чужестранок, кто они, откуда явились и что им угодно.

Умолчу о том, какие рожи корчил Франческо, и приведу разговор так, будто шел он по-французски.

— Сударь, — молвила красавица турчанка устами переводчика-негра, — вы — литератор и, должно быть, читали арабские сказки «Тысяча и одна ночь», которые не перевел, а довольно неуклюже пересказал милейший господин Галлан, и имя Шахразады вам неизвестно?

— Прекрасной Шахразады, жены хитроумного султана Шахрияра, который, дабы избежать измены, по вечерам женился, а по утрам повелевал обезглавить супругу? Знаю превосходно.

— Так вот, я — султанша Шахразада, а это моя любезная сестра Динарзарда, твердившая еженощно: «Сестрица, пока не рассветет, расскажи одну из тех дивных сказок, которые ты знаешь».

— Счастлив вас видеть, хотя ваше появление почти неправдоподобно; так чем же я, бедный поэт, обязан высокой чести принимать султаншу Шахразаду и ее сестру Динарзарду?

— Дело в том, что мне пришлось рассказывать каждый вечер, и в конце концов запас сказок истощился; я все поведала, что знала, исчерпала весь мир чудесного — вампиры, джинны, чародеи и чародейки оказали мне большую услугу, но все иссякает, даже невероятное, и достославный султан — тень падишаха, свет света, луна и солнце Полуденного царства — стал зловеще зевать и теревить

рукоятку сабли; нынче утром я рассказала ему последнюю историю, и мой великий повелитель смилостивился и пока еще не приказал меня обезглавить; с помощью ковра-самолета, четырех факарденов я и примчалась сюда, разыскать сказку, повесть или новеллу к завтрашнему утру, к тому часу, когда по призыву сестры Динарзарды я рассказываю что-нибудь великому Шахрияру, вершителю моей судьбы; глупец Галлан в обман ввел весь свет, утверждая, будто после тысячи и одной ночи султан, очарованный сказками, помиловал меня; ничуть не бывало: он все больше и больше жаждет сказок, и только любопытство может противоборствовать его жестокости.

— Ваш султан Шахрияр, бедненькая моя Шахразада, здорово смахивает на нашу публику: только перестанешь ее забавлять, как она хоть и не обезглавливает нас, зато просто о нас забывает, что ничуть не менее жестоко. Ваша участь меня трогает, но что я могу для вас сделать?

— У вас, вероятно, есть под рукой какие-нибудь фельетоны, истории. Дайте мне что-нибудь!

— О чем вы просите, прекрасная султанша? У меня нет ни строчки, — ведь я работаю, когда есть нечего, ибо, как сказал Персий: «Fames facit poëtrias picas».^[36] А пока денег мне хватит на три обеда. Пойдите к Карру, если вам удастся проникнуть к нему сквозь рой пчелок, жужжащих и бьющих крыльями около подъезда и перед окнами; его сердце хранит изящные любовные истории — он поведаст вам о них в свободную минуту — между уроком бокса и призывом охотничьего рога; или подождите, пока Жюль Жанен закончит несколько столбцов фельетона и тогда на ходу симпровизирует такую историю, какая вашему султану Шахрияру и не снилась.

Бедняжка Шахразада возвела свои миндалевидные очи, подкрашенные хною, к потолку, взгляд ее был таким нежным, блестящим и умоляющим, что я растрогался и принял великое решение:

— Хорошо. Есть у меня один сюжетик — я собирался сделать рассказ; я сейчас, сударыня, его продиктую, а вы переведете его на арабский язык, расцветив всеми недостающими красками и перлами поэзии. Заглавие уже найдено, назовем нашу сказку: «Тысяча вторая ночь».

Шахразада взяла листок бумаги и стала быстро-пребыстро писать справа налево, по восточному обычаю. Нельзя было терять времени: ей надо было в тот же вечер очутиться в столице Самаркандского царства.

Жил-был в Каире, на площади Эсбекик молодой человек по имени Махмуд-Бен-Ахмед.

Родители его умерли уже несколько лет назад, завещав ему наследство, хотя и скромное, но такое, что трудиться не покладая рук ему не пришлось; иные попытались бы нагрузить товарами корабли или пристроить верблюдов, навьюченных драгоценными тканями, к каравану, что направляется из Багдада в Мекку; а Махмуд-Бен-Ахмед предпочитал жить спокойно, и не было у него большего удовольствия, чем покуривать кальян, лакомиться шербетом и уничтожать засахаренные фрукты из Дамаска.

Был он статен и хорош собою, но любовных приключений не искал и не раз отвечал тем, кто советовали ему жениться и сватали богатых и пригожих невест, что время еще не пришло и обзаводиться женою он не намерен.

Махмуд-Бен-Ахмед получил хорошее образование: он бегло читал самые древние книги, писал красивым почерком, знал наизусть строфы из Корана, толкования комментаторов и на память, не пропуская ни строчки, читал «Муаллаки» знаменитых поэтов, стихи которых вывешены у ворот мечетей; был он отчасти и сам поэт и охотно сочинял звучные и рифмованные строфы, которые декламировал с изяществом и приятностью под музыку своего сочинения.

Махмуд-Бен-Ахмед столько курил свой кальян и столько мечтал в вечерней прохладе на мраморных плитах террасы, что стал несколько экзальтированным: он лелеял мечту стать возлюбленным пери или, на худой конец, принцессы королевской крови. Вот она, таинственная причина, заставлявшая его с таким равнодушием отказываться от сватовства и от предложений торговцев невольницами. Сносил он только общество своего двоюродного брата Абдул-Малека, мягкого и застенчивого молодого человека, разделявшего, казалось, его скромные вкусы.

Однажды Махмуд-Бен-Ахмед отправился на базар купить несколько флаконов атар-гуля и прочих константинопольских снадобий, в которых нуждался. На узкой-преузкой улочке повстречались ему крытые носилки, завешанные блекло-красным бархатным пологом; несли их два белых мула, впереди шествовали зебеки и евнухи в богатом одеянье. Он отступил к стене, пропуская шествие, но, хотя отпрянул стремительно, все же успел заметить через щелку между занавесками, разлетевшимися от порыва шального ветра, неопишемую красавицу, восседавшую на парчовых подушках. Красавица, доверясь непроницаемому занавесу, вообразив, что находится в укрытии от дерзких взглядов, из-за жары откинула покрывало. То было одно лишь мгновение, но и этого было достаточно, чтобы вскружить голову бедному Махмуд-Бен-Ахмеду: кожа на лице у дамы была ослепительная, белоснежная, брови — словно нарисованы кистью художника, рот — как цветок граната, приоткрываясь, он обнажал двойной ряд жемчужин Востока, и был этот жемчуг чище и прозрачнее, чем тот, что украшал браслеты и ожерелья любимой султанши; весь облик ее был обворожителен, величав и дышал несказанным благородством и царственностью.

Махмуд-Бен-Ахмед, зачарованный такой совершенной красотой, застыл в неподвижности и забыв, что вышел из дому за покупками, вернулся к себе с пустыми руками, унося в сердце чудное видение.

Всю ночь он думал о красавице незнакомке и, только поднялся, стал сочинять в честь ее длинное лирическое стихотворение, в котором расточались цветистые и наигалантнейшие сравнения.

Не зная, как быть, он закончил и переписал стихотворение на изысканном листе папируса, тщательно выведя прописные буквы красными чернилами, а заставки — золотом, вложил свиток в рукав и вышел, собираясь показать стихи своему другу Абдуле, от которого не скрывал ни единого своего помысла.

Шел он к дому Абдулы базаром и заглянул в лавку торговца благовониями — купить несколько флаконов атар-гуля. Там он застал прекрасную незнакомку, закутанную в длинное белое покрывало, — виднелся лишь левый глаз, и по единственному левому глазу Махмуд-Бен-Ахмед тотчас же узнал красавицу из паланкина. Его охватило такое волнение, что ему пришлось прислониться к стене.

Дама под белым покрывалом заметила, в какое смятение пришел Махмуд-Бен-Ахмед, и предупредительно спросила, что с ним, уж, случайно, не дурно ли ему?

Торговец, дама и Махмуд-Бен-Ахмед прошли в комнату за лавкой. Негритенок принес ему на подносе стакан ледяной воды, и Махмуд-Бен-Ахмед выпил несколько глотков.

— Почему вид мой произвел на вас такое сильное впечатление? — спросила она ласковым-преласковым голосом, и в тоне ее сквозило нежное участие.

Махмуд-Бен-Ахмед поведал ей, как он увидел ее возле мечети султана Хассана в тот миг, когда полог ее носилок чуть раздвинулся, и что с той поры он умирает от любви.

— Неужели ваша страсть родилась так внезапно? А я и не полагала, что любовь приходит так быстро. Я действительно та самая женщина, которую вы вчера встретили; я отправилась в баню на носилках — стояла удушливая жара, вот я и откинула покрывало. Но вы меня плохо разглядели, не так уж я хороша, как вы говорите.

С этими словами она откинула покрывало и открыла лицо, сияющее красотой до того совершенной, что даже зависть не могла бы найти ни малейшего недостатка.

Можете судить сами и вообразить, в какой восторг впал Махмуд-Бен-Ахмед от ее благосклонности. Он рассыпался в комплиментах, достоинством которых, довольно редким для комплиментов, была их неподдельная искренность и то, что они не грешили преувеличениями. Пока он говорил с большим жаром и пылом, свиток, на котором были начертаны стихи, выскользнул из рукава и упал на пол.

— А что это за бумага? — спросила дама. — По-моему, почерк очень хорош, и, видно, умелая рука.

— Это стихи, — весь вспыхнув, ответил молодой человек. — Нынче ночью я их сочинил в часы бессонницы. Я попытался прославить в них ваши совершенства; но копия далека от оригинала, в моих стихах нет алмазного блеска, а он необходим для воспевания блеска очей ваших.

Незнакомка внимательно прочла стихи и, пряча их за пояс, произнесла:

— Хоть лестно в них и много, но, право, написаны они недурно.

Затем она опустила покрывало и вышла из лавки, промолвив тоном, пронизавшим сердце Махмуд-Бен-Ахмеда:

— Иногда, возвращаясь из бани, я захожу в лавку к Бедредену купить масла и шкатулки с благовониями.

Торговец поздравил Махмуд-Бен-Ахмеда с успехом и, уведя его в глубь лавки, шепнул на ухо:

— Молоденькая госпожа не кто иная, как принцесса Айша, дочь калифа.

Махмуд-Бен-Ахмед пришел домой совершенно одурманенный своим счастьем, хотя и не смел в него верить. И все же, как он скромни был, он признался себе, что принцесса Айша смотрела на него приветливо. Случай — этот величайший сводник — осуществил самые дерзкие его мечты. Как же он поздравлял себя, что не поддался уговорам друзей, убеждавших его жениться, и не пленился обольстительными достоинствами, которые ему описывали старухи, — достоинствами девиц на выданье, обладающих, как известно, глазами газели, лицом, подобным полной луне, волосами, что длиннее хвоста Аль-Борака — кобылицы пророка, устами, подобными красной яшме, дыханьем, подобным аромату мускуса и амбры, и целым множеством других совершенств, исчезающих вместе с брачным покрывалом; он был счастлив, что свободен от пошлых связей и может весь отдаться пылкой страсти.

Он метался и ворочался на диване, пытаясь заснуть, но так и не уснул: образ принцессы Айши огненной птицей сверкал на фоне заходящего солнца, уплывая и снова всплывая перед его глазами. Не найдя покоя, он поднялся на один из балконов своего дома, отделанный кедром с чудесной резьбой, тех балконов, что сооружают на наружных стенах зданий в восточных городах, стремясь насладиться на них свежестью и сквозным ветерком, что всегда гуляет по улицам; сон все не шел к нему — ведь сон подобен счастью: он бежит, когда его ищут; и чтобы успокоить душу созерцанием безмятежной ночи, Махмуд-Бен-Ахмед прихватил кальян и вышел на верхнюю террасу дома.

Свежий ночной воздух, красота неба, сплошь усыпанного золотыми блестками, — их было больше, чем на одеянии пери, и луна, показывающая свой серебристый лик, словно бледная от любви султанша, припавшая к зарешеченному оконцу садовой беседки, — все

это оказало благотворное действие на Махмуд-Бен-Ахмеда, ибо был он поэтом и не мог остаться равнодушным к чарующему зрелищу, представшему его взорам.

С высоты перед ним расстился Каир, будто один из тех рельефных планов, на которых гяуры воспроизводят крепостные стены. Террасы, обрамленные вазонами с сочной зеленью и пестревшие коврами, площади, где поблескивали воды Нила, ибо была пора разлива, сады, где выделялись купами то пальмы, то рожковые деревья, то индийские смоковницы; здания, словно островки, изрезанные узкими улочками, оловянные купола мечетей, изящные ажурные минареты, словно безделушки из слоновой кости, игра света и тени на углах дворцовых стен, — словом, все создавало картину, услаждающую взор. Пепельные оттенки песков, покрывающих равнину, сливались вдали с опаловыми отсветами на небосклоне, а три пирамиды Гизеа, смутно очерченные голубоватым светом, вырисовывались на самом горизонте исполинским каменным треугольником.

Сидя на изразцовом полу, обвитый мягкой и извилистой трубкой кальяна, Махмуд-Бен-Ахмед старался рассмотреть в прозрачных сумерках отдаленную громаду дворца, где почивала прекрасная Айша. Глубокая тишина царила над всей этой картиной, право, будто нарисованной, ибо ничто — ни дуновение, ни шорох не свидетельствовало о том, что где-то тут есть живое существо, только внятно слышалось, как в кальяне Махмуд-Бен-Ахмеда белый дым с бульканьем пробивается из хрустального шара с водой, чтобы охлаждать затяжки. И вдруг в тишину ворвался пронзительный крик, крик несказанного отчаяния — так, должно быть, кричит на берегу ручья антилопа, чувствуя, что лев вот-вот вонзит когти ей в шею или пасть крокодила поглотит ее голову. Махмуд-Бен-Ахмед, испуганный таким тревожным, таким безнадежным воплем, мигом вскочил на ноги, невольно схватился за эфес ятагана и взмахнул клинком, выхватив его из ножен. Потом стал пристально всматриваться в ту сторону, откуда донесся крик.

Во тьме, на довольно далеком расстоянии, он все же увидел нечто удивительное и непонятное: фигуру в белом, а за нею свору преследователей в черном, диковинных страшных существ, которые мчались, яростно размахивая руками. Тоненькая фигурка в белом

словно перелетала над крышами домов, но расстояние, разделявшее ее и преследователей, было так невелико, что за нее было страшно: казалось, вот-вот ее настигнут, если погоня продолжится и никто не поспешит на помощь. Махмуд-Бен-Ахмед решил сначала, что это пери, за которой гонится скопище вампиров, — как известно, они вонзают в трупы свои огромные, острые зубы, или джиннов с дряблыми перепончатыми крыльями, когтистых, как летучие мыши; он вынул из кармана комболуао — амулет из крапчатых семян алоэ — и стал произносить, как заклинания, девяносто девять имен аллаха. Не дойдя до двадцати, он остановился.

Нет, не пери, не сверхъестественное существо мчалось, перескакивая с террасы на террасу, перепрыгивая улицы в четыре-пять футов шириною, улицы, пересекающие скученные кварталы восточных городов. То была женщина, а джинны — просто-напросто зебеки и евнухи, разъяренные погоней.

Две-три террасы и улица еще отделяли беглянку от плоской крыши, где стоял Махмуд-Бен-Ахмед, но силы, казалось, ей изменяют; она судорожно повернула голову, взглянула через плечо и, увидя, что злые преследователи совсем рядом, сделала отчаянный прыжок, будто загнанная лошадь, в бок которой вонзается шпора, и перелетела через улицу, отделявшую ее от врагов.

В своем полете она коснулась Махмуд-Бен-Ахмеда; но луна скрылась за тучами, и беглянка даже не заметила его, — она бросилась на тот конец террасы, что выходил на другую улицу, пошире, чем та, первая, через которую она перемахнула. В отчаянии, понимая, что эту улицу ей не перепрыгнуть, она стала искать глазами уголок, где бы укрыться, и, обнаружив большую мраморную вазу, спряталась в ней, словно дух в чашечке лилии.

Разъяренные преследователи стремительно ворвались на террасу, казалось, это летят сами дьяволы. Страшные лица — у кого медно-красное, у кого черное, с длинными усами или безбородое; сверкающие глаза, руки, сжимающие кинжалы и дамасские сабли, ярость на грубых и кровожадных физиономиях на какой-то миг испугали Махмуд-Бен-Ахмеда, хотя он и был человеком храбрым, ловким в обращении с оружием. Они осмотрели пустую террасу и, не увидев беглянки, разумеется, решили, что она перепрыгнула и вторую

улицу, и продолжали погоню, не обратив ровно никакого внимания на Махмуд-Бен-Ахмеда.

Когда вдали заглохли бряцание оружия и шум шагов по плитам террасы, из вазы показалось хорошенькое бледное личико беглянки — она оглянулась по сторонам, как испуганная антилопа; затем появились плечи, и вот она поднялась во весь рост — прекрасный пестик большого мраморного цветка; не видя никого, кроме Махмуд-Бен-Ахмеда, который улыбался и знаками показывал, что бояться ей нечего, она вышла из вазы и бросилась к молодому человеку с самым смиренным видом, умоляюще протягивая к нему руки.

— Пощадите, сжальтесь, господин мой, спасите меня, отведите в самый укромный уголок вашего дома, спрячьте от этих демонов, моих преследователей.

Махмуд-Бен-Ахмед взял ее за руку, и они спустились по лестнице с террасы; он тщательно закрыл за собой дверь и отвел беглянку в свою спальню. Он зажег лампу и тут только увидел, что беглянка молода, о чем он уже догадался по серебристому тембру ее голоса, и прекрасна, что его тоже не удивило, ибо при свете звезд он заметил, как строен ее стан. Очевидно, было ей не больше пятнадцати лет. Прелестное бледное лицо освещали огромные черные глаза, продолговатые, как миндаль, уголки их доходили до висков; точеный изящный носик придавал неизъяснимое благородство ее профилю и мог бы вызвать зависть самой прекрасной девушки с островов Хиоса или Кипра и соперничать красотой с профилем мраморных богинь, которым поклонялись древние греки — язычники. Шея была прелестна, белоснежна, и только на затылке краснела узенькая полоска с тончайший волосок или шелковую нить; крохотные капельки крови просачивались из этой алой линии. Одета она была просто — в курточку, украшенную шелковой тесьмой, муслиновые шаровары и пестрый пояс; грудь ее то поднималась, то опускалась под рубашкой из полосатого газа, — она все еще не могла отдышаться, еще не успела опомниться от страха.

Но вот она немного передохнула и успокоилась и, преклонив колени перед Махмуд-Бен-Ахмедом, рассказала весьма складно свою историю:

— Я была рабыней в серале богача Абу-Бекера и совершила проступок, передав любимой его жене селям-послание из цветов от

молодого эмира, прекрасного собою, с которым ее связывали узы любви. Султан, выведав о селяме, пришел в неслыханную ярость и повелел любимую его султаншу вместе с двумя кошками защитить в кожаный мешок и бросить в воду, а меня — обезглавить. Кизляру — начальнику евнухов поручили исполнить приказ, но я воспользовалась сумятицей и ужасом, обуявшим сераль из-за чудовищной казни, на которую обрекли бедняжку Нурмагаль, и, заметив, что дверь на террасу отворена, убежала. Побег обнаружился, и тотчас же черные евнухи, зебеки и албанцы, находящиеся на службе у моего господина, бросились за мной. Один из них, Мезрур, домогательства которого я всегда отвергала, гнался за мной по пятам с дамаской саблей и чуть-чуть не настиг меня — я даже почувствовала, как лезвие сабли коснулось кожи, и вот тут-то я закричала, и мой отчаянный вопль вы, должно быть, и услышали; ведь я подумала, сознаюсь вам, что пришел мой последний час. Но нет бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его; ангел Азраил еще не был готов отнести меня к мосту Алзиратскому. Теперь у меня только на вас одного надежда. Абу-Бекер могуществен, он прикажет меня разыскать, и если найдет, то на этот раз рука Мезрура не дрогнет и его дамаская сабля не ограничится царапиной на моей шее, — проговорила она с усмешкой, проведя рукой по еле заметной розовой полоске, нанесенной саблей зебека. — Сделайте меня своей рабыней. Я посвящу вам всю свою жизнь, которой я обязана вам. На мое плечо вы всегда сможете опереться, а волосами моими стирать пыль со своих сандалий.

Махмуд-Бен-Ахмед по натуре своей был весьма сострадательным человеком, как и все те, кто изучал литературу и поэзию. Лейла, — так звали беглянку-рабыню, — выражалась изысканным языком; она была молодой, красивой, да если б этого и не было, человеколюбие не позволило бы прогнать ее. Махмуд-Бен-Ахмед указал молодой рабыне на персидский ковер и ворох шелковых подушек в углу комнаты и на столик с финиками, засахаренными лимонами и сухим вареньем из константинопольских роз — легким ужином, к которому он, погруженный в свои думы, и не притронулся; кроме того, на блюдах из японского фарфора стояли два кувшина для охлаждения воды, сделанные из пористой фиванской глины, сквозь которую едва проступали жемчужные капельки влаги. Устроив так на время Лейлу, он снова поднялся на террасу — докурить кальян и подыскать

последнее созвучие к газели в честь принцессы Айши; за право попасть в эти двустежистые подняли спор лилии Ирана, цветы Гюлистана, звезды и все небесные светила.

Наутро, как только забрезжил свет, Махмуд-Бен-Ахмед обнаружил, что нет у него ни благовоний, ни подушечки с росным ладаном, ни циветты, а шелковый, весь расшитый золотом и усыпанный блестками кошелек, где он держал свои латакие, разорвался и пора уже заменить его другим — побогаче да поизысканнее. Еле выкроив время для омовения и для молитвы, которую он прочел, обернувшись к востоку, он вышел из дома, переписав стихи и уложив их в рукав, как в прошлый раз, но он уже и не думал показывать их своему другу Абдуле, а решил передать самой принцессе Айше, если встретится с ней на базаре или в лавке Бедредена. Муэдзины, взобравшись на балкон, опоясывающий минарет, возвещали еще только пятый час. На улицах виднелись лишь феллахи, которые погоняли своих ослов, нагруженных арбузами, ветками с финиками, курами, связанными за лапки, бараньими тушами, разрубленными пополам, — всем, что прихватили на рынок для продажи. Он очутился в квартале, где стоял дворец Айши, но ничего не было видно, кроме зубчатых стен, побеленных известью. Ни тени в трех-четыре оконцах, забранных деревянными решетками в частую клетку, — это позволяло челяди видеть все происходящее на улице, но не давало прохожему надежды проникнуть туда нескромным и любопытным взглядом. Восточные дворцы, в противоположность дворцам европейским, приберегают все свое великолепие для внутренней жизни и, так сказать, поворачиваются спиной к прохожему. Поэтому Махмуд-Бен-Ахмед не извлек пользы из своих наблюдений. На его глазах туда вошли и оттуда вышли только двое-трое черных рабов в богатых одеждах, важный, спесивый их вид говорил о том, что они кичатся своею службой в доме вельможи, при особе, достигшей высоких чинов. Наш влюбленный, глядя на толстые стены, тщетно старался распознать, с какой стороны покои Айши. Догадаться он так и не мог: ворота, скорее арка, сооруженная в форме сердца, были замурованы, и во двор вела только дверка, сделанная рядом, — словом, увидеть что-либо было невозможно. Махмуд-Бен-Ахмеду пришлось уйти, так ничего и не обнаружив; время шло, и его могли заметить. Тут он отправился к Бедредену и, чтобы приобрести его

расположение, накупил всякой всячины, совсем ему ненужной. Он засиделся в лавке, расспрашивая хозяина о том, как идет торговля, выгодно ли он распродавал шелка и ковры, доставленные последним караваном из Алепа, и пришли ли его корабли в порт без злоключений; словом, он прибегал ко всем обычным уловкам, к которым прибегают влюбленные; он все надеялся, что вот-вот появится Айша; но его ожидания не сбылись: в этот день она так и не пришла. И он вернулся домой опечаленный, уже называя ее жестокой и вероломной, будто она и в самом деле обещала быть в тот день у Бедредена и нарушила слово.

Войдя в спальню, он поставил свои туфли в нишу из резного мрамора, нарочно для этого устроенную рядом с дверью, снял кафтан из дорогой ткани (он надел его, чтобы стать еще привлекательней и во всем блеске появиться перед очами Айши) и растянулся на диване в тоске, близкий к отчаянию. Ему казалось, что все кончено, что грядет светопреставление, и он горько сетовал на судьбу, а все потому, что не встретил, как надеялся, женщину, которую не знал еще два дня назад.

Он закрыл глаза, чтобы лучше увидеть мечту своей души, и вдруг ощутил, что дуновение легкого ветерка холодит ему лоб; он открыл глаза и увидел Лейлу, она сидела подле него на полу и обвевала его маленьким опахалом из пальмовой коры, — такие опахала на Востоке дают прохладу и отгоняют мух. О девушке он совсем позабыл.

— Что с вами, любезный мой господин, — опросила она звонким и певучим голосом. — По всему видно — безмятежный покой мысли вас не улаживает. Вас тяготят какие-то заботы. Если б по воле вашей рабыни рассеялось облако печали, окутавшее ваше чело, она стала бы счастливейшей женщиной на свете и не завидовала даже султанше Айше, хоть та и дивно хороша собою и богата.

При этом имени Махмуд-Бен-Ахмед, лежавший на диване, вздрогнул, как больной, к ране которого случайно прикоснулись; он слегка приподнялся и бросил испытующий взгляд на Лейлу, лицо которой было спокойно и выражало одно лишь нежнейшее участие. Однако он покраснел так, будто проникли в тайну его любви. Лейла, не обращая внимания на изветливый и выразительный румянец, не знала, чем и утешить своего нового господина.

— Как же быть, чем рассеять мрачные мысли, одолевающие вас? Быть может, музыка развеет вашу печаль? Старуха рабыня, в прошлом

одалиски прежнего султана, научила меня тайнам композиции. Я умею импровизировать стихи и аккомпанирую себе на гузле.

Промолвив это, она сняла со стены гузлу с декой из лимонного дерева, обегайками из слоновой кости, шейкой, инкрустированной перламутром, жемчугом и черным деревом, и заиграла с редкостным совершенством тарабуку и другие арабские напевы.

Голосом она владела, музыка звучала нежно, и при других обстоятельствах Махмуд-Бен-Ахмед — тонкий ценитель поэзии, слушал бы с наслаждением, но образ дамы, которую он встретил у Бедредена, завладел его умом и сердцем, и на песни Лейлы он не обратил никакого внимания.

Следующий день был для него счастливее вчерашнего, ибо он встретил Айшу в лавке Бедредена. Описать его радость было бы просто невозможно; только те, кто бывал влюблен, поймут это. На мгновение он стал безгласным, бездыханным, глаза его заволокло туманом. Айша — а она заметила его волнение — была довольна и заговорила с ним приветливо, ибо ничто так не льстит особам знатного происхождения, как робость, которую они тебе внушают; Махмуд-Бен-Ахмед пришел в себя и изо всех сил постарался понравиться, был он молод и пригож, изучил поэзию и изъяснялся изящнейшим на свете языком, и ему показалось, что он отнюдь не противен, и отважился попросить у принцессы свиданья в месте более удобном и надежном, чем лавка Бедредена.

— Знаю, — молвил он, — быть прахом на вашей дороге — вот самое большее, на что я пригоден, что расстояние между вами и мною не одолеешь и за тысячу лет, летя вскачь на породистом коне пророка, но любовь придает нам отвагу — так червь, влюбленному в розу, не запретишь признаться ей в любви.

Айша выслушала его без малейшего гнева и, устремив на него томный взор, произнесла:

— Завтра в час молитвы будьте в мечети султана Хасана, под третьим светильником, там вас встретит черный раб в одежде из желтого штофа. Он пойдет впереди, а вы последуете за ним.

С этими словами она опустила покрывало на лицо и вышла.

Наш влюбленный не заставил себя ждать и отправился на свиданье; он стоял как вкопанный под третьим светильником, не решаясь отойти из страха, что его не найдет черный раб, который все

не шел. Правда, Махмуд-Бен-Ахмед явился за два часа до назначенного срока. Наконец показался негр в одежде из желтого штофа; он направился прямо к колонне, возле которой стоял Махмуд-Бен-Ахмед. Раб внимательно оглядел его и еле заметным знаком пригласил следовать за собой.

Они вышли вдвоем из мечети. Черный раб шагал быстро, и по его воле Махмуд-Бен-Ахмеду пришлось петлять несчетное число раз в запутанном многослойном клубке каирских улиц. Молодой человек хотел было заговорить со своим проводником, но тот открыл большой рот, полный острых и белых зубов, и Махмуд-Бен-Ахмед увидел, что язык у него отрезан. Таким образом, проболтаться рабу было трудновато.

И вот наконец пришли они на совершенно безлюдную улицу, неведомую Махмуд-Бен-Ахмеду, хотя он был уроженцем Каира и воображал, будто знает все кварталы города; немой остановился у глухой стены, выбеленной известью. Он отсчитал шесть шагов от угла стены и стал с великим старанием что-то искать, без сомнения — потайную пружину, скрытую в щели между камнями. Вот он нашел пружину, нажал на нее, колонна сделала оборот, и взору открылся мрачный, узкий проход, куда и вошел немой в сопровождении Махмуд-Бен-Ахмеда. Сначала пришлось спуститься ступеней на сто с лишним, потом идти по длинному коридору. Махмуд-Бен-Ахмед, ощупывая стены, понял, что коридор вырублен в скальной породе, и по высеченным иероглифам догадался, что он попал в подземелье древнего египетского некрополя, которым воспользовались для устройства потайного хода. Далеко, далеко впереди брезжил слабый голубоватый свет. Свет этот проникал сквозь кружевную каменную резьбу, украшавшую залу, в которую упирался коридор. Немой нажал еще на одну кнопку, и Махмуд-Бен-Ахмед очутился в зале и увидел пол, выстланный белыми мраморными плитами, бассейн и водомет посредине, алебастровые колонны, стены, покрытые мозаикой, сделанной из смальты, изречениями, взятыми из Корана, вперемешку с орнаментом, изображающим цветы, и затейливыми узорами, свод, искусно выполненный и отделанный резьбой и напоминавший не то соты, не то сталактитовую пещеру; огромные пунцовые пионы в огромных мавританских вазах из белого и голубого фарфора дополняли картину.

В нише, вырубленной в стене, — нечто вроде алькова, — на ложе, среди подушек, восседала принцесса Айша без покрывала, прекраснее всех гурий четвертого неба.

— Итак, Махмуд-Бен-Ахмед, вы сочинили в мою честь новые стихи? — ласково спросила она, знаком приглашая его сесть.

Махмуд-Бен-Ахмед бросился на колени перед Айшой, достал из рукава папирус и с вдохновением стал читать газель; действительно, это было замечательное поэтическое творение. И пока он читал, ланиты принцессы вспыхнули и засветились, словно светильник из алебастра. Глаза ее искрились и лучились неописуемо ярко, тело ее словно стало прозрачным, а на ее трепещущих плечах смутно рисовались крылья, как у бабочки. На беду, Махмуд-Бен-Ахмед так увлекся чтением своих стихов, что не поднял глаза и не заметил происходившую метаморфозу. Когда он кончил, то перед ним сидела прежняя принцесса Айша и смотрела на него, насмешливо улыбаясь.

Как и все поэты, поглощенные собственными твореньями, Махмуд-Бен-Ахмед позабыл, что наилучшие стихи не стоят искреннего слова, взгляда, зажженного светом любви.

Пери, как и всех женщин, надо разгадать и завоевать именно в тот миг, когда они вот-вот воспарят в небеса, чтобы уже с них не спускаться. Не упустите удобный случай, не упустите пери — удержите ее за крылышки! Вот как становишься господином положения.

— И в самом деле, Махмуд-Бен-Ахмед, вы наделены редкостным поэтическим даром, и ваши стихи заслуживают того, чтобы написали их золотыми буквами и вывесили у дверей мечети рядом с самыми знаменитыми строками Фирдоуси, Саади и Ибн-Бен-Ома. Досадно только, что вы зачарованы были совершенством своих звучных рифм и не взглянули на меня, — вы бы увидели то, что вам вряд ли удастся еще увидеть. Самое пламенное ваше желание исполнилось, а вы и не заметили. Прощайте, Махмуд-Бен-Ахмед, мечтающий полюбить только пери!

Тут Айша встала с величественным видом, приподняла парчовую занавеску и исчезла.

Немой пришел за Махмуд-Бен-Ахмедом, проводил по той же дороге до того места, где его встретил. Махмуд-Бен-Ахмед, огорченный и удивленный такой развязкой, не знал, что и подумать; он

терялся в догадках и все не мог найти причину недовольства принцессы: в конце концов он все приписал женскому капризу, — ведь женщина изменчива по любому поводу. И теперь понапрасну он ходил к Бедредену покупать росный ладан и кожу циветты — он больше ни разу не встретил принцессу Айшу; напрасно он подолгу простаивал у третьей колонны мечети султана Хасана — он больше ни разу не увидел черного слуги в одеянии из желтого штофа, и все это повергло его в безысходную тоску.

Лейла придумывала все новые и новые забавы, лишь бы развлечь своего повелителя: она играла на гузле; рассказывала волшебные сказки; украшала его покои букетами, и составлены они были так разнообразно и умело, что пленяли красою и благоуханием; порою она танцевала перед ним легко и грациозно, не хуже искуснейшей танцовщицы. Всякого другого на месте Махмуд-Бен-Ахмеда умиляла бы ее предупредительность и забота, но мысли его витали в других местах, и желание найти Айшу не давало ему покоя. Часто бродил он вокруг дворца принцессы, но ему ни разу не удалось ее увидеть; никто не показывался за окнами — зарешеченными и наглухо затворенными; дворец стоял, словно гробница.

Приятель его, Абдул-Малик, встревоженный душевным смятением Махмуд-Бен-Ахмеда, часто навещал его и, конечно, заметил изящество и красоту Лейлы, а была она, право, хороша собою, как Айша, и даже красивее, и он удивлялся слепоте Махмуд-Бен-Ахмеда, и если б не боязнь нарушить священные законы дружбы, он бы с радостью взял в жены молоденькую служанку. Меж тем Лейла, не теряя своей прелести, день ото дня становилась все бледнее и бледнее; ее большие глаза все удлинялись, румянец, подобный отблеску зари на ее ланитах, сменила бледность, подобная отсвету луны. И вот однажды Махмуд-Бен-Ахмед приметил, что она плачет, и спросил, отчего она льет слезы.

— О любезный мой господин! Я бы никогда не осмелилась сама признаться вам: да, я — бедная рабыня, подобранная из сострадания, люблю вас. Но кто я в глазах ваших? Знаю, у вас одно на уме — полюбить пери или султаншу; другой был бы рад, если б его искренне полюбила молодая, чистая сердцем девушка, и не терзал бы себя, грезя дочерью калифа или владычицей духов, взгляните на меня, вчера мне исполнилось пятнадцать лет, и я, пожалуй, так же хороша, как ваша

Айша, о которой вы только и говорите, мечтая о ней вслух; правда, на лбу у меня не увидишь сверкающего магического карбункула или султана из перьев цапли; когда я выхожу, меня не сопровождает стража с мушкетонами, инкрустированными серебром и кораллами. И все же я умею петь, импровизировать на гузле, танцую, как сама Эминиш, но для вас я — просто преданная сестра. Как же мне быть, как тронуть ваше сердце?

Махмуд-Бен-Ахмед внимал речам Лейлы, и вдруг сердце его дрогнуло; однако он промолчал и, казалось, был во власти глубокого раздумья. Два противоречивых решения спорили в его душе: с одной стороны, нелегко отказаться от заветной мечты; с другой — он сознавал, что просто безумие отдать сердце женщине, которая поиграла им и бросила, осыпав насмешками, а меж тем в доме у него живет девушка, такая же молодая и прекрасная, как та, что он потерял.

Лейла, словно в ожидании приговора, все стояла на коленях, и две слезинки тихо катились по бледному лицу бедняжки.

— Ах, почему сабля Мезрура не довершила то, что начала, — воскликнула она, дотрагиваясь до своей белоснежной шеи.

И такая скорбь звучала в голосе молоденькой рабыни, что Махмуд-Бен-Ахмед растрогался, поднял ее и поцеловал в лоб.

Лейла вскинула голову, как обласканная голубка, и, встав перед Махмуд-Бен-Ахмедом, взяла его за руку и промолвила:

— Посмотрите на меня внимательно; не правда ли, я очень похожа на некую вашу знакомую?

Махмуд-Бен-Ахмед не удержался и воскликнул в изумлении:

— Да ведь это то же лицо, те же глаза, словом, точь-в-точь Айша. Как же так, отчего я раньше не замечал сходства?

— Раньше ваши взоры рассеянно скользили по лицу бедной рабыни, — с ласковой насмешкой отвечала Лейла.

— Пусть теперь Айша пришлет за мной негра в желтом одеянии с салямом любви — я вслед за ним не пойду.

— Так это правда? — спросила Лейла, и голос ее звучал мелодичнее, чем голос соловья, поющего розе о своей любви. — Но, право, вы слишком уж пренебрежительно относитесь к бедняжке Айше — ведь она так похожа на меня!

Вместо ответа Махмуд-Бен-Ахмед прижал молоденькую служанку к сердцу. Но как же был он изумлен, когда лицо Лейлы

засветилось и на ее лбу засверкал магический карбункул, а над дивными плечами раскрылись крылья, словно сделанные из павлиньих перьев. Лейла и была пери!

— Милый мой Махмуд-Бен-Ахмед, я и не принцесса Айша, и не Лейла-рабыня. Настоящее мое имя Будрульбудур. Я — пери высшего ранга, о чем вы можете судить по карбункулу и крыльям. Однажды вечером я пролетала мимо вашей террасы и услышала, как вы мечтаете о том, чтобы вас полюбила пери. Честолюбивая ваша мечта мне понравилась. Невежественные смертные — грубые, погрязшие в земных утехах — не помышляют о таких изысканных радостях. Мне вздумалось испытать вас, и я обратилась и в Айшу, и в Лейлу, — хотелось увидеть, узнаете ли и полюбите ли вы меня в человеческом образе. Ваше сердце оказалось более прозорливым, чем ум ваш, и вы проявили больше доброты, чем гордыни. Преданную вам рабыню вы предпочли султанше; этого я от вас и ждала. Был миг, когда я, упоенная прелестью ваших стихов, чуть не выдала себя, но побоялась, что вы так и останетесь поэтом, влюбленным в воображаемый образ и свои рифмы, и я отступила, сделав вид, будто презираю вас. Вы пожелали жениться на рабыне Лейле — пери Будрульбудур постарается ее заменить. Лейлой я остаюсь для всех, для вас же одного я — пери, ибо я хочу вам счастья, а люди не простили бы вам, если б узнали, что вы наслаждаетесь счастьем более возвышенным, нежели их счастье. Я — фея, но вряд ли и мне удалось бы защитить вас от зависти и злобы человеческой.

Махмуд-Бен-Ахмед с восторгом принял все ее условия; сыграли свадьбу — и все было так, словно и в самом деле он женится на крошке Лейле.

Вот вкратце и вся история, которую я продиктовал Шахразаде при посредничестве Франческо.

— А понравилась ли султану ваша арабская сказка и что случилось с Шахразадой?

— С той поры я ее больше не видел.

Вероятно, Шахрияр, недовольный сказкой, в конце концов повелел отрубить бедной султанше голову.

Друзья, вернувшиеся из Багдада, рассказывали, что на ступени какой-то мечети сидит женщина, — безумная воображает, будто она

Динарзарда из «Тысячи и одной ночи», и без конца твердит одну и ту же фразу:

— Сестрица, расскажи что-нибудь — ведь ты так хорошо умеешь рассказывать чудесные сказки!

И она ждет, внимательно прислушиваясь, но, так и не получив ответа, заливается слезами и прикладывает к глазам платок, расшитый золотом и запятнанный кровью.

ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА ХУДОЖНИКА-НЕДОУЧКИ

I. ПРИЗВАНИЕ

Не стану повторять слишком хорошо известную шутку, открывающую биографию некоего великого человека: «Он родился трехлетним ребенком в бедной, но неблагородной семье». Мне дали жизнь (верну ли я ее им?) родители состоятельные, но незнатные, наградившие меня смешной фамилией, к которой крестные отец и мать, не уступающие им в глупости, присовокупили столь же неблагозвучное имя. Что за нелепость — отзываться на определенное сочетание слогов, которое вам не нравится? Попробуйте-ка стать великим мастером, если вас зовут Ламерлюш, Тартампьон или Гобийяр? Следовало бы в двадцать лет давать человеку возможность самому выбирать себе имя в соответствии со своими вкусами и наклонностями. А подпись можно было бы ставить на манер замужних женщин: Анафесто (урожденный Фалампен), Флоризель (урожденный Барбошю); в этом случае люди смуглолицые, словно абиссинцы, не стали бы зваться Лебланами^[37] и так далее.

Через полтора месяца после того как мать отняла меня от груди, родители мои приняли решение, общее для всех родителей, — сделать меня адвокатом, врачом или нотариусом. Со временем это намерение лишь окрепло. Я несомненно подавал большие надежды во всех трех сферах деятельности: я был болтлив, пичкал лекарствами майских жуков и терпеливо дожидался назначенного дня, чтобы разбить копилку, куда складывал монеты; это позволяло предположить во мне краснобайство адвоката, твердую руку врача и добросовестность чиновника. Посему меня отдали в коллеж, где я со скрипом выучил латынь и с еще большим скрипом — греческий; правда, я научился прекрасно выращивать шелковичных червей, а мои морские свинки обгоняли развитием и изяществом манер свинок самого ловкого савояра. В третьем классе, постигнув бесполезность классического образования, я предался прекрасному искусству плавания и после двух сезонов, проведенных под знаком гусиной кожи и солнечных ударов, получил почетное звание «красных трусов». Я научился нырять, не поднимая брызг; я одерживал блестящие победы в морских и сухопутных соревнованиях; учителя плавания делали мне честь,

позволяя угощать их бокалом вина и сигарой; я даже начал сочинять по-латыни дидактическую поэму в четырех песнях под названием *Arg natandi*.^[38] К несчастью, плавание — искусство летнее; зимой, дабы отвлечься от переводов с латыни и на латынь, я рисовал пером на полях тетрадей и книг; в наказание за свою страсть к художествам мне пришлось переписать не меньше шестидесяти тысяч стихов; я сразу достиг вершин первобытного искусства; я взял кое-что от византийской школы, кое-что от готики и, боюсь, позаимствовал кое-что у китайцев: у нарисованных мною профилей было по два глаза; презирая законы перспективы, я изображал кур величиной с лошадями; если бы мои творения были высечены в камне, а не нацарапаны на обрывках бумаги, какой-нибудь ученый, несомненно, усмотрел бы в них интереснейший и глубочайший символический смысл. Я не без гордости вспоминаю лачугу с трубой, откуда штопором вился дым, и три тополя, похожих на хребет жареной рыбы; сегодня все это снискало бы огромный успех у любителей наивного искусства. Во всяком случае, творения мои отличались полнейшей безыскусностью.

Затем я перешел к упражнениям более благородным: черным карандашом я скопировал «Четыре времени года», а красным — «Четыре части света». Я освоил разнообразную штриховку — прямую, ромбовидную, расходящуюся из центра. Поначалу мне никак не удавалось оставлять светлое пятнышко в середине зрачка; наконец я этому научился и смог подарить родителям к празднику изображение римского солдата, который издали казался гравюрой, сделанной пунктиром; родителям так понравилась рама, что они готовы были смягчиться, но, поразмыслив, отец вместо долгожданного «*Tu Marcellus eris*»^[39] произнес: «Ты будешь адвокатом!» — фразу, в которой мне почудилась зловещая ирония.

Он заставил меня записаться на факультет права, что позволило мне часто отлучаться из дому и довольно исправно посещать мастерскую одного художника. Проведав о моем недостойном поведении, отец метнул на меня грозный взгляд и сказал испепеляющие слова, которые до сих пор звучат у меня в ушах, словно трубы страшного суда: «Ты кончишь жизнь на эшафоте!» Так определилось мое призвание.

II. СО СЛЕПКОВ

Увы! вот уже довольно давно занимаюсь я растушевкой торса Германика, носа Юпитера Олимпийского и других более или менее древних обломков: со временем слепки и растушевка порождают меланхолию; незрячие глаза греческих богов не слишком выразительны; соус сам по себе мало разнообразен. Если бы не желание утереть нос родителям, я немедленно бросил бы это проклятое ремесло! Что за радость — бегать за пьяной вишней, табаком и сардельками для этих господ и день-деньской слушать, как тебя называют мальчишкой и сквалыгой!

III. С НАТУРЫ

На будущей неделе мне предстоит рисовать с натуры. Наконец-то у меня есть этюдник, мольберт и краски! Какую же мне выбрать палитру — круглую или квадратную? Квадратная строже, проще, ближе к греческому духу, такая, верно, была у Апеллеса. А прекрасные тюбики, полные, упругие, гладкие! с какой радостью я буду прокалывать их, чтобы брызнула краска!.. Ай! уф! какая незадача! Я слишком сильно нажал на тюбик, он лопнул, и желтая струя ударила мне в лицо — придется мне отмывать нос хозяйственным мылом и золой. Будь я суеверен, я подался бы в адвокаты. Итак, я буду рисовать не с ничтожных обломков, не со строительного мусора, но с прекрасной живой природы! Боги! Сделайте так, чтобы это была женщина! Сердце мое, сдержись, укроти свое неистовое биение, или мне, как принцу Генриху, придется заковать тебя в броню. Увы, это не женщина, напротив, это безобразный старый плотник; знатоки утверждают, что у него самый прекрасный торс нашего времени, поэтому его называют «лучший натурщик Королевской академии рисунка и живописи»; что до меня, мне он кажется похожим на корявый дубовый ствол или прислоненный к стене мешок орехов.

Распределяют места; нас пятьдесят три человека, мне достается самое плохое место. В просвете между полотнами и планками мольбертов, образующими лес мачт, я с трудом могу разглядеть локоть модели. Со всех сторон я слышу возгласы: «Какие зубчатые мышцы! какие грудные мышцы! как замечательно прилеплены соски! какая мощная двуглавая мышца! как выразительно вырисовывается вертлуг бедра!» Вместо всех этих анатомических чудес я вижу лишь довольно острый, довольно шершавый, довольно сизый локоть; я постарался как можно вернее перенести его на полотно; в результате, когда учитель подошел взглянуть на мою работу, он бросил свысока: «Здесь много фасону и ухищрений; у вас дьявольская рука, и можете мне поверить... из вас никогда ничего не выйдет».

IV. КАК Я СТАЛ ХУДОЖНИКОМ АНГЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Слова преподавателя повергли меня в неприятное изумление. «Как! — воскликнул я, — у меня уже есть фасон, хотя я впервые взялся за кисть... Что же такое фасон?..» Я был готов впасть в отчаяние и вонзить себе в сердце нож, которым счищают краску с палитры, но он был весь перепачкан киноварью; все же я воспрянул духом, ибо внутренний голос прошептал мне: «Ведь твой учитель — не более чем надутый индюк!..» Я покраснел до корней волос, испугавшись, что все могут прочесть на моем лице эту преступную мысль. Но похоже, никто не заметил снисошедшего на меня озарения.

Мало-помалу я возвратился к моей первоначальной манере; я оставил ухищрения и принялся малевать картинки, достойные тех, какие некогда набрасывал на обложках словарей; поэтому однажды учитель, остановившись за моей спиной, обронил лестные слова: «Как простодушно!» При этих словах я смешался, задохнулся от волнения, склонил голову над его руками и омыл их слезами. Картина, удостоившаяся таких похвал, изображала нежно-тыквенного отшельника на фоне цвета индиго и походила на лубочные образки святых, грубо намалеванные на деревянных дощечках. Начиная с этого дня я стал расчесывать волосы на пробор и посвятил себя культу символического, архаического и готического искусства; я стал следовать византийским образцам; писал я исключительно на золотом фоне, к вящему ужасу моих родителей, считавших это ненадежным способом помещения капитала. Восхищение мое вызывали Андреа Риччи де Канди, Барнаба, Биццамано, которые, по правде говоря, были не столько художниками, сколько переплетчиками и пользовались прессом для тиснения не менее часто, чем кистью; Орканья, Фра Анджелико из Фьезоле, Гирландайо, Перуджино на мой вкус были уже не так совершенны и приближались к Ванлоо; в итальянской школе мне отныне недоставало духовности, и я обратился к школе немецкой. Я глубоко изучил творчество братьев Ван Эйк, Мемлинга, Луки Лейденского, Кранаха, Гольбейна, Квентина Метсиса, Альбрехта Дюрера, после чего стал способен раскрасить колоду карт не хуже, чем

покойный Жакмен Гренгонер, придворный художник Карла VI. В эту переломную эпоху моей жизни мой отец, оплатив довольно длинный счет Брюллона с улицы Сухого древа, сказал, что пора мне овладевать ремеслом и самому зарабатывать деньги; я отвечал, что правительство, по непонятной забывчивости, еще не заказало мне роспись какой-нибудь часовни, но не замедлит это сделать. На что отец возразил: «Нарисуй портрет господина Крапуйе с супругой, и ты получишь пятьсот франков, из которых я удержу с тебя сотню за то время, что ты находился у меня на содержании».

V. ГОЛОВЫ БУРЖУА!!!.

Госпожа Крапуйе не была красавицей, но господин Крапуйе был совершенный урод: она походила на обвалянного в муке мерлана, а он напоминал обваренного кипятком омара. Я изобразил мужа с лицом цвета недозрелого помидора, а лицо жены окрасил в жемчужно-серые тона в духе картин Овербека и Корнелиуса. Кажется, краски эти мало порадовали заказчиков, но манерой моей они остались довольны и сказали отцу: «Во всяком случае, ваш сын ровно, без комков размазывает краску по холсту». Пришлось довольствоваться этой скупой похвалой; а ведь я очень точно воспроизвел бородавку господина Крапуйе и оспины, испещрявшие его лицо; в глазу госпожи Крапуйе можно было разглядеть окно, против которого она сидела, его скобы, раму и занавеси с бахромой. Окно вышло очень похоже.

Портреты эти имели подлинный успех среди буржуа; их находили очень ровными и легко смывающимися. У меня не хватает смелости перечислить все карикатуры, созданные моей кистью. Передо мной прошли невообразимые головы, рыла, морды, клювы, заимствовавшие формы отовсюду, главным образом из семейства тыквенных; двенадцатигранные носы, ромбовидные глаза, квадратные либо башмакообразные подбородки, сборище гротескных физиономий, которым могли бы позавидовать самые смешные болванчики, изобретенные фантазией китайцев.

Я научился подмечать все заурадное, уродливое, неуклюжее и мрачное, что оставляют на человеческом лице низкие и пошлые мысли. Ночью я вознаграждал себя за эту отвратительную работу, тошнотворность которой может представить себе только тот, кто сам ею занимался, и рисовал при свете лампы христианских аскетов в немецкой манере перемежку с двухчастными декорациями, белыми кроликами и лопухами.

VI. ВСТРЕЧА

Однажды вечером я вошел в кафе-диван возле Оперы, где собирались художники и литераторы; там много курили и еще больше разговаривали. Наружность художники имели самую замечательную: одни отпускали волосы до плеч, другие стригли их в кружок и гладко брили щеки наподобие римских всадников. Иные носили закрученные кверху усы и эспаньолку, как щеголи времен Людовика XIII; у других борода спускалась до пояса, как у покойного императора Барбароссы; кое-кто расчесывал ее надвое на манер византийских Ликов Спасителя. Головные уборы были не менее причудливы: остроконечные и широкополые шляпы встречались в изобилии; казалось, перед вами ожившие портреты Ван Дейка. Один человек поразил меня больше других: он был одет в своего рода черное бархатное пальто, которое, живописно распахиваясь, позволяло видеть довольно чистую рубашку; благодаря бородке и прическе физиономия его весьма напоминала лицо Петера Пауля Рубенса; он был белокур, розовощек и говорил с большим пылом. Разговор крутился вокруг живописи. Я услышал там вещи, испугавшие меня, воспитанного в любви к чистоте линий и страхе перед цветом. Слова, которые употребляли эти художники для оценки картин, были весьма странными. «Какая великолепная вещь! — восклицал молодой человек, похожий на голландца, — сколько всего намешано! как состряпано! какой пряный аромат! какая сочность! какой вкус! ну прямо пальчики оближешь!» Я было подумал, что речь идет о гастрономических тонкостях, но быстро понял свое заблуждение, когда увидел, что предметом обсуждения служит картина господина, чьим пылким почитателем был молодой художник с русой бородкой. Все завсегдатаи дивана с нескрываемым презрением отзывались о мастерах, которых я дотоле боготворил, в частности, моего учителя они поносили как последнего бездаря. Наконец меня заметили в углу, куда я забился, как загнанный олень, облокотившись для пущей важности на две диванные подушки — по одной с каждой стороны, — и втянули меня в беседу. Признаюсь, я посредственный оратор и был разбит наголову. Мои ангельские перья безжалостно ощипали, мои белые одежды серафима запятнали пуншем и

софизмами; наавтра художник в черном бархатном пальто зашел за мной и повел меня в галерею Лувра, где я никогда не решался пойти дальше первого зала: я отважился бросить взгляд на полотна Рубенса, что было мне дотоле запрещено с самой непреклонной суровостью; щедрая белая плоть с пятнами киновари, атласные спины, жемчужины, утопающие в золоте кудрей, торсы, отличающиеся такой легкостью и гибкостью линий, пышная и чувственная природа, разлитый повсюду цвет жизни и красоты, — все это глубоко смутило мою девственную чистоту. Жестокий художник, жаждавший моей гибели, ткнул меня носом в картину Паоло Веронезе и продержал подле ее целый час; он заставил меня познакомиться с самыми неистовыми эскизами Тинторетто, а в заключение подвел к самым пламенным и пряным творениям Тициана; напоследок он позвал меня в свою мастерскую, уставленную шкафчиками эпохи Возрождения, китайскими горшочками, японскими подносами, увешанную средневековыми и черкесскими доспехами, персидскими коврами и другими занятными предметами. Вдобавок ко всему этому у него имелась натурщица и, пододвинув ко мне коробку с пастелью и картон, он сказал: «Попробуйте-ка нарисовать эту бабенку! бедра у нее, пожалуй, наподобие рубенсовских, а спина жутко фламандская». Я сделал с этого создания, лежавшего в позе отнюдь не небесной, набросок с робкими вкраплениями розовых тонов, и то и дело оборачивался, дабы убедиться, что мой учитель меня не видит. Когда сеанс закончился, я убежал домой, объятый тревогой и раскаянием, более взволнованный, чем если бы только что убил отца или мать.

VII. ОБРАЩЕНИЕ

Уснул я с большим трудом и видел странные сны; мне снилось сияние солнца во тьме, снился павлиний хвост с глазками из ослепительно сверкающих драгоценных камней, снились роскошные драпировки из плотной зернистой парчи и затканной золотом узорчатой полупарчи, ниспадающей широкими складками; кабинеты черного дерева, инкрустированные перламутром, открывали в моем сне свои дверцы и ящики, и оттуда сыпались жемчужные ожерелья, филигранные браслеты и вышитые саше. Прекрасные венецианские куртизанки расчесывали рыжие кудри золотыми гребнями, негритянки с губами, подобными распутившейся гвоздике, держали перед ними зеркало, а позади, на фоне бирюзового неба, белели мраморные колонны. Этот крамольный кошмар продолжался, покуда я не проснулся; открыв окно, я заметил то, чего никогда прежде не замечал: я увидел, что деревья не коричневые, а зеленые, и что кроме серого и светло-розового, на свете есть и другие цвета.

VIII. ВНЕЗАПНАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ

Я встал и, уткнув нос в галстук, надвинув шляпу на глаза, на цыпочках вышел из дому с таинственным видом человека, который что-то замышляет; в это мгновение я весьма сожалел, что мода на пальто под цвет стен прошла; чего бы я не отдал за перстень Гигеса, делающий человека невидимкой! Однако я спешил не на любовное свидание, я направлялся в писчебумажный магазин, дабы купить кое-какие из тех недозволенных красок, которые мой учитель изгонял с палитр своих учеников. Я стоял перед торговцем, как третьеклассник, который покупает «Фоблаза» у букиниста на набережной; спрашивая некоторые тюбики, я заливался румянцем, а по спине у меня струился пот, мне казалось, что я говорю непристойности. Наконец я вернулся домой, разжившись всеми цветами радуги. Палитра моя, знавшая дотоле всего четыре сдержанных и целомудренных цвета: цинковые белила, желтую и красную охру, персиковый, черный, к которым изредка дозволялось добавлять немного кобальта для неба, запестрела кучей оттенков, один ярче другого; изумрудная зелень, медная зелень, кадмий красный, кадмий лимонный и оранжевый, окись свинца, ультрамарин, золотистая охра, все теплые прозрачные тона, из которых колористы извлекают самые прекрасные свои эффекты, с роскошной изобильностью расположились на скромной бледно-лимонной палитре. Признаюсь, поначалу я был в немалом затруднении от всех этих богатств; если перефразировать пословицу, избыток масла портил мою кашу. Однако через несколько дней я довольно далеко продвинулся в работе над маленькой картиной, которая больше всего напоминала самшитовый корень или калейдоскоп; я усердно трудился над ней и больше не показывался в мастерской.

Однажды, когда, поддерживая руку муштабелем, я лессировал край драпировки, что было строжайше запрещено, мой учитель, обеспокоенный моим исчезновением, вошел ко мне в комнату, ключ от которой я неосторожно оставил в двери; несколько минут он стоял за моей спиной, подняв руки и растопырив пальцы, как Святой Симфориан; с отчаянием созерцал он мое творение, а затем проронил

слово, которое обожгло мою душу, словно капля расплавленного свинца:

— Рубенс!

Тут я понял, как велик мой грех; я пал на колени и стал целовать ноги учителя; я посыпал голову пеплом и, заслужив искренним раскаянием прощение великого человека, представил в Салон картину, изображающую Мадонну в сиреневых тонах, с младенцем, мастерящим галиот из бумаги.

Успех мой был огромен; учитель, полный веры в мой талант, с тех пор доверял мне делать подмалевку неба и фона на всех своих картинах. Он выхлопотал для меня великолепный заказ. Теперь я раскрашиваю в символические цвета нервюры часовен в старинном соборе, отчищенном от отвратительного покрытия, оставленного моими предшественниками; ничто так не соответствует моей простой манере, лишенной фасона и ухищрений; сами мастера Кампо-Санто, пожалуй, оказались бы недостаточно безыскусны для такой работы. Прекрасная школа живописи, которую я прошел, позволит мне справиться с этой трудной задачей ко всеобщему удовольствию, и отец, успокоенный насчет моего будущего, теперь уже не станет кричать мне: «Ты будешь адвокатом!»

КЛУБ ГАШИШИСТОВ

I ОТЕЛЬ ПИМОДАН

Приглашение, составленное в загадочных выражениях, понятных лишь членам нашего общества, заставило меня однажды декабрьским вечером отправиться в далекий квартал Парижа. Остров Святого Людовика является чем-то вроде оазиса посреди города; река, разделяясь на два рукава, обнимает его, ревниво охраняя от захвата цивилизации. Именно там, в старинном отеле Пимодан, выстроенном некогда Лозеном, происходили ежемесячные собрания нашего общества, и нынче я ехал туда впервые.

Только что пробило шесть часов, но было уже совершенно темно.

Туман, еще более густой на берегу Сены, закутывал все предметы точно ватой, пропуская лишь красноватые пятна зажженных фонарей и светящихся окон.

Мокрая от дождя мостовая отражала свет фонарей, словно речная гладь; резкий ветер ледяными иглами колот лицо. Его пронзительный свист переходил в басовые ноты, ударяясь об арки мостов. Этот вечер был полон суровой поэзии зимы.

Как ни трудно было найти на длинной пустой набережной нужный мне дом, но моему кучеру все же удалось наконец разобрать полустертое имя отеля на мраморной доске.

Употребление звонков еще не проникло в эту глушь, и мне пришлось потянуть фигурный молоток. Послышался шорох натягиваемой веревки. Я дернул сильнее, и старый, ржавый язык замка поднялся, открывая массивные створки дверей.

Точно картина Скалькена показалась за желтоватым прозрачным стеклом голова старой привратницы, освещенная мерцающим пламенем свечи. При виде меня на лице старухи появилась странная гримаса, и костлявый палец указал мне дорогу.

Насколько я мог различить при слабом свете, который освещает землю даже в самую темную ночь, двор, в который я попал, был окружен старинными строениями с островерхими крышами. Между каменными плитами росла трава, и я быстро промочил ноги, словно шел по лугу.

Узкие высокие окна парадного подъезда, сверкая на темном фоне, служили мне маяками, не позволяя заблудиться.

В вестибюле отеля я очутился перед одной из тех огромных лестниц времен Людовика XIV, где мог бы свободно разместиться современный дом. Египетская химера во вкусе Лебрена с сидящим на ней амуром протягивала на пьедестал свои лапы, держа свечу в изогнутых в виде подсвечника когтях.

Пологие ступеньки и просторные площадки говорили о гениальности старинного архитектора и широте образа жизни давно прошедших времен. Поднимаясь по этим удивительным переходам в своем убогом черном фраке, я чувствовал себя не на месте в этой строго-выдержанной обстановке, мне казалось, я присвоил себе чужое право. Для меня была бы хороша и черная лестница.

Стены были увешаны картинами — то были копии полотен итальянских и испанских мастеров, по большей части без рам. На высоком потолке смутно вырисовывалась фреска на тему какого-то мифа.

Подойдя к указанному этажу, я узнал дверь по тамбуру, обитому мягким, лоснящимся от старости утрехтским бархатом. Пожелтевший галун и погнувшиеся гвозди свидетельствовали об их долголетней службе.

На мой звонок дверь с обычными предосторожностями открылась, и я словно возвратился на два века назад. Быстротекущее время, казалось, не коснулось этого дома, он походил на часы, которые забыли завести и стрелка которых показывает давно прошедший час. Я стоял на пороге огромного зала, освещенного лампами, зажженными на противоположном его конце. Белые стены зала были до середины увешаны потемневшими полотнами, носящими отпечаток эпохи, на гигантской печи возвышалась статуя, точно похищенная из аллеи Версаля. На куполообразном потолке извивался небрежный набросок какой-то аллегии во вкусе Лемуана, может быть, даже и его кисти.

Я направился в освещенную часть зала, где вокруг стола сгрудилось несколько человеческих фигур. Когда я вошел в светлую полосу, меня узнали и громкое «ура» потрясло гулкие своды старого отеля.

— Вот он, вот он! — наперебой кричали голоса. — Дайте ему его долю!

Перед буфетом стоял доктор; он вынимал лопаточкой из хрустальной вазы какое-то зеленоватое тесто или варенье и клал его по кусочку в палец величиной на блюдечки японского фарфора подле золоченой ложки.

Лицо доктора сияло энтузиазмом, глаза блестели, щеки пылали румянцем, вены на висках напряглись, раздувающиеся ноздри глубоко дышали

— Это вычтется из вашей доли райского блаженства! — сказал он, протягивая мне мою порцию.

После этого снадобья пили кофе по-арабски, то есть с гущей и без сахара; потом сели за стол.

Читателя, конечно, удивит такое нарушение кулинарных обычаев, ибо никто не пьет кофе перед супом, варенье тоже едят на десерт. Это обстоятельство требует разъяснения.

II

В СКОБКАХ

Когда-то на Востоке существовала страшная разбойничья секта. Во главе ее стоял шейх, которого звали Стариком Гор или Князем Убийц. Разбойники беспрекословно повиновались своему главе и исполняли любые его приказы без рассуждений. Никакая опасность не пугала их, даже верная смерть. По одному знаку своего повелителя они бросались вниз с высокой башни или шли убивать какого-нибудь царя прямо к нему во дворец, несмотря на стражу.

Но каким образом мог добиться Старик Гор столь полного повиновения?

Он обладал рецептом одного чудесного снадобья, которое наделяет человека ослепительными галлюцинациями.

Человек, отведавший его хоть раз, находил после своего пробуждения реальную жизнь до того бесцветной и унылой, что с радостью жертвовал ею, лишь бы снова попасть в мир своих грез. Шейх же говорил, что каждый, кто погиб при исполнении его повелений, попадает в рай, а избегнувший гибели снова наслаждался таинственным снадобьем.

Зеленоватое тесто, которым оделял нас доктор, и было то самое зелье, которым Старик Гор незаметно одурманивал своих приверженцев, заставляя их верить, что его могуществу подвластен даже Магометов рай с его гуриями трех степеней. Это был гашиш. Отсюда происходит слово гашишист, то есть употребляющий гашиш. Оно одного корня со словом убийца — assassin. Кровожадные инстинкты подданных Старика Гор оправдывают это дикое название.

Я уверен, что людям, видевшим, как я выходил из дома в обеденный час, не могло даже прийти в голову, что я еду на патриархальный остров святого Людовика, чтобы отведать там таинственного зелья, посредством которого несколько веков назад мошенник-шейх заставлял своих приверженцев совершать преступления и убийства. Моя буржуазная наружность не делала даже намек на такую ориентальную извращенность. Я был больше похож на почтительного племянника, собравшегося пообедать у своей старой

тетушки, чем на верующего, готовящегося насладиться блаженством Магометова рая в обществе двенадцати арабов чистейшей французской крови.

Конечно, если бы вам сказали, что в 1845 году, в эту эпоху биржевых игр и железных дорог, существовал клуб гашишистов, истории которого не написал г-н де Гаммер, вы бы этому не поверили, а между тем это истинная правда, хотя, как это часто случается с истиной, она и кажется невероятной.

III

ПИРУШКА

Наша трапеза была сервирована причудливо и живописно. Вместо рюмок, бутылок и графинов стол был уставлен большими стаканами венецианского стекла с матовым спиралевидным узором, немецкими бокалами с гербами и надписями, фламандскими керамическими кружками, оплетенными тростником и бутылками с хрупкими горлышками.

Здесь не было ни фарфора Луи Лебефа, ни английского разрисованного фаянса, обычно украшающих буржуазный стол. Ни одна тарелка не была похожа на другую, но каждая из них представляла собою ценность: Китай, Япония и Саксония представили здесь образцы самых красивых своих блюд, самых ярких своих красок. Все это, правда, было несколько отбито и потрескалось, но указывало на тонкий вкус хозяев.

Блюда были большей частью покрытые глазурью, работы Бернара Палисси, или лиможского фаянса; иногда нож, разрезая кушанье, скользил по выпуклому изображению пресмыкающегося, лягушки или птицы. Лежащий на тарелке угорь сплетал свои изгибы с кольцами украшавшей тарелку змеи.

Честный филистер, наверное, испытал бы некоторый страх при виде этих сотрапезников, волосатых, бородатых и усаемых или же странно выбритых, размахивающих кинжалами XVI столетия, малайскими криссами, испанскими навахами. Согнувшиеся над столом и освещенные мерцающим светом ламп, они действительно представляли странное зрелище.

Ужин близился к концу, иные из адептов уже чувствовали действие зеленого теста, а на мою долю выпало полное извращение чувства вкуса. Я пил воду, а мне казалось, что это великолепное вино, мясо превращалось в малину и обратно. Я не мог отличить котлеты от персика.

Мои соседи делались все оригинальнее; на их лицах вдруг появлялись огромные совиные глаза, носы удлинялись и превращались в хоботы, рты растягивались, делаясь похожими на щель бубенчика.

Цвет их лиц приобрел неестественные оттенки. Один из них, бледнолицый и чернобородый, раскатисто хохотал, наслаждаясь каким-то невидимым зрелищем; другой делал невероятные усилия, чтобы поднести ко рту стакан, и его судорожные движения вызвали оглушительный вой окружающих.

Третий с невероятной быстротой вертел большими пальцами, а четвертый, откинувшись на спинку кресла, с блуждающими глазами и бессильно повисшими руками, сладострастно утопал в безграничном море нирваны.

Опершись о стол локтями, я наблюдал за происходящим. Остаток моего рассудка то почти исчезал, то снова разгорался, точно готовый потухнуть ночник. Мои члены горели, и безумие подобно волне, отступающей от скалы, чтобы снова накатить на нее и захлестнуть своей пеной, то охватывало мой мозг, то проходило и в конце концов прочно овладело им. Я начал галлюцинировать.

— В гостиную, в гостиную, — вдруг закричал один из гостей, — разве вы не слышите звуков небесного хора? Музыканты уже давно ждут!

Действительно, сквозь шум разговоров до нас доносилась дивная музыка.

IV

НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ

Гостиная была огромная комната с белыми и золочеными лепными украшениями, с расписным потолком, с фризами, разрисованными сатирами, преследующими в тростниках нимф, с большим мраморным камином и с широкими парчовыми портьерами, дышащими роскошью старинных времен. Мягкие диваны и кресла, очень широкие, по моде того времени, чтобы не мять пышных юбок герцогинь и маркиз, приняли гашишистов в свои гостеприимные объятия.

Усевшись подле камина, я полностью отдался власти магического зелья.

Прошло несколько минут, и мои сотоварищи исчезли один за другим, оставив на стене лишь свои тени. Впрочем, она их быстро поглотила: так вода уходит в песок, не оставляя мокрых пятен. Начиная с этого мгновения я перестал осознавать окружающее и буду описывать только мои личные впечатления.

Слабо освещенная гостиная была пуста, и вдруг красная молния сверкнула под моими веками, сами собой вспыхнули бесчисленные свечи, и я почувствовал, что утопаю в этом теплом свете. Я находился в той же комнате, но все вокруг изменилось, стало больше, богаче, пышнее. Действительность служила лишь отправной точкой для великолепной галлюцинации.

Я еще никого не видел, но уже чувствовал присутствие огромной толпы.

Я слышал шелест тканей, стук бальных башмачков, шепчущие, шепелявящие, сюсюкающие голоса, приглушенные взрывы смеха, шум передвигаемых столов и стульев. Доносился звон посуды, хлопанье дверей, вокруг происходило что-то необычайное. И вдруг показалось загадочное существо.

Не знаю, откуда оно явилось, но я не испугался. У него был изогнутый, как птичий клюв, нос, и он часто вытирал огромным платком свои зеленые окруженные тремя темными кругами глаза. Высокий белый накрахмаленный галстук, в узел которого была

продета визитная карточка со словами: — Давкус Карота из «Золотого горшка», — так крепко стягивал его тонкую шею, что кожа щек красными складками свисала на воротник. Черный сюртук, из-под которого виднелась связка брелоков, обтягивал его округлое тело, делая его похожим на каплуна. Что касается его ног, то вместо них были корни мандрагоры, разветвленные, черные, шероховатые, узловатые и бородавчатые. Казалось, они только что вырваны из земли: на их волоконцах еще виднелись кусочки приставшей к ним земли. Эти ноги как-то необыкновенно трепетали и скручивались. Когда маленький торс, который они поддерживали, очутился против меня, странное существо вдруг разразилось рыданиями и, вытирая глаза, сказала мне жалобным голосом:

— Именно сегодня нужно умереть от смеха.

И крупные, как горох, слезы покатались по крыльям его носа.

— От смеха... от смеха... — эхом отозвался хор нестройных, гнусавых голосов.

V ФАНТАЗИЯ

Взглянув на потолок, я заметил множество головок без туловищ, как рисуют херувимов, но с такими забавными и счастливыми лицами, что я невольно развеселился. Делая гримасы, они так щурили глаза, растягивали губы и раздували ноздри, что могли рассмешить даже воплощение сплина. Эти смешные маски двигались и вертелись в разных направлениях, производя ослепительное головокружительное действие.

Вскоре гостиная наполнилась необыкновенными лицами, прототипами которых могли служить лишь офорты Калло да акватинты Гойи; мишура смешивалась здесь с живописными лохмотьями, человеческие образы со звериными. В другое время я бы испугался подобной компании, но в этих уродах не было ничего страшного. Их глаза сверкали не жестокостью, а лукавством, и лишь веселая улыбка открывала торчащие клыки и острые резцы.

Я сделался кем-то вроде короля этого праздника: каждое новое лицо вступало в светлый круг, центром которого был я, и с забавно-сокрушенным видом бормотало мне на ухо какую-нибудь шутку; ни одной из них я не могу вспомнить, но тогда они казались мне верхом остроумия и вызывали безумный смех.

С появлением каждого нового лица вокруг меня раздавались раскаты гомерического, олимпийского, безмерного, оглушительного хохота, который, казалось, гремел в бесконечности.

Поминутно слышались восклицания то визгливых, то замогильных голосов: — Нет, это слишком смешно! Довольно, довольно! Господи, какая прелесть! Еще, еще! Хватит, я больше не могу!.. Хо-хо-ху-ху-хи-хи! Какая удачная шутка! Какой прекрасный каламбур! Постойте! Я задохнусь! Не смотрите на меня так... или стяните меня обручами, не то я лопну!

Несмотря на эти полусушутливые, полусерьезные мольбы, грозная веселость росла, шум усиливался, стены и пол дома поднимались и дрожали, как человеческая диафрагма, потрясенные этим неистовым, неукротимым, неумолимым смехом.

Теперь странные призраки напали на меня всей стаей, потрясая длинными рукавами шутовской одежды, путаясь в складках балахонов, сминая свои картонные носы, сталкиваясь, поднимая облака пудры со своих париков и фальшиво распевая нелепые песни с невозможными рифмами.

Здесь были все типы, созданные когда-либо вдохновенным юмором народов и отдельных личностей, но в десять, в сто раз более яркие. В этой невообразимой сутолоке неаполитанский пульчинелла фамильярно хлопал по горбу английского панча, бергамский арлекин терся своей черной мордочкой об осыпанную мукой маску французского паяца, испускающего дикие крики, болонский доктор засыпал табаком глаза отца Кассандра, Тарталья скакал верхом на клоуне, Жиль угощал пинками дона Спавенто, Карагёз, вооруженный своим непристойным посохом, дрался на дуэли с шутком Оском.

Дальше бесновались персонажи забавных снов, уродливые создания, безобразная помесь человека, животного и домашней утвари: монахи с колесиками вместо ног и котлом вместо живота, воины в латах из посуды и с птичьими лапами, размахивающие деревянными саблями, чиновники, крутящиеся на вертеле, короли с башней в форме перечницы вместо ног, алхимики с мехами вместо головы и с членами в виде перегонного куба, развратницы, сделанные из тыквы с прихотливыми выпуклостями, и вообще все, что может создать лихорадочная фантазия циника, вдохновленного опьянением.

Все это шевелилось, ползало, бегало, прыгало, хрюкало, свистало, как в «Вальпургиевой ночи» Гете.

Я спрятался в темный угол, чтобы избежать чрезмерной любезности этих странных существ, и стал любоваться их танцами, которых не знало ни Возрождение времен Шикара, ни Опера времен владычества Мюзара, этого короля разнузданной кадрили. Эти плясуны, в тысячу раз более талантливые, чем Мольер, Рабле, Свифт и Вольтер, изображали посредством какого-нибудь антраша или балансе такие глубоко философские комедии или полные силы и пикантной соли сатиры, что я держался за бока в моем углу.

Давкус Карота, все время утирая глаза, выделял пируэты, немыслимые, особенно для существа, обладающего ногами из корня мандрагоры, повторяя при этом забавно жалостным тоном: — Сегодня нужно умереть от смеха!

О, вы, восхищавшиеся когда-либо великолепной тупостью Одри, хриплым вздором Алкида Тузе, самоуверенной глупостью Арналя, обезьяньими гримасами Равеля и думавшие, что видели настоящие комические маски, если бы вы присутствовали на этом балу, вдохновленном гашишем, вы бы признали, что с самых знаменитых комиков наших театров впору лепить украшения для катафалков и гробниц.

Сколько причудливо скорченных физиономий, сколько подмигивающих глаз, сверкающих насмешкой под птичьей пленкой! Какой оскал, словно щель копилки! Какие рты, точно вырубленные топором! Какие забавные двенадцатигранные носы! Какие толстые пантагрюэлевские животы!

В этом кишении веселого кошмара молниями мелькали чьи-то поразительно похожие портреты, карикатуры, которым позавидовали бы Домье и Гаварни; фантазии, способные восхитить чудесных китайских мастеров, этих Фидиев, изготавливающих болванчиков и фарфоровые статуэтки.

Эти видения не были ни уродливы, ни смешны, этот карнавал форм был полон грации. Около камина качалась обрамленная светлыми волосами маленькая головка с персиковыми щеками. В своем бесконечном припадке веселости она показывала все тридцать два зуба, величиной с рисовое зерно, заливаясь при этом долгим, пронзительным, переливчатым серебристым смехом с трелями и органными нотами. Проникая в мои барабанные перепонки, хохот ее возбуждал меня, заставляя совершать массу сумасбродств.

Наконец, бешеное веселье достигло апогея, слышались лишь судорожные вздохи, несвязное клохтанье. Смех стал беззвучным и напоминал рычание, удовольствие переходило в спазмы, казалось, припев Давкуса Карота вот-вот сбудется.

Тела один за другим валились на пол с той вялой тяжестью опьянения, которая делает падение неопасным, послышались восклицания: — Господи, как я счастлив! Какое блаженство! Я в экстазе! Я в раю! Я погрузился в бездну наслаждений!

Хриплые крики вырывались из стесненной груди, руки безумно простирались вслед какому-нибудь мимолетному видению, каблуки и затылки барабанили в пол. Настал момент брызнуть холодной водой на этот жгучий пар, иначе котел мог лопнуть. Человеческая оболочка,

способная вынести сколь угодно горя, но не справляющаяся с избытком счастья, готова была разорваться под напором восторга.

Один из членов клуба, который по обычаю не участвует в сладострастном отравлении гашишем, чтобы следить за галлюцинациями остальных и не давать выброситься в окно тем, кто почувствовал за спиной крылья, подошел к пианино, откинул крышку и заиграл. Величественный, могучий аккорд сразу заглушил шум и изменил настроение окружающих.

VI КЕЙФ

Он заиграл, кажется, арию Агаты из «Волшебного стрелка», и как ветер разгоняет тучи, так и эта божественная мелодия рассеяла причудливые видения моей галлюцинации. Маски, гримасничая, залезали под кресла, с приглушенными вздохами прятались в складки портьер, и я снова почувствовал себя одиноким в огромной гостиной.

Колоссальный фрибурский орган не издает таких могучих, величественных звуков, как это пианино под пальцами ясновидца (так называют трезвого члена нашего клуба). Музыка пылающими стрелами вонзалась мне в грудь и — странная вещь — скоро мне стало казаться, что мелодия исходит из меня. Мои пальцы скользили по невидимой клавиатуре, рождая звуки голубые, красные, подобные электрическим искрам. Душа Вебера воплотилась в меня.

Когда ария из «Волшебного стрелка» отзвучала, я продолжал собственные импровизации в духе немецкого композитора. Музыка привела меня в неопиcуемый восторг. Жаль, что магическая стенография не могла записать вдохновенных мелодий, звучавших у меня в ушах: при всей моей скромности могу их поставить выше шедевров Россини, Мейербера и Фелисьена Давида.

О, Пилле и Ватель! Любая из Тридцати опер, созданных мною в какие-нибудь десять минут, в полгода сделала бы вас богачами.

Первоначальная судорожная веселость сменилась неизъяснимо блаженным чувством безграничного покоя.

Этот период действия гашиша на востоке называют кейфом. Я перестал себя чувствовать, связь души с телом ослабла, и я мог свободно двигаться в не оказывающей сопротивления среде.

Мне кажется, что именно такова будет жизнь души, когда мы оставим нашу бrenную оболочку и переселимся в другой мир.

Комната наполнилась голубоватым паром, отблеском лазурного грота, и в ней неясно трепетали смутные контуры. Эта атмосфера, одновременно свежая и теплая, влажная и благоухающая, охватывала меня, как вода в ванне, обессиливающей сладостью поцелуев. Если я хотел сдвинуться с места, ласкающий воздух образовывал вокруг меня

тысячи сладострастных водоворотов, восхитительная истома охватывала мои чувства и клонила меня на диван, где я поник без сил, как сброшенное платье.

И я понял тогда радость, которой наслаждаются светлые духи и ангелы, рассекая своими крыльями горние выси и райское блаженство.

Ничего материального не примешивалось к этому экстазу, никакое земное желание не омрачало его чистоты. Впрочем, сама любовь чужда дивному состоянию: гашишист Ромео забыл бы Джульетту, бедное дитя напрасно бы простирало с балкона свои алебастровые руки, так как Ромео не поднялся бы к ней по шелковой лестнице. И хотя я страстно влюблен в идеал юности, созданный Шекспиром, я должен сознаться: прекраснейшая дочь Вероны не заставит гашишиста даже пошевелиться.

И я спокойно, хотя и не без удовольствия, любовался вереницей идеально прекрасных женщин; я видел блистание атласных плеч, сияние серебристых грудей, мелькание маленьких ножек с розовой ступней, не испытывая при этом ни малейшего искушения. Очаровательные призраки, смущавшие святого Антония, не имели надо мной ни малейшей власти.

Созерцая какой-либо предмет, я через несколько минут чудесным образом растворялся в нем и сам превращался в него.

Так я превратился в нимфу, глядя на фреску, изображающую дочь Ладона, преследуемую Паном.

Я испытывал весь ее ужас и старался спрятаться в тростнике, чтобы избегнуть чудовища с козлиными ногами.

VII

КЕЙФ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КОШМАР

Во время моего экстаза снова появился Давкус Карота.

Сидя как портной или паша на своих скрещенных корнях, он глядел на меня пылающим взглядом, его клюв так язвительно щелкал, такое торжество светилось в его маленькой, безобразной фигурке, что я невольно вздрогнул.

Заметив мой испуг, он удвоил свои кривлянья и гримасы и, прыгая как искалеченный паук, приблизился ко мне.

В этот момент какое-то холодное дуновение коснулось моего уха, и я услышал очень знакомый голос, хотя и не мог вспомнить, кому он принадлежит. Он сказал: этот бездельник Давкус Карота, который пропил свои ноги, подтибрил у тебя голову и посадил на ее место не ослиную, как это сделал Пэк с Боттомом, но слоновую.

Сильно заинтересованный этим сообщением, я подошел к зеркалу и увидел, что это правда.

Теперь меня вполне можно было принять за какого-нибудь индусского или явайского идола: мой лоб поднялся, нос удлинился в хобот и загнулся на грудь, уши хлопали по плечам и вдобавок ко всему этому я оказался цвета индиго, как голубой бог Шива.

Взбешенный, я бросился к Давкус Кароте, который запрыгал и завизжал, видимо, сильно испуганный. Но я схватил его и так сильно ударил о край стола, что он тут же вернул мне мою голову, завернутую в платок.

Довольный своим успехом, я снова сел на диван, но тот же голос опять заговорил:

— Берегись, ты окружен врагами, невидимые силы стараются овладеть тобой. Ты здесь пленник и увидишь это, если попробуешь выйти отсюда!

Тогда туман, окутывавший мое сознание, порвался, и я ясно понял, что члены клуба были кабалисты и маги, которые решили меня погубить.

VIII

TREAD-MILL

Я с большим трудом встал и направился к двери гостиной. Дошел я до нее очень нескоро: какая-то непонятная сила заставила меня делать три шага вперед и один назад. По моему счету этот переход длился десять лет.

За мной следовал Давкус Карота, посмеиваясь и бормоча, с видом притворного сочувствия:

— Если он все время будет так идти, то успеет состариться в пути.

Однако мне удалось выйти в соседнюю комнату, которая неузнаваемо изменилась — она становилась все длиннее, длиннее и длиннее. Свет, мерцающий в ее конце, казался таким же далеким, как неподвижные звезды.

Чувствуя, что падаю духом, я остановился, но голос снова сказал мне, почти коснувшись губами моего уха:

— Мужайся, она ждет тебя в одиннадцать часов.

Собрав все силы, я огромным усилием воли старался поднимать ноги, которые прирастали к полу, и мне приходилось всякий раз вырывать их, как корни из земли. Чудовище с мандрагоровыми ногами не отставало от меня, пародируя мои усилия и повторяя заунывным голосом: — Мрамор побеждает, мрамор побеждает! — Я и вправду чувствовал, что мои конечности каменеют и мрамор сковывает меня до бедер, как Дафну в Тюильри. Я сделался статуей от пояса и ниже, как околдованные принцы из «Тысячи и одной ночи». Мои отяжелевшие каблуки громко стучали по полу, я смело мог играть Командора в «Дон-Жуане».

Между тем я вышел на полуосвещенную площадку лестницы и хотел спуститься по ней. Она поразила меня своими гигантскими размерами. Один из ее концов, казалось, вонзался в небо, другой низвергался в преисподнюю. Подняв голову, я смутно видел, как нагромождались одна на другую бесчисленные площадки, всходы, перила, точно для того, чтобы достигнуть вершины башни Лилак;

опуская же голову, я смутно различал пропасть ступенек, вихрь спиралей, водоворот изгибов.

— Эта лестница, верно, пробуравливает насквозь всю землю, — говорил я, машинально подвигаясь вперед, — я достигну нижней площадки после страшного суда.

Лица на картинах сочувственно глядели на меня, по некоторым из них пробегали судороги, как по лицу немого, который хочет сообщить что-то важное, но не может этого сделать. Можно было подумать, что они хотят предупредить меня о какой-то опасности, но какая-то инертная, неумолимая сила гнала меня вперед. Ступеньки лестницы оседали вместе со мной, точно в испытаниях франкмасонов. Липкие и мягкие камни опускались, как животы жаб. У меня под ногами появлялись все новые ступеньки и площадки, те, что я уже миновал, вдруг сами собой оказывались передо мной.

Это длилось, по моему счислению, ровно тысячу лет.

Наконец я достиг вестибюля, где меня ждали новые испытания.

Химера со свечой в лапах, которую я заметил при входе, с явно враждебным намерением преградила мне путь; ее зеленые глаза сверкали насмешкой, рот свирепо ощерился. Она почти на брюхе подползла ко мне, влача в пыли свою бронзовую попону. Это не была покорность, кровожадные содрогания колебали ее львиный круп, а Давкус Карота дразнил ее и натравливал:

— Куси, куси, мраморное мясо — лучшее угощение для бронзовой пасти!

Но держа себя крепко в руках, я заставил себя перешагнуть через страшного зверя.

Порыв холодного ветра ударил мне в лицо, и передо мной засияло ясное небо, похожее на огромную глыбу ляпис-лазури с золотой пылью бесчисленных звезд.

Чтобы передать впечатление, которое произвела на меня его мрачная архитектура, нужна игла, с помощью которой Пиранези бороздил блестящую чернь своих чудесных гравюр. Расширившийся до размеров Марсова поля, этот двор окружился за несколько часов гигантскими зданиями, которые вырисовывались на горизонте кружевом шпилей, куполов, башен и пирамид, достойных Рима и Вавилона.

Моему удивлению не было границ, я даже и не подозревал, что на острове Святого Людовика столько архитектурных богатств, что они могли бы занять в двадцать раз большую площадь. И я не без страха думал о могуществе волшебников, которые могли в один вечер воздвигнуть подобные громады.

— Ты во власти иллюзий, — снова прошептал прежний голос, — этот двор совсем невелик. В нем двадцать семь шагов в длину и двадцать пять в ширину.

— Да, да, — проворчал ужасный выродок, — ты забыл прибавить: семимильных шагов. Тебе нипочем не успеть к одиннадцати часам. Уже полторы тысячи лет прошло с тех пор, как ты вышел. Голова твоя наполовину поседела. Вернись назад, это самое разумное.

И гнусное чудовище, видя, что я не хочу ему повиноваться, схватило меня своими гибкими ногами, и, помогая себе руками, как крючками, потащило меня назад. Оно заставило меня подняться по лестнице, где я только что натерпелся страхов, и к моему горю снова водворило в гостиную, откуда я с таким трудом выбрался.

Разум мой помутился. Безумный бред охватил меня.

А Давкус Карота, подпрыгивая до потолка, говорил:

— Вот дурак, ведь я, прежде чем возвратить ему голову, вычерпал из нее ложкой весь мозг.

Я ощупал свою голову и почувствовал, что она открыта, и пал духом.

Затем я потерял сознание.

IX

НЕ ВЕРЬТЕ ХРОНОМЕТРАМ

Придя в себя, я увидел, что комната полна людей, одетых в черное. Они печально пожимали друг другу руки, как люди, разделяющие общее горе.

— Время умерло, — говорили они. — Больше уже не будет ни годов, ни месяцев, ни часов. Время умерло, и мы должны его похоронить.

— Правда, оно было уже очень старо, но я не ожидал такой скорой развязки: оно чувствовало себя великолепно для своего возраста, — прибавил господин, в котором я узнал одного художника.

— Вечность уж слишком одряхла. Должен же был прийти конец, — подхватил третий.

— Господи, — воскликнул я, пораженный внезапной мыслью, — если времени больше не существует, когда же будет одиннадцать часов?

— Никогда, — загремел Давкус Карота, бросая мне в лицо свой фальшивый нос и показываясь наконец в настоящем виде. — Никогда... Теперь навсегда останется девять часов с четвертью. Стрелка будет стоять на той минуте, когда умерло время, и твоя казнь состоит в том, что ты вечно будешь приходить смотреть на нее и не успокоишься, пока тебе будут повиноваться ноги.

И действительно, я раз пятьсот подходил к часам, точно меня толкала какая-то невидимая сила.

Давкус Карота, сидя верхом на часах, делал мне ужасные гримасы.

Стрелка не двигалась.

— Негодяй, это ты остановил маятник, — закричал я, пьяный от бешенства.

— Ничего подобного, он качается, как всегда, но солнца рассыпаются в прах, прежде чем стрелка подвинется хотя бы на одну миллионную миллиметра.

— Однако я вижу, что пора заклясть злых духов, настроение переходит в сплин, — сказал ясновидец. — Нужно еще музыки. На

этот раз Давидову арфу заменит рояль Эрара.

И он заиграл веселую мелодию.

Человеку-мандрагоре она показалась не по вкусу, он стал уменьшаться, сплющиваться, обесцветился, испуская невнятные стоны, затем, потеряв человеческий облик, повалился на паркет, превратившись в испанский козелец с раздвоенным корнем.

Чары рассеялись.

Но что это; детские радостные голоса кричали: — Аллилуйя, время воскресло! Посмотри-ка на часы!..

Стрелка показывала ровно одиннадцать часов.

— Сударь, карета вас ждет, — сказал слуга. Сон был кончен.

Гашишисты расходились по домам, словно офицеры после погребения Мальбрука.

Я тоже легким шагом спустился с лестницы, причинившей мне ночью столько мучений, и через несколько минут был у себя в здравом уме и твердой памяти; последние пары гашиша рассеялись.

Мой рассудок (или то, что я называю этим именем, за неимением другого термина) снова возвратился ко мне, и ясность его была такова, что я мог дать полный отчет о какой-нибудь пантомиме, или водевиле, или же сочинять стихи.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТ

Однажды, когда на берегах Бьевры происходила скачка с препятствиями под проливным дождем, — так джентльмены-наездники нуждались столько же в зонтиках, сколько в хлыстах, — часу в седьмом вечера, к подъезду одного из знаменитейших рестораторов Пале-Рояля с громом подъехало несколько карет, до верху забрызганных грязью.

Прохожие останавливались посмотреть на счастливых смертных, которые, продолжая веселый говор и смех, отправлялись наслаждаться завидными благами жизни. Компания состояла из нескольких мужчин, в числе которых не было ни одного старика, и из дам очень молодых и очень пышно одетых.

В большой красной зале первого этажа их ожидал великолепно накрытый стол, за который всякий уселся, смотря по своему праву и по своей склонности. Дамы скинули шляпки, шали и мантильи, оправили платья и волосы, сколько нужно для удобства продолжительного заседания. Официанты, в черных фраках и в белых галстуках, как легкие тени, скользили вокруг и с важным, почти таинственным видом, учтиво согнувшись, предлагали гостям кто хересу, кто мадеры, кто котлет, кто фазана с трюфелями. Гости также притихли и занялись важным делом. Но мало-помалу говор опять поднялся и скоро достиг такой высоты, что покрыл стук тарелок и стаканов. В этом смешанном шуме вдруг раздался громче всех звонкий голос барона Рудольфа Гюбнера:

— Что это, никто не выбросит за окно эту гадкую латунную башню, которая только загораживает от нас Амину и Флорансу!

Говоря это, Рудольф потянулся к большому бронзовому плато с цветами, плодами и конфетами, как будто хотел к слову присоединить и дело, но таинственно-важные слуги подоспели и вмиг очистили середину стола. Амина и Флоранса явились перед сидевшими напротив во всем блеске своей красоты, как две звезды из-за облаков.

Трудно найти противоположность более резкую, чем красота Амины и Флорансы. Эти две женщины, казалось, были созданы, чтобы

доказать, что можно прийти до одинакового совершенства совершенно различными средствами.

Амина — среднего роста, тонкая и вместе с тем кругленькая. Цвет кожи, от природы свежий и воспитанный искусным кокетством, удивительно приспособлен к обозначению всей нежности черт, более тонких, чем правильных; крошечный детский ротик, бархатные глаза с огненным взглядом; маленький носик с розовыми подвижными ноздрями, и во всем этом смесь детской прелести с соблазнительной бойкостью, ангельской красоты с коварством демона. Амина недаром слыла опасной женщиной: кто однажды поддался чарам этой сирены, тот уже не мог разрушить их. В длинном списке ее любовников не было ни одного, который бы сам покинул ее, хотя бы и знал, что его обманывают. Шелковое платье с широкими полосами, как будто сшитое из лент, придавало ее наряду что-то фантастическое, чрезвычайно веселое и согласное с расположением ее духа.

Флорансу прозвали «королевой» и недаром: она действительно походила на королеву, которая заблудилась и не может найти дороги в свой дворец. Все в ее наружности отличалось удивительным благородством и изящной важностью: с первого взгляда было видно, что она не родилась в цыганском таборе, в котором жила, а попала туда по стечению несчастных обстоятельств. Овал лица ее и изгиб шеи — чисто греческие; смугловатый цвет кожи, как у гаванских испанок, в особенности выигрывал при свечах. Черное бархатное платье с высоким лифом и с маленьким английским вышитым воротничком, и один только дорогой браслет, до половины скрытый манжетой, — вот весь простой и строгий наряд Флорансы.

Хотя лицо ее не выражало никакого пренебрежения к обществу, пусть не избранному, но блестящему, все держались от нее на почтительном расстоянии, она как будто оставалась в одиночестве. Сосед ее с правой стороны занимался другой дамой, а сосед с левой, видя Амину занятой живым разговором с сидящими напротив, предпочел устремить все свое внимание на тарелку.

Однако ж безмолвная и одинокая Флоранса принимала гораздо более участия в том, что происходило вокруг нее, чем можно было предположить по ее равнодушному виду. Амина также, несмотря на неистощимую болтовню и хохот, была чем-то занята: глаза ее часто с каким-то странным выражением обращались на другой конец стола.

Кокетство ли, или коварство управляло этими быстрыми, мгновенными взглядами, — трудно определить. Неизвестно также было, к кому именно относились эти взгляды, потому что счастливый смертный, который на ту пору имел право на них, сидел совсем не в той стороне.

Там, куда взглядывала Амина, сидели двое мужчин — барон Рудольф Гюбнер, который грозился выбросить за окно лишние украшения стола, и Генрих Дальберг, молодой человек, который недавно явился в модном свете и обнаруживал большую склонность прожить капитал, с которого получал двадцать пять тысяч франков дохода.

Барону под сорок, хотя на вид ему не дашь и тридцати. Черные волосы выстрижены под гребенку, маленькие усики закручены; цвет лица бледный, матовый; выражение женоподобное и вместе жестокое. Дальбергу двадцать два года. Открытое и кроткое лицо, добрый взгляд и улыбка не совсем соответствуют громкой речи и бойкому обращению, к которым он старается привыкнуть. Розовый цвет юности еще не совсем покинул щеки, немножко побледневшие от некоторых излишеств и от знакомства с закулисным миром.

Флоранса внимательно наблюдала и исподтишка ловила каждый взгляд Амины. Рудольф прежде был в милости у Амины, но Амина славилась тем, что никогда не возвращалась к старому, следовательно, ее батареи были направлены на Генриха. На минуту Флоранса подумала, что Демарси, счастливый смертный, который служил министром финансов у Амины, разорился. Но Демарси заседал на верхнем конце стола с спокойствием и самоуверенностью человека, у которого много акций северной железной дороги.

Потом Флоранса подивилась близорукости мужской породы.

— Странные люди, думала она: только Демарси и Дальберг не примечают этих взглядов.

Однако же Дальберг не совсем близорук: он только был очень занят разговором с Рудольфом. Спорили о лошадях, на которых Дальберг проиграл пари. Наконец он, должно быть, заметил молнию и, наклонившись к Рудольфу, сказал:

— Не подумайте, что я хвастаюсь, но мне кажется, Амина поглядывает на меня с большой нежностью.

— Что тут удивительного! У вас есть на что посмотреть, — отвечал Рудольф, — но вы слишком скромны, чтобы воспользоваться минутой благорасположения этой красавицы: вы знаете, что она несвободна.

Генрих стал горячо защищаться и уверял, что он далеко не идиллический пастушок, что на свете нет волокиты бессовестнее его и что, в сравнении с ним, Ловлас и Дон-Жуан — школьники.

— Ну, тем лучше, — отвечал Рудольф: ведь на вас уже пало подозрение, что вы питаете какую-то сентиментальную страсть: а это, сами знаете, последнее дело.

Генрих покраснел как девочка, пойманная на шалости, и поспешил скрыть свое смущение тостом в честь Амины и Флорансы, которые отвечали, подняв бокалы в уровень с глазами.

Шумный обед кончился; все пошли в гостиную. Флоранса успела прежде Амины завладеть рукой Генриха, Амина пошла с Рудольфом и шепнула ему:

— Ну, что вы скажете о моих взглядах?

— Чистая работа, — отвечал Рудольф так же тихо, — полуоборот зрачка и влажная молния неотразимы. Ни андалузка, ни баядерка не в состоянии произвести впечатления лучше этого. В белке твоих глаз есть какой-то перламутровый отлив, который стоит миллиона.

— Он и принес мне миллион, — отвечал хорошенький демон со смехом, от которого за алыми губами явились два ряда белых рисовых зернышек.

— Нужно, чтобы Дальберг влюбился в тебя до безумия, — продолжал Рудольф.

— Я рада вскружить ему голову: он очень мил и его невинная наружность мне нравится.

— По страсти к противоположностям, вероятно? Действуй, действуй. Сверх того, по известным мне причинам, нужно компрометировать его как можно больше. Являйся с ним почаще в открытой ложе, в опере, у авансцен в маленьких театрах, в коляске на Елисейских Полях и на скачках, — да помни, что нужно блистать.

— А если Демарси рассердится? Он, конечно, не очень проницателен, но вы требуете вещей, которые бьют в глаза.

— Что церемониться с Демарси? Он богат да скуп, а Генрих не крепко постоит за свои пятьсот тысяч франков. Впрочем, если тебе

мало этого, я доставлю тебе индийского князька, у которого можешь совками загребать алмазы.

После кофе и ликеров общество вздумало танцевать. Генрих и Флоранса стояли у окна и, поглядывая на небо, которое начинало проясняться, спокойно разговаривали о том, что видели в тот день. Флоранса не отличалась игривым остроумием, но основательные замечания ее внушали такое же почтение как и наружность. Притом она была образованнее всех своих приятельниц.

Вдруг Амина подошла и, церемонно-насмешливо поклонившись Флорансе, сказала:

— Извините мою дерзость, я намерена похитить вашего собеседника: у меня нет кавалера. Пожалуйте, месье Генрих. Вы в другой раз можете наглядеться на луну. Не подумайте, однако ж, чтобы у меня была особенная страсть к вам, оттого что я сама приглашаю вас на танец. Женщина, которой хочется попольковаться, не уважает никаких приличий. Вы в моих глазах — две ноги в лакированных сапогах и две руки в палевых перчатках, и только.

Говоря это, Амина повисла у Дальберга на руке со сладострастною небрежностью, которая сильно поспорила с прямым смыслом ее слов. Слова немножко смутили молодого человека, но ощущение теплой мягкой руки и эластического корсета уничтожило это смущение. Заиграли вальс; Амина, легкая как перо, маленькими ножками едва касаясь пола, совершенно держалась на руке своего кавалера. Хорошенькая головка запрокинулась назад, локоны развеялись; полуоткрытый рот, жаркое, скорое дыхание и томные влажные глаза приняли такое выражение, против которого не устоял бы самый холодный философ. К счастью, Демарси, как женатый человек, задолго до того уехал.

Флоранса не отходила от окна и, глядя на соперницу, думала:

— Неужели она в самом деле влюблена в него?

Так искусно разыгрывалась роль.

Устав от танцев, Генрих сел против Рудольфа за карточный стол и, с головой, несколько отягченной парами обеда, взволнованный убийственными взглядами Амины, проиграл несколько луидоров, которые присоединились к проигранному закладу в кармане барона. Удовольствия этого дня обошлись Дальбергу в две тысячи франков, ровно во столько, сколько они принесли Рудольфу.

Часовая стрелка приближалась к третьей цифре. Дальберг, меньше других привычный к ночным бдениям, уселся на кушетке и уснул, как ребенок, которого забыли уложить.

— Вот так! — сказала Амина, проходя. — Он уж и успокоился! Спит один за целый комитет чтения. Хоть бы он во сне сказал нам имя своей возлюбленной, по примеру балетных героев: вот было бы забавно!

Вдруг она наклонилась к спящему, как Диана к Эндимиону. Одна опаловая пуговица его рубашки расстегнулась, и в отверстии был виден небольшой золотой медальон на шелковой ленте. Достать этот медальон и перекусить мышьями зубами ленточку было для Амины делом одной секунды. Дальберг вздрогнул и провел рукой по груди, как будто защищаясь, однако не проснулся.

— Ну вот, мы все-таки посмеемся, — сказала Амина: если мы и не знаем имени, так по крайней мере увидим лицо возлюбленной Дальберга.

Похитительница убежала в другой угол залы и скрылась в толпе приятельниц, боясь, чтобы у нее не отняли медальона. Она придавила пружину и открыла крошечный портрет девушки.

Все женщины вглядывались в этот портрет, но ни одна не могла дать ему имени.

— Это кто-нибудь из порядочных, — сказала Амина с ударением на последнем слове: если живопись не лжет, так эта белокурая девочка красавица... Голубые глаза хороши. Но как все это пошло и холодно!.. совершенство, от которого умрешь со скуки!

Когда до Рудольфа дошла очередь посмотреть, бледное лицо его мгновенно озарилось молнией радости.

— Не отдавай этого портрета, — шепнул он Амине, которая пошла к Дальбергу.

Флоранса также не могла удержаться от некоторого трепета при виде медальона. Быть может, ее совесть, более щепетильная, чем у подруг, возмущалась при виде осмеяния, какому подвергалось чистое, благородное чувство.

— Здравствуйте, нежный пастушок! — сказала Амина, подойдя к Дальбергу: расскажите нам ваш розовый сон. Вы видели напудренных барашков и, вздыхая, прославляли на свирели вашу Хлою?

— Это что за глупости? — спросил с удивлением Дальберг, не примечая своей потери.

— А я еще недавно, за столом, с трепетом слушала страшные истории, которые вы рассказывали Рудольфу: мне казалось, из подполья вот-вот вырвется спиртовое пламя и поглотит великого злодея! Но выходит, что лев-то — ягненок; Дон Жуан носит на груди портрет пансионерки... да еще и прядь ее волос! Отчаянный волокита мечтает о счастье кушать жирный суп, говядину с капустой и обладать законной женой и полудюжиной ребят!

Все захохотали.

— Отдайте медальон! — вскричал Дальберг: это портрет моей матери...

— Полноте! — возразила Амина, — ведь тут выставлен год. В 1845 году вашей матушке, конечно, было больше семнадцати лет.

— Я ошибся, — продолжал Дальберг: я хотел сказать — сестры.

— Вы страшно путаетесь, месье Генрих, у вас вовсе нет сестры. Одно из важнейших преимуществ ваших состоит в том, что вы у отца единственный сын.

— Ну, я нахожу, что мы уже довольно пошутили. Отдайте медальон.

— Извините, я хочу сохранить его в своем музее. Я в восхищении, что буду обладать добродетелью... пусть всего лишь намалеванной.

Дальберг с гневом вскочил, чтобы вырвать свою собственность силой, но Амина предвидела это и, быстро опустив медальон за корсет, выскочила в переднюю. Другие женщины на минуту загородили Дальбергу дорогу и когда он выбежал на улицу, то увидел только искры от копыт Амининых лошадей.

Площадь перед старинной церковью Сен-Жермен-де-Пре была совершенно пуста. Остаток утреннего тумана, разрешаясь мелким дождем, разгонял последних прохожих. Глаза окружающих домов только что начинали открываться и без извозчичьей кареты с опущенными шторами, которая стояла в нескольких шагах от паперти, площадь походила бы на совершенную пустыню.

Дама в черной шляпке с плотным вуалем, закутанная в шубу темного цвета, вышла из церкви и села в карету. Шуба скрывала все формы. Наблюдатель приметил бы только одну белую перчатку да

изящные лодыжки в плотно облегающем ногу ботинке. Такому наблюдателю непременно пришло бы на мысль какое-нибудь таинственное свидание в испанском вкусе, тем более что наряд дамы по своей непроницаемости очень походил на маскарадное домино.

Однако ж наблюдатель ошибся бы. Он мог бы обойти все приделы мрачного храма и не нашел бы ничего похожего на романическую интригу. Две или три старухи в разных углах, согнувшись, шептали свои молитвы да сторож подметал пол и передвигал скамьи, ножки которых издавали протяжные заунывные звуки под высокими сводами. Несмотря на самое отчаянное расположение к романизму, должно было бы ограничиться очень простым предположением, что таинственная дама приезжала действительно молиться.

В ту минуту, когда карета тронулась, на углу улицы Аббатства появились две другие дамы — молоденькая девушка и пожилая гувернантка очень почтенной наружности, с большим старомодным зонтиком.

Одежда девушки, простая по покрою, но богатая по материи и изяществу отделки, обличала принадлежность к зажиточному классу, а свежесть румяного лица — спокойную жизнь провинции или предместья. Вокруг голубых глаз балы и пиршества не начертали своих желтых и фиолетовых знаков. Белокурые волосы, уложенные и пришпиленные на висках, — потому что было слишком рано для полной прически, — не скрывали очертания щек, подернутых персиковым пушком, и придавали головке совершенно детский вид.

Карета с опущенными шторами проехала мимо этой девушки и ее гувернантки так близко, что они принуждены были посторониться, и белый лоб Клары слегка покраснел, — вероятно, от испуга. Она пошла быстрее.

Клара в сопровождении гувернантки вошла в церковь, прошла ее всю, до алтаря, где находился ее стул, отмеченный вензелем из бронзовых гвоздик. К стулу был приделан ящик, в котором хранился молитвенник и другие священные книги. Девушка достала книгу, опустилась на колени и стала, по-видимому, молиться очень усердно.

Однако ж, несмотря на хорошее мнение, какое должна внушать девушка, так рано приходящая в церковь с самой почтенной из гувернанток, должно сказать, что в ящике между священными книгами оказалась бумажка со всеми признаками любовной записочки. Клара

нимало не оскорбилась этим открытием и очень ловко засунула бумажку в перчатку на левой руке.

Это явление могло бы в особенности заинтересовать кого-нибудь из бывших накануне на пиру в пале-рояльской гостинице, если бы кто-нибудь из них вздумал так рано встать, чтобы побывать в церкви. Его поразило бы чрезвычайное сходство лица девушки с портретом, который Амина похитила у Дальберга.

Помолившись, Клара пошла домой так поспешно, что старая гувернантка едва поспевала за ней. Дома девушка отправилась прямо в свою комнату и заперлась.

В гнезде голубки царствует совершеннейший порядок и необыкновенная чистота. Мебель удобная, но простая до строгости. Стены обиты одноцветной синей материей; на полу белый ковер с букетами; в алькове кровать пансионерки с белыми занавесями; в противоположном углу рояль и этажерка с нотами и книгами; под окном швейный столик, а в простенках несколько гравюр с рафаэлевских картин и две-три акварели, подаренные на память пансионскими подругами. На самом видном месте висит акварель, которая изображает букет васильков и колосьев и носит подпись: «Нарисовано с натуры, во время прогулки и подарено Кларе на память...» Имя художницы скрыто за рамкой, вероятно, по неловкости переплетчика.

Таинственная записочка не произвела обыкновенного действия подобных посланий. Темное облако омрачило ясный лоб Клары, прекрасные глаза помутились; волнение подняло грудь, и бумажка задрожала в руке, которая от уныния упала на колено.

Так Клара просидела несколько минут, потом опять подняла голову, в которой, казалось, родилась новая важная мысль, и на лице снова явилось спокойствие. Убеждение, на минуту поколебленное, воротилось в душу. Клара встала и с выражением глубокой веры сказала:

— Я одержу победу над демоном!

Потом она засветила свечу, сожгла записку и бросила золу в камин. Гувернантка нашла свою воспитанницу за вышиваньем.

За шесть месяцев до того Клара со своим отцом, бывшим нотариусом, переселилась в Париж из провинции, которую называть

нет надобности и которую старик Дебре, к собственному своему удивлению, покинул сам не зная, как и для чего.

В том же провинциальном городе родился и Генрих Дальберг, троюродный братец Клары. Там молодые люди познакомились и привязались друг к другу неприметными узами привычки. Милая, невинная короткость и частые свидания объяснялись родством, немножко преувеличенным, правда, но все-таки родством. Их обоих так привыкли видеть маленькими, что никто не догадался, что они выросли. Дебре когда-то качал Генриха на коленях и потому всегда смотрел на него как на мальчика. Дочь свою он всегда называл своей малюткой, с тех пор как видел ее в пеленках. Это ослепление свойственно всем старикам: застоявшись сами, они не примечают, что все вокруг них растет, и столбенеют, когда вдруг открывают, что их дети делают долги, дерутся на дуэли, заводят любовные интриги и располагают жениться. Генрих между тем был уже красивый мужчина, на целую голову выше Дебре, а Клара, несмотря на строгое воспитание, пользовалась гораздо большей свободой, чем могла бы пользоваться при жизни матери.

Хотя дом нотариуса Дебре был вовсе не из веселых, — там собиралось только несколько стариков на бостон, — однако ж Генрих находил, что там веселее, чем где-нибудь. Он почти каждый вечер проводил в большой гостиной, обитой серыми обоями и обязанной большей частью своего освещения бостонному столу. Там он помогал Кларе разбирать трудные ноты; там они вместе читали и переводили любимых поэтов, и часто головы, склоняясь над одной страницей, соприкасались лбами или щеками, и белокурый локон Клары смешивался с темно-русыми волосами Генриха, но в жару объяснения никто не примечал этого.

Когда Дальберг принужден был отправиться в Париж, куда его призывала необходимость докончить образование и позаботиться о будущем состоянии, Клара почувствовала сильное стеснение в груди. Прощание было очень печальное. Дальберг выпросил себе миниатюрный портрет, который Клара сама написала с себя в зеркало и который был назначен в подарок одной пансионской подруге. Тогда только братец и сестрица поняли, сколь любят друг друга. Они никогда не говорили об этом, но души их молча обручились и поменялись

золотым кольцом в немом поцелуе. В сердце Клары невидимый резец начертал слова: «Я не выйду ни за кого, кроме Генриха Дальберга».

Через несколько месяцев по отъезде Дальберга, Депре, дотоле совершенно довольный своей провинцией, нашел, что уже достаточно начитался Горация, что бостон — игра скучная и что рыба в местной реке ловится со дня на день хуже. Он вдруг почувствовал потребность свидеться с родственниками, которых не видал уже двадцать лет и которые могли быть ему полезны в новом задуманном предприятии. Короче говоря, он собрался ехать в Париж, с тем чтобы провести там месяца два или три.

Клара с макиавеллизмом, свойственным самым честным женским душам, внушила отцу мысль об этом путешествии, тогда как он сам вовсе ничего подобного не предполагал, и Депре почти безотчетно вдруг очутился в Париже, на улице Аббатства, в квартире, которую по его просьбе нанял один из его старинных приятелей.

Дальберг, естественно, пришел навестить отца Клары, и дела в сен-жерменском предместье пошли почти совершенно так же, как в провинциальном городе, — в красной гостиной так же, как в серой. Потом старику Депре улица Аббатства так понравилась, что он решил остаться в ней совсем и продал свой дом в провинции.

Того, кто удивится, видя Генриха, обедающего с сомнительными красавицами, играющего и пьющего наравне с отчаянными повесами, покорнейше просим вспомнить, что человеческая душа — смесь противоположностей и цельные герои встречаются только в трагедиях. Мир преисполнен Грандисонов, которые ведут себя подчас, как Ловласы. Искушения и дурной пример; свойственное молодости тщеславие; тип соблазнителя, прославленный великими поэтами, — все это портит очень многих. Чистота и простодушие — такие свойства, за которые люди краснеют более, нежели за пороки, и если галеры, по словам их обитателей, населены невинными, зато все почти молодые люди между собой стараются казаться отчаянными бандитами по части нравственности и многие хвалятся такими подвигами, которых ни им, ни внукам их никогда не совершить. Так Дальберг, созданный для того, чтобы наслаждаться счастьем мирной семейной жизни, способный понимать поэзию домашнего очага, вел жизнь диаметрально противоположную. Это произошло оттого, что, приехав в Париж, он познакомился с Рудольфом, который ввел его в

двуличный мир, где под видом удовольствий скрываются серьезные дела и глубокий расчет.

Снисходительность старика Дебре объясняется очень просто: самое худшее, что может случиться, — молодые люди крепко влюбятся, так, что их надобно будет женить, думал он. Дальберг происходил из благородной фамилии и владел изрядным состоянием. Бывший нотариус, уверенный в его честности и в достоинствах своей дочери, не находил в этом ничего зазорного: напротив, ему очень приятно было видеть в Дальберге будущего зятя.

Из патриархальной жизни провинции невозможно перейти в лихорадочное существование, где золото, вино и женщины окружают вас тройным обаянием и увлекут в оргию, без некоторого нравственного потрясения. Звонкий смех, призывный взгляд, смелые речи, открытые платья, атласные плечи не могли не подействовать на молодую, свежую кровь Дальберга. К несчастью добродетели, у порока почти всегда нежная кожа и белые зубы. Сверх того, опасение, что Рудольф посмеется над провинциальным простодушием, побуждало Генриха к разным выходкам кутилы. Он ужинал без голода и жажды, из одного подражания приятелям; играл и проигрывал, чтобы не подать виду мещанской скупости, и считал обязанностью ухаживать за женщинами, которые ему вовсе не нравились, но были в моде. Есть множество людей, и притом среди самых твердых и самых умных, которые живут и действуют для того, чтобы заслужить одобрение других, часто не имеющих никакого достоинства. Генрих все свои поступки приравнивал к тому, что подумает и что скажет Рудольф. Улыбка или нахмуренная бровь барона заставляла его совершенно переменить свое мнение. У Рудольфа была своя особенная, холодная манера побуждать Генриха к величайшим глупостям: он давал ему благоразумные советы и учил не насиловать свою кроткую и миролюбивую природу. От этого Генрих готов был перескочить через высочайший забор, поцеловать принцессу на балконе ее дворца и поставить все свое состояние на одну карту.

Так Генрих уже промотал тысяч пятьдесят из своего капитала, но теперь он не о том заботился.

Медальон, который уже около года покоился на его груди и который он привык почитать своим талисманом, находился в руках Амины, а та, конечно, хотела употребить эту вещицу как ловушку,

потому что сам по себе медальон для любовницы Демарси не мог иметь никакой цены.

Дальберг с нетерпением дождался приличного часа и отправился к Амине, но не застал ее дома. Горничная сказала, что он может видеть ее госпожу не раньше вечера, в опере. Генрих отправился в оперу, но напрасно наводил двойной лорнет на все ложи, он не отыскал Амины и вышел крайне раздосадованный.

Заходить к Дебре было уже поздно. Это, однако же, не помешало Генриху свернуть на улицу Аббатства и посмотреть по крайней мере на дом, где живет его милая.

Слабый свет мерцал сквозь занавес окна у Клары. Генрих, закутавшись в плащ, долго не сводил глаз с этой светлой точки, звезды любви, которая сияла посреди всеобщего мрака.

Сцены былого теснились в его голове: он вспомнил тысячи очаровательных подробностей, в которых проглядывала чистейшая нежность, — цветок, подаренный и сохраненный как святыня; стих или два из романа, фраза, которая применялась к обстоятельствам; рука, оставленная в руке долее, нежели нужно, при выходе из кареты или лодки... Сердце Генриха таяло от невыразимого наслаждения, потому что все эти мелочи происходили от Клары и имели огромную цену, могущество чистой любви. Он был гораздо счастливее, когда ловил зыбкую тень на оконной шторе, чем накануне за роскошным столом, среди блестящих красавиц и веселых товарищей.

— Здесь, — говорил он, — здесь она живет; здесь она молится и работает; здесь она спит под крылом своего ангела-хранителя, который склоняется над нею, чтобы подсмотреть сновидения чистой девственной души.

Потом, через несколько минут, проведенных в восторженном созерцании, он вдруг опомнился и невольно сказал:

— Ну, если бы Рудольф увидел меня! Непременно назвал бы трубадуром и вызвался бы подарить абрикосового цвета кафтанчик с бархатными петлицами. Право, мне недостает только гитары. Если бы я хотя бы находился в Севилье или в Гренаде, под каким-нибудь мавританским балконом.

Он рассмеялся, но довольно принужденно: в глазах его стояли слезы.

А что делала между тем Клара?

Она сидела за маленьким столиком и что-то писала, или только шалила пером, потому что оно не оставляло следов на бумаге. Подле стоял графин с водой и лежал разрезанный лимон. В этот лимон девушка макала перо, как в чернильницу.

На улице, вдали, слышались звуки шарманки, и в то же время Дебре, по обыкновению, пришел проститься с дочерью. Шарманка остановилась под освещенным окном и развернула весь свой репертуар.

— Черт бы его взял с его музыкой! — сказал с досадой старик. — Нашел время наигрывать польки!

— Эти бедняки тем именно и берут, что надоедают, — сказала со смехом Клара, — я брошу ему что-нибудь, так и уйдет.

Она завернула несколько медных монет в бумажку, исчерченную невидимыми иероглифами, и, приотворив окно, кинула к ногам странствующего музыканта. Тот поднял, развернул, опустил деньги в один карман и бережно спрятал бумажку в другой, потом закинул свой ящик на спину и поспешно ушел.

Дальберг тоже увидел белую ручку в потоке света, который на несколько секунд пробился в полуотворенное окно. Ему было довольно этого счастья на целые сутки. Он, конечно, не предполагал, что шарманщик унес, может быть, ответ на записку, найденную утром в церкви Сен-Жермен-де-Пре.

В Париже слово «утро» толкуется очень разнообразно: для чиновников, деловых и торговых людей оно соответствует времени от восьми часов до двенадцати, а для светских женщин, для актрис и герцогинь без гербов утро начинается в два или три часа пополудни и оканчивается в шесть. Дальберг, уже порядочно освоившийся с местными обычаями, вышел со двора около трех часов и, побродив несколько времени по Итальянскому Бульвару, чтобы не ворваться дикарем в приличный дом на рассвете, отправился к Амине, которая на улице Жубер занимала княжескую квартиру.

Дальберг позвонил. Грум в полной ливрее отворил, спросил имя, сходил доложить и через несколько минут проводил посетителя в гостиную и сдал горничной, а та провела в будуар.

Амина только что перешла с постели в ванну и из ванны на кушетку, чтобы отдохнуть перед туалетом.

— А! Это вы, месье Дальберг! Говорят, вы и вчера приходили? Как жаль, что меня не было дома! Но кто же мог предвидеть, что вы удостоите меня такой чести?.. Вы и теперь застали меня врасплох — я никогда не решилась бы принимать гостей в таком виде, — прибавила она с очаровательной улыбкой, — доказательство, что я не кокетничаю с вами.

Амина безбожно лгала: она очень хорошо знала, что никакой наряд не мог произвести такого выгодного впечатления, как батистовый пеньюар и небрежное, то есть в превосходной степени изысканное, положение на кушетке.

Дальберг, не забывая Клары, помнил об ней однако ж, может быть, не так крепко, как обыкновенно, и смотрел на Амину если не влюбленными, то по крайней мере очень ласковыми глазами. Восхищаясь всякой прекрасной статуей и картиной, он, конечно, не мог не любоваться живым произведением природы.

Амина осталась довольна впечатлением, которое произвела, и полусерьезным, полущутливым тоном сказала:

— Если бы у меня было хоть немножко тщеславия, я подумала бы, что вы наконец пришли отдать дань удивления моим «слабым чарам». Но вас не то привело. Я не довольно хороша, чтоб заслужить такую честь.

— О! Такую несправедливость только вам самим позволительно сказать.

— Вы очень учтивы, месье Дальберг. Но, несмотря на все ваши комплименты, вы не были бы здесь, если бы не известный медальон, который вам страшно как хочется вырвать и которого я вам не отдам.

— Не выказывайте себя злее, чем вы есть, Амина. К чему вам может послужить этот медальон?

— К тому, чтобы заставить вас прийти. Мне очень приятно видеть вас.

— Не смейтесь, пожалуйста, надо мной.

— Я совсем не смеюсь. Что же в этом странного?

— Послушайте, Амина, я подарю вам хорошенький перстень, браслет...

— На что они мне? — спросила она, протянув руку к столику и пересыпая в открытом ящичке кучу блестящих ожерелий. — Вы очень

любите эту блондинку? — спросила она потом, — она красавица?.. Портреты ведь всегда лгут.

— Не совсем красавица... однако... недурна, — отвечал Дальберг с некоторым замешательством, — главное в ней — свежесть и миловидность.

— То есть чертова красота, пансионерская — красные руки и локти, — сказала Амина с презрительной гримасой, протянув свою белую пухленькую руку, на прозрачном опале которой чуть-чуть обозначались тонкие лазоревые линии жилок и ногти которой походили на лепестки чайной розы.

— Ах! Какая у вас очаровательная рука! — вскричал Дальберг, желая переменить разговор и схватив руку Амины.

Она не отняла.

— Да, — отвечала она, — знаменитейшие скульпторы делали слепки с моих рук... Но не в том дело. Как вы можете любить блондинку? У блондинок белые ресницы и вовсе нет бровей, — сказала она, оправив свои рассыпанные по плечам черные кудри и стрельнув в гостя огненным взглядом.

Несмотря на все пристрастие к Кларе, Дальберг принужден был сознаться, что ресницы у Амины длинные, шелковисты и удивительно возвышают перламутровый блеск белка. Он отвечал очень развязно:

— Я вовсе не влюблен в нее...

— Как! Вы не влюблены, а между тем носите на груди медальон? Что ж бы вы стали делать, если б были влюблены?

— Это просто ребячество... воспоминание о прочитанных романах.

— Так вы избавляетесь от этих дурных привычек?

— Я так привык носить этот портрет на шее, что все забывал снять его.

— А я, напротив, уверена, что вы, нежный пастушок, каждое утро и каждый вечер набожно подносили этот драгоценный образ к губам.

— Полноте, Амина; вы преувеличиваете мою сентиментальность.

— О! Я знаю, что вы чудовище... Вы покинули множество несчастных жертв... Я знаю вас!

— Не насмехайтесь... отдайте лучше медальон. Я признаюсь, что это слабость, но я привык к нему...

— Никто, кроме вас, еще не помышлял в этой комнате о другой женщине. Увы! Я вижу, что подурнела, — сказала Амина и отвернулась.

При этом движении пеньюар сполз с плеча. Его поправили довольно быстро, однако ж Дальберг успел заметить, что не одни руки у Амины достойны слепков и восхищения художников.

Дальберг не изучал Эскобара и его трактата о совести, однако ж был не прочь выкупить портрет Клары довольно странной ценой: он основывался на законности намерения. Глазки Амины за обедом и обстановка, с какой она приняла его, имели смысл слишком ясный, чтобы ошибиться. Поэтому он счел бесполезным и даже опасным долее настаивать на возврате медальона, чтобы не возбудить, притворной или истинной, но все-таки ревности Амины. Он не влюбился в Амину, но она в эту минуту поработала, ослепляла его всеми коварными чарами ядовитого цветка, который нельзя не сорвать, когда увидишь, — всем обаянием змеи, в пасть которой бросается птичка, трепеща от наслаждения и ужаса. Сладострастие имеет неизъяснимую силу даже над самыми строгими и чистыми душами. Не отдавая себе порядочного отчета во всем этом, Генрих придвинулся к Амине и перестал говорить о медальоне, когда горничная подняла дверную драпировку и доложила, что мадемуазель Флоранса желает видеть мадемуазель Амину.

— Следовало сказать, что меня дома нет, — сказала Амина с досадой.

— Вы ничего не изволили приказать, сударыня...

— Ты начинаешь глупеть, Анета. Умная горничная без слов понимает. Но, если глупость уже сделана, так проси... Я желала бы знать, чему я обязана этим посещением... Откуда такая мгновенная дружба Флорансы?..

Флоранса вошла, быстрым взглядом исследовала состояние комнаты и положение лиц и, по-видимому, осталась довольна. Поздоровавшись с Аминой, она сделала грациозный реверанс Дальбергу.

— Вот милый сюрприз, — сказала Амина Флорансе, — вы так редки!

— Ах, боже мой! Я боюсь наскучить. Что вы делаете сегодня?

— Ничего... Мигрень началась было. У меня нет никакого плана на сегодняшний день. Я полагала куда-то не выезжать.

— А я сегодня пробую новую коляску и пару новых лошадей. Не хотите ли прокатиться со мною по Булонскому лесу?

— С удовольствием. Я выпрошу только четверть часа на одевание. Месье Дальберг, потрудитесь куда-то посмотреть в окно или выйти в другую комнату, — сказала Амина, вставая с кушетки и надевая туфли, подбитые лебяжьим пухом.

— Кстати, вы, вероятно, возвратили Дальбергу медальон? — спросила Флоранса.

— Нет, и не намерена.

Флоранса слегка наморщила лоб и спросила:

— Вы знаете, чей это портрет?

— Нет еще, но узнаю.

— На что же он вам? — спросила Флоранса, несколько покраснев.

— Я склонна ненавидеть людей, которых Дальберг любит.

— О! Да ведь это признание...

— Совсем нет; я ревную без любви... Ну, теперь можете явиться, — крикнула она Дальбергу, который вышел в гостиную, — я одета, так что уже не испугаю вашей стыдливости.

— Если месье Дальбергу угодно ехать с нами, места будет довольно.

— Очень рад, если позволите, — отвечал Дальберг с поклоном.

И он отправился вслед за дамами, сам хорошенько не зная, доволен он или досадует, — кстати или некстати пришла Флоранса.

Для чего Флоранса именно в этот день и час пришла к Амине, которую посещала раза три-четыре в год и к которой никогда не питала особенного расположения? Был ли это просто случай, или надежда встретить Дальберга, желание в самом начале остановить интригу, которая ей не нравилась?

Предположив в ней любовь к Дальбергу, можно было бы объяснить этот приход ревностью, но Флоранса видела этого молодого человека очень мало, мельком и никогда не искала ближайшего знакомства с ним.

Сверх того, Флоранса была женщина относительно добродетельная. Достоверно известно было, что она имела только одного любовника, и хотя злые языки утверждали, что она уже

заместила его вторым, однако ж это обстоятельство оставалось недоказанным. По положению своему Флоранса не могла быть принята в обществе, но обладала всем необходимым, чтобы блистать в нем не хуже многих других, огражденных мужьями, естественными щитами, под которыми часто укрываются добродетели более чем сомнительные. Вероятно, страх, чтобы Амина посредством похищенного медальона не вздумала возмутить спокойствия невинной и честной девушки, побудил Флорансу сблизиться с любовницей Демарси.

Коляска катилась по Елисейским полям. Пара прекрасных английских лошадей-полукровок бежала рысью. Амина, закутанная с ног до головы в большую турецкую шаль, развалилась на голубых бархатных подушках, как дома на кушетке, и с самодовольным видом кивала встречным знакомцам. Она гордилась тем, что сидит в одной коляске с Флорансой, как мещанка может гордиться выездом на гулянье с герцогиней или хористка обществом примадонны. Во всяком кругу есть своя аристократия, а в кругу Амины Флоранса почиталась принцессой.

В Мадридской аллее встретили Рудольфа, который прогуливался верхом и очень удивился, когда увидел Амину и Дальберга в коляске у Флорансы. Но, как светский человек, он не обнаружил этого удивления и, поехав рядом, стал делать более или менее едкие замечания насчет наружности и посадки некоторых всадников, скакавших в облаках пыли.

«Что за причина свела этих несхожих людей? — спрашивал он себя, продолжая следовать подле коляски, с той стороны, где сидела Амина: неужели добродетельная Флоранса занялась молодчиком, которого я поручил Амине? Вот союзница, на которую я вовсе не думал рассчитывать! Две, разумеется, лучше одной. Не той, так другой удастся. Одна не понравится, другая очарует, и он уже никак не вырвется».

И Рудольф, уверившись в успехе своих планов, заставил лошадь сделать курбет.

Дальберг разговорился с Флорансой. Амина наклонилась к Рудольфу и тихонько спросила:

— Как зовется оригинал портрета?.. Живей!

— Клара Депре, — отвечал Рудольф шепотом и подъехав так близко, что колесо почти терлось о бедро его лошади.

— Кто бы подумал, что вы способны на такое чистое чувство! — говорила между тем Флоранса Дальбергу с нежной улыбкой и увлажненными глазами: этот знак истинной любви тронул меня.

— Адрес? — продолжала Амина, притворяясь, будто любитесь прекрасным видом.

— Улица Аббатства, номер седьмой, — отвечал Рудольф, оправляя гриву своей лошади.

— Я надеюсь, — продолжал Рудольф под стук колес, — что ты употребишь эти сведения в дело как следует.

— Будьте совершенно спокойны, — отвечала Амина.

Коляска успела отъехать довольно далеко, и дамы приказали кучеру повернуть назад. На выезде с Елисейских полей Дальберг простился с дамами и вышел из коляски. Амину Флоранса отвезла обратно домой.

Дальберг намеревался навестить Депре и потому зашел домой переодеться: он был одет слишком щеголевато. Вышитую и слишком прозрачную рубашку нужно было заменить другой, также очень тонкой, но попроще; место яркого жилета занял другой, поскромнее и посообразнее с важностью дома нотариуса, естественно расположенного более к черному цвету.

Сняв одежду светского льва, Дальберг снова принял свой природный облик, так что в гостиной у Депре, по скромной, простой и естественной одежде, в Дальберге никак нельзя было узнать того франта, который каждый вечер прогуливался об руку с Рудольфом по Итальянскому бульвару, щеголяя отчаянно бойкими манерами и пуская дым своей сигары встречным женщинам в лицо. Это с его стороны было не притворство, а напротив возвращение к истине.

Когда Генрих подошел поклониться Кларе, занятой у окна каким-то рукоделем, он невольно смешался, несмотря на улыбку и дружелюбный прием девушки. Совесть укоряла его за утраченный медальон. Ему казалось, что Клара по магнетическому ясновидению должна знать об этой пропаже, и он по чувству странному, однако же понятному тем, кто не смеется над суевериями сердца, застегнул фрак, чтобы плотнее закрыть грудь от взора своей милой.

— Берегитесь, Генрих, — сказала девушка со смехом, — я боюсь, нет ли у вас соперника. Вчера вечером я видела, как под моим окном стоял какой-то таинственный господин...

— Шарманщик, от музыки которого во всем квартале завывали собаки?

— Нет, господин, закутанный в темный плащ, с нахлобученной на глаза шляпой, господин, у которого сегодня должен быть кашель или насморк, потому что ночь была вовсе не теплая. Я вам советую прийти завтра, подкараулить его и проколоть вашей доброй шпагой.

— Ну, уж извините, этого я не собираюсь делать, — отвечал Дальберг.

— Нет? А я думала возбудить вашу ревность. Неужели вы не ревнивы?

— Нет, Клара; я питаю к вам беспредельное доверие, потому что я люблю вас от всей души.

— Я верю вам, — сказала Клара, вонзив светлый и пронизательный взгляд в глаза Дальбергу.

Лицо Клары, всегда милое, было дивно прекрасно в эту минуту. Можно было подумать, что из него изливается дневной свет. Душа ее испускала такие живые лучи, что они разлились и отразились во всех чертах.

— Я чувствую, что не могу жить без вас, — сказал Генрих, взяв девушку за руку, — хотите быть моей женой... если ваш отец согласится?

Клара не отвечала, но приклонила голову к плечу Дальберга, и глаза ее наполнились слезами.

В этом положении Дебре застал молодых людей, но не обошелся с ними как отцы в комедиях, не вытаращил глаза, не нахмурил олимпийские брови, а подошел с добродушной улыбкой и потирая руки, потому что давно ожидал этой развязки.

Генрих отвел его в сторону и сказал:

— Мне нужно поговорить с вами наедине, месье Дебре.

— Извольте, любезнейший. Я догадываюсь, о чем вы хотите говорить, но вы оба еще молоды, успеем объясниться, — отвечал Дебре.

Прибыло несколько приятелей бывшего нотариуса, и сели за бостон, точно так же как в серой гостиной, в провинции.

В десять часов Генрих ушел. Душа его пела. Он никогда не проводил вечера так весело, как в этот раз.

Воротившись домой, он через дворника получил следующую записку:

«Приходите сегодня вечером доказать мне, что вы не любите Клары, и я возвращу вам портрет, который уже не имеет для вас никакой цены».

— Какой час, Анета? — спрашивала Амина, потягиваясь на кушетке.

— Скоро полночь, сударыня, — отвечала горничная, посмотрев на дорогие столовые часы.

«Еще не поздно, он еще может прийти, если только Рудольф не утащил его играть», — подумала Амина.

— Исправно ли отдали мою записку? — спросила она через полчаса.

— Исправно, сударыня. Тоби отнес.

— Странно, как ожидание действует на нервы! Налей мне стакан воды и подбавь три капли флердоранжа.

Анета исполнила приказание и поставила перед госпожой поднос с граненым стаканом и великолепным хрустальным графином.

Амина хлебнула один раз и, раздраженная нетерпением, встала, подошла к окну, чтобы посмотреть на улицу, освещенную фонарями, которые слишком надеялись на луну, или луной, которая слишком надеялась на фонари. Всякая промелькнувшая тень приводила красавицу в трепет, возбуждала надежду и разочарование.

Стук экипажа, за которым последовали остановка и скрип кнопки звонка, слышимый в тишине ночи, произвел у нее такое волнение, что она принуждена была положить руку на сердце, чтобы унять его биение.

Приехал домой кто-то из жильцов.

Иные, может быть, удивятся такой живости чувствований в пресыщенной женщине. Но Амина была одна из тех, которых препятствия распаляют. Если б Дальберг пришел, она едва обратила бы на него внимание, но он не являлся, и она отдала бы все на свете, чтобы увидеть его. Амина пристращалась к невозможному. Дальберг,

влюбленный в нее и свободный, не внушил бы ей ничего, но, принадлежа другой, он казался ей удивительно привлекательным. Вытеснить чистый образ, долго лелеемую мечту; вскружить голову человеку, который выказывал ей пренебрежение, казалось ей невыразимым наслаждением. Она хотела воздвигнуть статую на обломках поверженного кумира, построить храм на развалинах другой страсти.

Всякая любовь к добродетельной девушке или честной женщине возбуждала в ней бешеную ревность, оттого ли, что сама она не способна к такой любви, или оттого, что предчувствовала, угадывала в ней чистые наслаждения и восторги, от которых принуждена навсегда отказаться и о которых смутно сожалела.

Заставить Дальберга изменить Кларе было бы для нее величайшим торжеством, и, по смущению молодого человека, когда он приходил вырывать медальон, она уже надеялась успеть, — может быть, и успела бы в своем намерении, если бы не пришла Флоранса.

Дальберг, с своей стороны, был также в величайшей тревоге. Имя Клары, жирно подчеркнутое в Амининой записке, предвещало множество коварных замыслов. И каким образом Амина провела это имя?

Клара очень редко выходила со двора, еще реже посещала спектакли и в кругу Амины должна была быть столько же неизвестна, как отшельница португальского монастыря или обитательница турецкого гарема. Один парижский квартал от другого отстоит часто на несколько сот миль, и некоторые породы не встречаются вне известных пределов точно так, как не встретишь рыбы, плавающей по большим дорогам. Аминина нога никогда не переступала порога церкви Сен-Жермен-де-Пре, никогда не забредала в Люксембургский сад — единственные места, которые посещала Клара; никогда блестящей кокетке не случалось проезжать по улице Аббатства, где бы она могла видеть в окне нежный профиль девушки, склонившейся над рукодельем.

Стало быть, кто-нибудь сказал ей это имя. Но кто же?

Пять или шесть человек, которые бывают у Депре, все люди лет пятидесяти, шестидесяти, все бывшие адвокаты или нотариусы, имеющие домоправительниц, — одним словом, люди, которые

переправляются за реку только в торжественных случаях и не имеют ничего общего с оперными и прочими дивами.

Таким образом, тайна оставалась непроницаемой. Никакой поверенный не мог изменить Дальбергу, потому что он скрывал свою любовь пуще, нежели какое-нибудь преступление, он скрывал ее как нечто смешное: ни перед Рудольфом, ни перед Демарси он, конечно уж, не стал бы хвалиться платонической страстью к молоденькой провинциалке. Эти господа, проповедовавшие учение очень положительное по этому предмету, подняли бы на смех, засыпали бы сарказмами светского льва, способного к таким мещанским чувствам.

Между тем Кларин портрет находился в руках Амины, и Дальберг довольно хорошо знал Амину, так, что оставив ее записку без ответа, мог, наверное, ожидать какого-нибудь скандала.

Положение было критическое. Не пойти к Амине значило подвергнуться мщению ее оскорбленного самолюбия; пойти значило изменить Кларе, этому чистому ребенку, который сейчас только с доверчивостью пожимал ему руку. Что делать?

Дальберг долго колебался. Истинный волокита тотчас решился бы и, в случае надобности, разграничил бы душу и тело, чувствование сердца и прихоть страстей.

— Нет, не пойду! — сказал Дальберг и начал раздеваться. — Рудольф, когда узнает об этом, станет смеяться, но я буду думать о Кларе, и насмешки скатятся с меня как с гуся вода. А портрет если и пропадет, невелика беда... я утешусь оригиналом.

Успокоенный этим логическим выводом, Дальберг лег и заснул легким сном, пронизанным видениями, в которых беспрестанно повторялся образ Клары.

— Как ты находишь меня, Анета, — говорила между тем Амина своей горничной, — постарела я? Есть у меня хоть одна морщина, какое-нибудь пятно, которого я не примечала? Говори откровенно.

— Вы никогда еще не бывали так прекрасны, как сегодня, — отвечала Анета с убеждением, — я нахожу, что глаза у вас сегодня необыкновенно блестят.

— Это огонь лихорадки, нетерпения, гнева... Два часа! Он не придет... Не понимаю, что это значит. Сегодня утром голос у него дрожал, он краснел, бледнел. Я уверена, он находил, что я хороша... О!

Какая мысль!.. Что если этот нежный пастушок, хранитель медальонов, не ночует дома?.. Если у меня две соперницы вместо одной?.. Может статься: я всегда говорила, что исключительная любовь — вздор. Этот Дальберг мне уже порядочно опротивел. Бедная Клара. Я охотно оставила бы ей любезного, чтобы наказать за такой выбор. Если бы Рудольф не просил, я ни минуты не стала бы заниматься таким смешным мальчишкой.

Под конец этого монолога Амина с помощью горничной улеглась в постель и небрежно перевернула первые листы нового романа — верное средство, которое не замедлило произвести свое действие.

Книга упала на ковер. Назвать заглавие было бы бесполезной жестокостью.

Наутро пришел Рудольф и застал Амину в довольно дурном расположении духа: она посылала грума за справками и узнала, что Дальберг в одиннадцатом часу вечера получил записку и добродетельно спал в собственном жилище.

— Так он пренебрегает мною из-за какой-то пансионской куклы? Какой вандал! — сказала Амина, кокетничая перед большим трюмо.

— Какая невоспитанность! — прибавил Рудольф. — Он за это поплатится.

— Он оскорбил меня, и я отомщу, это естественно. Но вы-то за что его невзлюбили? Вы продаете ему своих загнанных лошадей, вы играете с ним, когда имеете нужду в деньгах, вы навязываете ему женщин, которые вам наскучили. Ведь это у вас истинный Пилад!

— Я вовсе не питаю к нему неприязни. Но жизнь, которую я веду, утомляет меня; я чувствую потребность остепениться, а мадемуазель Депре, разочаровавшись в Дальберге, могла бы составить счастье человека неглупого...

— Но не имеющего возможности сделаться депутатом... как вы, например.

— Именно. Я уже созрел для политики: начинаю жиреть.

— И лысеть немножко. Но вы не сказывали мне, что знакомы с Депре и его дочерью.

— Я раз пять или шесть бывал у Депре по делам, но Дальберг ничего не знает об этом. Депре, несмотря на скромный вид, очень богат. У Клары будет полмиллиона приданого.

— Ого! Сумма кругленькая. Неудивительно, что Дальберг не является на приглашения. Его невинность хитрее вашего донжуанства. Случалось ли вам когда-нибудь получать портреты от полумиллионных невест?

— Увы! Нет, у меня не оказывалось достаточно поэзии, потребной юным наследницам. Мой пафос слишком ясен, это вредит мне.

— Вы являлись просителем руки?

— Нет, это значило бы ни за что, ни про что возбудить ненависть. Я раскланивался с Кларой очень холодно и уверен, что она теперь не узнает меня. Нужно было наперед уничтожить Дальберга.

— Вы глубокомысленный философ, месье Рудольф. Теперь я понимаю, зачем вы просили меня приковать этого молодчика к моей колеснице, как сказал бы щеголь прошлого века. Вы хотите опозорить его, это для меня очень лестно. Благодарю за предпочтение.

— Я мог бы устроить какую-нибудь случайную встречу, Депре и его дочь столкнулись бы нос к носу с Дальбергом и мадемуазель Аминой... чудесная вышла бы картина!

— И очень не супружеская, конечно.

— Портрет избавит тебя от всякого выхода на сцену.

— Конечно, и, мстя за себя, я услужу вам. Я согласна действовать: я вижу теперь свою выгоду в этом деле.

— И когда я женюсь на Кларе Депре, ты вместо пригласительного билета получишь двадцать пять клочков бумаги с единицей и тремя нулями на каждой.

Амина и Рудольф были созданы, чтобы понимать друг друга. Торг немедленно состоялся.

Они некогда в продолжение шести месяцев любили друг друга, если это не значит во зло употреблять слово «любовь». Но Рудольф понял, что он может быть только эпизодом в жизни такой женщины, как Амина, и благоразумно отступил перед именитыми финансовыми и дипломатическими особами, которые поочередно или посменно имели счастье пользоваться благорасположением молодой актрисы.

Зато Рудольф пережил несколько династий Мондоров и всегда имел свободный доступ к общему идолу, кто бы ни исправлял должность верховного жреца.

Рудольф пускал в оборот Аминины деньги и, пользуясь сведениями, которые она умела вытянуть из людей, кое-что знающих

прежде других, осуществлял биржевые спекуляции и получал верные барыши, в которых имел свой пай. Амина ничего не предпринимала, не посоветовавшись с ним. Он, с своей стороны, извещал ее об угрожающем ее любовникам разорении, что проводывал необыкновенно тонким чутьем, и разрыв всегда предшествовал банкротству. Он же устраивал необходимые примирения и порицал вредные капризы, одним словом, он был тайным советником и духовником, если можно так выразиться.

После этого, однако ж, не должно полагать, что Рудольф был мошенник и самозванец какой-нибудь: нисколько. Его баронский титул хотя происходил не от крестовых походов, однако действительно принадлежал ему. О нем нельзя было сказать, что он сделал какую-нибудь явную подлость. Он только без состояния жил как богатый человек и добывал деньги на том, на чем другие растрачивают их. Что для других наслаждение, то для него была работа. Играя, он должен был выиграть и почти всегда выигрывал, не потому чтобы он для управления счастьем прибегал к обману и низким средствам грубых шулеров: он во всю жизнь свою ни разу не сплутовал в игре, но он играл в вист, как Дешапель, а в шахматы не уступил бы Лабурдонне. Все игры были для него предметом глубокого изучения и математического расчета, перед которым ужаснулся бы астроном, отыскивающий пути кометы. Сверх того он, под предлогом слабости желудка, был всегда очень умерен и сохранял хладнокровие на самых шумных обедах и ужинах. По части лошадей он был хороший наездник и тонкий знаток и потому всегда выигрывал пари. По части оружия он рисовал на белой карте шестерку или восьмерку, что угодно; сбивал шарик, пляшущий на луче фонтана; снимал со свечи нагар, не гася ее, и резал пулю о лезвие ножа в двадцати пяти шагах. На шпагах Гризье, Понс и Гатшер сознавались, что ничему не могут научить его. Портной с трепетом выслушивал его советы и не только не просил денег, но сам бы предложил, если б смел, только бы его милость носила платье. Любезности с женщинами никогда не стоили ему дороже букета или ложи, рекомендации знакомому фельетонисту и тому подобных мелочей. Игру в своем бюджете он считал статьей, которая приносит пятьдесят тысяч дохода. Вот и весь Рудольф.

Величайшим удовольствием своим он почитал разорить молодого человека, изуродовать на дуэли или падением с лошади, навести на

какую-нибудь нелепую или неисполнимую мысль, втянуть в безрассудство под видом отеческого участия: в этом Мефистофель Гентского бульвара находил высокое и утонченное наслаждение, достойное выпренного ума. Надобно было видеть двусмысленные сожаления и дружеские рукопожатия, какие он расточал жертвам после беды или разорения.

Он уже погубил дюжину благородных и богатых молодых людей. Между тем советы, которые он давал им, были превосходны: вольно им было играть, не зная толку в картах; вольно было разыгрывать роль джентльмена наездника, не выучившись ездить, и роль дуэлиста, не бравшись ни за шпагу, ни за пистолет! Рудольф всегда говаривал, и не без основания, что для того чтобы быть, что называется, львом, нужно иметь природные хорошо развитые дарования и что истинно великий жуир — такая же редкость, как великий поэт.

Когда Рудольф ушел, Амина позвонила горничной и потребовала одеваться, чтобы отдать Флорансе визит, как следовало, потому что в цыганском царстве пародия на обычаи большого света исполняется с величайшей строгостью.

Флоранса занимала на улице Святого Лазаря обширную квартиру, меблированную с роскошью и вкусом истинно знатной дамы: у нее не было ничтожных мелочей и безделушек, которыми заваливают сперва этажерки, а потом чуланы: у нее толстые мягкие ковры, дорогие обои, флорентийские или античные бронзовые медали, вот и все.

Когда Амина вошла, Флоранса поспешно задвинула столовый ящик, в котором у нее лежало несколько запачканных черным порошком бумажек, встала и с достоинством и любезностью пошла навстречу к госте.

После обыкновенных вопросов и ответов, с которых начинаются разговоры, Флоранса очень развязно спросила:

— Кстати, что вы сделали с Дальбергом?

— Я? Ничего.

— А я думала, что он один из ваших обожателей...

— Нет, подлинник белокурого портрета — мадемуазель Клара — кажется, совершенно наполняет его сердце.

При этом имени Флоранса вздрогнула и побледнела так сильно, что Амина заметила и спросила:

— Что с вами, Флоранса? Вы изменились в лице!

— Ничего... так... волнение, от которого не могла удержаться. Так ее зовут Клара?

— Клара Депре. Но вам что же до этого?

— Правда, я сумасшедшая... Какое мне дело до них!

— Я писала Дальбергу, чтобы он пришел получить портрет на условиях не очень, кажется, тягостных, но он не пришел.

— Стало быть, он очень любит ее? — сказала Флоранса со вздохом.

— Как вы произнесли это!.. Уж нет ли у вас к Дальбергу... какой-нибудь страстишки, Флоранса?

— Что ж делать... да! — отвечала Флоранса с чувством, которое, будь оно притворным, сделало бы честь прекраснейшей актрисе.

Она заслонила лицо рукой, как будто хотела скрыть краску.

— Да, я люблю его... что ж мне делать! Ревность вчера привела меня к вам.

— А! Холодная Флоранса! Попалась наконец в огонь! Правда, что нет саламандры, которая бы наконец не сгорела.

— Ах! Что я могу сделать с сердцем, которое занято Кларой и Аминой!

— Добродетелью и сладострастием, — прибавила Амина, — хорошо же вы попались на первый раз, нечего сказать!

— О! Если бы медальон был не у вас, а у меня, я разбила бы его, растоптала бы ногами!

— Вот ваши манеры! Нет, я похладнокровнее: я берегу его, чтобы научить Дальберга, как жить, и это вовсе не потому, чтобы я сколько-нибудь дорожила таким деревенским молокососом.

— Я думала, вы расположены к Дальбергу. Так я ошиблась?

— Мне нравится только его любовь к другой. Сам он уже успел надоесть мне.

— Так эта Клара очень хороша?

— Между нами говоря, да... недурна.

— Покажите мне этот портрет... Он с вами?

— Он всегда со мной. Но после нежных чувств, которые вы обнаружили, я могу показать вам его только издали.

Флоранса неопределенно протянула руку и опять опустила, потому что Амина действительно показала портрет очень осторожно.

— Какая ясность лазури в этих глазах и какая девственная чистота на челе, — говорила Флоранса с жалобно-восторженным выражением.

— Все это сегодня же несколько помутится, за это я вам ручаюсь, — возразила Амина, — глазки эти покраснеют от слез, и сегодня же мамзель Клара Депре смертельно возненавидит месье Генриха Дальберга. Когда же наша соперница будет устранена, на поле сражения останемся только мы вдвоем, и тогда вам нетрудно будет одержать победу, ибо... я чувствую, что я соискательница, недостойная вас.

Кончив эту тираду с коварно-торжествующим видом, она поклонилась Флорансе и вышла.

Флоранса задумалась.

— Все не так, как я полагала. Я чую Рудольфа в этой интриге. Амина — его орудие. Бедная Клара! Бедный Дальберг!

Клара в тот день была задумчива и печальна, как будто предчувствовала недоброе.

Утром она была в церкви и нашла в книжном ящике записку, которую прочитала и сожгла, подобно прежним. Таинственная переписка, казалось, доставляла Кларе только дурные вести и горькие думы, потому что всякий раз, когда в ящике оказывалась загадочная бумажка, бедная девушка целые дни тосковала. Но никогда еще она не бывала в таком унынии, как в этот день. Покрасневшие глаза, хотя несколько раз промытые свежей водой, доказывали, что она долго и горько плакала.

Даже приход Дальберга, которого Депре накануне пригласил к обеду, вызвал лишь слабую улыбку на побледневших губах. Сам Генрих был далеко не спокоен и хотя притворился веселым, однако ж плохо скрывал озабоченность. Без простодушной веселости старика Депре обед походил бы на поминки. Депре один придавал живости и движения молчаливому обществу. Он, впрочем, приписывал это безмолвие самосозерцанию счастливой любви и важным размышлениям по поводу близкого вступления в брак, потому что Генрих уже формально просил Клариной руки.

После обеда сели за вечный бостон. Наступала ночь. Генрих, казалось, прибодрился, и Клара стала дышать свободнее.

Вдруг в десять часов дверь с шумом отворилась, вошел рослый лакей в ливрее, которую Дальберг тотчас узнал, направился к Депре с

коробочкою и с письмом в руках и звонким голосом доложил:

— Приказано отдать господину Депре в собственные руки от мадемуазель Амины де Бовилье.

— Демон побеждает! — вздохнула Клара и, побледнев, откинулась на спинку кресел.

Лакей, беспристрастный посреди всеобщего остоленения, сиюсь удержать равновесие, подошел прямо к Депре, который отделился от группы. Лоб у него был в поту, мутные глаза и красное лицо доказывали, что молодец совершил обильные возлияния, однако ж он не шатался, и его почтительно наглое положение не утрачивало своей правильности.

— Мадемуазель Амина де Бовилье? — повторил Депре, стараясь, по-видимому, собрать свои воспоминания: чего она может желать от меня? Я в первый раз слышу это имя.

— Между тем оно довольно известно в Париже, — заметил лакей с самодовольной улыбкой.

В этот короткий промежуток времени Дальберг несколько раз менялся в лице, и черты его выражали величайшее беспокойство.

Клара, неподвижная и холодная, как статуя, казалось, уже не принадлежала этому миру.

В нерешимости между коробочкой и письмом Депре несколько колебался и наконец решился наперед распечатать письмо.

Едва он прочитал несколько слов, изумление его превратилось в живейшее негодование. Он бросил строгий взгляд на дочь и потом теми же глазами выразил Дальбергу самое убийственное презрение.

Письмо было такого содержания:

«Милостивый государь, у вас есть очаровательная дочь, которой единственный недостаток состоит в тороватости на свое изображение. В прилагаемой коробочке вы найдете портрет, которому следовало висеть на груди Дальберга. Отдайте его от меня мадемуазель Кларе, чтобы она могла снова повесить его туда, откуда я его сняла. Этот ничтожный случай, я надеюсь, не разрознит пары, столь очевидно созданной для того, чтобы понимать друг друга.

Примите, милостивый государь, уверение в почтении, с которым имею честь быть вашей покорнейшей слугой.

Амина де Бовилье, бывшая актриса».

Не веря еще такой дерзости и предполагая какую-нибудь мистификацию, Депре судорожно отстегнул крючки коробочки и... убедился в правдивости сказанного в записке.

Портрет его дочери в девственной свежести своей действительно улыбался на алом бархате, которым была выложена коробочка.

— Господа, — отрывисто сказал бывший нотариус; — вы мои старинные друзья... я могу быть с вами откровенным... После я вам все скажу, но теперь... нужно разобрать все это без свидетелей!.. Придите завтра: я буду поспокойнее... сегодня я не могу отвечать за свои слова... Вы, Дальберг, останьтесь.

Смущенные и удивленные друзья нотариуса пошли разбирать шляпы, напрасно стараясь догадаться, что такое заключается в письме и в коробочке, — что могло до такой степени раздражить человека, который всегда отличался удивительным спокойствием и кротостью.

Они тихо и церемонно вышли.

Лакей проводил их глазами до последнего, потом подошел к Депре и спросил:

— Будет ответ, сударь?

Старик, не говоря ни слова, указал на дверь так повелительно и с таким гневом, что лакей, несмотря на свою дерзость и огромный рост, быстро повернулся и выскочил за дверь, чтобы не вылететь в окно.

Депре ходил взад и вперед по комнате, вероятно, для того чтобы дать бурным волнам в крови время улечься. Потом, успокоившись несколько, он безмолвно подал коробку дочери, а письмо Дальбергу.

— Клара, — сказал он, помолчав, — я не стану делать тебе упреков, хотя девушка не должна даже жениху дарить подобных вещей и нарочно накликать себе опасностей... как видишь. Твой проступок несколько извинителен, потому что происходит от благородной души... Ты поверила данному слову, положила на святость любви... Ступай в свою комнату, я не сержусь на тебя: я сожалею о тебе. А вы, Дальберг, вы не посовестились предать этот портрет и имя невинной девушки в нечистые руки продажных прелестниц и после этого, конечно, понимаете, что между нами уже не может быть ничего общего. Я надеюсь, что вы избавите нас от своих посещений.

Напрасно Дальберг старался объяснить: Дебре остановил его на первых словах и сказал:

— Не унижайте себя бесполезной ложью. Оправдайте ваше поведение по крайней мере смелостью... Признаюсь, я не ожидал этого от вас!

И он оставил Дальберга одного в гостиной.

Бедный молодой человек с отчаянием вышел из дома, в котором недавно еще заключалось все счастье его будущности.

Вышедши на улицу, он остановился и стал смотреть на освещенное окно Клары с тоской, с унынием, как Адам, изгнанный из земного рая. Простояв таким образом, он пошел на другой берег Сены, обдумывая, как бы отомстить Амине и тому, кто открыл ей имя и жилище Клары, и посылая к чертям упрямого старика Дебре, который не хотел выслушать его оправданий. Нетрудно представить себе его раздражение: он обожал свою кухню, и сердце у него золотое, несмотря на все львиные выходки, исполненные большей частью только на словах.

Долговязый лакей, у которого голова все более и более отуманивалась от винных паров, употреблял невероятные усилия, чтобы добраться до улицы Жубер и отдать своей барыне отчет в исполнении поручения.

Жорж, надобно признаться, был из отличных пьяниц: он мог перенести изрядное количество питья без видимых признаков, но на этот раз и он спотыкался и хватался за стены, особенно на обратном пути.

Вышедши из дому с коробочкой и письмом, он встретил кучера и лакея Флорансы. Это событие стоило того, чтобы его отпраздновать. Бутылка следовала за бутылкой, красное вино за белым, ром за вином, водка за ромом... Три молодца все продолжали пить. Слуги Флорансы не уставали потчевать и платить. Жорж объявил, что они друзья несравненные, и когда вставал, чтобы идти, появление новой бутылки каждый раз принуждало его снова сесть. Это насилие было сладостно сердцу Жоржа, однако ж его угощали так щедро, что он наконец стал подозревать, не хотят ли его опоить.

Такое намерение показалось ему мелочным, жалким и доказывало, что несравненные приятели не знают настоящей цены своему гостю. Однако ж он стал остерегаться и принудил товарищей

отвечать ему в точной мере на каждый стакан стаканом. А чтобы не случилось чего-нибудь с коробочкой и запиской, он положил их в боковой карман и застегнулся доверху.

Через два часа кучер и лакей спали, один на столе, другой под столом, а Жорж благодаря крепости своей головы мог исполнить поручение и торжественно явиться в гостиной Депре, как вы видели.

Людей Флорансы отнесли домой мертвецки пьяными.

Для полноты истории этого вечера нужно еще заметить, что шарманщик, по обыкновению, сыграл свою серенаду под окном Клары, и несколько медных монет, завернутых в бумажку, также по обыкновению упали к его ногам.

К кому относились эти письма? О чем в них шла речь, когда самые печальные происшествия, самые глубокие огорчения не могли даже на время прервать таинственных сношений? Как и для чего эти сношения установлены? Клара писала не к Дальбергу, это ясно. Письма к родным или к подругам не требуют такой тайны. Предположить другого любовника тоже нельзя: для этого стоило только один раз видеть Клару подле Генриха.

Но существа самые бесхитростные имеют свои темные уголки, поэмы самые ясные — свои непонятные места.

— Какая у вас сегодня похоронная мина, — сказал Рудольф, встретив Дальберга под газовым рожком на Итальянском бульваре, курящего давно потухшую сигару. — Вот! Все вы таковы, молодежь! Следует наслаждаться жизнью, а не убивать себя. Вы пьете без методы, кушаете без философии, смешиваете излишества, которые по природе своей несовместимы. Откуда вы теперь?

— Я нимало не погрешил против гигиены, — отвечал Генрих, — хотя лицо у меня теперь, может быть, и не похоже на мое.

— Вы проиграли?.. Вы недовольно хладнокровны за картами.

— Я в карты не играл.

— Так спекуляция какая-нибудь не удалась?

— Нет, я еще не пускался в спекуляции...

— Так какое-нибудь сердечное огорчение... любовное отчаяние... какая-нибудь хорошенькая тигрица изволит тешиться и водить острыми коготочками по вашему сердцу?

— Полноте шутить, Рудольф; я действительно огорчен... Черные мысли навели тоску страшную... жизнь мне в тягость.

— О! Черт возьми! Уж вы не в романические ли поэты записались? Ваши жалобы пахнут элегией на четверть мили в окружности.

— Вы жестоки, Рудольф. Оставьте ваши насмешки на несколько минут.

— Извольте, извольте. Видите, я серьезен, насколько можно быть серьезным. Если у вас истинное горе, я сострадаю от души. В чем дело?

— Вы не насмеетесь надо мной? — спросил Дальберг с сомнением.

— Ничуть. Говорите, в чем дело.

— Амина сыграла со мной подлую штуку...

— Неужели? Я полагал, она расположена к вам особенно милостиво.

— Вы знаете, что она в тот вечер украла у меня портрет, когда я спал. Этот портрет она послала к отцу подлинника с письмом самым скверным, какое только можно вообразить.

— А этот отец, разумеется, вывел из него невыгодное заключение о вашей нравственности и указал вам на дверь своего патриархального жилища?

— Кто мог сказать этой бешеной твари имя Клары и адрес Депре?

— Велика трудность! Вы на редкость простодушны, любезнейший Дальберг. Я удивляюсь вам. Со дня скачек Амина питает к вам явное расположение. За столом она строила вам глазки, несмотря на прохладительное присутствие Демарси. Вы отвечали довольно лениво. Портрет доказал, что вы влюблены. Стоило только два или три дня последить за вами, послать какого-нибудь уличного мальчишку, чтобы узнать, что вы очень часто бываете на улице Аббатства, а на этой улице, не в укор ей будь сказано, могут найтись болтливые дворники, у которых можно почерпнуть самые подробные сведения. Это, кажется, прозрачно, как киршвассер. Никто не выдавал вас, кроме вас самих.

Рудольфово объяснение было так правдоподобно, что смутные подозрения, которые на минуту запали было в душу Дальберга, тотчас же сами собой рассеялись.

— Амина, верно, давала портрет на выкуп на бессовестных условиях?

— Нельзя сказать, чтобы слишком... Но я был околдован, я боялся изменить; мне казалось преступлением...

— Вы опростоволосились, вы в модном пальто сыграли роль Иосифа прекрасного?

— Да, почти.

— Ну, в таком случае Амина права: она мстит вам за пренебрежение. Это новое доказательство любви. Если бы вы посоветовались со мной, я не позволил бы вам сделать такую глупость. Женское самолюбие неумолимо.

— Дебре отказал мне от дома, Клара ненавидит меня!

— И все это за то, что вы спали на кушетке, вместо того чтобы танцевать, как следовало.

— Вам смешно, а я несчастен.

— Кто ж виноват?.. Для чего было таиться с вещью, которой в мире нет естественнее? Вы ухаживали за девушкой с «честным намерением», как говорят кухарки. Что ж за беда? Если вы при ясном солнечном свете делаете иногда вещи не совсем нравственные, на кой же черт прятаться, когда поступаете совершенно добродетельно? Если бы вы сказали, что вы жених, всякий бы, конечно, уважил вашу скромность. Женщины приберегли бы свои томные взгляды и нежные улыбки для других смертных, ничем не связанных; Амина обратилась бы с своим благорасположением в другую сторону, и ничего бы такого не случилось. Человеку почти женатому не следовало и прикидываться вольным холостяком.

Дальберг почувствовал справедливость этого рассуждения и повесил голову.

— Ну, полноте же, не отчаивайтесь! — продолжал Рудольф. — Успеете еще жениться... Найдете другую партию. Это такое средство, которое нужно приберечь к тому времени, когда проживетесь.

— Никто не заменит мне Клару.

— Об этом я с вами спорить не стану. Но позвольте вам заметить, что Амина, не считая, разумеется, добродетели, по крайней мере столько же хороша, как и Клара, а Флоранса даже покрасивее. Ведь и та тоже видит вас за три мили, как сказал бы мольеровский маркиз Тюрлюпен. У вас есть, чем утешиться.

— Хорошо утешение!

— Ну, уж велико и несчастье! Зато вам не придется возвращаться к девяти часам вечера домой и отдавать отчет в числе листов вашей почтовой бумаги; у вас в сорок лет не будет долговязых бородатых повес, которые звали бы вас папенькой, как шестидесятилетнего старика: это случится с вами десятью годами позже. Зато вы можете порхать от белокурой к черноглазой и направлять свой лорнет в театре на все ложи, не опасаясь, что вам досиня ущипнут руку.

В другое время эти насмешливые утешения возбудили бы у Дальберга тщеславие и опасение показаться смешным; он переломил бы себя, чтобы посмеяться над забавной картиной, которую начертил Рудольф, и даже сам постарался бы прибавить черту-другую, но в эту минуту истинное и глубокое огорчение заглушало всякое щегольство и хвастовство. Разрыв с прекрасной девушкой, которую любил с детства, терзал его душу. Рудольф увидел, что нужно переменить тон, и выпытал у простодушного Дальберга все подробности относительно характера Клары и Депре.

Когда же пошло на откровенность, Генрих от начала до конца рассказал историю своей любви, в которой Рудольф принимал, по-видимому, очень живое участие. Молодой человек развернул перед знаменитым волокитой стыдливую и таинственную поэму первой любви. Рудольф изумился неведомым сокровищам, огромным богатствам, о существовании которых в действительности даже не подозревал. Дальберг совершенно поработил его истинным и естественным красноречием, которое било живым ключом прямо из сердца. Никогда Рудольф даже во сне не видал подобного эдема, подобного волшебного царства и ослепительных картин чистой любви.

Пресыщенный сластолюбец увидел, что вовсе еще не жил и никогда не знал, что такое наслаждение. Он видел только призраки женщин и тень любви, и ему стало грустно, беспорядочные строфы гимна истинной страсти навеяли ему тоску. Он завидовал Дальбергу, как евнух завидует султану, критик поэту, старуха девушке и нищий богачу.

— Как это случилось, — говорил себе Рудольф, что самые очаровательные головки, самые чудесные станы проходили мимо глаз моих, в ливне брильянтов, золота и цветов, и никогда не производили на меня такого впечатления?.. Если так, — сказал он потом Дальбергу, — если вы не можете расстаться с Klarой, я схожу к Депре,

который, судя по вашим рассказам, не зверь, и расскажу ему, как было дело. На подробности накину газовую вуаль, чтобы его седые волосы не покраснели, и, может быть, еще все уладится лучше, нежели вы думаете. Теперь около двух часов. Мы с вами двести раз пробежали расстояние от Парижского кафе до улицы Монблан, а я не влюбленный, и несколько часов горизонтального положения мне не повредят.

Депре, вскоре по уходе Дальберга, опасаясь за здоровье дочери, вошел в комнату к Кларе. Она была спокойна, хотя и бледна, и сидела, устремив глаза на букет васильков и ржаных колосьев — картинку с закрытой подписью, о которой мы уже упоминали.

— Не огорчайся слишком, бедная моя малютка, — ласково сказал Депре, взяв дочь за руку, — постарайся забыть об нем.

— Я никогда не забуду, никогда ни за кого не выйду, кроме Генриха, — отвечала Клара с твердостью, устремив на отца свои большие голубые глаза.

— Дитя мое, я не мелодраматический отец какой-нибудь. Я не заключу тебя в монастырь и вовсе не намерен употреблять насильственных мер против тебя, но поведение Дальберга — поведение негодяя. Он недостоин тебя.

— Нет, папенька; Генрих никогда не переставал быть достойным вашей дочери. Я верю его любви, как верую в Бога. Если бы он не любил меня, я почувствовала бы — в душе моей нечто порвалось бы, — я знаю, что он любит меня.

Лицо девушки сияло от выражения чистейшей доверчивости.

— А медальон?..

— Медальон или потерян, или его украли.

— Какое ослепление! Кажется, смущение Дальберга достаточно уже обвиняло его. Как можно спорить против такой очевидности?..

— Папенька, я не ослушаюсь вас ни в чем. Вы сейчас запретили мне видаться с Генрихом, я повинуюсь вашей воле; вы говорите, что он виновен, а я уверена в противном. Вы сами же находили его в течение десяти лет чистым, честным и правдивым; он и до сих пор таков же, и вы скоро воротитесь к прежнему своему мнению. Я ничего не знаю в жизни, кроме моей любви; у меня нет опыта, но зато есть вера.

— Милое дитя мое, я очень желал бы разделить твое заблуждение, но вы, девушки, живущие в ваших беленьких каморках и видящие жениха только с букетом в руке, завитого, причесанного, — вы составляете себе странные понятия о жизни и людях: вы полагаете, что все на свете отливает розовым и небесно-голубым цветом, что волки никогда не заходят в овчарню. Увы! Милая моя, идеалы слишком часто лгут. Если бы ты знала все, что Дальберг делает в Париже; если бы ты могла пойти по его следам, надев шапочку-невидимку, ты, может быть, скорее меня переменила свое мнение.

При этих словах старика на губах девушки мелькнула чуть приметная улыбка, в которой было как будто что-то насмешливое. Но улыбка исчезла быстрее молнии.

— Ты очень хорошо понимаешь, — продолжал старик, поцеловав дочь в лоб, — что я простил бы молодому человеку все, дуэли, долги, какие угодно глупости, но не могу простить поношения, какому он предал портрет моей дочери.

Сказав это, старик взял свою свечу и ушел, проклиная в душе Дальберга и в особенности мадемуазель Амину де Бовилье.

Как ни велико было горе Дальберга в первую минуту поражения, но оно еще увеличивалось с каждым днем в разлуке с Кларой. Он лишился часа, который ежедневно проводил подле вышивания девушки, обменивавшейся с ним десятком-другим слов, и это образовало в его душе невосполнимую пустоту; жизнь его уже не имела цели. Ждать минуты свидания с Кларой, мечтать и вспоминать о ней, когда она проходила, — в этом дотоле состояло его занятие. Теперь он чувствовал себя как будто лишенным места и страшно скучал без дела, вокруг него как будто образовалась огромная пустыня, в которой все вымерло и солнце не красное, а черное.

Дальберг заглушил свою гордость, потому что истинная любовь смиренна, и употребил все возможные средства, чтобы извиниться перед Депре и умиловить его, но все напрасно: письма его остались без ответа, хотя заключали в себе самые убедительные и самые ясные оправдания; третьи лица, отправленные парламентами в видах миролюбия, также ни в чем не успели: Депре ничего слышать не хотел. Это был один из тех людей, очень смиренных и очень упрямых, которые, если решатся на что-нибудь, то уж никак их не переломишь: они

держатся удивительно стойко, вероятно, именно по редкости случая. К тому же Дальберг затронул самую чувствительную сторону старика — оскорбил дочь его. Дебре так безусловно доверял честности Дальберга, что и негодованию его на измену не было пределов. Сверх всего этого он, как и все слабые люди, боялся обнаружить недостаток характера и оттого упрямылся еще больше.

Надобно сказать также, что он потихоньку навел кое-какие справки, которых результат не мог быть очень благоприятен Дальбергу. Дебре узнал, что жених его дочери довольно часто посещал кулисы, играл, пил и проводил вечера и целые дни в обществе изрядно вольнодумном в отношении нравственности. Все это выставляло молодого человека в весьма невыгодном свете перед бывшим нотариусом, и Дебре уже почитал себя счастливым, что произведенный Аминой скандал вовремя расстроил свадьбу.

— Кто бы мог подумать, судя по честному лицу, по скромному обращению, по кроткому и умеренному тону? — говорил Дебре, — ведь посмотреть на него, так прямо девушка переодетая! Тонкая, стало быть, штука этот Дальберг: к разврату он еще присоединяет лицемерие. Он зарился на приданое, чтобы платить за наряды своих любовниц. Хорош расчет! Если он осмелится еще раз нос показать сюда, я ему покажу!

Рудольф, выказывая сострадание к горю Дальберга, отправился к Дебре хлопотать по делу своего друга, и действительно хлопотал, но так, что еще более утвердил старика в его мнении.

Генрих, по словам Рудольфа, не совершил собственно никакого важного преступления: он малый любезный, веселый товарищ, немножко играет, любит лошадей и женщин — все это вещи очень натуральные в его лета. Что касается до медальона, это больше безрассудство, чем низость: беда случилась после ужина, в гостинице, в обществе неких дам. Нетрудно было забыть о медальоне, потому что все подпили немножко более обыкновенного и Генрих тоже. Сверх того, он, вероятно, возбудил ревность Амины, женщины очень вспыльчивой, которая считает себя вправе претендовать на его сердце. Все это не стоит такой тревоги, и месье Дебре явил себя слишком суровым папенькой.

Подобные извинения, конечно, не могли убедить бывшего нотариуса: он продолжал смотреть на Дальберга как на человека

недостойного.

Поэтому Рудольф, отдавая другу отчет в своей попытке, говорил, что старика не скоро можно будет уломать, хотя и есть надежда, и что нужно будет не раз повторить увещания, чтобы умиловить его и рассеять укоренившиеся предубеждения.

Таким образом, Рудольф устроил себе возможность часто бывать у Дебре, нисколько не возбуждая подозрений у Дальберга.

Если бы вы увидели Рудольфа на улице Аббатства, вы не узнали бы его: в этих случаях лицо его принимало подобающее выражение. Светский лев исчезал совершенно; закрученные усы теряли свое зверство; ястребиный взгляд потухал; спокойствие, исполненное простодушия, усыпляло лицо, обыкновенно нервно подергивавшееся; сапоги попросторнее, перчатки не совсем натянутые, одежда без претензий и простая трость придавали Рудольфу тот степенный вид, который заставляет родственников говорить: «Сразу видно, что человек порядочный, надежный!»

Рудольф разговаривал с Дебре о политической экономии и обо всех важных предметах без педантизма и со знанием дела. Бывший нотариус нашел в нем образование и основательный практический образ мыслей. Он удивился только, как человек такой зрелый и рассудительный мог находить удовольствие в обществе взбалмошной молодежи, на что барон отвечал, что у него нет никого родных и что, будучи лишен семейных радостей, он должен же где-нибудь искать развлечения. И нотариус согласился. Чтобы окончательно приобрести благорасположение старика, Рудольф указал ему несколько предприятий, в которых тот нашел значительную выгоду. С тех пор Рудольф стал необыкновенно возвышаться в мнении бывшего нотариуса, так что тот стал во всем советоваться с ним и почти клялся его именем.

Дебре, подобно многим добродетельным людям, гораздо более ужасался того, чего стоят пороки, чем самих пороков. Сынки, которые бы всегда выигрывали в карты и на скачках и которым любовницы приносили бы не расход, а доход, снискали бы милость у многих из самых строгих отцов и самых свирепых дядей.

Почти таково было и положение Рудольфа. В жизни его не заметно было никакой явной беспорядочности, ни вопиющих долгов, ни гласных связей, ни позорных дуэлей, ничего такого, что бы могло

обратить на себя внимание. Притом с некоторого времени его уже менее видали за кулисами, в клубе и в Парижском кафе. Он начинал остепеняться и оправдывал это тем, что некоторых глупостей уже не должно себе позволять, когда перевалишь за тридцать лет.

Клара со времени разговора с отцом, когда так решительно объявила, что считает Дальберга невинным и не намерена выйти ни за кого другого, казалось, совершенно забыла о том, что случилось. Она ни разу не произносила имени Генриха, хотя Депре, любивший поспорить, довольно часто подавал ей к тому повод разными более или менее ясными намеками: она хранила упорное молчание.

Непоколебимая решимость придавала ее физиономии нечто величественное и грустно-светлое, такое, что поразило бы и самый неопытный глаз. Из хорошенькой она стала красавицей: скорбь облагородила ее. Розовая бледность заступила на ее щеках место яркого румянца пансионерки. Губы, прежде алые как гранат, походили на розовый лепесток, упавший на белый мрамор. Она несколько похудела, и тонкие руки с просвечивающими лазоревыми жилками доказывали нравственное страдание, сдерживаемое волей.

Впрочем, она была так кротка и покорна, что тихая тоска ее волновала сердце старика Депре гораздо больше слез и жалоб: он не мог не сострадать к ней, хотя и называл романическим девичьим упрямством верность ее такому негодяю, как Дальберг.

Клара никогда не говорила о Дальберге, потому что всегда думала о нем. Но вечером, особенно около того времени, когда, бывало, приходил Дальберг, ею овладевало глубокое уныние: минуты, прежде такие счастливые, заключали в себе двойную горечь. Клара не плакала, но глаза ее влажно блестели.

Замечательно и даже, может быть, странно то, что Клара, по-видимому, не избегала встречи с Рудольфом: она не уходила, когда он являлся, как делала при многих других посетителях. Она, казалось, внимательно слушала разговоры барона с ее отцом. Быть может, она видела в Рудольфе Дальбергова друга; надеялась, что он будет говорить в пользу его и заставит старика отказаться от предубеждений, или, быть может, блестящая речь барона доставляла ей минутное развлечение в тоске — решить это мы не беремся.

При ней барон, оставляя слишком серьезные предметы, которые обыкновенно разбирал с бывшим нотариусом, развертывал все

возможности своего ума, которых у него было довольно много, природных и приобретенных, и без особенно приметной любезности всегда находил случай сказать девушке что-нибудь приятное.

Иногда, когда Клара отворачивалась и когда Дебре пространно развивал какую-нибудь экономическую тему, барон бросал на девушку беглый огненный взгляд, странно противоречащий мертвенной белизне его лица.

Взгляд этот не был притворным, потому что никому не следовало видеть его. Он выражал истинные чувствования, волновавшие душу Рудольфа, и никогда еще глаз двадцатилетнего школьника не метал луча, более заряженного магнетическим огнем, более брызжущего страстью, чем взгляд сообщника Амины: самая пламенная страсть сияла в нем фосфорическим блеском, и должно сказать, что пятьсот тысяч приданого не принимали никакого участия в этом взгляде, бескорыстном, как истинная любовь.

Со времени ночной прогулки с Дальбергом по бульвару в Рудольфе произошел совершенный переворот: признания молодого человека открыли ему новый мир, волшебное царство, в котором он никогда еще не бывал. Во всю свою жизнь, посвященную поискам счастья, он не находил ничего, кроме наслаждений, и то редко. Дальберг был счастливее его: он сразу нашел глубокое, пронизательное, горькое, мучительное и вместе сладостное чувство, которое составляет мечту всех донжуанов и которое римские сластолюбцы отыскивали со всей бессильною яростью своих чудовищных прихотей.

Он пристальнее стал вглядываться в Клару, на которую сначала смотрел только как на представительницу известного количества банковых билетов, и убедился в той истине, что прямая складка самого простого платья на скромной невинной девушке заключает в себе гораздо более обольщения и могущественного возбуждения, чем самые вольные наряды кокеток. От малейшего шороха этого платья, из-под которого едва выглядывал носок ножки, вся кровь у него прилиwała к сердцу; лиф, скромно прикрытый наглухо застегнутым монашеским нагрудником, жег его, сводил с ума... его, который прежде очень хладнокровно, куря сигару и толкуя о лошадях, ласкал рукой самые атласные плечи в Париже. Он почитал себя закаленным, бронзовым, невозмутимым, а между тем сдался без боя: как искусный

генерал он до сражения почувствовал поражение и признал, что борьба бесполезна. Им овладело стремление к невинности, как это наконец случается с людьми, которые все уже испытали. Он жаждал стыдливости и чистоты; добродетель была единственной усладой, которой он еще не отведал. Будучи еще довольно молод, он подвергся уже снедающей стариковской страсти к молоденьким девушкам. Не обладая сам ни верой, ни мечтами, ни свежестью души, ни красотой тела, он хотел иметь все это в лице Клары. Он забывал только одно — любовь ее к Дальбергу, любовь, которую надеялся уничтожить мало-помалу, совершенно полагаясь на свою ловкость.

Он обманывался. Это ошибка всех очень искусных людей, слишком склонных пренебрегать простодушными противниками, как будто простодушие не составляет иногда самого утонченного плутовства, особенно в любви. Человек самый тонкий, самый опытный в интригах может быть побежден мальчиком глупым, но любимым.

Рудольф, вступивший в дом Дебре как искатель приданого, уже не помышлял о нем. Клара могла бы разориться вконец, он не встревожился бы ни на минуту.

А что между тем делала Амина? Она благоразумно рассчитала, что нужно дать время пройти первой ярости Дальберга и держалась в стороне, однако ж не оставляла своих замыслов.

Сообразив, что Дальберг уже достаточно отчаялся, она решилась на смелый подвиг.

Однажды Генрих, возвратясь домой, нашел у себя женщину, сидящую в кресле и прехладнокровно читающую газеты и брошюры. Он сначала не узнал ее, потому что поля шляпки бросали тень на лоб, а подбородок был загорожен книжкой. Только маленький башмачок, свежесть перчатки и гибкая линия стана доказывали, что эта женщина молодая и хорошенькая.

На мгновение в уме Дальберга мелькнула довольно нелепая мысль: он вообразил, что возлюбленная его Клара, получив наконец одно из его страстных посланий, в которых он уже предлагал ей бежать с ним на другое полушарие от суровости варвара отца, решилась и сама пришла к нему. Он уже хотел вскрикнуть: «Клара! Ты здесь?», когда незнакомка вдруг бросила журнал и обратила к нему

лицо, хотя не равное девственной красоте Клары, однако ж столько же очаровательное в своем роде.

— Амина! — вскричал Дальберг, отскочив на три шага, так эта дерзость поразила его.

— Да. Что ж тут удивительного? — решительно отвечала гостья, облокотясь на поручни кресла.

— После того, что вы со мной сделали?

— Как у вас здесь хорошо! — продолжала Амина. — А! Вот Диас! Какая прелесть!.. Не хотите ли поменяться? Я вам дам Делакруа... амура за тигра?

— Вы, верно, много полагаетесь на ваш пол?

— Без сомнения, полагаюсь, — отвечала Амина, снимая шаль и бросив на диван шляпку, мастерское произведение, только что вышедшее из волшебных рук мадам Бодран, с таким небрежением, как только может торговка бросить свой колпак на кучу сена.

Она подошла к Дальбергу во всеоружии.

Солнечный луч, проникая в щель между двумя полами занавеса, осветил ее с головы до ног и зашевелил тысячи золотых ниток в ее роскошных каштановых волосах. Для женщины менее свежей и более пожилой это была бы предательская помощь, но Амина еще не боялась яркого света.

При виде этой женщины, вызолоченной солнцем, этой змеи, соблазняющей своей наглой красотой, ослепленный Дальберг остановился в нерешимости. Негодование его на гадкий поступок Амины было столько же живо, но он против воли поддавался роковому очарованию, от которого не могли защититься самые холодные сердца.

— Ну, начинайте же вашу ораторскую речь, — сказала Амина, ударив его кончиком снятой перчатки по губам, — или подсказать вам? Амина, негодная, низкая, коварная женщина без сердца... таковы, вероятно, эпитеты, которыми вам угодно будет наградить меня.

— Вы причина несчастья всей моей жизни...

— Это еще не доказано: быть может, после вы еще поблагодарите меня.

— Вы растерзали сердце бедной невинной девушки...

— Она утешится, если уже не утешилась.

— Зачем вы послали портрет?

— Зачем вы не пришли взять его?

— Вы злая женщина! Разве я мог?

— Неблагодарный! Стало быть, я внушаю вам неодолимое отвращение?

— Во всякое другое время ваша записка могла бы осчастливить меня.

— Ну, посудите ж и вы о моем негодовании: я видела, что мной пренебрегают, что меня презирают; я думала, что вы находите меня подурневшей; я усомнилась в своем могуществе: это была первая моя неудача!

— Мое сердце было занято самой могущественной, самой чистой любовью!

— В этом-то и состояло мое несчастье! О! Как я завидовала любви, которую вам внушила другая! Как я ревновала к этой Кларе! Как я желала изучить ее исподтишка, чтобы подметить и перенять у нее то, чем она обворожила вас! Как я сожалела о миловидной угловатости, свойственной невинности! Если бы вы знали, как я старалась придать моим волосам ту девственную мягкость и взглядам тот скромный свет, какие заметила на портрете! Сколько белых платьев я примерила, чтобы также иметь вид пансионерки!

Всерьез говорила Амина или хотела насмеяться над доверчивостью Дальберга, этот вопрос трудно решить. Однако ж ее голос, ее взгляд, ее движения — все казалось подлинным.

— Ревность, заставившая меня послать портрет, послужила мне плохой советчицей: она доставила мне только вашу ненависть, — прибавила Амина с искусно приглушенным вздохом; если бы я знала, что вы до такой степени влюблены, то, уж конечно, не пыталась бы овладеть сердцем — увы! — слишком хорошо огражденным.

Мы должны признаться, что Дальберг, которому Клара в продолжение шести недель не подавала никакого знака жизни и даже не показывала своей тени за шторой, в эту минуту находил Амину уже не так чудовищно злой, как сначала: всякий человек легко прощает самые черные поступки, если они хоть с какой-нибудь стороны льстят его самолюбию.

— Что сделано, то сделано, — продолжала Амина, — вы, конечно, потеряли уже всякую надежду снова снискать милость мадемуазель Клары и ее отца. Впрочем, Клара вовсе не любила вас. Употребила ли она хоть малейшее старание увидеть вас? Написала ли она вам хоть

одно слово? Имела ли она хоть малейшее сострадание к вашему горю? Эти смиренные девушки чертовски злопамятны и мстительны: она вам никогда не простит.

Дальберг уже несколько раз повторял себе почти то же самое, что говорила Амина. Признавая всю законность негодования Клары, он находил, однако ж, что она уж слишком добросовестно исполняет приказания отца.

— Сколько же времени вы намерены бродить по городу с элегическим видом? Ваши усы худо подстрижены; волосы не завиты, вы два месяца не меняли жилет. Вы носите на себе все признаки нравственного растрепанья. Вы уже слишком во зло употребляете право несчастного влюбленного одеваться небрежно. Еще неделя, и вы сделаетесь смешны, предупреждаю вас.

Дальберг взглянул в зеркало и действительно нашел некоторые недостатки в изяществе своего костюма.

— Клара лучше вас распорядилась: она уже нашла себе утешение.

— Это невозможно! — вскричал Дальберг.

— Какое у вас наивное самолюбие! А я вам скажу, что можно даже предвидеть, кто будет вашим преемником у этой невинной и мстительной особы. Вы, разумеется, понимаете, что Депре не намерен оставить мамзель Клару старой девой. Вы не единственный жених под солнцем. А коли вас забыли, забудьте и вы. Вы опять скажете, что я злая женщина, но если хотите отправиться со мной в оперу, я вам, кроме нового балета, покажу зрелище, которое исцелит вас от вашей несчастной страсти и разрешит клятвы верности, которые вы дали вашей обожаемой.

— Что вы хотите сказать? Вы хотите испугать меня?

— Так вас можно испугать? Вы так мало доверяете любви молоденькой честной девушки, воспитанной в монастыре, девушке, с которой вы меняетесь портретами и локонами волос? Вы трепещете с первого слова, которое вам говорят; пугаетесь испытания; не смеете подвергнуть это чистое золото пробе, со страху, чтобы оно не оказалось поддельным? Поедемте в оперу?

— Еду, — отвечал Дальберг.

— Ну, хорошо, я переоденусь и заеду за вами. Будьте готовы.

Через час грум Тоби пришел доложить, что барыня ждет в карете у подъезда.

Наряд на Амине был удивительно легкий. Стройный гибкий стан ее окутывала тарлатановая дымка; в волосах фантастический ярко-розовый цветок с зелеными блестящими листочками. Она была так очаровательна, что Дальберг не понимал уже, как мог быть суровым с такой прелестью. Когда речь идет о том, чтобы довести соперницу до отчаяния, женщины находят дивные, неведомые красоты, которые и служат им только на один такой день.

Едва Дальберг уселся подле Амины в бенуаре, дверь противоположной ложи в первом ярусе отворилась: вошла девушка и двое мужчин, — Клара, ее отец и Рудольф.

Лиф белого платья Клары был не так высок, как обыкновенно, и обнаруживал начало ослепительно-белых плеч. Не переставая быть девственным, наряд ее принес необходимые жертвы требованиям света. Избавленные таким образом от слишком стыдливых покровов, прекрасные формы ее бюста обозначились определеннее и, разумеется, выиграли. Самая головка как будто вольнее держалась на античной шее, линии которой ничем не были прерваны, кроме тонкой, как волосок, венецианской цепочки с бриллиантовым крестиком.

Клара и Дебре сидели впереди, Рудольф сзади. Все лорнеты направились на эту ложу. Всякий спрашивал себя или соседа:

— Кто эта прекрасная молодая особа, такая грациозная и простая, такая важная и вместе скромная? Она, кажется, вовсе не подозревает, что на нее обращены все взоры.

— Каким образом Рудольф попал в эту ложу? — прибавляли знакомцы льва. — Когда он выйдет в антракте, мы узнаем имя этой восходящей звезды-красавицы.

Они обманулись в ожидании, потому что Рудольф неизменно весь спектакль просидел подле Клары.

Никогда Дальберг не видывал своей возлюбленной в таком блеске красоты: до тех пор у Клары преобладал характер девочки, пансионерки; теперь она являлась женщиной. Только что усыпленные несколько сожаления пробудились у отвергнутого жениха с необычайной силой. Им овладело безнадежное отчаяние, смешанное с такой яростью на Амину, что он, наверное, истерзал бы ее, если бы у него случился под руками нож.

Амина оглянулась и, увидев искаженные черты и зеленоватую бледность молодого человека, так испугалась, что быстро отодвинула

свой стул, как будто хотела сесть еще больше на виду, чтобы ее кавалер не причинил ей зла.

Дальберг, за неимением лучшего, терзал перчатку. До сих пор он испытывал только тоску отвергнутого любовника, теперь его сердце грызли крысы зубы ревности.

Амина также несколько изменилась в лице. По портрету она не представляла себе такого совершенства, потому что женщины ее разбора обыкновенно не верят в красоту порядочных девушек и большей частью представляют себе их неуклюжими, неловкими, горбатыми или безвкусно одетыми. Она поняла Генрихово поведение, которое дотоле казалось ей непостижимым, и букетом заглушила вздох досады.

— Теперь, — сказала она себе, — пора или явиться вполне красавицей, или умереть.

И, призвав на помощь все свои чары, она стала отсвечивать как будто фосфорическим блеском.

Она нашла неподражаемую позу, необычайно красноречивый взгляд, выражение, какого никто уже не увидит. К несчастью, никто не написал этой дивной поэмы, потому что ни Энгра, ни Прадье тут не было. Бог знает, что они в это время делали?

— Что сегодня с Аминой? — спрашивали себя многие изумленные львы: она прыщит, как фейерверочный сноп.

— Мужайтесь, Генрих, — говорила Амина Дальбергу: не доставляйте им наслаждения видеть вашу бледность и уныние осужденного. О Кларе, конечно, нельзя не пожалеть... Я умею признать красоту другой, когда нужно... но разве можно пренебречь мною? Посмотрите, как все любят меня. Одной искры моих глаз достаточно, чтобы зажечь неугасимый огонь. Самые знаменитые и самые богатые люди в этой зале бросятся поднимать мой платок, если я оброну его. Посмотрите, как все эти герцогини и банкирши стараются отвлечь от меня внимание своих мужей и любовников; они хорошо знают, что мне стоит только захотеть — и все эти господа будут у моих ног. Это место подле меня, где вы корчитесь как под пыткой, как на жаровне, делает вас предметом общей зависти. Все мужчины говорят себе: «Счастливец Дальберг!» Все женщины высматривают на мне в свои лорнеты какой-нибудь недостаток, какое-нибудь пятнышко и, не находя ничего, с яростью обращаются к

мужьям. Сегодня будет разыграно множество домашних сцен: за это я вам ручаюсь.

Дальберг сделал над собой отчаянное усилие, придал своему лицу почти обычное выражение и принял вид нежности и короткости с Аминой, в надежде отплатить Кларе такой же досадой, какую она причинила ему.

В антракте Клара неопределенным взглядом окинула залу и увидев Амину, как будто получила электрический удар. Но побежденной была Амина: она по крайней мере внутренне должна была сознаться в этом. Светлый, холодный, почти рассеянный, равнодушный взгляд пансионерки уничтожил кокетку: она поникла под ним, как демон под пятою архангела.

Между тем Дальберг, склонившись к ней, по-видимому, говорил что-то очень нежное: губы его почти касались ее щеки.

На лице Клары не дрогнул ни один мускул, на нем не являлось ни краски, ни бледности; глаза спокойно обошли весь круг, и, кончив смотреть, девушка обратилась к Рудольфу, чтобы спросить программу.

«Она так мало обращает на меня внимания, — подумала Амина, — что завтра же, пожалуй, выйдет замуж за Дальберга, хотя видит его сегодня со мною в ложе. Я для нее борзая собачонка, попугай, золотая рыбка, существо особенной породы и вовсе не опасное».

Рудольф не так верно оценил спокойствие Клары: он приписал его охлаждению девушки к Дальбергу и, может быть, даже начинающейся благосклонности к нему, Рудольфу. Влюбленный лев стал не дальновиднее других: повязка упала ему на глаза, как и всякому.

— Это, верно, и есть знаменитая мадемуазель де Бовилье... вон там, в бенуаре, с негодяем Дальбергом? — очень тихо спросил Депре барона.

— Да, — отвечал Рудольф, — они теперь почти не расстаются.

— Одолжите мне ваш лорнет... посмотреть поближе, что это за птица.

Если когда-нибудь изумление отпечатывалось ясно на человеческом лице, так это было лицо бывшего нотариуса, через минуту после того как он уставил на Амину двойную трубку из слоновой кости. Почтенный провинциал не имел ни малейшего понятия об изяществе, о совершенной благопристойности, до которой

доходит иногда декорация разврата. Амина показалась ему маркизой, которая любезничает с своим кузеном. Красоту ее он нашел такой, какова она действительно была, обворожительной. Наряд, прелестный и простой, в котором даже Кларина скромность не нашла бы ничего предосудительного, переворачивал вверх дном все понятия старика.

По его мнению, существо такого рода должно было носить разноцветные перья, пунцовые или желтые платья, расшитые мишурою и блестками; золотые цепочки в три оборота и огромные стразовые серьги. Его эрудиция по этому предмету ограничивалась воспоминаниями молодости, когда он еще был писцом и имел случай любоваться разряженными особами, породу которых теперь без стеснения называл тварями. Такое невежество, такая отсталость от века, без сомнения, делали честь нравственности бывшего нотариуса.

Занавес поднялся, и балет продолжался при громе рукоплесканий, под аккомпанемент стука тростей и каблуков. По временам Клара обращалась к Рудольфу за объяснением какой-нибудь позы, которой не понимала. Рудольф, обычный посетитель театра, переводил пантомимы очень легко: хореография не имела от него тайн. Профиль девушки в эти минуты был так удивителен, что всякий, глядя на нее, желал быть великим живописцем.

Бешенство Дальберга при виде этой короткости, ничтожной во всяком другом положении, не должно удивлять тех, кто сам знал ревность. Ему хотелось войти в ложу к Депре и сказать Рудольфу какую-нибудь дерзость.

Клара казалась ему чудовищем, воплощением предательства, злой, недостойной, скверной девчонкой. В сравнении с нею Амина, которая по крайней мере никого не обманывала, была сама невинность. Он не понимал, как можно скрывать такое испорченное сердце под такой простодушной наружностью. Кто бы мог подумать? Она любезничает с Рудольфом, чтобы свести меня с ума от ярости! Неужели женщины, порядочные и непорядочные, не знают другого средства отомстить, кроме собственного позора?

— Что? Вы думаете теперь, что мадемуазель Депре умрет с тоски по вас? — насмешливо спросила Амина Дальберга, который под жилетом ногтями терзал себе грудь. — Кажется, теперь ваша совесть избавлена от тяжкого бремени и вы отныне можете без угрызений удостоить некоторого внимания вашу покорную служанку.

При выходе из театра обе группы столкнулись на лестнице, где ожидают экипажи. Клара, идя об руку с отцом, задела своей кашемировой мантилей белый бурнус Амины. Рудольф шел в нескольких шагах впереди и отыскивал своего лакея между разноцветными ливреями, которыми был наполнен вестибюль.

Толпа была плотная, и несколько секунд Амина с Дальбергом и Дебре с дочерью принуждены были простоять на одной ступени. Эта минута показалась Дальбергу вечностью. Амина воспользовалась случаем отомстить Кларе за взгляд: она составила себе физиономию такую лучезарную от любви, оперлась на руку Дальберга с такой сладострастно-стыдливой лаской, прижалась к нему с такой доверчивостью и так полно завладела им, что у Клары, которая все видела, хотя смотрела совсем в другую сторону, зародилось сомнение, первое, единственное сомнение! Оно промелькнуло быстро как молния, однако ж с такой жестокой болью, что девушка в то же мгновение ощутила пот под корсетом.

К счастью, Рудольф воротился. Дальберг бросил на него взгляд, переполненный презрением, ненавистью и злостью, так, что Клара, несмотря на страх, чтобы не случилось какой-нибудь сцены, испытала сладостное чувство. Генрих все еще любил ее!

Понимая, сколько вызов в таком месте был бы неприличен и смешон, Дальберг удержался, призвал на помощь свое хладнокровие и прикрыл свой гнев личиной ледяного презрения. Толпа постепенно рассеялась. Рудольф сел в карету с Дебре и Кларой, а Дальберг поехал с Аминой.

Войдя в свою комнату, Клара тотчас схватила листок бумаги, помакнула перо в лимон, лежавший рядом со стаканом воды, который она обыкновенно выпивала на ночь, поспешно написала несколько строк и подбежала к часам.

— Слава Богу, еще не поздно! — сказала она.

В самом деле, балет кончился довольно рано; лошади Рудольфа мчались быстро, и старые часы на церковной башне Сен-Жермен-де-Пре только что начинали с торжественной медленностью бить одиннадцать.

Шарманщик сейчас пойдет!

В самом деле, в конце улицы послышалась полька с количеством фальшивых нот, совершенно достаточным для того, чтобы возбудить

участие собак всего квартала.

Шарманка остановилась под окном. Клара, не думая об обнаженных руках и открытой груди, высунулась в прохладный мрак и бросила шарманщику свой кошелек, завернутый в бумажку с таинственными знаками.

Бедный Дальберг провел ужасную ночь. Мысль, что Клара, которой следовало воображать жениха, убитого горем, видела его в обществе предательницы, которая изменила тайне их чистой любви и отдала обожаемый образ на посмеище себе подобным, доводила его до бешенства.

— Теперь, — говорил он сам себе, — она будет почитать себя вправе слушать Рудольфа. Не сам ли я наперед оправдал ее моим поведением? А этот мерзавец, которому я доверил мою судьбу, которому поручил заступиться за меня у Дебре!.. Дурак я! Как он теперь смеется надо мной! Как он потешается над моей глупой доверчивостью! Но я найду средство отбить у него охоту смеяться. Он должен сам опровергнуть свою низкую клевету перед Дебре, или я убью его.

Едва настало утро, Дальберг уже исступленно дергал за колокольчик у двери Рудольфа.

Сонный неприбранный лакей пришел отворить и, еще отыскивая замок, сердито проворчал:

— Кого это черт принес так рано! Часу не прошло, как барин лег... Да кто там? Приходите попозже... приходите днем!

— Мне непременно нужно видеть твоего барина по делу, которое не терпит отлагательства.

— Если вы за деньгами, так напрасно изволите так рано беспокоиться, — продолжал лакей, проклиная ключ и замок, — барин всегда расплачивается по вечерам.

Дверь отворилась, и лакей протер глаза.

— Отдай барону эту карточку, — повелительно сказал Дальберг.

— Не смею, сударь... барон только что, я думаю, заснул. А просыпается он сердитый, если не доспит.

— Довольно рассуждать. Ступай, я пойду следом.

Это было сказано таким решительным тоном, что слуга уже не стал возражать.

— Это вы, Генрих! — вскричал Рудольф, поспешно накинув халат, потягивая хрустящие руки и зевая до вывиха челюстей, — черт меня возьми, если я ожидал вас! Вы немножко рано пришли петъ мне про вашу любовь... Да! Вчерашний вечер не поправил ваших дел. Вы очень неловко попались, а я еще в тот вечер надсаживался, выхваляя старику ваше прекрасное поведение! Клара в полгода не забудет этой встречи.

— Довольно, барон! Я уже довольно слышал лжи и видел коварного, предательства. Покорно вас прошу, сделайте одолжение, перестаньте принимать меня за болвана.

— Что с вами, любезнейший? Вы, верно, встали с левой ноги. Я только отчаянию влюбленного прощаю вольности, которые не спустил бы никому другому.

— Очень благодарен за великодушие, барон. Рассердитесь, пожалуйста: это доставит мне удовольствие. Примите мои слова в том смысле, который вам всего менее нравится.

— Вы, кажется, хотите дуэли?

— Точно так. Один из нас лишний на земле.

— Вы рассуждаете, как в пятом акте мелодрамы, любезнейший. Во всем этом человеческого смысла нет. У нас, кажется, не может быть ни малейшего повода к ссоре. Вас изгнали из дома вашей невесты по поводу истории с портретом, которая задела и отца, и дочь. Разве я виноват в этом? Вы послали меня попросить, похлопотать за вас. Я объяснил, как все это случилось; я выхвалял вас, но Депре ни под каким предлогом не хочет ничего слышать о вас: он утверждает, что вы игрок, развратник, гуляка. Мадемуазель Клара также негодует на вас: она считает вас любовником Амины и не хочет знать, что вы существуете. Что же мне тут делать?

— Я хочу, чтобы вашей ноги не было у Депре и чтобы вы не извоили больше заниматься Кларой.

— Любезный друг, вы в бреду. Неужели вы воображаете, что Клара должна провести остаток жизни, оплакивая счастливого любовника Амины? Неужели вы намерены убить всякого, кто вздумает ухаживать за бывшей вашей невестой?

— Я надеюсь по крайней мере вам помешать в этом ухаживании.

— Почему же это так, когда вы уже непричастны к делу и когда поле открыто для всякого, следовательно, и для меня? Если бы вы еще

были вхожи в дом и если бы девушка была расположена к вам, я понял бы ваш гнев, но в том положении, в каком вы находитесь, он, признаюсь, очень удивляет меня.

— Чем рассуждать, извольте лучше драться со мной.

— Я надеюсь, что не буду драться... разве только вы нанесете мне публичное грубое оскорбление... Не думайте, пожалуйста, чтобы мое миролюбие происходило от недостатка мужества: если хотите, я вам докажу, что для меня дуэль не может заключать в себе ничего опасного, но вы и сами знаете, как я стреляю и владею шпагой.

— Так что ж! Вы убьете меня, и все тут! Но я все-таки заставлю вас драться.

Дальберг ушел.

Вечером того же дня, в парижской кофейне он выплеснул рюмку вина в лицо Рудольфу, который сидел подле, за другим столом.

Рудольфово искусство владения всяким оружием было так известно, что на Дальберга с той же минуты все смотрели как на мертвеца.

Оскорбление было нанесено так явно и гласно, что мировая оказалась совершенно невозможной. У каждого из противников были под рукой приятели, которые не могли отказаться от чести быть свидетелями, и свидание назначили на следующее же утро в десять часов, в Булонском лесу.

Дальберг пришел домой, сделал несколько завещательных распоряжений, написал два или три письма и потом отправился на улицу Аббатства, бросить еще один взгляд, может быть, последний, на окно Клары Депре.

Почудилось ли ему, или действительно так было, но он видел, что штора, наглухо закрывавшая окно с того вечера, когда рушились его надежды, тихонько заколыхалась и на минуту отодвинулась.

Воображая себя почти помилованным, он ушел с сердцем, наполненным радостью и надеждой, и не думал уже о дуэли, как будто бы об ней и речи не было. Он был уверен, что не может умереть.

Между тем Рудольф сидел в своем кабинете и держал в руках бумажку, которую вертел и так и сяк, как будто стараясь отыскать в ней какой-либо знак. Бумага, вероятно, содержала в себе известие не очень приятное: Рудольф хмурил брови и кусал губы до крови; мертвенная

бледность покрывала его лицо, и он казался охваченным страшным беспокойством.

— Нечего делать! — сказал он после долгого молчания, — надобно покориться: условия так поставлены, что другого средства нет. Но откуда пришло это дьявольское письмо?.. Почерк, очевидно, поддельный... Джон, ты видел, кто принес эту записку?

— Нет, сударь, со вчерашнего дня никто не приносил записок.

— Это странно! — сказал барон и снова погрузился в думу.

На другой день в назначенный час противники сошлись в отдаленной аллее Булонского леса.

— Господа, — сказал барон, — если господину Дальбергу угодно извиниться, я забуду оскорбление, которое он нанес мне вчера. Мое искусство в стрельбе и фехтовании слишком известно, и многие дуэли, которые я уже выдержал, позволяют мне эту сдержанность и не подадут поводу к сомнению в моем мужестве.

Секунданты обеих сторон приняли эту речь с одобрением и нашли ее благородной, но Дальберг не хотел слышать о примирении.

Отмерили место и поставили противников в тридцати шагах одного от другого.

— Что мне делать, — думал Рудольф, — если я выстрелю в воздух, этот сумасшедший ведь не последует моему примеру... Вернее всего будет нанести ему легкую рану...

Он опустил дуло пистолета. В качестве оскорбленного он имел право первого выстрела и так поспешил воспользоваться им, что секунданты не успели дать второго сигнала, как выстрел его уже раздался.

Он ранил Дальберга в правую руку.

Дальберг, в свою очередь, выстрелил, но такой неверной рукой, что пуля его пролетела на три фута выше Рудольфовой головы.

Кость осталась невредимой. Рана сильно болела, однако ж была не опасна. Все-таки продолжать дуэль уже не было возможности.

Дальберг старался удержаться на ногах и идти, но не мог: силы изменили ему, и его без чувств отнесли в карету.

Когда он пришел в себя, он лежал на диване в своей комнате, и прекрасная женская головка, склонясь над ним, ждала его возвращения к жизни.

— Флоранса! — прошептал Дальберг дрожащим от слабости и волнения голосом и обратив на молодую женщину взор, исполненный признательности, — вы здесь!

— Да, я. После я объясню это. Теперь постарайтесь только успокоиться. Доктор дал мне над вами власть сиделки. Спите, а я буду читать.

И молодая женщина, приложив белый тоненький пальчик к губам, запретила раненому говорить.

Дальберг, несмотря на боль в ране и приказание спать, вполглаза смотрел и восхищался идеальным профилем гения-хранителя, который сидел у его изголовья.

Контур этого профиля был обведен тонкой чертой света, а на щеки и шею, облитые прозрачной тенью, ложились перламутрово-серебристые отблески от листов книги и постельного белья, которые привели бы в восторг колориста. Невозможно было представить себе линий более чистых, красок более мягких, выражения более целомудренного. Можно было подумать, что это сестра сидит подле больного брата. Эта молодая женщина, одна в доме у холостого молодого человека, держала себя так девственно, так строго, скромно, что никто не посмел бы дурно истолковать ее присутствие.

Дальберг всегда с удивлением и некоторым уважением смотрел на Флорансу как на женщину, которая гораздо выше той среды, в которой жила. Теперь он спрашивал себя, каким образом он мог внушить ей столько участия: немногие случайные встречи, без сближения, без короткости, не могли достаточно объяснить поступка, который понятен только у старого друга или любовницы. С некоторым напряжением памяти Дальберг припомнил, что несколько раз уже встречал довольно пристально устремленный на него взор Флорансы, но глупого тщеславия у Дальберга не было: он из этого не вывел заключения, что Флоранса влюблена в него, и поступок ее приписал просто доброте сердца, или, лучше сказать, он принял свое счастье, вовсе не пытаясь объяснить себе, откуда и зачем оно пришло. Боль его между тем несколько унялась, веки отяжелели, и глаза закрылись.

Дальбергу снились бессвязные и странные сны, из которых в особенности один поразил его чрезвычайно сильно: ему казалось, будто Клара из девичьей прихоти и любопытства вздумала посмотреть, как он живет, и воспользовалась для этого таким днем, когда его не

было дома. А он, во сне, хотя и был в отлучке, однако ж видел, как она бегала по комнате, смотрела на картины, трогала оружие, трости, перебирала золотые вещицы и печати, в бумагах и всюду рылась с детской резвостью. Но внезапное появление его заставило девушку бежать... в этом месте сновидения больной вдруг проснулся.

Что-то белое и стройное, как будто стан Клары, мелькнуло в дверях, которые, бесшумно затворяясь, защемили складку платья.

— Что с вами, Генрих? — спросила Флоранса, наклонясь над изголовьем больного — болит ваша рана? Не дать ли вам пить?

Больной, казалось, удивлялся, что видит в комнате одну Флорансу.

— Пустое, — сказал он себе, — это все тот же сон! Клара здесь... разве это возможно? Горячка встревожила мой мозг и произвела виденье.

Пришел доктор, переменял повязку и объявил, что двух недель будет достаточно для исцеления раны.

Вечером пришла Амина. Она прождала Дальберга целый день, удивлялась, что он не является, послала за ним и, узнав о дуэли, поспешила навестить раненого.

Едва переступив через порог, она уже заметила и шаль, перекинутую через спинку кресла, и шляпку, повешенную на подзеркальном столе. На эти вещи она обладала взглядом вполне развитой женщины, то есть взглядом проницательнее всякого следственного пристава.

На лице ее выразилась досада, и маленькие розовые ноздри вздулись.

— Меня обскакали, — сказала она, заимствуя фразу в наездническом слоге, к которому привыкла по своим светским связям. — Неужели эта дурочка, провинциалка, которая в театре облила меня своим взглядом как холодной водой... неужели она здесь? О добродетель! Я узнаю тебя: это одна из твоих штучек!

Флоранса в это время зачем-то ходила в другую комнату. Она вышла и положила конец догадкам Амины.

Обе женщины молча посмотрели друг на друга с величайшим презрением.

Амина первая прервала молчание. Она подошла к Дальбергу и сказала:

— Любезный друг, я пришла предложить вам мои услуги в качестве сиделки, но я вижу, что меня опередили. Флоранса добрая душа. Я сменю ее, когда она утомится. Какой же вы счастливец, Генрих! Я желала бы знать, под какой именно звездой вы родились. Вы стрелялись с Рудольфом и не убиты: такого еще не случалось! Вы отделались легкой раной и будете недели четыре носить руку на черной перевязи, что придаст вам много интереса в глазах женщин. Амина и Флоранса оспаривают друг у друга честь сидеть ночи у вашего изголовья: совету вам не жаловаться.

Амина удобно расположилась в кресле, с которого, по-видимому, не скоро намеревалась встать.

Флоранса заняла прежнее место у изголовья и продолжала читать.

Дальберг рассматривал обеих женщин, одинаково пленительных, хотя вовсе не похожих друг на друга. В красоте одной было что-то коварное, жестокое и опасное, — прелесть кошки, очарование сирены, привлекательность ядовитого цветка. Любить ее было страшно. Красота другой была открытая, полная сочувствия, благородства и великодушия. Ей можно было без опасения доверить любовь и честь свою. Такую женщину Дальберг избрал бы себе, если б не был уже влюблен в Клару.

Амина, чувствуя неловкость этого положения, решила выйти из него.

— Долго ли мы будем сидеть одна против другой, как сфинксы, и втайне точить друг на друга когти. Я нахожу, что мы уже достаточно посидели.

— Что вы хотите сказать, Амина? Я не понимаю вас, — спросил Генрих.

— Дело, однако ж, очень просто.

— Так объяснитесь, ради Бога!

— Я нарисую наше относительное положение в трех словах: Клара ненавидит вас, а мы обе любим. Выбирайте.

— Флоранса любит меня! Возможно ли? — вскричал Дальберг.

И, в изумлении от радости, он обратился к Флорансе: она смутилась и покраснела.

— Я вижу, что не я получу Парисово яблоко, — сказала Амина, вставая, — я оставляю вас, счастливая чета, и поеду петь вам эпиталаму по всему Парижу. Прощайте, Дальберг. Вы из одной

глупости бросаетесь в другую. Прощайте, Флоранса. Стоило столько времени играть роль недотроги!

Когда сообщница Рудольфа ушла, Флоранса в ответ на мольбы Дальберга призналась, что с давних пор питает к нему склонность, которую старалась победить, видя, что сердце его занято; что эта любовь заставила ее прийти к Амине в тот день, когда они все вместе катались по Булонскому лесу, довела ее до отчаяния при виде медальона и послала в беспамятстве на место сражения.

— Но я знаю, что ваше сердце принадлежит другой, — прибавила она, — и несмотря на признание, которое я вам теперь сделала, вы не встретите во мне ничего, кроме дружбы. Я не Амины боюсь, поверьте, — прибавила она, подняв голову с очаровательной гордостью.

Флоранса целую неделю проводила вечера у изголовья больного.

Дальберг не забывал Клары, однако ж думал об ней уже не с той ядовитой горечью, что прежде, и чары утешительницы значительно убавили его скорбь.

Достигнув такого состояния, что мог выходить со двора, он отправился прежде всего к Флорансе, которая приняла его с благородной короткостью, с ласковой заботливостью и предупредительностью, которых тайною обладала в совершенстве. Дальберг пришел и на другой день и остался долее, нежели в первый раз. Кроме минут, проведенных с Флорансой, жизнь казалась ему смертельно скучной. Образ Клары, которая отталкивала его, и сожаление об утраченном счастье повергали его в самую мрачную задумчивость. Подле Флорансы он еще верил в возможность забвения, в зарождение новой любви; строил воздушные замки и на развалинах своего бывшего счастья уже видел новое здание, позолоченное солнцем. Красота Флорансы ослепляла его обаятельными обещаниями, а тонкий ум приводил в восхищение. Часы летели как минуты, когда он сидел подле нее, занятый беседой, в которой душа его как будто странствовала по всему миру.

Между тем Рудольф все более и более приобретал благорасположение Дебре. Его сдержанность в дуэли с Дальбергом принесла ему много чести. Клара не показывала ему особенной суровости, — оттого ли, что истинная, глубокая страсть барона действительно трогала ее, или оттого что она хотела этим отомстить

Дальбергу. Поговаривали даже о женитьбе Рудольфа на мадемуазель Дебре.

Дальберг, видя, что ему должно окончательно отказаться от надежды тронуть когда-нибудь сердце злопамятной Клары, решился на насильственную меру и доказал себе, что он должен обожать Флорансу. Никогда исступление отчаяния не имело большего сходства со страстью: сам Дальберг обманулся и вообразил, что действительно любит.

Он почти не отходил от Флорансы, которая, однако ж, постоянно оказывала ему сопротивление, довольно странное после признания, которое уже высказала. Его любовь превратилась в горячку, которая, казалось, иногда заражала Флорансу, но в минуты, когда Дальберг ожидал, что она упадет к нему в объятия, она вдруг отскакивала в дальний угол комнаты, гордо выпрямившись, вытягивала руки, чтобы он не подходил, и кричала:

— Оставьте! Оставьте меня! Вы все еще любите Клару!

Напрасно бедный Генрих упал к ее ногам, умолял, уверял, изливал свою душу в пламенных дифирамбах, окружал обожаемую палящими токами желания и воли, Флоранса все повторяла:

— Нет, нет! Я чувствую, что вы не можете принадлежать мне: ваши слова не убеждают меня... Заставьте поверить, что вы любите меня, и... я буду ваша.

Эти сцены повторялись довольно часто и оканчивались все тем же.

Однажды вечером Дальберг нашел Флорансу более обыкновенного печальной и спросил о причине.

— Эта квартира мне не нравится, — отвечала она, — два года тому я жила здесь с Торнгеймом, единственным моим любовником. Не ужасно ли принимать другого и слушать слова любви в стенах, где еще живет отзвук прежнего голоса и на мебели, где отдыхал тот, чье место в моем сердце занял другой? Не гадко ли это?.. Кто бы прежде сказал мне, что я, Флоранса, приму таким образом жениха Клары в покоях Торнгейма?

Эти слова Флорансы вдруг как будто осветили ум Дальберга. Он удивился и досадовал, что самому ему не пришла в голову эта мысль.

В несколько дней он, ничего не говоря, купил поблизости от Елисейских полей дом с прекрасным садом, построенный каким-то

английским лордом, чьи наследники не сочли нужным удержать его за собой. Дальберг отдал за него сто тысяч франков.

Хорошенький фасад, украшенный лепною работой во вкусе Возрождения, улыбался на полуденном солнце и белизной своей ярко выделялся на зеленом фоне окружающих деревьев. Сад был не обширен, но, кроме собственной, пользовался еще соседней тенью и выигрывал в перспективе то, чего ему недоставало в пространстве. На дворе было ровно столько места, сколько нужно, чтобы карета могла свободно развернуться.

Покои были расположены с удобством, доведенным до совершенства. Пара любовников или молодых супругов не могла бы выбрать для своего счастья гнездышко более очаровательное.

Дальберг при помощи одного из искуснейших обойщиков в Париже убрал свое приобретение с самой утонченной роскошью и сделал из каждой комнаты образец изящества, не впадая ни в какие излишества, которые не могли нравиться Флорансе, он умел довести богатство до поэзии.

В особенности спальня была удивительна по скромной простоте и мечтательному спокойствию — ни одного резкого тона, ни одной яркой краски, ничего, что поражает глаз, — все было свежо и благоуханно, как внутренность лилии, и сама Титания не отказалась бы отдыхать в ней.

За все это было заплачено пятьдесят тысяч, — и заплачено не дорого.

Однажды Дальберг вручил Флорансе небольшой ключ и сказал:
— Это ключ от вашего дома.

В шкафах и комодах Флоранса нашла запас нарядов, достойный принцессы. На камине в будуаре лежала подписанная Дальбергом доверенность — брать у его банкира все деньги, какие ей понадобятся.

Узнав обо всем этом, Амина произнесла следующее глубокое изречение:

— Вот что значит лицемерие! Как жаль, что я не обладаю этим полезным пороком.

Она действительно очень сожалела: сердце ее было сильно уязвлено. Она увидела, что Дальберг влюблен до безумия: сила любви в некоторых сферах всегда вычисляется по сумме издержек. В той же мере возросла и инстинктивная ненависть Амины к Флорансе.

Но оставалось еще нечто такое, что еще более изумило бы Амину, если бы дошло до ее сведения, — такое, что она наверное сочла бы высшей степенью утонченного кокетства, — то, что, несмотря на всю свою щедрость, Дальберг еще не видал от Флорансы никакого доказательства любви, кроме позволения целовать руку, а между тем, судя по пламенным, глубоким взглядам, какие Флоранса иногда устремляла на своего обожателя, можно было поклясться, что она любит его, или никогда не должно верить ни свету глаз, ни выражению лица человеческого.

— Ах, как вы любите ее! — отвечала она Дальбергу, когда он говорил что-нибудь нежное или страстное, — вы в эту минуту думали о ней, и вот отчего глаза ваши светятся, голос дрожит, и слово принимает поэтическую форму. Вы произносите «Флоранса», а думаете «Клара».

Напрасно Дальберг рассыпался в уверениях. Флоранса оставалась непоколебимой.

В душе он и сам чувствовал, что она права. По малейшему знаку со стороны Клары он бросился бы к ней с трепетом, с восторгом, влюбленный более чем когда-нибудь, и не вспомнил бы, что Флоранса существует. Между тем это было существо, которое он, после Клары, любил более всего на свете.

Не умея убедить, он старался ослепить ее, польстить ее самолюбию богатыми подарками: каждый день являлся какой-нибудь перстень, новый наряд, редкий цветок, модная карета или новые лошади. Принявшись за свой капитал, он стал брать из него полными горстями, как будто обладает несметными сокровищами. Флоранса на эту безрассудную расточительность не делала никаких замечаний, оттого ли, что, будучи уже привычна к княжеской роскоши, она не примечала излишеств, или оттого, что почитала Дальберга гораздо более богатым, чем он был в самом деле. Мысль, что Флоранса корыстолюбива или алчна, никому не могла прийти в голову. Впрочем, наряды, которые других свели бы с ума от восхищения, она едва надевала, и то более из внимательности к Дальбергу, чем из кокетства. На ожерелье она с минуту любовалась и потом прятала в шкатулку, чтобы никогда не вынимать.

У Флорансы не осталось ни одной булавки, которая бы могла напомнить прежнюю связь. Но гораздо легче уничтожить

материальные свидетельства, переменить окружающее, истребить все следы прошедшего, чем победить сомнение в ревнивой душе. Не видя ничего, кроме неудач, Дальберг, увлекаемый головокружительным вихрем, исступленным желанием, доведенный до крайней степени раздражения, стал наконец проклинать Клару, которая делала его вдвойне несчастным.

Однажды утром Флоранса с самым простодушным и непринужденным выражением сказала Дальбергу, что посылала к банкиру за деньгами и получила ответ, что денег больше нет.

Капитал Дальберга был истрачен. У героя нашего оставалось еще только недвижимое имущество, к счастью, не продажное, да надежда на наследство после дяди, который пребывал в добром здравии.

Дальберг обратился к ростовщикам и достал денег на короткий срок под большие проценты. Векселя стали просрочиваться и предъявляться к взысканию.

Об этих затруднениях Дальберг ни слова не говорил Флорансе, а сама она не догадывалась, или не хотела догадаться и продолжала обыкновенный свой образ жизни, так что в один прекрасный день, когда солнце ясно горело на прозрачной лазури неба, четыре господина не совсем приятной наружности учтиво взяли Генриха Дальберга под руки, посадили в карету и отвезли в долговую тюрьму.

Дальберг против воли принужден был объяснить Флорансе свое положение и не сомневался, что она тотчас же поспешит к нему на помощь. Он написал к ней письмо, в котором рассказывал причину своего ареста, и назначил сумму, какая нужна для его освобождения.

Часов через пять тюремный сторож пришел сказать ему, что какая-то дама желает видеть его.

Арестанту и в голову не приходило, чтобы это мог быть кто-нибудь, кроме Флорансы, и он очень удивился, когда к нему вошла... Амина.

Глаза у нее сверкали злорадством; маленькие ноздри трепетали, лицо сияло удовлетворенным коварством: она была хороша и блестяща, как змея, в веселом расположении духа.

Она подошла к Дальбергу, как будто свиваясь и развиваясь кольцами, и с коварной лаской сказала:

— Ну что, мой бедняжка Дальберг! Вот вы ушли в тень на некоторое время. Я пришла навестить вас и утешить. В беде-то и

познаются истинные друзья, а мою привязанность вам уж пора бы оценить.

— Не издевайтесь надо мной, Амина. Время и место совсем не приличны.

— Я нисколько не шучу. Чтобы дойти до совершенства, нам только и не доставало переселиться вместо дачи на казенную квартиру. Вы обязаны были доставить себе это удовольствие. Флоранса — тонкая штучка, я восхищаюсь ею, как быстро она вас до этого довела... Надеюсь, теперь вы исцелились от страсти к добродетельным женщинам: это слишком дорого обходится. Со мной вы прожили бы по крайней мере три года и в это время переняли бы у меня столько каламбуров и забавных шуток, что до конца жизни были бы приятным собеседником в обществе.

Дальберг сделал нетерпеливое движение.

— Не хмурьте бровей, пожалуйста: от этого промеж глаз морщины явятся. Примите как следует добрую девушку, которая привезла вам сигар, шампанского и фельетонов для развлечения. Кстати, вы знаете, что Клара выходит замуж за Рудольфа?

Дальберг вскочил и хриплым голосом, задыхаясь, вскричал:

— Ты лжешь!

— Я говорю правду. Скоро будут окликать, если еще не окликали. Вы бледнеете? Так вы все еще не можете забыть об этой девочке? Ведь она любит Рудольфа.

Дальберг обеими руками закрыл лицо и не отвечал. Промеж пальцев у него показались слезы.

— И Рудольф влюблен в нее по уши. Это будет настоящая пара голубков. Они будут счастливы и наживут кучу ребят, как в волшебных сказках... О! Да вы, кажется, плачете!.. Какая глупость! — сказала Амина, отводя Дальбергу одну руку. — Ведь нужно же было подготовиться к этому. Я уведомяу вас о настоящем дне свадьбы, потому что пригласительного билета вам в тюрьму, вероятно, не пришлют. Прощайте, кланяйтесь Флорансе.

Когда Амина ушла, Дальберг стал уверять себя, что она вылила эту ложную вестъ, как уксус на рану, и что свадьба Клары и Рудольфа просто выдумка.

Эта мысль несколько успокоила его.

Но что случилось с ним, когда он в газете, одолженной у другого арестанта соседа, действительно увидел объявление о браке, о котором говорила Амина.

Сомневаться долее не было никакой возможности.

Легко представить себе отчаяние и бешенство, которые овладели Дальбергом: есть ли в мире положение, более способное довести человека до ярости, чем то, в котором он находился: сидеть в тюрьме и знать, что возлюбленная выходит замуж! Да от этого можно голову разбить об стену, повеситься на оконной решетке или — кто обладает дарованием к побегу, как Латюд и барон Тренк — можно булавкой прокопать подземный проход длиной восемьдесят футов.

На крайний случай он допускал, что оскорбленная приключением с медальоном и встречей в театре, Клара может не простить и прогнать его от себя даже навеки. Но чтобы она до такой степени могла забыть свои клятвы и воспоминания, этого он не постигал. Он, может быть, и согласился бы никогда не видеть ее, лишь бы она не принадлежала никому другому.

Между тем он, и на свободе будучи, не мог воспрепятствовать этому браку: его оконченная уже дуэль лишала его единственного средства придраться к Рудольфу, и всякое новое покушение в этом роде повело бы только к бесполезному позору. Согласие Клары делало всякое постороннее вмешательство неуместным и нелепым. Дело совсем не походило на то, что несчастную жертву насильно ведут к алтарю по воле варвара отца, потому что мадемуазель Депре, по словам Амины, обожала Рудольфа.

Дальберг, однако же, не отдавал себе такого ясного отчета в этих невозможностях: ему казалось, что, только бы его выпустили, он в решительную минуту нашел бы и решительное средство какое-нибудь, хоть с неба, да свалилась бы неожиданная помощь, и жертвоприношение не состоялось бы. Это было рассуждение смертника, который надеется, что в ту минуту, когда его поведут на эшафот, его избавит какой-нибудь всеобщий переворот, землетрясение или наводнение.

Теперь иные удивятся, может быть, что Клара, после решительного объявления отцу о своем непреложном намерении не выходить ни за кого, кроме Дальберга, не устояла против родительской воли.

Стало быть, живое верование в любовь Генриха угасло; дивное упрямство в убеждении, что обвиненный невиновен, наконец побеждено? Вероятно, красота Амины оправдала возможность измены? Или Клара знала о связи Генриха с Флорансой? Или она полагала, что Дальберг, утомленный препятствиями, наконец сам отступился от нее?

Совсем нет. Дело в том, что Депре, более и более очарованный Рудольфом, до того преследовал Клару увещаниями, что она наконец изъявила согласие выйти за предлагаемого жениха. Однако ж она осталась при своем убеждении, что отец сам скоро будет просить, чтобы она забыла об этом.

— В таком случае я с нынешнего же дня могу называть тебя баронессой Гюбнер! — вскричал старик, потирая руки. — Невероятно, чтобы я переменял свое мнение. Твой Генрих теперь влюблен еще в другую тварь... Каков соколик! Волосы дыбом становятся, когда я думаю, что он чуть-чуть не сделался моим зятем!..

Клара ничего не отвечала. Рудольф не знал, что подумать о ее спокойной задумчивости и, сколько ни был уверен в своих превосходствах, удивлялся, что любовь к Дальбергу так скоро исчезла. Иногда, правда, ему казалось, будто взгляд Клары, останавливаясь на нем, принимал какое-то странное выражение и будто в улыбке ее заключалась подавляемая ирония. По временам проблеск какой-то тайной мысли мгновенной молнией освещал бледную маску покорности на лице девушки, и Рудольф невольно ужасался, как при приближении какого-нибудь грозного события. Между тем первая окличка была сделана, и Рудольф успокоился.

Для Дальберга день тянулся невыразимо долго: часы казались ему вечностью, минуты веками. На письмо к Флорансе он еще не получал ответа. Он ожидал, что Флоранса тотчас же прилетит освободить его, и не постигал замедления. В душе его стали возникать самые ужасные подозрения: ему уже казалось, что Флоранса — та же Амина, только еще коварнее. Он полагал, что она покинула его, когда узнала о разорении... Она, стало быть, воплощенная алчность и низкое корыстолюбие под личиной добродетели... Но нет! Этому трудно поверить: она, вероятно, хлопочет об освобождении и скоро явится... Вот, кажется, шаркнули тоненькие ботинки и зашумело платье... Это она!

Легкая поступь и шорох шелкового платья в коридоре действительно доказывали присутствие посетительницы, но только это была не Флоранса.

Она не приходила ни в тот день, ни на следующий. Раздраженный Дальберг разразился против женщин поношениями, достойными Ювенала. Он проклял их всех: Клару, Амину, Флорансу, всех без исключения, худших и лучших, произнес торжественный обет никогда больше не верить ни в любовь, ни в дружбу, ни во что и, сам того не зная, продекламировал все тирады Шекспирова «Тимона Афинского». Мир казался ему разбойничьим вертепом. Он видел себя, обманутого, обкраденного, разоренного; с уходом последнего червонца обнаружилось отступление и никто не идет даже на похороны его богатства! На будущее время он дал себе слово, если успеет приобрести новое состояние, быть осторожнее, недоверчивее и подозрительнее величайших скряг, известных миру.

На этой точке был Дальберг, когда вошла Флоранса. По расстроенному лицу она догадалась, что происходило в его душе, и остановилась у порога, как будто выжидая приглашения.

Дальберг хранил свирепое молчание.

— Ну что же? — сказала Флоранса с нежной и печальной улыбкой. — Зачем вы сдерживаетесь? Назовите меня вслух так, как, вероятно, уже не раз называли про себя... назовите меня неблагодарной, бездушной... И вы могли подумать, что я покину вас! — прибавила она помолчав. — Ах, как я ошиблась! Я воображала, что внушила вам другое мнение о себе. Но вы теперь, может быть, лучше поймете и оцените Флорансу. Поспешите, однако ж, прежде всего освободиться: вот деньги.

И она положила на стол пачку банковых билетов. Дальберг сделал отрицательное движение, и на лбу у него выступила благородная краска.

— О! Вы можете принять эти деньги! — прибавила Флоранса. — Они ваши, вы вовсе не разорены.

В глазах арестанта выразилось живейшее изумление.

— Напротив, вы богаче, нежели были, — продолжала Флоранса, — суммы, которые, вы думали, я расточаю, были пущены в оборот через одного старинного Торнгеймова приятеля, который сохранил ко мне дружбу и на которого я совершенно могу положиться.

Ваши капиталы приносят вам хороший доход, бумаги вы найдете в вашем же доме, а вот и ключ от дома. Я уже не ворочусь в него, и вы никогда больше не должны видеть меня. Мое назначение кончено, прощайте!

— Флоранса! Что ты?.. Что ты хочешь сказать, милая Флоранса! — вскричал Дальберг, который ничего не понимал ни в неожиданном перевороте положения, ни в странной решимости молодой женщины...

— Клара еще любит вас... Прощайте, Генрих, прощайте навсегда!

Флоранса поцеловала молодого человека в лоб и ускользнула за дверь так быстро, что он не успел опомниться.

Когда Дальберг вышел из тюрьмы, Флоранса была уже далеко, и не оставалось никакой надежды догнать ее.

Свободу свою Дальберг прежде всего употребил на то, чтобы посмотреть, не осталось ли каких следов Флорансы в доме, который она возвратила ему. Люди ничего не знали: Флоранса с утра уехала и не возвращалась. Дальберг отправился на улицу Святого Лазаря, в прежнюю ее квартиру. Там все было пусто. Предосторожности были приняты такие верные, что все поиски оставались тщетными.

Теперь мы сами должны объяснить читателям загадку, к которой Дальберг нашел ключ лишь долгое время спустя.

Флоранса воспитывалась в одном пансионе с Кларой, Обе девочки привязались друг к другу так, как можно привязаться только в пансионе: их разлучало только время уроков, потому что Флоранса, будучи двумя годами старше, естественно шла впереди. Но в часы отдыха, отыскивая одну, можно было наверное знать, что найдешь обеих. Наконец Клара с невероятными усилиями успела даже догнать свою подругу, чтобы быть с нею в одном классе. Флоранса была дочь флотского офицера, умершего в Сан-Доминго, и креолки, которая привыкла к роскошной жизни в колониях и в короткое время прожила все состояние, какое у нее осталось после мужа, так что Флоранса, вышедши из пансиона, в котором получила довольно блестящее образование, нашла у матери только, нищету самую плачевную, нищету на развалинах роскоши. Вскоре потом она лишилась и матери и осталась в Париже одна без всяких средств. Флоранса не пренебрегала никаким честным трудом, каким может прокормиться женщина, но она была слишком хороша собой, так что никто не

поверил бы, что она не шутя занимается работой, таким белым ручкам не подобало владеть иголкой: им следовало быть осыпанными бриллиантами и лежать на бархатном краю ложи первого яруса. Предательская красота эта всюду изгоняла ее: никакая хозяйка не хотела принять ее, чтобы не быть ее служанкой. Она старалась попасть на театр, потому что обладала великолепным голосом, но и туда ее не пустили за то единственное преступление, которым она могла затмить других, за красоту. Против нее восстала бесчисленная армия рож. Наконец ее встретил и оценил Торнгейм, секретарь немецкого посольства. Он, как человек очень умный, не устрасился того, что пугало других, и связь эта продолжалась до самой смерти дипломата, случившейся за год до начала нашей повести. Преемника ему до Дальберга ни один злой язык не мог назвать. При всем том, однако ж, она уже должна была почитаться выбывшей из рядов общества.

Только одна Клара Депре всегда сохраняла к павшей подруге те же чувства, что и прежде. Хотя Депре строго наказал дочери прервать все сношения и не кланяться, если случайно встретит женщину, с которой порядочной девушке не следует знаться, однако ж очень сомнительно, чтобы Клара так же строго исполняла этот наказ.

Может быть, в девственном простодушии своем Клара не совсем хорошо понимала меру проступка Флорансы, или, может быть, она, счастливая добродетель, снисходила к прекрасной павшей, но не испорченной душе.

Букет васильков и ржаных колосьев, нарисованный Флорансой, всегда занимал свое место над роялем, и если имя изгнанницы было скрыто под рамкой, зато его можно было бы легко прочесть в сердце Клары.

Под видимой детской беспечностью у Клары скрывался твердый характер, который нелегко отступал от своего мнения о том, что находил справедливым и несправедливым. Так и Флоранса, обвиненная всеми, находила отпущение у нее. Клара слишком хорошо знала все сокровища этой души и слишком часто была ее наперсницей, чтобы когда-нибудь допустить, что она может дойти до унижения.

Она сожалела о неизбежном несчастье подруги и говорила себе, что никакая другая девушка в подобном положении не боролась бы долее.

Подруги, без сомнения, встретились по приезде Клары в Париж и, не имея возможности видаться, условились переписываться по тому способу, который мы видели уже в начале рассказа, — Флоранса клала свои записки в ящик, где хранился молитвенник в церкви, а Клара передавала свои через шарманщика.

С некоторого времени эта переписка стала производиться деятельнее прежнего. Клара, уведомленная Флорансой, знала, что Генрих попал в опасную компанию. Она не сомневалась в своем женихе и не сомневалась именно потому, что однажды нашла его достойным. Но она все-таки опасалась, чтобы другие не употребили во зло его благородной доверчивости, и потому, не из мелочной ревности, а из заботливости почти материнской, просила Флорансу присмотреть за ним и предостеречь, если будет нужно. Исполнить это было нетрудно, потому что Флоранса могла следовать за молодым человеком всюду в кругу актрис и ветреной молодежи, куда увлекал его Рудольф. Она взялась быть тайным ментором нового Телемака и окунуть его в горькие струи, как скоро он слишком засидится на острове какой-нибудь Калипсо.

Еженедельно в книжный ящик опускалась краткая, но точная ведомость о поведении Дальберга, которому, разумеется, и во сне не снилось, чтобы девушка, живущая в улице Аббатства и выходящая только по воскресеньям в церковь, знала все подробности его светской жизни.

Если кто-нибудь найдет такое любопытство предосудительным, тому можно отвечать, что этой девушке предстояло быть женой Генриха и что дело шло о счастье всей ее жизни, следовательно, любопытство было довольно законное. Вообще надобно признаться, что довольно прискорбно положение девушек, которые живут хотя и в открытых домах своих родных и видят много людей, однако ж никогда не знают, как живут и что делают те, от кого должна потом зависеть вся их судьба.

Мы приведем здесь две или три записки из тех, которые видели в ящике у Флорансы. Вы помните, что это были бумажки, обсыпанные черным порошком, для того чтобы можно было прочитать написанное лимонным соком.

«Ты говоришь, у него украли мой портрет, — писала Клара к Флорансе, — та, которая сделала это, женищина, видно, очень дерзкая. Он спал, бедняжка, потому что не привык к таким полуночным пирам. Ты опасаясь, чтобы меня не узнали? Но кто же узнает меня? Это невозможно. Я в Париже никого не знаю, особенно в том кругу. Как он должен быть огорчен! Он так дорожил этим портретом. Ему, вероятно, скоро отдадут его, потому что он никому не нужен. Так он все еще часто видится с этим Рудольфом, которого я ненавижу и представляю себе как Мефистофеля на картинках в иллюстрированном „Фаусте“. Постарайся отвлечь его, если можешь. Я желала бы знать, какое удовольствие можно находить в том, чтобы пить и играть? Я уверена в Дальберге, но буду очень довольна, если мы скоро воротимся в С***».

«Что ты предвидела, случилось: та злая женищина, видя, что Генрих пренебрегает ею, прислала портрет с письмом к нам. Дальберг, мужественный Дальберг, трепетал как осиновый лист. Папенька сказал ему, чтобы он никогда не изволил являться ему на глаза. Надобно же случиться такому несчастью именно в ту минуту, когда нас хотели уже венчать! Все было уже готово. Теперь много нужно времени, чтобы укротить и задобрить папеньку. В горе моем меня, однако ж, утешает то, что Генрих все-таки любит меня. Иначе эта женищина не сыграла бы со мной такой недостойной шутки. Теперь, не смея прийти к нам, бедный Генрих, верно, очень скучает. Рудольф поведет его играть или на гадкие ужины, с которых расходятся, когда другие люди завтракают. Ты говоришь, что эта Амина хорошенькая? Но возможно ли быть хорошенькой с такой черной душой? Пожалуйста, стереги Дальберга. Старайся встречаться с ним почаще. Тогда он будет как будто бы со мной: ведь мы с тобой были так коротки, что в нас должно быть много схожего. Папеньке я решительно сказала, что не выйду ни за кого, кроме Дальберга. Он отвечал, что я рассуждаю, как глупая девочка, которая ничего не понимает. Он и не подозревает, что я многое знаю даже лучше его».

«Я вчера была в театре с отцом и с Рудольфом, который нынче бывает у нас очень часто, потому что ухаживает за мной и хочет

жениться. Я подозреваю, что не кто иной, как он сказал Амине мое имя и вместе с ней устроил всю эту гадкую интригу. Дальберг сидел против нас, в бенуаре, с ней. Мне хотелось увидеть, что она дурна, но... ты права, она хорошенькая... очень хорошенькая и должна быть опасна. Нужно помешать Дальбергу видеться с ней. Если бы ты видела, какими глазами он посмотрел на Рудольфа, когда мы при выходе встретились на лестнице!.. Они будут драться, я уверена. Что если Генрих будет ранен или убит?.. Найди какое-нибудь средство предупредить беду, милая Флоранса. Уведомь полицию, испугай Рудольфа, а главное — отклони Генриха от Амины, хотя бы тебе для этого пришлось немножко пококетничать: я даю тебе неограниченные полномочия и совершенно полагаюсь на тебя».

Флоранса, как мы видели, исполняла поручения своей подруги с редкой преданностью и самоотверженностью. Она посредством своих людей пыталась опохмелить Амины, чтобы отнять у него медальон; она же написала Рудольфу таинственную записку, которой Генрих обязан жизнью. Чтобы услужить подруге, она сделалась соперницей Амины, и Дальберг, извлеченный ею из омуты, в который бы ввергло его отчаяние, получил хороший урок, а между тем сохранил и честь, и состояние.

Когда прошло первое изумление поступком и побегом Флорансы, мысль о женитьбе на Кларе возродилась у Дальберга живее и сильнее, чем когда-нибудь: он почувствовал, что не переживет того дня, когда Клара выйдет на другого.

Он как сумасшедший побежал к Депре просить прощения и решился упасть на колени, дойти до самой униженной мольбы. Но Депре или действительно не был дома, или не хотел принять его. Дальберг более часа бродил около подъезда, чтобы подстеречь, когда старик воротится или выйдет со двора; раз двести прошел под окном Клары, стараясь увидеть что-нибудь сквозь штору и занавес. Никто не шевелился.

А время было дорого: на другой день намеревались подписать свадебный контракт.

Измученный нравственной и физической усталостью, Дальберг нанял фиакр, поехал в свой дом на Елисейских полях и бросился в будуаре на диван в совершенном изнеможении.

Никогда он не был так несчастен: Клара невозвратно погибала для него, и Флоранса покинула навсегда.

Из двух ангелов-хранителей его жизни у него не оставалось ни одного. Демон торжествовал.

Дальберг пролежал несколько времени, сдавив обеими руками голову, оглушенную тысячью смутных и нелепых замыслов.

Стемнело. Когда принесли свечи, Дальберг увидел на столе довольно большой пакет, которого в первой тревоге не примечал.

Распечатав, он нашел записку от Флорансы и заграничное письмо. Записка была такого содержания:

«Любезный Генрих, вам стоит только явиться завтра к Дебре к тому часу, когда следует подписать контракт. Будьте в черном фраке, в белых перчатках, — словом, в костюме жениха. Клара знает, что вы придете, и ждет вас. Она любит вас и прощает проступки, которых вы, впрочем, и не сделали. Рудольф не придет: это я знаю наверное. Отдайте Дебре приложенное письмо, и вы увидите, как скоро он переменит свое мнение о дорогом бароне, от которого был в таком восторге. Исполните все, что я вам говорю: на меня вы можете положиться. В красном кабинете вы найдете наряды, бриллианты и золотые вещи, которые дарил мне. Свадебная корзинка совершенно готова».

Генриху казалось, что он видит сон. Он машинально посмотрел на конверт, посреди которого между разноцветными почтамтскими отметками красовалась огромная канцелярская печать.

В этом пестром, измаранном конверте заключалась вся его судьба.

Наступил день свадьбы. Дебре сиял. Он с рассветом надел огромный, белый, крепко накрахмаленный галстук, через края которого мягкое тело подбородка выплывало румяными складками; черный фрак, великолепного сукна и достаточно просторный, так и пахнул кандидатом в депутаты; толстая золотая цепочка тянулась от выреза жилета в карман; золотая табакерка ловко поворачивалась в левой руке — словом, Дебре изображал идеал тестя, приличнее которого самый взыскательный жених не мог бы представить себе.

Он ходил из угла в угол, подвигал ногой кресла, которые не совсем симметрически стояли на своих местах; посматривал каждую минуту в окно, хотя до назначенного срока было еще далеко, и отбарабанивал на стеклах триумфальные марши.

Удовольствие просвечивалось сквозь все его поры, потому что пора открыть слабость почтенного нотариуса, — ему было очень, очень лестно, что дочь его выходит за барона. Мысль, что на дверцах Клариной кареты можно будет нарисовать герб с баронской короной, наполняла его родительское сердце невыразимо сладостным чувством и притом... баронесса!.. Это так звучно! Между тем Депре всегда выказывал либеральный образ мыслей и доказывал, что он свободен от допотопных предрассудков. Но в гербе не только для умеренных либералов, даже для отчаянных республиканцев заключается непостижимое очарование, оттого почти во всех романах с демократическим направлением героиня — герцогиня, влюбленная в разночинца или даже мужика.

Клара была совсем не так лучезарна, как ее отец, и предстоявшая честь скоро называться баронессой, казалось, не слишком восхищала ее.

Она мало спала, и лицо, облагороженное легкой бледностью, сквозь личину равнодушия обнаруживало некоторое беспокойство, как будто ожидание чего-то.

Она, конечно, вполне полагалась на преданность и ловкость своей подруги и на обещание Флорансы избавить ее от Рудольфа в решительную минуту, для виду совершенно повиновалась отцу. Могло, однако ж, случиться, что Флоранса ошиблась насчет непогрешимости своего средства или что Рудольф отведет направленный на него удар. Он обладал такой находчивостью, такой хитростью и ловкостью; он был так тонок, так изворотлив и умел так искусно выпутываться из самых затруднительных обстоятельств. Депре доверял ему совершенно слепо. Все это, без сомнения, давало достаточно поводов для беспокойства, и недаром Клара внутренне трепетала.

Если спасительное средство не удастся, она будет связана собственным словом и должна выйти замуж за человека, которого может только презирать. От этой одной минуты зависело счастье и несчастье всей ее жизни.

Контракт следовало подписать в полдень. Две стрелки сошлись и образовали одну перпендикулярную линию; свидетели были налицо; недоставало только Рудольфа.

Клара стояла, опершись на свое кресло, прямая, неподвижная, бледная; глаза были устремлены на часы, ухо чутко ловило каждый стук экипажа на улице, всякий шорох шагов в передней.

Часовая стрелка указала четверть первого. Клара вздохнула свободнее, и легкий румянец оживил ее щеки.

— Разве часы наши вперед идут? — говорил Депре, поверяя их со своими карманными, — нет... Рудольфу давно уже следовало бы быть, но... четверть часа всегда прощается.

Прерванный на минуту этим замечанием, шепот присутствующих между собой снова загудел по зале. Депре стал прохаживаться взад и вперед не без нетерпения: он находил уже, что Рудольф недостаточно торопится.

— Ну что ж делать! Верно, он замешкался за туалетом. Женихово дело: нужно показать себя!

В продолжение этой прогулки маятник, примешивая свой однообразный стук к скрипу новых сапог Депре, сделал столько движений, что колокол ударил час.

Барон Гюбнер, такой точный, такой учтивый, такой строгий наблюдатель приличий, просрочил шестьдесят минут по всем возможным стенным, столовым и карманным часам.

Свидетели, видимо смущенные, не знали, что с собой сделать; недавно светлое лицо Депре значительно омрачилось, на лбу собрались тучи. Лицо Клары, напротив, с каждой минутой прояснялось и ярко выступало на темном фоне всеобщего замешательства.

— Это непостижимо! — ворчал сквозь зубы бывший нотариус. — Он так влюблен в Клару, так восхищен ее согласием, а между тем просрочил уже больше часа!.. Эти дворянчики считают все позволительным, когда имеют дело с гражданином, — продолжал он с оскорбленной гордостью, — но нет, это невозможно... Вероятно, с ним случилось что-нибудь... нездоровье... дуэль... Бог знает... Однако ж в таком случае можно бы было написать по крайней мере или прислать кого-нибудь, извиниться... а не заставлять невесту зевать на ворон

перед десятком чужих людей, которые от нечего делать не знают, на что смотреть... Десять минут второго! Это просто непостижимо!..

Тут громко зазвенел колокольчик в подъезде.

— Наконец! — вскричал Депре с взрывом возрожденного удовольствия.

— Боже! Который из двух? — взмолилась про себя Клара, почти задыхаясь от волнения и крепче ухватившись за свое кресло.

Время от удара в колокольчик и до входа в залу того, кто позвонил, дало Кларе понятие о тех напряженных состояниях души, когда одна минута кажется тысячелетием.

Дверь отворилась, на глаза Клары упал туман.

Лакей подошел к Депре и сказал несколько слов на ухо.

Депре как будто досадовал и почесал за ухом, что у него означало высокую степень замешательства. Он извинился перед гостями и вышел вслед за лакеем.

Кто опишет изумление Депре, когда он в приемной комнате встретился нос к носу с Генрихом Дальбергом? Он растопырил пальцы, без звука разинул рот, и зрачки глаз окружились белым, — знак остолбенения, если верить Шарлю Леброну и его рисункам выражений.

— Как!.. Вы!.. Вы изволили пожаловать сюда, милостивый государь? Вы, верно, намерены сделать нам какую-нибудь неприличную сцену? — сказал наконец бывший нотариус, придя несколько в себя.

— Вы ошибаетесь насчет моих намерений, — отвечал с величайшей вежливостью Дальберг, — каково бы ни было мое огорчение с тех пор как я совершенно незаслуженно лишился счастья видеть вашу дочь, я слишком уважаю ее, чтобы позволить себе что-нибудь неприличное в отношении к ней. Скорбь о невозможности быть вашим зятем никогда не заставит меня позабыть обязанности порядочного человека, каким я всегда оставался, несмотря на ваши предубеждения против меня. Я не с тем пришел. Потрудитесь прочитать это письмо.

Дальберг подал старику письмо, которое ему прислала Флоранса.

— Хорошо, я после прочту и сообщу вам ответ, — сказал Депре, намереваясь положить письмо в карман.

Генрих сделал отрицательное движение, которым показывал, что желает получить ответ немедленно.

— Вы понимаете, милостивый государь, — продолжал Дебре, подвигаясь к выходу, чтобы проводить молодого человека, — вы понимаете, что после того, что здесь случилось, встреча ваша с Рудольфом была бы крайне неприятна.

— С этой стороны вы можете быть совершенно спокойны, — отвечал Дальберг решительно, — барон Гюбнер не придет, или я очень ошибаюсь.

— Как! Что вы говорите? — вскричал старик. — Рудольф не придет?.. Какие глупости!..

— Я вас уверяю. Прочитайте письмо, которое я имел честь вручить вам, и вы увидите, что я говорю правду.

Дебре дрожащей рукой сломал печать и вынул из конверта две или три бумаги, при беглом просмотре которых несколько раз изменился в лице и отрывисто проговорил про себя:

— Какой ужас!.. Какая низость!.. Кто бы это подумал?.. Вот и верьте после этого людям... Усомниться нет возможности... О!.. Фи! А я подавал руку этому человеку!

И бывший нотариус отер руку о фалды нового черного фрака.

— Все ли вы еще намерены отдать руку вашей дочери барону Гюбнеру? — спросил Генрих, который несколько продвинулся вперед и стоял опять посреди комнаты.

— Я? Никогда!.. Чтобы я отдал дочь за такого мерзавца... За шпиона... лучше за вора отдам!

— И даже за честного, порядочного человека? — сказал Генрих, подталкивая старика в залу, где ждали свидетели.

Дебре, казалось, задумался.

— За человека, который не только не разорился, но вместо двадцати пяти имеет тридцать тысяч верного дохода...

Дума старика как будто углубилась. Он взялся за медную ручку двери.

— Не считая хорошенького дома с садом, восхитительно меблированного и совершенно удобного для молодых супругов...

Дебре посмотрел Дальбергу в глаза. Тот продолжал:

— Вы ожидали жениха, он не идет. Позвольте мне занять его место. Вы видите, я на всякий случай оделся прилично

обстоятельствам.

— Да, правда, белый галстук и белый жилет, — проговорил Дебре, окончательно убежденный, и с шумом отворил дверь.

Генрих в нерешимости остановился на пороге.

— Господа! — громогласно сказал Дебре. — Честь имею представить вам моего зятя Генриха Дальберга... на бракосочетание которого вы приглашены...

— Не правду ли я вам говорила, папенька, что я ни за кого, кроме Дальберга, не выйду? — прошептала Клара отцу на ухо.

Стариково объяснение этой подставки одного зятя вместо другого, хотя и несколько темное, было принято без возражений, потому что Дальберга все любили, а барон Гюбнер нравился очень немногим из друзей бывшего нотариуса.

Нужно ли оскорблять догадливость читателей объяснением, что Флоранса в продолжение своей связи с Торнгеймом узнала о низком ремесле Рудольфа, который служил шпионом против своего отечества тому самому двору, которого Торнгейм был представителем. Письменные доказательства были уже в руках у Дебре.

Рудольф, опасаясь огласки этих страшных свидетельств, бежал за границу.

Под вечер этого счастливого дня Клара получила письмо с надписью «Госпоже Дальберг». Когда она читала, грудь у нее волновалась и на глаза навертывались слезы.

— Добрая Флоранса! — прошептала она и бережно спрятала письмо на груди.

В остальном все шло своим чередом. Дальберг и Клара счастливы, следовательно, мы уже не имеем права заниматься ими.

Скажем только, что через несколько месяцев Дальберг, нечаянно выдвинув какой-то ящичек в комнате жены, чтобы сыскать нечто, положенное в другом месте, нашел письмо, в котором почерк походил на Флорансин. Он прочитал в нем только эту фразу: «Прощай, Клара! Я еду в Америку... Я люблю твоего мужа... Пожалеи обо мне!...»

— Как жаль, что Париж не Константинополь! — подумал Дальберг, подавляя невольный вздох.

ПАВИЛЬОН НА ВОДЕ

В Кантонской провинции в нескольких ли от города, жили рядом два богатых, удалившихся на покой китайца. Не будем говорить о том, когда это происходило: сказки не нуждаются в точной хронологии.

Одного из этих китайцев звали Ту, а другого — Куань. Ту занимал важный научный пост, был «ханьлином» и заседал в Яшмовой палате, Куань же, не занимая никакого поста, нажил большое состояние и пользовался всеобщим уважением.

Ту и Куань были дальними родственниками и сначала очень любили друг друга. В молодости, часто собирая своих товарищей, они проводили долгие осенние вечера в забавах; например, бросали смоченную черной краской кисть в бумажную перегородку, разрисованную цветами, или импровизировали стихи: воспевали в них красоту маргариток, смакуя при этом вино в маленьких чашечках.

Но характеры друзей, вначале мало отличавшиеся друг от друга, со временем превратились в совершенно противоположные. Так раздвоенное миндальное дерево, соединяя внизу одним корнем оба ствола, расходится вверху настолько, что одно из этих деревьев распространяет свой горький аромат в саду, а другое роняет снег своих лепестков за ограду.

С каждым днем Ту становился все важнее, его живот величественно закруглялся, тройной подбородок спускался вниз торжественными этажами. Плодом его музыки являлись теперь лишь нравоучительные двустушия, призванные украшать стены беседок.

Куань же, наоборот, с годами делался все жизнерадостнее, еще веселее воспевал вино, цветы и ласточек. Его ум, не занятый насущными заботами, был гибок и резв, как ум юноши, и он по-прежнему легко подбирал рифмы.

Мало-помалу вражда между прежними друзьями так обострилась, что они не могли разговаривать без уколов по адресу друг друга и стали похожи на два терновых куста, усеянных шипами и колючками. Наконец, они приказали вывесить на фасадах своих домов дощечки с формальным запрещением обитателям соседнего дома под каким бы то ни было предлогом переступить порог.

Каждый из них с охотой перенес бы свой дом на другое место, если бы это было возможно. Ту сгоряча даже хотел продать свой дом, затруднялся только назначить за него цену. Но ведь нелегко покинуть лепные потолки, полированные столы, прозрачные окна, золоченые решетки, бамбуковые стулья, фарфоровые вазы, кабинеты из красного или черного лака, свитки древних поэтов, на размещение которых пошло так много труда. Ведь трудно уступить другому сад, в котором вы собственными руками насадили ивы, персиковые и грушевые деревья и где каждую весну любовались расцветом прелестного майского цветка. Подобные вещи привязывают человеческое сердце нитью тоньше шелковинки, порвать которую, однако, труднее, чем железную цепь.

Ту и Куань еще во времена своей дружбы приказали выстроить по павильону на берегу пруда, составлявшего собственность обоих имений.

С высоты их балконов друзья любили посылать друг другу сердечные приветствия или курить опиум, зажженный в фарфоровом грибе, обмениваясь доброжелательными затяжками. После же ссоры приказали выстроить стену, разделившую пруд на две равные части. Пруд был достаточно глубок, и потому стену укрепили на сваях, которые образовывали нечто вроде низких аркад. В пролеты арок виднелось пространство вод с отражением противоположного павильона.

Эти павильоны были выстроены в три этажа с выступающей террасой. Высокие крыши заострялись на углах наподобие носа деревянного башмака и были покрыты круглой и блестящей черепицей, похожей на чешую, которая покрывает живот карпа. Каждый край крыши был украшен резьбой в виде листвы и драконов. Столбы красного лака соединялись фризом такой нежной ажурной работы, какую можно встретить лишь на пластинках веера из слоновой кости. Эти столбы поддерживали изящную кровлю и опирались, в свою очередь, на низкую стенку, обложенную фарфоровыми изразцами, расположенными в красивой симметрии, и окаймленную балюстрадой прихотливого рисунка. Она же образовала перед зданием открытую галерею.

Это расположение повторялось в каждом этаже, но с некоторыми вариантами: здесь фарфоровые изразцы были заменены барельефами,

изображающими различные сцены из сельской жизни. Оригинальное сплетение уродливых ветвей образовало балкон: косяки, раскрашенные в яркие цвета, служили пьедесталами бородавчатым химерам и фантастическим чудовищам, порождению изощренной фантазии. Обточенный золоченый карниз был снабжен бамбуковой балюстрадой с одинаковыми коленами с металлическими шарами на каждом стыке. Внутренность павильонов была не менее изысканна: на лаковых стенах были красиво написаны золотыми буквами стихи Ту-чи и Ли-тай-пе. Листья деревьев пропускали сквозь окна молочно-опаловый свет. Искусно расставленные на выступах горшки с пионами, ятрышником, китайской примулой, эритриной с белыми цветами радовали взор своими нежными оттенками. В углах комнат лежали подушки из великолепного шелка с разводами, а на отполированных, как зеркало, столах, всегда находились зубочистки, веера, трубки черного дерева, гладкие куски порфира, кисти и все, что нужно для письма.

На берегу этим красивым постройкам служили опорой искусственные скалы, из расщелин которых росли ивы и орешники, а со стороны воды их поддерживали крепкие деревянные сваи. Ива красиво склоняла к воде свои золотистые ветви с шелковистыми пучками листвы, а блестящие краски павильонов сияли в пестрой рамке деревьев.

В глубине кристальных вод резвились стаи голубых рыбок с отливавшей золотом чешуей; целые флотилии хорошеньких уток с изумрудными шеями плавали по всем направлениям, а широкие листья речных лилий лениво покачивались под алмазной поверхностью этого небольшого пруда, питаемого резвыми ключами. Весь пруд был затянута водяными растениями точно бархатом прелестного зеленого цвета, только в середине его мелкий серебристый песок на дне и бьющий оттуда ключ не позволял водорослям пустить корни.

Если бы не эта воздвигнутая враждой безобразная стена, во всей Срединной Империи, которая, как известно, занимает более трех четвертей мира, не было бы более восхитительного и живописного сада. Раньше каждый из соседей увеличивал красоту своего имения видом имения другого, ибо здесь, на земле, люди владеют лишь видимостью вещей.

Лучшего места для отдохновения и созерцания не мог себе пожелать ни один мудрец.

Ту и Куань вследствие ссоры лишились возможности любоваться очаровательными павильонами друг друга и видели взамен лишь стену; им оставалось только утешаться мыслью, что каждый из них насолил врагу.

Уже несколько лет длился раздор, тропинки, ведущие из одного дома в другой, заросли крапивой и сорными травами. И, будто зная о раздоре двух прежних друзей, ветки колючих кустарников крепко переплелись между собой.

В это время жены Ту и Куаня подарили своим мужьям по ребенку. Госпожа Ту сделалась матерью прелестной девочки, а госпожа Куань — самого хорошенького в мире мальчика. Эти события, радостно встреченные в обеих семьях, остались, однако, неизвестными у соседей, потому что со времени ссоры бывшие друзья не интересовались друг другом; общие знакомые избегали упоминать при них о соседнем доме, а слугам обоих домов было запрещено разговаривать под страхом кнута и «канга».^[40]

Мальчика называли Чин-Синг, то есть жемчуг, а девочку Жу-Киуань, что значит яшма. Их совершенная красота оправдывала выбор этих имен.

Когда дети подросли, то их внимание было привлечено перерезавшей пруд стеной, и они спрашивали у родителей, что находится за этой оградой и кому принадлежат виднеющиеся из-за нее деревья.

Им отвечали, что за ней находится жилище странных, угрюмых и необщительных людей и что эта ограда и поставлена для того, чтобы оградить себя от таких неприятных соседей.

Этого объяснения было достаточно детям, они привыкли к стене и не обращали на нее внимания.

Жу-Киуань была всеми любима и быстро совершенствовалась в женских работах, несравненно владела иглой.

Бабочки, вышитые ею на атласе, казалось, жили и трепетали крылышками, можно было поклясться, что ее птицы пели на канве, а цветы на ее вышивании манили, чтобы их понюхали. Но таланты Жу-Киуань этим не ограничивались, она знала наизусть книгу Од и пять правил поведения. Ничья рука смелее не бросала на шелковую бумагу

более четких букв. Ее рука сыпала со своей кисти черный дождь букв быстрее полета драконов. Она знала все формы поэзии: Замедленную и Ускоренную, Возвышенную и Сдержанную, и сочиняла произведения на сюжеты, которые невольно привлекают внимание молодых девушек: на прилет ласточек, на весенние ивы, на цветы и тому подобные предметы. Не каждый ученый, считающий себя достойным оседлать золотого коня, импровизировал с такой легкостью.

Чин-Синг также преуспевал в своих занятиях, его имя стояло на первом месте в экзаменационных листах. Несмотря на свою молодость, он мог уже надеть черную шапку, и матери молодых девушек начинали смотреть на него как на желанного зятя, который скоро достигнет важного ученого положения. Но Чин-Синг весело отвечал посредникам, что он еще молод и желает пользоваться своей свободой. Он последовательно отказался от Хон-Джиу, Ло-Мен-Ли, Пе-фо и других знаменитых особ. Никто из молодых людей, исключая красавца Фан-Гана, экипаж которого дамы наполняли апельсинами и сладостями во время его возвращения со стрельбы из лука, не был так избалован и не получал так много лестных предложений. Однако его сердце казалось неспособным к любви, и это было тем более странно, что по тысяче мелочей можно было заключить, что душа его очень нежна. Казалось, что он носил в душе образ, любимый им в прошлой жизни, который он надеялся и теперь найти.

Сколько ему ни расхваливали брови, подобные ивовому листу, крошечные ножки или стрекозину талию какой-нибудь красавицы, он слушал все это рассеянно, думая о чем-то другом.

Со своей стороны, Жу-Киуань была тоже очень разборчива и выпроваживала всех претендентов на ее руку. Никто не мог ей угодить: один неуклюже кланялся, другой был небрежен в одежде, у третьего был тяжелый вульгарный почерк, четвертый не знал книги стихов или сбивался на рифмах — словом, все имели какой-нибудь недостаток. При этом Жу-Киуань так тонко и похоже их высмеивала, что заражала этим и своих родителей, которые самым вежливым образом выставляли из дома бедного воздыхателя, надеявшегося уже перешагнуть порог павильона.

Однако в конце концов эта капризная разборчивость детей начала беспокоить родителей. Госпожа Ту и госпожа Куань день и ночь

думали об этом. И однажды им обоим приснился странный сон. Госпожа Куань увидела во сне своего сына Чин-Синга; на его груди сверкала подобно карбункулу великолепная яшма, а госпоже Ту приснилось, что на шею ее дочери надет великолепный бесценный жемчуг. Что значили эти сны? Не предсказывал ли сон госпожи Куань, что Чин-Синг будет зачислен в Императорскую Академию, а сон госпожи Ту, что Жу-Киуань найдет клад в саду или под кирпичами очага? В этом не было ничего невероятного, но дамы не удовлетворялись таким толкованием, а увидали в этих снах намек на блестящие партии, которые скоро должны заключить каждый из их детей. А Чин-Синг и Жу-Киуань все продолжали упорно отказываться от брака.

Куань и Ту удивлялись упрямству своих детей, тем более что брак обычно не представляет собой ничего неприятного для молодежи, и решили, что молодые люди имеют уже кого-нибудь на примете. Но Чин-Синг не оказывал предпочтения ни одной девушке, и ни один юноша не прогуливался вдоль решетки сада Жу-Киуань. Достаточно было нескольких дней наблюдения, чтобы убедить в этом подозрительных родителей. Это обстоятельство не разубедило матерей, они более чем когда-либо верили в пророческое значение своих снов, и обе отправились посоветоваться с бонзой храма Фо. Этот храм был великолепным зданием с резными крышами, круглыми окнами, с башней, сверкающей лаком и золотом. Он был украшен дощечками с обетами, высокими мачтами с развевающимися на них шелковыми флагами, на которых были изображены химеры и драконы. Вокруг храма росли тысячеletние деревья чудовищной толщины.

Бонза сжег перед идолом золотую бумагу и благовония и затем ответил госпоже Ту, что нужно соединить яшму с жемчугом, а госпоже Куань ту же фразу сказал наоборот и прибавил, что все затруднения окончатся после того, как это произойдет. Несколько разочарованные этим ответом, обе женщины возвратились домой разными дорогами, не выдав друг друга, и их недоумение еще более увеличилось.

Однажды Жу-Киуань облокотилась на балюстраду балкона именно в тот час, когда Чин-Синг сделал то же самое.

Стояла великолепная погода, небо было безоблачным, и в окружающей тишине не дрожал даже лист осины, не морщилась зеркальная поверхность пруда, и лишь изредка появлялся на ней и

быстро расходился круг, оставленный всплеском разыгравшейся рыбки. Деревья, росшие на берегу, так ясно отражались в воде, что трудно было различить, где действительность и где отражение. Глядя в воду, можно было подумать, что один сад рос как всегда верхушками кверху, а другой, соединяясь с ним корнями, — верхушками вниз, и казалось, что рыбы плавали между листвой деревьев, а птицы летали в воде. Жу-Киуань любовалась этой фантастической картиной, когда вдруг заметила отражение противоположного павильона, виднеющегося сквозь арку.

Она никогда не замечала раньше этого оптического явления и очень им заинтересовалась. Она различала красные столбы, резные фризy, горшки маргариток, золоченые флюгера, и если бы буквы в воде не были перевернуты, она бы прочла изречения, написанные на дощечках. Но больше всего ее удивило склоненное над перилами лицо, до такой степени похожее на нее, что она приняла бы его за собственное отражение, если бы оно не исходило с противоположного берега. Это был Чин-Синг; он снял от жары свою шапку, а потому его безбородое юношеское лицо с нежными чертами, ровным цветом лица и блестящими глазами стало похоже на девичье. Впрочем, Жу-Киуань быстро поняла сердцем, что это юноша.

До сих пор она была уверена, что земля еще не создала другого подобного ей существа, и часто мечтала иметь одного из коней Ферганы, пробегающих тысячу миль в день, чтобы помчаться на нем в сказочные страны на поиски милого. «Никогда не придется мне принести на алтарь предков чечевицы и шильника, и я одинокой лягу под сень вязов и тутовых деревьев», — грустно думала молодая девушка.

Но увидав теперь это изображение в воде, Жи-Киуань поняла, что у ее красоты была сестра или, вернее, брат; это открытие не только не рассердило, но даже обрадовало ее; она почувствовала, что любовь вошла в ее сердце и связала его навеки. Для этого ей было достаточно обменяться с юношей взглядом, отраженным в воде. Но следует ли осудить Жу-Киуань за легкомыслие? Ведь часто случается, что, долго изучая характер человека, мы видим лишь его наружность. И разве не свойственно молодой девушке судить о душе ее будущего мужа по блеску зубов и форме ногтей?

Чин-Синг тоже увидел красавицу. — Не сон ли это наяву? — воскликнул он. Очаровательное лицо, сиявшее ему из хрусталя воды, казалось рожденным в весеннюю ночь серебристым светом луны и ароматами цветов. — Я узнаю ее, это ее образ запечатлен в моем сердце, ей я посвящал мои стихи! — воскликнул в восторге Чин-Синг и в это время услышал голос отца.

— Сын мой, тебе предлагают великолепную во всех смыслах партию. В жилах девушки, о которой идет речь, течет царская кровь, она славится красотой и обладает всеми качествами, чтобы сделать счастливым своего будущего супруга.

Но Чин-Синг под впечатлением пережитого приключения и внезапно охваченный любовью к незнакомой девушке наотрез отказался от предлагаемой партии. Рассерженный отец разразился бранью и угрозами.

— Негодяй, — кричал он, — если ты будешь упрямиться, я попрошу судью посадить тебя в эту крепость, куда сажают европейских варваров, и откуда ничего не видно, кроме гор с вечно-облачными вершинами да неприветливого моря с бороздящими его поверхность чудовищами, которые ходят по ней на колесах, испуская зловонный дым. Это истинные изобретения дьявола! Там у тебя будет время одуматься и исправиться!

Но угрозы не испугали Чин-Синга, он ответил, что готов жениться на ком угодно, но только не на предлагаемой невесте.

Назавтра он в тот же час явился в павильон на воде и перегнулся через балюстраду. Через несколько минут он снова увидел отражение Жу-Киуань, которое походило на букет цветов, погруженный в воду.

Молодой человек прижал руку к сердцу и, прикоснувшись губами к концам пальцев, послал поцелуй отражению девушки жестом, полным страсти и грации.

Радостная улыбка, как бутон граната, расцвела в зеркале пруда и доказала Чин-Сингу, что он тоже понравился незнакомке, но так как трудно разговаривать с отражением человека, не видя его, юноша сделал знак, что идет писать, и вошел в павильон.

Через несколько минут он снова появился на балконе, неся в руке листок серебристой раскрашенной бумаги, на котором было написано объяснение в любви в семисложных стихах собственного сочинения.

Он свернул листок, спрятал его в чашечку цветка и, обернув его широким листом кувшинки, положил осторожно на воду.

Как нельзя более кстати, поднявшийся легкий ветерок погнал это послание в пролет стены, и через несколько мгновений Жу-Киуань уже вынимала его из воды. Боясь, чтобы ее не застали врасплох, она убежала в самую дальнюю комнату павильона и там с радостью прочла объяснение в любви юноши. Она заметила, что метафоры, которые употребил Чинг-Синг, доказывают его высокое образование. Ей понравились его почерк, подбор слов, точность рифм и блеск образов, но что бесконечно удивило ее, то это имя Чин-Синг. Она так часто слышала от матери о ее сне, где упоминался жемчуг, что сразу поняла, что Чинг-Синг и есть назначенный ей небом супруг.

На другой день ветер переменился, и Жу-Киуань могла послать свой ответ тем же способом. В этом письме, написанном в стихах, сквозь скромность, свойственную молодой девушке, сквозило ответное чувство.

Читая подпись, Чин-Синг не мог удержаться от восклицания: — Яшма, да ведь это тот камень, который видела во сне моя мать. Он, как карбункул, блестел на моей груди. Я должен познакомиться с этой семьей, так как эта девушка предназначена мне ночными духами.

Но, выходя из дома, он вспомнил о вражде обоих домов, и не зная, что предпринять, решил посоветоваться с матерью и рассказал ей историю своего знакомства с девушкой. Жу-Киуань, в свою очередь, сообщила все госпоже Ту. Обе матери, взволнованные совпадением имен, снова отправились к бонзе.

На этот раз бонза ответил, что таково действительно значение сна и что презреть это указание значит навлечь на себя гнев богов. Тронутый настоянием обеих матерей, а также и их подарками, бонза согласился уговорить Ту и Куаня. Он выполнил это поручение так ловко, что враги не могли отказаться от своих слов, узнав имена жениха и невесты.

Увидавшись после долгой разлуки, бывшие друзья удивились своему ослеплению и только теперь поняли, как они нуждались друг в друге.

Сыграли свадьбу, и Жемчуг с Яшмой смогли, наконец, разговаривать друг с другом напрямую.

Стали ли они от этого счастливее, мы не знаем, потому что счастье нередко только тень на воде.

МИЛИТОНА

В благороднейшем и достославнейшем граде Мадриде, в понедельник *día de toros*,^[41] как говорят испанцы, июня 184... года, к дому на улице Сан-Бернардо подошел привлекательный на вид молодой человек, находившийся по всем признакам в довольно скверном расположении духа.

Из окна этого дома вырывались нестройные звуки фортепьяно, что явно усилило недовольство молодого человека; он остановился перед дверью, как бы раздумывая, входить ему или нет, но, поборов неприязненное чувство, принял наконец мужественное решение и взялся за дверной молоток, в ответ на грохот которого на лестнице послышались тяжелые, неуклюжие шаги лакея-галисийца, спешившего отворить гостю.

Можно было подумать, что какое-нибудь досадное дело — необходимость обратиться к ростовщику, уплатить долг или выслушать нравоучение из уст престарелого ворчуна-родственника — омрачало веселое от природы лицо дона Андреса де Сальседо.

Ничуть не бывало.

Дон Андрес де Сальседо, не имея долгов, не занимал денег, а поскольку все его родственники умерли, он не ждал наследства и не опасался увещеваний со стороны сварливой тетки или своенравного дяди.

Следует все же сказать, — хотя истина отнюдь не свидетельствует об учтивости дона Андреса, — что он попросту шел с ежедневным визитом к донье Фелисиане Васкез де лос Риос.

Донья Фелисиана Васкез де лос Риос была девушка из хорошей семьи, довольно миловидная и достаточно богатая, с которой дон Андрес должен был вскоре сочетаться брачными узами.

Конечно, в этом свидании не было ничего такого, что могло бы омрачить чело двадцатичетырехлетнего молодого человека, и перспектива провести час или два в обществе *novia*,^[42] «которой едва минуло шестнадцать весен», казалось, не могла бы испугать его.

Дурное расположение духа отнюдь не исключает желания нравиться, вот почему Андрес, успевший бросить сигару еще на улице,

тщательно стряхнул, поднимаясь по лестнице, белый пепел с отворотов фрака, пригладил волосы и закрутил усы; он подавил также свое недовольство, и самая любезная улыбка заиграла, словно по заказу, на его губах.

«Только бы ей не пришло в голову, — подумал он, переступая порог дома, — репетировать со мной этот мерзкий дуэт Беллини — ему просто нет конца, да еще приходится петь его раз двадцать подряд. Я опоздаю к началу корриды и не увижу ужимок альгвазила, когда откроют ворота загона для быков».

Вот что беспокоило доня Андреса, и, надо сказать, его опасения были более чем основательны.

Фелисиана сидела на табурете, слегка наклонясь вперед, и разбирала злосчастную партитуру, открытую на самом предательском месте; растопылив пальцы и отставив согнутые в локтях руки, девушка с силою ударяла по клавишам и повторяла один и тот же трудный пассаж с упорством, достойным лучшего применения.

Она была так поглощена этим занятием, что не заметила доня Андреса, о котором горничная не доложила, так как он был свой человек в доме и жених молодой хозяйки.

Соломенная манильская циновка, покрывавшая плиточный пол, заглушала шаги Андреса, и он дошел до середины комнаты, не обратив на себя внимание доньи Фелисианы.

Пока донья Фелисиана терзает свой инструмент, а дон Андрес стоит позади нее, не зная, что ему делать, — откровенно ли прервать это шумное уединение, или возвестить о своем присутствии легким покашливанием, было бы, пожалуй, уместно бросить взгляд на помещение, где происходит описываемая нами сцена.

Стены комнаты покрыты блеклой клеевой краской; исполненные гризайлью лепные украшения и наличники обрамляют окна и двери; несколько гравюр меццо-тинто, выписанных из Парижа: «Воспоминания и сожаления», «Маленькие браконьеры», «Дон Хуан и Гайде», «Мина и Бренда» — развешаны на зеленых шелковых шнурах в строгом соответствии с законами симметрии. Диванчики, набитые конским волосом, стулья со спинкой в виде лиры, комод и стол красного дерева, украшенные головами сфинксов — память о покорении Египта, — два канделябра под стеклянными колпаками, а между ними настольные часы, изображающие Эсмеральду, которая

учит козочку писать имя Феба, — таковы вещи, дополняющие эту изысканную обстановку.

Оконные занавески из швейцарского муслина с претенциозными разводами и всевозможными медными побрякушками воспроизводят с прискорбной точностью образцы, помещаемые в парижских модных журналах и литографированных изданиях.

Следует отметить, что эти занавески возбуждали всеобщее восхищение и зависть.

Несправедливо было бы умолчать о множестве стеклянных собачек, о современных фарфоровых статуэтках, о филигранных корзиночках с эмалевыми цветами, алебастровых пресс-папье и раскрашенных бельгийских шкатулках — все эти блестящие безделушки загромождают этажерки комнаты, свидетельствуя о страстной любви Фелисианы к искусствам.

Фелисиана Васкез, воспитанная на французский манер, ставила превыше всего «последнюю» моду; недаром по ее настоянию вся старинная мебель была отправлена на чердак, к великому сожалению дона Херонимо Васкеза, отца девушки, человека разумного, но слабовольного.

Десятисвечные люстры, лампы с четырьмя рожками, кожаные кресла, дамасские драпировки, персидские ковры, китайские ширмы, часы на подставках, мебель, обитая красным бархатом, письменные столы с инкрустацией, темноватые полотна Орренте и Менендеса, огромные кровати, массивные столы, четырехстворчатые буфеты, шкафы с двенадцатью выдвижными ящиками, огромные вазы для цветов — вся эта испанская старина уступила место третьеразрядной современной роскоши, от которой отказалась бы любая английская горничная, хотя эта роскошь и приводит в восторг простодушных людей, идущих в ногу с цивилизацией.

Донья Фелисиана была одета по моде не более, чем двухлетней давности. В ее туалете мы не нашли бы, конечно, ничего испанского; поистине она питала глубокое отвращение ко всему красочному, характерному, — свойство, отличающее светскую женщину. На ней было платье неопределенного цвета с крошечными, почти невидимыми букетиками; эта материя, вывезенная из Англии, была тайком переправлена в Испанию отважными гибралтарскими контрабандистами; наиболее престарелая и несговорчивая буржуазка

не выбрала бы иной ткани для своей дочери. Пелерина, обшитая валансьенскими кружевами, целомудренно прикрывала скромные девичьи прелести, которые можно было бы узреть в вырезе корсажа, сшитого по модной картинке. Узкий полусапожок обтягивал ее маленькую ножку с высоким подъемом, подтверждавшую своим изяществом, что в жилах доньи Фелисианы все же течет испанская кровь.

Впрочем, это была единственная национальная черта Фелисианы, походившей скорее на немку или на француженку — уроженку северных провинций; ее голубые глаза, белокурые волосы и розовое до корней волос лицо несколько не соответствовали общепринятому представлению об испанке, привитому нам романсами и гравюрами. Она не носила мантильи и не прятала стилета за подвязкой. Ей были незнакомы фанданго и качуча, зато она превосходно танцевала контрданс, ригодон и английский вальс; она никогда не бывала на корриде, находя это развлечение «варварским», но неизменно присутствовала на всех премьерах водевилей Скриба в театре дель Принсипе и на концертах итальянских певцов в театре дель Сирко. По вечерам она каталась в коляске по Прадо, надев шляпку, выписанную прямо из Парижа.

Как видите, донья Фелисиана Васкез де лос Риос была во всех отношениях вполне благовоспитанная молодая особа.

Это и старался внушить себе дон Андрес; только он не смел довести свою мысль до конца и признаться даже в глубине души: да, весьма благовоспитанная, но и весьма скучная!

Невольно встает вопрос, почему дон Андрес ухаживал с серьезными намерениями за девушкой, которая не слишком ему нравилась? Неужели из корысти? Нет, приданое Фелисианы, хотя и довольно большое, не могло соблазнить Андреса де Сальседо, обладавшего не менее значительным состоянием. Этот брак был улажен родителями обоих молодых людей, и те безропотно подчинились воле старших; богатство, происхождение, возраст, семейные связи, дружба с детских лет — все сближало жениха и невесту. Андрес привык смотреть на Фелисиану, как на свою жену. Недаром ему казалось, что, приходя к ней, он возвращается домой; а о чем думает муж дома, как не о том, чтобы бежать прочь? И все же он находил у доньи Фелисианы все качества, необходимые для невесты:

она была хорошенькая, стройная, белокурая, говорила по-французски, по-английски и превосходно умела заваривать чай. Правда, дон Андрес терпеть не мог этого ужасного питья. Она танцевала, играла на фортепьяно (увы!) и довольно мило рисовала акварелью. Несомненно, самый разборчивый мужчина не мог бы требовать большего от своей суженой.

— А, это вы, Андрес, — проговорила, не оборачиваясь, Фелисиана, которая узнала жениха по скрипу его ботинок.

Читатель не должен удивляться, что такая воспитанная барышня называет молодого человека по имени: это принято в Испании среди хорошо знакомых людей и не носит того интимного, двусмысленного характера, как у нас, во Франции.

— Вы пришли очень кстати; я как раз разучивала дуэт, который мы должны спеть сегодня вечером у маркизы де Бенавидес.

— Я как будто немного простужен, — возразил Андрес.

И в подтверждение своих слов он кашлянул, но так неубедительно, что Фелисиана, нисколько не тронутая его отговоркой, заметила без всякой жалости:

— Это пустяки. Давайте споем еще раз наш дуэт для большей уверенности в успехе. Не будете ли вы так любезны сесть за фортепьяно и проаккомпанировать вместо меня?

Бедный Андрес бросил грустный взгляд на часы: их стрелки уже показывали четыре; он подавил вздох и с отчаянием в сердце положил руки на клавиши.

Как только дуэт был более или менее благополучно окончен, Андрес снова украдкой посмотрел на часы, где Эсмеральда продолжала обучать свою козочку, но этот взгляд был перехвачен Фелисианой.

— Мне кажется, вы куда-то торопитесь, — проговорила девушка, — вы не спускаете глаз с циферблата.

— Я смотрю на него просто так, машинально... Что мне до времени, когда я нахожусь подле вас?..

И он учтиво склонился над рукой Фелисианы, чтобы запечатлеть на ней почтительный поцелуй.

— В остальные дни недели вам нет дела до часовой стрелки, согласна, но в понедельник — дело другое...

— Но почему же, душа моя? Ведь время всегда течет быстро, а быстрее всего, когда имеешь счастье музицировать с вами.

— Понедельник — день корриды, дорогой дон Андрес! Не пытайтесь отрицать, что в эту минуту вам было бы приятнее находиться у ворот Алькала, а не здесь, за фортепьяно. Неужели ваша страсть к этому отвратительному зрелищу неизлечима? Поверьте, когда мы поженимся, я сумею внушить вам более тонкие, более возвышенные чувства.

— Я не собирался туда... но готов признаться, если вы не против... я был вчера на берегу канала и видел между прочим гавирийских быков... что за великолепные животные! Огромный подгрудок, мускулистые, стройные ноги, рога полумесяцем! И такие дикие, такие свирепые, что они чуть не убили одного из двух быков, служивших жожаками. Какие превосходные удары предстоит увидеть сегодня, если у матадора мужественное сердце и сильная рука! — опрометчиво воскликнул Андрес, увлеченный своей любовью к корриде.

Во время этой тирады лицо Фелисианы приняло крайне пренебрежительное выражение.

— Вы навеки останетесь лишь лощеным варваром, — сказала она дону Андресу, — и доведете меня до головной боли вашими историями о кровавых поединках и вспоротых животах... И вы говорите обо всех этих ужасах с таким восторгом, словно речь идет о чем-то поистине прекрасном.

Несчастный Андрес опустил голову: он читал, как и многие испанцы, глупые филантропические разглагольствования людей с трусливой, тряпичной душой, восстающих против корриды, благороднейшего зрелища, какое когда-либо созерцал человек; и он почувствовал себя отчасти римлянином времен упадка, отчасти скотобойцем, отчасти гладиатором и даже людоедом; и, кроме того, он охотно отдал бы все серебро из своего кошелька тому, кто ему помог бы с честью совершить отступление и не опоздать на открытие корриды.

— Поверьте, дорогой Андрес, — проговорила Фелисиана с иронической улыбкой, — у меня нет намерения соперничать с этими ужасными гавирийскими быками и лишать вас такого большого удовольствия: ваше тело здесь, но душа в цирке. Ступайте, я

милосердна и возвращаю вам свободу, но с условием, что вы придете пораньше к маркизе де Бенавидес.

С чуткостью, свидетельствующей о сердечной доброте, Андрес не сразу воспользовался дарованным разрешением, он задержался еще на несколько минут и медленно вышел, словно замороженный прелестью беседы.

Он дошел размеренным шагом до угла улицы Сан-Бернардо и свернул на улицу Де-ла-Луна; и тут, уверенный, что его нельзя видеть с балкона доньи Фелисианы, он удвоил шаг и вскоре очутился на улице Десенганьо.

Чужестранец заметил бы не без удивления, что все пешеходы шли в одном направлении и никто навстречу. Такая странность уличного движения наблюдается в Мадриде по понедельникам между четырьмя и пятью часами пополудни.

Не прошло и несколько минут, как Андрес был уже у фонтана на перекрестке трех улиц — Сан-Луис, Фуенкараль и Орталеса.

Он приближался к цели.

Миновав улицу Кабальеро-де-Грасия, молодой человек вышел на великолепный проспект Алькала, который ведет к городским воротам, ширясь, как река при впадении в море, словно он успел вобрать по пути все мелкие переулки-притоки.

Несмотря на свою ширину, этот прекрасный мадридский проспект (ему вполне могли бы позавидовать Париж и Лондон), окаймленный двумя рядами ослепительно-белых зданий с лазурным просветом в конце, был переполнен в этот час пестрой, оживленной толпой, которая становилась все гуще, все плотнее.

Пешеходы, всадники, экипажи встречались, сталкивались, останавливались среди облаков пыли, веселых восклицаний и бранных слов; возницы отчаянно ругались, палки глухо стучали по спинам норовистых кляч, бубенцы, гроздьями висевшие на шеях мулов, громко звенели; два слова, весьма часто встречающиеся в испанской речи, перелетали от одной группы к другой, как воланы, посылаемые ракетками.

В этом человеческом океане изредка появлялись похожие на кашалотов кареты времен Филиппа IV со стершейся позолотой и поблекшими красками, запряженные четверкой допотопных лошадей; двухместные берлины, поражавшие изысканностью во времена

Мануэля Годоя, еле тащились теперь на своих изношенных рессорах, более жалкие, обветшалые, чем парижские «кукушки», вытесненные конкуренцией железных дорог. Как бы олицетворяя собой новейшую эпоху, толпу рассекали омнибусы с упряжкой из шести — восьми мулов, скакавших во весь опор под градом сыпавшихся на них ударов, а прохожие в смятении искали убежища возле подстриженных приземистых деревьев, которыми обсажен проспект Алькала от Сибельского фонтана до Триумфальной арки, возведенный в честь Карла III.

Никогда, с самого начала почтового сообщения, почтовые кареты стоимостью по пяти франков за прогон не достигали умопомрачительной скорости мадридских омнибусов, оно и понятно: омнибусы ходят лишь два часа в неделю, до и после корриды, а необходимость совершать по несколько переездов за такой короткий срок заставляет выколачивать из мулов все, на что они способны, и, надо сказать, это не идет вразрез с наклонностями возниц.

Андрес шел бодрым упругим шагом, свойственным испанцам, лучшим ходакам в мире, весело позвякивая в кармане несколькими дуру и мелкими монетками, среди которых находился и его билет в *sombra por la tarde* — в тени барьера, так как он предпочитал сидеть не в удобных ложах, а внизу, опершись на канаты, ограждающие арену на тот случай, если быку вздумается прыгнуть к зрителям. Правда, молодой человек рисковал оказаться бок о бок с крестьянином в пестрой куртке или рядом с каким-нибудь маноло, который будет пыхтеть ему в лицо своей сигаретой, зато отсюда он отлично видел все перипетии боя и мог оценить по достоинству силу и ловкость ударов.

Несмотря на близкую свадьбу, дон Андрес не лишал себя удовольствия любоваться хорошенькими личиками, более или менее скрытыми мантильями из кружев, бархата или тафты. Если какая-нибудь красавица проходила, прикрыв щечку веером на манер зонта, чтобы предохранить от жгучих поцелуев солнца нежную белизну кожи, он ускорял шаг и, обернувшись, словно невзначай, без помехи рассматривал незримые до тех пор черты.

В этот день дон Андрес производил свой обычный смотр с еще большей тщательностью, чем всегда; он не пропускал ни одного смазливового личика, не бросив на него испытующего взгляда. Можно было подумать, что он разыскивает кого-то в толпе.

Говоря по совести, жениху не подобало бы замечать других женщин, кроме его невесты; но такая щепетильная верность встречается разве только в романах, и, хотя дон Андрес не был сродни ни дону Хуану Тенорио, ни дону Хуану де Маранья, его влекло в цирк не только желание насладиться искусными ударами Лука Бланко и племянника Монтеса.

В прошлый понедельник он заметил среди зрителей, сидевших на скамьях под навесом, девушку редкой красоты, выражение лица которой поразило его. Черты прекрасной незнакомки запечатлелись в его памяти с необычайной ясностью, хотя он и недолго любовался ими. Эта случайная встреча не должна была бы оставить след более глубокий, чем мимоходом увиденная картина, поскольку Андрес и юная манолла (она принадлежала, по-видимому, к этому слою общества) не обменялись ни единым словом, ни единым знаком, так как сидели в разных рядах. Да и Андрес не имел никаких оснований полагать, что девушка обратила на него внимание, заметила его восхищение. Глаза ее были прикованы к арене и ни разу не отрывались от зрелища, которое, по-видимому, всецело поглощало ее.

Этот эпизод надлежало бы выкинуть из головы за порогом цирка. Однако образ девушки вставал перед мысленным взором Андреса гораздо живее и настойчивее, чем он мог ожидать.

По вечерам, вероятно, сам того не сознавая, Андрес не ограничивал своей прогулки Салоном Прадо, где на поставленных рядами стульях восседает высшее мадридское общество, а, миновав Алькачовский фонтан, углублялся в тенистые аллеи, посещаемые маноллами с площади Лавапиес. Он невольно нарушал свои светские привычки в тайной надежде отыскать прелестную незнакомку.

Кроме того, Андрес заметил, — а это уже было знаменательно, — что белокурые волосы Фелисианы принимают против света рискованный оттенок, исправить который едва помогает косметика, — никогда до сих пор он не обращал на это внимание, — и что ее глаза с белесыми ресницами не выражают ничего, кроме сдержанной скуки, как оно и приличествует благовоспитанной молодой особе, и он невольно зевал при мысли о наслаждениях, уготованных ему Гименеем.

В ту самую минуту, когда Андрес проходил под одной из трех арок ворот Алькала, мимо него проехала двуколка, рассекая толпу

среди проклятий и улюлюканья, — именно так встречает испанский народ все, что мешает его увеселениям и, по его мнению, наносит ущерб суверенным правам пешехода.

Эта двуколка радовала глаз своим поистине диковинным видом; ее кузов, поддерживаемый двумя огромными ярко-красными колесами, пестрел всевозможными анакреонтическими изображениями: все эти амур, лиры, тамбурины, волынки, сердца, пронзенные стрелами, целующиеся голубки были, видимо, нарисованы в давние времена скорее смелым, нежели умелым живописцем.

Выстриженный до половины мул потряхивал головой с султаном, вызывая этим движением перезвон бубенцов и колокольчиков. Шорник, смастеривший его упряжь, обладал, по-видимому, недюжинной фантазией и не поскупился на позументы, помпоны, кисточки и разноцветные ленты. Если бы не длинные уши, торчавшие из этого пышного убора, голову мула можно было бы принять издали за движущийся букет.

Возница, человек свирепого вида в рубашке и мерлушковой куртке, наброшенной на плечо, сидел на оглобле и колотил кнутовищем по костлявому крупу мула, а тот, припадая под ударами на задние ноги, рвался затем вперед с еще большим неистовством.

Двуколка, мчащаяся в понедельник к воротам Алькала, — явление довольно обычное, которое не могло бы привлечь наших взоров и заслужить особого упоминания, но ежели эта двуколка удостоена такой чести, то лишь потому, что она вызвала на лице дон-Андреса, заметившего ее, удивленную, радостную улыбку.

Редко можно видеть, чтобы экипаж ехал порожняком на площадь Быков, и действительно в двуколке находились две особы.

Одна из них, приземистая, тучная старуха, была одета по-старинному в черное, несколько короткое платье, из-под которого выглядывал край желтой шерстяной нижней юбки, какие носят кастильские крестьянки; эта почтенная особа принадлежала к тому разряду женщин, которых зовут в Испании тиа Пелона, тиа Бласия, в зависимости от имен, данных им при крещении, как у нас во Франции сказали бы мамаша Мишель, мамаша Годишон в обществе, так прекрасно описанном Поль де Коком. Ее широкое, плоское, мучнисто-белое лицо могло бы показаться обыденным, если бы черные, как угли, глаза, окруженные темными тенями, и пучки волос в уголках рта не

нарушали этого впечатления, придавая старухе диковатый, свирепый вид, достойный дуэньи доброго старого времени. Гойя, неподражаемый автор «Капричос», набросал бы несколькими штрихами ее портрет. Пора любви уже давно миновала для этой женщины, — если она и знала когда-то, что такое любовь, — и тем не менее она не без кокетства куталась в свою дешевенькую, обшитую бархатом мантилью и жеманно обмахивалась зеленым бумажным веером внушительных размеров.

Маловероятно, чтобы вид этой приятной особы вызывал улыбку удовольствия на лице дона Андреса.

Спутницей старухи была молоденькая девушка лет шестнадцати — восемнадцати, и скорее шестнадцати, чем восемнадцати; легкая мантилья из тафты, накинутая на высокий черепаховый гребень, который был воткнут в толстую, уложенную сзади косу, обрамляла ее прелестное матовое лицо чуть заметного оливкового оттенка; крошечная, как у китайки, ножка лежала на передке двуколки, позволяя любоваться атласной туфелькой, украшенной большим бантом, и шелковым, тщательно натянутым чулком с цветной стрелкой. Руки девушки были тонкие, нежные, хотя и немного загорелые; одной рукой она играла концами мантильи, а другой, на которой блестело несколько серебряных колец — самых драгоценных украшений из шкатулки манолы, — сжимала батистовый платочек; стеклярусные пуговицы, поблескивающие на ее рукаве, дополняли этот чисто испанский наряд.

Андрес узнал очаровательную незнакомку, воспоминание о которой преследовало его целую неделю.

Он ускорил шаг и одновременно с двуколкой прибыл на площадь перед цирком; возница встал на одно колено, чтобы помочь сойти прекрасной маноле, и та спрыгнула на землю, едва коснувшись пальчиками его плеча; извлечь из экипажа старуху оказалось гораздо сложнее; наконец и эта операция была благополучно закончена, и обе женщины, за которыми неотступно следовал Андрес, поднялись по деревянной лестнице в амфитеатр.

Его величество случай проявил в этом деле редкую учтивость и распределил места так, что дон Андрес оказался рядом с юной манолой.

II

Пока зрители шумно наводняли цирк и его огромная воронка быстро чернела, заполняясь густой толпой, тореро входили один за другим через заднюю дверь в помещение, которое служит им фойе и где они обычно собираются перед выходом на арену.

Это была огромная, беленная известью зала, голая и унылая. Бледно-желтые огоньки свечей мерцали перед закопченным изображением Божьей матери, висевшим на стене: тореро, как и все люди, постоянно рискующие жизнью, набожны или по меньшей мере суеверны; у каждого из них есть свой амулет, в могущество которого он свято верят; одни приметы их пугают, другие радуют, они заранее знают, по их словам, будет ли коррида для них несчастной. Однако поставленная вовремя свеча может умиловить судьбу и предупредить гибель. В тот день теплилось около дюжины свечей, что оправдывало замечание дона Андреса о силе и свирепости гавирийских быков, которых он видел накануне на берегу канала и с восторгом описал своей невесте Фелисиане, неспособной оценить этих достоинств.

Собралось человек двенадцать тореро — матадоров, чуло, бандерильеро, эспада в накинутых на плечи плащах. Все они, проходя мимо Мадонны, склоняли голову, иные особенно низко. После этого они брали со стола сора de fuego — маленькую жаровню с деревянной ручкой, наполненную углями, для удобства курильщиков сигарет и сигар, и принимались пускать клубы дыма, расхаживая по зале или сидя на деревянных скамьях у стены.

Только один человек прошел мимо Мадонны, не отдав ей дани благоговейного почитания, и сел в стороне, скрестив стройные ноги, которые казались мраморными в плотно облегающих их блестящих шелковых чулках. Просунув в прорез плаща большой и указательный пальцы, пожелтевшие от табака, он держал в них тлеющий окурок сигареты. Огонек сигареты подбирался к коже, грозя ее обжечь, но матадор, казалось, не обращал ни на что внимания, погруженный в глубокую думу.

На вид ему было лет двадцать пять — двадцать восемь. Смуглое лицо, сверкающие черные глаза и курчавые волосы изобличали в нем андалузца. Он был, вероятно, уроженцем Севильи — этой жемчужины испанской земли, родины статных, красивых, храбрых молодцов, завзятых гитаристов, прекрасных наездников, победителей быков, мастеров владеть навахой, людей с железной рукой и закаленным сердцем.

Трудно было бы найти человека более сильного и стройного. Его мускулистое тело как раз оставалось на грани, за которой оно могло бы стать тяжеловесным. Он был словно изваян для борьбы, для корриды, и, если предположить, что природа заведомо производит на свет тореро, она еще ни разу так не преуспела, как при создании этого Геркулеса с безупречными пропорциями.

Под распахнутым плащом сверкали блески серебристо-пунцовой куртки и переливался драгоценный камень сортихи — кольца, в которое продевают концы галстука; этот камень стоил довольно дорого и свидетельствовал, как, впрочем, и весь наряд матадора, что тот принадлежит к верхушке своей корпорации. Его *moño*^[43] из новых лент придерживал оставленную сзади прядь, спускавшуюся на шею в виде толстой косы. Черная, как вороново крыло, *montera*^[44] была сплошь покрыта шелковыми аграмантами того же цвета и завязывалась под подбородком двумя шнурами; до странности маленькие туфли оказали бы честь самому искусному парижскому башмачнику и могли бы с успехом послужить балетной танцовщице.

Однако у Хуанчо — так звали матадора — не было открытого, жизнерадостного выражения лица, какое подобает иметь красивому, хорошо одетому молодцу, которого скоро встретят восторженные рукоплескания женщин. Что нарушало ясность его духа? Страх за исход корриды? Но опасность, угрожающая бойцам на арене, значительно меньше, чем обычно думают, да и риск не испугал бы матадора, сложенного, как Хуанчо. Уж не видел ли он во сне быка из преисподней, поддевшего его на свои стальные раскаленные рога?

Ни то, ни другое. Таков был обычный вид Хуанчо, особенно за последний год, и хотя он не враждовал со своими братьями, в его обращении с ними не чувствовалось веселой беззаботности, свойственной людям, которые вместе пытаются счастье; он не отказывался от знаков внимания, но сам не шел навстречу товарищам

и, несмотря на свою андалузскую кровь, часто бывал сумрачен. Порой Хуанчо старался стряхнуть с себя грусть и предавался безудержному наигранному веселью: он пил сверх меры, несмотря на свою всегдашнюю воздержанность, буянил в тавернах, плясал огневые качучи и под конец ввязывался в глупейшие ссоры, во время которых сверкали ножи; затем, когда этот порыв проходил, он снова впадал в мрачную задумчивость.

Разбившись на группы, тореро беседовали обо всем понемногу — о любви, о политике и, главное, о быках.

— Что думает ваша милость, — спрашивал один тореро у другого с церемонностью, свойственной испанскому языку, — о черном мазпульском быке? Правда ли, как уверяет Архона, будто у него плохое зрение?

— Один глаз у него близорукий, а другой дальнозоркий: с таким быком надо быть начеку.

— А лизасский бык, знаете, черный с белыми пятнами, откуда он наносит удар, справа или слева?

— Трудно сказать, я не видел его на арене. А вы что скажете, Хуанчо?

— Он бьет справа, — ответил тот, словно пробудившись от сна, и даже не взглянул на молодого человека, остановившегося перед ним.

— Почему?

— Да потому, что он постоянно шевелит правым ухом, — признак почти безошибочный.

Сказав это, Хуанчо поднес к губам окурок сигареты, который тут же рассыпался белым пеплом.

Час, назначенный для открытия корриды, приближался; все тореро, за исключением Хуанчо, встали; разговоры умолкли, и с внутреннего двора донесся глухой шум — это пикадоры ударяли пиками о стену, чтобы набить себе руку и испытать своих лошадей. Курильщики бросили недокурные сигареты, чулосы не без кокетства расправили на руке складки ярких плащей и выстроились в ряд. Наступила тишина, ибо выход на арену — минута, не лишенная торжественности, и даже самые беззаботные тореро невольно призадумываются.

Встал наконец и Хуанчо; он небрежно бросил плащ на скамью, взял шпагу, мулету и присоединился к пестрой группе товарищей.

Дурного расположения духа как не бывало. Глаза его горели, ноздри трепетали, грудь вздымалась. Выражение необычайной отваги облагораживало его черты. Матадор выпрямился, приосанился, готовясь к схватке. Он решительно упирался каблуками в землю, и было видно, что каждый мускул дрожит на его ногах, точно струны гитары. Он играл своей силой, испытывал ее в последнюю минуту по примеру солдата, который играет шашкой перед боем, то вынимая ее, то снова вкладывая в ножны.

Хуанчо был поистине красивый малый, и костюм матадора превосходно подчеркивал стройность его фигуры; широкая *faja*^[45] из красного шелка стягивала его тонкий стан; серебряная вышивка, струившаяся по куртке, как бы застывала на воротнике, рукавах, карманах, обшлагах, где узор настолько усложнялся, становился таким плотным, что почти совсем скрывал материю. И пунцовая куртка, шитая серебром, казалась серебряной, шитой пунцовым шелком. На плечах было столько жгутов, филигранных шариков, бантов и всевозможных украшений, что руки словно выступали из двух пышных венков. Атласные штаны, отделанные по швам блестками и сутажом, обтягивали, не стесняя движений, крепкие и вместе с тем изящные ноги с железными мускулами. Костюм Хуанчо был шедевром Сапаты, гранадского портного, этого Кардильяка андалузских щеголей, проливавшего слезы всякий раз, когда ему приходилось сдавать готовый костюм, и предлагавшего взамен сумму более значительную, чем та, за которую он взялся его сшить. Знатоки оценивали этот наряд по меньшей мере в десять тысяч реалов. На плечах матадора он стоил целых двадцать.

Трубы умолкли; арена опустела, на ней уже не было ни собак, ни мальчишек. Час пробил. Пикадоры, прикрыв платком правый глаз своих лошадей, чтобы те не видели быка, присоединились к шествию, и весь отряд в полном порядке вышел на арену.

Восторженный шепот встретил Хуанчо, когда он встал на одно колено перед ложей королевы; матадор сделал это так изящно, с таким смиренным и вместе с тем гордым видом, выпрямился так непринужденно, плавно, без единого резкого движения, что даже старые завсегдатаи сказали в один голос: «Никто, ни Пепе Ильо, ни Ромеро, ни Хосе Кандидо, не поклонился бы лучше».

Согласно обычаю, альгвазил на коне, в черном костюме Святой Хермандады, подъехал под шум и гам зрителей к сторожу, чтобы отдать ему ключ от загона, и, исполнив эту обязанность, пустился наутек: он ерзал в седле, терял стремяна, хватался за гриву лошади, словом, разыгрывал сцену панического страха, столь забавную для тех, кто находится вне всякой опасности.

Обрадованный неожиданной встречей с незнакомкой, Андрес не обратил внимания на начало корриды, и бык успел распороть брюхо лошади, а он еще ни разу не взглянул на арену.

Он смотрел на девушку, сидевшую рядом, и этот пристальный взгляд, несомненно, смутил бы ее, если бы она его заметила. Она показалась ему еще прелестнее, чем в первый раз. Идеализация, которая всегда сопутствует воспоминанию, но нередко оборачивается разочарованностью при новой встрече со своей олицетворенной мечтой, была бессильна что-либо прибавить к красоте незнакомки; надо сознаться также, что никогда еще испанка столь совершенной красоты не сидела на серо-голубых гранитных скамьях мадридского цирка.

Молодой человек с восторгом любовался четким профилем соседки, ее тонким и гордым носом с розовыми, как раковина, ноздрями, ее челом, где под янтарной кожей чуть заметно проступали голубоватые жилки, ее устами, свежими, как цветок, манящими, как плод, которые были приоткрыты в улыбке и озарены перламутровым блеском зубов, и, главное, ее глазами под густыми черными ресницами, прикрывавшими огненный взгляд.

Это был греческий тип во всей его чистоте, только утонченный примесью арабской крови, это было то же совершенство, но более своеобразное, то же изящество, но более суровое. Темные дуги бровей, словно нанесенные кистью художника на золотистом мраморе лба, отличались такой смелостью рисунка, глаза были так черны, а рот так ал и сочен, что появление красавицы вызвало бы смятение в гостиных Парижа или Лондона, но здесь, в цирке, на корриде, под знойным небом Испании, она была на своем месте.

Старуха, не уделявшая такого внимания, как молодая, перипетиям боя, искоса наблюдала за уловками Андреса, словно дог, почуявший злоумышленника. Когда дуэнья улыбалась, она была безобразна, когда же хмурилась, то вызывала отвращение: ее морщины углублялись,

коричневые тени вокруг глаз казались шире, смутно напоминая оперение у глаз совы; ее длинные, как у кабана, зубы крепче впивались в сухую нижнюю губу, и нервное подергивание искажало ее обезьянье лицо.

Глухой гнев старухи возрастал с минуты на минуту, так как Андрес упорно продолжал смотреть на красивую манолу; дуэнья вертелась на скамье, со свистом обмахивалась веером, то и дело толкала в бок свою соседку и задавала ей всевозможные вопросы, чтобы заставить ее повернуться к себе; но та либо не замечала этих ухищрений, либо не хотела их замечать и, ответив старухе двумя-тремя словами, вновь принимала сосредоточенную, серьезную позу.

«Черт бы побрал эту проклятую ведьму! — думал дон Андрес. — Какая досада, что в наши дни нет больше инквизиции! С такой рожей старуху сразу же посадили бы верхом на осла, да еще с санбенито на голове и в пропитанной серой рубашке. Она, несомненно, вышла из барахонской семинарии и моет девушек перед шабашем».

Хуанчо, чья очередь еще не наступила, высокомерно стоял посреди арены, тревожась о быках не больше, чем если бы они были баранами; он делал лишь едва приметное движение и отступал шага на два — на три, когда разъяренное животное, заметив этого неподвижного человека, намеревалось броситься на него.

Матадор обводил прекрасными блестящими глазами ложи, амфитеатр и галереи, где трепетал целый сонм разноцветных, похожих на бабочек вееров, он точно искал кого-то среди зрителей. Когда же его взгляд остановился наконец на скамье, где сидела девушка со старухой, проблеск радости озарил его смуглое лицо, и он чуть заметно наклонил голову, как это делают актеры, приветствуя со сцены знакомых.

— Милитона, — шепотом сказала старуха, — Хуанчо нас заметил; будь осторожна, молодой сосед делает тебе глазки, а Хуанчо ревнив.

— А что мне до этого? — так же тихо спросила Милитона.

— Ты же знаешь, Хуанчо способен укокошить всякого, кто придется ему не по нраву.

— Я даже не взглянула на своего соседа, да и разве я не сама себе хозяйка?

Утверждая, будто она не взглянула на Андреса, Милитона погрешила против истины. Она не смотрела на него, — женщинам не

нужно смотреть, чтобы видеть, — но она могла бы самым тщательным образом описать его наружность.

Как правдивые летописцы, мы должны признать, что она нашла дона Андреса де Сальседо тем, чем он был на самом деле, то есть весьма пригожим кавалером.

Стараясь завязать разговор с соседкой, Андрес сделал знак одному из продавцов апельсинов, засахаренных фруктов, конфет и прочих сластей, которые расхаживают по проходу и предлагают на конце шеста свой товар зрителям, особенно тем из них, кто сидит рядом с дамой. Соседка Андреса была так хороша собой, что торговец держался поблизости, рассчитывая на верную прибыль.

— Не угодно ли вам конфет, сеньорита? — спросил Андрес, поощрительно улыбаясь и поднося открытую коробку своей прекрасной соседке.

Девушка поспешно обернулась и с тревожным удивлением взглянула на Андреса.

— Тут есть и лимонные и мятные, — продолжал Андрес, как бы желая уговорить ее.

Милитона внезапно приняла решение, погрузила тонкие пальчики в коробку и взяла несколько конфет.

— Хорошо, что Хуанчо отвернулся, — пробормотал поблизости какой-то простолюдин, — не то сегодня вечером пролилась бы кровь.

— А вы, сударыня, не желаете ли отведать конфет? — продолжал Андрес, с очаровательной любезностью передавая коробку отвратительной старухе, которая была так смущена смелостью соседа, что в замешательстве забрала все конфеты до единой.

Однако, опорожняя коробку в свою черную, как у мумии, ладонь, она бросила исподлобья испуганный взгляд на арену и шумно вздохнула.

В эту минуту зазвучала труба: наступила очередь Хуанчо. Он подошел к ложе муниципалитета, согласно обычаю, отвесил поклон и, спросив разрешение, подбросил монтеру с удальством, не лишенным рисовки. В доселе шумном цирке сразу наступила тишина: от ожидания у зрителей перехватило дух.

Бык, которого предстояло убить Хуанчо, отличался свирепостью, — извините, если, занятые Андресом и Милитоной, мы не рассказали подробно о его подвигах, — семь лошадей со вспоротым

брюхом, чьи застывшие трупы валялись на песке арены, там, где их застигла смерть, свидетельствовали о силе и ярости животного. Два пикадора собирались покинуть место боя, измученные, чуть ли не изувеченные, а запасной пикадор ждал за кулисами на лошади, с копьем в руке, чтобы сменить вышедших из строя собратьев.

Чуло держались из предосторожности около барьера, поставив ногу на деревянную ступеньку, чтобы поскорее перескочить через него в случае опасности; бык-победитель свободно носился по арене, покрытой лужами крови, которые служители не решались засыпать песком, и то ударял рогами по дверям, то подбрасывал мертвых лошадей, встречавшихся на его пути.

— Красуйся, приятель, — говорил завсегдатай, обращаясь к разъяренному животному, — пользуйся последними минутами, прыгай, скачи, тебе недолго осталось резвиться: Хуанчо усмирит тебя.

И в самом деле, Хуанчо шел навстречу чудовищу с тем уверенным, смелым видом, перед которым отступают даже львы.

Удивленный появлением нового противника, бык остановился; он испустил глухой рев, стряхнул пену с морды, поскреб землю копытом, потряс раза два-три головой и отступил на несколько шагов.

На Хуанчо было любо посмотреть: лицо его выражало непреклонную решимость, глаза неотступно преследовали животное, и казалось, что от этих ярких черных звезд исходят невидимые лучи и вонзаются в быка наподобие стальных стрел. Сам того не подозревая, матадор прибегал к магнетизму, при помощи которого укротитель Ван-Амбург побеждал тигров, и они, дрожа, разбегались по углам клетки.

При каждом шаге человека вперед свирепый бык отступал на шаг назад.

Видя это торжество силы духа над грубой силой, зрители пришли в исступление: они аплодировали, кричали, топали ногами; любители корриды из всех сил потрясали колокольчиками и тамбуринами, которые они приносят с собою в цирк, чтобы производить как можно больше шума. Потолок содрогался от неистового восторга верхних ярусов, и отвалившиеся куски его росписи облаками белой пыли разлетались по цирку.

Матадор, заслуживший столь горячее одобрение, поднял голову — его глаза блестели, сердце трепетало от радости — и посмотрел туда, где сидела Милитона, точно желая принести в дар красавице

доносившиеся со всех сторон крики «браво» и разделить с ней поклонение толпы.

Минута была выбрана неудачно. Милитона уронила свой веер, и дон Андрес поспешно поднял его, как человек, готовый воспользоваться любым предлогом, чтобы хоть немного укрепить непрочную нить нового знакомства; он как раз вручал ей веер с довольным видом и примерной учтивостью.

Девушка невольно улыбнулась и поблагодарила Андреса за любезность ласковым кивком головы.

Эта улыбка была перехвачена Хуанчо; губы его побелели, лицо позеленело, глаза налились кровью, пальцы крепко сжали ручку мулеты, и острое опущенной шпаги три или четыре раза судорожно вонзилось в песок.

Бык, выйдя из-под власти гипнотического взгляда человека, приблизился к противнику, а тот даже не подумал занять оборонительную позицию. Расстояние, разделявшее животное и человека, угрожающе уменьшалось.

— А парень и в ус себе не дуёт! — говорили зрители, не слишком склонные к волнению.

— Берегись, Хуанчо, — восклицали другие, более человечные. — Хуанчо, жизнь моя, сердце мое, душа моя, бык прямо перед тобой.

А что же Милитона? Привычка ли к корриде притупила ее чувствительность, или она полностью доверяла непревзойденной ловкости Хуанчо, а может быть, не слишком беспокоилась о человеке, чье сердце так глубоко затронула, — неизвестно; лицо девушки оставалось спокойным, ясным, словно ничего особенного не случилось, лишь легкий румянец появился на ее щеках, да кружево мантильи стало чуть быстрее подниматься и опускаться на ее груди.

Крики зрителей вывели Хуанчо из оцепенения, он отпрянул от быка и потряс перед его мордой кроваво-красной мулетой.

Инстинкт самосохранения и честолюбие гладиатора боролись в душе Хуанчо с желанием посмотреть, что делает Милитона; в эту опасную минуту брошенный в сторону взгляд, невольная рассеянность могли стоить ему жизни. Что за ужасное положение! Ревновать, видеть возле любимой женщины внимательного красивого кавалера и в то же время находиться посреди арены под взглядами двенадцати тысяч зрителей, на расстоянии двух дюймов от рогов разгоряченного,

свирепого быка, которого надо поразить лишь в определенное место и определенным способом под страхом быть обесчещенным!

Вновь овладев «юрисдикцией», как говорится на жаргоне тореро, Хуанчо крепко уперся каблуками в землю и сделал несколько движений мулетой, чтобы заставить быка опустить голову.

«Что говорил ей этот волокита, этот франт? А она еще так ласково ему улыбалась», — размышлял Хуанчо, позабыв о грозном противнике, и помимо воли взглянул на амфитеатр.

Бык воспользовался этим и бросился на человека; захваченный врасплох, тот отскочил назад и нанес удар почти вслепую; клинок вошел на несколько дюймов в тело быка, но, попав не туда, куда следовало, уперся в кость, от яростного движения животного вылетел из раны вместе с фонтаном крови и упал в нескольких шагах от Хуанчо. Матадор был безоружен, бык — полон жизни: неудачный удар еще больше разъярил его. К месту боя сбежались чуло, размахивая своими розовыми и голубыми плащами.

Милитона слегка побледнела, старуха восклицала «ах» и «Боже мой» и стонала, как кашалот, выброшенный на берег.

Эта непостижимая оплошность Хуанчо вызвала в цирке оглушительный рев, до которого испанский народ большой охотник. То был ураган брани, воплей, проклятий: «Fuega! Fuega!^[46] Собака, вор, убийца! На каторгу его, в Сеуту! Искалечить такое превосходное животное! Мясник, палач!» — кричали отовсюду зрители и добавляли все ругательства, какие может подсказать южанам их чрезмерная экспансивность.

Хуанчо стоял под этим градом оскорблений, кусая губы, свободной рукой он разорвал свое кружевное жабо. Рукав куртки был порван, и на коже виднелась длинная лиловая ссадина, проведенная рогом быка. Вдруг матадор покачнулся, казалось, он упадет, сломленный обуревающими его чувствами; но он тут же взял себя в руки, подбежал к шпаге, словно в голове его созрел какой-то план, схватил ее, выпрямил искривленное лезвие, наступив на него ногой, и отвернулся от той части цирка, где сидела Милитона.

По знаку Хуанчо, чуло подогнали к нему быка, дразня животное плащами, и, отбросив на этот раз все заботы, матадор нанес ему классический удар сверху вниз, который одобрил бы сам великий Монтес де Чиклана.

Шпага с крестообразной рукоятью вошла над лопаткой быка и осталась торчать между его рогами, напоминая средневековые гравюры, на которых святой Губерт преклоняет колени перед оленем, несущим распятие в ветвистых рогах.

Передние ноги быка подогнулись, он как бы встал на колени, отдавая дань превосходству Хуанчо, конвульсивно вздрогнул и тяжело повалился на землю, задрав копыта.

— Матадор взял блестящий реванш! Какой великолепный удар! Хуанчо нравится мне больше, чем Архона и Чикланеро, а ваше мнение, сеньорита? — восторженно проговорил Андрес, обращаясь к своей соседке.

— Ради Бога, сударь, ни слова больше, — ответила скороговоркой Милитоны, почти не разжимая губ и не поворачивая головы.

Это было сказано таким повелительным и вместе с тем умоляющим тоном, что Андрес прекрасно понял — перед ним не девочка, которая просит «замолчите», а сама умирает от желания, чтобы с ней продолжали говорить.

Слова Милитоны были подсказаны не девичьей стыдливостью: в попытках Андреса завязать разговор не было ничего, что могло бы заслужить подобную суровость, да и манолы, эти мадридские гризетки, — не в обиду им будь сказано, — обычно не отличаются излишней щепетильностью.

Непритворный ужас перед какой-то таинственной опасностью звучал в этой короткой, наспех брошенной фразе, которая и сама по себе казалась угрозой.

«Уж не переодетая ли это принцесса? — подумал Андрес, снедаемый любопытством и не зная, на что решиться. — Если я промолчу, то покажусь ей дураком или по меньшей мере незадачливым Дон-Хуаном; если стану упорствовать, то, быть может, навлеку неприятности на эту милую девушку. Не опасается ли она дуэньи? Вряд ли, ведь любезная кумушка слопала все мои конфеты, она — моя сообщница, и не ее опасается очаровательная инфанта. Нет ли поблизости отца, мужа или ревнивого любовника?»

Но соседей Милитоны нельзя было причислить ни к одной из этих категорий: у всех была неприметная внешность и бесцветная физиономия, — по-видимому, никакие узы не связывали их с прекрасной манолой.

До конца корриды Хуанчо ни разу не взглянул в сторону амфитеатра и убил с непревзойденным мастерством еще двух приходящихся на его долю быков; публика рукоплескала матадору не менее истово, чем она только что освистала его.

Андрес, видимо, решил, что нужно быть осмотрительнее и не возобновлять беседы после трогательных, молящих слов Милитоны, а может быть, он просто не нашел повода вновь завязать разговор, только он ничего больше не сказал девушке и даже встал со своего места за несколько минут до окончания боя.

Проходя между рядами, он что-то сказал мальчугану с подвижной, смышленной физиономией и вышел.

Плутиска смешался с толпой, повалившей из цирка, и с самым простодушным, непринужденным видом направился вслед за Милитоней и дуэней. Он дал им время сесть в двуколку, а когда экипаж тронулся на своих огромных ярко-красных колесах, уцепился за его кузов руками и ногами, как истый сорванец-мальчишка, и начал распевать во все горло народную песенку о быках из Пуэрто.

Экипаж укатил, грохоча и поднимая облака пыли.

«Отлично, — подумал Андрес, успевший дойти до Прадо, при виде вихрем пронесшейся двуколки с мальчишкой на запятках, — я узнаю сегодня же вечером адрес этой очаровательной девушки, и да будет мне легок дуэт Беллини!»

III

Мальчик должен был выполнить поручение и вернуться к дону Андресу, который ждал его, покуривая сигару, в одной из аллей Прадо, неподалеку от памятника жертвам событий Второго мая.

Пуская клубы дыма, поднимавшегося голубоватыми спиралями, Андрес пытался разобраться в своих чувствах и не мог не признать, что он если и не влюблен в прекрасную манолу, то, во всяком случае, сильно заинтересован ею. К ее красоте, способной воспламенить самое холодное сердце, примешивалась еще и тайна — о чем свидетельствовал ужас девушки, когда Андрес заговорил с ней после оплошности Хуанчо, а это поневоле должно было возбудить любопытство всякого юноши с отважной душой; ведь в двадцать пять лет, даже не будучи Дон-Кихотом Ламанчским, человек всегда готов встать на защиту угнетенной принцессы.

Ну, а как же быть с Фелисианой, этой благовоспитанной барышней? Мысль о невесте несколько смущала Андреса, но он подумал, что до свадьбы остается еще полгода и за это время он успеет завязать интрижку, порвать с красоткой и забыть ее до истечения рокового срока, да и, кроме того, нет ничего легче, как скрыть подобную связь: Фелисиана и молодая незнакомка принадлежат к разным слоям общества и никогда не встретятся. Это будет последним безрассудством его холостяцкой жизни. Ведь в светском обществе называют безрассудством любовь к прелестной, милой девушке и разумным поступком женитьбу на некрасивой, капризной барышне, которая вам не нравится. Зато после женитьбы он остепенится и заживет как отшельник, как мудрец, как мученик супружеского долга.

Мысленно уладив свои дела, Андрес предался сладостным грезам. Донья Фелисиана Васкез де лос Риос принуждала жениха вести изысканно светский образ жизни, что очень тяготило его, хотя он и не смел высказать свое недовольство; несчастному приходилось мириться со множеством английских обычаев — чаем, фортепьяно, желтыми перчатками, белыми галстуками, внешним лоском (без всяких смягчающих обстоятельств), чинными танцами, разговорами о новых модах, итальянскими ариями, а все это претило его от природы

свободному и веселому нраву. Помимо воли Андреса, древняя испанская кровь, текшая в его жилах, восставала против вторжения северной цивилизации.

Андрес уже воображал себя счастливым любовником манолы, встреченной в цирке (в каком мужчине нет доли фатовства хотя бы в мечтах); он видел ее девичью спальню, где он сидит без фрака и лакомится печеньем, апельсинами и засахаренными фруктами, запивая их более или менее подлинными винами перальта и педро хименес, за которым дуэнья сбегала в ближайший погребок.

Тут красавица берет тонкий листик papel de hilo,^[47] смоченный лакричным соком, кладет на него щепотку табака, с истинно классическим совершенством свертывает сигарету и подает ее Андресу.

Затем, отодвинув стол ногою, девушка снимает со стены гитару и, вручив ее своему воздыхателю, достает пару кастаньет из гранатового дерева, надевает их на большие пальцы рук, затягивает шнурки своими перламутровыми зубками и принимается плясать с изумительной гибкостью и пылом один из старинных испанских танцев, в которых еще сохранилась знойная томность и загадочная страсть Аравии, напевая прерывающимся голосом куплет из сегидильи, бессвязный, странный, но исполненный хватающей за душу поэзии.

Андрес так увлекся своими сладостными мечтами, что принялся щелкать пальцами в такт кастаньет, а между тем солнце уже клонилось к западу и тени становились длиннее. Время обеда приближалось — в современном Мадриде люди с положением садятся за стол в тот же час, что в Париже и Лондоне, — а посланца Андреса все не было; живи девушка даже на противоположном конце города, у ворот Сан-Хоакин или Сан-Херонимо, бездельник-мальчишка вполне успел бы дважды вернуться, особенно если принять в соображение, что первую часть пути он проделал на запятках экипажа.

Эта задержка очень удивила и обеспокоила Андреса; он не знал, где найти своего посланца, и опасался, что приключение, обещавшее быть пикантным, закончится, едва начавшись. Как напасть на потерянный след, когда не имеешь ни малейшей приметы, которая могла бы тебе помочь, когда не знаешь ничего, даже имени девушки, и приходится рассчитывать на неверную случайность встречи?

«Быть может, с ним что-нибудь случилось. Как знать? Подождем еще немного», — подумал Андрес.

Воспользуемся преимуществом рассказчика, которому позволено быть вездесущим, и последуем за быстро катящейся двуколкой. Она миновала Прадо, проехала по улице Сан-Хуана, по-прежнему увлекая с собой эмиссара Андреса, уцепившегося за нее руками и ногами, и свернула на улицу Делос-Десампарадос. Доехав до половины этой улицы, возница почувствовал что-то неладное, обернулся и с молниеносной быстротой стегнул по лицу несчастного Перико, который вынужден был соскочить на землю.

Когда мальчик вытер глаза, полные слез, — так ему было больно, — и вновь прозрел, двуколка была уже в конце улицы Фэ, и стук ее колес по неровной мостовой постепенно замирал вдали. Превосходный бегун, как и все молодые испанцы, убежденный к тому же в важности своей миссии, Перико стремглав бросился вдогонку и, наверное, настиг бы экипаж, если бы он ехал все прямо, но в конце улицы тот свернул за угол, и мальчик потерял его из виду; когда же он сам добежал до угла, двуколки и след простыл. Перико очутился в лабиринте улочек и переулков, прилегающих к площади Лавапиес. По какой улице проехал возница — Дель-Повар, Санта-Инес, Дамас или Сан-Лоренцо? Эмиссар Андреса этого не знал; он обежал их все в надежде увидеть двуколку, остановившуюся перед чьей-нибудь дверью, — напрасно; он встретил лишь на площади экипаж, возвращавшийся порожняком; возница насмешливо-угрожающе хлопал кнутом, да так громко, точно стрелял из пистолета, и, видимо, спешил за новыми седоками.

Досадуя, что он не смог выполнить поручение Андреса, Перико походил по тем улицам, куда двуколка могла доставить обеих женщин; он полагал с преждевременно развитым чутьем маленьких южан, что у такой красивой девушки непременно должен быть поклонник и она либо выглянет в окно, поджидая его, либо выйдет из дому, чтобы встретиться с ним, так как день корриды посвящен в Мадриде прогулкам и всевозможным удовольствиям и развлечениям. Этот расчет не был лишен основания, в самом деле, многие хорошенькие девушки улыбались в окнах, словно портреты в рамках, или стояли, перегнувшись через перила балконов, однако среди них не было манолы, за которой ему было поручено следить. Потерпев неудачу, он

промыл себе глаза у фонтана Лавapiес и отправился на Прадо, чтобы отдать отчет дону Андресу. Правда, мальчик не узнал точного адреса красавицы, но он был почти уверен, что она живет в одной из четырех названных нами улиц; и так как они очень коротки, искать там манолу было куда легче, чем по всему Мадриду.

Если бы Перико задержался еще на несколько минут, он увидел бы вторую двуколку, остановившуюся у одного из домов на улице Дель-Повар, и мужчину, до самых глаз закутанного в плащ, который легко выпрыгнул из экипажа и вошел в подъезд. При этом движении полы его плаща разошлись, и под ним молнией сверкнула блестящая отделка и показались шелковые чулки с пятнами крови, облежавшие упругие ноги.

Читатель узнал, конечно, Хуанчо, и действительно это был он. Но для Перико ничто не связывало Хуанчо с Милитоной, и появление матадора на улице Дель-Повар не навело бы его на мысль искать здесь юную манолу. К тому же Хуанчо мог возвращаться домой. Такое предположение было наиболее правдоподобным. После столь драматической корриды матадор, несомненно, нуждался в отдыхе и лечении больной руки, так как бычьи рога ядовиты и нанесенные ими раны долго не заживают.

Перико повернул обратно и вскоре очутился у обелиска Второго мая, где ему назначил свидание дон Андрес. Новая помеха — Андрес был не один. Донья Фелисиана, ездившая за покупками с подругой, увидела из коляски жениха, который в лихорадочном нетерпении расхаживал по аллее; она вышла из экипажа со своей приятельницей и, подойдя к Андресу, спросила, уж не сочиняет ли он сонет или мадригал, бродя под деревьями в ту пору, когда простые смертные, менее лирически настроенные, сидят за обеденным столом. Несчастный дон Андрес, застигнутый врасплох, слегка покраснел и пробормотал какой-то избитый комплимент; он злился в душе, хотя губы его и улыбались. Не зная, как поступить, Перико смущенно кружил возле образовавшейся группы. Несмотря на свой юный возраст, он понял, что нельзя давать адрес манолы молодому человеку в присутствии девушки, нарядно одетой по французской моде. Однако он удивлялся в душе, что кавалер, знакомый с такими красивыми дамами в шляпах, заинтересовался манолой в мантилье.

— Что нужно этому мальчику с большими черными глазами? Он смотрит так, словно хочет нас проглотить.

— Он, верно, ждет, чтобы я отдал ему потухшую сигару, — ответил Андрес и в подтверждение своих слов бросил мальчику окурок, сделав ему едва приметный знак, означавший: «Приходи, когда я отделаюсь от этих дам».

Мальчик отошел в сторону, вынул из кармана огниво, закурил и принялся пускать клубы дыма с важностью истого курильщика.

Но испытания Андреса на этом не кончились. Фелисиана хлопнула себя по лбу рукой в узкой перчатке и сказала, словно пробудившись от сна:

— Боже мой, я была так увлечена дуэтом Беллини, что забыла вам передать — дон Херонимо, мой батюшка, ждет вас сегодня к обеду; он хотел послать приглашение, но я отговорила его, так как мы должны были встретиться с вами после полудня. Уже поздно, — продолжала она, взглянув на свои часики величиной не больше ногтя. — Садитесь в экипаж, мы завезем Розу домой и вместе с вами вернемся к батюшке.

Пусть не удивляется читатель, что такая благовоспитанная барышня пригласила молодого человека в свою коляску; в этом не было ничего предосудительного, так как на передке экипажа восседала английская гувернантка, затянутая в непомерно длинный корсет, худая, как палка, и красная, как рак, одного вида которой было достаточно, чтобы обратить в бегство и любовь и злословие.

Отказаться не было никакой возможности. Андрес усадил в коляску Фелисиану и ее подругу, а сам поместился возле мисс Сары, раздосадованный предстоящим ему бесконечным музыкальным вечером, а главное, несостоявшимся разговором с Перико, которого он считал лучше осведомленным, чем это было на самом деле.

Описание буржуазного обеда вряд ли заинтересует читателя, а потому давайте отправимся на поиски Милитоны в надежде, что мы окажемся удачливее, чем Перико.

Милитона и впрямь жила на одной из улиц, где побывал юный шпион Андреса. Нам очень трудно определить архитектурный стиль дома, где она ютилась со многими другими жильцами, разве только мы причислим его к смешанному ордеру. Окна были пробиты как Бог на душу положит, и ни одно из них не походило на другое. Архитектор, видимо, задался целью ниспровергнуть симметрию, ибо фасад здания

поражал своей несообразностью; стены стояли косо, да еще угрожающе выгибались, оседая под собственной тяжестью; их едва удерживали скрепы и крестообразные бруссы, и не будь соседних зданий, служивших ему опорой, дом неминуемо рухнул бы прямо на улицу; осыпавшаяся внизу штукатурка обнажила глинобитное основание стен; вверху они лучше сохранились и являли взору остатки розовой краски, которая казалась румянцем жалкого строения, стыдящегося своей нищеты.

Под крышей со вздыбленными побуревшими черепицами, неровный край которой выступал на лазурном фоне неба, проходим улыбалось окошко, окруженное свежей штукатуркой; на нем висели две клетки: в одной жила перепелка, а другая, совсем маленькая, украшенная красными и желтыми бусинками, служила дворцом и темницей сверчку. (Испанцы унаследовали от арабов склонность к неизменным ритмам и любят монотонные песни перепелки и сверчка с их равномерным темпом.) В пористом глиняном кувшине, подвешенном за ручки и покрытом бисером влаги, охлаждалась на вечернем ветерке вода, и ее капли падали на два горшка базилика, стоявшие внизу. Это окно освещало комнату Милитоны. Наблюдательный человек сразу догадался бы, что в таком гнездышке обитает молодая птичка: молодость и красота оказывают воздействие даже на неодушевленные предметы, невольно оставляя на них свой особый отпечаток.

Если вы не боитесь подняться вместе с нами по неровной лестнице с захватанной веревкой вместо перил, мы последуем за Милитоной, которая бежит вприпрыжку по истертым ступеням с резвостью своих восемнадцати лет, на нее уже падает свет верхних этажей, тогда как матушка Алдонса все еще топчется внизу, в темноте, охает и взывает к святому Иосифу, отчаянно цепляясь руками за липкий поручень.

Красавица подошла к двери из мелких еловых филенок, весьма обычной в Мадриде, приподняла край лежавшей у порога циновки, достала ключ и отворила дверь.

Такая бедная комнатка не представляла соблазна для воров и не требовала особых предосторожностей; уходя из дому, Милитона часто оставляла ее открытой, но, если она бывала у себя, то тщательно

запиралась. Ведь тогда в этом убогом жилище появлялось сокровище если и не для воров, то для влюбленных.

Тонкий слой штукатурки заменял бумажную или матерчатую обивку стен. Зеркало с попорченной амальгамой, весьма плохо отражавшее прелестное личико, которое смотрелось в него, гипсовая статуэтка святого Антония, две голубые стеклянные вазы с искусственными цветами, еловый стол, два стула и узкая кровать под кисейным покрывалом, отделанным воланами в форме волчьих зубов, — вот и все вещи, находившиеся в комнате Милитоны. Прибавим к этому несколько изображений на стекле Богоматери и святых, раскрашенных и позолоченных с наивностью чисто византийской или русской, гравюру о Втором мае — похороны Даоиса и Веларде, пикадора на коне — копию с картины Гойи и баскский тамбурин, висевший рядом с гитарой. Смещение духовного с мирским нисколько не противоречит горячей вере истинно католических стран, и нет ничего удивительного в том, что над этими двумя инструментами улады и веселья возвышалась плетеная пальмовая ветвь, принесенная из церкви в вербное воскресенье.

Такова была комнатка Милитоны и, несмотря на всю ее скудость, она не производила холодного, отталкивающего впечатления, порождаемого нуждой; луч радости озарял ее; ярко-красный плиточный пол веселил глаз; ничья уродливая тень не могла бы зацепиться, наподобие когтистой летучей мыши, за сияющие белизной углы комнаты; ни один паук не протянул бы паутины между балками потолка — все было свежо, отрадно и светло в этой комнате с голыми стенами: в Англии такая обстановка свидетельствовала бы о полной нищете, в Испании это было чуть ли не довольство, позволявшее жить не менее счастливо, чем в раю.

Старухе удалось наконец взобраться наверх: она вошла в уютную комнатку и опустилась на один из двух стульев, предательски затрепавший под ее тяжестью.

— Ради Бога, Милитона, дай мне кувшин с водой: у меня першит в горле, я задыхаюсь; от пыли и от этих проклятых конфет у меня все горит внутри.

— Не надо было есть их целыми пригоршнями, матушка, — ответила, улыбаясь, Милитона и поднесла кувшин к губам старухи.

Алдонса отпила несколько глотков, вытерла губы тыльной стороной руки и, не говоря ни слова, принялась взволнованно обмахиваться веером.

— Кстати, о конфетах, — сказала она наконец со вздохом, — ты заметила, какие яростные взгляды бросал в нашу сторону Хуанчо? Уверена, что он не сразу убил первого быка из-за красивого кавалера, который беседовал с тобой. Хуанчо ревнив, как тигр, и если он отыщет соперника, тому худо придется. Я недорого дала бы за шкуру нашего молодого кавалера — не миновать ей отменных ударов навахи. Помнишь, как Хуанчо пырнул ножом Лука? А за что? Бедный мальчик лишь преподнес тебе букет цветов на храмовой праздник святого Исидро.

— Надеюсь, Хуанчо не дойдет больше до такой крайности; я попросила молодого кавалера не разговаривать со мной, попросила так настойчиво, так убедительно, что он сразу замолчал. Он почувствовал мой страх и пожалел меня. Но какое это мучение, когда тебя преследует такая безжалостная любовь!

— Сама виновата, — проговорила старуха, — вольно же тебе быть такой хорошенькой!

Отрывистый стук в дверь, как будто постучала чья-то железная рука, прервал этот разговор.

Алдонса встала со стула, подошла к двери и заглянула в зарешеченное, прикрытое ставней оконце, по испанскому обычаю пробитое на уровне глаз.

В отверстии показалось лицо Хуанчо, бледное, несмотря на бронзовый загар, полученный на арене.

Старуха открыла дверь, и Хуанчо вошел в комнату. Лицо его хранило следы бурного волнения, испытанного во время корриды, и выражало с трудом сдерживаемую ярость, ибо для этого человека, по своему понимавшего вопросы чести, крики «браво» не могли заглушить свистков; он считал себя обещанным и намеревался проявить безрассудную отвагу, чтобы оправдаться в глазах общественного мнения и перед самим собой.

Но больше всего волновала матадора, до крайности распаляя его гнев, мысль о том, что он не мог вовремя уйти из цирка и догнать молодого кавалера, который так настойчиво любезничал с Милитоней.

Где отыскать его теперь? Конечно, он последовал за девушкой и опять заговорил с ней.

Стоило Хуанчо подумать о сопернике, как рука его невольно тянулась к поясу, за кинжалом.

Он сел на второй стул. Милитона стояла, облокотясь на подоконник, и рвала на мелкие кусочки увядший цветок красной гвоздики; пытаясь скрыть смятение. Алдонса обмахивалась веером; неловкое молчание царило в комнате; нарушила его старуха.

— Скажите, как ваша рука, Хуанчо, все еще болит? — спросила она.

— Нет, — ответил матадор, устремив испытующий взгляд на Милитону.

— Вам надо бы сделать примочки из соленой воды, — продолжала Алдонса, чтобы поддержать разговор.

Хуанчо промолчал и, поглощенный своими неотвязными мыслями, спросил у Милитоны:

— Что за щеголь сидел рядом с вами в цирке?

— Я впервые вижу его, я с ним незнакома.

— Но хотели бы познакомиться?

— Вы весьма учтивы. Ну, а если и так?

— Если так, я убью вашего красавчика в лакированных сапогах, во фраке и белых перчатках.

— Вы не в своем уме, Хуанчо; разве я дала вам право ревновать меня? Предположим, вы любите меня, но это не моя вина. Неужели я обязана тут же вспылать к вам страстью только потому, что вам угодно было найти меня красивой.

— Что правда, то правда, она не обязана, — вмешалась в разговор старуха, — и все же из вас двоих вышла бы чудесная парочка. Никогда еще более нежные пальчики не покоились на более могучей руке, и если бы вы сплясали вместе качучу в парке Лас-Делисиас, люди вскочили бы на стулья, чтобы лучше вас видеть.

— Разве я заигрывала с вами, Хуанчо? Строила вам глазки, завлекала улыбками, томными вздохами?

— Нет, — глухо промолвил тореро.

— Я ничего вам не обещала, Хуанчо, не позволяла даже надеяться; я всегда твердила вам: забудьте меня! Почему же вы мучаете, оскорбляете меня своими сумасбродными выходками? Их

ничто не оправдывает! Неужели мне нельзя взглянуть ни на одного мужчину из боязни, что вы убьете его? Долго ли вы будете отпугивать от меня людей? Вы изуродовали несчастного Лука, славного парня, который забавлял, смешил меня. Вы серьезно ранили Хинеса, вашего друга, а он только и сделал, что поцеловал мне руку! И вы думаете, это поможет вам добиться взаимности? Сегодня вы делаете глупость за глупостью в цирке: пока вы шпионите за мной, бык нападает на вас, и вы наносите ему бесславный удар!

— Но я люблю тебя, Милитона, люблю всем сердцем, со всем пылом страсти, испепеляющей меня. Во всем мире я вижу одну тебя, и пусть бык угрожает поддеть меня на рога, я даже не замечу этого, если ты улыбаешься другому мужчине. Я не умею любезничать, это правда, я провел молодость в жестокой борьбе с разъяренными быками; я ежедневно убиваю и рискую быть убитым. Мне ли походить на молодых щеголей, хрупких, тонких, как девушки, у которых нет иного дела, как завиваться да читать газеты? Если ты и не будешь моей, я не отдам тебя никому другому! — прибавил Хуанчо, помолчав, и с силой ударил кулаком по столу, как бы в подтверждение своих слов.

Он тут же резко поднялся и вышел, пробормотав сквозь зубы:

— Я сумею разыскать этого красавчика и всадить ему в брюхо не меньше трех дюймов стали.

Вернемся теперь к Андресу. Понуро стоя у фортепьяно, он поет свою партию в дуэте Беллини и так фальшивит, что приводит в отчаяние Фелисиану. Никогда еще светский вечер не вызывал у него большей скуки, и он мысленно посылал к черту маркизу де Бенавидес и ее прием.

Вспоминая тонкий, чистый профиль юной манолы, ее иссиня-черные волосы, арабские глаза, дикую грацию и живописный костюм, он без всякого удовольствия взирал на перезрелых дам в тюрбанах, украшавших своим присутствием роскошную гостиную маркизы. Он нашел, что его невеста явно дурна собой, и удалился окончательно влюбленный в Милитону.

Когда Андрес возвращался домой по улице Алькала, кто-то дернул его за фалду фрака: это был Перико; мальчик сделал новое открытие, и ему, видимо, не терпелось отчитаться перед доном Андресом, а быть может, и получить обещанную награду.

— Она живет на улице Дель-Повар, сеньор, — сказал мальчик, — в третьем доме направо. Я видел ее давеча у окна, она снимала с него кувшин с водой.

IV

«Недостаточно знать, где свила себе гнездышко моя голубка, — подумал дон Андрес, пробуждаясь на другой день после приятных сновидений, во время которых ему не раз являлся прелестный образ Милитоны, — главное, добраться до нее, но как? Я вижу только одно средство: занять наблюдательный пост против дома юной манолы и попытаться что-нибудь выведать. Но если я отправлюсь и квартал, где она живет, в своем обычном костюме, иначе говоря, одетым по последней парижской моде, то привлеку к себе внимание, что помешает мне произвести разведку. В этот час девушка либо вышла из дому, либо возвращается с покупками, — вряд ли леденцы и орехи запасены у нее на полгода вперед; я подойду к ней, скажу несколько любезных слов и посмотрю, так ли она недоступна на улице, как в цирке. Идем же на Растро и купим все необходимое, чтобы превратиться из щеголя в маноло; переодетый таким образом, я не вызову подозрений ни у ревнивого любовника, ни у свирепого брата и, не подавая виду, соберу сведения о моей красавице».

С этим намерением Андрес вскочил с постели, наскоро выпил чашку шоколада, сваренного на воде, и отправился на Растро — мадридскую толкучку, где можно найти решительно все, за исключением новых вещей. Он был счастлив и весел; мысль о том, что девушка не полюбит его или любит другого, даже не приходила ему в голову; он был преисполнен уверенности, которая редко обманывает, ибо основывается на предчувствии взаимной симпатии; и в нем пробуждалась старинная страсть к приключениям, свойственная испанцам. Предстоящий маскарад забавлял Андреса, и хотя инфанта, очаровавшая его, была простой манолой, он с удовольствием рисовал себе, как будет разгуливать под ее окном в сером плаще, сливающимся со старыми стенами; ужас девушки, говоривший о неведомой серьезной угрозе, лишал это похождение всякой тривиальности.

Андрес дошел до Растро, перебирая в уме тысячи хитростей, которые рушились одна за другой, как совершенно непригодные на деле.

Растро — место довольно занятное. Представьте себе бугристую возвышенность, нечто вроде холма, окруженную жалкими, грязными лачугами, где процветают разные подозрительные ремесла.

На этом пригорке и на соседних улицах ютятся торговцы всевозможным хламом — старьевщики, продавцы железного лома, тряпок, битой посуды, всего, что износилось, засалено, разорвано, вышло из употребления. Одежда в пятнах и дырах, загадочные обломки и осколки, ржавые гвозди находят здесь своих покупателей; среди этого причудливого смещения вещей обноски всех сословий соседствуют с истинно философским безразличием; старый придворный мундир без галунов соприкасается с ярко отделанной крестьянской курткой; юбка танцовщицы с потускневшими блестками висит неподалеку от потертой, заплатанной сутаны. Стремена пикадора свалены в одну кучу с искусственными цветами, с разрозненными книгами, почерневшими или пожелтевшими картинами и никому уже не нужными портретами. Рабле и Бальзаку потребовалось бы по меньшей мере четыре страницы, чтобы описать все это.

На площади можно найти более приличные лавчонки, где продаются носильные вещи, хотя и не новые, но опрятные, которые впору носить не только подданным царства нищих.

В одну из этих лавочек и вошел Андрес.

Он выбрал еще довольно свежий костюм маноло, — в новом виде тот, вероятно, принес своему счастливому обладателю немало побед на улицах Сан-Луис, Дель-Баркильо и на площади Санта-Ана. В него входили шляпа с плоской тульей, с широкими закругленными полями и бархатной отделкой, куртка табачного цвета с маленькими пуговицами, широкие панталоны, длинный шелковый пояс и темный плащ. Все вещи были поношены как раз в меру: они потеряли блеск новизны, но сохранили некоторое изящество.

Андрес посмотрелся в большое венецианское зеркало в великолепной оправе, неизвестно почему сюда попавшее, и нашел, что недурен собой: он держался непринужденно, был строен и вполне мог пленить чувствительные сердца квартала Лавапиес.

Расплатившись с лавочником, он попросил отложить покупку и пообещал вернуться, когда стемнеет, так как не хочет, чтобы знакомые видели его в таком наряде.

На обратном пути он прошел по улице Дель-Повар и тотчас же узнал окно на побеленной вокруг стене и подвешенный за ручки кувшин с водой, о котором ему говорил Перико; но снаружи ничего нельзя было рассмотреть из-за тщательно задернутой кисейной занавески; казалось, что в комнате никого нет.

«Манола ушла, верно, на работу и не вернется раньше вечера. Она швея, вышивальщица, работница на табачной фабрике или что-нибудь в этом роде», — подумал Андрес и продолжал свой путь.

Однако Милитона была дома и, нагнувшись над столом, сметывала лиф платья, лежавшего рядом. Хотя в ее занятии не было ничего таинственного, она старательно заперлась, вероятно, из страха перед новым вторжением Хуанчо, да еще в отсутствие матушки Алдонсы, что было бы опаснее.

За шитьем она думала о молодом человеке, который накануне в цирке смотрел на нее таким пламенным и нежным взором и произнес несколько слов голосом, до сих пор ласкавшим ее слух.

«Только бы он не искал со мной встречи! И все же мне было бы приятно, если бы он нашел меня. Но ведь Хуанчо затеет с ним жестокую ссору, может быть, даже убьет его или серьезно ранит, как и всех тех, кто посмел заговорить со мной... Ну, а что ждет меня, если я сумею избавиться от Хуанчо, который последовал за мной из Гранады в Севилью, из Севильи в Мадрид и готов ехать хоть на край света, лишь бы я никому не отдала своего сердца, хотя он и не имеет на него права? Пригожий кавалер — человек не моего звания, по одежде видно, что он благороден и богат; я для него лишь мимолетная прихоть, и он уже, наверное, позабыл меня».

Здесь мы должны признать, дабы не погрешить против истины, что лицо девушки омрачилось и нечто весьма похожее на вздох вырвалось из ее стесненной груди.

«У него, конечно, есть любовница или невеста, молодая, хорошенькая, нарядная, она носит великолепные шляпы и богатые шали. А как бы ему пристала вышитая разноцветными шелками куртка с серебряными филигранными пуговицами, сапожки из Ронды и маленькая андалузская шляпа! Каким стройным он выглядел бы в красном поясе из гибралтарского шелка!» — думала Милитона, с невинной хитростью влюбленной представляя себе Андреса в костюме, который мог бы приблизить его к ней.

Тут мечты девушки были прерваны стуком в дверь — пришла матушка Алдонса, жившая в том же доме.

— Знаешь, милочка, — сказала она, — Хуанчо совсем рехнулся, не пошел домой и даже не перевязал руку, он всю ночь прогуливался под твоим окном, видно, хотел посмотреть, не бродит ли поблизости наш сосед по цирку. Хуанчо вбил себе в голову, что ты назначила свиданье этому красивому кавалеру. А может, и вправду назначила? Тогда хлопот не оберешься. В толк не возьму, почему ты никак не полюбишь несчастного Хуанчо? Он оставил бы тебя в покое.

— Не стоит говорить об этом, я не в ответе за любовь Хуанчо, я не старалась вызвать ее.

— Нельзя сказать, — продолжала старуха, — чтобы наш молодой кавалер был нехорош собой или неучтив; он предложил мне коробку конфет весьма любезно, со всем почтением, какое подобает оказывать женщине; но меня тревожит Хуанчо, я смертельно боюсь его! Он считает меня твоей дуэньей и способен обвинить меня, если ты предпочтешь ему другого. Он следит за каждым твоим шагом, и было бы очень трудно скрыть от него даже пустяк.

— Послушать вас, так можно подумать, будто у меня все уже договорено с этим господином, а между тем я едва помню его лицо, — ответила Милитона, краснея.

— Если ты и забыла его, то он-то прекрасно тебя помнит, голову даю на отсечение! Он мог бы по памяти нарисовать твой портрет; он смотрел на тебя, не отрываясь, в продолжение всей корриды; можно было подумать, что он созерцает лик Пресвятой девы.

При этих словах, подтверждавших любовь Андреса, Милитона молча склонилась над шитьем; не изведенное доселе счастье переполняло ее сердце.

Между тем Хуанчо было не до этих нежных чувств; запершись у себя в комнате, украшенной шпагами и эмблемами быков, завоеванных им с риском для жизни, чтобы преподнести их Милитоне, которая отвергла все его подношения, он неотступно думал о своем горе, как это делают все несчастные влюбленные, и не мог понять, почему Милитона не любит его; неприязнь девушки казалась ему неразрешимой загадкой, и он напрасно доискивался ее причины. Разве он не был молод, красив, силен, горяч, отважен? Разве ему не аплодировали тысячи раз белоснежные ручки красивейших испанок?

Разве на его костюмах меньше золота и украшений, чем у самых нарядных тореро? Разве его портрет не продается повсюду и в отпечатанном виде, и на шейных платках, да еще окруженный хвалебными стихами, словно портрет какого-нибудь знаменитого художника? Кто, кроме Монтеса, может лучше нанести удар и заставить быка сразу стать на колени? Никто. Он пригоршнями бросает золото, добытое ценой собственной крови. Чего же недостает ему? Хуанчо настойчиво пытался отыскать у себя какой-нибудь изъян и ничего не находил; антипатию или по меньшей мере холодность девушки он объяснял только одним: ее любовью к другому. Этого «другого» он разыскивал повсюду; каждый пустяк разжигал его ревность, его гнев; и тот самый человек, перед которым отступали разъяренные быки, чувствовал, что воля его разбивается о ледяное упорство Милитоны. Мысль убить ее, чтобы избавиться от этого наваждения, не раз приходила ему в голову. Безумство тореро длилось уже больше года, с того самого дня, когда он впервые увидел Милитону, ибо его любовь, как и все сильные страсти, сразу дошла до предела: безмерное чувство не может стать больше.

Чтобы разыскать Андреса, Хуанчо решил побывать в Салоне Прадо, в театрах дель Сирко и дель Принсипе, в дорогих кафе и других местах, посещаемых светскими людьми: и хотя он питал глубокое презрение к костюму буржуа и одевался обычно, как мах, сюртук, черные панталоны и круглая шляпа лежали рядом с ним на стуле: он приобрел эти вещи под колоннадой Мальоркской улицы в тот самый час, когда Андрес делал покупки в Растро. Оба соперника прибегли к одному и тому же средству: один — чтобы приблизиться к предмету своей ненависти, другой — к предмету своей любви.

Фелисиана, к которой дон Андрес не преминул отправиться с визитом в обычное время с исправностью провинившегося любовника, осыпала его горькими упреками за фальшивые ноты и бесчисленные промахи, допущенные им накануне у маркизы де Бенавидес. Не стоило, право, так усердно разучивать дуэт Беллини, повторять его изо дня в день, чтобы осрамиться на званом вечере. Андрес оправдывался как мог. Его ошибки, уверял он, лишь оттенили удивительный талант Фелисианы, она была в голосе и пела так, что ей могла бы позавидовать сама Ронкони из театра дель Сирко. Андресу удалось без

особого труда умиловить невесту, и они расстались добрыми друзьями.

Вечером Хуанчо, одетый в модный костюм, преобразивший его до неузнаваемости, лихорадочно прогуливался по аллеям Прадо, всматриваясь в лица встречных мужчин; он ходил туда-сюда, стараясь быть одновременно повсюду, заглянул во все театры, осмотрел своим орлиным взором оркестр, партер и ложи; съел множество порций мороженого в различных кафе, постоял возле групп политиканов и поэтов, споривших о новой пьесе, но не нашел никого, кто походил бы на молодого человека, так нежно разговаривавшего с Милитоной во время корриды, и это понятно, ибо в то же самое время Андрес, успевший переодеться у старьевщика, преспокойно пил ледяной лимонад в лавке, торгующей прохладительными напитками, против дома Милитоны, где он устроил свой наблюдательный пункт, с Перико в качестве разведчика. Впрочем, Хуанчо мог бы пройти мимо Андреса, даже не взглянув на него; матадору и в голову не пришло бы искать соперника в куртке и широкополой шляпе маноло. Притаившись за окном, Милитона сразу узнала молодого человека из цирка, так как любовь более проницательна, чем ненависть. Девушка терзалась беспокойством, не могла понять, зачем он пришел в эту лавчонку, и опасалась ужасной сцены, которую непременно вызовет его встреча с Хуанчо.

Андрес сидел, облокотясь на стол, и с пристальным вниманием сыщика, пронюхавшего о заговоре, осматривал тех, кто входил в дом Милитоны. Перед ним мелькали люди всех возрастов — мужчины, женщины, дети; вначале они шли один за другим, так как дом был густо населен, затем их стало меньше; стемнело, и теперь домой возвращались лишь запоздалые жильцы.

Милитона так и не появилась.

Андрес уже начинал сомневаться в правильности сведений своего эмиссара, когда в темном доселе окне зажегся свет — в комнате кто-то был.

Он убедился, что Милитона у себя, но как быть дальше? Написав несколько строк карандашом на клочке бумаги, он подозревал Перико, бродившего неподалеку, и велел ему отнести записку прекрасной маноле.

Перико проскользнул в дверь за каким-то жильцом и, натыкаясь на стены, поднялся по темной лестнице до верхнего этажа. Свет, пробивавшийся в щелистую дверь, навел его на мысль, что это и есть комната Милитоны; мальчик дважды тихонько постучал; девушка приоткрыла оконце в двери, взяла письмо и захлопнула ставню.

«Только бы она умела читать», — думал Андрес, допивая лимонад и расплачиваясь с валенсийцем, хозяином заведения.

Он вышел на улицу и стал медленно прохаживаться под освещенным окном.

Вот содержание его письма:

«Человек, который не может и не хочет Вас забыть, готов на все, лишь бы Вас увидеть; но он ничего не знает о Вашей жизни и после нескольких слов, сказанных Вами в цирке, боится навлечь на Вас беду. Ничто его не испугает, если опасность грозит ему одному. Погасите лампу и бросьте ответ в окно».

Несколько минут спустя лампа потухла, окно растворилось, и, сняв с него кувшин, Милитона уронила один из цветочных горшков, который разбился вдребезги неподалеку от дона Андреса.

Что-то белело на темной земле, рассыпавшейся по мостовой, — это был ответ Милитоны.

Андрес подозвал серено (ночного сторожа), проходившего по улице со своим фонарем на длинном шесте, и попросил посветить ему. Вот послание, написанное дрожащей рукой большими неровными буквами:

«Уходите... У меня нет времени писать, — прочел он при свете фонаря. — Завтра в десять часов я буду в церкви Сан-Исидро. Но, ради Бога, уходите: дело идет о Вашей жизни».

— Спасибо, приятель, — сказал Андрес, вкладывая реал в руку серено, — а теперь ступайте спокойно своей дорогой.

Улица была безлюдна, Андрес медленно шел по ней, когда появление мужчины в плаще, под которым угадывались очертания гитары, возбудило его любопытство, и он притаился в темном углу.

Незнакомец откинул на плечи полы плаща, взял гитару и стал перебирать ее струны, извлекая из инструмента низкие ритмичные звуки, служащие аккомпанементом серенады и сегидильи.

Эта шумная прелюдия, несомненно, имела целью разбудить красавицу, в честь которой давалась серенада, но окно Милитоны

оставалось закрытым; вынужденный довольствоваться незримой аудиторией, вопреки испанской поговорке, гласящей, что, как бы крепко ни уснула женщина, она покажется в окошке при звоне гитары, мужчина дважды громко откашлялся и запел с сильным андалузским акцентом:

Дитя с повадками царицы,
Чей кроткий взор сулит беду,
Ты можешь сколько хочешь злиться,
Но я отсюда не уйду!

Я встану под твоим балконом,
Струну тревожа за струной,
Чтоб вспыхнул за стеклом оконным
Ланит и лампы свет двойной.

Пусть лучше для своих прогулок
И менестрель и паладин
Другой отыщут переулок:
Здесь я пою тебя один,

И здесь ушей оставит пару
Любой, кто, мой презрев совет,
Испробует свою гитару
Иль прочирикает сонет.

Кинжал подрагивает в ножнах;
А ну, кто краске алой рад?
Она оттенков всевозможных:
Кому рубин? Кому гранат?

Кто хочет запонки? Кто — бусы?
Чья кровь соскучилась в груди?
Гром грянул! Разбегайтесь, трусы!
Кто похрабрее — выходи!

Вперед, не знающие страха!

Всех по заслугам угощу!
В иную веру вертопраха
Клинком своим перекрещу.

И нос укорочу любому
Из неумных волокит.
Стремящихся пробиться к дому,
В который мною путь закрыт.

Из ребер их, тебе во славу,
Мост за ночь возвести бы мог.
Чтоб, прыгая через канаву,
Ты не забрызгала чулок...

Готов, с нечистым на дуэли
Сразившись, — голову сложить,
Чтоб простыню с твоей постели
Себе на саван заслужить...

Глухая дверь! Окно слепое!
Жестокая, подай мне знак!
Давно уж не пою, а вою,
Окрестных всполошив собак...

Хотя бы гвоздь в заветной дверце
Торчал — чтоб на него со зла
Повесить пламенное сердце,
Которым ты пренебрегла!^[48]

«Черт побери, какая дикая поэзия! — подумал Андрес. — Слащавыми такие куплеты не назовешь. Посмотрим, останется ли нечувствительна Милитона к этим элегическим стихам, сочиненным Матамором, доном Спавенто Фракассом или Траншмонтанем; ясно, что этот оглушительный ночной концерт дается ради нее. Вот, вероятно, тот грозный поклонник, которого она так боится. И, видимо, недаром».

Дон Андрес нечаянно выступил из спасительной темноты, лунный свет упал на его лицо, и острый глаз Хуанчо обнаружил присутствие постороннего мужчины.

«Вот я и попался, — подумал Андрес. — Остается не ударить лицом в грязь».

Хуанчо швырнул на землю гитару, которая уныло зазвенела, ударившись о камни мостовой, подбежал к Андресу и тотчас же узнал его при свете луны.

— Что вы тут делаете в такой поздний час? — спросил он голосом, дрожавшим от гнева.

— Слушаю вашу музыку — это изысканное наслаждение.

— Если вы внимательно слушали, то должны были понять: когда я пою серенаду, я никому не позволяю находиться здесь.

— Я не слишком послушен, такой уж у меня характер, — ответил Андрес с полнейшим хладнокровием.

— Твой характер сегодня же изменится.

— Ничуть не бывало, я не люблю отказываться от своих привычек.

— Так защищайся, не то подохнешь, как собака! — вскричал Хуанчо.

Он выхватил наваху и обернул плащ вокруг левой руки.

То же сделал и Андрес с проворством, говорившим о превосходной подготовке, что очень удивило матадора; недаром молодой человек прошел хорошую школу под руководством искуснейшего севильского учителя, следуя примеру парижских щеголей, которые изучают сложнейшие приемы фехтования и бокса, возведенные в непогрешимые принципы Лекуром и Буше.

Хуанчо кружил вокруг своего противника, выставив наподобие щита левую руку, защищенную сложенным в несколько раз плащом, и отведя назад правую, чтобы придать больше силы удару; он то поднимался на носки, то приседал; становился то великаном, то карликом, но острие его ножа неизменно наталкивалось на свернутый плащ Андреса, готового к защите.

Хуанчо то резко отступал, то стремительно нападал, прыгал то вправо, то влево, взмахивал своим оружием как дротиком, будто собирался метнуть его во врага.

Андрес отвечал на эти выпады быстрыми и меткими ударами, которые никто не отразил бы лучше Хуанчо. Поистине это был превосходный бой, достойный самых компетентных зрителей к несчастью, все окна были закрыты и улица пустынна. Как жаль, что этот блестящий поединок не могли оценить по достоинству знатоки из Сан-Люкара, из Потро-де-Кордова, из гранадского квартала Альбайсин и севильского квартала Триана!

Как ни сильны были противники, они стали уставать: пот струился по их лицам, грудь вздымалась наподобие кузнечных мехов, ноги отяжелели, и прыжки потеряли прежнюю упругость.

Хуанчо почувствовал, что кинжал противника прорезал его рукав, и обезумел от гнева.

Он напряг все силы и, рискуя жизнью, как тигр, ринулся на врага.

Андрес упал навзничь, и под тяжестью его тела распахнулась плохо закрытая дверь дома Милитоны, перед которым происходил поединок.

Хуанчо преспокойно ушел. Серено, проходивший в конце улицы, прокричал: «Ничего нового — половина двенадцатого, — погода звездная и ясная».

Хуанчо ушел, заслышав голос ночного сторожа, и даже не удостоверился, мертв Андрес или только ранен. Он полагал, что убил противника, так велика была его уверенность в поистине безошибочной меткости своего удара. Поединок был честным, и он не испытывал угрызений совести: мрачная радость при мысли, что он избавился от соперника, заглушала в нем все остальные чувства.

Невозможно описать тревогу Милитоны во время этого боя, глухой шум которого привлек ее к окну: она хотела позвать на помощь, но язык ее, казалось, присох к гортани, ужас железной рукой сдавил ей горло: едва держась на ногах, растерянная, обезумевшая, она кое-как спустилась по лестнице или, точнее, соскользнула вниз, уцепившись за поручень, полумертвая от страха. Она очутилась у выхода как раз в ту минуту, когда при падении Андреса открылась плохо затворенная дверь.

К счастью, Хуанчо не видел, с каким отчаянием, с какой страстью девушка наклонилась над телом Андреса, в противном случае он вместо одного убийства совершил бы два.

Милитона приложила руку к сердцу Андреса, и ей показалось, что оно слабо бьется; по улице опять проходил серено, повторяя все те же слова. Девушка позвала его на помощь; почтенный галисиец подбежал к раненому и поднес фонарь к его лицу.

— Да это тот самый молодец, — пробормотал он, — который просил посветить ему, пока он читал письмо!

И он нагнулся, чтобы узнать, жив тот или нет.

Серено с его характерным, суровым, но добрым лицом, девушка, чью смертельную бледность еще больше оттеняли черные дуги бровей, недвижимое тело юноши, голова которого покоилась на ее коленях, составляли группу, достойную кисти Рембрандта. Мерцая, как звезда, в центре этой сцены, желтый свет фонаря отбрасывал причудливые отблески на все три лица, создавая вокруг них рыжеватый полумрак, который так любил голландский художник но, быть может, потребовалась бы еще более нежная и четкая кисть, чтобы

передать дивную красоту Милитоны, — девушка казалась статуей Скорби, коленопреклоненной возле гробницы.

— Он дышит, — проговорил серено после краткого осмотра. — Надо взглянуть, что у него за рана. — Он расстегнул куртку Андреса, по-прежнему лежавшего без чувств. — Славный удар! — воскликнул он с почтительным удивлением. — И нанесен снизу вверх, по всем правилам: отличная работа! Если не ошибаюсь, это сделано севильцем. Я хорошо разбираюсь в ножевых ранах, мне столько довелось перевидать их на своем веку. Но как быть с этим молодым человеком? Везти его нельзя, да и куда? Ведь он не в состоянии сказать, где живет.

— Перенесем его ко мне, — предложила Милитона, — я первая пришла ему на помощь... он принадлежит мне.

Серено вызвал собрата, испустив призывный клич, и вдвоем они осторожно понесли раненого по крутой лестнице. Милитона шла за ними, она поддерживала безжизненное тело и старалась оградить от резких толчков несчастного молодого человека, которого бережно положили на узкую девичью кровать под муслиновым покрывалом.

Один из сторожей побежал за хирургом, и пока Милитона готовила из белья повязки и корпию, другой серено осматривал карманы Андреса в поисках визитной карточки или письма, чтобы установить личность неизвестного. Он ничего не нашел. Записка Милитоны, где она предупреждала Андреса о грозящей ему опасности, выпала из его кармана во время поединка, ветер подхватил ее и унес, таким образом, ничто не могло навести полицию на след преступника: надо было подождать, пока раненый не очнется.

Милитона рассказала, что она услышала шум поединка, затем грохот упавшего тела, и ничего больше не прибавила. Хотя девушка и не любила Хуанчо, она никогда не выдала бы его, ведь она сама была невольной виновницей совершенного им злодеяния. Да и, кроме того, несмотря на страх, который внушал ей тореро, необузданность поклонника служила доказательством безграничной страсти, а такая страсть всегда льстит женщине, даже если она не разделяет ее.

Наконец явился хирург и, осмотрев рану, нашел ее не слишком серьезной: лезвие ножа лишь скользнуло по ребру. Сила удара, ушиб при падении и потеря крови вызвали обморок, но Андрес пришел в себя, как только зонд хирурга коснулся его раны. Открыв глаза, он

прежде всего увидел Милитону, подававшую повязку врачу. Матушка Алдонса, прибежавшая на шум, стояла по другую сторону кровати и бормотала слова соболезнования.

Как только перевязка была закончена, хирург удалился, пообещав прийти на следующий день.

Мысли Андреса стали понемногу проясняться, хотя он еще смотрел вокруг себя затуманенным взором; его удивляло, что он находится в этой белой комнатке, на этой узкой девичьей кровати, между ангелом и ведьмой; обморок оборвал нить его воспоминаний, и он не понимал, какой случай привел его с улицы, где он защищался от навахи Хуанчо, в светлый рай Милитоны.

— Говорила я тебе, Хуанчо натворит бед. Вспомни, какие яростные взгляды он бросал на нас! Иначе и быть не могло! Ну и в переделку же мы попали! А когда он узнает, что ты приютила у себя этого молодого человека...

— Не могла же я бросить умирающего у порога своего дома, — возразила девушка. — Не я ли во всем виновата? Впрочем, Хуанчо ничего не скажет. Ему будет нелегко уйти от заслуженного наказания.

— Взгляни-ка, наш больной приходит в себя, — заметила старуха, — он приоткрыл глаза, и щеки у него порозовели.

— Молчите, доктор запретил вам говорить, — прошептала девушка, видя, что Андрес пытается что-то сказать, и, как сиделка, требующая полного повиновения, приложила руку к бледным губам молодого человека.

Когда заря, возвещенная пением сверчка и перепелки, проникла в комнату, ее розовый свет озарил картину, при виде которой Хуанчо зарычал бы от ярости: Милитона, просидевшая до утра у изголовья раненого, уснула, разбитая усталостью и волнениями этой ночи, и в поисках опоры ее отяжелевшая голова невольно опустилась на край подушки, где покоился Андрес. Волосы девушки черными волнами рассыпались по белой простыне, а пробудившийся Андрес наматывал на свою руку одну из роскошных прядей.

Впрочем, рана молодого человека и присутствие матушки Алдонсы, которая так храпела в противоположном углу комнаты, что вполне могла заглушить орган собора Севильской Богоматери, исключали самую возможность дурных мыслей.

Если бы Хуанчо заподозрил, что он не только не убьет соперника, а поможет ему оказаться у Милитоны, на ее девичьей кровати, при одном виде которой этот человек с мужественным сердцем и железной рукой бледнел и дрожал, если бы матадор знал, что незнакомец проведет ночь в комнате, куда его пускали только днем, а с наступлением темноты он лихорадочно ходил под окном любимой, негодуя и бранясь, он бросился бы на землю и в бешенстве изодрал бы себе грудь ногтями.

Да и сам Андрес, строя свои хитроумные планы, не подумал о такой возможности приблизиться к Милитоне.

Девушка проснулась, смутившись, заколола волосы и спросила больного, как он себя чувствует.

— Превосходно, — ответил он, устремив на Милитону взгляд, исполненный любви и благодарности.

Хотя Андрес не вернулся вечером домой, его слуги не обеспокоились: они подумали, что их господин задержался на какой-нибудь веселой пирушке или уехал за город.

Фелисиана напрасно ожидала обычного визита, — Андрес так и не явился. Игра на фортепьяно от этого пострадала. Раздосадованная отсутствием жениха, девушка отрывисто, нервно колотила по клавишам, ибо в Испании считается серьезным проступком не прийти к невесте в назначенный час, и виновный заслуживает эпитетов «неблагодарный» и «вероломный». Нельзя сказать, чтобы Фелисиана пылала любовью к дону Андресу — страсть была не в ее характере и казалась ей чем-то недостойным, но она привыкла видеть жениха и в качестве будущей супруги уже считала его своей собственностью; она раз двадцать переходила от фортепьяно к балкону и даже, вопреки английским правилам, запрещающим женщине появляться в окне, выглянула наружу посмотреть, не идет ли дон Андрес.

«Я встречу, конечно, Андреса сегодня вечером на Прадо, — подумала Фелисиана в виде утешения, — и хорошенько проберу его».

Летним вечером, часов около семи, Прадо, несомненно, лучшее место прогулок в мире, и не потому, что вам не удастся найти более свежей зелени и живописных видов, но нигде вы не увидите такой оживленной, веселой толпы.

Прадо идет от Реколетских ворот до Аточских, однако посещается лишь его отрезок между улицами Алькала и Сан-Херонимо, известный

под далеко не сельским названием Салона. Приземистые деревья, подрезанные для того, чтобы они разрастались вширь, отбрасывают здесь скупую тень на гуляющих. По обеим сторонам аллеи, предназначенной для экипажей, тянутся ряды скамеек, как на Гентском бульваре, и стоят фонари вроде тех, что недавно заменили собою на площади Согласия прежние фонари с их изящно изогнутыми завитками.

По этой аллее важно разъезжают лондонские и брюссельские экипажи, тильбюри, коляски, ландо с гербом на дверцах, а иной раз появится даже старинная испанская карета, запряженная четверкой откормленных, лоснящихся мулов.

Светские щеголи скачут на английских рысаках, под другими приплясывают прекрасные андалузские кони с гривой, перевитой красными лентами, с лебединой шеей и аллюром, не менее плавным, чем поступь арабской танцовщицы. Время от времени пронесется галопом великолепный иссиня-вороной берберийский конь из Кордовы, достойный вкушать отборный ячмень в алебастровой кормушке у какого-нибудь калифа, или проедет, чинно восседая на подушках экипажа, неземная красавица, похожая на пресвятую деву, сошедшую с картины Мурильо, в шляпке от Бодрана вместо ореола.

В самом Салоне движется между рядами сидящих людей беспрестанно меняющаяся толпа, настоящая живая река с ее течениями, водоворотами, завихрениями.

Легкие складки мантилий из белых или черных кружев обрамляют чудесные личики, красивее которых трудно сыскать. Безобразие — редкое явление на Прадо. Здесь некрасивыми называют всего лишь миловидных женщин; веера со свистом раскрываются и закрываются, и слово *agours* (здравствуйте), брошенное мимоходом, сопровождается очаровательной улыбкой и приветственным взмахом руки; Салон напоминает оперное фойе во время карнавала или костюмированный бал без масок.

По другим аллеям, идущим вдоль Артиллерийского парка и Музея живописи, слоняются мизантропически настроенные курильщики, которые предпочитают жару и сутолоке прохладу и грезы, навеваемые приближением вечера.

Фелисиана, ехавшая в открытом экипаже вместе с доном Херонимо, своим батюшкой, напрасно искала глазами дона Андреса

среди молодых всадников; он не подъехал, как обычно, чтобы погарцевать около коляски своей невесты. К удивлению завсегдатаев, экипаж доньи Фелисианы Васкез де лос Риос четыре раза проехал взад и вперед по аллее без своего обычного спутника.

Не найдя Андреса среди всадников, Фелисиана решила посмотреть, не гуляет ли он пешком, и попросила отца пройтись с ней по Салону.

Обойдя раза три или четыре Салон и боковую аллею, она убедилась, что Андреса нет и там.

Молодой англичанин, недавно представленный дону Херонимо, подошел поздороваться с ним и затеял утомительнейший разговор, на который способны лишь жители Великобритании, отважно изъясняющиеся на незнакомых языках с самыми неожиданными придыханиями и диковинными интонациями.

Фелисиана, довольно бегло читавшая «Векфильдского священника», с очаровательной предупредительностью пришла на помощь молодому островитянину, расточая сладчайшие улыбки в ответ на его исковерканные испанские слова. В театре дель Сирко, куда они отправились втроем, Фелисиана объяснила англичанину содержание балета и назвала сидящих в ложах зрителей... Андреса не было и в театре.

По возвращении домой Фелисиана сказала отцу:

— Мы так и не видели сегодня Андреса.

— Да, ты права, — ответил Херонимо, — пошлю к нему слугу. Он, верно, заболел.

Слуга вернулся через полчаса.

— Сеньор Андрес де Сальседо не являлся домой со вчерашнего вечера, — объявил он.

VI

Прошел еще один день, а об Андресе по-прежнему не было ни слуху ни духу. Расспросили всех знакомых. Никто не видел его за последние два дня.

Все это было более чем странно. По всей вероятности, Андресу пришлось отлучиться по важному делу. На вопросы дон Херонимо слуги г-на де Сальседо ответили, что их молодой господин ушел третьего дня, пообедав, как обычно, в шесть часов вечера; он не готовился к отъезду и ни слова не говорил о своем предполагаемом отсутствии. На нем был черный редингот, желтый жилет из английского пике и белые панталоны — костюм, который он надевал, отправляясь на Прадо.

Дон Херонимо был в полном недоумении, он велел поглядеть, нет ли где-нибудь в спальне Андреса письма, которое пролило бы свет на его исчезновение.

У Андреса не было найдено никакой бумаги, кроме курительной.

Чем объяснялось это непонятное отсутствие?

Самоубийством?

Но у Андреса не было ни любовных огорчений, ни денежных неприятностей: он должен был вскоре жениться на любимой девушке и получал в год сто тысяч реалов чистого дохода. Да и как утонуть в июне месяце в Мансанаресе? Разве только несчастный решил вырыть в пересохшей реке колодец?

Не попал ли он в ловушку?

Но у Андреса не было врагов, по крайней мере, никто о них не знал. Его мягкость и благоразумие исключали всякую мысль о дуэли или драке, в которой он мог бы погибнуть; кроме того, такое происшествие стало бы известно, и потерпевшего, живого или мертвого, принесли бы домой.

Значит, тут крылась какая-то тайна, выяснить которую могла только полиция.

С простодушием честного человека дон Херонимо верил во всеведение и непогрешимость полиции и решил прибегнуть к ее помощи.

Полиция в лице местного алькада оседлала свой нос очками, просмотрела последние записи и не нашла в них ничего, что могло бы относиться к исчезновению Андреса. Знаменательная ночь прошла вполне спокойно, и, если не считать нескольких краж и ограблений, нескольких скандалов в значных местах и пьяных драк в тавернах, все обстояло более чем благополучно в благороднейшем и достославнейшем граде Мадриде.

— Случилось, правда, одно дельце, — оказал почтенный чиновник, собираясь захлопнуть книгу, — покушение на убийство неподалеку от площади Лавапиес.

— Не можете ли сообщить мне, сударь, подробности этого дела? — спросил встревоженный Херонимо.

— Как был одет дон Андрес де Сальседо, когда он вышел в последний раз из дому? — спросил полицейский чиновник с глубокомысленным видом.

— На нем был черный редингот, — ответил Херонимо с крайним беспокойством.

— Утверждаете ли вы, — продолжал алькад, — что редингот был именно черный, а не синеватый, зеленоватый, темно-серый или, к примеру сказать, коричневый, — оттенок имеет в данном случае первостепенное значение.

— Редингот был черный, уверен в этом, головой ручаюсь! Да, утверждаю перед богом и людьми, что редингот моего будущего зятя был именно этого цвета... изысканного цвета, как говорит моя дочь Фелисиана.

— Ваши ответы свидетельствуют о редкой образованности, — заметил мимоходом алькад. — Итак, вы уверены, что редингот был черный?

— Да, достопочтенный господин алькад, я убежден, что он был черный, и никто не разуверит меня в этом.

— На пострадавшем была короткая куртка табачного цвета, называемая «марсельской». Конечно, с известной натяжкой черный редингот можно принять ночью за коричневую куртку, — промолвил чиновник, как бы разговаривая сам с собой. — Не припомните ли вы, дон Херонимо, в каком жилете был в тот вечер дон Андрес?

— В жилете из желтого английского пике.

— А на раненом был синий жилет с филигранными пуговицами; эти два цвета — желтый и синий, не особенно похожи; показания явно расходятся. Ну, а панталоны, сударь?

— Панталоны белые, тиковые, со штрипками, и носил их дон Андрес навывпуск. Я получил эти подробности от камердинера сеньора де Сальседо, одевавшего его в тот роковой вечер.

— В протоколе упомянуты широкие суконные панталоны серого цвета и белые кожаные башмаки. Не то, не то. Это костюм махо, щеголя из простонародья, который получил рану, повздорив с соперником из-за какой-нибудь смуглой девчонки в короткой юбке. Несмотря на все наше желание, невозможно признать этого субъекта за сеньора де Сальседо. Вот, впрочем, описание раненого, сделанное весьма тщательно тамошним ночным сторожем: лицо продолговатое, подбородок круглый, лоб обыкновенный, нос средней величины, особых примет не имеется. Узнаете ли вы сеньора де Сальседо по этим приметам?

— Нет, не узнаю, — с глубоким убеждением ответил дон Херонимо... — Но как напасть на след дона Андреса?

— Не беспокойтесь, полиция печется о гражданах, она все видит, все слышит, она вездесуща, и от нее ничто не ускользает. У Аргуса было только сто глаз, у полиции их тысяча, и она не дает усыпить себя звуками свирели. Мы найдем дона Андреса, будь он даже в преисподней. Я пошлю на поиски двух полицейских Аргамазилью и Ковачуело, — более тонких бестий свет еще не видывал, — и через двадцать четыре часа нам все будет доподлинно известно.

Дон Херонимо поблагодарил, откланялся и ушел, преисполненный доверия к полиции. Вернувшись домой, он передал дочери свой разговор с алькадом, но Фелисиане даже в голову не пришло, что маноло, раненный на улице Дель-Повар, может быть ее женихом.

Фелисиана оплакивала своего жениха со сдержанностью девицы благородного рода, которой не пристало слишком явно скорбеть о мужчине. Время от времени она подносила к глазам кружевной платочек и смахивала набежавшую слезинку. Позабытые дуэты меланхолично лежали на закрытом фортепьяно, — признак глубокой грусти Фелисианы. Дон Херонимо с нетерпением ожидал следующего

дня, чтобы ознакомиться с победным донесением Ковачуело и Аргамазильи.

Двое хитроумных полицейских отправились прежде всего на дом к сеньору де Сальседо и выведали у слуг все привычки их господина. Как оказалось, дон Андрес пил шоколад утром, отдыхал в полдень, одевался около трех часов, шел к донье Фелисиане Васкез де лос Риос, обедал в шесть и возвращался домой около полуночи после прогулки или спектакля, — все это дало сыщикам обильную пищу для размышления. Они выяснили также, что, выйдя из дому, сеньор де Сальседо прошел по улице Алькала и свернул на Анча де Пелигрос, — столь ценные сведения сообщил им носильщик-астуриец, стоявший у подъезда Андреса.

Они отправились на улицу Пелигрос, где им удалось установить, что Андрес действительно прошел там третьего дня в начале седьмого; вероятнее всего, он продолжал свой путь по улице Де-ла-Крус.

Измученные огромным умственным напряжением, которое потребовалось от них, чтобы достигнуть столь важного результата, полицейские зашли в эрмитаж — так зовутся в Испании кабачки — и сели играть в карты, попивая мансанилью. Партия затянулась до утра.

После короткого сна они возобновили поиски и проследили за Андресом вплоть до Растро, где окончательно потеряли его след: здесь уже никто ничего не знал о молодом человеке в черном рединготе, желтом пикейном жилете и белых панталонах. Полнейшая неизвестность!.. Многие видели, как он вышел из дома, но никто не видел, чтобы он вернулся обратно. Полицейские терялись в догадках, — не могли же злоумышленники похитить Андреса среди бела дня в одном из самых людных кварталов Мадрида; это исчезновение человеческой личности было необъяснимо, разве только под ногами несчастного Андреса разверзся люк и тут же захлопнулся.

Полицейские долго ходили по закоулкам Растро, наводя справки у торговцев, — все было напрасно. Они заглянули даже в лавочку, где сеньор де Сальседо купил свой маскарадный костюм, но встретила их хозяйка, а одежду продал Андресу хозяин; женщина ничего не могла сообщить пришельцам, да и почти ничего не поняла из их каверзных вопросов; по сомнительному виду обоих она даже приняла их за воров, хотя они были антиподами последних, и с сердцем захлопнула за ними дверь, проверив, все ли вещи на месте.

Таков был итог этого дня. Дон Херонимо снова отправился в полицию, и там ему ответили весьма внушительно, что сыщики уже напали на след преступников, но излишняя поспешность может лишь повредить делу. По простоте душевной дон Херонимо пришел в восторг от ответа полиции и повторил его Фелисиане, которая подняла глаза к небу, глубоко вздохнула, — в таком серьезном положении это можно было сделать, не уронив своего достоинства, — и воскликнула: «Несчастный Андрес!»

Странный случай внес новое осложнение в эту темную историю. Шалопай лет пятнадцати принес на дом к Андресу довольно объемистый сверток и поспешно ушел со словами: «Просьба передать сеньору Сальседо».

Такая с виду простая фраза прозвучала дьявольской насмешкой, когда сверток был вскрыт. В нем находилась — что бы вы думали? — одежда злосчастного Андреса: черный редингот, желтый пикейный жилет, белые панталоны и лакированные сапоги с красными сафьяновыми голенищами. В довершение издевательства среди вещей лежала даже пара парижских перчаток, тщательно вложенных одна в другую.

Этот диковинный случай, беспрецедентный в анналах полиции, крайне поразил Аргамазилью и Ковачуело; первый воздел руки к небу, у второго они безвольно повисли вдоль туловища, свидетельствуя о полном упадке духа; первый проговорил: «O tempora!»,^[49] второй отозвался: «O mores!»^[50]

Не удивляйтесь, читатель, что наши полицейские изъясняются полатыни: Аргамазилья изучал теологию, Ковачуело — право, но в жизни им не повезло. С кем этого не бывает?

Отослать пострадавшему его собственную одежду, тщательно сложенную и упакованную, — что за неслыханная, утонченная извращенность! Издевательство вслед за преступлением — какая превосходная тема для обвинительной речи.

Осмотр присланных вещей еще больше озадачил почтенных полицейских.

Сукно на рединготе оказалось совершенно целым; на нем не было ни треугольной, ни круглой дырки, сделанной клинком или пулей. Быть может, жертву задушили? Но в таком случае, дело не обошлось бы без борьбы, жилет и панталоны не были бы так девственно свежи, а

смяты, скомканы, разорваны; нельзя же предположить, в самом деле, что Андрес де Сальседо предусмотрительно разделся в ожидании грозящего ему убийства и в обнаженном виде подставил грудь под удары злоумышленников, чтобы сберечь свое платье, — это было бы слишком пошло!

От такой задачи могли бы пойти кругом головы и покрепче, чем у Аргамазильи и Ковачуело.

Ковачуело, более склонный к логическому мышлению, чем его приятель, просидел четверть часа, сжав руками виски, дабы от усиленной работы мысли не раскололась его многотуманная голова.

— Если дон Андрес де Сальседо не умер, значит, он жив, ибо таковы два состояния человека, третьего я не знаю, — победоносно изрек он наконец.

Аргамазилья утвердительно кивнул головой.

— Если сеньор де Сальседо жив, в чем лично я не сомневаюсь, то не может же он ходить в чем мать родила *more ferarum*.^[51] Из дому он вышел без всякого свертка, а так как перед нами лежит его одежда, он волей-неволей должен был купить себе другую; ибо нельзя допустить, чтобы в наш просвещенный век человек довольствовался костюмом Адама.

Глаза Аргамазильи буквально вылезли из орбит — с таким напряженным вниманием слушал он рассуждения своего друга Ковачуело.

— Вряд ли дон Андрес приготовил заранее одежду, в которую он облекся позднее в одном из домов квартала, где мы потеряли его след; вероятно, он купил какой-нибудь костюм у старьевщика, после чего велел отослать домой свое собственное платье.

— Ты — гений, ты — Бог! — воскликнул Аргамазилья, прижимая Ковачуело к сердцу. — Дай я тебя поцелую. С сегодняшнего дня я недостойн быть твоим другом, я твой раб, твой сеид, твой мамелюк. Располагай мной, великий человек, я последую за тобой даже на край света. Если бы у нашего правительства была хоть капля справедливости, ты не остался бы простым полицейским, тебя назначили бы начальником полиции в крупнейшем городе королевства. Но разве правительства бывают справедливы?

— Мы обследуем все лавчонки старьевщиков, все магазины готового платья, просмотрим список проданных товаров и получим

описание костюма, купленного сеньором де Сальседо. Если бы привратник догадался задержать мальчишку, принесшего сверток, или вызвать полицию, мы узнали бы у этого негодника, кто его послал и откуда он взялся. Но людям, чуждым нашей профессии, не хватает сообразительности, да и кто мог предвидеть случай со свертком? Итак, в дорогу, Аргамазилья: ты обойдешь портных на Мальоркской улице, я допрошу старьевщиков с Растро!

Через несколько часов оба друга явились с донесением к алькаду.

Аргамазилья рассказал кратко и обстоятельно о своих розысках. Какой-то субъект, одетый в костюм махо и, по-видимому, весьма взволнованный, купил, не торгуясь (признак сильнейшей озабоченности), фрак и черные панталоны у одного из лучших портных, обосновавшихся под колоннадой Мальоркской улицы.

Ковачуело поведал, что старьевщик с Растро продал куртку, жилет и пояс маноло какому-то мужчине в черном рединготе и белых панталонах, — по всей вероятности, это и был дон Андрес де Сальседо.

И тот и другой переоделись в комнате за магазином и вышли на улицу в своем новом платье, что было явной маскировкой, так как оно не соответствовало общественному положению, занимаемому каждым из них. Почему в один и тот же день и почти в один и тот же час светский человек нарядился в куртку махо, а махо — во фрак светского человека? Этого вопроса не могут разрешить жалкие низшие чины, обладающие лишь заурядными способностями, вроде Аргамазильи и Ковачуело, зато тайну, несомненно, разгадает, благодаря присущей ему редкой проницательности, начальник полиции, которому они имеют честь представить свое донесение.

Но если им будет дозволено высказать свой взгляд на вещи, то это таинственное исчезновение, эта двойная маскировка, эти вещи, нагло отосланные на дом потерпевшего, словом, все эти необъяснимые факты, связаны, по-видимому, с крупным заговором, имеющим целью возвести на трон Эспартеро или графа Монтемолино. В своих маскарадных костюмах преступники, несомненно, отправились в Арагон или Каталонию, чтобы примкнуть там к ядру карлистов или к уцелевшим партизанам, которые набирают новый отряд. Испания живет на вулкане, однако за соответствующее вознаграждение Аргамазилья и Ковачуело берутся затушить этот вулкан и помешать

злодеям присоединиться к своим сообщникам, они обещают не позже, как через неделю, доставить список заговорщиков и планы заговора.

Алькад выслушал это выдающееся донесение со всем вниманием, какого оно заслуживало.

— Располагаете ли вы сведениями о том, что сделали эти два субъекта после того, как они переоделись, и притом одновременно? — спросил он у полицейских.

— Махо, одетый в костюм светского человека, прошелся по Салону Прадо, заглянул в театр дель Сирко и съел порцию мороженого в «Биржевом кафе», — ответил Аргамазилья.

— Светский человек, одетый в костюм махо, несколько раз медленно обошел площадь Лавапиес и прилегающие к ней улицы, поглядывая на девушек в окнах, и выпил лимонаду со льдом в лавке, торгующей прохладительными напитками, — отрапортовал Ковачуело.

— Каждый из них вел себя в соответствии с характером своей одежды. Какое поразительное притворство, какая дьявольская ловкость! — заметил алькад. — Один хотел проникнуть в народ и прощупать настроения низших классов; другой — заверить высшее общество в расположении и поддержке народа. Но мы-то на посту, мы не дремлем! Мы вас поймаем с поличным, господа конспираторы, будь вы карлисты, аякучосы, прогрессисты или ретрограды. Ха, ха, у Аргуса было сто глаз, но у полиции их тысяча, и она начеку.

Это было излюбленным выражением почтенного чиновника, его коньком, его Ли́ла Бурельо. Он считал не без основания, что оно прекрасно заменяет мысль, когда в голове пусто.

— Аргамазилья и Ковачуело, вы получите вознаграждение. Но скажите, что случилось с обоими преступниками? Ибо они настоящие преступники, если судить по их поступкам и гибельным планам.

— Не знаем, за это время успело стемнеть. Нам удалось собрать лишь скудные сведения очевидцев о действиях и передвижениях злоумышленников, и с той самой ночи мы потеряли их след.

— Черт возьми, какая досада! — заметил алькад.

— Не беспокойтесь, мы найдем их! — с жаром вскричали оба друга.

Дон Херонимо зашел днем в полицию за новостями.

Алькад встретил его довольно сухо, но когда дон Херонимо де Васкез рассыпался в извинениях, говоря, что он, видимо, проявил

излишнюю навязчивость, чиновник посоветовал ему:

— Вам не следовало бы принимать такое явное участие в доне Андресе де Сальседо; он замешан в крупном заговоре, нити которого находятся у нас в руках.

— Андрес — заговорщик! — воскликнул дон Херонимо. — Быть этого не может!

— Да, это так, — подтвердил блюститель порядка тоном, не допускающим возражений.

— Молодой человек с таким мягким, спокойным, веселым, безобидным нравом?!

— Он прикидывался безобидным, подобно Бруту, который прикидывался сумасшедшим. И все это для того, чтобы скрыть свои козни и отвлечь от себя внимание. Но нас, старых лисиц, не проведешь. Лучше всего было бы для Сальседо ускользнуть от нас. Пожелайте ему этого.

Несчастный Херонимо вернулся домой растерянный, пристыженный своей близорукостью. Он знал Андреса с детства, сажал малыша к себе на колени, и ему даже в голову не приходило, что он пригрел у себя в доме опасного заговорщика. Он со священным трепетом восхищался редкой проницательностью полиции, открывшей за такой короткий срок тайну, о которой он даже не подозревал, хотя ежедневно видел преступника, и настолько ошибался в нем, что согласился выдать за него свою дочь.

Удивлению Фелисианы не было границ, когда она узнала, что за ней ревностно ухаживал глава широко разветвленного карлистского заговора. Какой силой воли должен был обладать дон Андрес, дабы ничем не выдать своих далеко идущих политических замыслов и с таким невозмутимым спокойствием разучивать дуэты Беллини! Доверяйтесь после этого безмятежному выражению лица, скромному виду, ясному взгляду и милой улыбке! Кто мог подумать, что Андрес, который воодушевлялся лишь при упоминании о корриде и, казалось, умел судить только о достоинствах тореро, предпочитая Севилья Родригесу и Чикланеро Архоне, скрывал под внешним легкомыслием такую глубину мысли.

Оба сыщика приступили к новым поискам и обнаружили, что раненый, подобранный Милитоной, был тем самым молодым

человеком, который купил одежду в Растро. Донесение серено и рассказ старьевщика полностью совпадали. Куртка табачного цвета, синий жилет, красный пояс, — ошибиться тут было невозможно.

Полученные сведения расстроили Аргамазилью и Ковачуело, возлагавших большие надежды на раскрытие заговора. Исчезновение Андреса больше бы соответствовало их видам. Дело сводилось, по-видимому, к простой любовной интрижке, к невинной ссоре двух соперников, к обыкновенному покушению на убийство, словом, к сущей безделице. Соседи слышали серенаду, все сомнения рассеялись.

— Мне никогда не везло, — сказал со вздохом Ковачуело.

— Я родился под несчастной звездой, — отозвался Аргамазилья плачущим голосом.

Бедные друзья! Мечтать о раскрытии заговора и наткнуться на заурядный поединок, окончившийся всего-навсего серьезной раной. Какая досада!

Вернемся теперь к Хуанчо, которого мы покинули после его поединка с Андресом. Час спустя он, крадучись, вернулся обратно и, к своему великому изумлению, не нашел тела противника в том месте, где тот упал; неужели раненый очнулся и уполз куда-нибудь в муках агонии? Или труп его подобрали серено? Как знать? И что делать Хуанчо? Остаться или бежать? Бегство выдаст его с головой, да и ревнивое сердце матадора не могло примириться с мыслью оставить Милитону одну, позволить красавице жить, как ей заблагорассудится. Ночь была темна, улица безлюдна, ни одна душа не видела его. Кто обвинит убийцу?

Однако бой длился достаточно долго, и противник прекрасно мог узнать его, ведь лица тореро и актеров всем известны; и если тот не был сражен наповал, как думал Хуанчо, то, вероятно, уже донес на него. У матадора сложились довольно щекотливые отношения с полицией из-за его пристрастия пускать в ход наваху. Он рисковал в случае ареста провести несколько лет в африканских владениях Испании — в Сеуте или Мелилье.

Итак, он вернулся домой, вывел во двор своего кордовского скакуна, набросил на него пестрое одеяло и понесся куда глаза глядят.

Если бы живописец видел на улице этого могучего всадника, подгоняющего статного вороного коня с развевающейся гривой и сверкающим хвостом, из-под копыт которого летят снопы искр, если

бы он видел, как конь мчится по неровной мостовой и его тень, едва поспевая бежит вслед за ним по белеющим в ночном сумраке стенам, он создал бы полотно огромной впечатляющей силы ибо этот громкий галоп по безмолвному городу, эта спешка среди мирной ночи таили в себе целую драму, но... все живописцы спали.

Хуанчо выехал вскоре на карабанчельскую дорогу, миновал сеговийский мост и поскакал во весь опор по темным, хмурым полям.

Он уже отъехал на четыре лье от Мадрида, когда образ Милитоны предстал перед ним как живой, и он почувствовал, что не может продолжать свой путь. А вдруг его удар не был смертелен и соперник отделался легкой раной? И он вообразил себе этого красавчика почти здоровым у ног улыбающейся Милитоны.

Холодный пот выступил на лбу у Хуанчо; он с такой силой стиснул зубы, что не мог разжать челюстей; его колени судорожно впились в бока лошади, у которой хрустнули ребра, и благородное животное остановилось как вкопанное, ибо у него перехватило дух. Хуанчо показалось, будто раскаленные докрасна иглы впились ему в сердце.

Он повернул назад и ураганом полетел в город. Когда он вернулся обратно, его вороной был весь в мыле. Пробило три часа утра; Хуанчо поспешил на улицу Дель-Повар. У Милитоны еще горела лампа — целомудренный, колеблющийся огонек возле старой стены. Тореро хотел было высадить входную дверь, но, несмотря на свою незаурядную силу, не мог этого сделать: Милитона тщательно задвинула изнутри все железные засовы. Хуанчо вернулся домой, разбитый усталостью, жалкий, несчастный, в состоянии мучительной неуверенности, так как он заметил две тени на занавеске Милитоны. Неужели он ошибся и поразил не настоящего соперника?

Когда рассвело, Хуанчо, завернувшись в плащ и надвинув на глаза шляпу, отправился разузнать, какие ходят слухи о ночном происшествии; оказалось, что молодой человек не умер, но был тяжело ранен, и так как перевезти беднягу домой было невозможно, его приютила Милитона, — за этот милосердный поступок местные кумушки превозносили ее до небес. Как ни был крепок Хуанчо, он почувствовал, что ноги у него подкосились, и прислонился к стене. Его соперник в комнате и на кровати Милитоны! Худшей муки нельзя было бы придумать для него даже в девятом круге ада!

Приняв наконец решение, он вошел в дом Милитоны и стал подниматься по лестнице тяжелой, гулкой поступью, более зловещей, чем шаги Командора.

VII

Дойдя до площадки второго этажа, Хуанчо остановился, шатаясь, растерянный, обезумевший, — он боялся самого себя, боялся того, что может произойти. Мысли вихрем кружились в его голове. Растопчет ли он своего ненавистного соперника, чтобы тот испустил наконец свой последний вздох? Убьет ли Милитону или подожжет дом? В душе у него неистовствовала буря — страшные, сумасшедшие, беспорядочные замыслы сменяли друг друга. Во время краткого проблеска разума тореро решил было вернуться и даже сделал полуоборот, но ревность снова вонзила в его сердце свое отравленное жало, и он продолжал подниматься по крутой лестнице.

Трудно было встретить более могучего человека, чем Хуанчо: крупная голова, шея круглая и прямая, как колонна, атлетические плечи, торс, напоминающий мраморные бюсты античных гладиаторов, стальные мускулы, руки, не знающие поражения, — одной рукой он мог вырвать рог у быка, — а между тем всю эту физическую силу сокрушила неистовая душевная боль. Пот выступил на лбу, ноги дрожали, кровь бешено стучала в висках, языки пламени плясали перед глазами.

Несколько раз ему пришлось уцепиться за поручень, чтобы не скатиться вниз по лестнице, как какой-нибудь неодушевленный предмет, — так нестерпимы были его сердечные муки.

На каждой ступеньке он повторял, скрежеща зубами, наподобие дикого зверя: «Он в ее комнате!.. в ее комнате!..» И машинально раскрывал и закрывал длинный альбасетский нож, который он вынул из-за пояса.

Хуанчо добрался наконец до двери Милитоны и, затаив дыхание, прислушался.

В комнате было тихо, он услышал лишь шум собственной крови в ушах и глухие удары своего сердца.

Что происходило в этой мирной комнате, за этой дверью — слабой преградой, отделявшей его от врага? Растроганная Милитона, верно, стояла, склонясь над кроватью, и с нежностью, с беспокойством подстерегала пробуждение раненого, чтобы утишить его боль.

«Если бы я только знал, что достаточно получить удар кинжалом, чтобы вызвать твою любовь, твое сострадание, я не ранил бы его, а сам получил бы рану; в этом злосчастном поединке я нарочно подставил бы ему грудь и упал бы умирающий перед дверью твоего дома. Но ты не пришла бы мне на помощь, ты оставила бы меня подыхать на мостовой, ведь я не красавчик в белых перчатках и щегольском фраке».

Эта мысль вновь пробудила ярость Хуанчо, и он резко постучал в дверь.

Андрес вздрогнул на своем ложе страдания; Милитона, сидевшая у его изголовья, вскочила, словно от внутреннего толчка, прямая и бледная; матушка Алдонса позеленела, перекрестилась и поцеловала большой палец на своей правой руке.

Стук был так отрывист, неистов, повелителен, что не отворить двери было просто нельзя. Еще один такой удар, и она соскочила бы с петель.

Так мог стучать лишь каменный гость, призрак, который ничем не отгонишь, или мифическое существо, появляющееся при развязке всякой драмы: Месть с кинжалом, Правосудие с мечом.

Дрожащей рукой старуха приоткрыла оконце и увидела Хуанчо.

Бескровное лицо Медузы с шевелящимися на голове зелеными змеями не произвело бы более страшного впечатления на бедную матушку Алдонсу; она хотела позвать на помощь, но крик застрял в ее пересохшем горле; она замерла с открытым ртом, растопырив пальцы и устремив глаза в одну точку, — казалось, она окаменела.

Надо признаться, что лицо тореро, появившееся в квадратной рамке оконца, могло хоть на кого навести страх: под глазами у него лежали багровые тени, на мертвенно-бледных щеках белыми пятнами выделялись скулы, от которых, казалось, отлила вся кровь; ноздри раздувались, как у хищного зверя, почуявшего добычу, искусанная нижняя губа распухла. На этом искаженном лице чередовались разные чувства — ярость, ревность, жажда мести.

— Пресвятая дева альмуденская, — пробормотала старуха, — внемли моей мольбе, избавь нас от этой напасти, и я девять дней буду молиться денно и ночью и поставлю тебе узорчатую свечу, украшенную бархатом.

Несмотря на всю свою храбрость, Андрес почувствовал щемящую душу тревогу, свойственную даже самым мужественным людям, когда они не в силах бороться с грозящей им опасностью; он безотчетно протянул руку, как бы ища оружие.

Видя, что ему не отворяют, Хуанчо надавил плечом на дверь, доски ее заскрипели, и со стены, возле петель, посыпалась штукатурка.

Заслонив собою Андреса, Милитона спокойно и решительно сказала обезумевшей от ужаса старухе:

— Отворите, Алдонса, я этого хочу.

Алдонса отодвинула задвижку и, встав у стены, отворила дверь на себя, чтобы спрятаться за нею, как это делает укротитель, выпуская на арену тигра, или сторож, который дает свободу запертому в загоне гавирийскому или кольменарскому быку.

Хуанчо, ожидавший сопротивления, медленно вошел в комнату; он был несколько озадачен тем, что ему так быстро отворили. Но взгляд, брошенный им на кровать Милитоны, где лежал Андрес, снова разжег его гнев.

Он рванул дверь, за которую в смертельном испуге цеплялась матушка Алдонса, полагавшая, что настал ее последний час, и с силой захлопнул, несмотря на отчаянное сопротивление несчастной женщины; затем он прислонился к двери и скрестил на груди руки.

— Боже милостивый! — прошептала старуха, стуча зубами от страха. — Он зарежет нас всех троих. Не позвать ли на помощь? — И она шагнула к окну.

Но Хуанчо отгадал намерение Алдонсы, схватил ее за подол юбки и резко отбросил к стене, вырвав клоч материи.

— Не вздумай кричать, старая ведьма, не то я сверну тебе шею, как куренку, и ты сразу отдашь свою душу дьяволу! Попробуй встать между мной и моим врагом, и я раздавлю вас обоих! — С этими словами он указал рукой на слабого и бледного Андреса, пытавшегося приподнять голову с подушки.

Положение было ужасным: эта сцена разыгралась почти бесшумно и не могла привлечь внимание соседей. Впрочем, Хуанчо внушал им такой ужас, что они, надо полагать, заперлись бы у себя дома, не желая вступать с ним в борьбу; вызвать же полицейских или солдат потребовало бы слишком много времени, да и сделать это мог

только кто-нибудь посторонний, так как нечего было и думать о том, чтобы вырваться из этой злополучной комнаты.

Итак, несчастный Андрес, уже получивший удар кинжала, ослабевший от потери крови, перевязанный, укутанный в одеяла, не имеющий ни оружия, ни силы для защиты, оказался во власти необузданного противника, который не помнил себя от ревности и гнева, причем никто в мире не мог спасти раненого. И все это потому, что во время корриды тот засмотрелся на хорошенькую манолу.

По всей вероятности, в эту минуту он не без грусти вспоминал о фортепьяно, о чае и прозаических нравах цивилизованного общества.

Тут Андрес бросил взгляд на Милитону, словно умоляя ее отказаться от бесполезной борьбы; девушка побелела от ужаса и была так лучезарно прекрасна, что он не пожалел о той дорогой цене, которую заплатил за знакомство с нею.

Она стояла, опершись одной рукой о кровать Андреса, как бы для того, чтобы защитить больного, а другой рукой величественно указывала Хуанчо на дверь.

— Зачем вы пришли сюда, убийца? — спросила она его звенящим голосом. — Вы ищете любовника там, где лежит лишь тяжело раненный человек! Ступайте вон! Неужто вы не боитесь, что рана его раскроется в вашем присутствии? Вам мало искалечить человека, вы еще хотите *зарезать* его!

Девушка подчеркнула это слово и красноречиво посмотрела на Хуанчо; тот смутился, покраснел, побледнел, и выражение его лица, до сих пор свирепое, стало тревожным.

Помолчав немного, он сказал прерывающимся голосом:

— Поклянись мне мощами Сакромонте и Пиларской божьей матерью, поклянись памятью твоего героя-отца и твоей матери, — она была святая женщина, — что ты не любишь этого человека, и я тотчас же уйду.

Андрес с тревогой ждал ответа Милитоны.

Она ничего не сказала.

Ее длинные черные ресницы опустились, и легкий румянец появился на щеках.

И хотя это молчание могло обернуться для него смертным приговором, Андрес, с беспокойством ожидавший ответа Милитоны, почувствовал, что его сердце наполнилось неизъяснимой радостью.

— Если ты не хочешь клясться, — продолжал Хуанчо, — скажи просто «нет». Я поверю тебе, ты никогда не лгала. Но ты молчишь, я убью его! — И он подошел к кровати с кинжалом в руке. — Ты его любишь!

— Да, люблю, — воскликнула девушка, глаза ее сверкали, голос дрожал от благородного гнева. — Если ему суждено умереть из-за меня, пусть знает, по крайней мере, что я люблю его; пусть унесет в могилу это слово, которое будет его наградой, а твоей мукой!

Одним прыжком Хуанчо очутился возле Милитоны и с силой схватил ее за руку.

— Не говори больше так, иначе я не отвечаю за себя! Я швырну тебя с навахой в груди на труп этого красавчика!

— Не все ли мне равно! — молвила мужественная девушка. — Неужели ты думаешь, что я останусь жить, если он умрет?

Андрес через силу попытался сесть. Он хотел крикнуть, но только розовая пена выступила у него на губах. Из раны хлынула кровь, и он без чувств упал на подушку.

— Если ты не уйдешь отсюда, — проговорила Милитона, видя Андреса без сознания, — я сочту тебя презренным, низким, бесчестным человеком; я поверю, что ты мог спасти Домингеса, когда бык поверг его на землю, и не спас его из мелкой ревности.

— Милитона! Милитона! Вы имеете право ненавидеть меня, хотя ни одна женщина не была любима так, как я люблю вас, но вы не должны меня презирать. Ничто не могло спасти Домингеса от гибели!

— Сейчас же убирайтесь отсюда, не то я сочту вас убийцей.

— Хорошо, я подожду, пока он поправится, — мрачно ответил Хуанчо. — Получше ухаживайте за ним!.. Я дал клятву, что, пока я жив, вы не будете принадлежать никому другому.

В продолжение этого разговора матушка Алдонса выскочила за дверь, подняла тревогу и вызвала на помощь людей.

Пять или шесть смельчаков набросились на Хуанчо, и он вышел из комнаты с гроздью висящих на нем парней; он стряхнул их с себя, разбросав во все стороны, как это делает бык, осаждаемый собаками, которые не могут ни укусить его, ни задержать.

Затем он спокойно углубился в лабиринт улочек, окружающих площадь Лавапиес.

Разыгравшаяся сцена ухудшила состояние здоровья Андреса, у него поднялась температура, и он пролежал в бреду остаток дня, всю ночь и весь следующий день.

Милитона ухаживала за ним с самой трогательной, нежной заботливостью.

Как мы уже говорили читателям, Аргамазилье и Ковачуело удалось установить, благодаря своей исключительной изобретательности, личность маноло, раненного на улице Дель-Повар, и местный алькад тотчас же сообщил дону Херонимо, что молодой человек, в котором он принимает участие, был найден у манолы в квартале Лавапиес: девушка подобрала его полуживого у своей двери, одетого неизвестно почему в платье *махо*.

При этом известии перед Фелисианой встал вопрос: может ли юная невеста посетить в сопровождении отца или какой-нибудь почтенной родственницы своего серьезно раненного жениха?

Вполне ли пристойно для благовоспитанной барышни раньше времени увидеть мужчину в постели? Не принадлежит ли это зрелище к тем, от которых должна стыдливо отказаться целомудренная девушка, несмотря на всю святость своего побуждения? Ну, а вдруг Андрес подумает, будто он брошен, забыт, и умрет от горя? Нет, это было бы слишком печально.

— Батюшка, — сказала Фелисиана, — нам следовало бы навестить несчастного Андреса. Как вы думаете?

— С удовольствием, доченька. Я собирался предложить тебе это, — ответил добряк Херонимо.

VIII

Благодаря своему крепкому организму и превосходному уходу Милитоны Андрес вскоре начал поправляться; он уже разговаривал, садился в кровати, опершись на подушки, и отдал себе отчет в происшедшем: положение было довольно затруднительным.

Конечно, его исчезновение должно было, обеспокоить Фелисиану, дону Херонимо и всех друзей, и ему давно надлежало уведомить их; но вместе с тем Андресу вовсе не хотелось сообщать невесте, что он находится в комнате хорошенькой девушки, из-за которой он получил удар кинжала; сделать такое признание было трудно, а не сделать — невозможно.

Приключение обернулось иначе, чем он предполагал; дело было уже не в интрижке с приглянувшейся ему девушкой: преданность и мужество Милитоны показали ее в ином, истинном свете. Как отнесется она к тому, что Андрес связан с другой? Гнев Фелисианы гораздо меньше трогал раненого, чем отчаяние Милитоны. Для одной речь шла о *неблаговидном* поступке, для другой — о глубоком горе. Неужели признание в любви, столь благородно брошенное перед лицом смертельной опасности, заслуживало такого вознаграждения? Не обязан ли он отныне защищать девушку от ярости Хуанчо, который может вернуться и вновь приняться за свои домогательства?

Эти и многие другие мысли тревожили Андреса, и он задумчиво смотрел на Милитону, сидевшую у окна с работой в руках, так как она вернулась к трудовой жизни, едва только прошло смятение первых дней.

Теплый чистый свет окутывал ее, точно лаская, синеватыми отблесками скользил по ее гладко зачесанным великолепным волосам, тяжелым пучком уложенным на затылке, а воткнутая у виска гвоздика красной искрой вспыхивала в их живой черноте. Девушка была удивительно мила в этой позе. Кусок голубого неба, на котором выделялся кустик базилика, лишившийся своего двойника, — тот упал на улицу в памятный вечер обмена записками, — служил фоном для восхитительной девичьей головки.

Сверчок и перепелка пели по очереди свои песенки, и тихий ветерок, подхватив на лету запах душистого растения, разносил по комнате его слабый и нежный аромат.

Белая комнатка, украшенная несколькими грубо раскрашенными гравюрами и озаренная присутствием Милитоны, обладала особой прелестью для Андреса. Эта целомудренная бедность, эта бесхитростная, убогая обстановка пленяли душу, — в непорочной гордой нищете есть своя поэзия. Право же, надо очень немного для жизни такого очаровательного создания.

Сравнивая эту простую комнату с претенциозной и безвкусной обстановкой доньи Фелисианы, Андрес находил еще более нелепыми часы, занавески, статуэтки и стеклянных собачек своей невесты.

На улице послышался серебристый перезвон — это шло стадо коз с колокольчиками на шее.

— Вот и мой завтрак, — весело проговорила Милитона, кладя на стол шитье. — Я сбегая вниз и задержу стадо; возьму молока побольше, — ведь нас двое, и врач разрешил вам немного поесть.

— Такого гостя, как я, нетрудно прокормить, — ответил Андрес, улыбаясь.

— Полноте, аппетит приходит во время еды! Хлеб у нас белый, молоко я принесу парное, — мой поставщик никогда меня не обманывает.

С этими словами Милитона выбежала из комнаты, напевая вполголоса куплет старинной песенки. Она вскоре вернулась порозовевшая, тяжело дыша, так как быстро поднялась по крутой лестнице с кувшином пенистого молока в руках.

— Надеюсь, сударь, я ненадолго оставила вас одного. Как-никак на лестнице восемьдесят ступенек, а по ней надо спуститься, а главное, подняться.

— Вы резвая и проворная, как птичка. Эта же темная лестница была несколько минут тому назад лестницей Иакова.

— Почему? — спросила Милитона, по простоте душевной даже не подозревая, что ей сказали комплимент.

— Да ведь по ней спустился ангел, — ответил Андрес, прижимая к губам руку Милитоны, успевшей разлить на две равные части принесенное молоко.

— Не надо мне льстить, сударь, кушайте и пейте, что вам подано; назовите меня хоть архангелом, а больше ничего не получите.

Она протянула больному налитую до половины глиняную чашку и небольшой кусок превосходного, крутого, поджаристого хлеба ослепительной белизны, какой выпекают в Испании.

— Еда не очень-то хороша, мой бедный друг, но сами виноваты: оделись как простолудин, так и довольствуйтесь завтраком тех людей, чей костюм вы носите! Это отучит вас рядиться в чужое платье.

Говоря это, она сдувала легкую пену с поверхности молока и пила его маленькими глотками. Над ее алой губой появились от молока хорошенькие белые усики.

— Кстати, — продолжала Милитона, — теперь, когда вы уже можете разговаривать, объясните мне, почему в цирке вы были в превосходном рединготе, сшитом по последней парижской моде, а у двери своего дома я подобрала вас в костюме маноло? Какой из этих нарядов маскарадный? Первый или второй? Правда, я не особенно хорошо знаю жизнь, но, по-моему, первое платье, в котором я вас встретила, и было настоящим. Это доказывают также ваши тонкие белые руки, — видно, вы никогда не работали.

— Да, Милитона, желание вас видеть и боязнь подвергнуть вас опасности толкнули меня на этот маскарад, — ведь в вашем квартале мой обычный костюм сразу обратил бы на себя внимание. А в куртке, поясе и шляпе маноло я оказался лишь песчинкой в толпе, где меня мог узнать только ревнивец.

— Или любящая женщина, — проговорила Милитона, краснея. — Ваш костюм несколько меня не обманул. Я думала, что слова, сказанные мною в цирке, остановят вас; я желала этого, так как заранее все предвидела, и, однако, мне было бы обидно, если бы вы оказались слишком послушны.

— А теперь позвольте мне расспросить вас о свирепом Хуанчо.

— Разве я не сказала под угрозой кинжала, что люблю вас? И не ответила этим заранее на все вопросы? — возразила девушка с глубокой искренностью, смотря на него чистыми, сияющими глазами.

Все сомнения, которые могли возникнуть у Андреса по поводу связи тореро и Милитоны, рассеялись, как дым.

— Впрочем, если это доставит вам удовольствие, дорогой больной, я расскажу в двух словах о Хуанчо и о себе. Начнем с меня.

Мой отец, безвестный солдат, погиб геройской смертью на гражданской войне, сражаясь за правое дело. Подвиги его были бы воспеты поэтами, если бы он совершил их не в узком ущелье Арагонских гор, а на каком-нибудь прославленном поле брани. Моя достойная матушка не пережила смерти своего обожаемого супруга, и я осталась сиротой в тринадцать лет, не имея других родных, кроме Алдонсы, такой же бедной, как и я; поэтому она не могла оказать мне большой помощи.

Мне немного надо, чтобы прокормиться, и я стала жить трудом своих рук под благословенным небом Испании, которая одаряет своих детей теплом и светом; мой главный расход — покупка билета на бой быков, куда я хожу по понедельникам; у девушек из народа, вроде меня, нет книг, фортепьяно, театра и званых вечеров, как у светских барышень, и мы любим это простое и величественное зрелище, где отвага человека побеждает слепую ярость животного. На корриде меня увидел Хуанчо и вспылал ко мне безумной, неистовой страстью. Но, несмотря на его мужественную красоту, блестящие костюмы, невероятные подвиги, он не внушил мне любви... Как он ни старался тронуть меня, моя неприязнь к нему только росла.

Однако я часто бранила себя за неблагодарность, — ведь он просто боготворил меня; но любовь не зависит от нашего желания: Господь Бог посылает ее нам, когда на то бывает его святая воля. Видя, что я не люблю его, Хуанчо стал недоверчив, ревнив; он постоянно преследовал, подстерегал меня, шпионил за мной и всюду искал воображаемых соперников. Мне приходилось следить за каждым своим взглядом, за каждым словом; стоило мне посмотреть на мужчину, сказать ему несколько слов — и этого было достаточно: Хуанчо затевал с ним жестокую ссору; он отпугнул от меня всех поклонников, и никто уже не решался переступить созданный им заколдованный круг.

— Надеюсь, я навсегда порвал этот круг, не думаю, чтобы Хуанчо вернулся...

— Если и вернется, то нескоро. Он будет скрываться от ареста, пока вы не поправитесь. Но скажите, кто вы? Давно пора спросить об этом, не правда ли?

— Меня зовут Андрес де Сальседо. Я достаточно богат, чтобы делать то, что мне кажется достойным, и я не завишу ни от кого на

свете.

— А у вас нет красивой, нарядной, богатой невесты? — спросила Милитона дрогнувшим голосом.

Андресу претило лгать, но сказать правду было нелегко. Он отделался туманным ответом.

Милитона не стала настаивать, она немного побледнела и задумалась.

— Дайте мне, пожалуйста, перо и клочок бумаги. Мне надо написать друзьям: их, наверно, беспокоит мое отсутствие.

Девушка с трудом разыскала в ящике стола пожелтевший лист почтовой бумаги, погнутое перо и чернильницу, как лаком покрытую изнутри слоем высохших чернил.

Несколько капель воды вернули чернилам первоначальное свойство, и Андресу удалось нацарапать у себя на коленях следующую записку, адресованную дону Херонимо Васкез де лос Риос:

«Мой дорогой будущий тесть!

Не беспокойтесь обо мне. Из-за несчастного случая, который не повлечет за собой серьезных последствий, я вынужден пробыть еще некоторое время в приютившей меня семье. Надеюсь вскоре засвидетельствовать свое почтение донье Фелисиане.

Андрес де Сальседо».

В этом письме, написанном в макиавеллевском стиле, не был указан адрес семьи, где находился Андрес, оно не содержало никаких точных сведений и давало полный простор его автору представить впоследствии события в нужном ему свете; письмо должно было развеять опасения добряка Херонимо и Фелисианы и дать выигрыш во времени Андресу, не знавшему, что его будущий тесть обо всем осведомлен благодаря проницательности Аргамазилья и Ковачуело.

Матушка Алдонса отнесла послание на почту, и Андрес, успокоившись на этот счет, полностью отдался нежным, поэтическим чувствам, которые навевала на него эта убогая комнатка, казавшаяся такой прелестной из-за присутствия Милитоны.

Он наслаждался большой, чистой радостью, ибо истинная любовь не зависит от предрассудков, ей чужда самолюбивая гордость, торжество победы и химерические мечты, и порождается она счастливым сочетанием молодости, красоты и невинности — этого божественного триединства!

По мнению людей утонченных, которые лакомятся любовью, как мороженым, вкушая ее маленькими глотками, и ждут, чтобы продлить наслаждение, пока... она не растает, внезапное признание Милитоны должно было лишить Андреса своей полной непосредственностью многих оттенков, многих чудесных переходов. Светская женщина готовила бы полгода это признание, чтобы оно произвело наибольший эффект, но Милитона не принадлежала к светскому обществу.

Получив письмо Андреса, дон Херонимо отнес его дочери.

— Прочти, Фелисиана, вот письмо от твоего жениха, — торжествующе сказал он.

IX

Фелисиана пренебрежительно взяла письмо, которое протягивал ей отец, и сразу же заметила, что оно написано не на глянцеви́той бумаге.

— Письмо без конверта и запечатанное облаткой! — проговорила она. — Какое нарушение хорошего тона! Но надо быть снисходительной, ведь он попал в трудное положение. Несчастный Андрес! Как, у него даже нет почтовой бумаги «Виктория»! Нет сургуча «Олкрофт Риджентс кводрант»! Каким обездоленным он должен себя чувствовать! Можно ли писать на такой дрянной бумаге, сэр Эдвардс? — спросила она, пробежав письмо и передавая его молодому джентльмену, весьма усердно посещавшему их дом со времени отсутствия Андреса.

— Хо, хо! Даже австралийские дикари делают лучше, — с трудом прокудахтал вежливый островитянин. — Это детство цивилизации. В Лондоне таким клочком не обернули бы сальную свечку.

— Говорите по-английски, сэр Эдвардс, — попросила Фелисиана, — вы же знаете, я владею этим языком.

— Нет, я лучше буду совершенствовать себя по-испански, на вашем языке.

При этой любезности Фелисиана улыбнулась. Сэр Эдвардс ей нравился. Он гораздо лучше Андреса воплощал ее идеал изящества и благопристойности. Англичанин был если и не самым учтивым, то, во всяком случае, самым цивилизованным из людей. Он носил лишь одежду, сшитую по новейшим и совершеннейшим образцам. Каждая ее часть была уникальна, сшита из запатентованной ткани, не боящейся ни воды, ни огня. Перочинные ножи сэра Эдвардса служили одновременно бритвами, штопорами, ложками, вилками, стаканчиками; его зажигалки включали в себя свечи, чернильницы, печати и сургуч; его тросточки можно было превратить по желанию в стул, в зонтик, кол для навеса и даже пирогу; он пользовался тысячью других изобретений этого рода, упакованных в бесчисленное количество коробок со множеством отделений, которые таскают с собой от Арктики до экватора сыны коварного Альбиона, — а им

почему-то требуется для жизни гораздо больше вещей, чем всем прочим смертным.

Жаль, что Фелисиана не видела туалетного стола молодого лорда, иначе она пришла бы в полный восторг. Если сложить вместе инструменты хирурга, дантиста и мозольного оператора, то и тогда не получилось бы столько металлических предметов самого причудливого и устрашающего вида. Несмотря на все свои попытки в области high life, ^[52] Андрес никак не мог достигнуть подобных вершин.

— Не навестить ли нам дорогого Андреса, батюшка? Сэр Эдвардс мог бы пойти вместе с нами, это было бы гораздо пристойнее. Правда, я невеста господина де Сальседо, но в посещении молодого человека всегда есть что-то неловкое для девушки, невольно нарушаешь приличия, или, по крайней мере, правила хорошего тона.

— Тут не может быть ничего дурного, ведь мы с сэром Эдвардсом пойдем с тобой, — заметил Херонимо и невольно подумал, что его дочь не лишена ханжества. — Впрочем, если тебе неудобно навестить дону Андреса, я отправлюсь к нему один и подробно расскажу по возвращении, как он себя чувствует.

— Приходится идти на жертвы ради тех, кого любишь, — проговорила Фелисиана, которая не прочь была уяснить положение, увидев все собственными глазами.

Какое бы превосходное воспитание ни получила мадемуазель де Васкез, она все же была женщиной, и мысль о том, что Андрес находится у манолы и, по слухам, хорошенькой, беспокоила ее больше, чем ей хотелось бы в том признаться, хотя она и питала весьма умеренные чувства к своему жениху. В душе самой черствой женщины всегда найдется струнка, которая болезненно отзовется на укол самолюбия или ревности.

Сама не зная почему, Фелисиана надела умопомрачительный туалет, совершенно неуместный в данном случае; предчувствуя борьбу, она облеклась с ног до головы в самую надежную броню, какая нашлась в ее модном арсенале; конечно, в своем пренебрежении богатой буржуазки Фелисиана и мысли не допускала, что ее может победить простая манола, но ей невольно захотелось подавить девушку своей роскошью и вызвать любовный восторг у жениха. Она надела шляпу из неаполитанского светло-желтого шелка, от которой ее

белокурые волосы казались еще более тусклыми, а лицо более бесцветным, ядовито-зеленую мантилью, отделанную белыми кружевами, небесно-голубое платье, лиловые ботинки и черные сетчатые перчатки с голубой вышивкой. Розовый зонтик, обшитый кружевами, и сумочка, отягченная металлическим бисером, дополняли ее экипировку.

Все швеи, все горничные мира сказали бы в один голос:

— Барышня, как вы красиво одеты!

Недаром Фелисиана самодовольно улыбнулась, в последний раз взглянув на себя в зеркало, — никогда еще она не была так похожа на картинку из модного журнала, не имеющего подписчиков.

Сэр Эдвардс, который вел Фелисиану под руку, нарядился не менее вычурно, чем она; его шляпа почти без полей, его фрак с укороченными фалдами, жилет в причудливую клетку, рубашка с треугольным воротничком, атласный галстук *improved Moreen foundation*^[53] как нельзя лучше соответствовали великолепному одеянию дочери дона Херонимо.

Никогда еще более подходящая пара не шествовала бок о бок по улице; они были созданы друг для друга и полны взаимного восхищения.

Трио добралось до улицы Дель-Повар под аккомпанемент сетований Фелисианы на плохое состояние мостовой, на узость улиц и угрюмый вид домов, а молодой англичанин вторил этим жалобам, расхваливая удобные тротуары, мощенные плитами или залитые асфальтом, широкие улицы и безупречные здания своего родного города.

— Как, неужели у этой лачуги подобрали раненого господина де Сальседо в костюме простолюдина? Что могло привести его в этот ужасный квартал? — проговорила Фелисиана с гримасой отвращения.

— Философски изучивать нравы народа и испытывать свою силу в борьбе на ножах, как делаю я в Лондоне, когда ударяю кулаком во время ссор в Темпле или Чипсайте, — ответил юный лорд на своем испано-британском жаргоне.

— Мы это скоро узнаем, — заметил Херонимо.

Все трое вошли в дверь убогого дома, вызвавшего такой презрительный отзыв надменной Фелисианы, хотя там находилось

сокровище, которое мы напрасно стали бы искать в богатых особняках.

При входе Фелисиана жеманно приподняла край юбки. Знай она о старинных защипках, служивших для этой цели, она вполне оценила бы все остроумие этого изобретения.

Внизу лестницы она содрогнулась при мысли, что ей придется коснуться рукой в безупречно чистой перчатке засаленной веревки, служившей перилами, и попросила сэра Эдвардса поддержать ее.

Услужливая соседка указала им, как пройти к Милитоне, и опасное восхождение началось.

На испуганный вопрос матушки Алдонсы: «Кто там?» — старуха не ведала покоя после выходки Хуанчо, — дон Херонимо ответил: «Gente de paz» (мирные люди), — и дверь перед гостями отворилась; Андрес, заранее смущенный звуком знакомого голоса, увидел сначала сэра Эдвардса, возглавлявшего это неожиданное шествие, затем дону Херонимо и, наконец, Фелисиану во всем сказочном блеске ее умопомрачительного туалета.

Фелисиана приберегла себя на закуску, то ли ради постепенного нарастания эффекта, то ли из боязни поразить Андреса счастьем, превышающим его слабые силы, то ли потому, что было бы непристойно войти первой в комнату, где лежит в постели молодой мужчина.

Появление Фелисианы не вызвало ожидаемой ею сенсации. Андрес не только не был ослеплен видом невесты, он даже не испытал чувства блаженного восторга; он не пролил слез умиления при мысли о сверхчеловеческой жертве, которую принесла столь пышно одетая молодая особа, поднявшись ради него на четвертый этаж; более того, довольно явное недовольство отразилось на его лице.

Подготовленный эффект с треском провалился.

При виде гостей Милитона встала, предложила стул дону Херонимо с почтительностью, свойственной девушке из народа по отношению к пожилым людям, и сделала знак матушке Алдонсе, чтобы та подала второй стул мадемуазель Васкез.

Фелисиана приподняла край своего сногшибательного небесно-голубого платья, словно боялась его запачкать, опустилась с тяжким вздохом на соломенное сиденье и принялась обмахиваться носовым платком.

— Как высоко вы живете! Я чуть было, не задохнулась, поднимаясь к вам.

— Сеньора, наверно, слишком сильно затянула корсет, — сказала Милитона с полнейшим простодушием.

Несмотря на неудобу, Фелисиана затягивалась в рюмочку.

— Я никогда не затягиваюсь, — ответила она кисло-сладким тоном, к которому прибегают в подобных случаях женщины.

Дело явно принимало плохой оборот. Преимущество было не на стороне светской девушки.

По сравнению с Милитоной, одетой по испанской моде в черное шелковое платье, с цветком в волосах и обнаженными красивыми руками, Фелисиана казалась еще смешнее из-за своей вычурной роскоши.

Фелисиана Васкез де лос Риос походила на разодетую английскую горничную, а Милитона — на герцогиню, желающую сохранить инкогнито.

Подготавливая поражение манолы, дочь дона Херонимо попыталась смутить ее своими презрительными взглядами, но она просчиталась и в конце концов опустила глаза перед ясным и скромным взором швеи.

«Кто эта женщина? — думала Милитона. — Сестра Андреса? Нет! Иначе она походила бы на него лицом и не была бы такой заносчивой».

— Вы счастливо отделались, Андрес, — ласково проговорил Херонимо, подходя к кровати. — Как вы себя чувствуете?

— Вполне сносно, — ответил Андрес, — благодаря уходу мадемуазель Милитоны.

— Мы щедро вознаградим девушку за труды, — перебила его Фелисиана, — сделаем ей богатый подарок — золотые часы, кольцо, преподнесем все, чего бы она ни пожелала.

Этими с виду безобидными словами Фелисиана пыталась низвергнуть очаровательную девушку с пьедестала, на который ее вознесла красота.

Милитона почувствовала оскорбление, таившееся в этой фразе, и приняла такой царственный вид, глаза ее так гордо сверкнули, что мадемуазель Васкез была озадачена.

У сэра Эдвардса вырвалось помимо воли: «It is a very pretty girl!»^[54] Он даже позабыл в эту минуту, что Фелисиана понимает по-

английски.

— Такие услуги деньгами не оплачиваются, — сухо заметил Андрес.

— Ну конечно, конечно! — воскликнул Херонимо. — Никто и не говорит об оплате, это всего лишь благодарность, подарок на память...

— Вам, вероятно, очень плохо здесь, дорогой Андрес, — продолжала мадемуазель Васкез, бесцеремонно разглядывая убогое жилище.

— По доброте своей сеньор не жаловался, — сказала Милитона, отходя к окну как бы для того, чтобы предоставить полную свободу дерзкой Фелисиане. «Вы у меня в гостях, — говорила она всем своим видом, — я не гоню вас, я не могу этого сделать, но провожу грань между вашими оскорблениями и моим терпением как хозяйки дома».

Чувствуя всю неловкость своего поведения, Фелисиана постукивала по носку ботинка зонтиком с наконечником из слоновой кости.

Наступило молчание.

Дон Херонимо взял из табакерки щепотку *rovlo sevillano* (желтого табака) и поднес ее к своему почтенному носу с непринужденностью, напоминавшей о добром старом времени.

Не желая себя компрометировать, сэр Эдвардс принял глупый вид, удивительно натурально ему удававшийся.

Матушка Алдонса вытаращила глаза и открыла рот с отвислой нижней губой, благоговейно созерцая головокружительный туалет Фелисианы: крикливое сочетание цветов — небесно-голубого, желтого, розового, ядовито-зеленого и лилового — приводило ее в наивное восхищение. В первый раз в жизни она видела перед собой подобное великолепие.

Что касается Андреса, то он смотрел долгим, покровительственным, влюбленным взглядом на лучезарную красоту Милитоны, которая стояла в противоположном конце комнаты, и удивлялся, как ему могло прийти в голову жениться на Фелисиане: он впервые видел ее такой, какой она была на самом деле, — искусственным творением директрисы пансиона и модной портнихи.

«Странно, я ни к кому не питала ненависти, — думала Милитона, — но стоило этой женщине войти, как я вздрогнула, словно при появлении неведомого врага. Чего мне бояться? Андрес не любит

ее; я прекрасно вижу это по его глазам. Она некрасива и глупа; иначе она не пришла бы разряженная в пух и прах, чтобы навестить больного в доме, где живут бедняки! Небесно-голубое платье и ярко-зеленая мантилья — какое отсутствие вкуса! Я ненавижу эту жердь... Зачем она пожаловала сюда? Вернуть своего жениха? Вероятно, Андрес ее жених. Он ничего не сказал мне об этом... Боже мой, если он на ней женится, мне будет очень тяжело! Но он этого не сделает, это невозможно! У нее жидкие белобрысые волосы и веснушки на носу, а Андрес говорил мне, что любит черные волосы и матовый цвет лица».

Размышляла, со своей стороны, и Фелисиана. Она придирчиво осматривала Милитону со страстным желанием найти в ней хоть какой-нибудь недостаток. К своему великому сожалению, она ни к чему не могла придраться. Женщины, как и поэты, знают истинную цену друг другу, только никогда не признаются в этом. Настроение Фелисианы лишь ухудшилось от осмотра соперницы, и она сказала довольно кисло несчастному Андресу:

— Если врач не запретил вам говорить, расскажите нам о своем приключении, — ведь это настоящее приключение, а то мы знаем о нем лишь понаслышке.

— Хо-хо, рассказывайте нам романтическую историю, — присовокупил англичанин.

— Ты заставляешь его разговаривать, а между тем он еще очень слаб, — отечески добродушно промолвил дон Херонимо.

— Это его не слишком утомит, а в случае надобности мадемуазель придет ему на помощь, — она должна знать историю во всех подробностях.

При этих словах Милитона подошла к гостям.

— Мне взбрело на ум, — сказал Андрес, — одеться в костюм маноло, побродить по старинным кварталам города и полюбоваться на оживление, царящее в кабачках и на народных танцульках; вы же знаете, Фелисиана, что при всем моем преклонении перед цивилизацией я люблю старинные испанские обычаи. Проходя по этой улице, я встретил свирепого молодца, дававшего серенаду, он затеял со мной ссору и ранил меня в честном бою на ножах с соблюдением всех требуемых правил. Я упал, и мадемуазель Милитона подобрала меня чуть живого на пороге своего дома.

— Знаете, Андрес, ваша история весьма романтична и послужила бы превосходным сюжетом для песни какого-нибудь бродячего слепца, особенно, если немного приукрасить ситуацию: скажем, два непримиримых соперника встречаются под балконом красавицы... — при этих словах она взглянула на Милитону и принужденно рассмеялась, — каждый из них разбивает гитару о голову противника и чертит острием кинжала крест на его лице. Если бы эту сцену вырезать на дереве и поместить как заставку к романсу, эффект получился бы потрясающий — слепой певец нажил бы целое состояние.

— Сударыня, — серьезно проговорила Милитона, — еще немного, и лезвие кинжала вонзилось бы ему в сердце.

— Конечно, но, как это обычно бывает, соперник промахнулся и нанес лишь романтическую рану...

— Как видно, эта рана нисколько вас не беспокоит, — возразила девушка.

— Она получена не в мою честь и не может так сильно тревожить меня, как вас. И все же я пришла навестить вашего раненого. Если желаете, мы будем ухаживать за ним по очереди — это будет прелестно.

— До сих пор я ухаживала за ним одна, так же буду ухаживать и дальше, — ответила Милитона.

— Понимаю, что рядом с вами я могу показаться холодной, но не в моих привычках подбирать молодых людей даже с пустяковой царапиной на груди.

— И вы бросили бы умирающего на улице из страха скомпрометировать себя?

— Не все свободны, как вы, милочка; приходится иногда соблюдать приличия, и девушкам с добрым именем не пристало его терять.

— Полно, Фелисиана, ты говоришь чепуху и напрасно выходишь из себя, — примирительно сказал Херонимо. — Все это вышло случайно, и Андрес не знал мадемуазель Милитоны до этого несчастного случая; не вздумай ревновать и тревожиться понапрасну.

— Невеста — не любовница, — величественно промолвила Фелисиана, не обращая внимания на вмешательство отца.

Милитона побледнела при этом последнем оскорблении. Влажный блеск появился в ее глазах, комок подступил к горлу, губы дрогнули, рыдание готово было вырваться из груди, но она сдержалась и ответила только взглядом, исполненным глубочайшего презрения.

— Идемте, батюшка, мне не место здесь — я не могу дольше оставаться у падшей женщины.

— Если вы уходите только из-за этого, останьтесь, мадемуазель, — сказал Андрес и взял Милитону за руку. — Донья Фелисиана Васкез де лос Риос может продлить свой визит у сеньоры Андрес де Сальседо, которую я имею честь вам представить: мне было бы крайне неприятно поставить вас в ложное положение.

— Как?! — вскричал Херонимо. — Что ты говоришь, Андрес? Разорвать узы десятилетней давности! Ты с ума сошел!

— Напротив, я никогда не рассуждал более здраво, — ответил молодой человек. — Я не сумею составить счастье вашей дочери, я прекрасно это понял.

— Чушь, бредни взбалмошного мальчишки! Ты болен, у тебя жар, — продолжал Херонимо, издавна считавший, что Андрес будет его зятем.

— Хо, не надо беспокойства, — проговорил англичанин, тронув Херонимо за рукав. — Женихи у дочери будут; она такая прекрасная, она так прекрасно одевается!

— Вы оба богаты и так хорошо подходите друг другу... — продолжал Херонимо.

— Да, по богатству, но не по сердцу, — ответил Андрес. — Не думаю, чтобы мадемуазель Васкез очень скорбела о том, что теряет меня.

— Вы скромны, — возразила Фелисиана. — Но я не хочу разуверять вас, можете не терзаться угрызениями совести. Прощайте, будьте счастливы в браке. Сударыня, разрешите откланяться.

На иронический кивок Фелисианы Милитона ответила полным достоинством реверансом.

— Идемте, батюшка! Сэр Эдвардс, дайте мне руку.

Англичанин предложил руку Фелисиане, округлив ее наподобие ручки амфоры, и все трое величественно удалились.

Молодой островитянин сиял от радости. Эта сцена пробудила в его душе затаенные надежды, ведь до сих пор им не дано было

расправить крылья, — Фелисиана, к которой он питал почтительную любовь, свободна! Ее давняя помолвка расторгнута. «О, жениться на испанке, — думал он, чувствуя на своем рукаве узкую перчатку Фелисианы, — это моя мечта! На испанке с пламенной душой, с горячим сердцем, которая умеет заварить чай по моему вкусу... Я вполне согласен с лордом Байроном: прочь от меня, бледные северные красавицы! Я поклялся себе, что женюсь на индианке, итальянке или испанке. Но я предпочитаю испанку из-за романсеро и войны за независимость; мне встречалось немало страстных испанок, но они не умели заваривать чай по моим рецептам и совершали непростительные промахи в вопросах хорошего тона. Зато Фелисиана превосходно воспитана! Какое впечатление она произведет в Лондоне в бальном зале Алмэк или на светских раутах! Никто не поверит, что она уроженка Мадрида. О, как я буду счастлив! Лето мы станем проводить всей семьей в Калькутте или в моем коттедже на мысе Доброй Надежды. Какое блаженство!»

Таковы были золотые мечты сэра Эдвардса — он грезил наяву, провожая домой мадемуазель Васкез.

Фелисиана тоже предавалась мечтам, и не менее сладостным. Правда, ее сильно раздосадовала разыгравшаяся сцена: не то чтобы девушка сожалела о потере Андреса, но она была задета тем, что жених первый порвал с ней. Неприятно, когда тебя бросает мужчина, даже если ты и не слишком его любишь, а познакомившись с сэром Эдвардсом, Фелисиана стала менее благосклонно смотреть на обязательства, связывавшие ее с Андресом.

Встреча с ее идеалом в лице англичанина помогла ей понять, что она никогда не любила дона Андреса.

Сэр Эдвардс был воплощением ее мечты, подлинным носителем цивилизации, свежевыбритым, розовым, прилизанным, начищенным, отутюженным, лощеным, в белом галстуке с самой зари, в ватерпруфе и макинтоше.

А с какой пунктуальностью, аккуратностью, математической точностью он являлся на свидания! По нему можно было бы проверять самый точный хронометр! Какое счастье ждет женщину с таким мужем, думала мадемуазель Фелисиана Васкез де лос Риос.

«У меня будет английское серебро, веджвудский фарфор, ковры во всех комнатах, напудренные слуги; я буду ездить на прогулки в Гайд-

парк рядом с мужем, правящим своим four-in-hand.^[55] По вечерам я стану слушать итальянскую музыку в Королевском театре, в собственной ложе, обтянутой золотистым штофом. Ручные лани будут резвиться на зеленой лужайке перед моим замком, а возможно, также несколько белокурых, розовых детей: дети так хорошо выглядят на передке коляски рядом с чистокровным английским спаниелем!»

Предоставим этим двум людям, точно созданным друг для друга, продолжать свой путь и вернемся на улицу Дель-Повар к Андресу и Милитоне.

После ухода Фелисианы, дона Херонимо и сэра Эдвардса девушка бросилась на шею Андресу, громко рыдая, но то были слезы радости, счастья; похожие на прозрачные жемчужины, они медленно струились по ее бархатистым щекам, не туманя лучистого взора.

День клонился к вечеру, розовые облачка, окрашенные отсветом заката, плыли по небу. Вдалеке пели гитары, звенели бубны в руках у танцовщиц, рокотали тамбурины и щелкали кастаньеты. Мелодичные куплеты фанданго, сопровождаемые возгласами «эй» и «давай», доносились по временам с перекрестков и углов улиц, и все эти радостные, истинно испанские звуки служили как бы неясной эпиграммой в честь двух счастливых влюбленных. Ночь наступила, а голова Милитоны все еще покоилась на плече Андреса.

Мы потеряли из виду нашего друга Хуанчо. А между тем следовало бы отправиться на его поиски, так как он вышел от Милитоны в исступлении, граничащем с умопомешательством. Бормоча проклятия и, как безумный, размахивая руками, он очутился, не помня себя, у Иеррских ворот, а оттуда ноги сами понесли его за город.

Окрестности Мадрида голы и унылы; в жалких, грязных лачугах, разбросанных там и сям вдоль дороги, нашли приют подозрительные, порочные ремесла, изгоняемые из больших городов. Бесплодные земли усеяны голубоватыми камнями, которые становятся все крупнее по мере того, как приближаешься к подножию Сьерры-де-Гвадаррамы, чьи вершины, в начале лета еще покрытые снегом, встают на горизонте, как белые кучевые облака. Лишь изредка можно увидеть скудную растительность. Почва изборождена глубокими морщинами высохших ручьев, склоны холмов безлесны, и вся эта картина под стать самым печальным чувствам. Радость здесь гаснет, зато ничто не нарушает отчаяния.

После часа или двух ходьбы Хуанчо, сторбившийся под гнетом своих мыслей, хотя он не согнулся бы под тяжестью ворот Газы, поднятых Самсоном, бросился ничком на край придорожной канавы, уперся локтями в землю, положил голову на руки и застыл в состоянии полного оцепенения.

Он смотрел, но ничего не видел — ни повозок, запряженных волами, которые, испугавшись неподвижного тела у дороги, кидались в сторону, за что получали удар остроконечного шеста возницы, ни ослов, груженных тюками рубленой соломы, ни гордо восседавшего на коне крестьянина с разбойничьим лицом, одна рука которого упиралась в бедро, а другая лежала на подвешенном к луке карабине, ни суровой крестьянки, тащившей за руку плачущего мальчугана, ни старика кастильца в шапке из волчьего меха, ни уроженца Ламанча в черных штанах и валяных чулках, ни, наконец, всего того бродячего люда, что несет за десять лье на рынок три зеленых яблока или несколько связок красного перца.

Хуанчо жестоко страдал, и слезы, первые в его жизни, стекали по смуглым щекам на безучастную землю, и она впитывала их, как обычные дождевые капли. Его широкая грудь вздымалась от глубоких вздохов. Никогда еще он не чувствовал себя таким несчастным; ему казалось, что настал конец света; он не видел смысла в окружающем его мире, не видел смысла в жизни. Что теперь делать?

«Она меня не любит, она любит другого! — повторял Хуанчо, стараясь убедить себя в роковой истине, которой отказывалось верить его сердце. Немыслимо, невероятно! Она, такая гордая, такая недоступная, и вдруг загорелась страстью к незнакомцу, а я, живший только для нее, я, целых два года следовавший за нею, как тень, не добился ни слова сочувствия, ни снисходительной улыбки! Я жалел себя в ту пору, но это был рай по сравнению с тем, что я чувствую теперь. Если она и не любила меня, то, по крайней мере, не любила никого другого.

Я мог видеть ее; правда, она просила меня уйти, не приходить больше, говорила, что я преследую ее, надоел ей, опротивел, что она не в силах дольше сносить моих домогательств; зато, когда я уходил, она оставалась одна; ночью я бродил под ее окном, обезумев от любви, сгорая от желания, но я знал — она целомудренно спит на своей узкой девичьей кровати; я не боялся увидеть две тени на ее занавеске; я чувствовал себя несчастным и все же испытывал горькую радость при мысли, что никто не пользуется ее благосклонностью. Я не владел сокровищем, но ключа от него не было ни у кого другого.

А теперь все кончено, надежды больше нет! Милитона отталкивала меня, пока никого не любила, что же будет теперь, когда она полюбила другого? Ведь неприязнь ее ко мне еще возрастет! Я это предвидел. Недаром я устранял всех, кого привлекала ее красота, недаром сторожил ее день и ночь! Я разделался с несчастным Лука, с несчастным Хинесом, и все напрасно! Я прозевал настоящего, самого опасного, того, кого необходимо было убить! Неловкая, непослушная, ненавистная рука, не сумевшая сделать свое дело, вот тебе!»

С этими словами Хуанчо так свирепо укусил себя за правую руку, что еще немного — и из нее хлынула бы кровь.

«Когда он поправится, я вторично вызову его и уж на этот раз не промахнусь. Но если я убью его, Милитона прогонит меня прочь; она все равно потеряна для меня. От этого можно с ума сойти! И ничего

нельзя сделать. Если бы он мог умереть естественной смертью во время какого-нибудь бедствия — пожара, обвала, землетрясения, чумы. Нет, такого счастья не будет... Проклятие! И подумать только, что ее нежное сердце, безупречное тело, прекрасные глаза, божественная улыбка, полная и гибкая шея, тонкая талия, детская ножка — все это принадлежит ему! Он может взять Милитону за руку, и она не отнимет ее, притянуть к себе ее обожаемую головку, и она не отвернется с пренебрежением. Какое зло я совершил, чтобы понести столь тяжкое наказание! Многие красавицы испанки были бы счастливы видеть меня у своих ног! Когда я выхожу на арену, не одно женское сердце начинает усиленно биться, не одна белая ручка дружески приветствует меня. В Севилье, Мадриде, Гранаде сколько женщин бросали мне веера, платки, цветы, украшавшие их волосы, золотую цепочку, сорванную с шеи, — их восхищала моя отвага, моя красота! И что же? Я пренебрег ими и пожелал ту, которая не пожелала меня. Я прошел мимо любви и выбрал ненависть! Непреодолимое тяготение! Жестокий рок!.. Несчастливая Розаура питала ко мне такую нежную любовь, а я, безумец, не ответил ей взаимностью. Бедная моя, как ты должна была страдать! Конечно, теперь я расплачиваюсь за горе, которое причинил тебе. Мир плохо устроен: всякая любовь должна бы порождать в ответ столь же сильное чувство, тогда никто не терзался бы отчаянием вроде меня. Господь Бог жесток! Может быть, эта кара постигла меня за то, что я не ставил свечей пресвятой деве? Господи, Господи, как быть? Не найти мне больше покоя на земле! Домингес счастлив, он погиб на арене, а ведь он тоже любил Милитону! Однако я все сделал, чтобы его спасти! А она говорит, будто я бросил его в беде. Она не только ненавидит, но и презирает меня. О, небо! Ярость сведет меня с ума!»

При этих словах он вскочил и снова зашагал по полям.

Он пробродил весь день, словно в забытьи, глаза его блуждали, кулаки были сжаты, мучительные галлюцинации то и дело возникали перед ним: он видел Андреса и Милитону вместе, они гуляли, держась за руки, целовались, смотрели друг на друга томным взором. Эти образы, невыносимые для сердца ревнивца, были так яркие, так поразительно реальны, что он не раз бросался вперед, намереваясь пронзить Андреса шпагой, но встречал лишь пустоту и, очнувшись, удивлялся, как все это могло ему пригрезиться.

Виски у него болели, железный обруч стягивал голову, глаза резало, очертания предметов расплывались и, несмотря на пот, струившийся по лицу, и на июньское солнце, он дрожал от холода.

Погонщик волов, повозка которого опрокинулась, наскочив на большой камень, хлопнул его по плечу:

— Видать, приятель, вы человек сильный, не поможете ли мне поднять повозку? Мои волосы выбились из сил.

Хуанчо подошел и, ни слова не говоря, попытался поднять повозку, но руки у него дрожали, ноги подгибались, стальные мускулы вышли из повиновения. Он приподнял ее и тут же выпустил из рук, — он был измучен, тяжело дышал.

— Судя по виду, я думал, у вас более крепкая хватка, — сказал погонщик, удивленный безуспешной попыткой Хуанчо.

Бедняга совсем обессилел, ему было плохо.

Но, задетый за живое замечанием погонщика, ибо он гордился своей мускулатурой, как гладиатор, а он им, в сущности, и был, Хуанчо напряг всю свою волю, собрал последние силы и яростно налег на край повозки.

Словно по волшебству, повозка встала на колеса без всякой помощи со стороны погонщика. Толчок был так силен, что она едва не перевернулась на другой бок.

— Ну и силища у вас, хозяин! — вскричал восхищенный погонщик. — После силача из Оканьи, который мог снять и унести оконную решетку, и Бернардо дель Карпио, — тот останавливал одним пальцем мельничные жернова, — никто еще не видел такого молодца!

Но Хуанчо ничего не ответил и в обмороке упал на дорогу, упал, как падает мертвец, выражаясь словами Данте.

«Уж не порвал ли он себе какой-нибудь жилы? — подумал испуганный погонщик. — Нужды нет, раз он оказал мне такую услугу, я положу его на повозку и отвезу на постоянный двор в Сан-Агустин или в Алькобендас».

Хуанчо быстро очнулся, хотя ничего не было сделано, чтобы привести его в чувство, ведь погонщики не возят с собой ни нюхательной соли, ни нашатырного спирта, а тореро — не кисейные барышни.

Погонщик накрыл его своим плащом. Хуанчо лихорадило, он испытывал ощущение, неведомое для его железного организма, — он

был болен.

Добравшись до постоянного двора в Сан-Агустин, он попросил у хозяина кровать и тотчас же лег.

Он заснул глубоким сном, тем неодолимым сном, который овладевает пленным индейцем во время пыток, изобретенных утонченной жестокостью победителей, или сном приговоренного к смерти в утро перед казнью.

Измученное тело отказывает душе в способности страдать.

Это состояние небытия, длившееся двенадцать часов, спасло Хуанчо от безумия; лихорадка прошла, головная боль тоже, но он был так слаб, точно проболел полгода. Земля уходила у него из-под ног, свет слепил глаза, малейший шум вызывал головокружение; он чувствовал, что ум его оцепенел, на душе пусто. Он пережил непоправимое крушение. Там, где царила некогда его любовь, зияла бездна, и ничто уже не могло ее заполнить.

Хуанчо провел еще сутки на постоялом дворе и, чувствуя себя лучше, так как его могучий организм одолел болезнь, взял коня и ускорил в Мадрид, движимый тем странным инстинктом, который влечет человека к месту, где он страдал; он испытывал потребность разбередить, растравить свою рану, лишний раз вонзить себе нож в сердце; он находился слишком далеко от своей мучительницы, ему хотелось вернуться, довести до предела свою пытку, упиться ее ядом, забыть причину горя через избыток страдания.

Пока Хуанчо бродил по окрестностям Мадрида, стараясь заглушить свою боль, альгвазилы искали его повсюду, ибо молва указывала на него как на человека, ударившего ножом сеньора Андреса де Сальседо.

Этот последний, как вы понимаете, не подал жалобы: он отбил у несчастного Хуанчо любимую женщину, было бы бесчеловечно лишить его еще и свободы; Андрес даже не знал о судебном преследовании, направленном против матадора.

Аргамазилья и Ковачуело, эти Орест и Пилад из сыскной полиции, пустились на поиски Хуанчо, чтобы арестовать его, но действовали они чрезвычайно осторожно, прекрасно зная свирепый нрав молодца; можно было подумать — и недруги, завидовавшие положению обоих друзей, во всеуслышание утверждали это, — будто Ковачуело и Аргамазилья собирают сведения для того, чтобы избежать

встречи с преступником, которого им поручено поймать; но некий излишне старательный соглядатай уведомил их, что он видел матадора в цирке, и вид у него был такой спокойный, словно на его совести не лежало преступления.

Итак, пришлось действовать. Направляясь к указанному месту, Аргамазилья говорил своему другу:

— Умоляю тебя, Ковачуело, будь осторожен; умерь свой пыл; ты же знаешь, наш молодец любит пускать в ход наваху; не подвергай себя ярости этого варвара, ведь ты величайший полицейский, когда-либо существовавший на земле.

— Будь спокоен, — отвечал Ковачуело, — я сделаю все возможное, чтобы ты не лишился такого друга, как я. Обещаю тебе проявить отвагу лишь в крайнем случае, после того, как исчерпаю все свое красноречие.

В самом деле, Хуанчо пришел в цирк взглянуть на быков, привезенных для ближайшей корриды, и сделал это скорее по привычке, чем преднамеренно.

Он еще был в цирке и как раз проходил по арене, когда явились Аргамазилья и Ковачуело со своим небольшим отрядом.

С утонченной вежливостью и в самых церемонных выражениях Ковачуело предложил Хуанчо последовать за ним в тюрьму.

Хуанчо пренебрежительно пожал плечами и продолжал свой путь.

По знаку альгвазила, двое полицейских схватили тореро, но тот стряхнул их с себя, словно приставшие к рукавам пушинки.

Весь отряд бросился тогда на Хуанчо, и тут же трое или четверо полицейских отлетели от него шагов на пятнадцать и упали вверх тормашками на песок; однако множество всегда берет верх над единицей, и сто пигмеев одолевают в конце концов великана; рыча от ярости, Хуанчо незаметно отступил к загону, освободился резким движением от рук, цеплявшихся за его одежду, открыл ворота, вбежал в опасное убежище и заперся там по примеру укротителя, который спрятался в клетке с тиграми, спасаясь от преследования налоговых приставов.

Осаждавшие попытались взять его в этом пристанище; но прежде, чем они успели взломать дверь, та неожиданно распахнулась, и бык, выгнанный Хуанчо из стойла, угрожающе бросился на испуганный отряд.

Беднягам-полицейским едва удалось кое-как перепрыгнуть через барьер; у одного из них бык все же вырвал клочок панталон.

— Черт возьми! — воскликнули Аргамазилья и Ковачуело. — Придется начать осаду по всем правилам.

— Вперед, на штурм!

На этот раз из загона выскочили сразу два быка и кинулись на осаждавших, но те мигом разбежались, подгоняемые страхом; тогда разъяренные животные, не видя перед собой врагов в человеческом образе, повернулись друг к другу, сцепились рогами, и каждый из них, зарывшись мордой в песок, попытался одолеть противника.

Осторожно придерживая дверь, Ковачуело крикнул Хуанчо:

— Приятель, вы можете выпустить еще пять быков — нам известны ваши боевые запасы. После этого вам придется сдаться, и сдаться безоговорочно. Выходите добровольно, и я отправлю вас в тюрьму с величайшим почтением, без наручников, без цепей, в двуколке, нанятой за ваш счет, и даже не упомяну в протоколе о сопротивлении, оказанном вами представителям власти, что увеличило бы ваше наказание; скажите, разве я не великодушен?

Не желая продолжать борьбу ради свободы, которой он не дорожил, Хуанчо отдал себя в руки Аргамазильи и Ковачуело, и те препроводили его в тюрьму с военными почестями.

Как только все замки камеры были со скрежетом заперты, Хуанчо растянулся на койке и подумал: «А что, если я убью Милитону?!» — позабыв о том, что он находится в тюрьме.

«Да, мне надо было ее убить в тот день, когда я нашел у нее Андреса. Моя месть вполне удалась бы; какие муки он претерпел бы, видя, что любовница умирает у него на глазах от раны в сердце; ослабевший, прикованный к постели, он не мог бы ее защитить, — я не убил бы его, нет, я не сделал бы такой ошибки! Я убежал бы в горы или отдался в руки правосудия. И был бы так или иначе спокоен. Для того чтобы я мог жить, она должна умереть; для того чтобы она могла жить, я должен быть мертв. В руках у меня была наваха, стоило нанести удар — и все было бы кончено; но глаза Милитоны сверкали так ярко, она была так ослепительно хороша, что у меня не хватило ни сил, ни воли, ни мужества ее убить, а между тем даже львы не выдерживают моего взгляда, когда я смотрю на них сквозь прутья клетки, а быки ползают на брюхе у моих ног, как побитые собаки.

Но неужели я рассек бы ее прелестную грудь, пронзил бы холодным клинком ее сердце и горячая алая кровь потекла бы по белой коже! Нет, нет, я не совершу такого святотатства. Лучше задушу ее подушкой, как сделал негр с молодой венецианской дамой в пьесе, которую я видел в театре дель Сирко. Надо, однако, сознаться, что Милитона не обманывала меня; она всегда была со мной безнадежно холодна. Все равно я достаточно люблю ее, чтобы иметь право на ее жизнь!»

Таковы были с некоторыми вариантами мысли, занимавшие Хуанчо в тюрьме.

Андрес поправлялся не по дням, а по часам; он начал вставать, опираясь на руку Милитоны, обошел комнату и сел у окна подышать свежим воздухом. Вскоре он настолько окреп, что вышел на улицу и отправился домой, чтобы сделать все необходимые распоряжения к предстоящей свадьбе.

Сэр Эдвардс, со своей стороны, объяснился в любви и попросил по всем правилам руку Фелисианы Васкез де лос Риос у дона Херонимо, который с готовностью дал свое согласие. Жених занялся свадебными подарками и выписал из Лондона платья и драгоценности, баснословно роскошные и чудовищно безвкусные. Кашемировые шали лимонно-желтых, ярко-красных и светло-зеленых цветов могли бы поспорить с изысканиями г-на Биетри. Они были привезены из Лахора, центра этой промышленности, самим сэром Эдвардсом, владевшим двумя или тремя фермами в окрестностях города, и сделаны из пуха его собственных коз. Фелисиана была на верху блаженства.

Милитона была тоже счастлива, но к ее счастью примешивалось немало опасений: она боялась оказаться не на месте в светском обществе, куда введет ее после брака Андрес. Девушка никогда не училась в пансионе. Воспитанию не удалось исказить ее врожденных свойств, и искра божья в ней не заглохла. Она чувствовала всем своим существом добро, красоту, всю поэзию искусства и природы. Ее прекрасные руки никогда не касались клавиатуры фортепьяно, она не знала нот, хотя и пела чистым и верным голосом; ее познания в литературе ограничивались несколькими романсеро, и если она и не

делала орфографических ошибок, то лишь благодаря простоте испанского правописания.

«Я не хочу, чтобы Андресу пришлось краснеть за меня, — думала Милитона, — Я буду учиться, многое узнаю и стану достойна мужа. Я красива, это правда, его глаза говорят мне это; а платья я сумею носить не хуже любой великосветской дамы, — ведь я так много их сшила. Мы уедем в какой-нибудь незнакомый город и останемся там до тех пор, пока бедная куколка не превратится в бабочку. Только бы не случилось несчастья! Это безоблачное небо пугает меня. И куда пропал Хуанчо! Как бы он опять не натворил бед!»

— Ну, нет, — сказала мамаша Алдонса в ответ на опасения, высказанные Милитоной. — Хуанчо — в тюрьме; его обвиняют в покушении на убийство господина де Сальседо, а так как прошлое у нашего молодчика довольно сомнительное, дело его может принять плохой оборот.

— Несчастный Хуанчо! Я жалею его теперь. Если бы Андрес не любил меня, я чувствовала бы себя очень несчастной!

Процесс Хуанчо действительно принял плохой оборот. Прокурор представил ночной бой как западню с целью убийства, которое не совершилось лишь по причине, не зависящей от подсудимого. При таком толковании можно было ожидать худшего.

К счастью, своими показаниями и хлопотами Андрес свел дело к простой дуэли, правда, на оружии, не принятом в обществе, но он сам выбрал это оружие, так как прекрасно владел им. К тому же рана оказалась несерьезной, он уже вполне оправился и в этой ссоре был в некотором роде неправой стороной. Поединок имел вдобавок такие счастливые последствия, что царапина, полученная им, может считаться сущим пустяком.

Даже прокурор, наиболее рьяно относящийся к своим обязанностям, не в состоянии поддерживать обвинение в убийстве, жертва которого пребывает в добром здравии и выступает в пользу преступника. Итак, Хуанчо вскоре вышел из тюрьмы, жалея, что он обязан своей свободой тому, кого ненавидел лютой ненавистью и от кого ни за какие блага не принял бы услуги.

Очутившись на воле, он мрачно пробормотал:

— Теперь я связан по рукам и ногам этим благодеянием. Я буду мерзавцем, подлецом, если трону его хоть пальцем. Лучше бы суд приговорил меня к каторжным работам: через десять лет я вернулся бы и отомстил.

В тот же день Хуанчо исчез.

Ходили слухи, будто его видели скачущим на вороном коне по направлению к Андалузии. Известно только, что в Мадриде он больше не появлялся.

Милитона свободно вздохнула; она достаточно хорошо знала Хуанчо, чтобы больше его не опасаться.

Обе пары венчались одновременно в одной и той же церкви. Милитона пожелала сама сшить свой свадебный наряд; она превзошла себя: платье, словно скроенное из лепестков лилии, было так хорошо выполнено, что не бросалось в глаза.

Фелисиана блистала в роскошном до нелепости туалете.

По выходе из церкви люди говорили о Фелисиане: «Какое изумительное платье!» — о Милитоне: «Какая прелестная девушка!»

XI

Неподалеку от старинного монастыря Санто-Доминго, в гранадском квартале Антекерула на склоне холма стоял дом снежной белизны, сверкавший, как драгоценность, среди темной зелени деревьев.

С каменной ограды сада свешивались, как из переполненной вазы, буйные побеги дикого винограда и других вьющихся растений, сплетаясь со стороны улицы в тяжелые гирлянды.

Сквозь решетчатые ворота можно было рассмотреть нечто вроде перистилия из разноцветных камней, затем внутренний дворик, или *patio*, если читателю больше нравится этот термин, присущий мавританской архитектуре.

Дворик был обнесен стройными, удивительно пропорциональными колоннами из цельного куска белого мрамора, увенчанными причудливыми коринфскими капителями, на завитках которых виднелись затейливые арабские письмена с остатками позолоты.

На этих капителях покоились основания арок в форме сердца, вроде арок Альгамбры, образуя одну из сторон крытой галереи, которая шла вокруг всего внутреннего двора.

Посреди *patio* в бассейне, окруженном вазами и ящиками с цветущими растениями и вечнозелеными кустами, звенела тонкая струйка воды, осыпая жемчугом глянцевитые листья, и, казалось, нашептывала своим хрустально чистым голосом какую-то любовную тайну миртам и лаврам. Полотняный навес придавал дворику вид гостиной на открытом воздухе, где царила прозрачная полутьма и восхитительная прохлада.

На стене висела гитара, а на диване, набитом конским волосом, была позабита широкополая соломенная шляпа с зелеными лентами.

Взглянув на этот дом, даже ненаблюдательный прохожий подумал бы: «Да, здесь живут счастливые люди». Счастье озаряет дома и придает им особый вид. Стены умеют улыбаться и плакать, они веселятся или скучают, бывают гостеприимны или неприветливы, в зависимости от характера того, кто в них живет, передавая им часть

своей души; в этом доме могли жить только молодые влюбленные или новобрачные.

Поскольку калитка не заперта, давайте отворим ее и войдем. В глубине *patio* другая дверь откроет нам доступ в сад, который не назовешь ни французским, ни английским, ибо такие сады встречаются только в Гранаде; это настоящий девственный лес, где растут мирты, апельсиновые, гранатовые, лавровые и терпентинные деревья, испанский жасмин, фисташковые орехи, смоковницы, а над ними высится вековой кипарис, молчаливо устремляясь в голубизну неба, словно грустная мольба среди всеобщей радости.

По этим благоуханным зарослям текут серебристые струи вод Дарро, некогда отведенных с вершины горы арабами, великими мастерами по части оросительных систем.

Редкие растения пышно цветут в старинных мавританских вазах с ажурными краями, исписанных строфами Корана.

Но самое замечательное — это аллея лавровых деревьев с гладкими стволами и жесткими листьями, где стоят две мраморные скамьи и бежит по двум алебастровым желобкам прозрачная, как алмаз, вода.

В конце аллеи, под шатром густой листвы, сквозь которую щедрое андалузское солнце не без труда бросает пригоршни своих золотых дукатов, возвышается небольшое, изящное здание, нечто вроде павильона, называемого в Гранаде *tocador* или *mirador*, откуда открывается широкий вид на живописные окрестности.

Павильон этот — настоящее чудо мавританского искусства. Полукруглый свод, известный в Испании под названием *media naranja* (половина апельсина), представляет собой такое причудливое сплетение арабесок и всевозможных орнаментов, что он походит скорее на коралловый риф или пчелиные соты, чем на произведение терпеливых человеческих рук; пожалуй, лишь в подземных пещерах встречается подобное обилие вылепленных природой сталактитов.

В глубине павильона, в мраморной раме окна, за которым зияет глубокий провал, разворачивается самая прекрасная панорама, какую дано созерцать человеку.

На переднем плане бежит по лесу огромных лавров среди мраморных и порфириновых скал речка Хениль; она берет начало в Сьерре и затем, пенясь и бурля, торопится освежить Гранаду и влиться

в Дарро; дальше расстилается плодородная Вега со своей роскошной растительностью, а на заднем плане, но так близко, что, кажется, до них можно рукою достать, высятся горы Сьерры-Невады. Заходящее солнце окрашивает снежные вершины в розовый цвет, с которым ничто не может сравниться, цвет нежный и свежий, сияющий и теплый, того идеального, божественного оттенка, какой встречается только в раю и в Гранаде, цвет румянца на щеках юной девушки, впервые услышавшей признание в любви.

Молодой человек и молодая женщина стояли рядом, опершись на подоконник, и любовались этим дивным пейзажем; рука мужчины лежала на талии его подруги с ласковой непринужденностью, свидетельствующей о взаимной любви.

После нескольких минут безмолвного созерцания женщина выпрямилась, и стало видно ее прелестное лицо; читатель, наверное, узнал сеньору де Сальседо, или Милитону, если это привычное имя ему больше по душе. Нет нужды говорить, что молодой человек был не кто иной, как Андрес.

Тотчас же после бракосочетания Андрес с женой уехал в Гранаду, где у него был дом, унаследованный от дяди. Фелисиана отправилась с сэром Эдвардсом в Лондон, Каждая чета последовала, таким образом, велению своего сердца: первая стремилась к солнцу и поэзии, вторая — к цивилизации и туману.

Как уже говорила Милитона, она не захотела сразу войти в светское общество и занять там подобающее ей теперь положение; она боялась, что мужу придется краснеть из-за ее пусть даже милых оплошностей, и нашла приют в этом уединенном чудесном убежище, чтобы понемногу освоиться с роскошью.

Она изменилась к лучшему, как физически, так и духовно. Ее безукоризненная красота стала еще совершеннее. В мастерской иного великого скульптора можно увидеть порой дивную статую, которая кажется нам законченной, и все же художник находит возможным улучшить то, что мы считали завершенным.

Так случилось и с красотой Милитоны: счастье придало ей одухотворенность и лоск; множество прелестных черт приобрели пленительное изящество благодаря жизни в неге и холе. Ее безупречные по форме руки побелели, некоторая худоба, вызванная упорным трудом и тревогой о завтрашнем дне, прошла. Очертания ее

прекрасного тела стали более мягкими, более женственными вследствие спокойной уверенности замужней женщины, и притом женщины богатой. Ее благодатная натура расцветала, ничем не стесненная, во всем своем блеске, во всем великолепии; ее девственный ум шутя воспринимал новые для него знания и усваивал их с поразительной легкостью. Андрес наслаждался, видя, как в его любимой рождается новая женщина, еще лучше прежней.

Вместо разочарования, порождаемого привычкой, он ежедневно находил у сеньоры де Сальседо новое милое свойство, неизвестную дотоле черту и радовался своему выбору, ибо у него хватило мужества сделать то, что в глазах светского общества является глупостью, то есть жениться, будучи богатым, на бедной, изумительно красивой и страстно влюбленной в него девушке. Не обязаны ли мужчины, обладающие состоянием, находить прекрасных, добродетельных, но неизвестных девушек — цариц красоты, лишенных царства, и возводить их на золотой трон, который принадлежит им по праву?

Счастье молодых супругов было безоблачным. Однако Милитона вспоминала порой бедного Хуанчо, — он как в воду канул, — и от всего сердца желала, чтобы ее благополучие не было построено на чужом горе: мысль о страданиях матадора тревожила ее среди радости. «Он, наверное, позабыл меня, — думала Милитона, стараясь отогнать тягостные мысли, — он уехал в какую-нибудь чужую страну, далеко-далеко отсюда».

Неужели Хуанчо действительно забыл Милитону? Вряд ли. Он был не так далеко, как полагала молодая женщина, и если бы в эту минуту она взглянула на гребень каменной ограды над глубоким провалом, то увидела бы среди листвы неподвижные фосфоресцирующие глаза, подобные глазам тигра, и узнала бы их по блеску.

— Не хочешь ли совершить нашу любимую прогулку? — спросил Андрес у сеньоры де Сальседо. — Мы сходим в Хенералифе, насладимся горьким ароматом олеандров и послушаем, как кричат павлины на кипарисах Зораиды и Шен-де-Кёр.

— Еще жарко, мой друг, да и к тому же я не одета, — ответила Милитона.

— Не одета? Да ты прелестна в этом белом платье, с коралловым браслетом на руке и цветком граната, горящим в волосах. Набрось на

себя мантилью, и мавританские короли, пожалуй, встанут из гробниц, когда ты войдешь в Альгамбру.

Милитона улыбнулась, расправила складки мантильи, взяла веер — этот неразлучный спутник испанки, — и направилась с мужем в Хенералифе, который расположен, как известно, на возвышенности, отделенной от холма Альгамбры с ее красными башнями живописнейшей в мире лощиной, где змеится среди великолепной растительности прихотливая тропинка; давайте обгоним немного счастливых супругов, которые медленно идут под густолиственным сводом, взявшись за руки, точно шаловливые дети.

За стволом смоковницы, чья темно-зеленая листва бросает черную тень на суживающуюся в этом месте тропинку, — уж не обман ли это зрения? — как будто блеснул ствол огнестрельного оружия, как будто вспыхнуло на солнце опущенное медное дуло мушкетона.

В зарослях мастиковых кустов и боярышника лежит ничком мужчина, как ягуар, приготовившийся к прыжку, чтобы неожиданно броситься на добычу: это Хуанчо, который уже два месяца живет в Гранаде, прячась в уединенных пещерах, вырытых цыганами в крутых склонах Сакромонте, возле подземелья христианских мучеников. За эти два месяца он постарел года на два: лицо почернело, щеки ввалились, глаза горят, как у человека, снедаемого одним всепоглощающим желанием. Желание это — убить Милитону.

Уже раз двадцать Хуанчо мог выполнить свое намерение, так как он беспрестанно бродит в округе, невидимый и неузнанный, и выжидает удобного случая, но в решительную минуту силы изменяют ему.

Он заметил, что ежедневно, почти в один и тот же час, Андрес и Милитона проходят по этой дорожке, и сегодня, притаившись в засаде, дал страшную клятву покончить навсегда с Милитоной, приведя в исполнение свой зловеший план.

Итак, Хуанчо был здесь, заряженный мушкетон лежал рядом, матадор выслеживал, прислушивался к отдаленному шуму шагов и снова убеждал себя, говоря: «Она погубила мою душу, я вправе погубить ее тело!» Эти слова были его главным доводом, побудительной причиной к убийству.

Звук смеющихся звонких голосов послышался в конце тропинки.

Хуанчо вздрогнул и мертвенно побледнел; затем взял мушкетон.

— Можно подумать, — говорила Милитона мужу, — что эта тропинка ведет в земной рай, — всюду цветы, благоухание, пение птиц и солнечные пятна... Я не променяла бы ее даже на более красивое место. Как здесь хорошо, прохладно, — продолжала она, дойдя до рокового дерева. — Я чувствую себя такой легкой, такой счастливой.

Невидимое для путников дуло мушкетона было наведено на голову Милитоны, более свежей и жизнерадостной, чем когда-либо.

«Прочь слабость, — прошептал Хуанчо, положив палец на курок. — Она счастлива, сама это сказала, такой случай больше не повторится. Пусть умрет с этими словами!»

Милитона была на волосок от смерти: дуло мушкетона, скрытое листвой, почти касалось ее уха; еще секунда, и ее прелестная головка будет раздроблена и от всей этой красоты останется лишь месиво крови, мяса и костей.

Сердце Хуанчо сжалось при мысли, что он готов сокрушить свое божество; в глазах у него потемнело; это колебание длилось одно мгновение, но оно спасло сеньору де Сальседо, которая так никогда и не узнала, какой опасности подвергалась, и преспокойно вернулась с прогулки домой.

«Я — жалкий трус, — думал Хуанчо, продираясь сквозь кустарник, — мужества у меня ни на грош, я гожусь только для борьбы с быками и мужчинами».

Вскоре распространилась молва о матадоре, совершающем чудеса ловкости и отваги: никто еще не видел такой безрассудной смелости, говорили, будто он прибыл из Америки, из Лимы, и выступает в Пуэрто-де-Санта-Мария.

Андрес как раз находился с женой в Кадисе, куда он приехал, чтобы проститься с другом, отправлявшимся в Манилу, и близость Пуэрто-де-Санта-Мария навела его на мысль, вполне естественную для страстного любителя корриды, увидеть нового кумира толпы; несмотря на свой мягкий, чувствительный характер, Милитона тоже не могла отказаться от посещения цирка, и супруги спустились на мол, намереваясь взять билеты на пароход или нанять одну из лодок, на носу которых нарисовано по два глаза, что придает им странный вид человеческого лица.

В порту царило необычайное оживление; угрозами и лестью хозяева суденышек старались переманить друг у друга пассажиров под

брань, крики, шутки, и каждую минуту какая-нибудь лодка разворачивала свой треугольный парус, и ветер уносил ее как лебяжье перо по прозрачной голубизне рейда.

Андрес и Милитона заняли место на корме лодки, хозяин которой, весело напевая песенку про быков из Пуэрто — «Покажите вашу маленькую ножку», помог молодой женщине подняться на борт.

Кадис очень красив, если смотреть на него с моря, и вполне заслуживает похвал, которые Байрон расточает ему в своих строфах. Можно подумать, что видишь серебряный город между двух сапфировых куполов. Кадис — родина прекрасных женщин, и мы сделаем немалый комплимент Милитоне, если признаемся, что на нее смотрели многие мужчины и даже следовали за ней по улице Аламеда.

Она и впрямь была прелестна в мантилье из белых кружев, с розой в волосах, в шейном платке, приколотом на плечах двумя камнями, в кофточке, отделанной золотым басоном и бахромой, в юбке с широкими воланами, чулках тоньше паутинки и хорошеньких атласных туфельках на точеных ножках, о которых можно было бы сказать словами испанской песни: «Ножка эта — просто мечта».

Несмотря на богатство, Милитона сохранила свою любовь к испанским модам и обычаям; молодая женщина не стала ни француженкой, ни англичанкой, и хотя она могла носить лимонно-желтые шляпы, как любая щеголиха на Пиренейском полуострове, она не пользовалась этой возможностью. Описанный нами наряд говорит о том, что парижские моды весьма мало интересовали ее.

Живописная толпа — в те дни черный цвет еще не распространился по всей Андалузии, — которая кишела на площади и заполняла постоянный двор «Виста-Алегре» и соседние кабачки в ожидании корриды, радовала глаз своими яркими красками и оживлением.

К мантильям примешивались великолепные алые шали, красиво обрамлявшие матовые лица женщин из Пуэрто-де-Санта-Мария и Хереса-де-ла-Фронтера. Махо в куртках с двумя карманами, откуда свешивались концы носовых платков, расхаживали вразвалку, принимали выигрышные позы, опершись на «вару» — род раздвоенной на конце палки, — или перебрасывались шутками в андалузском вкусе на своем певучем наречии, состоящем почти из одних гласных.

Начало корриды приближалось, и люди хлынули к цирку, рассказывая чудеса о новом матадоре: если он будет продолжать в том же духе и не попадет на рога быку, то вскоре превзойдет самого Монтеса, ибо ему сам черт не брат.

Андрес и Милитона сели в ложу, представление началось.

Знаменитый матадор был одет во все черное; его куртка, отделанная стеклярусом и шелком, поражала мрачной роскошью, вполне соответствовавшей суровой, почти зловещей физиономии того, кто ее носил; желтый пояс стягивал его худое тело; чувствовалось, что оно состоит из одних костей и мускулов.

Смуглое лицо матадора было прорезано двумя-тремя глубокими морщинами, проведенными не временем, а острыми когтями забот; в самом деле, хотя молодость успела сойти с этого лица, зрелость еще не наложила на него своей печати.

Андресу показалось, будто он уже видел это лицо, эту осанку, но он не мог припомнить, где именно.

Милитона не колебалась ни одной минуты. Хотя матадор изменился до неузнаваемости, она сразу узнала Хуанчо.

Столь глубокая перемена, происшедшая за такой короткий срок, испугала ее: она поняла, как велика была страсть, испепелившая этого мужественного, словно отлитого из бронзы человека.

Милитона поспешно раскрыла веер, чтобы спрятать лицо, и, откинувшись назад, коротко сказала Андресу:

— Это Хуанчо!

Но было поздно — матадор увидел ее и поднял руку в знак приветствия.

— Да, в самом деле — это Хуанчо, — согласился Андрес. — Бедный малый, он очень изменился: постарел лет на десять. Так это он та новая знаменитость, о которой столько говорят: значит, он снова взялся за свое ремесло.

— Друг мой, уйдем отсюда, — попросила Милитона, — не знаю почему, но я сама не своя; мне кажется, случится нечто ужасное.

— Полно, что может случиться? — возразил Андрес. — Вылетят из седла несколько пикадоров, и, как обычно, будет убито несколько лошадей.

— Боюсь, как бы Хуанчо не совершил какого-нибудь безрассудства, не поддастся бы гневу, безумию...

— Ты никак не можешь ему простить того удара навахи. Если бы ты знала латинский, — но, к счастью, ты его не знаешь, — я сказал бы тебе, что это невозможно по закону: Non bis in idem.^[56] Да и, кроме того, у этого славного малого было достаточно времени, чтобы успокоиться.

Хуанчо творил чудеса храбрости, словно был неуязвим, как Ахилл или Роланд, он хватал быка за хвост и заставлял его кружить на месте; ставил ногу между его рогов и перепрыгивал через тело животного, срывал с него эмблему и, подойдя к самой морде быка, с беспримерной отвагой дразнил его плащом, прибегая к самым опасным приемам.

Зрители восторженно, неистово аплодировали: со времен Сиды Кампеадора никто не видел такой корриды. Четверо конных тореро, возбужденные примером Хуанчо, казалось, не ведали страха. Пикадоры выезжали на самую середину арены, бандерильо без промаха посылали в цель свои стрелы с бумажным оперением. Хуанчо каждому приходил на помощь, он умел вовремя отвлечь свирепое животное и обратить на себя его ярость. Один из чуло поскользнулся, и бык распорол бы ему живот, но Хуанчо спас беднягу, рискуя собственной жизнью.

Матадор наносил удары по всем правилам сверху вниз, шпага его вонзалась по самую рукоять между лопатками быка, и все они падали, как громом пораженные, к его ногам, — качетеро не нужно было пресекать их агонию своим клинком.

— Черт побери! — восклицал Андрес. — Монтес, Чикланеро, Архона, Лаби и другие матадоры должны смотреть в оба: Хуанчо их всех превзойдет, а может, уже превзошел.

Однако такому торжеству не суждено было повториться: Хуанчо достиг вершин мастерства, он совершал подвиги, каких никто больше не увидит. Милитона и та самозабвенно аплодировала ему; Андрес не мог усидеть на месте; восторг зрителей дошел до предела; исступленные крики встречали каждое движение Хуанчо.

На арену выпустили шестого быка.

И тут произошло нечто поразительное, невиданное: после того, как Хуанчо с редким искусством разъярил быка, проделав неподражаемые движения мулетой, он не вонзил шпагу в загривок

животного, чего ожидали от него все зрители, — а с силой кинул ее вверх, и она, крутясь, воткнулась в землю шагах в двадцати от него.

— Что он делает?! — кричали со всех сторон. — Это не мужество, это безумие! Что за нелепость? Уж не собирается ли он убить быка щелчком по носу?

Хуанчо бросил на ложу, где сидела Милитона, непередаваемый взгляд, в котором отразилась вся его любовь, вся его мука, и остановился в полной неподвижности перед быком.

Животное нагнуло голову. Рог целиком вошел в грудь человека и вышел из нее окровавленный.

Оглушительный крик вырвался у тысячи испуганных зрителей и поднялся к небу.

Милитона откинулась на спинку кресла бледная как смерть. В эту страшную минуту она почувствовала любовь к Хуанчо!

АРРИЯ МАРЦЕЛЛА

ВОСПОМИНАНИЕ О ПОМПЕЯХ

Три юноши, три друга, путешествуя по Италии, посетили в прошлом году в Неаполе музей Студи, где собраны различные античные предметы, извлеченные при раскопках Помпей и Геркуланума.

Они разбрелись по залам и без определенного плана рассматривали мозаики, бронзу, фрески, снятые со стен мертвого города, а когда одному из них попадалось что-нибудь особенно любопытное, он радостными криками подзывал приятелей, к великому негодованию молчаливых англичан и положительных обывателей, листавших свои путеводители.

Но младший из троих, стоя у одной из витрин, настолько погрузился в созерцание, что, по-видимому, не слышал возгласов товарищей. То, что он рассматривал, представляло собою кусок запекшейся лавы с вдавленным отпечатком; его можно было принять за обломок литейной формы, разбитой при отливке, но наметанный глаз художника сразу узнал бы в нем очертания восхитительной груди и бедра, чистотою стиля не уступающих греческой статуе. Хорошо известно, да и в любом путеводителе говорится, что эта лава, застыв вокруг тела женщины, сохранила ее восхитительные очертания. По прихоти извержения, которое разрушило четыре города, часть этого дивного тела, рассыпавшегося в прах почти две тысячи лет тому назад, сохранилась до наших дней; округлость груди прошла сквозь столетия, в то время как столько могущественных царств не оставило после себя и следа! Образ красоты, случайно запечатленный на вулканическом шлаке, остался нетронутым.

Видя, что юноша не в силах оторваться от витрины, приятели подошли к нему, а когда Макс дотронулся до его плеча, тот вздрогнул, как человек, в тайну которого заглянул посторонний.

— Не стой, Октавиан, по целым часам у одной витрины, иначе мы опоздаем на поезд и не увидим сегодня Помпей.

— Что он рассматривает? — спросил Фабио. — А! Отпечаток, найденный в доме Аррия Диомеда!

И он бросил на Октавиана быстрый и многозначительный взгляд.

Октавиан слегка покраснел, взял Макса под руку, и осмотр древностей закончился без каких-либо приключений. Выйдя из музея, приятели сели на *curricolo*^[57] и велели отвезти их на станцию железной дороги. *Curricolo* с его огромными красными колесами, с откидной скамеечкой, утыканной медными гвоздиками, с тощей, но резвой лошадкой в сбруе, как у испанских мулов, галопом бегущей по широким плитам из лавы, — все это настолько знакомо, что в описании не нуждается, вдобавок мы не собираемся делиться впечатлениями о поездке в Неаполь, а хотим только рассказать об одном странном, даже невероятном, хоть и истинном приключении.

Железная дорога, ведущая к Помпеям, почти все время тянется вдоль моря, и его длинные пенные валы катятся по темному песку, похожему на размельченный уголь. И действительно, берег здесь образовался из вулканического пепла и потоков лавы и резко контрастирует с синевой неба и синевой воды; в этом сверкании только земле, кажется, присущи темные тона.

Селения, через которые приходится проезжать, и те, что видишь издали — Портичи, прославленное оперой г-на Обера, Резина, Торредель-Греко, Торредель-Аннунциата, где попадаются дома с арками и с крышами в виде террас, — все до одного отмечены каким-то железистым и угольным оттенком, подобно Манчестеру и Бирмингему, и ни яркость солнца, ни южная известковая побелка не в силах ослабить этот оттенок; пыль здесь черная, на всем лежит еле ощутимая копоть, и так и чувствуется, что великая кузница Везувия дышит и дымится совсем неподалеку.

Три друга вышли из вагона, шутя по поводу той смеси античного и современного, какую представляют собою слова: вокзал Помпей! Греко-римский город и станция железной дороги!

Друзья пересекли поле, засеянное хлопчатником, с реющими над ним белыми хлопьями, — оно отделяет железную дорогу от раскопанной территории города, — и в остерии, построенной вне древнего земляного вала, взяли гида, или, лучше сказать, были взяты гидом. В Италии борьба с этим бедствием невозможна.

Стоял один из тех несравненных дней, нередких в Неаполе, когда благодаря яркости солнца и прозрачности атмосферы все предметы принимают окраску, которая на севере показалась бы баснословной, и

становятся скорее похожи на сон, чем на действительность. Всякий, кто хоть однажды видел это сияние золота и лазури, навсегда уносит в родные туманы неизбывную тоску по нем.

Воскресший город, частично сбросив с себя пепельный саван, выступал в ослепительном свете во всех своих подробностях. Вдали вырисовывался конус Везувия, испещренный бороздками синей, розовой, лиловой лавы и залитый красновато-золотистыми лучами солнца. Легкое, еле уловимое марево венчало срезанную вершину горы; с первого взгляда его легко было принять за одно из тех облачков, которые даже в самую ясную погоду заволакивают высочайшие пики. Вглядевшись, можно было различить тонкие струйки белого пара, которые поднимались из вершины горы, словно из дырочек кастрюли, и сливались затем в легкую пелену. В тот день вулкан, пребывая в благодушном настроении, безмятежно покурился трубочку, и если бы не пример Помпей, погребенных у его подножия, можно было бы подумать, будто нрав у него столь же безобидный, как у Монмартра; по другую сторону горизонт обрамляли прекрасные холмы, волнистые и нежные очертания которых напоминали женские бедра, а еще дальше тянулась синяя полоса безмятежного моря, по которому некогда плыли к городским стенам биремы и триремы.

Зрелище Помпей ошеломляет; внезапный возврат на девятнадцать столетий назад изумляет натуры даже самые прозаические и косные; всего два шага ведут вас от жизни античной к жизни современной, от христианства к язычеству; и когда три друга увидели улицы, сохранившие в неприкосновенности формы давно исчезнувшей жизни, то, как ни были они подготовлены к этому книгами и гравюрами, они испытали впечатление столь же необыкновенное, как и глубокое. Особенно поражен был Октавиан; он брел за гидом машинально, словно лунатик, не слушая бесцветный, заученный перечень достопримечательностей, который этот олух бубнил, как урок.

Юноша растерянно взирал на колеи от колесниц, оставшиеся на циклопической мостовой улиц и до того свежие, словно они образовались совсем недавно; взирал на красные буквы надписей, сделанных беглой кистью на стенах зданий, — тут были объявления о зрелищах, о сдаче помещений, вывески, обетные формулы, всякого рода извещения, — столь же любопытные, какими станут для грядущих неведомых народов парижские стены и уцелевшие на них

афиши и плакаты; дома с обрушившимися крышами, позволяющие сразу же охватить взглядом все подробности их внутреннего устройства, все те мелочи быта, которыми пренебрегают историки и тайну которых цивилизации уносят с собою: еще не иссякшие водометы, форум, застигнутый катастрофой во время его перестройки, — уже выточенные, вполне законченные колонны, архитравы, ожидающие во всей своей чистоте, чтобы их установили на место; храмы, посвященные богам, которые стали мифологией, а тогда почитались всеми; лавочки, где недостает лишь одного — продавца; кабачки, на столах которых еще видны круглые пятна, оставленные чашами с вином; казарма с колоннами, выкрашенными охрой и суриком, на которых солдаты нацарапали карикатурные фигурки сражающихся, и расположенные вплотную друг к другу, драматические и певческие театры, которые могли бы возобновить представления, если бы обслуживавшая их труппа не стала прахом и не пошла то ли на затычку пивной бочки, то ли на заделку трещины в стене, подобно праху Александра и Цезаря, по грустному замечанию Гамлета.

Октавиан с Максом взобрались на самые верхние ступени трагедийного театра, а Фабио поднялся на возвышение для хора и стал декламировать, размахивая руками, первые пришедшие ему на память стихи, к немалому ужасу ящериц, которые разбегались во все стороны, виляя хвостиками, и прятались в расщелинах руин; и, хотя в театре уже не было медных и глиняных сосудов, служивших для усиления звука, голос юноши звучал насыщенно и мощно.

Затем гид повел их через огороды, покрывающие еще не раскопанные кварталы Помпей, к амфитеатру на другом конце города. Они шли под деревьями, корни которых проникают сквозь крыши погребенных зданий, разворачивают черепицу, обрушивают потолки, подтачивают колонны; они миновали поля, где пошлые овощи разрослись над шедеврами искусства, являя собою материальные образы забвения, которому время подвергает даже самые прекрасные создания.

Амфитеатр не произвел на них особого впечатления. Они уже видели амфитеатр в Вероне, более обширный и лучше сохранившийся, и были знакомы с устройством античных арен не хуже, чем с устройством арен для боя быков в Испании, очень похожих на

античные, если не считать прочности построек и красоты строительного материала.

Они пошли обратно, поперечным переулком вышли на улицу Фортуны, рассеянно слушая чичероне, который называл каждый попадавшийся по дороге дом тем именем, которое было ему дано после раскопки в соответствии с какой-нибудь его особенностью: дом Бронзового Быка, дом Фавна, дом Корабля, храм Фортуны, дом Мелеагра, таверна Фортуны на углу Консульской улицы, Музыкальная академия, общественная хлебопекарня, аптека, лавка цирюльника, таможня, Обиталище весталок, постоянный двор Альбина, трактир и так далее, вплоть до ворот, ведущих к Дороге гробниц.

Во внутренней аркаде этих кирпичных ворот с сохранившимися статуями, но утраченным орнаментом, зияют две глубокие щели, предназначенные для опускной решетки, совсем как в башне средневекового замка, хотя мы и склонны считать такие защитные сооружения исключительной особенностью наших замков.

— Кто бы подумал, что в Помпеях, греко-римском городе, могло быть столь романтически-готическое ограждение? — удивился Макс. — Представляете вы себе, как запоздавший римский всадник, словно паж пятнадцатого века, трубит здесь в рог, чтобы для него подняли решетку?

— Ничто не ново под солнцем, — ответил Фабио, — да и сам этот афоризм не нов, раз он принадлежит Соломону.

— Может быть, найдется что-нибудь новенькое под луною? — подхватил Октавиан с иронически-грустной улыбкой.

Тем временем Макс остановился перед надписью, начерченной красным мелом на наружной стене.

— Любезный Октавиан, — сказал он, — не хочешь ли посмотреть бой гладиаторов? Вот объявление: в апрельские ноны, то есть пятого числа, — будут установлены столбы, — в ноны сразятся двадцать пар гладиаторов, а если ты беспокоишься за цвет лица, то не волнуйся — будут натянуты холсты. А может быть, предпочитаешь забраться в амфитеатр пораньше, — утром гладиаторы будут резать друг другу глотки — *matutini erunt*.^[58] До чего они любезны!

Так, беседуя, шли три друга по дороге, обрамленной могилами; по нашим теперешним понятиям, это была бы довольно мрачная улица, но у древних она не вызывала таких представлений, ибо тогда в

могилах были заключены не страшные трупы, а всего лишь горсточка пепла как отвлеченный образ смерти. Эти последние жилища были украшены средствами искусства, — язычники, как заметил Гете, украшали саркофаги и урны картинами жизни.

И, конечно, именно поэтому Макс и Фабио, наслаждаясь полнотой жизни, с беззаботным любопытством, какого не вызвало бы у них христианское кладбище, проходили мимо надгробий, весело позлащенных солнцем; могилы, расположенные по краям дороги, еще как бы причастны к жизни и не вызывают того отвращения, того фантастического ужаса, какие неизменно внушают нам наши кладбища. Они остановились возле склепа Маммии, общественной жрицы, рядом с которым выросло дерево — кипарис или тополь; они расположились в полукруглом триклинии, где происходили поминки по усопшим, и хохотали, как счастливые наследники; они безудержно зубоскалили, читая эпитафии Неволея, Лабеоны и семьи Аррия, и Октавиан не отставал от приятелей, хотя и казалось, что он больше, чем его беззаботные спутники, скорбит о судьбах людей, усопших две тысячи лет тому назад.

Так дошли они до виллы Аррия Диомеда, одного из самых значительных зданий Помпей. К нему ведут кирпичные ступени; пройдя дверь между колоннами, выходишь во двор, напоминающий патио — центр испанских и мавританских жилищ: у древних он назывался *impluvium* или *cavaedium*; четырнадцать кирпичных оштукатуренных колонн образуют квадратный портик или крытый перистиль, похожий на галереи внутренних монастырских двориков, — здесь можно было не опасаться дождя. Пол двора выложен кирпичной и белой мраморной мозаикой, нежной и приятной для глаз. В середине расположен мраморный водоем, сохранившийся до нашего времени, — в него с крыши портика стекала дождевая вода. Странное создается впечатление, когда так неожиданно проникаешь в античный быт и попираешь лакированными ботинками мрамор, истертый сандалиями и котурнами современников Августа и Тиберия!

Чичероне повел их в экседру, или летнюю залу, выходящую в сторону моря, откуда веют прохладные ветерки. Именно здесь принимали гостей и отдыхали после обеда в жаркое время дня, когда со стороны Африки дул Зефир, несущий истому и грозу. Гид показал им базилику — длинную галерею с окнами, освещающими внутренние

помещения; здесь гости и клиенты дожидались, пока их пригласит номенклатор; затем гид повел их на белую мраморную террасу, откуда открывается вид на зеленые сады и синее море; потом он показал им нимфей, или купальню, с желтыми стенами, с колоннами, оштукатуренными под мрамор, с мозаичным полом и мраморным бассейном, в который погружалось столько прелестных тел, рассеявшихся, словно тени; показал кубикул, где реяло столько сновидений, возникших за воротами из слоновой кости: здесь альковы, устроенные в стене, задергивались конопеем, или пологом, бронзовые кольца которого все еще лежат на земле; показал тетрастиль, или комнату отдыха, алтарь богов-ларов, помещение для архива, библиотеку, коллекцию картин, гинекей, или женскую половину, состоящую из маленьких, частично разрушенных комнаток, на стенах которых еще заметны следы живописи и арабесок, словно румяна, не совсем стертые со щек.

Окончив осмотр, юноши спустились в нижний этаж, ибо уровень земли со стороны сада гораздо ниже, чем со стороны Дороги гробниц; они прошли восемь зал, выкрашенных в красное, из коих одна отделана архитектурными нишами вроде тех, какие имеются в вестибюле палаты послов в Альгамбре, затем они оказались в некоем погребе или подвале, о назначении которого красноречиво свидетельствовали восемь глиняных амфор, стоявших у стены, а некогда, вероятно, благоухавших, как оды Горация, критским, фалернским и массийским винами.

В узкое слуховое окошко, заслоненное крапивой, врывался резкий луч света, а пронизанные им листики превращались в изумруды и топазы, — и эта веселая улыбка природы как нельзя кстати умеряла царившую здесь грусть.

— Вот тут-то, — сказал чичероне равнодушным тоном, который отнюдь не согласовался со смыслом его слов, — здесь, среди других семнадцати скелетов и был найден скелет дамы, отпечаток тела которой находится в неаполитанском музее. На ней были золотые кольца, а в пепле, запечатлевшем ее очертания, еще виднелись обрывки тонкой туники.

Обыденные фразы гида привели Октавиана в глубокое волнение. Он попросил показать ему точное место, где были обнаружены драгоценные останки, и, не сдерживаясь он в присутствии друзей, он

предался бы самой неистовой восторженности: грудь его вздымалась, на глаза набегали слезы; бедствие, стертое двадцатью веками забвения, трогало его, словно произошло совсем недавно; смерть друга или возлюбленной не так огорчила бы его, и пока Макс и Фабио отвернулись, слезинки, с двухтысячелетним опозданием, скатились из его глаз на то место, где женщина, к которой он воспылал ретроспективной любовью, погибла, задушенная пылающей лавой вулкана.

— Хватит археологии! — воскликнул Фабио. — Мы не собираемся писать диссертацию об амфоре или черепице времен Юлия Цезаря, чтобы стать членами какой-нибудь захолустной академии; от всех этих античных воспоминаний мне захотелось есть. Пойдем, если можно, пообедаем в здешней живописной остерии, хоть я и боюсь, как бы бифштексы там не оказались ископаемыми, а свежие яйца — снесенными еще до смерти Плиния.

— Я не скажу, как Буало:

И дурак невзначай молвит умное слово... —

засмеялся Макс. — Это было бы невежливо; но мысль неплоха. Лучше бы, конечно, попить здесь, в каком-нибудь триклиннии, подобно Лукуллу или Тримальхиону, возлечь по-античному и чтобы подавали рабы. Правда, я что-то не вижу тут лукринских устриц, нет также ни калкана, ни барабульки из Адриатики; на базаре не найдешь апулийских вепрей, а хлеб и медовые лепешки, выставленные в неаполитанском музее, зачерствели и стали жесткими, как печи, в которых их испекли; как ни противны недоваренные макароны с *sassiacavallo*,^[59] все же это лучше, чем небытие. А что думает на этот счет обожаемый Октавиан?

Октавиан не слышал ни слова из этой гастрономической беседы — он скорбел о том, что его не было в Помпеях в день извержения Везувия и, следовательно, он не мог спасти даму с золотыми кольцами и заслужить тем самым ее любовь. Он уловил только последние слова Макса, но так не хотелось ему вступать в спор, что он неопределенным жестом выразил согласие, и приятели отправились вдоль городских стен к гостинице.

Стол накрыли в сенях, служащих остерии вестибюлем; их побеленные стены были украшены какой-то мазней, которую хозяин приписывал Сальватору Розе, Эспаньолетто, кавалеру Массимо и прочим знаменитостям неаполитанской школы, причем он считал своим долгом воздать им соответствующую хвалу.

— Почтеннейший хозяин, не расточайте понапрасну свое красноречие, — сказал Фабио. — Мы не англичане и старым холстам предпочитаем молоденьких девушек. Пришлите-ка к нам лучше красавицу брюнетку с бархатными очами, которая мелькнула сейчас на лестнице; пусть подаст нам карточку вин.

Хозяин понял, что юные посетители не из породы филистеров и обывателей, которых легко дурачить, и с восхваления своей картинной галереи перешел на восхваление винного погреба. У него вина всех знаменитейших марок: шато-марго, гран-лафит, ретур-дез-энд, силлери-де-моэт, хохмейер, скарлит-вайн, портвейн и портер, эль и гингербер, лакрима-кристи белое и красное, капри и фалернское.

— Ах ты, скотина! У тебя есть фалернское, а ты ставишь его в конец списка, — завопил Макс, вскочив с места и в комической ярости хватая хозяина за глотку, — ты терзаешь нас целой винодельческой рацеей и, видно, не имеешь ни малейшего понятия о местном колорите. Значит, ты недостоин жить в этих древних местах! Да хорошо ли оно, твое фалернское? Правда ли, что его разлили в амфоры при консуле Планке — *consule Planco*?

— Я не знаком с консулом Планком, и вино у меня не в амфорах, но оно старое и цена ему десять карлино за бутылку, — возразил хозяин.

Солнце зашло, и спустилась ночь — ночь ясная и прозрачная и уж, конечно, светлее, чем полдень в Лондоне; земля приобрела голубые тона, а небо светилось серебристыми, неизъяснимо нежными отблесками, в воздухе царило такое спокойствие, что даже пламя свечей, стоявших на столе, не колебалось.

К столику, за которым сидели трое друзей, подошел подросток-флейтист. Он застыл в позе, напоминающей барельеф, и вперил в них взор, продолжая извлекать из своего инструмента нежные, мелодичные звуки, — то была грустная народная песенка, чарующая и проникновенная.

Может быть, этот юноша был прямым потомком флейтиста, который шел некогда впереди Дуиллия?

— Наша трапеза принимает истинно античный характер, недостает только гадесских танцовщиц да венков из плюща, — сказал Фабио, наливая себе полный бокал фалернского.

— Меня подмывает пуститься в латинские цитаты, словно я фельетонист из «Деба»; в памяти оживают строфы од, — добавил Макс.

— Оставь их при себе, — воскликнули Октавиан и Фабио, не на шутку испугавшись. — Латынь, звучащая за ужином, страшно вредит пищеварению.

Когда молодые люди, удобно развалившись и пребывая в веселом настроении, с сигарой во рту сидят перед опорожненными бутылками вина — особенно если оно было крепким, — разговор их неизменно переходит на женщин. Каждый изложил свое понимание этого вопроса — и вот беглое резюме их взглядов.

Фабио ценил лишь красоту и молодость. Сластолюбивый и положительный, он не позволял себе иллюзий и в любовных делах не признавал никаких предрассудков. Крестьянка могла понравиться ему не меньше какой-нибудь герцогини — лишь бы она была хороша собою; телу он придавал больше значения, чем платью; он подтрунивал над некоторыми из своих приятелей, которые влюблялись в несколько метров кружев и шелка, и говорил, что уж логичнее было бы влюбиться в витрину какого-нибудь модного магазина. Такие убеждения, в сущности, весьма разумные, — причем он их отнюдь не скрывал, — создали ему репутацию человека эксцентричного.

Макс, натура менее артистичная, ценил лишь сложные приключения, запутанные интриги; он искал случая преодолеть сопротивление, совратить добродетель и вел любовную атаку, словно партию в шахматы, путем заранее обдуманных ходов, замедленных эффектных ударов, внезапных нападений и военных хитростей, достойных Полибия. В свете он выбирал для завоевания именно ту женщину, которая, казалось, была к нему особенно равнодушна; провести ее искусными ходами от неприязни к любви доставляло ему упоительное наслаждение; понравиться людям, которым он казался непривлекательным, сломить волю тех, кто противился его влиянию, — вот что считал он истинным триумфом. Как иные

охотники носятся по полям, лесам и долинам в дождь, в зной, в метель, устают до изнеможения и все же продолжают погоню с неукротимым пылом — и всего лишь ради жалкой добычи, которую они к тому же в большинстве случаев пренебрегают съесть, так и Макс, восторжествовав над своей жертвой, забывал о ней и почти тотчас же устремлялся к новой цели.

Что касается Октавиана, то он признавался, что реальное мало привлекает его, — и не потому, что он по-школярски увлечен мечтами, где, как в мадригале Демустье, благоухают лилии и розы, а потому, что любая красавица окружена прозаическими, отталкивающими мелочами; слишком много тут ворчливых отцов, украшенных орденами, кокетливых матерей с живыми цветами в накладных волосах, румяных кузенов, готовых решиться на любовное признание, нелепых теток, влюбленных в своих собачек. Достаточно ему было увидеть на стене в комнате женщины акватинту с картины Ораса Верне или Делароша, чтобы в сердце его зачала нарождающаяся страсть. Он был склонен к поэзии даже больше, чем к любви, и место свидания он представлял себе не иначе как на террасе Изоля-Белла или на берегах Лаго-Маджоре. Ему хотелось бы вырвать свою любовь из обыденной жизни и перенести ее куда-нибудь на звезды. Поэтому он поочередно пылал безумной, неосуществимой страстью ко всем прославленным женщинам, запечатленным в истории или в произведениях искусства. Подобно Фаусту, он был влюблен в Елену, и ему хотелось бы, чтобы волны столетий донесли до него одно из тех божественных воплощений человеческой мечты, форма которых, недоступная для взора пошляков, все же постоянно пребывает во времени и пространстве. Он создал себе идеал, помышляя о Семирамиде, Аспазии, Клеопатре, Диане де Пуатье, Жанне Арагонской. Иной раз он влюблялся в статуи, а однажды, когда он проходил в музее мимо Венеры Милосской, у него вырвался вопль: «О, кто возвратит тебе руки, чтобы ты могла прижать меня к своей мраморной груди!» В Риме у него начался странный бред при виде пышной прически с косами, извлеченной из античной могилы: он подкупил сторожа и, добыв таким образом два-три волоска, вручил их весьма могучей сомнамбуле, чтобы она вызвала тень и образ покойной; но за протекшие века флюид-проводник совсем испарился, и видение не могло появиться из вековой тьмы.

Стоя перед витриной в Студи, Фабио понял, что отпечаток, найденный в подвале виллы Аррия Диомеда, вдохновляет Октавиана на безрассудные порывы к давно исчезнувшему идеалу, — юноше хотелось выйти за пределы времени и жизни и перенестись душою в век Тита.

Макс и Фабио ушли в свою комнату; классические пары фалернского затуманили им головы, и они не преминули уснуть. Октавиан же не раз оставлял свой стакан нетронутым, ибо не хотел пошлым хмелем нарушить поэтическое опьянение, обуревавшее его ум; он был глубоко взволнован и понимал, что ему не уснуть; он не спеша вышел из остерии и отправился погулять, чтобы ночной воздух освежил его чело и умиротворил взбудораженные мысли.

Он бессознательно направил шаг к воротам, через которые вступают в мертвый город, отодвинул деревянную перекладину, загораживавшую вход, и наугад углубился в развалины.

Луна заливала белоснежным светом белесые дома, разделяя улицы на две части — серебристо-светлую и синевато-темную. Ночное освещение, приглушая краски, скрадывало изъязы зданий. Теперь не так заметны были, как при ярком солнечном свете, изуродованные колонны, испещренные трещинами фасады, провалившиеся при извержении кровли; недостающие части восполнялись полутонами, и внезапный луч, как удачный блик в эскизе картины, полностью воссоздавал исчезнувшую совокупность строений. Казалось, молчаливые ночные духи восстановили ископаемый город, чтобы показать какую-то причудливую жизнь.

Иной раз Октавиану даже чудилось, будто в сумраке скользят неясные человеческие тени, но они таяли, как только попадали в светлую полосу. В безмолвии проносился какой-то глухой шепот, слышался неясный рокот. Сначала наш юноша думал, что у него просто-напросто рябит в глазах, а в ушах стоит гул, а быть может, это всего лишь обман зрения, вздохи морского ветерка, а то и беготня ящерицы или ужа сквозь заросли крапивы, — ведь в природе все живет — даже смерть, все шуршит — даже безмолвие. Между тем его охватывал какой-то невольный страх, по телу пробежал легкий озноб, вызванный, быть может, ночной прохладой. Раза два-три он обернулся; теперь он уже не чувствовал, как недавно, что одинок в пустынном городе. Неужели его товарищам пришла в голову та же мысль и они

его разыскивают среди развалин? Мелькающие где-то тени, неясные звуки шагов — не Макс ли это и Фабио гуляют, беседуя, а сейчас скрылись за углом? Но Октавиан понимал, что такое вполне естественное объяснение противно истине, — об этом свидетельствовало его волнение, — и собственные его рассуждения на этот счет отнюдь не успокаивали его. Пустыня и мрак были населены невидимыми существами, которым он докучал; он проник в какую-то тайну, и здесь, по-видимому, только ждут его ухода, чтобы все ожило. Таковы были причудливые мысли юноши, они владели его умом и приобретали особое правдоподобие благодаря позднему времени, окружающей обстановке и множеству волнующих подробностей, — это легко поймет всякий, кому доводилось оказаться ночью среди обширных руин.

Проходя мимо дома, который привлек его внимание еще днем, а теперь был ярко освещен луной, он увидел в полной сохранности портик, который он при дневном свете пытался мысленно восстановить: четыре дорические колонны с каннелюрами до половины высоты, покрытые, словно пурпурной драпировкой, суриком, поддерживали верх карниза с разноцветным и таким свежим орнаментом, что, казалось, художник закончил его лишь вчера; на стене около двери — лаконский пес, писанный восковыми красками, с неременной надписью: «Save sanem»,^[60] яростно лаял на луну и на пришельцев. На мозаичном пороге слово «Have»,^[61] написанное оскскими и латинскими литерами, дружески приветствовало гостей. Внешние стены, выкрашенные охрой и пурпуром, высились в полной неприкосновенности. Дом вырос на один этаж, и его черепичная крыша с ажурными бронзовыми акротериями четко вырисовывалась на нежной голубизне неба с мерцающими там и сям бледными звездами.

Столь поразительная реставрация, выполненная за несколько часов неведомым зодчим, несказанно взволновала Октавиана, — ведь он не сомневался, что днем видел этот дом в развалинах. Таинственный мастер работал невероятно быстро, ибо и соседние здания приобрели вид недавно построенных, — все колонны были увенчаны капителями, не видно было ни одного камня, ни одного карниза, ни одного кусочка штукатурки, ни одного сколка живописи, которые отвалились бы от блестящих фасадов домов, а в проемах

перистилей, вокруг мраморного бассейна каведиума, виднелись розовые и белые лавры, гранатовые деревья и мирты. Историки, все до одного, ошиблись: никакого извержения не было, а не то так стрелка на циферблате вечности повернула вспять на двадцать вековых часов.

Крайне удивленный Октавиан спрашивал себя — не спит ли он на ходу, не бродит ли во сне? Он напряженно думал — не безумием ли вызваны эти пляшущие перед ним видения; но он убеждался, что не сошел с ума и не грезит.

В воздухе тоже произошла удивительная перемена: с лазоревым сиянием луны теперь сливались, принимая лиловатые оттенки, легкие розовые тона; небо светлело по краям, казалось, вот-вот забрезжит заря. Октавиан вынул из кармана часы, они показывали полночь. Юноша подумал, не остановились ли они, и нажал на кнопку репетиции; пробило двенадцать. Да, была полночь, а вместе с тем становилось все светлее, луна таяла во все более яркой лазури; всходило солнце.

Тут Октавиан, в сознании которого всякое представление о времени смешалось, мог убедиться, что он гуляет не в мертвых Помпеях, не по застывшему трупу города, полуизвлеченного из савана, а в Помпеях живых, юных, нетронутых, по которым не пронеслись потоки огненной грязи Везувия.

Непостижимым чудом он, француз XIX века, и не мысленно, а на самом деле перенесен во времена Тита; а может быть, ради него разрушенный город с его исчезнувшими обитателями извлечен из глубин прошлого, — ведь вот только что мужчина в античной одежде вышел из соседнего дома.

Человек этот был бритый, с коротко остриженными волосами, в коричневой тунике и сероватом плаще, концы которого были подобраны, чтобы не мешали при ходьбе; он шагал поспешно, почти бежал, и прошел около Октавиана, не заметив его. На руке у него висела плетеная корзинка, и направлялся он к Нундинскому форуму; то был раб, какой-нибудь Дав, и спешил он, конечно, на рынок.

Послышался стук колес, и античная телега, запряженная белыми волами и полная овощей, выехала на улицу. Рядом с ней шел погонщик с голыми загорелыми ногами, обутыми в сандалии; одет он был в холщовую рубаху, топырившуюся у пояса; соломенная шляпа конусом,

откинута на спину, держалась на подбородочном ремне, и видно было его лицо. Этот тип теперь уже не встречается, — низкий лоб с резкими выпуклостями, черные вьющиеся волосы, прямой нос, спокойные, как у волов, глаза и шея некоего деревенского Геркулеса. Он степенно подгонял скотину стрекалом, причем поза его напоминала статую и могла бы привести в восторг самого Энгра.

Погонщик увидел Октавиана и, казалось, удивился, однако продолжал свой путь; один раз он обернулся, должно быть, не в силах понять, что за странного человека он видит, но решить эту загадку он по своей невозмутимой деревенской тупости предоставил более смышленным.

Появились и крестьяне из Кампаньи — они позванивали медными колокольчиками и погоняли ослов, навьюченных бурдюками с вином; их лица столь же отличались от лиц нынешних крестьян, как древняя медаль от современной монеты.

В городе постепенно появлялось все больше и больше народа, — так в диораме, где сначала не видно ни души, благодаря изменяющемуся освещению оживают дотоле незаметные фигуры.

Теперь Октавиан переходил во власть совсем иных чувств. Еще недавно, в обманчивом сумраке ночи, им владело беспокойство, знакомое даже самым отважным, когда они оказываются в тревожной, фантастической обстановке, которую не в силах постичь разум. Смутный страх сменился глубоким изумлением; он воспринимал все так отчетливо, что не мог не доверять своим чувствам, а между тем то, что он видел, было совершенно невероятно. Все еще сомневаясь, он старался с помощью мелких реальных подробностей доказать себе, что не стал жертвой галлюцинаций. Перед взором его проходили не призраки, ибо солнечный свет заливал их неопровержимо реально, и тени их, по-утреннему длинные, ложились на дороги и стены домов. Не понимая, что с ним творится, Октавиан приходил в восторг от мысли, что исполняется одно из заветнейших его желаний, и он уже не противился происходящему, а поддавался всем этим чудесам, не пытаясь разобраться в них; он решил, что раз какой-то колдовской властью ему дано прожить несколько часов в давно минувшем веке, то не стоит тратить время на решение непостижимой загадки, и он отважно зашагал вперед, наблюдая открывающееся перед ним столь древнее, а для него столь новое зрелище. Но в какую эпоху истории

Помпей он перенесен? Из надписи с именами чиновников, высеченной на стене, он узнал, что теперь начало царствования Тита, а именно семьдесят девятый год нашей эры. В уме Октавиана мелькнула догадка: женщина, слепком с тела которой он любовался в Неаполитанском музее, должна быть жива, раз извержение Везувия, принесшее ей смерть, произошло 24 августа нынешнего года; значит, можно ее разыскать, увидаться с нею, поговорить... Безумное желание, вспыхнувшее в нем при виде обломка лавы с отпечатком божественных контуров, быть может, будет утолено, ибо нет ничего невозможного для любви, — ведь оказалось же ей под силу обратить время вспять и дважды отметить один и тот же час на песочных часах вечности!

Пока Октавиан предавался этим размышлениям, на улице появились миловидные девушки; они шли к фонтанам, и каждая поддерживала белоснежными пальчиками кувшин, стоявший у нее на голове; патриции в белых тогах с пурпурной каймой в сопровождении многочисленных клиентов направлялись к форуму. Возле лавочек со скульптурными и живописными вывесками толпились покупатели; теснотой своей и очертаниями эти лавочки напоминали мавританские ларьки в Алжире; над большинством из них виднелся торжествующий глиняный расписной фаллус и надпись *hic habitat felicitas*,^[62] что свидетельствовало о суеверном страхе перед дурным глазом. Октавиану попала даже целая лавка амулетов, на полках которой громоздились рога, раздвоенные веточки кораллов и золотые приапчики, какие еще и теперь можно приобрести в Неаполе, чтобы предохранить себя от дурного глаза, — и он подумал о том, что суеверие долговечнее веры.

Идя по тротуару, — а тротуары имеются на всех улицах Помпей и тем самым лишают англичан права считать их своим изобретением, — Октавиан встретился лицом к лицу с молодым человеком, красавцем приблизительно того же возраста; на нем была туника шафранового цвета и тонкошерстный белый плащ, мягкий, как кашемир. При виде Октавиана, одетого в мещанский черный сюртук, в безобразной современной шляпе, в тесных лакированных башмаках, с ногами, заключенными в узкие брюки, юный помпеянец был изрядно удивлен, — так мы удивились бы, увидя на Гентском бульваре айовая или ботокудо в перьях, в ожерельях из медвежьих когтей и с

причудливой татуировкой. Однако, как отлично воспитанный юноша, он не расхохотался в лицо Октавиану, а сжалился над бедным варваром, попавшим в греко-римский город, и промолвил ласковым, проникновенным голосом:

— Advena, salve.^[63]

Было вполне естественно, что в царствование божественного, могущественнейшего и великолепнейшего императора Тита, житель Помпей изъясняется по-латыни, и все же Октавиан вздрогнул, когда услышал этот мертвый язык из живых уст. Тут он порадовался, что был силен в переводе и получал награды на школьных соревнованиях. В этих исключительных обстоятельствах пригодилась ему и латынь, которой его обучали в университете; напрягши память, он ответил на приветствие помпеянца в стиле «De viris illustribus» и «Selectae e profanis»,^[64] причем ответил довольно вразумительно, хоть и с парижским выговором, вызвавшим у юноши улыбку.

— Может быть, тебе легче изъясняться по-гречески? — спросил помпеянец. — Я и этот язык знаю, ибо учился в Афинах.

— Греческий я знаю еще хуже, чем латынь, — ответил Октавиан, — я из страны галлов, из Парижа, из Лютеции.

— Мне эта страна знакома. Мой дед воевал в Галлии при великом Юлии Цезаре. Но что за странный на тебе наряд? Галлы, которых я видел в Риме, одевались совсем иначе.

Октавиан попробовал было разъяснить молодому помпеянцу, что со времени завоевания Галлии Юлием Цезарем прошло двадцать столетий и что за это время мода могла измениться; но из такой попытки ничего не вышло, да, по правде говоря, это не имело ни малейшего значения

— Меня зовут Руф Голконий, и дом мой к твоим услугам, — сказал юноша, — впрочем, может быть, ты предпочитаешь вольную жизнь в таверне; можно хорошо устроиться в харчевне Альбиния, у ворот предместья Августа Феликса или на постоялом дворе Сарина, сына Публия, возле второй башни; если хочешь, я буду твоим проводником в незнакомом тебе городе; ты нравишься мне, юный варвар, хоть ты и хотел посмеяться над моей доверчивостью, когда утверждал, будто император Тит, ныне правящий, умер две тысячи лет тому назад и будто Назарей, гнусные последователи коего были облиты смолой и послужили факелами для садов Нерона, ныне

безраздельно царствует на пустынном небе, с которого низвергнуты великие боги. Клянусь Поллуксом, — добавил он, взглянув на красную надпись на перекрестке, — сегодня дают «Касину» Плавта, которую недавно возобновили на театре; это занятная, смешная комедия, она позабавит тебя, даже если ты поймешь одну только пантомиму. Следуй за мной, скоро начнут; я посажу тебя на скамью гостей и чужестранцев.

И Руф Голконий направился к театрику, который друзья осмотрели днем.

Француз и помпеянец направились по улицам Источника Изобилия и Театральной, миновали коллегию, храм Исиды и мастерскую ваятеля и через боковую дверь вошли в Одеон, то есть комедийный театр. По просьбе Голкония Октавиана посадили у просцениума, в местах, равноценных нашим ложам авансцены. Сразу же все взоры с благожелательным любопытством обратились к нему, и по амфитеатру пробежал легкий шепот.

Представление еще не начиналось, и Октавиан воспользовался этим, чтобы рассмотреть залу. От пустого пространства, соответствующего нашему партеру, но гораздо более тесному и вымощенному мозаикой из греческого мрамора, полукругом, мало-помалу расширяясь, расходились лавки, в конце которых с каждой стороны виднелись великолепные львиные лапы, высеченные из лавы Везувия; на определенном расстоянии друг от друга выделялись особые места, образованные более широкой скамьей, а четыре лестницы, соответственно четырем входам в здание, поднимались с низу до самого верха амфитеатра и разделяли его на пять постепенно расширявшихся отсеков. Зрители легко отыскивали свои места, имея на руках билеты в виде пластинок из слоновой кости, где были указаны номера отсека, ряда и скамьи, а также название пьесы и имя сочинителя. Сановники, патриции, женатые мужчины, юноши, солдаты в блестящих бронзовых касках — каждый занимали обособленные места.

В первых рядах бросались в глаза великолепные тоги и широкие белые плащи, а на их фоне выделялись разнообразные наряды женщин, разместившихся повыше, и все это являло собою восхитительное зрелище; дальше виднелись серые накидки простолудинов, — они разместились на верхних скамьях, у колонн,

поддерживающих крышу; в проемах колонн виднелось темно-синее небо, словно лазурь панафиней. С карниза падали, освежая воздух и благоухая, еле заметные капли воды, надушенной шафраном, Октавиану вспомнились зловонные испарения, отравляющие воздух в наших театрах, которые сооружаются до того неудобно, что их можно почитать за место пыток, и он пришел к выводу, что цивилизация не так-то уж продвинулась вперед.

Занавес, подвешенный на поперечной перекладине, опустился в недра оркестра, музыканты заняли места на своей вышке, и появился Пролог в причудливом наряде, с безобразной маской, сооруженной в виде шлема.

Пролог обратился к публике с приветствием и просьбой не скупиться на рукоплескания, а затем приступил к шутовским рассуждениям.

— Старые пьесы все равно что вино, — говорил он, — с годами они становятся только лучше, и «Касина», дорогая сердцу старцев, столь же дорога и молодым; она всем доставит удовольствие — одним потому, что они ее знают, другим потому, что они ее не знают. К тому же над новой постановкой потрудились с великим тщанием, и слушать ее надо, отрешившись от всех забот, не думая ни о долгах, ни о заимодавцах, ибо в театре никого не берут под стражу; сегодня счастливый день, погода прекрасная и над форумом реют альционы.

Потом он рассказал содержание пьесы, которую представят лицедеи, причем сделал это весьма подробно, из чего можно заключить, что в том удовольствии, какое доставлял древним театр, неожиданность играла незначительную роль. Он рассказал, как старик Сталино, влюбленный в свою рабыню Касину, вознамерился выдать ее за своего фермера Олимпио, сговорчивого супруга, которого он заменит в брачную ночь, и как Ликострата, жена Сталино, собирается выдать Касину за конюха Халина, чтобы пресечь похоть своего порочного супруга и вместе с тем помочь сыну в его любовных делах; рассказал, наконец, как обманутый Сталино принимает переодетого юношу-раба за Касину, в то время как Касина, оказавшаяся не рабыней, а свободной, и притом благородного происхождения, выходит замуж за своего молодого хозяина, которого она любит и которым любима сама.

Молодой француз рассеянно смотрел, как изощряются на сцене актеры в масках с бронзовыми отверстиями ртов; рабы шныряли во все стороны, стараясь выказать свое усердие; старик качал головой и простирали трясущиеся руки; громогласная, строптивая и высокомерная матрона ерепенилась и поносила мужа, к великому удовольствию зрителей.

Все эти персонажи входили и выходили через три двери, которые были устроены в задней стене и сообщались с актерским фойе. Дом Сталино занимал угол сцены, а дом его старого друга Алкесима помещался напротив. Декорации, хотя и отлично написанные, не столько изображали само место действия, сколько давали о нем представление, подобно условным кулисам классического театра.

Когда брачное шествие с мнимой Касиной появилось на сцене, по рядам пронеслись оглушительные раскаты хохота, вроде тех, какие Гомер приписывает богам, а грохот рукоплесканий эхом отозвался от задрожавших стен; но Октавиан уже ни на что не смотрел и ничего не слышал.

Он только что заметил на скамьях, занятых женщинами, существо изумительной красоты. С этого мгновения прелестные личики, дотоле привлекавшие его внимание, померкли, как звезды при появлении Фебы, все рассеялось, все исчезло, словно сон; скамьи, усеянные зрителями, заволкли туманом, и крикливые голоса актеров затерялись в какой-то безбрежной дали.

Сердце юноши дрогнуло, словно от электрического тока, и ему показалось, будто из груди его сыплется искры, как только взор этой женщины обращается на него.

То была бледнолицая брюнетка; волосы волнистые, вьющиеся, черные, как кудри Ночи, были по греческому обычаю слегка подобраны у висков; лицо отливало матовым оттенком и освещалось темными, ласковыми глазами с непередаваемым выражением томной грусти и страсти, приглушенной скукою; губы были пренебрежительно приподняты в уголках рта, и яркий пылающий их пурпур спорил с невозмутимой белизмой застывшего лица; шея женщины отличалась прекрасными, чистыми линиями, какие теперь можно увидеть только у статуй. Руки ее были обнажены до плеч, а от вершин горделивых грудей, приподнимавших лиловато-розовую тунику, спускались две складки, словно высеченные в мраморе Фидием или Клеоменом.

Грудь ее отличалась столь безупречными очертаниями, столь чистым рисунком, что Октавиан почувствовал себя замороженным какой-то магнетической силой; ему показалось, что округлости ее груди удивительно совпадают с тем оттиском из Неаполитанского музея, который погрузил его в пылкие мечтания, и какой-то голос крикнул ему из глубины сердца, что женщина, сидящая неподалеку, и есть та самая, что задохнулась от пыли Везувия на вилле Аррия Диомеда.

Каким же чудом он видит ее живою на представлении «Касины» Плавта? Он не стал задумываться над этим; к тому же, как сам-то он очутился здесь? Он поверил в свое присутствие так же, как во сне веришь в появление людей, давным-давно умерших и все же действующих, словно они еще живы; впрочем, он был слишком взволнован, чтобы рассуждать. Для него колеса времени вышли из колеи, и его всепобеждающее желание само выбирало ему место в минувших веках. Он находился лицом к лицу со своей мечтой, мечтой самой неуловимой, ибо она тонула в прошлом. Его жизнь мгновенно преобразилась.

Смотря на эту головку — столь невозмутимую и столь страстную, такую холодную и такую пламенную, такую мертвую и такую полную жизни, он понял, что перед ним — его первая и последняя любовь, чаша, несущая ему небывалое упоение; он почувствовал, как, словно легкие тени, рассеиваются воспоминания о всех женщинах, которых он, казалось ему, любил, и как душа его вновь становится девственной, очищаясь от всех былых волнений. Прошлое сгинуло.

Тем временем прекрасная помпеянка, опершись подбородком на руку, обращала на Октавиана бархатистый взгляд своих темных очей, причем делала вид, будто всецело занята сценой, и взгляд этот был жгуч и тяжел, как расплавленный свинец. Потом она склонилась к девушке, сидевшей рядом с нею, и что-то шепнула ей на ухо.

Представление кончилось, зрители направились к выходам. Октавиан, пренебрегая услугами своего вожатого, бросился к первой же попавшейся ему двери. Едва он дошел до нее, как его коснулась чья-то рука, и женский голос проговорил тихо, но так, что не пропало ни единое слово:

— Я Тихе Новелейя, я ведаю развлечениями Аррии Марцеллы, дочери Аррия Диомеда. Ты нравишься моей госпоже, следуй за мной.

Аррия Марцелла только что взошла на носилки, которые несли четверо сильных рабов-сирийцев; они были обнажены до поясницы, и их бронзовые торсы блестели в лучах солнца. Занавеска на носилках приоткрылась и бледная рука, вся в кольцах, дружески махнула Октавиану, как бы подтверждая слова служанки. Пурпурная ткань вновь опустилась, и носилки стали удаляться, покачиваясь под мерный шаг рабов.

Тихе повела Октавиана окольными путями; она переходила с улицы на улицу, легко ступая на камни, служащие перемычкой между тротуарами и расставленные с таким расчетом, чтобы между ними легко проходили колеса повозок. Она шла сквозь этот лабиринт с той уверенностью, какая вырабатывается привычкой. Октавиан заметил, что они проходят по кварталам Помпей, которых еще не коснулись раскопки и которые, следовательно, ему совершенно неизвестны. Это странное обстоятельство, как и многие другие, не удивило его. Он решил ничему не удивляться. Из всей этой древней фантазмагии, которая могла бы свести антиквара с ума от счастья, он уже видел только черный, глубокий взор Аррии Марцеллы и дивную грудь, восторжествовавшую над веками и бережно сохраненную самим разрушением.

Они подошли к потайной дверце; дверца отворилась и тотчас же захлопнулась, а Октавиан оказался во дворике, окруженном колоннами ионического ордера, высеченными из греческого мрамора; до половины высоты они были выкрашены в ярко-желтый цвет, а капители их были расписаны красным и синим узором; гирлянда кирказона, словно естественная арабеска, раскинула над выступами здания свои зеленые сердцевидные листья; возле бассейна, окаймленного растениями, стоял на одной лапке розовый фламинго — как цветок из перьев среди обычных цветов.

Стены были украшены фресками с изображением прихотливых сооружений и вымышленных пейзажей. Октавиан успел бросить лишь беглый взгляд на все эти подробности, ибо Тихе препоручила его рабам-банщикам, и в их руках ему пришлось вытерпеть все изощренные процедуры античных терм. После того как он прошел через пар различной температуры, испытал на себе скребницу, был натерт различными притираниями и благовонными маслами, его

облачили в белую тунику, и тут он в дверях вновь увидел Тихе; она взяла его за руку и отвела в другую, богато обставленную залу.

Потолок был расписан изображениями Марса, Венеры и Амура, причем чистота рисунка, блеск колорита и непринужденность мазка говорили о том, что это не работа набившего руку заурядного ремесленника, а создание великого живописца; над облицовкой из египетского зеленого мрамора тянулся фриз, скомпонованный из резвящихся в листве зайцев, оленей и птиц; пол был выложен дивной мозаикой, быть может, работы Сосима Пергамского, — она изображала празднество и создавала полную иллюзию реальности.

В глубине залы, на биклиниуме, или двухместном ложе, полулежала, облокотившись, Аррия Марцелла, и ее непринужденная и томная поза напоминала лежащую женщину работы Фидия на фронте Парфенона; у подножия ложа стояли ее туфли, расшитые жемчугом, а прекрасная обнаженная нога, совершеннее и белее мраморной, выступала из-под легкого покрывала. На фоне ее бледных щек блестели сережки в виде весов, с жемчужинами на каждой чаше; на ней был небрежно запахнутый пеплум соломенно-желтого цвета с черной каймой; в его разрезе видна была грудь и колыхавшееся на ней ожерелье из золотых колец с подвешенными к ним грушевидными зернами; черная с золотом ленточка сквозила кое-где в ее темных волосах, — ведь, возвратясь из театра, она переоделась, — а вокруг ее руки вилась, как у Клеопатры, золотая змейка с глазами из драгоценных камней, вилась и тщила укусь свой собственный хвостик.

Перед двухместным ложем стоял столик с ножками в виде лап грифона, инкрустированный перламутром, серебром и слоновой костью; он был уставлен различными яствами на серебряных, золотых и богато расписанных глиняных блюдах. Тут красовалась птица из Фаза в полном своем оперении и всевозможные плоды, которые обычно не встречаются вместе, так как поспевают в разное время.

Все говорило о том, что здесь ждут гостя; пол был усыпан свежими цветами, а амфоры с вином стояли в сосудах, наполненных снегом.

Аррия Марцелла знаком пригласила Октавиана занять место возле нее на биклиниуме и принять участие в трапезе; полубезумный от любви и удивления, юноша наугад взял немного пищи с блюд, которые

подали ему маленькие курчавые рабы-азиаты в коротких туниках. Аррия ничего не ела, зато часто подносила к губам флюоритовый кубок опалового цвета с темно-пурпурным вином, напоминавшим спекшуюся кровь; по мере того как она пила, ее бледные щеки покрывались еле уловимым румянцем — к ним поднималась кровь из сердца, не трепетавшего уже много лет; однако ее обнаженная рука, которой Октавиан коснулся, поднимая бокал, была холодна, как кожа змеи или надгробный мрамор.

— Когда ты задержался в музее, любуясь куском застывшей лавы, в котором запечатлелось мое тело, — проговорила Аррия Марцелла, обратив на Октавиана долгий влажный взгляд, — и когда мысли твои пылко устремились ко мне — я почувствовала это в том мире, где рею невидимо для грубых глаз; вера создает богов, любовь создает женщину. Действительно умираешь лишь тогда, когда тебя перестают любить; твоё вожделение вернуло мне жизнь, властные заклинания, рвавшиеся из твоего сердца, свели на нет разделявшую нас даль.

Мысль о могуществе любовных заклинаний, высказанная молодой женщиной, соответствовала философским убеждениям Октавиана, — да и мы готовы принять ее.

В самом деле, ничто не умирает, все пребывает вечно; никакой силе не уничтожить то, что некогда существовало. Всякий поступок, всякое слово, всякая форма, всякая мысль, упав во всеобъемлющий океан сущего, вызывает круги, которые расходятся, все расширяясь, до последних пределов вечности. Материальная форма исчезает лишь в глазах обывателей, в то время как призраки, отделяющиеся от нее, заселяют бесконечность. В какой-нибудь неведомой области пространства Парис по-прежнему похищает Елену. Галера Клеопатры расправляет свои шелковые паруса на лазури идеального Кидна. Иным могучим, страстным умам удалось приблизить к себе безвозвратно минувшие, казалось бы, века и оживить людей, мертвых в глазах всех других. Любовницей Фауста была дочь Тиндара, и он перенес ее из таинственных бездн Гадеса в свой готический замок. А теперь Октавиану дано прожить один день в царствование Тита и вкусить любовь Аррии Марцеллы, дочери Аррия Диомеда, которая возлежит сейчас рядом с ним на античном ложе, в разрушенном, по всеобщему убеждению, городе.

— По тому отвращению, которое вызывали у меня другие женщины, — отвечал ей Октавиан, — по непреодолимым мечтам, которые, словно манящие звезды, влекли меня к лучезарным образам, скрытым в глубине веков, я понимал, что полюблю только вне времени и пространства. Именно тебя ждал я, и хрупкий обломок, сбереженный людской любознательностью, некою таинственной силой связал меня с твоей душой. Не уверен — сон ли ты или явь, видение или женщина, прижимаю ли я, как Иксион, облако к своему заблуждающемуся сердцу, жертва ли я мерзкого колдовства, — но я твердо знаю, что ты будешь моею первой и последней любовью.

— Да услышит твои слова Эрот, сын Афродиты, — сказала Аррия Марцелла, склоняя головку на плечо возлюбленного, в то время как он страстно обнял ее. — О, прижми меня к своему юному сердцу, обвей меня своим теплым дыханием, я озябла, так долго дожидаясь любви.

И Октавиан почувствовал, как колышется прекрасная грудь, слепком с которой он еще утром любовался в музее под стеклом витрины; он сквозь тунику ощущал свежесть этой прекрасной плоти, она воспламеняла его. Черная с золотом ленточка на голове Аррии развязалась, сама она страстно откинулась назад, и ее волосы черным потоком разлились по голубой подушке.

Рабы вынесли столик. Слышались только легкие вздохи и звуки поцелуев. Ручные перепелки, не обращая внимания на любовную сцену, клевали крошки, упавшие на мозаичный пол, и время от времени глухо покрикивали.

Вдруг медные кольца занавеса, закрывавшего комнату, закрипели, скользя по стержню, и на пороге появился суровый на вид старец в широком коричневом плаще. Борода его была разделена надвое, как у назареев, лицо измождено лишениями; висевший у него на груди черный деревянный крестик не оставлял никакого сомнения насчет его верований: он принадлежал к недавно возникшей секте последователей Христа.

При виде его Аррия Марцелла так смутилась, что прикрыла лицо полою своего плаща, — так птица прячет головку под крылом, лишь бы не видеть врага, которого она не может избежать. Зато Октавиан, облокотившись о биклиний, внимательно взирал на несносного старика, столь грубо вторгнувшегося в его счастье.

— Аррия, Аррия! — воскликнул суровый старик, и в голосе его звучал упрек. — Неужели твоей распущенности мало было прожитой жизни и похоть твоя стремится завладеть веками, которые уже не принадлежат тебе? Неужели ты не можешь оставить живых в их пределах, неужели прах твой не остыл с того дня, когда ты умерла без покаяния под огненным градом вулкана? Неужели две тысячи лет, прошедших со времени твоей кончины, не утомили тебя и ты алчными руками все еще влечешь несчастных безумцев, опьяненных твоим колдовским зельем, к мраморной груди, в которой нет сердца?

— Пощади меня, Аррий, отец мой; не обвиняй меня — молю тебя во имя мрачной религии, которую я никогда не принимала. Сама я верю в наших древних богов, а они любили жизнь, юность, красоту, веселье. Не ввергай меня вновь в тусклое небытие. Дай мне насладиться жизнью, которую вернула мне любовь!

— Замолчи, нечестивица! Не говори мне о своих богах, — они всего лишь демоны. Отпусти этого человека, околдованного твоими мерзкими соблазнами; не увлекай его за пределы жизни, отмеренной ему богом, а сама возвращайся в языческие сферы вместе со своими возлюбленными — азиатами, римлянами и греками. Юный христианин, покинь эту мразь, которая показалась бы тебе отвратительнее Эмпузы и Форкиад, если бы ты мог видеть ее в ее истинном виде.

Бледный, застывший от ужаса, Октавиан хотел было что-то сказать, но язык его, по выражению Вергилия, прилип к гортани.

— Подчинись моему повелению! — властно воскликнул старик.

— Нет, ни за что! — ответила Аррия. Глаза ее сверкали, ноздри раздувались, губы дрожали; она обхватила Октавиана прекрасными, холодными руками, жесткими и твердыми, как мрамор. В эту решительную минуту ее красота, распаленная гневом и отчаянием борьбы, сверкала каким-то сверхъестественным блеском, словно для того, чтобы оставить у юного любовника неизгладимое воспоминание.

— Несчастная! — продолжал старик. — Значит, придется прибегнуть к крайним средствам и явить околдованному юнцу твое небытие явственно и ощутимо. — И он повелительным голосом произнес заклинание, от которого со щек Аррии сразу исчез румянец, наведенный кубком черного вина.

В этот миг из какого-то приморского села или деревушки, затерянной в горах, донесся удар колокола — первые звуки благовеста.

Едва он зазвучал, из разбитой груди молодой женщины вырвался предсмертный вздох. Октавиан почувствовал, как разжались обнимавшие его руки; ткани, в которые она была облачена, стали сами собой опадать, словно формы, поддерживавшие их, поникли, и несчастный ночной путник увидел рядом с собою, на пиршественном ложе, всего лишь горсточку пепла и несколько обгоревших костей, среди которых блестели золотые украшения и запястья, — да еще лежали тут какие-то бесформенные останки, вероятно, обнаруженные при расчистке дома Аррия Диомеда.

Он испустил страшный вопль и лишился сознания.

Старик исчез. Солнце всходило и зала, только что блиставшая своим убранством, стала теперь всего лишь развалиной.

После вечерних возлияний Макс и Фабио спали тяжелым сном; утром они вскочили с постелей и прежде всего стали звать товарища, помещавшегося в соседней комнате, — они бросили ему шуточный условный клич, какие придумывают иной раз в путешествии. Октавиан не откликнулся — и мы знаем почему. Не получая ответа, Фабио и Макс вошли в его комнату и увидели, что постель осталась нетронутой.

— Он, вероятно, не мог добраться до кровати и заснул где-нибудь на стуле, — сказал Фабио. — Голова у милого Октавиана не крепкая, он, должно быть, спозаранку вышел, чтобы освежиться на утреннем воздухе.

— А ведь он не так уж много пил, — заметил Макс в раздумье. — Все это довольно странно. Пойдем его искать.

С помощью чичероне приятели обошли все улицы, закоулки, площади и тупички Помпей, заходили во все дома, представляющие интерес, где по их предположениям Октавиан мог копировать какую-нибудь фреску или надпись, и в конце концов они нашли его на потрескавшейся мозаике полуразрушенной комнаты. Они с трудом привели его в чувство; очнувшись, он ничего им не объяснил, а сказал только, что ему вздумалось осмотреть Помпеи при лунном свете и что с ним сделался обморок, который, конечно, не будет иметь никаких последствий.

Друзья вернулись в Неаполь так же, как и приехали оттуда, по железной дороге, а вечером в Сан-Карло, запасшись биноклями, они любовались из ложи, как прыгает, подражая Амалии Феррарис, модная в те годы балерина, любовались стайкой нимф, из-под газовых юбочек которых виднелись отвратительные зеленые панталончики, придававшие плясуньям сходство с лягушками, укушенными тарантулом. Бледный, рассеянный, угнетенный, Октавиан, по-видимому, даже не замечал того, что делается на сцене, до такой степени ему было трудно после чудесных ночных приключений вернуться к реальной жизни.

После посещения Помпей Октавиан впал в такую беспросветную меланхолию, что жизнерадостность и шутки его спутников не только не рассеивали ее, а, наоборот, усугубляли; образ Аррии Марцеллы повсюду преследовал юношу, а печальная развязка фантастического приключения ничуть не ослабляла его очарования.

Будучи не в силах бороться с самим собою, он тайно вернулся в Помпеи; как и в первый раз, он в лунную ночь отправился гулять среди руин; сердце его трепетало от безрассудной надежды, но галлюцинация не повторилась; он видел лишь ящериц, скользящих среди камней, он слышал только посвист встревоженных ночных птиц; он не повстречал своего друга Руфа Голкония; Тихе не коснулась хрупкой ручкой его плеча; Аррия Марцелла упорно пребывала в небытии.

Отчаявшись, Октавиан недавно женился на прелестной юной англичанке, которая от него без ума. По отношению к жене он безупречен, однако безошибочный инстинкт подсказывает сердцу Эллен, что муж ее влюблен в другую, — но в кого? Даже самая упорная слежка не помогла что-либо выяснить на этот счет. У Октавиана нет танцовщицы-содержанки, в свете он расточает женщинам лишь самые обычные любезности, а на заигрывания одной русской княгини, известной своей красотой и кокетством, он ответил весьма холодно. В отсутствие мужа Эллен однажды заглянула в потайной ящик секретера, но и тут ничто не подтвердило ее подозрений. А могло ли прийти ей в голову, что надо ревновать мужа к Марцелле, дочери Аррия Диомеда, Тибериева вольноотпущенника?

**МАДЕМУАЗЕЛЬ ДАФНА ДЕ
МОНБРИАН**

В прошедшем году в том кругу, где главным и, пожалуй, единственным занятием является прожигание жизни, только и было разговоров, что о мадемуазель Дафне де Монбриан, или, как ее обычно называли, просто Дафне. Все, кто посещали сколько-нибудь элегантные клубы, бывали на скачках в Шантийи или Ламарше, рукоплескали модной певице или танцовщице в Опере, воткнув в петлицу бутоньерку от Изабель, играли в мяч и в крикет, катались на коньках, ужинали после маскарада в «Английском кафе», а летом посещали игорные дома Баден-Бадена, — все они знали Дафну. Прочая же публика, жалкие франты второго сорта, недостойные столь великой чести, делали вид, будто знают ее. Злые языки утверждали, что настоящее имя Дафны — Мелани Трипье, но люди со вкусом одобряли ее отказ от этого неблагозвучного словосочетания: ведь хорошенькая женщина, откликающаяся на подлое имя, — все равно что роза, на которую уселась улитка, а Дафна де Монбриан, бесспорно, звучит куда лучше, чем Мелани Трипье. В этом имени слышалось нечто мифологическое, аристократическое и бесконечно изящное. Особый шик придавало написание через f, напоминавшее не больше не меньше, как о ренессансной Италии. Наверняка это имя выдумал для красоты какой-нибудь безработный поэт, вдохновившийся за десертом не одним бокалом шампанского.

Как бы там ни было, Дафна приезжала на скачки в карете на восьми рессорах, запряженной а la Домон; лошадьми правили два грума в белых лосинах, мягких сапогах с отворотами, ярко-зеленых атласных казакинах и английских каскетках на взбитых пудренных волосах. Даже самые капризные спортсмены не могли придраться к этому выезду; лучшим не могла бы похвастать и самая настоящая герцогиня. Строгость вкуса во всем, что касается до конюшни, снискала Дафне некоторое уважение среди лошадиников. Ее породистые кони и черная ливрея смотрелись шикарно.

От природы белокурая, Дафна в угоду тогдашней моде прибегнула к некоторым возрожденным средствам венецианской косметики XVI века и сделалась рыжей. Тяжелым узлом спускавшиеся на затылок,

волосы ее загорались на солнце яркими блестками, напоминавшими золотистых бабочек в сачке. Глаза у нее были цвета морской волны — *procellosi oculi* — глаза цвета бури, окаймленные темными бровями и такими же темными ресницами, — пикантное сочетание, которое, что бы ни породило его, природа или искусство, производило самое превосходное впечатление. Кожа у нее была такая белая, что не обошлась без веснушек, которые скрывал слой рисовой пудры и гортензиевых белил; впрочем, изумительная нежность этой кожи искупала любые недостатки; к тому же в наш век грима каждый сам творит себе лицо. Губы, оживленные кармином, приоткрываясь, обнажали чистые ровные зубы, чьи остренькие клыки напоминали об эльфах, русалках и прочих порождениях водной стихии, с которыми следует держать ухо востро.

Что до нарядов Дафны, то они были весьма разнообразны, но неизменно экстравагантны и живописны, словно маскарадные костюмы. Они отличались безумной роскошью и поразительным обилием всех тех пустяков, которые измышляют модницы полусвета, не знающие, что бы еще учудить, дабы привлечь внимание и попасть в историю. Андалузские, венгерские, русские шляпки с павлиньими перьями, вуали с масками, созвездия стальных блесков, бисерная бахрома, вышивка стеклярусом и прочая мишура, делавшая платье похожим на оголовок испанского мула; турецкие и зуавские жакеты, казацкие рубашки, гарибальдийки, столь щедро украшенные пуговицами, бубенчиками, шнурками и сутажом, что не разглядеть материи; юбки с разрезами, укороченные, пышные, с оборками и вставками самых ярких и неожиданных цветов; прелестные сапожки из левантийского сафьяна на высоких красных каблуках и с золотыми кисточками, — недостатка не было ни в чем, и, будьте уверены, на пуговицах красовались подковы и два скрещенных хлыста. Глядя на Дафну, можно было подумать, что она сошла с модной картинки, нарисованной Марселем для «Парижской жизни».

Но случилось так, что в разгар своего триумфа, в зените своей славы мадемуазель Дафна де Монбриан вдруг исчезла. Светило затмилось и сошло с небосклона изящной жизни. Что с нею случилось? Быть может, кредиторы, устав ждать, отправили ее отдохнуть в Клиши? или она влюбилась в какого-нибудь несовершеннолетнего ангелочка, который приказал ей отречься от Сатаны и его сокровищ?

или вкусивший цивилизации паша, наскучив грузинками, черкешенками и негритянками, пригласил ее в свой сераль, положив ей пятьдесят тысяч франков жалованья и взяв обязательство жить взаперти и в верности? Никто ничего не знал. Иные предполагали даже, что, охваченная внезапным раскаянием, она затворилась в каком-нибудь монастыре. Этому происшествию требовалось объяснение необычное и романическое: Дафна была слишком красива, слишком молода и пользовалась слишком большим успехом, чтобы ее могла постичь пошлая участь простых смертных, которые, старея, возвращаются в безвестность, откуда вышли.

Недели две об исчезновении Дафны говорили в Булонском лесу, в Опере и Клубе, а затем о ней забыли. Парижу есть чем заняться и помимо падающих звезд; он нужен всем, но ему не нужен никто. Вы явились — прекрасно; вы уходите — еще лучше: ваше место займет другой. Парижу ничего не стоит сказать женщине: *displacuit nasus tuus* — твой нос надоел; нос Дафны был самой изысканной формы и еще никому не успел надоест, но носик Зербинетты, прелестно вздернутый, как у Рокселаны, через месяц полностью вытеснил его из памяти парижан.

Но ведь Дафна где-нибудь да жила; она не умерла: о смерти ее стало бы известно. Ее дом, лошади, кареты не были проданы, да и вообще цивилизованное общество не расправляется так запросто с такой красавицей, как мадемуазель Дафна де Монбриан, урожденная Мелани Трипье. Достоверно было лишь одно: в Париже Дафны нет. Очередной кавалер, напрасно прождавший ее в назначенном месте, куда она, естественно, не явилась, искал ее повсюду, даже в морге, этой конечной точке всех безнадежных поисков, но тщетно.

Мы, куда более проворные, чем незадачливый любовник, сумеем, быть может, обнаружить местонахождение мадемуазель Дафны де Монбриан, но для этого нам с вами придется совершить путешествие, перенестись из Парижа в Рим, из одного абзаца в другой и отправиться на виллу Пандольфи.

II

Вилла Пандольфи, расположенная в нескольких минутах езды от города, — один из дворцов, воздвигнутых в истинно итальянском вкусе середины XVII столетия. Вокруг раскинулись сады, не столько посаженные, сколько построенные, ибо понимание природы — чувство, появившееся совсем недавно: люди лишь в самое последнее время сообразили, что парки следует украшать цветами, дерном и деревьями. В древней ограде, окружавшей, должно быть, этот участок земли еще при цезарях, проделаны ворота, подобные триумфальной арке; с их рустованных колонн свешиваются каменные сталактиты вперемежку с пучками травы. За ними глазам гостя открывается аллея кипарисов, растущих здесь не одну сотню лет. Кипарисы эти с корявыми мощными стволами, похожими на колонны, которые перекрутила чья-то гигантская рука, и листвой, напоминающей окалину бронзы, образуют два громадных темно-зеленых, почти черных полога, меж которых вдали высится дворец. По каменистым канавкам вдоль аллеи струится чистая вода, которая, напоив пруды и фонтаны виллы, с ужасным шумом обрушивается в водосток. Меж кипарисов в вечерних сумерках тревожно мреют мраморные вазы и античные статуи с отбитыми руками или ногами; зрелище это вызывает в памяти турецкие могилы на Великом поле мертвых в Скутари. В тот час, когда начинается наше повествование, солнце садилось, покидая бирюзовый небосклон, изборожденный узкими облаками, кое-где лиловыми, а кое-где лимонными или оранжевыми, в цвет заходящего светила. Пирамиды кипарисов четко вырисовывались на этом светлом фоне; их темную крону там и сям пронзали яркие лучи, меж тем как нижняя часть ствола утопала в холодной синей тени.

Дворец стоял на широкой террасе, поддерживаемой мраморными опорами, меж которых виднелись акротерии с причудливо изогнувшимися статуями мифологических богов и героев, изваянными в манере Бернини. В нишах, выдолбленных в подпорных стенах, также стояли статуи с полустершимися лицами, найденные прежними владельцами виллы при раскопках; кое-где в эти ниши были вделаны фрагменты барельефов.

Мраморная лестница с широкими ступенями разделяла террасу, служившую дворцу фундаментом, надвое. С балюстрады, словно ковер с балкона, свешивался широкой дорожкой плющ, чья вертикаль удачно нарушала однообразие горизонталей в этой постройке.

На верхней площадке лестницы, чуть в глубине, стоял дворец с резко выступающим вперед карнизом, широкими окнами, увенчанными овальными или треугольными фронтонами, и граненым цоколем; коринфские колонны с каннелюрами до середины высоты образовывали его портик. Чтобы верно представить себе старинное величие этой постройки, покройте ее ржавчиной веков, разбросайте там и сям темные пятна сырости и зеленые заплатки мха. Дворец Пандольфи не имел ничего общего с тем, что называют замком или загородным домом во Франции. Куда больше он походил на театральную декорацию, только не нарисованную на холсте, но изваянную из камня, — декорацию, которой деревья служили кулисами. Все здесь преследовало одну цель — создать зрелище эффектное и хорошо вписывающееся в окружающее пространство; декорация эта напоминала шедевр Санквирико, которым восхищался Стендаль, — творение грандиозное, величавое, порожденное блестящим архитектурным гением.

С высоты террасы открывался вид на сады, где росли тисы и самшиты, подстриженные самым причудливым образом: круглые, как шар, тонкие, как шпиль, они принимали все возможные формы, кроме тех, какие им назначила природа. Сад был разбит в том вкусе, который называют французским и который правильнее было бы называть итальянским, ибо он пришел к нам из-за гор и расцвел во всем своем величии при Людовике XIV. Среди куртин виднелись фонтаны, по стилю близкие к тем, что украшают площадь Навоне. Бородатые тритоны, выпятив грудь и растопырив чешуйчатые ноги, сжимали своими сильными руками похищенных nereid и, дуя в раковину, извергали потоки воды на их позеленевшие тела. В укромных уголках прятались гроты, отделанные ракушками и увитые постенницей: там Полифем замахивался огромным камнем на Ациса и Галатею, а Плутон, завладев Прозерпиной, погружался с нею вместе в Аид на колеснице, лишь наполовину выступающей из расселины. Некогда эта выдумка казалась, должно быть, верхом оригинальности. Два других фонтана, бывших из стены, имели вид трагической и комической

масок: из их бронзовых оскаленных ртов вода лилась в порфирную чашу и в римскую гробницу, украшенную полустертым барельефом, изображающим вакханалию.

Вдали, над стенами дворца, на краю неба четко вырисовывался силуэт горы Соракты, кое-где покрытой блесками снега.

III

Близились ночь; на темном фасаде дворца горели красноватым огнем лишь несколько окон. Вилла, судя по всему, не пустовала; вдобавок к крысам, паукам, летучим мышам и призракам у нее — удивительное дело! — имелись и другие обитатели.

Экипажи катили по кипарисовой аллее, где их фонари поблескивали, словно светлячки в густой тьме, и останавливались у подножия лестницы. Гости, казалось, спешили на бал, ибо все были в черных фраках, белых галстуках и палевых перчатках. Почти все они были молоды, исключая двух или трех, которым знатность, власть и богатство заменяли молодость. Ступая по лестнице медленнее и тяжелее, эти последние, однако, были ничуть не меньше уверены, что доберутся до цели.

Несмотря на все старания хозяев приобщить дворец Пандольфи к современному комфорту, в покоях его царила атмосфера суровая, унылая, почти мрачная.

Залы для приемов располагались в первом этаже и состояли из анфилады гостиных, двери которых образовывали длинный ряд, подобный тому, что отражается в двух поставленных одно против другого зеркалах. В самой маленькой из этих гостиных без труда уместился бы целый дом из тех, какие строят нынче. Заполнить их могла лишь грандиозная жизнь прошлых эпох. Букеты свечей в огромных подсвечниках еле-еле освещали выцветшие ковры, узорчатые испанские кожи и потемневшие фрески, украшавшие необъятные стены. То там, то сям в темном хаосе белело тело нимфы или богини в потемневшей позолоченной раме — творение какого-нибудь болонца, ученика Каррачи; старинная лаковая мебель, инкрустированная перламутром, вспыхивала розовыми или голубыми искрами; поблескивали резные подлокотники старых позолоченных кресел; над дверями красовался герб Пандольфи, и поддерживавшие его лежащие фигуры загорались странным светом, отбрасывая на потолок искаженные, призрачные тени.

Гости, словно привидения, шли мимо указывавших дорогу редких слуг в темных ливреях через эти гостиные, где стояла столь глубокая

тишина, что было слышно, как поскрипывают их лакированные сапоги, ступающие по мозаичному паркету.

Для приема была отведена последняя гостиная. Благодаря ярким лампам в огромных японских вазах, сорокарожковой люстре, спускающейся на шелковом канате с потолка, украшенного изображением Олимпа (канат начинался прямо у Венериного пояса), и бра с зажженными свечами, пламя которых отражалось в серебряных зеркалах, здесь было светло, как днем, что позволяло разглядеть все детали роскошной обстановки, где современный комфорт мирно уживался со строгостью древнего вкуса.

Хозяйкой, принимавшей гостей на старинной римской вилле, была, не станем скрывать, не кто иная, как мадемуазель Дафна де Монбриан. Некий англичанин, возвращавшийся из Индии, владелец кучи рупий, наскучивший более или менее смуглыми прелестями баядерок, ультраконсерватор, подверженный сплину и глядящий на мир глазами, которые гепатит обвел золотистыми кругами, счел, что эта забавная обезьянка украсит ужин во время карнавала и не пожалел денег на эту «любопытную безделицу». Путешествие по Италии вдвоем с Дафной утомило его, и он возвратился в Калькутту, оставив ей в утешение крупную сумму денег и поселив на роскошной вилле Пандольфи, которую купил у наследника древнего рода, впавшего в нищету и вынужденного скрепя сердце наблюдать, как во дворец его предков вселяется девка.

Дафна еще не окончила свой туалет: у особ вроде нее эта процедура не имеет конца, и человек семь-восемь гостей ожидали ее с тем слегка натянутым видом, какой принимают люди, видящие в ближнем нынешнего или будущего соперника. Те, кто раньше или позже добились от дивы самых больших милостей, держались радушно, прочие же, несмотря на все свое уважение к приличиям, глядели холодно и едва ли не свирепо. Мы никого не удивим, если скажем, что в число гостей входили герцог древних кровей, английский пэр, римский князь, русский князь, два маркиза, барон, который, хоть и не являясь первым христианским бароном, принадлежал тем не менее к очень славному роду, и прелестный посольский атташе, юный, бело-розовый — вылитый ангел дипломатии. Такие гости могли бы украсить любую гостиную, и если

они находились здесь, то лишь оттого, что порядочные люди любят отдыхать в дурном обществе от скуки, которую терпят в хорошем.

С вашего позволения, мы предоставим этим красавцам листать альбомы, смотреть в стереотрубу, любоваться безделушками, обмениваться политическими соображениями насчет ножки прима-балерины и перейдем в туалетную комнату Дафны. Она стояла, совершенно одетая, подле широкого мраморного стола, уставленного флаконами, щетками, баночками, мелкими стальными инструментами и прочими принадлежностями современного туалета. Перед ней раскинулся трилистник зеркал — триптих кокетства, позволявший ей видеть себя снизу доверху и со всех сторон. На Дафне было платье из льдисто-зеленой тафты, все швы которого, равно как и корсаж, были отделаны серебристыми кружевами; те же кружева украшали юбку, покрывая ее квадратами, кругами и завитками. Серебристые ленточки в цвет кружев поблескивали в ее рыжих кудрях, завитых, взбитых, взъерошенных на лбу, скрепленных на затылке и гигантской гроздью золотистых локонов рассыпавшихся по плечам, столь же белым, сколь черна была душа их хозяйки.

Хотя Дафна имела все основания быть довольной своим видом, она все еще не бросила в трельяж того одобрительного взгляда, в котором не отказывала себе, когда здание прически уже не оставляло желать лучшего, а шлейф платья достигал нужной длины.

Дверь туалетной комнаты только что закрылась за таинственной посетительницей. Женщина в черном, под густой вуалью, появившаяся в туалетной бесшумно, так же бесшумно покинула ее, уйдя тайным ходом, который, судя по всему, был ей хорошо известен и позволил проникнуть к Дафне без ведома слуг.

Женщины такого рода, в черных платьях и под гренадиновыми вуалями, шепотом сулящие модным куртизанкам ларцы, кошельки, набитые золотом, и надежные ренты, — не редкость, но у этой особы в платье цвета ночного мрака был вид знатной дамы.

Однако, когда она удалилась, Дафна отперла железный сундучок, замурованный в стену и защищенный наилучшими достижениями слесарного искусства — плодами соперничества Юре и Фише, и спрятала туда бумажник, набитый банковскими билетами, — без сомнения, мзду или задаток за давешнюю сделку. Мадемуазель де Монбриан была серьезна, что случалось с нею не часто, и по пути в

гостиную бормотала, словно для того, чтобы получше запомнить, странную фразу: «Нажать на левый глаз правого сфинкса». Прежде чем выйти к гостям, она, чувствуя, что немного бледна, достала из кармана маленькое яблоко из слоновой кости, раскрыла его, вооружилась розовой пуховкой и попудрила себе щеки.

Когда был закончен неперенный обмен рукопожатиями, когда поцелуи покрыли пальчики Дафны, которые, несмотря на старательно обработанные ногти, отнюдь не блистали красотой, хозяйка подала руку английскому пэру, и все отправились в столовую — просторную залу с высокими потолками, стены которой украшала потемневшая от времени фреска, изображавшая пиршество богов, — творение кого-нибудь из учеников Джулио Романо, а может быть, и его самого. Фреска эта, кольцом опоясывавшая комнату с единственной дверью и единственным окном, занавешенным роскошными полупарчовыми шторами, покоилась на рисованном цоколе кисти Полидоро Караваджо, изобразившего в бронзовых медальонах с золотыми насечками сцены из мифов. Боги и богини, изо всех сил напрягавшие мускулы в своей олимпийской наготе, протягивали кубок Гебе, разливающей нектар, или устремляли руки к амброзии — пище богов, разложенной на больших серебряных блюдах. Их апельсиновые торсы выделялись на фоне неба, некогда голубого, а ныне почерневшего от времени, а ноги их попирали хлопья белых, словно мраморная крошка, облаков; все эти языческие божества, которым искусство, казалось, сообщило вторую жизнь, с презрением взирали на чересчур современных смертных, устроивших свою земную трапезу под небесным пиром, на котором пищей служила только живопись. Юнона с павлином у ног, чуть склонив голову набок, бросала рассерженные взгляды на мадемуазель Дафну де Монбриан, сидевшую как раз напротив. Суровая супруга Юпитера никогда не жаловала нимф с сомнительной репутацией.

Стол помещался посередине этой огромной залы на турецком ковре, ибо, хотя дело происходило поздней весной, от мозаичного пола несло холодом. Справа от Дафны сидел величавый английский пэр, разменявший пятый десяток, но сохранивший, подобно другим английским старикам, ту свежесть, что достигается жизнью на широкую ногу и чрезвычайным почтением к гигиене; слева — юный римский князь Лотарио. То был юноша худощавый и нервный, роста

скорее низкого, чем высокого, с бледным лицом, обрамленным узкими черными бакенбардами, переходившими в остренькую шелковистую бородку, явно недавнего происхождения, глянцевитую, словно черное дерево. Глаза у него были темно-карие с желтыми крапинками вокруг зрачка, а весь облик служил образцом той правильной римской красоты, что так часто встречается в Италии и так редко в наших краях. Художники утверждали, что князь Лотарио как две капли воды похож на Цезаря Борджиа с портрета Рафаэля, выставленного в галерее Боргезе. Однажды Лотарио явился на карнавал точь-в-точь в таком костюме, какой изображен на портрете: можно было подумать, что Борджиа восстал из гроба; впрочем, это вовсе не означает, что Лотарио имел внешность свирепую и ужасную; вид у него был самый добродушный, а прелестным лицом он походил на сына Александра VI.

Заискивая перед соседом слева, как всегда поступают куртизанки по отношению к миллионам, даже если у этих миллионов седые волосы, Дафна уделяла внимание преимущественно соседу справа, принцу Лотарио. Она указывала ему вина, какие следует попробовать, блюда, какие стоит отведать, склонялась к нему едва ли не с нежностью, шептала ему на ухо фразы, которые вполне могла бы произнести в полный голос, а стоило Лотарио пошутить, хохотала, демонстрируя во всей красе белые зубки и откидываясь на спинку кресла так, чтобы выставить напоказ свое сокровище — очень белую и очень, как говорили наши легкомысленные и любвеобильные предки, богатую грудь; то и дело она касалась своей обнаженной рукой обшлага Лотарио, обсыпая его рисовой пудрой. Нынче от нимфы возвращаешься как с мельницы — весь в муке.

Угощение было вкусное и изысканное. В наши дни поесть как следует можно только у особ вроде Дафны, стремящихся пробудить пресыщенные сердца и желудки. Шампанское *от вдовы*, как изъясняются те, кто желает заслужить уважение ресторанной прислуги, охлаждалось в графинах богемского хрусталя, где лед не смешивается с вином благодаря специальным отделениям, устроенным в дне. Рейнское вино лилось рекою из длинных, словно кегли, бутылок в изумрудные бокалы, а Дафна, предмет всеобщего внимания, рассказывала самые невероятные истории, щедро пересыпая свою речь терминами, заимствованными из трех-четырех жаргонов: ведь она

некогда подвизалась в роли натурщицы, затем была статисткой в маленьком театрике, а благодаря своим любовным связям приобщилась к миру спорта. Мастерская художника, театральные кулисы и конюшня открыли красоте кладовые живописных выражений. Должно быть, есть своя прелесть в хорошенькой женщине, с уст которой слетают, вместо жемчугов и роз, жабы и красные мыши, ибо все эти высокородные и благовоспитанные господа, казалось, весьма забавлялись речами Дафны. Английский пэр, понимавший далеко не все, хотя французский язык Расина, Фенелона и Вольтера был известен ему до тонкостей, важно улыбался; русский князь, знавший все эти избитые шутки благодаря прилежному изучению пошлых листков, восторгался остроумием мадемуазель де Монбриан, которая, по его словам, была сегодня просто ослепительной. Что же до римского князя Лотарио, в честь которого зажигались все эти фейерверки, он, судя по всему, оставался к ним совершенно равнодушен. Итальянский ум не воспринимает парижских шуток: его легче соблазнить нотой страсти. Дипломатический же ангел, несмотря на всю свою любовь к Дафне, не мог не признать про себя, что божество его употребляет выражения не слишком парламентские и отнюдь не протокольные.

IV

Между тем всякий, кто взглянул бы на мадемуазель де Монбриан хладнокровно, без труда заметил бы, что она лишь играет в вакханку и что под ее стараниями развеселить гостей скрыты нервность и принужденность. Хотя ужин был в разгаре, румянец покинул ее щеки, а на висках выступила испарина. В глазах, как ни тщи́лась она придать им выражение обольстительное и сладострастное, временами мелькал ужас. К счастью для нее, гости, разгоряченные вином и яствами, не обращали внимания на тайную тревогу, проскальзывавшую во взрывах смеха, малоудачных каламбурах и нелепых анекдотах хозяйки.

Видя, что ей не удастся произвести впечатление на Лотарио, Дафна сказала себе: «Подбавим меланхолии» — и, словно наскучив той ролью, какую играла прежде, приняла позу, которая, как ей было известно, очень шла к ней: оперлась локтем о стол, уронила голову на руку, запустила пальцы в волосы, а взгляд устремила к потолку, что придало ее глазам нежный блеск. В таком виде она была и впрямь хороша. Лотарио, которого шумная болтовня Дафны утомляла, смягчился и произнес несколько лестных слов по ее адресу.

— Ну что ж, — сказала себе Дафна, — и от позирования в Академии изящных искусств бывает польза. Этот вид Миньоны, вспоминающей отечество, — штука беспронимательная.

Подали кофе, гости взяли из носорожьего рога, обработанного с бесконечным искусством терпеливыми китайскими мастерами, превосходнейшие гаванские сигары. Вскоре голубые спирали стали подниматься к потолку и смешиваться там с олимпийскими облаками, рискуя совершенно отравить воздух античным богиням. Древняя Венера вдыхала аромат ладана, современной придется удовольствоваться табачным дымом. Время шло, и двое или трое из гостей уже удалились, Остальные продолжали сидеть подле Дафны; ни один не желал уступить ее сопернику. Юный дипломат, несмотря на то, что Дафна уже несколько раз замолкала, давая понять, что хочет остаться одна, никак не мог заставить себя ретироваться. Наконец в гостиной остались лишь он да князь Лотарио, на которого мадемуазель де Монбриан бросала томные взгляды. Дипломат поднялся и с

недовольным видом откланялся. Лотарио хотел последовать его примеру, но Дафна нервно взяла его за руку и очень тихо и быстро сказала: «Заберите свое пальто из прихожей и отошлите карету». Это приказание не слишком удивило князя, и он почел своим долгом повиноваться.

В те несколько минут, что он потратил на исполнение приказа, Дафна, с трудом сдерживая волнение, тихо шептала: «Лотарио молод, красив, богат. Мне так хочется нарушить слово. Я бы не прогадала на этом, но черная женщина непременно зарежет меня или отравит, как собаку».

Не успела она договорить, как возвратился Лотарио. В ту же секунду с быстротой, которая сделала бы честь великой актрисе, Дафна приняла выражение нежное, влюбленное, хмельное и несколькими фразами вперемешку со страстными вздохами и пламенными взглядами сумела уверить юного князя, что обожает его с самой первой их встречи во Флоренции, — встречи, причинившей ей неисчислимые муки, ибо она понимала, что такое благородное и чистое существо, как Лотарио, не может испытывать к ней, бедному падшему созданию, ничего, кроме презрения.

Словам вроде этих можно не верить, но слышать их всегда приятно, особенно из уст хорошенькой женщины, готовой доказать свое раскаяние новым грехом и сбросить в вашу честь белые одежды невинности, извлеченные на свет божий исключительно для того, чтобы сделать вам удовольствие. Дафна в эти минуты была очаровательна, то ли оттого, что красота князя всерьез взволновала ее, то ли оттого, что приближение решительного мига сообщало ее чертам несвойственную им глубину.

Лотарио, как мог, успокоил ее, сказав, что любовь, подобно пламени и вину, не может быть нечиста и что если двое любят друг друга, они немедленно превращаются в двух прелестных ангелочков. Эта снисходительная мораль, слегка отдающая молинизмом, пришлась, кажется, по душе Дафне, и князь уже обнял ее хрупкую талию, словно Отелло, провожающий Дездемону.

Притворившись слабогрудой, Дафна, которая в бытность свою Юдифью, раскуривала трубки мазилке Олоферну, закашлялась и сказала: «Здесь слишком накурено, мне нечем дышать, не пойти ли нам в мою спальню, там воздух не в пример свежее!»

Они перешли в спальню Дафны. В этой просторной комнате с очень высоким потолком и стенами, обитыми золотисто-рыжей узорчатой богемской кожей, на которой темными пятнами выделялись картины старых мастеров в широких позолоченных рамах, стояла большая кровать в ренессансном стиле и величественные, точно храмы, кресла. Спальня эта выглядела мрачно, как спальня Тисбы в пятом акте «Анжело, тирана Падуанского». Дафна превратила ее декорацию для мелодрамы. Ей нравилось отходить ко сну, замирая от страха.

В углу стоял широкий диван, вернее, канапе в форме античной скамьи; края его украшали сфинксы, чьи спины, прикрытые подушками, служили подлокотниками.

Лотарио опустился на этот диван и попытался обнять Дафну; она вяло сопротивлялась; грудь ее под серебристыми кружевами бурно вздымалась. Комнату освещала только трехрожковая лампа, найденная в Помпеях. Дафна сидела спиной к свету, и лицо ее утопало в тени; если бы луч света упал на него, Лотарио был бы весьма удивлен мертвенной бледностью молодой женщины и смятением, написанным в ее глазах. Изображая целомудренную строптивость, Дафна высвободилась из объятий князя, встала и, словно пошатнувшись от волнения, оперлась дрожащей рукой о голову *правого* сфинкса; пальцы ее искали его левый глаз. Нащупав его, она сильно, словно на кнопку звонка, нажала на глазное яблоко, в точности исполнив приказание дамы в черном, внушавшей ей столь глубокий ужас.

В ту же секунду сиденье дивана провалилось вниз, словно крышка театрального люка, и Лотарио рухнул в бездну, откуда вырвалась струя пара, после чего сиденье вернулось на прежнее место с такой точностью, что невозможно было вообразить, будто три секунды назад здесь сидел человек.

С погасшим взглядом, бессильно уронив руки, заледенев от ужаса, Дафна тупо смотрела на канапе, ложе любви, ставшее могилой, — ложе, с которого мгновение назад улыбался ей юноша, полный жизни и желаний. Безумный страх овладел ею; в ушах звенело, кровь стучала в висках, ей казалось, будто откуда-то снизу доносятся глухие стоны.

Она сделала несколько шагов к двери, боясь, как бы в полу не открылся еще один люк и не отправил ее в бездну вслед за Лотарио.

«Это был бы недурной трюк», — говорила она себе, но ничего не случилось. Она благополучно добралась до порога своей спальни, вошла в туалетную комнату, достала оттуда облигации и шкатулку с драгоценностями, после чего с помощью Виктории, преданной ей душой и телом служанки, переоделась в дорожное платье, закуталась в темный плащ и села в двухместную карету, которая уже ждала ее.

Отъезд этот не удивил никого из слуг, тем более что почти все они уже спали. Хозяйка часто уезжала в полночь и возвращалась только под утро.

Почувствовав, что диван под ним проваливается, Лотарио инстинктивно вцепился рукой в бархатную подушку, на которую опирался. Подушка проделала вместе с ним путь вниз и помешала приземлению стать смертельным. Это ужасное падение в черную бездну длилось три или четыре секунды, но юному князю они, должно быть, показались веками. Наконец он рухнул на землю. К счастью, большая рыхлая куча отбросов смягчила удар, и Лотарио, на мгновение лишившись чувств, очень скоро очнулся. Он ощупал себя, глубоко вздохнул, вытянул руки и ноги и убедился, что ничего не сломал. Придя к этому выводу, он решил, что следует определить, где он находится, — задача весьма трудная в такой темноте, более густой, непроницаемой и черной, чем в самой глубокой пропасти. Лотарио был заядлый курильщик, и ему очень кстати пришла в голову мысль, что в кармане у него наверняка лежит один из тех коробков восковых спичек, что изготавливаются в Марселе, а оттуда разлетаются по всему свету; он опустил руку в карман и в самом деле нащупал этот плоский коробок. Он чиркнул спичкой и, покуда она мерцала, успел наскоро оглядеть место, куда он попал. Три или четыре скелета в старомодных одеждах, полуистлевших либо обвисших на голых костях, раскинули по полу свои угловатые конечности. Среди черноты останков кое-где блестели остатки позолоты; голову одного из трупов до сих пор венчала шляпа, а иссохшее его лицо с беззубым ртом и пустыми глазницами искажала гримаса, исполненная мрачного сарказма. Он был похож на тот ужасный офорт Гойи, под которым стоит подпись: *Nada y nadie*.^[65] Видение это, более отвратительное, чем все ужасы кошмарного сна, исчезло вместе с пламенем спички, которая уже начинала обжигать Лотарио пальцы.

«Судя по всему, — сказал себе князь, вновь очутившись во тьме, — я попал в неплохо обставленный каменный мешок, но с какой стати вздумалось этой девке спровадить меня сюда с помощью своего механического дивана? Какой прок куртизанкам истреблять своих кавалеров? На что ей моя смерть? Я уверен, Дафна здесь только орудие; она нажала на рычаг, но главная роль принадлежит не ей.

Впрочем, вместо того чтобы рассуждать о причинах и следствиях, продолжим наши изыскания», — и он зажег следующую спичку, чье слабое мерцание не столько освещало подземелье, сколько делало более зримой его тьму. Тем не менее Лотарио смутно различил шершавые стены, основания сводов, чьи гигантские арки терялись в черном тумане, а нагнувшись, разглядел несколько кусков мрамора, несколько цветных каменных квадратов — остатки древней мозаики, разрушенной временем. Без сомнения, вилле Пандольфи фундаментом служило античное здание эпохи цезарей, с годами ушедшее под землю и обнаруженное строителями виллы в начале работ. Архитектор сохранил ход из старого дворца в новый, но лестницу, следы которой были видны до сих пор, хозяева сломали и превратили в колодец, кончающийся каменным мешком. С помощью третьей крохотной свечки Лотарио смог убедиться в верности своих предположений. Но как выбраться из этой пещеры, как найти выход, если он и существует, в этой тьме, рассеять которую невозможно с его жалким запасом спичек? Неужели он избег мгновенной смерти лишь для того, чтобы умереть смертью медленной, неужели ему суждено, терзаясь муками голода, глотать по ночам собственную плоть! Как человек светский, Лотарио был не робкого десятка, но при мысли об этом безрадостном жребии его пробрала дрожь.

Внезапно ему послышался легкий шум. Что это было: капля воды, упавшая с потолка, шорох ящерицы, хлопанье крыльев летучей мыши, топотанье одной из тех мерзких тварей, что живут во тьме? Ни то, ни другое, ни третье. Все более отчетливо различимое шуршание шелка не оставляло сомнений в том, что сюда идет женщина, а вскоре в потемках блеснул, словно зрачок одноглазого филина, зеленоватый свет потайного фонаря.

«Быть может, это Дафна идет проверить, разбил я себе голову или же сломал шею? — подумал Лотарио, укладываясь поверх скелетов. — Забавно будет видеть ее физиономию, когда я скажу ей: „Здравствуйте, моя дорогая“».

Таинственная посетительница приблизилась к Лотарио, направила луч фонаря на это тело, которое считала мертвым и которое в самом деле лежало недвижно, словно труп, склонилась к нему и стала шарить рукой по груди князя, как будто пытаясь разыскать какую-то имеющуюся у него вещь, Тут мертвец внезапно ожил, одной рукой

сжал, словно тисками, ее запястье, а другой — выхватил фонарь и в его свете увидел, что пришедшая — вовсе не Дафна. Это была бледная чернобровая женщина; лицо ее, исполненное зловещей красоты, казалось, сковал ужас.

— Ах, это вы, дорогая мачеха, — сказал князь Лотарио, ничуть не удивившись, — я догадывался, что вы приложили руку к этому милому трюку. Я узнал ваш подлый мелодраматический гений, достойный средних веков. Вы опоздали родиться, дражайшая Виоланта, вам следовало бы жить при дворе Борджиа. В XIX столетии иметь, подобно Лукреции, собственных княгинь Негрони, которые приглашают молодых людей поужинать и усаживают на диваны с секретом, отправляющие в каменные мешки, — какая прелесть! Мне нравится эта уловка; я непременно расскажу о ней какому-нибудь драматургу.

— Я так сильно ненавижу вас, что ненависть моя заслуживает уважения; довольно насмешек, — отвечала Виоланта. — Я хотела убить вас, но промахнулась; убейте вы меня: это будет справедливо.

— Будьте покойны, сударыня, живой вы отсюда не уйдете. Люди совестливые возразили бы мне, возможно, что вы женщина, но чудовища не имеют пола, и мы уничтожаем гадюку-самку с таким же отвращением, как и гадюку-самца. Вы ненавидите меня, но я отвечаю вам тем же, и уверяю вас, что эта антипатия равно и инстинктивна и сознательна. Вы обманули моего отца, который, пленившись вашей роковой красотой, имел неосторожность жениться на вас, и улеглись в постель, где умерла моя мать, уже нося под сердцем ребенка, который родился через семь месяцев после свадьбы вполне доношенным, — сына тенора Амбросио, в которого вы втюрились на ярмарке в Синигалье. Здесь, в этом мешочке, который вы хотели отнять у меня вместе с жизнью, — любовные письма певца, проданные мне вашей горничной-корсиканкой, жертвой ваших истязаний. Эти письма доказывают, что ваш ребенок не имеет никакого права на наследство князя даже в случае моей смерти. Обнародовав их, я опозорил бы не только вас, но и моего отца, и я этого не сделал, но мне было приятно знать, что острие этого оружия направлено вам в сердце. Имея дело с вами, приходится прибегать к средствам бесчестным; к тому же вы уже не раз пытались отравить меня, дабы ваш ребенок один владел несметными богатствами князя Донати. С этой целью вы,

склонившись над жаровней и укрыв лицо стеклянной маской, постигали тайны древней итальянской токсикологии. Вам требовался тот белый, словно истолченный каррарский мрамор, яд, который улучшает вкус вина и который подавали за ужином у папы Александра, те духи Руджери, которыми благоухали перчатки Жанны д'Альбре, и та aqua tofana — истинная вода Стикса, секрет которой, к счастью, утрачен. Долгое время я жил, питаюсь одними лишь яйцами, которые приносила мне из деревни моя добрая и верная кормилица Мариучча, и составлял с помощью многоопытного химика аббата Болоньини, моего учителя, рецепты противоядий. Теперь мне не страшен ни один яд, даже ваш; я уподобился Митридату, царю Понтийскому. Видя, что яды не действуют, вы прибегли к булату, и несколько раз ваши buli^[66] нападали на меня ночью на римских улицах. К счастью, я превосходно владею шпагой, вдобавок я выудил из колодца, куда ее бросил Лоренцаччо, кольчугу одного из Медичи; она, пожалуй, немного заржавела, но до сих пор очень гибка и прочна, и спасла меня от трех ударов кинжала. Поскольку все эти средства не подвинули вас к цели, вы, положившись на вашу красоту, сыграли роль Федры лучше, чем госпожа Ристори, и вздумали задушить меня в своих объятиях. Но, хотя у меня и не было Арикии, я оставался более глуп, более холоден, более безнадежен, нежели сам Ипполит, и моей дражайшей мачехе не удалось насладиться кровосмесительной связью с собственным пасынком. Вот скромный перечень моих мелких претензий к вам. Я уж не говорю о той милой западне, которую вы мне подстроили только что. До смерти отца я хранил молчание, гербу Донати не пристало быть запятнанным грязью, но кровь — дело другое, она меня ничуть не пугает. Этот пурпур очищает; права, я думаю, испанская поговорка, «пятна с чести можно смыть только кровью».

Слушая хладнокровно-саркастическую речь Лотарио, Виоланта смотрела на него, силясь понять, всерьез он говорит или шутит; однако в глазах князя, без сомнения, горела лютая ненависть. Ненависть эта долгое время таилась в его душе, и вот наконец настал час законной мести. Произнося свой монолог, князь продолжал держать Виоланту за запястье, другой же рукой, поставив фонарь на камень, рылся в кармане в поисках кинжала.

Вдруг Виоланта, не сводившая с Лотарио глаз, толкнула его так резко, что князь выпустил ее, и тут же бросилась бежать, пронзительно, издевательски хохоча. Боясь потерять Виоланту из виду в этих неведомых ему подземельях, Лотарио схватил фонарь, направил луч света на беглянку и бросился за нею по узким коридорам, зеленоватые стены которых сочились влагой. Он уже почти настиг ее, как вдруг она исчезла, словно провалилась сквозь землю; жалобный, тоскливый, предсмертный крик донесся до его слуха откуда-то снизу. Лотарио остановился, посветил фонарем на пол и увидел незакрытый люк, который можно обойти, лишь плотно прижавшись к стене. Виоланта надеялась, что сама она обогнет отверстие, а князь в погоне за ней не заметит его и упадет в колодец; однако она оступилась, рухнула вниз и на глубине около двадцати футов вцепилась в выступ каменной стены. Наклонившись с фонарем над колодцем, Лотарио увидел истинную грешницу в аду: мертвенно-бледная, с глазами, налитыми кровью, шевеля посиневшими губами, она пристально смотрела на него с ужасным выражением бессильной ненависти. Князю стало жаль женщину, которую он несколько мгновений назад хотел заколоть. Одно дело — умереть от кинжала, и совсем другое — повиснуть над бездонным колодцем, полным черной, грязной воды, гнилой, словно воды Эреба. Поскольку у Лотарио не было при себе веревки, он снял фрак и опустил его вниз, держа за рукав. Но Виоланта не смогла до него дотянуться — доставало семи или восьми футов. Вскоре раздался глухой всплеск, вода ударила в стенки колодца, а затем все стихло. Лотарио снова надел фрак и продолжил свой путь, стараясь быть как можно более осторожным, ибо падение Виоланты внушало ему весьма оправданные подозрения. Подобно Данту во время его прогулки по аду, он отрывал от земли одну ногу, лишь убедившись, что ничто не угрожает другой.

«Скромность моя, — говорил он сам себе, медленно продвигаясь вперед, — мешает мне поверить, будто небесам есть дело до моей ничтожной участи, и тем не менее во всем случившемся можно, даже не будучи суеверным, узреть перст судьбы: ведь нырнуть в этот колодец должен был я».

VI

Стены коридора, которым он шел, освещая дорогу фонарем, были расписаны красноватыми фресками в духе тех, что украшают развалины Помпей и Геркуланума; кое-где они неплохо сохранились. На стенах были изображены танцовщицы, вакханки, сатиры, борющиеся с козлами, пигмеи, сражающиеся с журавлями, амур, из всех сил погоняющий воробья, стрекоза и улиток, которые запряжены в их колесницы, и фантастические архитектурные сооружения на фоне пейзажей — обычные сюжеты античной живописи.

В одном месте стена была разрушена и сквозь пролом князь увидел другие подземелья, принадлежавшие, кажется, развалинам другой постройки. Лотарио вошел в пролом и, сделав несколько шагов, убедился, что эта дорога ведет в катакомбы. Надписи, высеченные в скале и покрытые суриком, который еще не стерся окончательно, указывали, что здесь похоронены первые христиане. Рядом виднелись рисунки символических ягненка и рыбы. Нечего было и думать искать здесь выход: князь неминуемо заблудился бы в лабиринте улиц, перекрестков и тупиков этого подземного Рима, не уступающего в размерах Риму надземному. Поэтому он возвратился в прежние коридоры и скоро попал в просторную залу, своды которой были так высоки, что свет потайного фонаря не достигал потолка. Обходя залу в поисках двери, Лотарио наступил на что-то вроде палки, толщиной с древко копья; нагнувшись, чтобы поднять его, он с радостью обнаружил, что это факел, без сомнения, забытый здесь бандитами, которые некогда находили пристанище в этих им одним известных развалинах. Он зажег факел и в его свете, несмотря на копоть и потрескивание куда более ярком, чем свет фонаря, смог оглядеть залу, в которой очутился и которая походила на термы императорского дворца.

Высокий кирпичный свод с осыпавшейся штукатуркой пронзали корни деревьев, растущих где-то наверху; под сводом раскинулся полукруглый амфитеатр с нишами, в которых там и сям стояли статуи, одни целые, другие без головы, третьи совсем разбитые. Князю было не до археологии, и он не стал выяснять, к какому ордеру принадлежат

колонны, поддерживающие архитрав, — коринфскому или смешанному, и соблюдены ли в них пропорции, предписанные Витрувием.

В одном из углов залы виднелся проем — когда-то здесь была дверь, но теперь от ее мраморного наличника почти ничего не осталось. Логически рассудив, что всякая дверь куда-нибудь да ведет, Лотарио переступил порог и увидел лестницу, которая, казалось, спускалась в недра земли, а на самом деле вела в сводчатый подвал, без сомнения, бывший некогда сокровищницей, ибо здесь и поныне стояли сундуки, деревянные стенки которых сгнили и держались лишь благодаря оковке и гвоздям из окислившейся меди; встарь в этих сундуках хранились, наверно, золотые и серебряные монеты, но уже много лет они стояли пустые.

Глазам князя предстала другая лестница, причудливо извивавшаяся среди каменных глыб. Ступеньки, стершиеся или источенные водой, шатались под ногами Лотарио; время от времени сорвавшийся камень с грохотом катился вниз и низкие своды отзывались на его падение заунывным эхом. Часто подошва князева башмака скользила, ступив на что-то мягкое, вязкое и зловонное, разом и безжизненное и живое, — то были жабы, потревоженные в их столетнем сне. Иногда перепуганная летучая мышь рассекала своими перепончатыми крыльями дым от факела; змея, вильнув хвостом, похожим на древесный корень, стремительно исчезала меж камней. Были мгновения, когда Лотарио казалось, будто за ним кто-то идет, но то был лишь отзвук его собственных шагов, и обернувшись, он не видел ничего, кроме тьмы, вновь сгущавшейся за его спиной, словно там кто-то закрыл двери черного дерева. Эта полуразрушенная лестница, которая шла то вверх, то вниз и которая, казалось, не имела конца, напоминала князю графический кошмар Пиранези, где художник изобразил лестницу с бесчисленными ступенями, вьющуюся среди темных грандиозных зданий; человек, с трудом одолевающий эту лестницу, на каждом последующем рисунке выглядит более усталым, более разбитым, более тощим, более призрачным, чем на предыдущем, а достигнув ценою невероятных усилий верха этой вавилонской башни, составленной из лестниц и исходящей из самого центра земли, с беспредельным отчаянием убеждается, что там его ждет люк, крышку которого невозможно открыть. Хотя в римских

развалинах не живут призраки в латах — завсегда и готических руин, знакомство с ними требует не меньшего мужества. Ларвы, лемуры, ламии, вампиры и вурдалаки ничем не уступают гулам, злым феям, гномам и прочей средневековой нечисти, фланирующей по ночам в заброшенных местах, и чем дольше блуждал Лотарио среди этого каменного кошмара, тем сильнее мучили его страхи и тревоги, тем чаще тело его сотрясала мучительная дрожь. На нем был только тонкий фрак; сырой и холодный могильный воздух обволакивал его, словно мокрая простыня. Усталость и уныние одолевали его; фонарь потух, факел догорал, а что случилось бы с ним, если бы погас и факел, что случилось бы с ним в этой густой тьме, в этом лабиринте переходов, коридоров, комнат, лестниц, полусгнивших полов, которые могли в любую минуту обрушиться и сбросить его в еще более густую, еще более черную тьму? Все смерти плохи, но эта казалась Лотарио особенно омерзительной. В самом деле, жалкий конец для князя Донати — подохнуть, словно крыса, под грудой обломков. «Отчего же, — твердил он себе, — эта подлая тварь, именуемая Дафной, не призналась мне во всем, ведь я дал бы ей вдвое больше того, что она получила от моей злосчастной мачехи, и вместо того чтобы скитаться здесь среди камней и кирпичей, которые, быть может, станут мне гробом, я спокойно спал бы сейчас в большой ренессансной кровати с фигурным балдахином».

Лотарио начинала трепать лихорадка, и галлюцинации, рождавшиеся в его мозгу, вели вокруг него свой хоровод. Ему чудилось, будто скелет в шляпе приближается к нему с угодливой улыбкой и преувеличенно вежливыми поклонами, умоляя от имени остальных трупов оказать им честь и составить компанию: они обожают играть в вист; они давно ждали такого случая, но, поскольку нравы смягчаются, в каменный мешок уже много лет никого не бросали. Потом картина менялась. Статуи выходили из ниш, фрески отделялись от стен и в мифологической своей наготе принимались отплясывать вокруг князя стремительную сарабанду. «Античный бред лучше современного, — говорил себе Лотарио, — эти танцовщицы в прозрачных розовых одеждах куда приятнее скелетов в лохмотьях, а звон их золотых монист милее скрипа суставов».

Чувствуя, что видения, рожденные лихорадкой, забирают над ним все большую и большую власть, князь резким усилием воли стряхнул с

себя наваждение. Успокоившись, он продолжал свой путь и вскоре слух его поразили плеск воды и грохот, похожий на шум водопада. Труба, по которой в термы поступала вода, давно разрушилась под действием времени, и поток, проложивший себе новое русло через развалины, устремлялся к темной дыре, куда и низвергалась его черная лента, рассеченная огненными полосами — отблесками света факела. Над потоком была перекинута балка, образующая узкий мостик, на которую Лотарио не решался ступить, опасаясь какой-нибудь хитрой ловушки, какой-нибудь умело замаскированной трещины. Но выбирать ему не приходилось, и он отбросил сомнения. Балка не обломилась у него под ногами и не причинила ему никакого вреда. На другом берегу его глазам предстали залы, несколько менее разоренные. Сквозь щели в потолке пробивался слабый голубоватый свет, — ведь подземное странствие князя длилось несколько часов, и над римской кампаньей уже занимался день. Вскоре свет сделался ярче, и Лотарио смог бросить факел. Сквозь расселины, заросшие травой и кустами, в развалины проникали лучи солнца. Колонны с полустершимися каннелюрами и замшелыми капителями поддерживали своды здания, а наготу его стен, с которых давно осыпалась мраморная облицовка, укрывал зеленый полог плюща. В глубине сверкал, словно звезда, крохотный кусочек синего неба. Взобравшись на кучу кирпичей, камней и обломков мрамора, перемешанных с землей, Лотарио оказался подле этого отверстия, в которое легко пролез, поскольку, как мы уже сказали, был строен и худощав. Опершись ладонями о его края, он подтянулся и вышел на свет божий посреди стада буйволов, которые глядели на него с яростным изумлением, фыркая, роняя слюну и скребя копытами землю. Успокоив животных теми словами, какие обычно говорят им пастухи и погонщики, Лотарио проложил себе путь сквозь стадо и удалился медленным шагом; ни один буйвол на него не бросился.

Розовый и голубой утренний свет лился на просторные безлюдные поля, золотя арки акведуков и тысячью отблесков отражаясь в лужах. В прозрачном воздухе устремлялись к небу легкие дымки от пастушьих костров; алчущие добычи осоеды описывали круги в лазури над бескрайней пустыней. На горизонте вырисовывались силуэты римских зданий, над которыми нависал, подобно округлой горе, купол Святого Петра. Князь с неизъяснимым

наслаждением вдыхал этот чистый воздух, радовался свежему ветру и ясному дню, покойному и пышному великолепию природы; грудь его, которую несколько часов подряд сдавливали своды этих подземелий, готовых стать крышкой его гроба, вздымалась свободно. Он поднимался из бездны, он оживал, он возрождался.

Карета, отвозившая накануне путешественников в Кастель-Гандольфо, возвращалась назад пустая. Лотарио нанял ее, и меньше чем через час маленькие римские лошадки, такие быстрые и горячие, доставили его домой; он лег в постель и заснул глубоким сном. Проснувшись около полудня, он прошептал, зевая и потягиваясь: «А еще говорят, что нынче не бывает приключений».

Никто не смог проникнуть в тайну исчезновения Виоланты; начатое следствие было прекращено за неимением улик. Люди благочестивые говорили, что княгиню, занимавшуюся колдовством, унес дьявол. В Риме это объяснение никому не кажется неправдоподобным.

Сын тенора Амбросио простудился и умер.

VII

Дафна вернулась в Париж, куда последовал за нею юный посольский атташе. Она зажила, как прежде. Однажды, во время последнего карнавала, она вместе с несколькими красотками и несколькими щеголями самой высокой пробы отправилась поужинать в Английское кафе; пиршество было в разгаре и пирующие уже дошли до битья хрустальных бокалов, когда бледный и изящный юноша с черными бакенбардами, без сомнения, ошибаясь номером, открыл дверь кабинета; под руку он держал очень элегантное синее домино, которое повстречал в Опере. То был не кто иной, как Лотарио; учтиво извинившись за то, что потревожил честную компанию, он уже собирался удалиться, когда Дафна вдруг поднялась во весь рост и обвела комнату блуждающим взглядом; лицо ее сделалось мертвенно-бледным; на нем был написан неизъяснимый ужас, словно она увидела привидение. «О! Значит, мертвые возвращаются», — прошептала она сдавленным голосом и упала замертво, опрокинув стул и потянув за собой скатерть, в которую вцепились ее судорожно сжатые пальцы; она была блее своего платья из белой тафты; смерть покрыла ее щеки своей ужасной рисовой пудрой.

Сотрапезники бросились к ней, подняли, но все было напрасно.

Она прошептала несколько непонятных слов: «Черная женщина, левый глаз правого сфинкса, нажать на кнопку, хлоп» — и испустила дух.

— Вот так конец, — сказала Зербинетта, — Дафна обьяелась раками по-бордоски. Это судьба: нас убивает то, что мы любим.

Таково было надгробное слово мадемуазель Дафне де Монбриан, а в довершение ее несчастий смерть, большая правдолюбка, поместила ее на Монмартрском кладбище под именем Мелани Трипье.

По правде говоря, она не заслужила ни другого надгробного слова, ни другой эпитафии.

Князь Лотарио осторожно закрыл дверь; минуту спустя в соседнем кабинете он уже снимал кружевную маску с синего домино, сопротивлявшегося его нескромности, и срывал с губ, говоривших «нет», поцелуй, говоривший «да».

КОММЕНТАРИИ

ДАНИЭЛЬ ЖОВАР, ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ КЛАССИКА

Впервые опубликовано в августе 1833 года в составе книги Готье «Les Jeunes-France» (приблизительный перевод — «младофранцузы», «младофранки»), юмористически изображавшей причуды друзей писателя — экзальтированных романтиков.

Русский перевод печатался в первом томе двухтомника: Т. Готье. Избранные произведения. М, 1972.

Прим. верстальщика: Перевод Н. Гнединой (М. Надеждина)

С. 27. *Струя Иппокрены* — поэтическое вдохновение (по названию легендарного источника на горе Геликон в древней Греции). Подобные мифологические перифразы типичны для классицистического стиля, пародируемого в первом эпиграфе к новелле.

«Ненасытного голода не поборю я...» — Во втором эпиграфе пародируется стиль так называемого «неистового» романтизма 1820—1830-х годов, шокировавшего публику изображением диких страстей, жестоких сцен и т. д.

...дослужился до чина сержанта национальной гвардии и вознамерился стать избирателем... — Национальная гвардия (гражданское ополчение) во Франции тех лет комплектовалась из представителей имущих классов; избирательное право также было обусловлено довольно высоким имущественным цензом.

С. 29. *...прочитал потихоньку «Девственницу» и «Войну богов», «Руины» Вольнея...* — Все эти произведения: поэмы «Орлеанская девственница» (1735) Вольтера и «Война богов» (1799) Э.-Д. Парни, философский трактат К.-Ф. де Вольнея «Руины, или Размышления о революциях, переживаемых империями» (1791) — имели репутацию вольнодумных, направленных против авторитета церкви. Грубо-материалистический атеизм во времена Готье был характерен для умонастроений буржуазии.

Жуи Виктор-Жозеф-Этьен (1764–1846) — писатель, автор сатирических нравоописательных очерков.

Фонтан Луи де (1757–1821) — политический деятель и поэт-классицист.

«Конститусьонель» («Конституционалист») — либеральная ежедневная газета.

Буало-Депрео Никола (1636–1711) — поэт и критик, законодатель французского классицизма.

...что романтики после триумфа «Эрнани» плясали вокруг бюста Расина... — Премьера «Эрнани» Гюго (см. о ней в предисловии) состоялась в 1830 г., то есть несколько позже описываемого в новелле времени.

Пятиактная трагедия — считалась высшей, наиболее престижной формой классицистического театра.

Арно — очевидно, Антуан-Венсан Арно (1766–1834); Баур — Пьер Баур-Лормиан (1770–1854). Оба были малозначительными поэтами позднего классицизма.

Сент-Олер Франсуа-Жозеф де Бопуаль, маркиз де (1643–1742) — поэт, автор легкой светской лирики.

С. 30. ...в обращения господина Жея... — Писатель и журналист Антуан Жей (1770–1854) выпустил в 1830 г. брошюру «Обращение романтика» — антиромантический памфлет, непосредственно направленный против Сент-Бёва. В заголовке своей новеллы «Обращение классика» Готье полемически переименовывает название этой брошюры.

«Река Тахо» (1817) и «Чувствительная женщина» (авторское название — «Песнь барда», 1800) — сентиментальные романы на стихи Ж.-Б. де Мена и Гофмана (соответственно).

Рассказ Терамена — хрестоматийный фрагмент из трагедии Расина «Федра» (1677; рассказ воспитателя Ипполита о его гибели).

Демуссо (Фелисите-Огюст Сайо, 1785–1854) — актер «Комеди Франсез», исполнял роли царей и «благородных отцов».

...при виде меча в юном Ахилле пробудился дух воина... — По греческому мифу, мать Ахилла, чтобы не пустить его на гибельную для него Троянскую войну, передела юношу в женское платье и укрыла в гинеее (женской половине дома). Эту уловку разоблачил Одиссей, явившийся в гинеей под видом торговца с грудой разных товаров: в то

время как женщины бросились разглядывать украшения, юный герой непроизвольно устремился к оружию и доспехам.

С. 31. *...яркий жилет, сшитый наподобие камзола...* — Примерно в таком «средневековом» облачении щеголял сам Готье в дни премьеры «Эрнани».

Порбус Франц (так называемый Франц Порбус Второй, 1569–1622) — фламандский художник; работал во Франции, известен в особенности парадными портретами.

Генрих III (1551–1589) — французский король с 1574 г.

«Но... слово дворянина!..» — Не совсем точная цитата из драмы В. Гюго «Король забавляется» (1832), акт I, сцена IV.

Донья Соль — героиня драмы Гюго «Эрнани».

«...Один вельможа пожилкой, почтенный и ревливый...» — Цитата из «Эрнани» (акт I, сцена I); имеется в виду дядя доньи Соль — дон Руй Гомес де Сильва, помогающий ее любви.

С. 32. *Терраса Фельянов* — часть сада Тюильри в Париже (названа по находившемуся поблизости монастырю фельянтинцев).

Дунайский мужик — герой одноименной басни Лафонтена, дикий варвар, явившийся на Римский Капитолий.

С. 33. *«...они мертвы и погребены, как Мальбрук...»* — Реминисценция из народной песенки «Мальбрук в поход собрался». В песенке, в частности, поется: «Господин де Мальбрук умер, умер и погребен... Я видел, как четыре офицера провожали его в могилу» и т. д.

«Тринк! — вещает оракул Божественной бутылки...» — Этим эпизодом заканчивается пятая (возможно, не принадлежащая автору) книга романа Ф. Рабле, повествующая о паломничестве Пантагрюэля и его друзей к оракулу Божественной бутылки.

...средствами трагедии или драмы... — Романтики, в частности Гюго, противопоставили классической трагедии «драму» — то есть смешанный жанр, соединяющий трагическое и комическое, «возвышенное» и «гротескное».

С. 34. *...не будучи Панургом, вы незаметно приобретете упоительную репутацию ученого и полиглота...* — Панург, один из героев Рабле, при своей первой встрече с Пантагрюэлем (книга вторая, глава IX) беседует с ним на тринадцати языках, не считая французского.

«...творения свои двадцать раз переделывайте...» — Цитата из дидактической поэмы Буало «Поэтическое искусство» (1674), песнь первая.

С. 35. «Молодая Франция» — бытовавшее в начале 1830-х годов наименование романтической молодежи (по аналогии с немецким литературным движением «Молодая Германия»), ставшее заголовком первой прозаической книги Готье «Les Jeunes-France».

...ждал, чтобы розовоперстая Аврора отворила врата Востока; наконец любовница Кефала... — Пародийная мифологическая перифраза вместо «ждал утра»: греческая богиня Эос (у римлян — Аврора) утром отворяла небесные врата перед колесницей своего брата Гелиоса (Солнца); афинский герой Кефал был ее возлюбленным.

С. 36. *Profanum vulgus* — выражение Горация (I ода III книги од).

В ту пору было так же принято говорить о литературе, как в наше время — о политике... — Хронология новеллы условна, однако в данном случае она опирается на реальные события: между временем действия (1828 г.) и временем публикации новеллы (1833 г.) во Франции произошла Июльская революция 1830 года.

С. 37. «...академик и член Французского института...» — Французский институт объединяет пять академий, включая Французскую академию (литературную), Академию наук и другие.

С. 39. ...называть Веронезе — Паоло Кальяри... — то есть называть художника его подлинным именем, а не прозвищем «Веронец», закрепившимся за ним в истории.

...научил Даниэля искусно забрасывать ногу одного александрийского стиха на шею другого... — Александрийский стих, главный поэтический размер классицизма, содержит двенадцать слогов с цезурой точно посередине, причем конец стиха должен совпадать с синтаксической паузой (например, концом фразы). Французские романтики отказались от этих ограничений, стали писать стихи без цезуры и произвольно переносить фразу из одного стиха в другой.

Веселая наука — термин провансальской культуры XI–XIII вв.; им обозначалась куртуазная и вольнодумная поэзия трубадуров.

«Кастильская честь» — подзаголовок драмы Гюго «Эрнани».

...подобно Журдену, говорившему прозой... — Подразумевается комедия Мольера «Мещанин во дворянстве» (1670).

С. 40. ...*имя оканчивалось на «юс», а в фамилию он насовал «к», «дубль-ве» и других малоупотребительных романтических согласных...* — Молодые романтики, поклонники средневековья, любили экзотические псевдонимы с латинскими окончаниями на us и с германскими согласными k, w, почти не встречающимися во французских словах.

Менетрие Клод-Франсуа (1631–1705) — французский иезуит, историк-геральдист.

Груша Филиппона — знаменитая карикатура на короля Луи-Филиппа, изображавшая его в виде груши; обыгрывалась на все лады в сатирических газетах «Карикатюр» и «Шаривари», издававшихся в начале 30-х годов художником и литератором Шарлем Филиппоном (1806–1862).

С. 41. ...*вышить большими буквами на своем жилете — все это он придумал задолго до сенсимонистов.* — Последователи социально-утопической школы Сен-Симона действительно носили в 30-х годах своеобразную униформу, на которой писались их звания в иерархии школы.

...*руны «Эдды» — «Эдда» (Старшая Эдда) — средневековый сборник скандинавских эпических сказаний; руны — древняя скандинавская письменность (сохранившаяся рукопись «Эдды» написана не рунами).*

ЭТА И ТА, ИЛИ МОЛОДЫЕ ФРАНЦУЗЫ, ОБУРЕВАЕМЫЕ СТРАСТЯМИ

Впервые опубликовано в августе 1833 г. в книге Готье «Les Jeunes-France». Русский перевод печатался в первом томе его «Избранных произведений».

Прим. верстальщика: Перевод А. Худадовой

С. 44. ...*Байрон неодобрительно говорил о бледности северных дев...* — Противопоставление южной страстности и европейской холодности — одно из общих мест творчества Байрона; см., например, его стихотворение «Девушка из Кадикса», первоначально входившее в текст «Паломничества Чайльд-Гарольда».

С. 48. ...у прекрасной римлянки кисти Энгра... — Возможно, имеется в виду картина Ж.-О.-Д. Энгра «Рафаэль и Форнарина» (ок. 1814).

Жорж Данден — герой комедии Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж» (1668).

Антони — герой одноименной драмы Александра Дюма (1831).

Дон Клеофас — герой романа А.-Р. Лесажа «Хромой бес» (1707), студент, имеющий в своем услужении черта, который и спасает из огня возлюбленную Клеофаса, приняв для этого его обличье.

С. 49. ...как *Ловлас* в «*Клариссе Гарлоу*»... — Героиня романа С. Ричардсона «Кларисса» (1747–1748) становится жертвой козней циничного соблазнителя Роберта Ловласа.

С. 50. *Служанка-любовница* — выражение *servante-maîtresse*, изначально в смысле «служанка-госпожа», закрепилось в языке после того, как им была озаглавлена опера-буффа Дж.-Б. Перголези (1733). Готье обыгрывает второе значение слова *maîtresse* — «любовница».

С. 52. ...как говорит *Дон Жуан*, надо все же стремиться стать лучше. — Неточная цитата из комедии Мольера «Дон Жуан, или Каменный гость» (1665), акт IV, сцена VII.

Кавалер Бернен — Джан Лоренцо Бернини (1598–1680), итальянский архитектор, художник и поэт.

Кончетти — эффектные, изощренные тропы, употреблявшиеся в поэзии эпохи Возрождения и барокко.

Джулия Гризи (1811–1869) — итальянская оперная певица, выступала во Франции.

С. 53. ...господин *Аруэ Вольтер*... — Готье иронически ставит рядом подлинную фамилию Вольтера — Аруэ — и его всемирно известный псевдоним.

С. 54. ...мелодию *Себастьяна Баха*. — Во времена Готье Бах считался старомодным, едва ли не «средневековым» композитором, что и привлекает к нему романтика Альбера.

С. 55. *Перстень Гигеса* — кольцо, по преданию, делавшее невидимым лидийского царя Гигеса, героя позднейшей новеллы Готье «Царь Кандавл» (1844).

...с *Манфредом*, стоящим у ледника... — Имеется в виду эпизод мистерии Байрона «Манфред» (1817), акт I.

...лорд Байрон... подписывался так же, как Бонапарт... — Имеется в виду частичное совпадение инициалов Дж. Г. Н. Байрона и Наполеона: Ноэль Байрон — Наполеон Бонапарт.

Horror! horror! horror! — цитата из трагедии Шекспира «Макбет» (1606), акт II, сцена III.

С. 56. *Маркиз де Куртиврон* — наиболее известен маркиз Гаспар де Куртиврон (1715–1785), математик, член Академии наук; смысл его упоминания неясен.

Полковник Аморо — маркиз Франсиско Аморо (1769–1848), испанский полковник, пропагандист гимнастики.

С. 58. *...служанка колотила Руссо...* — Жена Жан-Жака Руссо Тереза Левассер была прежде служанкой.

...есть у Мейнара двустиише, приблизительно такое... — Цитируемые строки, по-видимому, сочинены самим Готье в качестве пародии на знаменитую оду Франсуа де Мена (или Мейнара: 1582–1646) «Прекрасная старуха», где лирический герой признается в своей долголетней платонической любви к героине.

С. 59. *Аддисон Джозеф* (1672–1719) — английский писатель, издатель сатирико-нравоучительного журнала «Зритель».

С. 60. *...нытиков и ломак школы Ламартина...* — Поэт-романтик Альфонс де Ламартин (1790–1869) в начале 30-х годов был известен главным образом как автор элегических стихотворений.

С. 61. *...бледнее, чем Дебюро!* — Знаменитый мим Жан-Батист-Гаспар Дебюро (1796–1846), создатель сценического образа Пьерро, выступал с густо набеленным лицом (прототип героя фильма М. Карне «Дети райка»).

Монтионовская премия — премия за добродетельный поступок, учрежденная богатым филантропом бароном де Монтионом (1733–1820).

...почерк своенравной подруги Клариссы Гарлоу... — Имеется в виду персонаж «Клариссы» С. Ричардсона — мисс Хау, подруга и корреспондентка главной героини.

С. 62. *Одри Жак-Шарль* (1781–1853) — знаменитый комический актер театра Варьете.

С. 63. *Жозеф Прюдом* — герой карикатур художника-сатирика Анри Монье (1799–1877), созданный в начале 30-х годов и позднее

перенесенный самим А. Монье на театральную сцену; тип самоуверенного буржуа-конформиста.

O, allitudo! — библейская цитата (второе послание апостола Павла к римлянам, XI, 33; в русском тексте Библии перевод несколько иной); Готье, вероятно, заимствует ее из стихотворения Гюго «Что слышится в горах» (сб. «Осенние листья», 1831), где она стоит в качестве эпиграфа.

С. 64. ...*Ганнибал при Капуе*. — Во время второй Пунической войны карфагенская армия Ганнибала, разбив римлян в нескольких крупных сражениях, в 215 г. до н. э. встала на зимние квартиры в городе Капуе, вместо того чтобы немедленно идти походом на Рим. Промедление Ганнибала позволило римлянам собраться с силами для продолжения борьбы, а его собственное войско, ведя в Капуе беспечную жизнь, утратило боеспособность.

С. 65. ...*мадригалов и комплиментов во вкусе Дора и Мариво...* — Подразумевается изысканно галантный стиль стихотворений Клода-Жозефа Дора (1734–1780) и комедий Пьера Карле де Шамблена де Мариво (1688–1763).

С. 68. *Эжен де Прадель* (1787–1857) — поэт, водевилист, выступал как импровизатор.

Регентство — период с 1715 по 1723 год, когда во Франции регентом при несовершеннолетнем короле Людовике XV был герцог Филипп Орлеанский; время это прославилось распущенностью придворных нравов.

С. 70. ...*суций Папавуан, суций Мандрен, суций Картуш...* — Перечисляются знаменитые разбойники и убийцы: Луи-Огюст Папавуан (1783–1825), Луи Мандрен (ок. 1725–1755), Луи-Доминик Картуш (1693–1721).

С. 71. *Бероальд де Вервиль* (1558–1623?) и *Матюрен Ренье* (1573–1613) — писатели-сатирики; как и Мольер, Лафонтен, Рабле, упоминаются здесь как представители комической традиции во французской литературе.

С. 74. «*Сказки Испании и Италии*» (1830) — первый поэтический сборник Альфреда де Мюссе; ниже цитируется стихотворение «Пробуждение» из этого сборника.

...*к сцене прощания дона Паэзе...* — Имеется в виду поэма Мюссе «Дон Паэзе» из того же сборника «Сказки Испании и Италии».

С. 75. ...рекламную картинку несравненного макассарского масла. — Имеется в виду ароматическое масло, вырабатываемое на острове Целебес (Сулавеси) в Малайском архипелаге.

Фирмен (наст. имя Жан-Франсуа Беккерель, 1784–1859) — актер «Комеди Франсез», первый исполнитель роли Эрнани в драме Гюго.

«Интимные» — никаких сведений об этой книге обнаружить не удалось.

С. 76. Как известно из барселонской баллады, поэмы «Альбертус»... — Речь идет о стихотворении Мюссе «Андалузка» (сб. «Сказки Испании и Италии») и поэме самого Теофиля Готье «Альбертус, или Душа и грех» (1832).

С. 79. ...сочинение, получившее премию Литературной академии в Тулузе... — В конце 1810-х годов эта академия несколько раз присуждала свою премию юношеским стихотворениям Виктора Гюго, классицистическим по форме и роялистским по тенденции.

Казимир Делавинь (1793–1843) — поэт и драматург; писал в духе классицизма, с весьма робкими романтическими поползновениями.

...«Аталия» не имела успеха. — Имеются в виду первые придворные представления трагедии Расина «Аталия» (или «Гофолия», 1691). Пьеса была холодно встречена королем, и ее премьера для широкой публики состоялась лишь спустя двадцать лет, уже после смерти автора.

С. 80. Этьен Шарль-Гийом (1777–1845) — популярный водевилист первой трети XIX в., член Французской академии.

С. 81. ...дерзнувшего пожелать осла, вола или жену своего ближнего. — Парафраз последней из десяти Моисеевых заповедей (Исход, XX, 17).

Ессе *hoto* — традиционное название картин и скульптур, изображающих Христа в терновом венце.

«Король-гражданин» — Луи-Филипп Орлеанский (1773–1850, правил в 1830–1848 гг.), именовавшийся так потому, что к власти он пришел в результате революции 1830 года.

Казимир Бонжур (1795–1856) — популярный комедиограф 1820—1830-х годов.

С. 83. Рубини Джованни Батиста (1795 или 1794–1854) — итальянский оперный певец (тенор), гастролировал во Франции

С. 86. «Погребок» — товарищество поэтов-песенников в Париже, существовавшее на протяжении более чем ста лет; в начале 1830-х годов его душой был Беранже.

O ter, quaterque <beati> — неточная цитата из Вергилия («Энеида», I, 94).

С. 87. ...от антонизма в духе Беркена... — Заведомо нелепое скрещение романтического бунтарства в духе драмы Дюма «Антони» и нравоучительности, присущей сочинениям Арно Беркена (1747–1791).

Лара — герой одноименной поэмы Байрона (1814).

...а тридцатилетние женщины... — Название романа Бальзака «Тридцатилетняя женщина» (1831–1834) быстро сделалось расхожим выражением в языке.

С. 88. ...семь труб у стен Иерихона. — Имеется в виду эпизод из книги Иисуса Навина (гл. VI), давший начало выражению «иерихонская труба».

С. 89. *Ну просто Ипполит перед Тезеем.* — Подразумевается сцена II четвертого акта расиновской «Федры»: юноша Ипполит, обвиненный своей мачехой Федрой в покушении на ее честь (в действительности он, напротив, сам отверг ее домогательства), пытается оправдаться перед своим отцом. Ниже цитируется одна из реплик Ипполита.

«*Старик, ее он любит!*» — реплика из «Эрнани» Гюго (акт III, сцена VII): разбойник Эрнани объясняет своему сопернику старому дону Рую Гомесу, что у них обоих есть еще и третий соперник в борьбе за любовь доньи Соль — король дон Карлос.

Поль де Кок (1793–1871) — популярный беллетрист; упоминаемый его роман «Рогоносец» вышел в 1831 г.

С. 90. *Грессе, прелестный автор поэмы «Вер-Вер»...* — Эта поэма Жан-Батиста-Луи Грессе (1709–1777) вышла в 1734 г.

«*Подметное письмо вам честный не пришлет*» — неточная цитата из комедии Грессе «Злой человек» (1747), акт V, сцена III.

С. 91. *Да кинься ты в отхожее место, как некогда почивший император Гелиогабал...* — Римский император Гелиогабал (204–222) был свергнут и убит заговорщиками, от которых он пытался спрятаться в нужнике.

С. 95. ...одной из овечек госпожи Дезульер... — Поэзия г-жи Дезульер (Антуанетты дю Лижье де Лагард, 1637–1694) носит в

основном пасторальный характер.

С, 96. ...как *Жеронт, побитый Скапеном*. — Подразумевается комедия Мольера «Плутни Скапена» (1671).

С. 101. ...*утехи Дафниса и Хлои*. — Имеется в виду роман позднеантичного автора Лонга «Дафнис и Хлоя» об идиллической любви юных пастуха и пастушки.

С. 102. *Порт-Сен-Мартен* — популярный парижский театр, ставивший пьесы, отвергнутые театром «Комеди Франсез», в том числе пьесы романтиков.

КОТОРАЯ ИЗ ДВУХ?

Впервые опубликовано в декабре 1833 г. в сборнике «Селам» (на титульном листе значился 1834 год). Русский перевод печатается впервые.

Прим. верстальщика: Перевод О. Гринберг

С. 110...китайский роман покойного китайца господина Абея Ремюза... «Ю-Кьяо-Ли, или Две кузины». — Жан-Пьер-Абель Ремюза (1788–1832) был не «китайцем», а крупным французским филологом-китаистом. Анонимный китайский роман «Две кузины» вышел в его переводе на французский в 1826 г.

СОЛОВЬИНОЕ ГНЕЗДЫШКО

Впервые опубликовано в декабре 1833 г. в сборнике для детей «Амулет». На титульном листе значился 1834 год издания (как и сборник, в который вошла предыдущая новелла, эта книга предназначалась для подарков к рождественским и новогодним праздникам). Русский перевод печатался в первом томе «Избранных произведений» Готье.

Прим. верстальщика: Перевод Е. Гунста

С. 113. *Трапезунд* (ныне Трабзон) — город на черноморском побережье современной Турции; в XIII–XV вв. был столицей Трапезундской империи, образовавшейся после взятия Константинополя крестоносцами.

С. 114. *Святая Цецилия* — в католической традиции считается покровительницей музыки.

С. 116. ...в души *Палестрины, Чимарозы и кавалера Глюка*. — Перечисляются итальянские композиторы Джованни Пьерлуиджи Палестрина (ок. 1525–1594) и Доменико Чимароза (1749–1801) и немецкий — Кристоф Виллибальд Глюк (1714–1787); титул «кавалер» при имени Глюка должен, по-видимому, вызывать в памяти у читателя новеллу Э.-Т.-А. Гофмана «Кавалер Глюк» (1808).

НОЧЬ, ДАРОВАННАЯ КЛЕОПАТРОЙ

Впервые опубликовано в ноябре — декабре 1838 г. в газете «Пресс», постоянным сотрудником которой был Готье. Сюжет представляет собой вариацию на тему античного предания о любовниках египетской царицы Клеопатры, покупавших ночь ее любви ценой собственной жизни (ср. тот же сюжет в «Египетских ночах» Пушкина). Русский перевод печатался в первом томе «Избранных произведений» Готье.

Прим. врестальщика: Перевод Е. Гунста

С. 117. *Делла Белла* Стефано (1610–1664) — итальянский гравер, долго работавший во Франции.

Пшент — двойная корона древнеегипетских фараонов.

С. 119. *Киноцефал* — статуя священной обезьяны с песьей головой.

С. 120. *Гермонтис* (ныне Эрмонт) — городок близ древних Фив, на противоположном берегу Нила.

С. 121. *Петроний* (Гай Петроний Арбитр, ум. 65 г. н. э.) — римский писатель, автор «Сатирикона».

С. 122. *Эреб* — в греческой мифологии олицетворение подземного мрака.

С. 123. ...*Анубисы, Тифоны, Осирисы...* — Перечисляются египетские боги Анубис и Осирис и стоголовое чудовище из греческих мифов — Тифон.

С. 125. ...о *чудовищной голове Анубиса и об ужасах подземных селений*. — Бог Анубис изображался с шакальей головой; он почитался как проводник душ в подземном царстве мертвых.

С. 127. *Хапи* — древнее название Нила.

«Клянусь удачно составленными кусками тела Осириса!» — Имеется в виду один из главных древнеегипетских мифов: бог Осирис, изрубленный на куски своим завистливым братом, был вновь составлен из этих кусков и воскрешен его сестрой и супругой Исидой с помощью бога Анубиса.

Лисипп — греческий скульптор IV в. до н. э., придворный художник Александра Македонского.

С. 128. *Мом* — греческое божество насмешки; в XVIII веке — герой нескольких французских комических опер и комедий, откуда, по-видимому, и взяты цитируемые слова.

Эвергет (по-гречески — «Благодетель») — титул двух эллинистических царей Египта, Птолемея III и Птолемея VII, предков Клеопатры.

С. 129. *Приам* — троянский патриарх, погибший при взятии Трои ахейцами.

С. 130. *Иксион, восплаивший любовью к Юноне, заключил в свои объятия лишь облако и все же в преисподней вечно вертит колесо.* — Греческий миф: царь лапифов Иксион, взятый богами на Олимп, попытался овладеть богиней Герой (в римской мифологии — Юнона); ее супруг Зевс заставил Иксиона принять за богиню изображающее ее облако, а затем в наказание обрек его вечно вращать огненное колесо в Тартаре.

Панегирик (точнее панегирия) — в Греции и эллинистических странах народное собрание, обычно по случаю религиозного праздника.

С. 134. *Мирон* — греческий скульптор V в. до н. э.

С. 136. *Сам Леандр не плыл к сестской богине так отважно и решительно...* — По легенде, рассказанной позднеантичным поэтом Мусеем, Геро, жрица богини Афродиты в Сестосе, по ночам принимала своего возлюбленного Леандра из Абидоса, который пересекал для этого вплавь пролив Геллеспонт (Дарданеллы), пока однажды не утонул в бурю.

С. 138. *...как та женщина, о которой говорит Гораций...* — Ср. в послании Горация к Пизонам («Наука поэзии»): «Лик от красавицы девы, а хвост от чешуйчатой рыбы...» (перевод М. Гаспарова).

Темпейская долина — расположена у подножия Олимпа в Греции, была посвящена богу Аполлону.

Сады Семирамиды — висячие сады, сооруженные в древнем Вавилоне легендарной царицей Семирамидой; одно из семи чудес света.

С. 139. *Мимнерм* — греческий поэт-элегик VII в. до н. э.

...Клеомен... разбил бы свою Венеру... — Имеется в виду Венера Медицейская — статуя III века до н. э., автором которой считается афинский скульптор Клеомен.

С. 140. *...как Диана, застигнутая Актеоном...* — По греческому мифу, охотник Актеон, застигший богиню Артемиду (Диану) во время купания, был превращен ею в оленя и тут же растерзан своими собственными собаками.

«Да окажется моя душа легкой на весах Аменти...» — Согласно верованиям древних египтян, души умерших попадают в западную страну Аменти и предстают перед судом Осириса, который взвешивает их на весах, дабы определить их загробную судьбу.

С. 141. *«Ты вообразил себя Цезарем или Марком Антонием...»* — Гай Юлий Цезарь, а позднее Марк Антоний были возлюбленными царицы Клеопатры.

С. 142. *Лукулл Луций Лициний* (ок. 106 — ок. 56 до н. э.) — римский полководец; был знаменит своей любовью к роскоши.

Наши дворцы — конюшни, в которые Калигула не поставил бы своего коня... — Римский император Калигула (12–41 н. э.), сумасбродный деспот, назначил собственного коня консулом и заставил сенаторов заседать вместе с ним на Капитолии.

...как кони, о которых говорит Гомер... — Ср. описание коней богини Геры в «Илиаде» (песнь пятая, 768–772).

Башня Лилака — это сооружение несколько раз упоминается в книгах Готье (см., например, ниже в новелле «Клуб гашишистов»); никаких подробностей о нем установить не удалось.

С. 143. *Сарданапал* — легендарный ассирийский царь, славившийся своей изнеженностью и роскошью.

Тиглатпаласар — имя нескольких ассирийских царей XI–VIII вв. до н. э.

С. 144. *...Мартина, великого художника исчезнувших грандиозных зданий...* — Английский живописец и гравер Джон Мартин (1789–

1854) завоевал известность картинами, изображающими колоссальные архитектурные сооружения древности.

С. 146. ...если бы царице Савской вздумалось подняться по этим ступеням... — Согласно одной из легенд об упоминаемой в Библии царице Савской, царь Соломон, чтобы убедиться, что у царицы козлиные ноги, заставил ее пройти по зеркальному полу; приняв пол за воду, царица приподняла подол платья.

Триклиний — пиршественная зала, с тремя ложами, размещенными по трем сторонам стола.

С. 147. Менальская гора — гора в Аркадии, посвященная богу Пану.

С. 148. ...новый яд, чтобы воспользоваться им, если стану пленницей Августа. — После поражения своего возлюбленного Марка Антония в междоусобной войне с Октавианом (позднее названным Августом), Клеопатра в 30 г. до н. э. покончила жизнь самоубийством — по преданию, с помощью змеиного укуса.

ЗОЛОТОЕ РУНО

Впервые опубликовано в газете «Пресс» в августе 1839 г. Русский перевод печатался в первом томе «Избранных произведений» Готье.

Прим. верстальщика: Перевод Н. Гнединой (М. Надеждина)

С. 150. Гайде — персонаж поэмы Байрона «Дон Жуан» (1818–1823), песнь вторая.

Камилла — героиня элегий Андре Шенье (1762–1794).

С. 151. ...корреджиевское тройное воплощение Леды... — Вероятно, имеется в виду картина Корреджо «Леда» (ок. 1530), изображающая одновременно три момента своего сюжета (сочетания Леды с Зевсом).

Прадье Джеймс (Жан-Жак Прадье, 1792–1852) — французский скульптор.

Нос Рокселаны — курносый нос (Рокселана — супруга турецкого султана XVI в. Сулеймана).

С. 152. Пальдер — низина, отгороженная от моря дамбой.

Сей новый Ясон, пускаясь в погоню за своим золотым руном... — Имеется в виду греческий миф об аргонавтах, плававших во главе с

Ясоном в Колхиду, чтобы добыть священное руно золотого барана.

...бельгийского льва, похожего больше на пуделя... — Бельгия обрела государственную независимость только в 1830 г., почему Готье и подтрунивает над гербом новоявленной монархии.

С. 153. ...«смуглогрудые андалузки»... — Цитата из стихотворения Мюссе «Андалузка» (сб. «Сказки Испании и Италии»).

...на станцию железной дороги, соединяющей Брюссель с Антверпеном. — В 1830-х годах это была первая и единственная железнодорожная линия на европейском континенте, своеобразная достопримечательность Бельгии.

С. 154. Маскароны — декоративный рельеф в виде маски человека или животного.

С. 155. Эско (или Шельда) — река, близ устья которой расположен Антверпен.

Батавия — старое название Джакарты, столицы Индонезии, которая во времена Готье была голландской колонией.

С. 156. Галерея Медичи — один из залов Люксембургского дворца в Париже, где были выставлены девятнадцать картин Рубенса (1625 г.), изображающих основные события жизни французской королевы Марии Медичи (1573–1642); ныне они хранятся в Лувре.

С. 157. «Путешествие королевы» — одна из картин Рубенса в галерее Медичи; ее точное название — «Мария Медичи сходит на берег в Марселе».

С. 159. Квентин Метсю — точнее Квинтен Массейс (1465 или 1466–1530), голландский художник, работавший в Антверпене. Был сыном кузнеца, и легенда приписывает ему кованые украшения колодца в Антверпенском соборе.

Вербрюгген — очевидно, имеется в виду антверпенский скульптор Франс Вербрюгген (1655–1724).

Отто Вениус (или Отто ван Веен, 1556–1629) — фламандский живописец и поэт, один из учителей Рубенса.

Бегинки — в Бельгии и Голландии набожные женщины, живущие в поселках наподобие монастырей, не принося монашеских обетов.

С. 160. Милон Кротонский — знаменитый греческий атлет VI–V вв. до н. э.

Снейдеровский пес — подразумеваются картины охоты, которые писал фламандский художник Франц Снейдерс (1579–1657).

С. 161. *Когда статуя, изваянная Пигмалионом, не ответила ему лаской на ласку...* — По греческой легенде, царь Пигмалион с помощью богов оживил и взял в жены изваянную им статую красавицы Галатеи.

С 163. *...Прометей, который похитил небесный огонь, чтобы одухотворить свои безжизненные творенья...* — По одной из версий мифа, титан Прометей не только похитил у богов огонь, чтобы дать его людям, но и сотворил сам род людской, слепив первых людей из глины.

С. 165. *Импост* — нижняя часть арки, непосредственно покоящаяся на столбе или колонне.

...похождения Ноя, ставшего посмешищем для своих сыновей... — Библейский праотец Ной, по преданию, был основателем виноделия; заснув после возлияний, он подвергся насмешкам своего сына Хама.

Ван-дер-Гейден, Ян (1637–1712) и Давид Тенирс (1610–1690) — фламандские живописцы.

С. 166. *Пандар* — персонаж произведений нескольких писателей эпохи Возрождения (Бокаччо, Чосера, Шекспира); услужливый друг влюбленного юноши Троила, помогающий устраивать его свидания.

Пти-Жан — персонаж комедии Расина «Сутяги» (1668), слуга, устраивающий суд над псом, который сожрал хозяйского каплуна.

...хитроумнее стратагем Полибия. — Греческий историк Полибий (ок. 202 — ок. 120 до н. э.) в своих трудах подробно излагает военные хитрости и приемы своего времени.

...подобно Клеофасу из «Хромого беса»... — См. коммент. к с. 48.

С. 167. *...его величием, поистине гамилькаровским...* — Имеется в виду Гамилькар Барка (ок. 290–229 или 228 до н. э.), военачальник древнего Карфагена.

...пиратское издание стихов Альфреда де Мюссе. — В 1830-х годах в Бельгии не было законов об авторском праве и процветали пиратские (без разрешения писателя и без выплаты ему гонорара) переиздания книг, вышедших во Франции.

«Намуна» — поэма А. де Мюссе (1832).

Гретхен — имя героини новеллы, а отчасти и ее характер, заимствованы из первой части «Фауста» Гете.

С. 168. *Маргарита* — здесь прямо имеется в виду героиня «Фауста».

Абрахам Босс (1602–1676) — французский художник-офортист.

С. 169. *Тербург* (Терборх) Герард (1617–1681), *Нетчер* Гаспар (1639–1684) — голландские художники, известные своими жанровыми композициями.

С. 170. «*Право табурета*» — право сидеть в присутствии короля и королевы, которым обладали во Франции некоторые высокопоставленные аристократы.

С. 171. ...как сказал Байрон, *солнце — шельма*... — Ср. сходные рассуждения в поэме Байрона «Дон Жуан», I, 102.

С. 173. ...на *Аврору*, «*приоткрывшую врата Востока*» — См. коммент. к с. 35.

Малерб Франсуа де (1555–1628) — поэт-классицист; в глазах романтика Готье олицетворял классическую рассудочность, подменяющую творческое вдохновение.

С. 174. *Сен-Прё* — герой-любовник эпистолярного романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

С. 175. ...*гомункул доктора Фауста на офорте Рембрандта*. — Имеется в виду офорт Рембрандта «Доктор Фауст» (ок. 1652–1653).

С. 179. ...*жалостные истории о Вечном Жиде, Генриетте и Дамоне*... — Перечисляются герои популярных лубочных книг.

С. 180. ...*Виргиния в своем раю с магнолиями и миртом*... — Имеется в виду героиня романа Ж.-А. Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» (1788), действие которого происходит на острове Иль-де-Франс (ныне — Маврикий) в Индийском океане.

Марфуриус и Панкрас — ученые педанты из комедии Мольера «Брак поневоле» (1664).

Ликофрон — греческий александрийский поэт IV–III вв. до н. э., писавший нарочито темным языком оракулов.

Андреа Рико Критский (Андреас Рико), *Бидзамано* Анджело — итальянские художники XVI века.

Жан-Поль (наст. имя Иоганн Пауль Фридрих Рихтер, 1763–1825) — немецкий писатель-сентименталист.

С. 186, ...*козни того, кто бродит вокруг quaerens quet devoret*... — Так в Библии характеризуется дьявол («...потому что

противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» — Первое послание Петра, V, 8).

ДВОЙСТВЕННЫЙ РЫЦАРЬ

Впервые опубликовано в журнале «Мюз де фамий» в июле 1840 г. Русский перевод Ф. Сологуба впервые напечатан в газете «Речь» 25 декабря 1906 г. (в этой первой публикации — под заголовком «Двойная звезда»).

Прим. верстальщика: Перевод Ф. Сологуба

С. 191. ...как руки эльфов и виллис? — В германских поверьях эльфы — духи природы; виллис — призраки девушек, собирающиеся по ночам в лесу для своих плясок (ср. балет «Жизель» на либретто Готье).

...из далекой Богемии... — В германских преданиях Богемия (западная Чехия) имела репутацию дикой страны, населенной цыганами, колдунами и нечистой силой.

С. 194. ...как в битве Иакова с ангелом... — Согласно книге Бытия (гл. XXXII) патриарх Иаков ночью боролся врукопашную с богом (или ангелом) и был ранен им в бедро.

С. 196. Один — высшее божество у древних скандинавов.

НОЖКА МУМИИ

Впервые опубликовано в журнале «Мюз де фамий» в сентябре 1840 г. Русский перевод печатался в первом томе «Избранных произведений» Готье.

Прим. верстальщика: Перевод Н. Гнединой (М. Надеждина)

С. 199. ...на шкафу «буль»... — то есть в стиле знаменитого краснодеревщика Андре-Шарля Буля (1642–1732).

Бисквит — фарфор, не покрытый глазурью; *селадон* — бледно-зеленая глазурь; *кракле* — глазурь с узором в виде мелких трещин.

Бернар Палисси (ок. 1510–1589 или 1590) — ученый и художник-керамист, открывший секрет изготовления эмалей.

С. 201. *Вицли-Пуцли* — бог войны у древних ацтеков.

Гермонтис — имя принцессы на самом деле принадлежит египетскому городку; см. его в «Ночи, дарованной Клеопатрой».

С. 203. *Парасхиты* — в древнем Египте жрецы, занимавшиеся бальзамированием трупов.

С. 204. ...*как у баядерки Аmani...* — Эта индийская танцовщица была современницей Готье, ее выступлениям в Париже в 1838 г. посвящен один из театральных фельетонов писателя.

С. 206. *Сер* — древний город-государство в Аравии, а не в Египте; возможно, Готье имел в виду верхнеегипетский город Серра.

С. 207. ...*на весах Аменти...* — См. коммент. к с. 140.

С. 208. *Знак «тау»* — священный предмет в форме греческой буквы «тау», который на египетских изображениях держат в руках боги в качестве символа своего бессмертия.

Хронос — не царь, а греческое божество времени; *Ксиксуфрос* (Ксисутрос) — легендарный халдейский царь, который, подобно библейскому Ною, сумел спастись во время всемирного потопа; *Тувалкаин* — персонаж Ветхого завета, брат Ноя, изобретший кузнечное дело.

...*семьдесят два царя, правивших еще до Адама...* — Согласно поверьям некоторых народов Востока, Адам не был первым человеком на земле, и существовали целые народы, предшествовавшие ему.

С. 209–210. ...*Исида, сумевшая собрать воедино тело растерзанного на куски Осириса...* — См. коммент. к с. 127.

ДВА АКТЕРА НА ОДНУ РОЛЬ

Впервые опубликовано в журнале «Мюз де фамий» в июле 1841 г. Русский перевод печатается впервые.

Прим. верстальщика: Перевод О. Гринберг

С. 211. *Пратер* — парк в центре Вены.

...*доставлял немало хлопот «филистерам» и был заводилой среди «буршей» и «лисов».* — На немецком студенческом жаргоне «филистерами» назывались все обыватели, не имеющие отношения к университету, а «буршами» и «лисами» соответственно студенты старших и младших курсов.

«Озябшая» — эта скульптура упоминается также в позднейшем стихотворении Готье «Причуды зимы» (сб. «Эмали и камеи»); автор — французский скульптор Клодион (наст. имя Клод Мишель, 1738–1814).

С. 212. ...*ее сопровождал черный пудель...* — Реминисценция из «Фауста» Гете (часть первая), где в обличье черного пуделя Фаусту впервые является Мефистофель.

...*сегодня мы уже были бы мужем и женой.* — Как видно, Генрих готовится стать протестантским пастором; между тем Австрия — католическая страна, а католические священники приносят обет безбрачия.

Карл Моор — герой драмы Шиллера «Разбойники» (1781).

С. 213. *Леопольдштадт* — квартал в центре Вены.

С. 214. ...*прихотливое воображение Калло и Гойи...* — Подразумеваются гротескные офорты Жака Калло и Франсиско Гойи. Упоминание Калло, в свою очередь, отсылает к творчеству Э.-Т.-А. Гофмана, один из новеллистических сборников которого называется «Фантазии в манере Калло».

...*одним из тех благословенных погребков, прославленных Гофманом...* — Описание такого кабачка имеется в новелле Гофмана «Приключения в ночь на святого Сильвестра» (1815).

Ланнер Йозеф (1801–1843) — австрийский музыкант и композитор, один из создателей венского вальса.

Морлакские сказители — морлаками называется одна из народностей Далмации.

С. 215. ...*foenum habet in cornu...* — ставшая поговоркой цитата из Горация («Сатиры», I, 4).

ТЫСЯЧА ВТОРАЯ НОЧЬ

Впервые опубликовано в журнале «Мюзе де фамий» в августе 1842 г. Русский перевод печатался в первом томе «Избранных произведений» Готье.

Прим. верстальщика: Перевод А. Худадовой

С. 219. ...*докучный посетитель (они бывают не только в комедиях Мольера)...* — Ср. комедию-балет Мольера «Докучные» (1661).

Камиль Рокплан (1802–1855) — художник-романтик.

Д'Алиньи Клод-Феликс-Теодор (1798–1871) — художник-пейзажист; *Фешер Жан-Жак* (1807–1852) — скульптор; *Сешан Шарль* (1803–1874), *Диетерль Жюль-Пьер-Мишель* (1811–1889) и *Деплешен Эдуар-Дезире-Жозеф* (1802–1870) — художники-декораторы; не совсем ясно, почему Готье называет четырех последних «неразлучными».

С. 222. *Доза Адриен* (1804–1868) — художник-ориенталист.

...прослышав, какой прием я оказал прекрасной Аmani... — См. коммент. к с. 204.

С. 223. *Галлан Антуан* (1646–1715) — французский востоковед, первый переводчик «Сказок тысячи и одной ночи» (опубл. 1704–1717).

Fames facit poëtrias picas — приблизительная цитата из «Пролога» к сатирам Авла Персия Флакка (34–62 н. э.).

Пойдите к Карру, если вам удастся проникнуть к нему сквозь рой пчелок... — Альфонс Карр (1808–1890) был журналистом и писателем, приятелем Готье. Упоминание о «пчелках» — по-видимому, намек на издававшийся им в 40-х годах сатирический журнал «Гэп» («Осы»).

Жюль Жанен (1804–1874) — популярный писатель и критик, театральный фельетонист парижской газеты «Журналь де деба».

С. 224. «*Муаллаки*» — один из жанров древнеарабской поэзии.

С. 230. *Нурмагаль* — имя, по-видимому, заимствованное из книги В. Гюго «Восточные мотивы» (1829), где есть стихотворение «Рыжая Нурмагаль».

С. 231. «*Гюлистан*» («Розовый сад») — книга прозы и стихов персидского писателя Саади (1258).

ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА ХУДОЖНИКА-НЕДОУЧКИ

Впервые опубликовано в газете «Дьябль а Пари» в октябре 1844 г. Русский перевод печатается впервые.

Прим. верстальщика: Перевод О. Гринберг

С. 240. ...*свинок самого ловкого савояра*. — Савояры (жители Савойи) традиционно занимались во Франции отхожими промыслами, в частности выступали с дрессированными животными.

С. 241. ...в наказание... мне пришлось переписать не меньше шестидесяти тысяч стихов... — В этом заключалось самое распространенное наказание во французских коллежах XIX века; провинившегося ученика заставляли переписать несколько сот строк латинского стихотворного текста.

«Будешь Марцеллом и ты!» — в «Энеиде» Вергилия (VI, 883) эти слова произносит отец Энея Анхиз, показывая сыну в подземном царстве души еще не воплотившихся на земле будущих героев Рима. Непосредственно они обращены к любимому племяннику императора Августа Марку Клавдию Марцеллу, которому Анхиз предрекает славную судьбу его одноименного пращура — знаменитого полководца III в. до н. э. Поскольку прорицание это не сбылось (Марцелл-младший умер молодым, не стяжав себе славы), то звучит оно двусмысленно, чем и пользуется Готье, цитируя его в ироническом контексте.

С. 242. Апеллес — греческий художник IV в. до н. э.

...или мне, как принцу Генриху, придется заковать тебя в броню. — Имеется в виду «железный Генрих», персонаж одноименной немецкой народной сказки (из сборника братьев Гримм); в сказке он был, однако, не принцем, а верным слугой принца, сковавшим себе сердце стальными обручами, чтобы вытерпеть разлуку с господином.

С. 243. ...на золотом фоне, к вящему ужасу моих родителей, считавших это ненадежным способом помещения капитала. — Игра слов: французское слово *fond* (фон) звучит одинаково со словом *fonds* (фонд, капитал).

С. 244. Ванлоо Карл (1705–1765) — один из лидеров французской классической школы в живописи; в эпоху романтизма имел репутацию рассудочного архаиста.

Жакмен Гренгонер — художник-миниатюрист конца XIV в.; сохранилась колода карт, расписанная им для короля Карла VI.

...о духе картин Овербека и Корнелиуса. — Фридрих Овербек (1789–1869) и Петер фон Корнелиус (1783–1867) возглавляли группу немецких художников-«назарейцев», отличавшихся религиозной устремленностью и романтической стилизацией в средневековом духе.

С. 247. Перстень Гигеса — см. коммент. к с. 55.

«Фоблаз» — роман Ж.-Б. Луве де Кувре «Любовные приключения кавалера де Фобласа» (1787–1789), в XIX веке считавшийся

непристойным чтивом.

С. 248. ...подняв руки и растопырив пальцы, как святой Симфориан... — Имеется в виду картина Ж.-О.-Д. Энгра «Мученичество святого Симфориана» (1834): святой, которого ведут на казнь, изображен в патетической позе, с воздетыми руками.

Мастера Кампо-Санто — очевидно, подразумевается Кампо-Санто (некрополь) в Пизе, украшенный росписями Фр. Траини, Б. Гоццолли и других художников.

КЛУБ ГАШИШИСТОВ

Впервые опубликовано в журнале «Ревю де дё монд» в феврале 1846 г. Русский перевод Л. Перхуровой был напечатан в небольшой книжке: Т. Готье «Клуб гашишистов. Рассказы» (М., «Универсальная библиотека», 1916). Для настоящего издания перевод отредактирован составителем книги.

С. 249. *Отель Пимодан* — старинный особняк на острове Сен-Луи в Париже, где в декабре 1845 года собиралась компания художников и литераторов (в числе последних — Теофиль Готье и Шарль Бодлер) для приема гашиша. После десятка опытов, вспоминал позднее Готье, они были прекращены, дабы не подменять естественное творческое воображение искусственно вызванными галлюцинациями.

Лозен Антонен Номпар де Комон, герцог де (1633–1723) — придворный Людовика XIV, прославившийся своими громкими интригами.

Скалькен Готфрид (1643–1706) — голландский художник, известный умелым использованием световых эффектов в интерьере.

С. 250. *Египетская химера, во вкусе Лебрена, с сидящим на ней амуром...* — В классицистической живописи Шарля Лебрена (1619–1690) широко используется аллегория.

Лемуан Франсуа (1668–1737) — художник, выполнял стенные росписи.

С. 251. *Перед буфетом стоял доктор...* — Имеется в виду Жак-Жозеф Моро де Тур (1804–1884), известный медик, специально исследовавший действие наркотиков на человека.

С. 252. *Гаммер* — Йозеф фон Гаммер-Рургшталь (1774–1856), немецкий ориенталист, выпустивший в 1818 г. «Историю ордена ассасинов» (франц. перевод — 1833).

С. 254. *Давкус Карота* из «Золотого горшка» — такой персонаж («король овощей») фигурирует не в «Золотом горшке», а в другой сказке Э.-Т.-А. Гофмана — «Королевская невеста» (1821).

С. 255. ...*корни мандрагоры*... — Это растение, с которым традиционно связывалось много магических поверий, не раз встречается в фантастических новеллах романтиков («Изабелла Египетская» А. фон Арнима и т. д.).

С. 256. *Фантазия* — этим словом (в оригинале — по-итальянски) на Востоке, как писал Ж.-Ж. Моро де Тур, обозначают состояние эйфории, наступающее после приема гашиша.

...как в «Вальпургиевой ночи» Гете. — Имеется в виду эпизод Вальпургиевой ночи в первой части «Фауста».

С. 257. *Шикар* — карнавальный персонаж, отплясывающий гротескные танцы.

...*Опера времен владычества Мюзара*... — Композитор и дирижер Филипп Мюзар (1793–1859) писал и исполнял танцевальную музыку для балов-маскарадов, которые устраивались, в частности, в зале парижской Оперы.

...*великолепной тупостью Одри, хриплым вздором Алкида Тузе, самоуверенной глупостью Арналя, обезьяньими гримасами Равеля*... — Перечисляются известные французские комические актеры XIX века.

Домье Оноре (1808–1879) и *Гаварни* (Сюльпис-Гийом Шевалье, 1804–1866) — художники-карикатуристы.

С. 258. «*Волшебный стрелок*» — опера К.-М. фон Вебера (1821).

Колоссальный фрибурский орган — знаменитый орган в готической церкви св. Николая в швейцарском городе Фрибуре.

С. 259. *Фелисьен Давид* (1810–1876) — французский композитор, автор музыки на восточные сюжеты.

Пилле Ипполит (1610–1663) и *Ватель* (ум. 1671) — дворецкие Людовика XIV и принца Конде, устроители придворных празднеств.

...*призраки, смущавшие святого Антония*... — Имеется в виду распространенное предание об искушении святого Антония в пустыне.

С. 260. ...*дочь Ладона, преследуемую Паном*. — Эпизод из «Метаморфоз» Овидия: нимфа Дафна, дочь реки Ладон, спасаясь от

преследования бога Аполлона (а не Пана), превращена по ее мольбе в зеленый лавр.

...как это сделал Пэк с Боттомом... — Эпизод из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1596): проказливый эльф Пэк внушает царице эльфов Титании любовь к простоватому ремесленнику Боттому (в переводе Т. Щепкиной-Куперник — Основе), которого он увенчал ослиной головой,

...как голубой бог Шива. — Согласно индийскому мифу, бог Шива проглотил яд, от которого должен был погибнуть мир, и от этого его горло посинело.

С. 261. *Tread-mill* (англ.) — буквально колесо машины, которое должен вращать каторжник; здесь в переносном смысле — как мучительные и бесплодные усилия.

...как Дафна в Тюильри. — Имеется в виду скульптурная группа работы Никола Кусту «Аполлон, преследующий Дафну» (1714) в парижском саду Тюильри.

...как околдованные принцы из «Тысячи и одной ночи». — См. в «Сказках тысячи и одной ночи» «Рассказ заколдованного юноши» (ночи 7–9).

Башня Лилак — см. коммент. к с. 142.

С. 262. *Пиранези* Джованни Баттиста (1720–1778) — итальянский гравер, чьи «архитектурные фантазии» вызывали большой интерес в эпоху романтизма.

С. 263. *...в котором я признал одного художника.* — Это художник Фернан Буассар, знакомый Готье; на его квартире и происходили «сеансы» гашишистов.

С. 264. *...Давидову арфу заменит рояль Эрара.* — Подразумевается библейский эпизод (Первая книга Самуила, XVI, 23), где юный Давид своей музыкой утешает страдания царя Саула, мучимого злым духом.

...словно офицеры после погребения Мальбрука. — См. коммент. к с. 33.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТ

Впервые опубликовано в газете «Пресс» в мае 1846 г.; оригинальное название повести — «Les roues innocents», то есть «Невинные распутники».

Русский перевод В. Дерикера (по-видимому, это первый русский перевод прозы Готье) был напечатан в журнале «Библиотека для чтения» (1847, т. 84). В соответствии с переводческими установками своего времени и традициями журнала он заметно расходится с оригиналом. В тексте повести сделаны сокращения, заменен заголовок, германизированы некоторые имена персонажей (Генрих вместо Анри, Клара вместо Калисты); одна из героинь носит прозвище не «императрица», как в оригинале, а «королева» (вероятно, во избежание ассоциаций с российской императорской фамилией), и т. п. Для настоящего издания перевод отредактирован составителем книги; редактura касалась в основном языка повести.

С. 265. ...на берегах Бьевры... — Бьевра — речка, впадающая в Сену в черте Парижа; здесь имеется в виду расположенный на ее берегу ипподром.

С. 267. ...у которого много акций северной железной дороги. — В 40-х годах во Франции бурно развернулось строительство железных дорог, и на бирже высоко котировались их акции.

С. 270. *Комитет чтения* — литературный совет, отбирающий пьесы для постановки в театре. Участие в таких советах (особенно в крупных театрах, как «Комеди Франсез») для многих членов было чисто представительской обязанностью, что и дает повод бывшей актрисе Амине съязвить по поводу их дремотности.

...как Диана к Эндимиону. — По античным мифам, царь Эндимион впустил любовь богине Диане (по другой версии — Селене), которая усыпила его непробудным сном и по ночам склонялась к его изголовью.

Хлоя — традиционное имя героини пасторалей.

С. 275. *Грандисон* — герой романа С. Ричардсона «История сэра Чарльза Грандисона» (1754), идеальный любовник, в отличие от другого упоминаемого здесь ричардсоновского героя, коварного Ловласа.

С. 280. ...*Эскобара и его трактата о совести*... — Испанский иезуит Антонио Эскобар-и-Мендоса (1589–1669), автор большого казуистического трактата «Моральная теология», уцелел в памяти

потомков главным образом благодаря Б. Паскалю, полемизировавшему с ним в своих «Письмах к провинциалу» (1656–1657).

С. 287. ...переправляются за реку... — то есть ездят на правый берег Сены, где располагались крупнейшие парижские театры и прочие места развлечений.

С. 289. *Пилад* — друг героя греческих мифов Ореста; нарицательное обозначение верного друга.

...не имеющего возможности сделаться депутатом... — Очевидно, подразумевается имущественный ценз, требовавшийся для избрания в палату депутатов.

С. 290. *Мондор* — традиционное имя любовника во французском театре.

С. 292. *Саламандра* — в средневековых поверьях дух огня.

С. 299. ...сыграли роль Иосифа Прекрасного? — Согласно книге Бытия (гл. XXXIX), Иосиф Прекрасный, находясь в рабстве в Египте, отверг любовные домогательства жены своего хозяина Пентефрия.

С. 300. ...как сказал бы мольеровский маркиз Тюрлюпен. — В комедиях Мольера такой персонаж отсутствует.

С. 308. *Диас* — Нарсисс-Виржилъ Диас де ла Пенья (1808–1878), французский художник испанского происхождения, участник барбизонской группы.

С. 322. ...не я получу Парисово яблоко... — По греческому мифу, троянский пастух Парис стал арбитром в споре трех богинь — Геры, Афины и Афродиты, — красивейшей из которых он должен был вручить золотое яблоко.

С. 328. ...кто обладает дарованием к побегу, как Латюд и барон Тренк... — Французский авантюрист Жан-Анри де Латюд (1725–1805), посаженный в тюрьму за интриги против фаворитки Людовика XV маркизы де Помпадур, провел в заключении тридцать пять лет, совершив за это время ряд неудачных попыток к бегству. Прусский барон Фридрих фон дер Тренк (1726–1794) также прожил бурную жизнь, несколько раз попадал в тюрьму и в 1746 г. совершил побег из заключения в замке Глац.

С. 330. «*Тимон Афинский*» — трагедия Шекспира (1608), герой которой — знаменитый древнеафинский мизантроп.

С. 333. Она взялась быть тайным Ментором нового Телемака и окунуть его в горькие струи, как скоро он слишком засидится на

острове какой-нибудь Калипсо. — В книге шестой романа Фенелона «Приключения Телемака» (1699) имеется эпизод, где воспитатель и спутник главного героя Ментор, дабы заставить Телемака покинуть остров чаровницы Калипсо, сталкивает его в море и сам пускается за ним вплавь к кораблю.

С. 334. ...на картинках в иллюстрированном «Фаусте». — Вероятно, имеются в виду литографии Эжена Делакруа, впервые помещенные во французском издании «Фауста» в 1828 г.

С. 339. ...если верить Шарлю Лебрёну и его рисункам выражений. — Художник Ш. Лебрён был автором нескольких дидактических трудов по теории живописи: «Чтение о выражении различных особенностей страсти», «Трактат о человеческой физиономии».

ПАВИЛЬОН НА ВОДЕ

Впервые опубликовано в журнале «Мюз де фамий» в сентябре 1846 г. Русский перевод Л. Перхуровой, напечатанный в книге Т. Готье «Клуб гашишистов. Рассказы» (1916), для настоящего издания отредактирован составителем книги.

С. 342. Ханьлин — в средневековом Китае члены императорской коллегии писцов и историков (своего рода Академии).

С. 344. Ту-Чи и Ли-Тай-Пе — скорее всего имеются в виду китайские поэты Су Ши (1036–1101) и Ли Тай-по (699–762).

С. 345. Книга Од («Ши-цзин») — памятник китайской поэзии XI–VI вв. до н. э.

С. 346. ...не знал книги стихов или сбивался на рифмах... — В действительности классическая китайская поэзия не знает рифмы.

МИЛИТОНА

Впервые опубликовано в газете «Пресс» в январе 1847 г. Русский перевод печатался в первом томе «Избранных произведений» Готье.

Прим. верстальщика: Перевод О. Моисеенко.

С. 352. *Беллини* Винченцо (1801–1835) — итальянский оперный композитор.

Альгвазил — полицейский чиновник, официально открывающий корриду.

«*Дон Хуан и Гайде*» — подразумевается эпизод из «Дон Жуана» Байрона (песнь 2).

«*Мина и Бренда*» — имеются в виду сестры Тройл, героини романа Вальтера Скотта «Пират» (1822).

С. 353. ...изображающие *Эсмеральду*, которая учит козочку писать имя *Феба*... — В романе Гюго «Собор Парижской богоматери» (1831; книга 7, глава 1) есть эпизод, где дрессированная коза цыганки Эсмеральды складывает из букв имя ее возлюбленного, знатного кавалера Феба де Шатопера.

Орренте Педро (ок. 1570–1644), *Менендес* Луис (1716–1780) — испанские художники.

С. 357. *Филипп IV* (1605–1665) — король Испании с 1621 г.

Мануэль Годой (1767–1851) — фаворит короля Карла IV, первый министр Испании в 1790-х— 1800-х годах.

Карл III (1716–1788) — король Испании с 1759 г.

С. 358. *Маноло* (женский род — *манола*) — наименование мадридских простолюдинов.

...не был сродни ни *дону Хуану Тенорио*, ни *дону Хуану де Маранья*... — Имеются в виду герои двух версий испанской легенды о беспутном богохульнике *доне Хуане*, чья судьба в этих двух версиях различна.

Монтес — Франсиско Монтес из Чикланы (1805–1851), знаменитый тореадор, которого Готье видел на арене во время своей поездки в Испанию в 1840 г.

С. 360. *Тиа* — по-испански буквально «тетушка».

...в обществе, так прекрасно описанном *Поль де Коком*. — Подразумевается мелкобуржуазная среда, в которой происходит действие книг этого прозаика.

С. 365. *Кардильяк* — персонаж новеллы Э.-Т.-А. Гофмана «*Мадемуазель де Скюдери*» (1818), парижский ювелир XVII века, убивающий своих заказчиков, чтобы не отдавать им свои изделия, с которыми он не в силах расстаться.

Святая Хермандада — «святое братство», средневековая испанская жандармерия, обладавшая судебными полномочиями; существовала вплоть до 1835 года.

С. 366. *Санбенито* — колпак, надевавшийся на голову людям, приговоренным инквизицией к сожжению на костре.

Барахонская семинария — выражение, обозначающее ведовской шабаш.

С. 369. *Ван-Амбург* — американский укротитель диких зверей, гастролировавший в Париже в 1839 г.; Готье писал о нем в одном из своих театральных фельетонов.

С. 371. *Сеута* — испанская каторга на северо-западе Африки.

...святый Губерт преклоняет колени перед оленем... — Этот святой, живший в VII–VIII вв., почитается как покровитель охотников; согласно преданию, он имел на охоте видение — между рогов преследуемого им оленя увидел распятие.

С. 373. *Второе мая* — народное восстание в Мадриде 2 мая 1808 г. против оккупировавших Испанию наполеоновских войск.

С. 379. *...похороны Даоиса и Веларде...* — Имеется в виду торжественное перезахоронение в 1841 г. праха двух офицеров, героев восстания 2 мая 1808 г. в Мадриде, — Луиса Даоиса-и-Торреса (1767–1808) и Педро Веларде-и-Сантйяна (1779–1808).

С. 391. *...Матамором, доном Спавенто Фракассом или Траншмонтанем...* — Перечисляются традиционные персонажи испанской, итальянской и французской народной комедии, воплощающие тип «хвастливого воина».

С. 397. *«Векфильдский священник»* — сентиментальный роман английского писателя О. Голдсмита (1766).

С. 400. *Аргус* — в греческой мифологии многоглазый великан, приставленный стеречь возлюбленную Зевса Ио; в переносном смысле — неусыпный страж.

С. 402. *...первый проговорил: «O temporal», второй отозвался: «O mores!»* — Цитируется знаменитое восклицание Цицерона («О времена, о нравы!») из его первой речи против Катилины (63 г. до н. э.).

С. 404. *...возвести на трон Эспартеро или графа Монтемолино.* — В 1830-х — 1840-х годах в Испании шла борьба за власть между сторонниками двух отпрысков правящей династии —

принца Карлоса и принцессы Изабеллы, — в 1833–1840 гг. вылившаяся в гражданскую войну. После отречения Карлоса в 1844 г. вождем «карлистов» стал его сын Карл Бурбон (1818–1861), носивший титул графа Монтемолино; во главе противоположной партии стоял генерал Бальдомеро Эспартеро (1793–1879). В середине 40-х годов оба эти деятеля оказались отстранены от власти, но предпринимали усилия к ее завоеванию.

С. 405. *Аякучос* — сторонники Б. Эспартеро, среди которых было много офицеров — участников битвы при Аякучо в Перу в 1824 г.

...его коньком, его *Ли́ла Бурельо*. — Реминисценция из романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760–1767), один из героев которого постоянно напевает популярную английскую песенку «Лиллибулливо» (у Готье, в испанизированном варианте, — *Ли́ла Бурельо*).

С. 406. ...подобно *Бруту*, который прикидывался сумасшедшим. — Имеется в виду Луций Юний Брут, римский герой VI в. до н. э., свергнувший в Риме царскую власть. По преданию, его отец и братья были казнены царем Тарквинием, а сам он, чтобы избежать их участи и подготовиться к отмщению, был вынужден притворяться безумным (откуда и происходит его прозвище «Брут» — «придурковатый»).

С 410. *Медуза* — в греческих мифах чудовище с шевелящимися на голове змеями вместо волос, превращавшее людей в камень своим взглядом.

С. 412. *Сакромонте* (по-испански — Монте-Саградо) — старинный монастырь неподалеку от Гранады, знаменитый хранящимися там святыми мощами.

С. 416. *Лестница Иакова* — лестница, ведущая на небеса, которую узрел в вещем видении библейский патриарх Иаков (книга Бытия, гл. XXVIII).

С. 428. «Я вполне согласен с лордом Байроном: прочь от меня, бледные красавицы!» — См. коммент. к с. 44.

...из-за романсеро и войны за независимость... — Романсеро — сборники испанских романсов (народных лирико-эпических поэм); война за независимость велась испанцами против наполеоновской Франции в 1808–1814 гг.; испанцев поддерживала английская армия,

их борьбу воспел Байрон в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» (1812–1813).

С. 430. ...*ворот Газы, поднятых Самсоном...* — Один из подвигов древнеизраильского богатыря Самсона состоял в том, что он снял и унес на своих плечах крепостные ворота города Газы, где его пытались поймать в ловушку (книга Судей, XVI, 1).

С. 433. *Силад из Оканьи* — имеется в виду пьеса «Геркулес из Оканьи» испанского писателя Л. Велеса де Гевары (1578–1645).

Бернардо дель Карпио — легендарный испанский герой IX в., которому посвящен ряд романсов.

...*упал, как падает мертвец, выражаясь словами Данте.* — См.: Данте, «Ад», песнь 5, последний стих.

С. 434. *Орест и Пилад* — См. коммент. к с. 289.

С. 442. *Хенералифе* — летняя резиденция мавританских королей близ Гранады.

С. 445. *Кадис...* заслуживает похвал, которые Байрон расточает ему... — См. первую песнь поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда».

С. 447. *Сид Кампеадор* («Сид Воитель») — Родриго Диас де Бивар (1043–1099), испанский рыцарь, прославившийся в войнах с маврами и ставший героем национального эпоса.

АРРИЯ МАРЦЕЛЛА

Впервые опубликовано в журнале «Ревю де Пари» в марте 1852 г. Русский перевод печатался в первом томе «Избранных произведений» Готье.

Прим. верстальщика: Перевод Е. Гунста

С. 450. ...*Портичи, прославленное оперой г-на Обера...* — Имеется в виду опера «Немая из Портичи» (1828) французского композитора Эспри Обера (1782–1871).

С. 451. *Биремы и триремы* — древнеримские суда с двумя или тремя рядами весел.

С. 452. ...*подобно праху Александра и Цезаря, по грустному замечанию Гамлета.* — См.: Шекспир, «Гамлет», акт V, сцена I.

С. 453. *Ничто не ново под солнцем...* этот афоризм... *принадлежит Соломону.* — См.: Книга Экклезиаста, I, 9.

...в апрельские ноны... — В древнеримском календаре нонами назывался седьмой день марта, мая, июля и октября и пятый день любого из остальных месяцев.

С. 454. ...язычники, как заметил Гёте, украшали саркофаги и урны картинами жизни. — См. начало первого стихотворения Гёте из цикла «Эпиграммы. Венеция 1790».

Триклиний — см. коммент. к с. 146.

С. 455. Клиенты — в Древнем Риме плебеи, прибегавшие к покровительству знатного гражданина.

Номенклатор — слуга, называвший господину имена посетителей.

Кубикул — спальня покой в древнеримском доме.

...сновидений, возникших за воротами из слоновой кости... — По античным поверьям, сны бывают правдивыми (вещими) и ложными; первые приходят к человеку через роговые ворота, вторые — через ворота из слоновой кости.

С. 456. Плиний — Гай Плиний Секунд, или Плиний Старший (23–79 н. э.), римский ученый-натуралист, погибший во время извержения Везувия, уничтожившего город Помпеи.

«И дурак невзначай молвит умное слово...» — Неточная цитата из песни III «Поэтического искусства» Н. Буало.

Лукулл — см. коммент. к с. 142.

Тримальхион — персонаж книги Петрония «Сатирикон», богатый вольноотпущенник, устраивающий своим гостям грандиозный пир.

Сальватор Роза (1615–1673), Эспаньолетто (Хосе Рибера, 1588–1656), кавалер Массимо (Массимо Стаццони, 1585–1656) — художники, работавшие в Неаполе.

С. 457. ...флейтиста, который шел некогда впереди Дуиллия? — Римскому консулу Непоту Дуиллию, разбившему флот карфагенян в 261 г. до н. э., благодарные сограждане выделили постоянно сопровождавший его эскорт из флейтистов и факельщиков.

С. 458. «Деба» — «Журналь де деба», ежедневная парижская газета.

...военных хитростей, достойных Полибия. — См. коммент. к с. 166.

С. 459. Демустье Шарль-Альбер (1760–1801) — малозначительный поэт-сентименталист.

Орас Верне (1789–1863) и *Поль Деларош* (1797–1856) — французские художники, пользовавшиеся большим успехом в буржуазной среде; у романтиков — Готье или Бодлера — их живопись вызывала резкую неприязнь.

Подобно Фаусту, он был влюблен в Елену... — Эпизод женитьбы Фауста на героине греческого мифа Елене Троянской входит во вторую часть «Фауста» Гёте.

Аспазия — афинская гетера V в. до н. э., подруга Перикла.

Диана де Пуатье, герцогиня де Валантинуа (1499–1566) — фаворитка французского короля Генриха II; известны несколько ее знаменитых портретов.

Жанна Арагонская (Джованна Арагонская, ок. 1500–1577) — итальянская принцесса; ее портрет работы Рафаэля хранится в Лувре.

Тит (39–81 н. э.) — римский император с 79 г.

С. 461. *...оскскими и латинскими литеррами...* — Осками назывались племена, населявшие в древности Южную Италию.

Каведиум — внутренний двор в римском доме.

С. 462. *Дав* — расхожее имя раба, встречающееся в комедиях Плавта и Теренция, в стихах Горация.

С. 463. *Кампанья* — область в Южной Италии, где находится современный Неаполь и развалины Помпей.

С. 464. *Золотые приапчики* — греческий бог плодородия Приап, по поверьям, обладал охранительной силой.

Айоваи, ботокудо — индейские племена Америки.

С. 465. «*De viris illustribus*» и «*Selectae e profanis*» — школьные хрестоматии на латинском языке, представляющие собой первая — краткое изложение римской истории и вторая — высказывания древних мудрецов. Составлены в XVIII в. соответственно французскими педагогами Ломоном и Эзе.

Назарей — Иисус Христос.

Поллукс — герой греческого мифа, сын Леды и бога Зевса.

«*Касина*» — комедия Плавта, переработка пьесы греческого комедиографа Дифила.

С. 466. *...словно лазурь панафиня...* — Панафинями назывались в Древней Греции празднества, посвященные богине Афине.

С. 467. *Альцион* (алкион) — мифическая птица, вестница удачи.

С. 468. *Феба* — одно из имен Артемиды, греческой богини луны.

С. 469. ...*колеса времени вышли из колеи...* — Переосмысленная метафора из шекспировского «Гамлета» (акт I, последняя реплика Гамлета).

С. 471. *Пеплум* — женская туника без рукавов.

...как у *Клеопатры*, золотая змейка... — См. коммент. к с. 148.

Фаз (Фасис) — греческое название реки Риони в современной Грузии.

С. 472. *Кидн* — река в Малой Азии, где Марк Антоний в 42 г. до н. э. устроил большое празднество на воде для своей возлюбленной Клеопатры.

Любовницей Фауста была дочь *Тиндара*... — Имеется в виду Елена (см. выше, коммент. к с. 459).

С. 474. *Эмпуза* и *Форкиады* — безобразные чудовища из греческих мифов; фигурируют во второй части «Фауста» Гете.

...язык его, по выражению *Вергилия*, прилип к гортани. — У Вергилия это постоянная формула (см., напр.: «Энеида», II, 744; III 48; IV, 280; VI, 493).

С. 475. *Сан-Карло* — оперный театр в Неаполе.

Амалия Феррарис (1830–1904) — итальянская балерина.

МАДЕМУАЗЕЛЬ ДАФНА ДЕ МОНБРИАН

Впервые опубликовано в журнале «Ревю дю XX съекль» в апреле 1866 г. Русский перевод печатается впервые.

Прим. верстальщика: Перевод В. Мильчиной

С. 477. ...*написание через f...* — Обыкновенно греческое имя *Дафна* пишется по-французски *Daphne*; имя героини новеллы — *Dafne*.

Спортсмены — на языке XIX века «лошадники», завсегдатаи скачек.

С. 478. ...*Марселем* для «Парижской жизни». — Сатирический и модный журнал «Парижская жизнь» был основан в 1862 г. художником-карикатуристом Эмилем Марселем (1825–1887).

С. 479. *Клиши* — долговая тюрьма в Париже в 1834–1867 гг.

С. 480. *Скутари* — часть Константинополя (Стамбула), отделенная от него проливом Босфор. Готье побывал в

Константинополе в 1852 г.

Акротерий — скульптурное украшение под углами фронтона здания.

С. 481. *...шедевр Санквирико, которым так восхищался Стендаль...* — Имеется в виду итальянский художник Алессандро Санквирико (1777–1849), декоратор миланского театра «Ла Скала». Стендаль упоминает о нем в своей книге «Прогулки по Риму» (1829), запись от 8 декабря 1827 г.

...фонтаны... что украшают площадь Навоне. — На этой римской площади расположены знаменитые скульптурные фонтаны «Четыре реки» работы Джан Лоренцо Бернини (1647–1652).

...Полифем замахивался огромным камнем на Ациса и Галатею... — По греческому мифу, циклоп Полифем, влюбленный в nereиду Галатею, убил из ревности любимого ею пастуха Ациса (Акиса), сбросив на него камень.

...Плутон, завладев Прозерпиной, погружался с нею вместе в Аид... — Другой античный миф: богиня Персефона (у римлян — Прозерпина), дочь Зевса и Деметры, была похищена богом подземного царства Плутоном и возвращается на землю лишь каждые полгода.

С. 482. *Каррачи* — семья итальянских художников-академистов: Лодовико (1555–1619) и его кузены Агостино (1557–1602) и Аннибале (1560–1609).

С. 483. *Первый христианский барон* — почетный титул, присваивавшийся главе одного из старейших аристократических родов Франции — дома Монморанси.

С. 485. *Джулио Романо* (Джулио Пиппи, 1492 или 1499–1546) — итальянский живописец и архитектор.

Полидоро Караваджо — Полидоро Кальдара, по прозвищу Полидоро да Караваджо (после 1490–1543), итальянский художник, автор множества фресок в зданиях Рима; не путать с более знаменитым живописцем Микеланджело да Караваджо (1573–1610).

Суровая супруга Юпитера никогда не жаловала нимф сомнительной репутацией. — Намек на цикл античных мифов о любовных увлечениях Зевса-Юпитера различными нимфами, которых беспощадно преследовала его ревнивая супруга Гера (Юнона).

С. 486. *Сын Александра VI* — Цезарь Борджиа, отец которого Родриго Борджиа в 1492 г. стал папой римским под именем

Александра VI.

С. 487. ...с уст которой слетают, вместо жемчугов и роз, жабы и красные мыши... — Неточная реминисценция из сказки Ш. Перро «Феи».

С. 488. ...вид Миньоны, вспоминающей отечество... — Девочка-итальянка Миньона, тоскующая о родном Юге, выведена в романе Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795–1796). Героиня новеллы скорее всего знает ее по опере французского композитора Амбруаза Тома «Миньона» (1866).

С. 489. *Молинизм* — моральная доктрина, выработанная испанским иезуитом Луисом Молиной (1536–1600) и подвергнутая резкой критике в «Письмах к провинциалу» Б. Паскаля.

«Анжело, тиран Падуанский» — драма В. Гюго (1835).

С. 491. «*Nada y nadie*» — Вероятно, имеется в виду офорт Гойи из цикла «Бедствия войны» (1820) под названием «*Nada. Ello dirá*», изображающий полузахороненный труп в подземелье.

С. 492. ...иметь, подобно Лукреции, собственных княгинь Негрони... — Реминисценция из пятого акта драмы Гюго «Лукреция Борджиа» (1833).

С. 493. ...духи Руджери, которыми благоухали перчатки Жанны д'Альбре... — Внезапная смерть королевы Наваррской, матери будущего французского короля Генриха IV Жанны д'Альбре (1528–1572), породила слухи об ее убийстве. Вдохновительницей преступления называли вдовствующую королеву Франции Екатерину Медичи, а исполнителем — ее придворного астролога Козимо Руджери (ум. 1615), который якобы пропитал ядом перчатки Жанны д'Альбре.

Aqua tofana — знаменитый яд, применявшийся в Италии в XVI–XVII вв.; назван по имени его изготовительницы — некоей Тофаны.

...я уподобился Митридату, царю Понтийскому... — Митридат Евпатор, царь Понта II–I вв. до н. э., согласно легенде, приучил себя к действию ядов, принимая их маленькими дозами, чтобы таким образом обезопасить себя от покушений.

С. 494. *Лоренцаччо* — Лоренцино Медичи (1514–1548), флорентийский политический деятель и поэт, герой драмы А. де Мюссе «Лоренцаччо» (1834).

Ристори Аделаида (1822–1906) — итальянская трагическая актриса, исполнительница роли Федры в трагедии Расина.

Арикия — в расиновской «Федре» возлюбленная Ипполита, любовь к которой уберегает его от чар Федры.

С. 496. ...*рисунки символических ягненка и рыбы*. — У ранних христиан эти знаки были символами Иисуса Христа.

Витрувий — римский архитектор и инженер I в. до н. э., автор трактата «Десять книг об архитектуре».

С. 497. ...*графический кошмар Пиранези*... — О Пиранези см. коммент. к с. 262. «Дафна де Монбриан» в первой публикации имела подзаголовок «Офорт в манере Пиранези».

С. 498. *Римская кампанья* — название окрестностей Рима (не путать с Кампаньей — областью на юге Италии).

С. Зенкин

notes

Примечания

Ничего исключительного в этом не было, ведь в XIX веке в театр ходили смотреть не только на актеров, но и на публику; во время спектакля в зале не гасили свет, и любимым занятием завсегдатаев было разглядывать, «лорнировать» знакомых и незнакомых людей среди зрителей — прежде всего, разумеется, знатных особ и красивых женщин.

При этом собственные его опыты в драматургии были и малочисленны, и в общем малоудачны. Единственный из них, который обрел долгую сценическую жизнь, — либретто знаменитого балета Адольфа Адана «Жизель» (1841).

James H. French poets and novelists. London, 1904, p. 55.

Гонкур Э. де, Гонкур Ж. де. Дневник. Записки о литературной жизни. Т.1. М., 1964. С.125.

«Эта и та»: «Вдруг Родольф наткнулся на какой-то предмет... подняв глаза, он остоленел от удивления — перед ним был друг его, Альбер»; «Золотое руно»: «Погруженный в размышления, он шел, опустив голову, когда вдруг наткнулся на какой-то твердый предмет, который отскочил от него, крепко выругавшись. Предмет этот оказался приятелем Тибурция, художником...»

Гонкур Э. де, Гонкур Ж. де. Дневник. Т.1. С.446.

Эти двое «наставников порока», в прошлом любовники, а ныне просто сообщники по темным делам, явственно напоминают аналогичную пару злодеев в знаменитом романе антивоспитания XVIII века — «Опасных связях» Шодерло де Лакло.

Перевод Б. Дубина.

Jobard — простофиля (*фр.*).

10

Пей! (*нем.*)

Надо: *Nonumque prematur in annum (лат.)* — «Держи под спудом до девятого года» — цитата из Горация «Послание к Пизонам, или Наука поэзии».

Невежественная чернь (*лат.*).

В. Шекспир, акт III, сцена 2.

Прощай (*исп.*).

Ужас, ужас, ужас! (*англ.*).

О, величие! (*лат.*)

Для детей (буквально: для Дофина) (*лат.*).

Кумир моего сердца (*ит.*)

Без разбора (*лат.*).

Долгий знак от зубов (*лат.*). — *Гораций*, Оды, кн. 1, ода 13.

Се человек (*лат.*).

О, трижды, четырежды! [счастлив] (*лат.*).

На месте преступления (*лат.*).

Через две-три тысячи лет комментаторы, несомненно, станут в тупик, читая это место, и напрасно будут биться, стараясь его растолковать. Избавим их от труда. В те времена только что появился роман г-на Поль де Кока под названием «Рогоносец», вызвавший невероятный шум. Огромная реклама нагло выпячивалась на всех перекрестках и за стеклами всех читален. Все это произвело великое волнение среди читающей публики. Стыдливые уста кухарки отказывались произнести ужасное слово.

Все целомудренные продавщицы были в смятении; краской стыда заливались щеки писцов. Но ведь надо быть в курсе событий, вот и приходилось требовать проклятуций роман. И тут (подивитесь лицемерию) найдена была такая благопристойная перефразировка: «Есть у вас последний господина де Кока?» Посему в течение двух недель «Последний господина де Кока» означал рогоносца, на что и намекал г-н де М*** со своей обычной тонкостью. *(Примеч. автора).*

В одну восьмую листа (*лат.*).

Тканый воздух (лат.).

«Продажа питей» (флам.)

Кислая капуста (нем.).

Песня (нем.).

Сударь (*нем.*)

Это очень хорошая выставка (*англ.*).

Очень хорошо, премилая картина (*англ.*).

Ища, кого бы пожрать (*лат.*).

Бодлив, т. е. опасен для окружающих (*лат.*).

Очень красивая женщина со своей сестрой хотят поговорить с вами (*исп.*).

Голод делает поэтессами сорок (*лат.*).

Игра слов: распространенная французская фамилия Леблан означает «белый», «белокожий» (*Примеч. переводчика*).

Искусство плавания (*лат.*).

Будешь Марцеллом и ты (*лат.*; Вергилий. Энеида, VI, 883; пер. С. Ошерова).

Наказание, состоящее в том, что наказанный носит большую доску, в отверстие которой пропущены голова и руки.

День быков (*исп.*).

Невеста (*исп.*).

Пучок (*исп.*).

Шапка (*исп.*).

Пояс (*исп.*).

Долой! (*исп.*)

Курительная бумага (*исп.*).

Перевод А. Эфрон.

О, времена! (*лат.*)

О, нравы! (*лат.*)

По обычаю зверей (*лат.*).

Светская жизнь (*англ.*).

Улучшенного качества (*англ.*).

Какая хорошенькая девушка! (*англ.*)

Экипаж, запряженный четверкой лошадей (*англ.*).

Дважды за одно и то же не карают (*лат.*).

Извозчик (*ит.*).

Они встанут спозаранку (*лат.*).

Тертым сыром из кобыльего молока (*um.*).

берегись собаки (лат.).

61

Здравствуй (*лат.*).

Здесь обретается счастье (*лат.*).

Здравствуй, иноземец (*лат.*).

«О знаменитых мужах» и «Избранное из светских сочинений»
(лат.).

Ничто и никто (*исп.*).

Баңдиты (*ит.*).